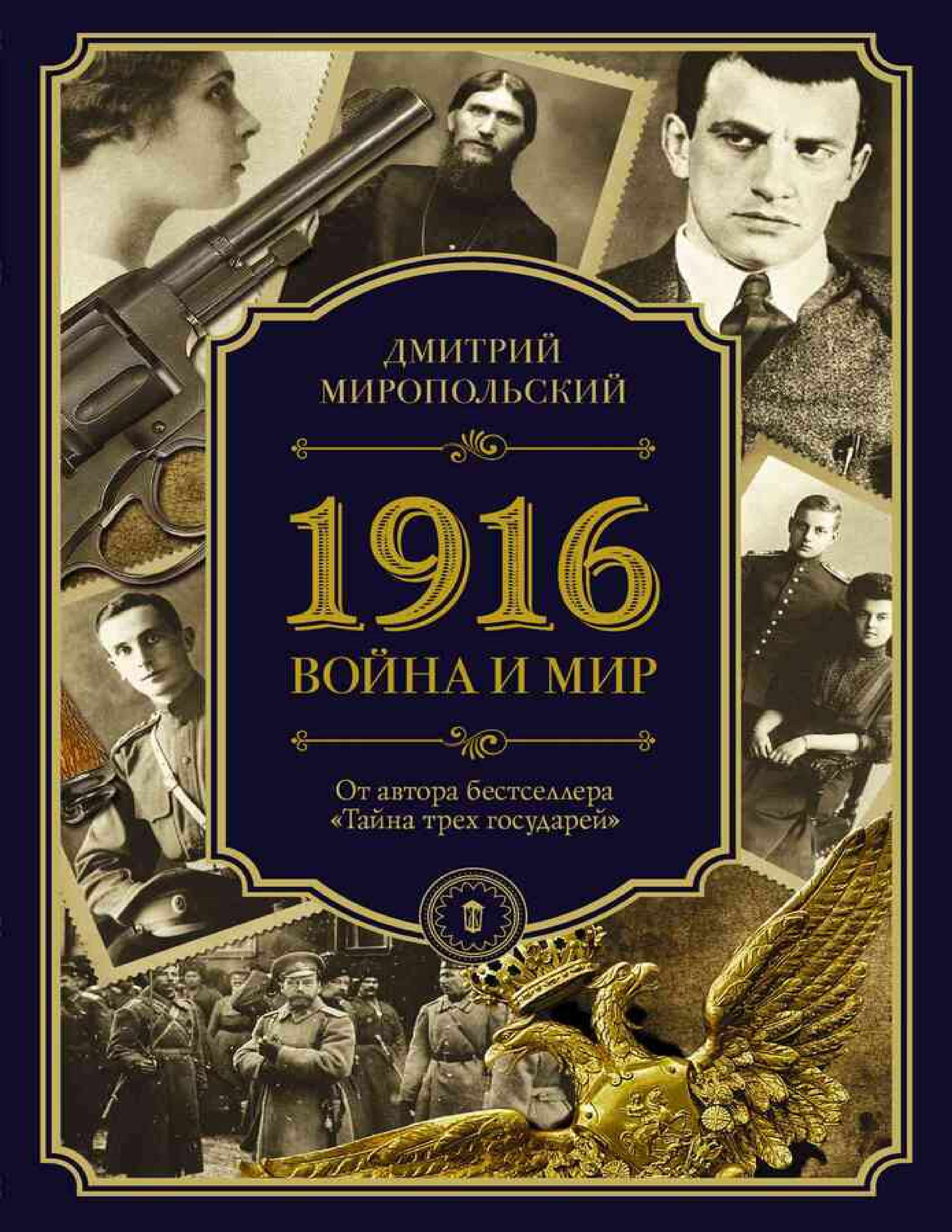
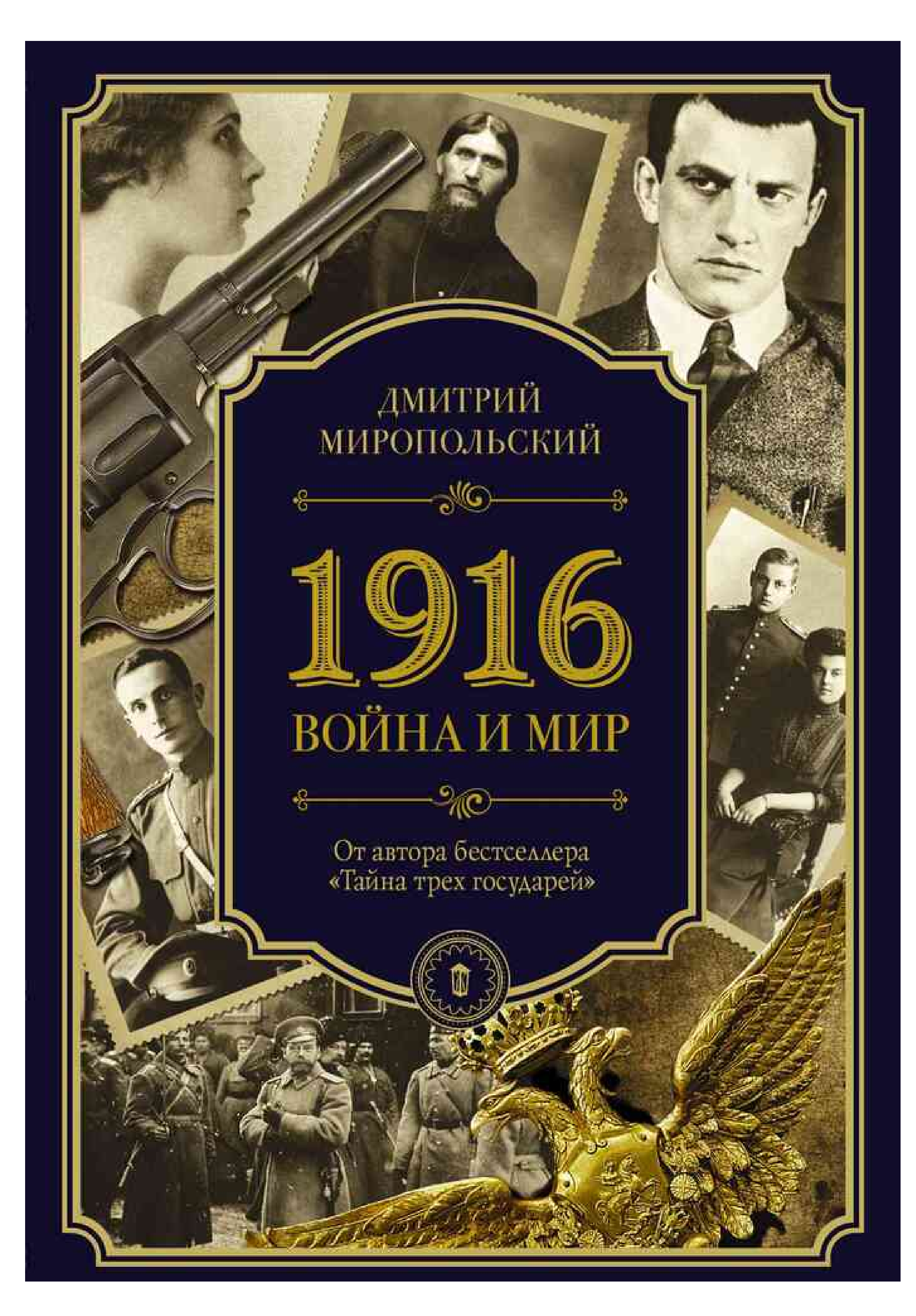


Дмитрий Миропольский

1916
Война и мир

От автора бестселлера «Тайна трех государей»


ДМИТРИЙ
МИРОПОЛЬСКИЙ
1916
ВОЙНА И МИР
От автора бестселлера
«Тайна трех государей»

Дмитрий Миропольский

1916. Война и Мир

Я — поэт. Этим и интересен.

Владимир Маяковский

Посмотрите кругом — сколько неправды есть!

Григорий Распутин

Историю побеждённых пишут победители.

Уинстон Черчилль

Вместо предисловия

Истекающая кровью Европа надеялась.

В Лондоне и Берлине, в Париже и Вене по календарю римского папы Григория настал уже тысяча девятьсот семнадцатый год, который сулил скорый конец мировой войны.

Петроград отставал от прочих европейских столиц на две недели. Россия жила по календарю другого римлянина — Юлия Цезаря. И здесь продолжался ещё декабрь года шестнадцатого. Лютый декабрь, студёный…

Свою фамилию — Перебейнос — этот немолодой жандармский офицер будто получил в подарок от Гоголя. Сейчас он притулился за ободранным канцелярским столом в полицейском участке, не расстёгивая шинели и не разматывая башлыка. В углу гудела рифлёными боками печь, и кто-то сердобольный заново набивал топку поленьями.

Сочились каплями сосульки на усах и стриженой бороде; оттаивали погоны, обмёрзший эфес шашки-селёдки… Перебейнос неуверенно держал стакан с горячим чаем обеими руками. Они застыли настолько, что почти не чувствовали обжигающего металла подстаканника. Попытка пошевелить пальцами ног в валенках тоже не порадовала: икры напряглись, дрогнули лодыжки, но дальше… Худо дело.

В ночь на семнадцатое декабря Перебейнос сдал дежурство и уже собирался отправиться домой. Тут-то всё и завертелось. Который теперь пошёл день — второй, третий? На улице стояла обычная зимняя питерская дрянь: не поймёшь, утро или вечер. Перебейнос кемарил понемногу в участке, сидя на

стуле и привалившись к стене. Время от времени приходила весть: нашли, мол! И это значило, что надо снова выбираться из натопленной комнаты и в открытом возке плестись в очередной адрес, тщетно укрываясь от пронизывающего ледяного ветра.

Слабо утешало то, что незавидную участь Перебейноса нынче разделяли многие. Приказано было обшарить все помойки и свалки, обойти все тупики и закоулки — и самым тщательным образом осмотреть все до единой реки, речки и каналы столицы, намертво скованные ледяным панцирем. Поначалу Перебейнос мотался вместе с подчинёнными: в случае чего ему надлежало оказаться на месте и командовать. Но долго в таком режиме не протянешь. Когда поиски пошли по очередному кругу, он стал хотя бы на время прятаться в участке... Чёрт возьми, почему у него нет фляжки?!

Перебейнос поставил стакан с чаем на стол. Бесполезно звякнула ложечка. В уплывающем сознании бубнил монотонный голос: надо обязательно сказать жене, чтобы купила фляжку. Даже не фляжку — флягу! Плоскую металлическую флягу с винтовой крышкой. И чтобы в эту флягу входила целая бутылка коньяку. Какого угодно, пускай паршивого, но коньяку. Он станет всегда держать её наполненной — под мундиром, на груди... Нет, лучше на животе, на животе теплее. В самый лютый мороз можно сунуть руку за пазуху, вытащить флягу и сделать долгий-долгий глоток. Нагретый коньяк вышибет слезу, перехватит горло, провалится и хлынет вниз, внутрь; а там взорвётся горячей бомбой и окутает блаженным теплом. И тогда окоченевший Перебейнос начнёт возвращаться к жизни, вытянет поудобнее ноги, расстегнёт прокисшую шинель, размотает башлык, скинет шапку с лысеющей жидковолосой головы — и будет спать, спать, спать...

— Ваше благородие, нашли! Ваше благородие...

Перебейнос разлепил неподъёмные веки. Такой же, как он, закутанный и замёрзший человек, расплываясь, качался перед ним и продолжал повторять:

— Нашли, ваше благородие…

Перебейнос поморгал, энергично потёр уши и начал постепенно приходить в себя.

— Точно нашли, или опять?..

— Точно, ваше благородие! Вроде, нашли…

— Дурак ты, братец.

Нос у посыльного был мертвенно-сизым. В памяти офицера с гоголевской фамилией всплыли «Мёртвые души», читанные давным-давно, в прошлой жизни. Что-то про Фемистоклюса Манилова и препорядочную постороннюю каплю на носу, которая норовила кануть в суп.

Перебейнос тяжело поднялся, опираясь на стол:

— Ладно, едем!

Служебного возка на месте не оказалось. *Шкуру спущу*, подумал Перебейнос, и они с посыльным отправились пешком со Съезжинской к Большому проспекту ловить извозчика.

Сани с огромным ватным «ванькой» на козлах махнули чуть не через всю Петроградскую сторону и вынесли с Большого на Каменноостровский проспект. Офицер проводил взглядом проплывшую по левую руку заиндевелую бетонную махину «Спортинг-паласа».

Они проехали богатый доходный дом, принадлежавший бухарскому эмиру Сеид-Мир-Алим-хану, и много более скромный домик знаменитого скульптора Опекушина…

Миновали окружённую деревьями, похожую на аккуратный слоёный торт оранжерею Игеля — и знаменитый «колосс» архитектора Щуко, украшенный эркерами и помпезной лепкой…

Оставили позади богадельню купцов первой гильдии Садовникова и Герасимова с церковью во имя святого

мученика Фирса и преподобного Саввы Псковского…

— Как-то мы странно едем, — недовольно пробурчал Перебейнос.

Возница и посыльный молчали, а возок проскрипел по мосту через Малую Невку с Аптекарского острова на Каменный — и заскользил по аллеям мимо фешенебельных особняков. Через несколько минут под полозьями пропело стылое дерево моста через небольшую речку Крестовку, на Крестовский остров. Дальше сани скользнули прямым, как стрела, Крестовским проспектом, резко свернули влево, вдоль совсем уже узенькой речушки Чухонки, и остановились перед Большим Петровским мостом — длинной, широкой деревянной переправой через Малую Невку на Петровский остров.

— Покататься решил, скотина? — спросил возницу Перебейнос, выбираясь из саней.

Добраться сюда от Съезжинской можно в два счёта: повернуть на Большом проспекте не направо, а налево; проехать вдоль реки Ждановки, свернуть через мостик на Петровский остров; дальше мимо пивоварен «Бавария» и канатной фабрики по Петровскому проспекту, там против пожарной части направо — и вот, пожалуйста, Малая Невка и нужный мост. Выходило много ближе — от силы версты полторы, — быстрее и дешевле, само собой. Знал бы Перебейнос, что они станут так плутать — взял бы финскую *вейку*, сани лёгкие с бубенцами. К зиме в город съезжались финны из окрестных деревень, которые сбивали цены извозчикам: в любой конец города тридцать копеек, и вся недолга.

— Напрямую-то боязно, ваше благородие, — тянул обозванный «ванька». — На Ждановке-то в казармах солдатики пошаливают. Лучше уж крючок исделать. Вашему-то благородию, может, и ничего, а мы — люди простые, нас завсегда кто хошь обидеть может…

Перебейнос простого человека обижать не стал, плюнул и заплатил. Солдаты и вправду нынче пошаливали; в Петрограде дожидались отправки на фронт, почитай, тысяч двести мобилизованных. Неспокойно было по всему городу, не только на Ждановке.

У Большого Петровского моста уже толпились зеваки — немного, и всё же Перебейнос подивился. Жилья поблизости, можно сказать, нет. Интересно, откуда они всегда берутся? Как ухитряются заранее узнать, куда идти глазеть? И что заставляет их часами торчать на морозе? С какой радостью сам он, да и любой из его подчинённых поменялся бы с ними местами! Поменялся, и тут же — бегом домой, не чуя ног. А зеваки стоят, переминаются. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было…

— На мост и на реку никого не пускать, — привычно бросил Перебейнос одному из своих унтеров. Придерживая шашку, он спустился, почти съехал отлогим берегом на лёд и зашагал туда, где маячили караульные.

Как и большинство столичных жителей, раньше Перебейнос часто ездил в этот ближний пригород, на Острова. Особенно летом. На Петровском острове хорошо было сидеть с удочкой где-нибудь за керосиновыми складами и разглядывать проходящие мимо яхты. На Елагином и Каменном — гулять с детьми, на Крестовском — стрелять в тире, любоваться на соревнования по лаун-теннису или следить, как гоняют мяч футболисты лучших питерских команд — «Спорт» и «Унитас». Они играли и друг с другом, и с англичанами, служащими на Сампсониевской ниточной мануфактуре. И с финнами играли, и с немцами, с которыми теперь идёт война…

Перебейнос поскользнулся, но удержался на ногах. Какой толстый лёд! Толстенный. Такой даже возы с

дровами выдерживает. Поперёк Невы, вон, трамвай пустили по вмороженным прямо в лёд рельсам — ничего, не хрустит… Что же там увидали ребятушки?

Двое городовых стояли в сотне шагов от моста и едва смогли откозырять подошедшему офицеру. Замёрзли. *Видать, у них тоже нет фляжек с коньяком,* сам себе пошутил Перебейнос и улыбнулся. Вернее, попытался улыбнуться, но на морозе у него лишь странно дрогнула кожа на скулах.

— Здесь? — спросил он.

— Здесь, ваше благородие, — просипел один, дохнув паром.

То ли днями кому-то в особняках понадобилось обновить ледник — стужа, не стужа… То ли приезжали сюда водовозы… По себе они оставили полынью — майну. Её, конечно, снова затянуло льдом, но сквозь него ещё можно было разглядеть что-то примёрзшее снизу, из чёрной воды.

— Та-ак, — грозно протянул Перебейнос. — Нашли, значит? А раньше куда смотрели, остолопы? Сколько раз уже здесь ходили!

Проштрафившиеся, еле живые от холода и усталости, угрюмо потоптались. Тот, что побойчее, с номером 1876 на бляхе, подал голос:

— Так мы это… Я вон там об лёд запнулся. Гляжу — во льду галоша. Хорошая такая галоша, новая совсем. И майна рядом. Вот мы и смекнули по течению малёхо пошукать…

— Слеподырки, мать вас всех, — сквозь зубы процедил Перебейнос. — Ладно, теперь-то чего ждём? Раньше начали — раньше закончили! Сами себя задерживаем! Ну, живо, живо!

Его люди уже добыли на берегу топоры и пешни со стальными наконечниками, приволокли досок… Все зашевелились, пытаясь согреться хотя бы работой.

Пока они обкалывали лёд и расчищали майну, Перебейнос ждал рядом, растирая руки и ударяя валенком о валенок. В голове крутилась прежняя мысль — о фляге с нагретым на животе коньяком — и ещё одна, которую он старался прогнать подальше. Лучше бы находка оказалась ошибкой, чем угодно, только не тем, что они действительно искали с утра семнадцатого декабря…

…а она оказалась именно тем самым.

На лёд, наконец, выволокли окоченевшее тело.

— Рукавом примёрз, — деловито сообщил один из городовых. — Здесь течение сильное, в залив утащило бы — сто лет не найти. А там корюшка съест, она завсегда мертвякам лица гложет…

— А ну тихо мне! — прикрикнул Перебейнос. — И нечего глазеть.

Сам он обречённо разглядывал утопленника, завёрнутого в плотную синюю штору и связанного верёвками по рукам и ногам. Впрочем, связанного не слишком крепко: штора сползла, и руки освободились от пут. Правое запястье обнимал массивный золотой браслет с застёжкой, украшенной императорским вензелем. Сейчас могло показаться, что мертвец боком ползёт по льду и тянется к кому-то скрюченными последней судорогой пальцами.

Утопленник быстро покрывался ледяной коркой. Среднего роста мужчина лет пятидесяти, ширококостный, но щуплый. На плечах — добротная бобровая шуба. Нарядно расшитая колосьями васильковая шёлковая рубаха задралась, под ней — ещё одна, исподняя, в пятнах почерневшей крови из порванного выстрелом живота. Чёрные бархатные штаны заправлены в высокие шевровые сапоги; на левый криво насажена фетровая галоша.

Кровь пропитала всклокоченные пегие волосы на размозжённом затылке, склеила лохматую длинную

бороду и усы, залила лицо и рот, оскаленный в дикой ухмылке. Посередине лба зияло входное отверстие от пули, обмётанное пороховой гарью, — *штанц-марка*, верный признак выстрела в упор. Правая скула превратилась в сплошное месиво, глаз вывалился из орбиты, ухо разорвано, и всё же не узнать покойника было нельзя.

— Господи, за что же это… мне? — прошептал Перебейнос.

Он лихорадочно перебирал в уме события и обрывки слухов последних дней, начиная с семнадцатого декабря, и в одно мгновение успел вспомнить…

…о государе императоре, который сейчас так далеко отсюда — на войне, в белорусском Могилёве, в Ставке Верховного главнокомандующего…

…о государыне императрице, что в яростной истерике сыплет беззаконными приказами из Александровского дворца в Царском Селе…

…о кузене и любимце государя, великом князе Дмитрии Павловиче, по приказу государыни заключённом под домашний арест…

…об аресте молодого князя Феликса Юсупова и стрельбе в его дворце на набережной Мойки…

…о шальном автомобиле из императорского гаража, метавшемся через Острова в ночь на семнадцатое…

…о болтовне депутата Государственной думы, националиста и паяца Пуришкевича, про немецких шпионов и спасение России…

…и о себе, простом служаке с забавной, будто вычитанной у классика малороссской фамилией Перебейнос, для которого эта страшная находка может обернуться по-разному: или наградой — или так, что лучше даже не думать.

Потому что перед ним в окровавленной вышитой рубахе, в сапогах с одной галошей и с дыркой во лбу

обмерзал труп того, о ком за последние четыре года не судачил только ленивый.

Возле полыньи на Малой Невке распласталось изувеченное и простреленное тело человека, которого без сна и отдыха третий день искали по всем закоулкам Петрограда, во всех столичных реках и каналах.

На льду связанным лежал мёртвый персонаж бульварных газет, на все лады склонявших его прозвище — *святой чёрт*.

Странный сибирский мужик, загадочный любимец государевой семьи.

Григорий Распутин.

Часть первая. Мир

Глава I. Санкт-Петербург. Утро

В том, что могучая сборная Германии скорее всего *раскатает* российских футболистов, сомневались немногие, но чтобы шестнадцать-ноль?!

Маяковский разложил газету на столике и уткнулся в спортивную колонку.

Главный недостаток нашей сборной команды — её полная несыгранность... Здесь совершенно запрещены наши толчки. Голькипера вовсе нельзя толкать. У нас же постоянно стараются свалить голькипера, — и получается дикая игра. Запрещение толкать игроков поднимает технику игроков. Сравнение игры русских команд с заграничными, к сожалению, показывает, что мы — ещё дети в футболе, но... уже грубые дети...

Керамическая плошка прижимала край газеты, которую шевелил налетавший с Невы ветерок. Маяковский, не глядя, выудил из плошки горсть жареных орехов и кинул их в рот. Хорошо было бы чем-нибудь запить, но в карманах — шаром покати, и даже папиросы кончились. Поэтому надо сидеть и ждать Бурлюка, у которого есть деньги. Тот с самого раннего утра бегает по каким-то своим делам...

Летом двенадцатого года в Петербурге установилась необычайная жара. Короткие белые ночи не приносили желанной прохлады. А поутру лучи беспощадного солнца вновь раскаляли не успевшие остынуть мостовые, и огромный каменный город, который прихотью властей выкрасили в красноватые и багровые тона, превращался в плавильную печь, пышущую вязким обжигающим зноем. Искать спасения оставалось в тени парков — или по берегам рек и каналов, рассекающих город на десятки островов и

принесших российской столице славу Северной Венеции.

Маяковский облюбовал столик в открытом кафе прямо на гранитном спуске к Неве, против Адмиралтейства. Неподалёку изнурённые зноем рабочие разбирали одряхлевший деревянный Дворцовый мост. Наконец-то в казне нашлись деньги, чтобы связать каменные набережные Адмиралтейской части и Васильевского острова современным разводным красавцем — вместо оскорбительной для взгляда щетины старых брёвен, торчащих во все стороны.

Коротая время ожидания, Маяковский листал заметки репортёров с Пятой Олимпиады в Стокгольме, которые смаковали провал российских футболистов.

Разгром полный, небывалый! Отчего же не получить поражение, отчего не уступить более сильному и готовому противнику… Но сыграть 16:0 в одном матче, как сыграли наши олимпийцы с Германией, — это даже не значит поехать учиться, чтобы учиться, лучше было посмотреть с трибуны зрителей — это просто небрежность — неизвинительная, непростительная небрежность.

Франция, поставленная в неблагоприятные для неё условия, отказалась совсем от игры на Олимпийских играх, — мы же не только блеснули своим убожеством, но и торжественно в нём расписались…

На газетные строчки упала тень, и раскатистый бас произнёс:

— Владимир Владимирович, вы газетку не подвинете?

Маяковский оторвался от чтения, поднял голову и сощурился от нестерпимо яркого света.

Высокий, плечистый Давид Бурлюк, подойдя против солнца, навис над столиком и поставил на него сразу

шесть пузатых кружек с пивом. Их ручки, нанизанные на толстые пальцы, никак не хотели отцепляться. Шапки густой пены колыхнулись, и по стеклу, оставляя сияющий след, сбежали янтарные ручейки.

Маяковский отдёрнул газету, а Бурлюк тяжело опустился на стул напротив, взял кружку и в несколько жадных глотков отпил больше половины.

— Ох, хорошо, — выдохнул он. — Что пишут?

— Наши продули немцам ноль-шестнадцать!

— Во что играли? — вежливо осведомился Бурлюк. — Вы не стесняйтесь, Владим Владимыч, пейте пиво, пока холодное…

Он залпом прикончил кружку и потянулся за следующей.

Маяковский возмутился:

— Поразительное безразличие… В футбол играли, в футбол! Мы же первый раз на олимпиаде, в клочья надо было всех рвать, а эти… Вот уж точно — убожество… Трудно, что ли, найти в целой стране одиннадцать человек, которые могут нормально мячик пинать?!

— Думаю, по такой жаре охотников на ваш футбол найдётся немного…

Ветерок с Невы не освежал, а лишь лохматил кудри Давида и ронял длинный чуб на глаза Володи. День только начался, но солнце уже палило немилосердно и доставляло грузному Бурлюку страдания, пожар которых он пытался залить пивом.

Маяковский пил оригинально. Он взял кружку левой рукой и прильнул к ней губами возле ручки. Володя был брезглив и полагал любые кружки вымытыми недостаточно тщательно. Однако считал, что изобретённый им способ позволяет не касаться тех мест, которых раньше касались другие.

— Охотников — больше чем достаточно! — категорично заявил он. — Сборные Москвы и Петербурга, вон, чуть не передрались, кому в Швецию

ехать. Киевляне тоже хотели… И жара тут ни при чём! Объясните мне, почему, например, борцы могут, а футболисты нет? Слыхали про Клейна?

Не отрываясь от напитка, Бурлюк пожал могучими плечами.

— Вы только представьте, Давид Давидыч! Турнир по греко-римской борьбе, полуфинал. Сорок два градуса в тени, тёмный ковёр…

— Всё, я уже умер, — вставил Бурлюк, опорожнивший вторую кружку.

— …и на ковре — двое, — продолжал Маяковский. — Наш — Мартин Клейн, из Эстонии, а против него — финн Асикайнен. Трёхкратный чемпион мира, между прочим!

— Между прочим, финны тоже наши, — заметил Бурлюк. — Великое княжество Финляндское, сколько я помню, входит в состав Российской империи…

— Они и выступают под нашим флагом, — нетерпеливо махнул рукой Маяковский, — только Олимпийский комитет у них свой… Так вот, Клейн боролся с Асикайненом десять часов!

Бурлюк посмотрел недоверчиво.

— Сколько?!

— Ну, почти десять. Девять часов сорок минут с двумя короткими перерывами.

— Ага, я прямо это вижу, — подхватил Давид и заговорил, удачно имитируя прибалтийский акцент и неторопливую манеру речи: — Красавец-эстонец и симпатяга-финн, блестя рельефной мускулатурой, медленно-медленно сходятся посреди тёмного ковра под щедрым скандинавским солнцем и до самого вечера медленно-медленно борют друг друга…

Иронии и актёрства Маяковский не оценил.

— Клейн — герой, — сердито буркнул он, бросил в рот горсть орешков и отхлебнул ещё пива. — Он бы и Юханссона в финале победил. Только Олимпиада где? В

Швеции. А Юханссон — швед. Сговорились там, кто надо, и судьи потребовали, чтобы финал состоялся немедленно. Клейн был еле живой и отказался, конечно, вот и получил только серебряную медаль. Хотя она золотой сто́ит!

— М-да… Нет правды на земле, но нет её и выше! Хотя это слабое утешение. Бросьте забивать себе голову всякой ерундой, Владим Владимыч. Вы же не жучок какой-нибудь спортивный, вы — поэт! — Бурлюк поднял свою кружку в приветственном жесте, сделал глоток и повторил: — Поэт, футурист, художник и вообще… великолепный молодой конь!

Дьяконский бас привлёк внимание нескольких пенно-кружевных институток за соседним столиком. Девушки обмахивались веерами и запивали мороженое лимонадом. Они склонились друг к другу, зашептались и захихикали, поглядывая на *великолепного молодого коня* и его колоритного собеседника.

Чего стоила одна только повязка, закрывавшая Давидов левый глаз! Притом она не портила его породистого вида и лишь подталкивала к сравнению с каким-нибудь одноглазым героем. На фоне просторной Невы, усеянной прогулочными катерами, лодками и яхтами, Бурлюк мог бы выглядеть британским адмиралом Нельсоном, но могучей статью скорее походил на русского фельдмаршала Кутузова.

Просторная белая рубаха Бурлюка взмокла на спине и липла к телу. Маяковский был одет в чёрную блузу без пояса, которая подчёркивала его стройность и высокий рост. Похоже, юноша не страдал от жары, разве что расстегнул пару верхних пуговиц. Крупные черты лица дополняли образ южанина.

— Стоило ли тащиться из Москвы, — недовольным тоном произнёс Маяковский, — чтобы сесть посреди Петербурга, развлекать барышень и наливаться пивом?

Бурлюк хмыкнул и взял со столика четвёртую кружку, пена в которой уже осела:

— Вы позволите?

Спрашивал Давид для порядка, поскольку патронировал своего молодого приятеля, везде платил за них обоих и выдавал Володе по пятьдесят копеек в день на карманные расходы.

Год назад, когда Бурлюку стукнуло двадцать девять, он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. И там познакомился с восемнадцатилетним Маяковским. Оба были талантливы, оба тяготились рамками традиционной школы — так что сблизились легко, хотя продолжали обращаться друг к другу исключительно на *вы* и по имени-отчеству.

К тому времени Давид успел поучиться и в Казанском художественном училище, и в Одесском; объездил чуть не пол-России, занимался в студиях Мюнхена и Парижа, участвовал в бесчисленных выставках и заслуженно числился в лидерах русского авангарда.

Владимир, несмотря на юный возраст, тоже оказался тёртым калачом. Имел за плечами три ареста за связи с террористами, пять месяцев одиночного заключения, чудом избегнутую ссылку то ли в Нарымский край, то ли в Туруханский… Деталей толком никто не знал, но столь бурная биография конечно же произвела неизгладимое впечатление на сокурсников. В их глазах Володя не мог быть бандитом — только узником совести…

…Но Бурлюка привлекло другое. В Бутырской тюрьме Маяковский начал писать стихи, а первые опыты на воле как-то показал Давиду. Ночью посреди Сретенского бульвара Бурлюк заставил стесняющегося, запинающегося Володю читать. Выслушал, пришёл в восторг и немедленно объявил своего юного приятеля

гениальным поэтом. В гениальные художники он определил его ещё раньше.

Вдохновлённый признанием Маяковский немедленно примкнул к Бурлюку с друзьями, которые звали себя кубо-футуристами и утверждали, что занимаются созданием нового национального искусства. В конце концов, это тоже была революционная деятельность. Не менее захватывающая, чем у социал-демократов, но гораздо более безопасная и публичная. А публичности Маяковскому ох как хотелось! К тому же ему льстил живой интерес товарищей — не жаждущих крови люмпенов-подпольщиков, но рвущихся творить художников и поэтов, многие из которых уже издавались…

— Пиво — божественный напиток, — басил тем временем Бурлюк, — вы мне пиво не трогайте! Его ещё древние шумеры пили. И строители египетских пирамид. Хлеб четыре тыщи лет назад не для еды пекли, а чтобы у пивоваров сырьё всегда было под рукой, так-то! Может, боженька для того и придумал пиво, чтобы мы не забывали, как он нас любит! — Бурлюк одолел четвёртую кружку и с блаженной улыбкой откинулся на спинку стула. — А на Петербург и вправду пора посмотреть, и вас ему показать, — сказал он. — Может, от пекла не все разбежались: Лёша Крученых, Вася Каменский — из своих кого-нибудь, да найдём. С Гумилёвым встретиться не мешает, с Кузминым. Глядишь, Блока повидаем… Столица, Владим Владимыч, она столица и есть! Но вообще-то хотел я вас познакомить с Витей Хлебниковым, Велимиром нашим…

Маяковский скривился и продекламировал глуховатым юношеским баском:

О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!..

— Чёрт его знает, что такое, — сказал он. — Вот я понимаю, Мандельштам:

Сегодня дурной день:
Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень —
Мрачней гробовых плит.
Мелькающих стрел звон
И вещих ворон крик...

— Образы мощные, — продолжал Маяковский, — ритм завораживает. Тара́-титата-та... А Хлебников? То ли издевается, то ли просто нездоров. Белиберда какая-то. Смех надсмейных смеячей... О чём это? Для кого написано? Уж точно, не для читателей...

— Я бы сказал — не для всяких читателей, правда ваша! — Бурлюк оживился и посмотрел единственным глазом на последнюю полную кружку с пивом, потом на Маяковского. — Только мозг-то царапает! Ну скажите, царапает? Цепляет? Заставляет слушать?.. Ага! Заставить себя слушать — великое искусство для поэта! Значит, у Вити есть чему поучиться. А про кузнечиков — вы ещё новенького не слышали...

Он приосанился, вдохнул и негромко нараспев произнёс:

Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер...

— Каково? — восторгался Бурлюк. — *Кузнечик в кузов пуза*... Потрясающе! Сколько музыки! А образы, образы какие — что, хуже, чем у Мандельштама?!

Действительно, десятком слов, обычных и выдуманных, Хлебников будто акварель нарисовал — красивую, светлую, очень зримую... Маяковский неохотно согласился:

— *Крылышкуя золотописьмом*... Это — да, это ловко.

Бурлюк вдруг заёрзал на месте:

— Фу-ты, совсем из головы вылетело... Вот!

Из заднего кармана брюк он вытащил сложенную вдвое брошюру, расправил и шлёпнул её на столик.

Глава II. Стокгольм. День

Дмитрия Павловича терзал жестокий сплин — хандрил великий князь, двоюродный брат российского императора Николая Второго. Казалось бы, о чём печалиться статному красавцу двадцати одного года от роду? Но в таком настроении и в такую жару лучше было бы Дмитрию Павловичу лежать под электрическим вентилятором во дворце Оук-Хилл. Или, на худой конец, бродить по Стокгольму где-нибудь в районе Гамла Стан...

В сердце старого города великий князь чувствовал себя уютно — здесь многое напоминало российскую столицу. Стокгольм, как и Петербург, раскинулся на островах. Сходство дополняли снующие меж берегов кораблики; огромные строгие дома и широкие мосты, кафе на набережных и множество маленьких баров в мощёных закоулках. Знакомыми казались тучи, мгновенно скрывающие солнце и так же неожиданно расступающиеся вновь; особенная северная зелень с серебристым отливом, внезапные порывы морского ветра — и неповторимое ощущение близости Балтики,

до которой что в Петербурге, что в Стокгольме рукой подать…

Дмитрий Павлович стоял на корабельной палубе, облокотившись на леер, и мусолил папиросу. Чёрт его попутал уступить уговорам сестры и с её шумной компанией отправиться на прогулку в шхеры! Солнце пекло, дым лез в глаза, курить не хотелось, но ещё меньше хотелось возвращаться к попутчикам, собравшимся почитать вслух газеты из России.

Для защиты от испепеляющих лучей полуденного солнца матросы растянули над кормой огромный тент. В его тени участники прогулки слушали британского офицера, который спокойным, хорошо поставленным голосом зачитывал очередную статью под броским заголовком. Интересно, где этот англичанин так выучился по-русски?

Мы же не только блеснули своим убожеством, но и торжественно в нём расписались. Некоторых удручает, что русские оказались плохими стрелками — это в их представлении самое ужасное.

Нам же кажется наиболее опасным и неприятным поражение наших футболистов. В этой игре как нигде сказывается железная дисциплина, умение владеть собой, — расчёт, подчас очень тонкий, способность быстро ориентироваться, найтись во всяком положении и из всякого положения выйти…

Складывалось впечатление, что англичанин, подлец, не просто тщательно выговаривает слова, но и смакует издевательский тон репортёра.

Все усилия, все заботы мы должны направить на развитие спорта в нашей стране, — благо к нему проснулась охота и интерес… Быть может, только тогда, когда наше движение станет общим и мощным, мы

сумеем выставить таких игроков и такие команды, которые ответят шведам Полтавой за былые поражения…

Если шведы — то Полтава, конечно… будто и вспомнить больше нечего! Со стороны компании, расположившейся на скамьях и в шезлонгах на корме, до Дмитрия Павловича долетало каждое слово. Кораблик малым ходом пробирался в узких проливах между поросших соснами каменистых островков. Фраза о давней победе Петра Первого над Карлом Двенадцатым здесь, в сердце Швеции, да ещё после разромного проигрыша россиян звучала просто насмешкой.

— Митенька, бросай дуться! — окликнул великого князя мягкий девичий голос. — И хватит курить, у тебя слабые лёгкие!

Дмитрий Павлович раздавил окурок в хромированной пепельнице, подвешенной к лееру, обернулся и сердито посмотрел на подошедшую сестру. Покровительственные нотки в её голосе великому князю не нравились. Конечно, Мария Павловна имела некоторые основания вести себя как старшая: она и была старше брата на целый год — ей уже исполнилось двадцать два! К тому же сейчас великая княжна исполняла роль гостеприимной хозяйки, и Дмитрий Павлович вынужденно подчинился. Он взял сестру под руку, чтобы вести к шезлонгу, но она негромко сказала:

— Если тебе так уж не хочется с ними сидеть, давай немножко погуляем…

Брат и сестра пошли вдоль борта: высокий широкоплечий Дмитрий в летнем кавалерийском мундире — и прижавшаяся к нему плотная миловидная Мария, одетая амазонкой.

Дети великого князя Павла Александровича были неразлучны с младых ногтей и души друг в друге не

чаяли. Они осиротели в тот день, когда родами Дмитрия умерла их матушка, греческая принцесса Александра. И стали сиротами второй раз, когда десятью годами позже отец женился за границей.

Его избранницей оказалась особа более низкого происхождения, да к тому же разведённая. Сочетавшись морганатическим браком, Павел Александрович нарушил закон, по которому великие князья могли родниться лишь с королевскими или владетельными домами. За это государь отлучил его от двора, лишил звания генерал-адъютанта, уволил от всех должностей и вообще запретил появляться в России.

Мария и Дмитрий росли сначала в доме дяди — московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. А после того, как их воспитатель погиб, разорванный бомбой террориста, переехали в Петербург к своему кузену — российскому императору Николаю Второму. Расстаться пришлось, когда Дмитрию Павловичу исполнилось семнадцать: его определили в кавалерийскую школу, а восемнадцатилетняя Мария Павловна стала женой наследного шведского принца Вильгельма.

В Швеции будущей королеве оказали самый радушный приём. Мария получила титул герцогини Сёдерманландской; специально для неё стараниями российского государя построили резиденцию — дворец Оук-Хилл… Но ни самое сердечное расположение новых родственников, ни любимые ею скачки, ни частые поездки на охоту, ни игры в хоккей с мячом, ни самозабвенные занятия живописью, ни даже рождение сына, принца Ленарта — ничто не могло заглушить печаль разлуки с братом.

Так что теперь, несколько лет спустя, появление Дмитрия Павловича на Олимпийских играх в Стокгольме стало самым дорогим подарком для Марии Павловны. Она не отходила от брата ни на шаг.

Глава III. Ялта, Ливадия. Вечер

Что русскому потеха, то немцу смерть — присказка не только про гостей с берегов Рейна: исстари, ещё с допетровских времён, *немцами* в России называли любых европейцев.

Немкой считалась и гессенская принцесса Алиса Виктория Елена Бригитта Луиза Беатриса. Её родина, великое герцогство Гессен-Дармштадт, — германская земля, а отец, ландграф Людвиг Четвёртый, — немец. Но мать Алисы была британской принцессой, и воспитывали девочку в Лондоне, при дворе великой бабушки — королевы Виктории. Первую бонну, чопорную леди Анну Текстон, сменила такая же чопорная Маргарет Джексон…

…так что дочь ландграфа выросла скорее англичанкой, чем немкой. Английский язык стал для принцессы Алисы родней немецкого, и дома она предпочитала разговаривать по-английски.

Её муж не возражал: блестяще образованный сын датской королевны Марии Софии Фредерики Дагмар, внук немецкой принцессы Максимилианы Вильгельмины Августы Софии Марии, тоже свободно владел пятью языками.

Сын датчанки и внук немки, потомок герцогов Гольштейн-Готторпов, обладатель ласкового домашнего прозвища Ники — Николай Александрович, российский император Николай Второй.

— Вот смотри: здесь мы, здесь Габсбурги, а здесь — Гогенцоллерны, — под внимательным взглядом супруги он блюдцами обозначал на чайном столике Австрию и Германию. — Здесь — мы, а здесь они… и здесь…

Ему пришлось наскоро импровизировать карту Европы из всего, что подвернулось под руку: географию Алиса знала нетвёрдо. Карта была нужна, чтобы

объяснить, где сталкиваются интересы трёх империй — Российской, Германской и Австро-Венгерской.

— Вот это Средиземное море, — сказал император, выложил рядом несколько салфеток и продолжил выставлять блюдца. — Значит, это — Греция, а рядом — Турция. Южнее — Кипр, туда крейсер «Аврора» отправился. Здесь — остров Родос и ливийская Триполитания…

Императрица покивала:

— Там сейчас турки с итальянцами воюют.

— Я бы сказал — итальянцы с турками. — Николай Александрович вздохнул. — И хорошо воюют, знаешь ли! Мы уже просили их остановиться и назвать условия, на которых Рим готов прекратить войну. Слишком хорошо воюют! — повторил он.

— Отчего же слишком?

— Оттого, что на Балканах теперь думают: если турок так легко побить, чего же мы сидим? И прикидывают: не пора ли тоже крепко взять Турцию за горло и припомнить старые обиды?

Интересы императрицы ограничивались домом и детьми: *Küchen, Kinder, Kirchen,* пресловутое немецкое *правило трёх «К».* Газет она не читала, книжки — только духовные и мистические, да ещё романы. О событиях в мире узнавала от мужа, который нечасто бывал расположен рассказывать.

Николай Алексанрович старался оградить семью от внешнего мира: довольно того, что ему приходится каждый день окунаться в дела страны и хитросплетения международной политики. Тяжела ноша государя, утомительна и неблагодарна. А жена с детьми пусть живут спокойно и счастливо.

— Нам тоже нельзя сидеть сложа руки. Ведь там кто? — сказал император и четырежды звякнул остриём серебряного фруктового ножа по фарфору,

обозначавшему Балканы. — Сербия, Черногория, Болгария и Греция. Все наши, православные.

Перед замужеством Алисе Гессенской пришлось перейти в русскую ортодоксальную веру: жене наследника престола недостаточно быть просто христианкой. Тогда же она сменила имя и превратилась в Александру Фёдоровну. Родные звали её Аликс — домашнее прозвище стало мостиком от Алисы к Александре.

— Будет очень хорошо, — добавил Николай Александрович, — если они перестанут что-то выдумывать сами по себе, а объединятся в Балканский союз. Мы это приветствуем…

— Союз против кузена Вилли?

Так Александра Фёдоровна по привычке называла германского кайзера Вильгельма Второго: их матери были родными сёстрами.

Николай Александрович кайзера не любил — ни как родню, ни как политика. Пару лет назад он даже объехал Берлин стороной, совершая официальный вояж к своему кузену Джорджи — британскому королю Георгу Пятому. У Вилли Гогенцоллерна хватило наглости предъявить ультиматум: либо Россия признает аннексию Боснии и Герцеговины, либо германская армия поддержит австрийское вторжение в Сербию!

— России выгоден союз и против Вилли, и против Франца-Иосифа, — напомнил Николай Александрович про дряхлого Габсбурга, императора Австрии и короля Венгрии. — Турки-то нам не помеха, отзовём оттуда посла — и всё! А вот эти…

Он придвинул к себе блюдце, обозначавшее Турцию, и принялся среза́ть над ним с яблока кожуру аккуратной длинной спиралью. Императрица продолжала слушать про то, как российские дипломаты подталкивают Сербию, Черногорию, Грецию и Болгарию

к созданию союза, а сама Россия тем временем копит силы против Австрии и Германии.

Болгары с греками к австрийцам равнодушны, но жаждут разгромить турок — и спорят, кому из них после победы достанется Македония. Зато для сербов Австрия — враг номер один, и кусок Турции они тоже урвать не прочь. Они согласны на часть Македонии, но за такую сговорчивость хотят получить Албанию и выход к морю…

— Съешь половинку? — Николай Александрович предложил жене очищенное яблоко. — Сербия — морская держава! Можешь это себе представить?.. Старик Франц-Иосиф тоже не может, оттого и распря у него с сербами.

От яблока императрица отказалась, и муж снова указал ножом на карту:

— Австрию поддерживают итальянцы. Но у них эйфория от побед над турками. Италия собирается сама хозяйничать на Адриатике и хочет Албанию, а это не нравится австрийцам… Такой получается пасьянс.

— Не пасьянс, а путаница, — возразила Александра Фёдоровна, знавшая толк в пасьянсах. — Столько названий, голова кру́гом… Не понимаю, как ты можешь всё упомнить. И ещё: почему нельзя просто взять — и договориться один раз?

Николай Александрович невесело усмехнулся.

— Милая, милая Аликс… Хотел бы я так! Но политика устроена иначе. Сегодня одни дружат с другими против третьих, потом другие с третьими начинают дружить против первых, а те с четвёртыми — против них. Всё время кто-то дружит против кого-то, чтобы что-нибудь чужое к рукам прибрать…

— Но ведь нам-то чужого не надо! Зачем соваться на Балканы? Турки сейчас слабые. Если сербы с болгарами хотят им отомстить — пусть воюют. А наше дело — сторона!

— Так не выйдет. Если начнётся война, турок сразу же поддержит Австрия, и нам придётся заступаться за братьев-славян. За Францем-Иосифом пойдут германцы с твоим кузеном Вилли, за нами — англичане с моим кузеном Джорджи. Потом французы включатся, и так далее. Помнишь, Григорий детям рассказывал, как репку тянули? Старуха хватается за старика, внучка — за старуху, собака — за внучку… Это будет война всех против всех. Мировая.

В том, что большой войны в любом случае не избежать, сомневались немногие. Скорее всего, первой подготовится Германия — и поспешит нанести удар. В российском Главном штабе генерал Брусилов предлагал пари, что это произойдёт не позже весны пятнадцатого года…

…а Россия успевала перевооружить и обучить армию только году к семнадцатому. Винтовок хватало, но пулемётов на дивизию не набиралось и сорока, хотя полагалось сто шестьдесят. Бомбомётов и миномётов вообще не было, ручных гранат не хватало катастрофически. Сапёрное дело развивалось черепашьими темпами, артиллерия тоже; военная авиация делала первые неуверенные шаги… Отставали от Германии и российские союзники по Антанте — Франция и Англия.

— К тому же сербы с болгарами наскребут под ружьё тысяч триста солдат, не больше. Если они ударят по туркам сейчас, то мы окажемся против Австрии и Германии, которые могут сразу выставить два миллиона штыков. И это только для начала. Словом, всё складывается очень и очень скверно. — Николай Александрович встал из-за стола. — Я, пожалуй, пройдусь часок, а потом детям перед сном почитаю. Не будешь скучать?

— Буду, — улыбнулась в ответ Александра Фёдоровна.

Николай Александрович наклонился, чтобы поцеловать жену. На него пахнуло свежим леденцовым запахом «Вербены», её любимых духов.

У императрицы болели ноги — с юности донимал её воспалённый поясничный нерв, и гулять она не ходила. А Николай Александрович наоборот, что ни день, отправлялся по *царской тропе* на несколько вёрст в горы. В этих пеших прогулках его сопровождал только неотлучный телохранитель, двухметрового роста бородатый лейб-казак Тимофей.

Рядом с этим гигантом невысокий император казался ещё меньше. И Александра Фёдоровна в который раз подумала о том, что тяга к людям богатырского сложения — память Ники об отце. Многолетняя память, бесконечная любовь и неизбывная печаль по так рано и внезапно умершему Александру Третьему.

Глава IV. Лондон. Ночь

— Леди…

Ливрейный лакей поклонился и распахнул двери казино.

Несколько красавиц в дорогих платьях и кокетливых шляпках проплыли мимо него на ночную улицу.

Последняя задержалась в дверях.

— Милейший, — в приятном контральто слышался заметный континентальный акцент, — я проигралась в пух. Вы не могли бы одолжить мне двадцать фунтов?

Лакей замешкался.

— Двадцать фунтов — очень большие деньги, миледи. У меня есть пять фунтов…

Он сунул руку в карман, но дама остановила его властным жестом.

— Не трудитесь. Деньги оставьте себе — это вам на чай.

Подруги разместились в просторном автомобиле: прямо напротив дверей казино, как из-под земли, возник похожий на королевскую карету белый *Rolls-Royce Silver Ghost Double Pullman.*

Шофёр затворил дверцу за пассажирками, важно уселся на своё место, и шикарный лимузин мягко и бесшумно покатил прочь, озаряя путь сиянием громадных круглых фар.

— Красотка, — сказал вышедший следом за последней дамой щеголеватый господин и повернулся к лакею. — Знаешь, кто такая?

— Конечно, сэр, — ответил лакей. — Эта леди — русский принц Юсупов. Они с друзьями развлекаются…

Молодой князь Феликс Юсупов, носивший ещё фамильный титул младшего графа Сумарокова-Эльстон,

учился в одном из колледжей Оксфордского университета.

Его появление в Оксфорде стало событием: для переезда из Лондона князь нанял целый железнодорожный состав. Такое мог себе позволить только единственный наследник крупнейшего в России состояния.

Юсуповы владели сотнями тысяч десятин земли. Лесопилки, фабрики и рудники, сахарные и кирпичные заводы приносили семье больше пятнадцати миллионов золотых рублей годового дохода. Им принадлежали тридцать семь имений. Четыре дворца в Петербурге и три в Москве были обставлены антикварной мебелью французских королей. Жемчужина «Пелегрина» — любимая драгоценность матушки Феликса, княгини Зинаиды Николаевны, — некогда считалась главным украшением испанской короны Филиппа Второго. Княжеская картинная галерея соперничала с Эрмитажем. Черноморский летний дворец Юсуповых в Кореизе соседствовал с императорским дворцом в Ливадии, и хозяева дворцов нередко наведывались друг к другу в гости.

Феликс поставил жизнь в Оксфорде на широкую ногу. Успехами в учёбе не блистал, зато быстро совершенствовал английский язык и с головой окунулся в новую для него атмосферу.

Богатый хлебосольный князь, который не жалел денег на развлечения, тут же стал любимцем студенческой братии. Однокашники в подражание его причудам разгуливали по колледжу в женских платьях, спорили за право выгуливать юсуповского бульдога, трепетно ждали приглашений на роскошные ужины, участвовали в бесконечных затеях, розыгрышах, карнавалах — и грустили, когда князь уезжал в Россию, к матушке. Расписание занятий — три недели каникул

через каждые два месяца — его частым поездкам весьма способствовало.

Сейчас лимузин Юсупова мчал молодых людей из Лондона в Оксфорд. Весёлая компания устроилась в мягких кожаных диванах, освобождаясь от манерных сумочек, женских туфель и шляпок с приколотыми париками.

— Дорогой мой, — сказал князь и повернулся спиной к одному из приятелей, — распусти мне, пожалуйста, корсет.

Юноша, к которому обратился Юсупов, был англичанином Освальдом Рейнером.

— Ты так ему сказал! — жеманно говорил он, ловко управляясь со шнуровкой и крючками корсета. — Оставьте себе, это на чай! Ой, не могу… Просто умора…

Молодые люди залились смехом.

— Зря мы ушли, — заявил француз Жак де Бестеги. — Я встретил знакомого и вполне мог одолжить у него пару сотен.

— Нет уж, голуби мои! — Теперь Юсупов говорил голосом, нормальным для мужчины двадцати пяти лет. — Договорились, что играем, пока есть наличные. Проигрались — всё.

— А мне тоже обидно, — подал голос Луиджи Франкетти, пластичный студент из Италии. — Феликс, противный, зачем ты нас увёл? Стоило накрывать трауром два стола, чтобы тут же спустить всё на третьем и остановиться…

Этот ритуал англичане позаимствовали у крупнейшего европейского игорного дома — «Дворца казино» в Монте-Карло. Каждый рулеточный стол имел свой банк, свой денежный запас. И если этот запас кончался — банк объявляли сорванным, стол закрывали пологом из чёрного сукна и прекращали за ним игру.

Сначала приятелям невероятно везло. Они дважды сорвали банк, и служащие казино уже чувствовали себя

как на иголках, но тут удача отвернулась от весёлых студентов.

— В России говорят: играй, да не отыгрывайся, — назидательно сказал князь. — И ещё говорят: уговор дороже денег. Джентльмены, в конце концов, мы же не за тем шли!

Каждый поход с Феликсом превращался в приключение. Фантазия князя, разгорячённая рассказами Оскара Уайльда и рисунками Обри Бердслея, постоянно рождала всё новые шалости. Приятели могли переодеться женщинами и отправиться в казино, как сегодня, или устроить переполох в каком-нибудь ресторане, или разыгрывать уморительные сценки в поезде, в парке, на улице… Правда, бывали случаи, о которых не очень хотелось вспоминать.

Однажды они забрались в редкостно злачное место — и как только их неугомонный заводила разыскал этот притон?! Сначала просто веселились, пили, пели и танцевали. Но потом на хорошо одетых, благоухающих дорогими духами дамочек обратили внимание крепко подгулявшие моряки, чуть не целая корабельная команда. Князь вовсю флиртовал, играя роль роковой соблазнительницы, хотя приятели почувствовали опасность и умоляли его уйти. Доигрался до того, что предводитель моряков — огромный, покрытый расплывшимися татуировками бородатый детина — возжелал Феликса и поволок его в номера этажом выше. Покусились раззадоренные гуляки и на остальных.

Тут началась потасовка, досталось всем, и растерзанная компания улизнула каким-то чудом: ведь и с полицией в таком виде было встречаться небезопасно. Поклонников однополой любви не жаловали ни полицейские, ни пьяные матросы в грязном притоне. Даже газеты стыдливо называли таких — *джентльменами с грамматическими ошибками*, намекая на то, что благородное слово здесь неуместно…

— Так что же, на сегодня развлечения кончились? — капризно сказал Освальд и поджал губки.

Освобождённый из тисков корсета Юсупов подобрал подол платья, уселся поудобнее, пристально посмотрел на него и проникновенно спросил:

— Освальд, милый, ты помнишь мою фамильную икорницу?

Рейнера передёрнуло, а остальные молодые люди с хохотом принялись изображать приступ тошноты.

До тех пор, пока не появился Феликс, икорниц в Оксфорде не видали. Он же привёз с собою серебряное чудо, размером походившее на ведро, а видом — на византийскую крестильную купель. Не раз довелось княжеским гостям откушать чёрной икры из этой ведёрной купели — причём по-астрахански, ложками. А на одной вечеринке Феликс с приехавшими из России приятелями наполнили икорницу водкой. Компания студентов вооружилась небольшими хрустальными лафитниками и честно пыталась одолеть угощение, но даже самый стойкий не увидал ёмкость опорожнённой хотя бы наполовину. Зато потом всем было одинаково плохо, а Освальд болел неделю, клялся, что едва не умер, и зарёкся пить с русскими.

— Так вот, джентльмены, — обратился князь ко всей компании, — вечеринка продолжается, и я приглашаю всех к себе. Девочки, приведите себя в порядок: в гостях будут офицеры!

Последние слова Юсупов произнёс контральто, как в казино, и снова перешёл на обычный тон, через переговорную трубу недовольно прикрикнув на шофёра:

— Анри, мы что, куда-то крадёмся? Это «Роллс-Ройс» или старый «Форд»?

Шофёр покорно придавил акселератор. Машина рванула вперёд, а Франкетти умоляюще посмотрел на князя:

— Феликс, я прошу тебя, не гони!

Годом раньше Юсупов сам водил двухместный *Rolls-Royce Silver Ghost* — легендарный «Серебряный призрак» банкира Роллса и механика Ройса, установивших на модель девятьсот шестого года небывалый шестицилиндровый двигатель мощностью десять лошадиных сил. Феликс для пробы совершил пробег из Лондона в Эдинбург и обратно: «Призрак» уверенно разгонялся до восьмидесяти миль в час и всю дорогу шёл только на высшей передаче, расходуя на сто миль четыре галлона бензина.

В тот вечер князь уступил место за рулём приятелю. После ужина в Лондоне надо было успеть вернуться в Оксфорд к положенному времени — не позже полуночи. За три опоздания студенту грозило исключение из университета, а два раза Юсупов уже опаздывал.

Silver Ghost мчался вдоль железной дороги, приятели болтали о всякой ерунде: от Лондона до Оксфорда от силы полста миль, потеха для *Rolls-Royce*…

…который в тумане на полном ходу пробил дорожную ограду, и князь вылетел на рельсы. Каким чудом, каким невероятным рывком он успел вывернуться из-под колёс мчавшегося навстречу поезда — неизвестно. Смерч лондонского скорого оглушил и отбросил Феликса на железнодорожную насыпь, оставив целым и невредимым. Приятелю повезло меньше: он переломал кости и застрял в искорёженном авто.

По счастью, из будки путевого обходчика князь дозвонился до оксфордской больницы и вызвал карету скорой помощи. В колледже он появился с опозданием на два часа, но ввиду извиняющих обстоятельств не был изгнан.

Даже после аварии молодой князь Юсупов сохранил редкий авантюризм, не утратив юношескую веру в собственную неуязвимость. Однако матушка взяла с него слово — беречь себя. Теперь за рулём нового

просторного лимузина *Rolls-Royce Silver Ghost Double Pullman* сидел шофёр-француз.

— И то верно, Феликс! Ни к чему искушать судьбу, — согласился с итальянцем де Бестеги. — Хочется пожить подольше.

— Ничего вы не понимаете, — вздохнул Юсупов. — Как это по-английски — какой русский не любит быстрой езды?.. В общем, *every Russian likes to drive fast*. Национальная особенность!

— Я этих ваших особенностей не понимаю, — насупился Франкетти. — И что творится у вас при дворе — тоже особенность? Этот мужик...

Словечко *muzhick* в речи оксфордского студента-итальянца прозвучало неожиданно. «И когда только успел подцепить», — сердито подумал князь.

— Да, — оживился Рейнер, — что это за история? О ней трезвонят все газеты. Какой-то *Rasputin*, его любовь с царицей...

— Полегче, джентльмены! — Феликс повысил голос. — Если повторять всякую дрянь, во рту заводятся жабы!

Де Бестеги не унимался:

— Но кто это? Ты его знаешь?

— Видел как-то раз. Обычный крестьянин. Хам из глубинки. Лохматый, вонючий, ногти чёрные, глазки бегают, рожа корявая, болтает не пойми что... Хитрый, наглый. Шут, в общем.

— Но почему про него столько говорят? — продолжал допытываться Рейнер.

— Милый Освальд, — сказал Юсупов и ласково потрепал приятеля за ушко, украшенное изящной серёжкой, — газетам нужен скандал, иначе кто станет их покупать? Если скандала нет, его придумывают... И ещё: сейчас Россия сильна, как никогда. У нас есть такая басня — про маленькую собачку Моську. Она

лаяла на слона и мечтала попасть без драки в забияки. Чтобы все думали, что она очень сильная, и боялись…

— У нас тоже есть похожая басня, — вставил де Бестеги.

— Вот свора таких Мосек и тявкают на Россию. Что же, прикажете слону всех передавить?

— Ну, зачем же, — Франкетти придирчиво разглядывал своё отражение в зеркале пудреницы. — Достаточно раздавить этого *Rasputin*. Если он дискредитирует семью императора…

— Не будет этого — найдётся другой. Так пускай уж будет этот, — глубокомысленно заявил Феликс. — Пускай Распутин — сукин сын, но он — наш сукин сын. Прошу прощения, джентльмены. А вреда от него нет. Если её величество находит, что *muzhick* забавен, пусть развлекается! И какое дело остальным? Ну, а если эта муха, этот комар посмеет забыться — раз!

И князь громко хлопнул в ладоши, не оставляя сомнений в судьбе Распутина.

Глава V. Стокгольм. Печаль кавалериста

— Митенька, прошу тебя, не терзайся так, не расстраивайся! — ворковала Мария Павловна, идучи по палубе прогулочного кораблика рядом с братом и стискивая его пальцы. — В конце концов, это ведь только игра. Нельзя каждый день выигрывать. Сегодня тебя побеждают, завтра ты побеждаешь… Игра, Митенька! Экая важность — футбол…

Но Дмитрий Павлович держался другого мнения и по молодости не мог сдержать эмоций:

— Ты не понимаешь! Мы же самих себя выложили, как на ладони! Чёрт возьми, это же надо было — так бездарно продуть… Слышала, что читал твой

англичанин? Репортёришка, конечно, сволочь, но очень верно всё подметил. И дисциплину безобразную, и обычное наше авось-небось: авось, пронесёт… небось, не забьют… Ты же сама видела, что они вытворяли на поле! Каждый бегает, как бог на душу положит, каждый сам по себе. Атаку начинают — не доделывают, и ещё руками разводят: не получилось, мол… И добро, если бы у себя где-нибудь играли. А то — посреди Европы, на глазах у всех!

Прогулочный кораблик с гостями герцогини Сёдерманландской продолжал лавировать в шхерах.

— Знаешь, сколько здесь таких островков? — Мария Павловна попробовала сменить тему и повела миниатюрным биноклем по сторонам. — Целый архипелаг! Говорят, больше двадцати четырёх тысяч, представляешь?!

Она хотела отвлечь Дмитрия Павловича от неприятных воспоминаний: он слишком близко к сердцу принимал то, что случилось на Олимпиаде.

В Стокгольме молодой великий князь появился не как зритель и не как почётный гость от императорской фамилии — Дмитрий Павлович возглавлял сборную российских конников. Офицерам повезло: Мария Павловна поселила их у себя во дворце и неустанно придумывала всё новые и новые развлечения — выезды кавалькадами, шумные застолья, театральные представления, морские прогулки вроде нынешней…

Сейчас она успокаивала брата, как могла. Позорное фиаско футболистов было самым заметным, а потому особо тешило злые языки. Но и кавалеристы, увы, оказались не на высоте.

Они ехали в Стокгольм уверенными в себе. Ежегодные скачки для офицеров в Красном Селе под Петербургом проводились уж лет сорок. *Русский стипль-чез* — заезд на четыре версты с десятью препятствиями — давно стал неофициальным

первенством армии. При стечении публики здесь соревновались лучшие наездники со всей империи. Верховые офицеры в военной форме и при оружии выглядели грозными и прекрасными; холёные лошади тщательно отбирались из тех только, что уже участвовали в смотрах и учениях…

Самоуверенность помешала Дмитрию Павловичу и его товарищам по команде не меньше, чем чиновничья бестолочь в Российском олимпийском комитете. Вот и получилось, что в первенстве по выездке лучший из русских стал девятым среди двадцати участников. В преодолении препятствий великий князь показал седьмой результат, но остальные застряли в середине турнирной таблицы. А в командном зачёте России досталось пятое место из шести: Дмитрий Павлович отказался от соревнований по троеборью. Посчитал, что позора и без того уже достаточно.

Конечно, попасть в число лучших конников мира для кого-то — огромное счастье и несбыточная мечта. Для кого-то, но не для молодых русских офицеров, ехавших только за победой. И тут ещё этот футбольный кошмар!

— Так что с того? Проиграли и проиграли, — продолжала увещевать Мария Павловна. — Не знал бы нас никто — может, и удивились бы. А так чему удивляться? Россию и без твоего футбола знают как облупленную. Нас пока всерьёз не обидят, сидим себе тихо. Запрягаем долго — зато ездим быстро… Ты вспомни, русские с кем только не воевали! И что, не били французов, англичан или тех же немцев? Всегда били. Правда, обычно сперва они нас, но уж потом обязательно мы их… Характер такой национальный. Всегда так было!

— Да, французы, немцы, — саркастически усмехнулся Дмитрий Павлович, — ты ещё шведов с финнами забыла. Кого мы только шапками не закидывали!

Он потянул из портсигара новую папиросу, но сестра мягко удержала его руку:

— Митенька, береги лёгкие… Ты же совсем как маленький Ленарт, он у нас часто кашляет… А команду всё равно надо было отправить. Чтобы увидели здесь настоящую игру и взяли её примером. И чтобы обратили на себя внимание в спортивном мире!

— Обратили, не то слово, — кивнул Дмитрий Павлович. — Дюперрона послушали, и вот результат!

Спортивный журналист Георгий Дюперрон был родоначальником российского футбола. Именно он пятнадцать лет назад устроил первый в России футбольный матч и стал капитаном первой футбольной команды Петербурга.

— Ему бы сейчас локти кусать, — сердито продолжал великий князь, — только ведь Георгий Александрович сюда не с футболистами приехал, а лёгкую атлетику судить… Мы даже в четвертьфинал попали стыдно!

— Ничего стыдного, — возразила Мария Павловна, — так жребий решил. И потом, датчане тоже в отборочных не играли…

Кто сказал, что женщины безразличны к спорту? Кто придумал, что состязания вызывают у них лишь зевоту и мигрени? Ничуть не бывало! Мария Павловна, молодая энергичная женщина, интересовалась спортом живейшим образом, и при случае сама любила посоревноваться, давая фору многим мужчинам.

Очень кстати появился стюард с холодным лимонадом. Дмитрий Павлович залпом осушил один бокал; взял второй, сделал глоток и принялся разглядывать проплывавшие мимо гранитные скалы, высящиеся из ярко-синей воды. Но мысли его против воли возвращались к футболу, к сокрушительной победе Германии. От воспоминаний к горлу подкатил комок. Дмитрий Павлович сглотнул, и Мария Павловна ещё крепче прижалась к его локтю.

— Всё позади, — по-матерински ласково приговаривала она, — всё уже позади, Митенька. Пойдём, а то перед гостями неудобно: я их пригласила и бросила…

— Ты же их не одних бросила, — попытался улыбнуться Дмитрий Павлович. — Вон их сколько! И потом, все взрослые люди, пусть придумают что-нибудь. В фанты, что ли, поиграют…

— Пойдём, пойдём, болтун милый…

Мария Павловна потянула брата обратно на корму прогулочного кораблика, где под тентом пряталась от зноя светская компания.

Глава VI. Санкт-Петербург. Пророк

Бурлюк продолжал потеть и пить пиво, а Маяковский разглядывал брошюру.

Издание было дешёвое. Грубая бумага за время путешествия в давидовом кармане потёрлась и намокла. Рисунок на обложке изображал двух гладиаторов: один, выронив щит, лежал навзничь; второй припал на колено и наносил *удар милосердия*, пронзая копьём грудь поверженного.

— Учитель и ученик. Разговор. Сочинение Велимира Хлебникова, — прочёл Маяковский под рисунком. — Херсон, тысяча девятьсот двенадцатый год. Свеженькая…

— Первая Витина книженция. Всего месяц как вышла, — сообщил Бурлюк. — А рисовал Володька, брат мой… Уж не обессудьте, что в таком виде: жарища, с меня льёт, как в бане.

Маяковский брезгливо перевернул несколько слипшихся от пота страниц.

— А где стихи? — спросил он. — Текста кот наплакал, цифры, таблицы…

— В том-то и дело! — Бурлюк сверкнул глазом. — Стихи для Вити — это слишком просто. Частный случай, как говорят математики. Есть художники слова, есть художники карандаша или красок… А Велимир Хлебников — художник вообще! Вот у кого поучиться глобальности мышления… Знаете, что у вас в руках? Бомба! Настоящая бомба, доложу я вам!

Маяковский восторгов Бурлюка не разделил и усмехнулся:

— Ну, уж бомбу-то мне в руках держать доводилось. И это на неё похоже мало, — он разгладил влажную страницу и начал монотонно читать наугад, прыгая через строки. — *Бег* бывает вызван боязнью, а *бог* — существо, к которому должна быть обращена боязнь… Также слова *лес* и *лысый*, или ещё более одинаковые слова *лысина* и *лесина*… *Лес* есть дательный падеж, *лысый* — родительный… Место, где исчезнул *лес,* зовется *лысиной*… Также *бык* есть то, откуда следует ждать удара, а *бок* — то место, куда следует направить удар…

Он поднял глаза на Бурлюка:

— И это вы называете бомбой? Смешно! Лес и лысина — одно и то же слово в разных падежах? Что за… Нет, интересно, конечно. Интересно. Неожиданный такой эксперимент, вполне футуристичный…

Теперь уже пришёл черёд Бурлюку возмутиться:

— Вы говорите, интересно?! Смешно, говорите?! Вот вся эта чушь — футбол и прочее перетягивание каната, всё это — действительно смешно. А вы только что прочли гениальные строки! Велимир нащупал путь к началу начал… Представьте наш мир давным-давно, миллионы лет назад. Всё есть, а человека ещё нет. Нет носителя сознания, понимаете? И некому понять, что это такое вокруг и зачем оно возникло. Пока людей,

пока нас с вами нет — нет и смыслов того, что уже есть…

— Вам голову напекло, Давид Давидыч, — участливо сказал Маяковский, — выпейте ещё пива. Может, отпустит…

Но Бурлюк только отмахнулся:

— Вы послушайте! Изначально у всего сущего смысла нет. Никакого смысла ни у деревьев, ни у реки… И у солнца этого, будь оно неладно, тоже сначала никакого смысла нет! Вернее, смыслы есть, но они схлопнуты, спрессованы вот так… — Давид сложил свои большие розовые ладони. — А потом появляется человек, и начинает их открывать, один за другим, всё шире и шире, и пытается выразить словами смысл реки и солнца, бега и бога…

Подперев щёку кулаком, Маяковский проследил за ладонями Бурлюка, которые медленно двинулись в стороны, и насмешливо закончил:

— …а как только смыслы раскроются и потеряют бдительность — сразу появляется Хлебников и путает их так, что уже и леса от лысины не отличишь.

— Эх, Владим Владимыч, — вздохнул в сердцах Бурлюк и, схватив со столика кружку, прервал речь добрым глотком пива. — Вы видите и слышите только то, что здесь и сейчас. А надо стремиться увидеть и услышать всё, от начала времён, и до сих пор, и дальше…

— …и ныне, и присно, и во веки веков, — опять продолжил Маяковский, по-церковному напирая на «о». — Аминь!

Бурлюк с сожалением глянул на молодого товарища.

— Вы ещё не раз вспомните этот разговор, — пообещал он. — Велимир открыл несколько правил, которым подчиняются судьбы народов и государств. Все эти цифры в книжке — законы рока! Понимаете, история раз за разом повторяется…

— Тоже мне, новость! — фыркнул Маяковский. — Что история повторяется, это ещё Гегель сказал. Мне товарищи после второго ареста почитать давали.

— Да погодите вы со своим Гегелем! Одно дело — просто сказать, а другое — найти закон, по которому это происходит. Например, Витя рассчитал, что периоды между началами государств делятся на четыреста тринадцать лет. Великие походы, потерпевшие неудачу, разделяет девятьсот пятьдесят один год. А падения империй и гибель свобод происходят через тысячу триста восемьдесят три года…

— Так-таки и происходят?

— Вы не поленитесь, почитайте, в книжке все даты перечислены! И про войны арабов с китайцами почитайте, и про Петра Первого со шведским Карлом, и про то, как японцы накостыляли нам в Порт-Артуре и Цусиме… Если сложить годы, которые главные православные страны существовали до первой утраты свободы, то получится ровно столько, сколько существовала их мать — Византия. Скажете, случайно? Или вот: через четыреста тринадцать лет после объединения Англии немецкие города создали Ганзейский союз, а через ещё четыреста тринадцать лет к России присоединилась Украина. Это было в тысяча шестьсот пятьдесят третьем году — значит, в две тысячи шестьдесят шестом случится ещё какое-то великое слияние народов.

Маяковского рассказ не впечатлил:

— Через сто пятьдесят лет… Поди, проверь! Эдак что угодно связать можно. Дат в истории много. Тут сложил, там поделил — что-нибудь обязательно сойдётся.

— У Велимира не что-нибудь, а всё сходится! И особенно в российской истории, — заявил Бурлюк и поднялся. — Давайте-ка пойдём отсюда. И вот ещё что… По Витиным расчётам в семнадцатом году случится

крах великой империи. Говорит, семнадцатый год — роковой. Правда, работу он пока не закончил, а потому не может сказать наверняка — Англия падёт или Россия развалится… Скорее, всё же Англия. Книгу я вам дарю. Найдите время спокойно почитать, не пожалеете…

Уже стоя друзья сделали по последнему глотку пива, синхронно стукнули донцами пустых кружек о столик — и двинулись по набережной в сторону Зимнего дворца, полыхающего пурпуром стен. Смешливые институтки провожали их взглядами, а встречные расступались перед этой странной парой: одноглазым белым богатырём — и одетым в чёрное худым юношей, на голову возвышающимся над светлыми ажурными зонтиками фланирующих дам.

На Дворцовом мосту, падая, тяжело ухали брёвна, трещали и шлёпали доски, визжали выдираемые гвозди, стучали топоры…

Из сияющих граммофонных раструбов на прогулочных судёнышках над Невой перекликались голоса Анастасии Вяльцевой, Михаила Савоярова и Юрия Морфесси:

— Когда эвакуируюсь с пирушки я домой, всегда полемизирую с дурацкою луной… как хороши те очи! Как звёзды среди ночи… Я мила друга знаю по походке, он носит серые штаны…

С пластинок надрывали душу цыганские хоры Николая Шишкина и Егора Полякова:

— Нанэ цо-оха, нанэ га-а-ад! Мэ кинэл мангэ ё да-ад…

Сочный бас Фёдора Шаляпина вплетал в эту какофонию песню о русской дубине, и всех вместе заглушал духовой оркестр из пяти музыкантов, игравших на большом паровом катере у причала.

По мостовой вдоль фасада Адмиралтейства цокотали подковами кони и катили скрипящие рессорами пролётки. Оставляя за собою шлейф едкого бензинового

перегара, протарахтел маленький ярко-голубой *Ford-T*, и следом тут же скользнул ещё один точно такой же.

— Жуть, — кивнул на них Маяковский.

— Здесь так заведено, — пояснил Бурлюк. — У каждой таксомоторной компании свой цвет.

— Фантазии маловато. Я б им такого намалевал... Заказец не организуете, Давид Давидович? Десять процентов ваши!

Друзья перебежали через дорогу к Адмиралтейству прямо перед большим белым автомобилем. Лязгнул тормоз, шины скрипнули по брусчатке; шофёр в светлом форменном френче и тёмной фуражке яростно потыкал кулаком резиновую грушу сиплого клаксона. Из салона выглянул патлатый пассажир с мужицкой бородой.

Маяковский проводил автомобиль взглядом и сказал восхищённо:

— Вот это я понимаю, моторище! Франция, «Панар-Левассор», кузов «ландоле»...

— Компания РТО. «Белые таксомоторы», как нетрудно догадаться, — пояснил Бурлюк и с интересом взглянул на юного спутника. — А с каких это пор вы в автомобилях разбираетесь? «Панар-Левассор», понимаете ли...

Они повернули на Дворцовый проезд к Невскому проспекту, и тут в раскалённом воздухе звонко бабахнуло. Маяковский вздрогнул и недоумённо поглядел на Бурлюка.

— Пушка, — с превосходством знатока сообщил тот, утирая лоб и шею большим пёстрым платком. — В Петропавловской крепости есть такой Нарышкин бастион. Оттуда ровно в двенадцать стреляет пушка.

— Что, каждый день?

— Каждый день. Отличная мысль, правда? К ней вообще целая история прикручена. Вот бы нам что-нибудь такое на футуристический вечер. Всё тихо, покойно... Вдруг — бабах! И блёстки из-под потолка, —

мечтательно сказал Бурлюк и вернулся к прежней теме. — Нейдёт у меня из головы этот крах империи в семнадцатом году. Лучше бы, конечно, рухнула Англия. Как говорится, не приведи господи жить в эпоху перемен. А с другой стороны, почему нет? Если бы у нас началось, я бы тоже хотел взглянуть…

— Не *если бы началось*, а *когда начнётся*, — перебил его Маяковский. — Англия или Россия — прогнило всё давно! Германия, Франция… На свалку пора! Это же диалектика! Вы бы ещё вспомнили шумеров своих с пивом. А до семнадцатого года всего ничего осталось. Не бог весть, какое будущее. Поживём — увидим!

— Вот здесь я с вами согласен. Скоро увидим, — Бурлюк снова заблестел глазами, переключаясь на новую мысль. — Знаете, Хлебникову не нравится наше название — футуристы. Правильно говорит: не русское оно! Предлагает называться *будетлянами*, ещё одно слово придумал. Будетляне — это люди, которые будут. В том смысле, что мы — накануне!

Глава VII. Футбол 1912 года. Немецкий день победы

Сборные России и Германии встретились в утешительных матчах.

Отборочную игру россияне проиграли финнам 1:2. Финляндия выступала под российским флагом, но спортсменов прислала на Олимпиаду отдельно. И вот одна команда империи выбила из турнира другую.

Германцам тоже не повезло. В матче против Австрии, пытаясь в прыжке перехватить угловой удар, их голкипер крепко столкнулся лоб в лоб с австрийским форвардом. В сознание он пришёл только через полчаса и дальше играть уже не мог. Ах, если бы правила разрешали замену! Но пострадавшего просто пришлось

унести с поля. Сборная Германии осталась вдесятером — и пропустила пять мячей в ответ на свой единственный гол.

Утешительная игра уже ничего не решала, и всё же заинтригованная публика переполнила стадион.

Германцы были уверены в себе настолько, что выпустили на поле даже не самый сильный состав. Правда, все нападающие великолепно сыгрались, поскольку выступали за клуб *Karlsruhe*. Сборная Германии решила напоследок выплеснуть силы, накопленные для целого турнира, и вдобавок отыграться за обидное поражение от австрийцев.

С первых же минут на вратаря сборной России обрушился шквал ударов. Казалось, после бросков он даже не успевает подниматься и снова занимать своё место: слаженная машина германского нападения методично таранила и перемалывала русскую оборону. Форварды быстро пристрелялись, и в ворота начали влетать мяч за мячом.

Ужас, царивший на поле, постепенно передался трибунам. Цепенеющая публика безмолвно взирала на то, как германцы легко расправляются с защитниками сборной России — и пушечными ударами беспощадно расстреливают вратаря. Чуть не плакал юный Михаил Сумароков-Эльстон, восходящая звезда российского и европейского тенниса. Угрюмо молчали стрелки Николай Мельницкий, Павел Войлошников и Георгий Пантелеймонов. Хрустел пальцами Николай Панин-Коломенкин, чемпион прошлой Олимпиады. Избегали смотреть друг другу в глаза яхтсмены — Иосиф Шомакер, Александр Вышеградский и Эспер Белосельский с Эрнестом Браше. Свирепели от бессильной ярости конники — подпоручик Шарль фон Руммель, капитан Алексей Шиков и ротмистр фон Экзе…

Мертвенно-бледный Дмитрий Павлович сидел в королевской ложе, вцепившись зубами в перчатку. Мария Павловна боялась взглянуть на брата, хотя смотреть на поле было тоже невыносимо. Она незаметно дала слугам знак — убрать ведёрко с шампанским, которым собирались отметить окончание игры: такого избиения младенцев не ожидал увидеть никто.

Офицеры из команды конников и большинство участников российской делегации покинули стадион через двадцать минут позора, после четвёртого гола в ворота сборной России. А потому не увидели следующих четырёх, вколоченных с минутными интервалами…

На вторую половину матча обе команды вышли, как на эшафот, — с той лишь разницей, что одни полны были решимости казнить, другие же приготовились к неизбежному. И казнь состоялась.

Игроки сборной Германии продолжали уверенно давить физической мощью и сыгранностью. Индивидуальная техника российских форвардов была бессильна против несокрушимого монолита германской защиты. Измочаленный вратарь в перепачканной и мокрой насквозь оранжевой рубашке уже не мог прыгать: верховые мячи стали для него недосягаемыми.

Дмитрий Павлович едва сдерживался, не позволяя себе подняться, отшвырнуть кресло… Его удерживала мысль о том, что уйти сейчас, когда судьба матча уже решена, — это подлость. Великий князь представил себя на месте футболистов сборной России, которые попали в германскую мясорубку и отчаянно пытались сохранить лицо в безнадёжной ситуации…

…и понял, что уйти невозможно. Он остался и вместе с командой оранжевых испил чашу позора до дна. Всё это время Дмитрию Павловичу казалось, что зрители смотрят уже не на поле, а только на него — молодого красивого офицера, сидящего в ложе для почётных

гостей; великого князя российского императорского дома, двоюродного брата Николая Второго и родного брата будущей королевы Швеции. А он бессилен был хоть как-то помочь своей команде, как-то изменить ход игры. Дмитрий просто сидел истуканом и ждал конца, и каждый гулкий удар по воротам вонзался в него, как чёрная пуля, и рвал на части его тело и мозг…

Свирепые германцы вколотили России ещё восемь мячей, не позволив ответить даже голом престижа. В момент, когда свисток рефери прекратил, наконец, этот позор, на табло красовался шокирующий, совсем не футбольный счёт — 16:0.

Глава VIII. Санкт-Петербург. Драка драке рознь

Сколько раз он видал это по молодости!

Бывать-то случалось и в сёлах окрест родного Покровского, когда отец по делам крестьянским посылал; и в Тюмени, и в Тобольске, когда сам промышлял извозом…

Как затеются гулянья — народ весёлый шатается по улицам туда-сюда. Шелуха от семечек летит веером, гармони заливаются вперебор. И каждый каждому друг, а как не налить другу? Как не угостить, не проявить широту души?!

Но вот не поделят двое ерунду какую-нибудь. Из-за девки вертлявой поспорят, из-за места на завалинке, или забрызганных хромовых сапог, или случаем задетого локтя. И вот уже слышится первая плюха, вторая…

Вдвоём дерутся недолго. Набегают ещё и ещё удалые бойцы, компания на компанию, глядь — и под бабий визг и мужицкий рык кулаками машет уже целая улица. Все бьются со всеми. Жестоко, истово, как против самого страшного врага бьются с теми, кого только что угощали, или наоборот — в глаза не видывали до тех пор, пока разок-другой не съездили в рыло, не врезали по морде, не закатали в чу́ху…

Появляется, знамо дело, и полиция. Только не враги они себе: дураков-то нету — соваться раньше времени. Не ровён час, залетишь под горячую руку какому-нибудь кузнецу, или плотогону, или просто крестьянину поздоровее — покалечит ведь, не разобравши! Нет, лучше уж постоять, подождать, пока мужички малость натешатся.

В грязь под ногами выплюнуты первые выбитые зубы, туда же летят картузы и сброшенные поддёвки… Потом начинает народ звереть и выдыхаться. Тогда один тянет ножик из-за голенища, второй стискивает в кулаке подкову, третий рвёт от забора дрын — и тут затевается совсем уже нешуточная потеха. Дольше ждать полиции невозможно, приходится пальнуть в воздух. Народ, хрипя и утирая юшку из разбитых носов, расступается…

…а кто-то остаётся на земле. Только недавно был такой весёлый, молодой, щеголеватый; шутками сыпал направо и налево, табачком оделял — и вот лежит, неловко подвернув ногу, посреди улицы, среди окурков и подсолнечной шелухи. Праздничная одёжа изодрана, полбашки нету — или брюхо распорото, а в углу рта пена кровавая запеклась. И глаза стекленеющие в небо глядят.

Баба какая-нибудь непременно голосить начнёт, за ней ещё одна, ещё… И ведь народу кругом — тьма, но спроси кого угодно — за что дрались-то? за что мужичок этот жизнь отдал? — никто не ответит. Потому как ни за что.

Дерутся двое — так и пусть себе дерутся. Отведут душу, отдубасят друг друга, а потом спросят в соседнем кабаке штоф смирновской, напьются в обнимку, да задружат снова. Синяки заживут, и главное — все останутся целы. Нет, нельзя никогда в чужую драку ввязываться. Нельзя, нельзя, нельзя…

Большой таксомотор с блестящими белыми бортами подскочил на крутом горбатом мостике через Лебяжью канавку, и прыжок этот прервал мысли бородатого ездока. Ну что ж за народ такой — шофёры?! Говори, не говори, а когда едут по невской набережной мимо Летнего сада, непременно придавят акселератор и прыгнут на мосту через Лебяжью канавку… Э-эх!.. Потом с ветерком вдоль садовой решётки — и ещё один

прыжок, через реку Фонтанку. Там тоже крутой горбатый мостик есть, Прачечным называется.

Довольный своей удалью шофёр в светлом форменном френче и тёмной фуражке обернулся и глянул через плечо на пассажира. Белый *Panhard-Levassor*, которым возле Адмиралтейства восторгался Маковский, теперь пересчитывал узкими шинами брусчатку Французской набережной. Слева на версту расстилалась ослепительная гладь Невы, справа тянулся сплошной фасад раскалённых на солнце архитектурных красот.

Дом Баура, который построил тот же архитектор Фельтен, что придумал волшебную решётку Летнего сада…

Дом дочери Кутузова, откуда ровно сто лет назад отправился полководец на Отечественную войну — навстречу Бородинской битве, пожару Москвы и победе над Наполеоном…

Дом мецената и государственного мужа, графа Кушелева-Безбородко…

Дом Оленина, где не раз доводилось гостевать Пушкину, Вяземскому и Мицкевичу и где помещалось теперь французское посольство, давшее имя набережной…

Автомобиль вырулил направо, на Литейный проспект, потом свернул налево, в Кирочную улицу, и там, эффектно развернувшись, остановился у двенадцатого дома.

Шофёр спрыгнул наземь с мягкой скамеечки, служившей ему сиденьем; подтянул на рукавах кожаные краги и распахнул пассажирскую дверь.

— Прошу, Григорий Ефимович! Ещё поедем куда? Подождать?

— Господь с тобой, милой, — прокряхтел ездок, выбираясь с заднего сиденья. — Укатал ты меня…

Выглядел он как обычный зажиточный крестьянин лет сорока с небольшим. Довольно длинная тёмно-русая борода; стриженые в скобку волосы — немного светлее, с небрежным пробором посередине. На морщинистом загорелом лице крупный нос в оспинах и глубоко сидящие светлые глаза. Одет хорошо, в вышитую лиловую шёлковую рубашку с малиновым поясом и полосатые английские брюки; на ногах — лёгкие туфли в клеточку. Коренастый, плечистый, только руки какие-то не крестьянские. Нервные, беспокойные…

— Сейчас, сейчас, милой. — Пассажир пошарил по карманам и выудил горсть монет. Глянул, прищурившись, на таксометр. Аккуратно отсчитал, сколько надо, и вручил шофёру: — Езжай себе с богом.

Шофёр укатил в сторону Литейного, намереваясь оттуда через Фонтанку попасть в *стойло* — так шофёры и механики Российского Таксомоторного Общества называли меж собой огромный гараж на Конюшенной площади, рядом с открытым недавно храмом Спаса-на-Крови. Самая большая компания столицы держала в бывших конюшнях сотню с лишним новеньких, белым крашенных автомобилей — владельцы предпочитали французские моторы, вроде *Panhard-Levassor*, что приметил Маяковский, или *Charron.*

В январе или начале февраля в *стойло* РТО доставили распоряжение министра внутренних дел Макарова: установить вторичное наблюдение за Григорием Ефимовичем Распутиным. Так что теперь каждому, кто возил особого пассажира, следовало об этом сообщать. И неспроста в переулке напротив дома на Кирочной прятался от солнцепёка неприметный мужчина. Этого агента охранного отделения шофёр видел не в первый раз…

Распутин толкнул тяжёлую резную дверь парадного входа и нырнул в прохладный вестибюль. Всё-таки в поездках на автомобиле есть своя прелесть. Дорого,

конечно, зато быстро. Григорий Ефимович не раз хаживал на богомолье по три тысячи вёрст из Тобольска в Киев и столько же обратно. Ему, который пешком добирался аж до самого Иерусалима, неспешно пройти из центра Петербурга на дальний конец Васильевского острова — развлечение. Но туда, обратно — вёрст двадцать; почитай, целый день убил бы! А тут и проснулся не слишком рано, и когда пушка бабахнула полуденным выстрелом — большой белый таксомотор уже вёз его домой мимо Адмиралтейства. Хорошо! Кабы не прыжки через мостики, от которых нутро переворачивалось…

В большом и, кроме лепного фасада, ничем особо не примечательном доходном доме Распутин жил в квартире Георгия Петровича Сазонова, издателя журнала «Экономист России». Так уж повелось, что после приезда в Петербург приют ему давали неподалёку от Николаевского вокзала: сперва у Лохтиных на Греческом проспекте, теперь вот — здесь, на Кирочной.

В просторной издательской квартире Григорий Ефимович выбрал себе комнатку поменьше, разве что не чулан. Помещалась там только простая кровать с металлическими спинками, комод и крашеный деревенский стол-буфет.

Георгий Петрович спрашивал Распутина, к чему такая скромность; предлагал не стеснять себя, но в ответ слышал только благодарность за предоставленный угол:

— Сам господь не избрал царские чертоги, а выбрал себе ясли убогие! В Покровском пришло мне в голову, недостойному: взял, выкопал в конюшне вроде могилы пещерку и туда уходил между обеднями и заутренями молиться. В тесном месте не разбегается мысль, нередко и ночи все там проводил…

Сейчас в своей комнатке Распутин растворил настежь окно, глядевшее во двор, и вернулся к тому, о чём думал в автомобиле — о чём последнее время толковали не только они с Сазоновым, и не только в Петербурге, а по всей России.

Нельзя ввязываться в чужую драку, рассуждал Григорий Ефимович. Никак нельзя. Двое дерутся — третий не лезь! В Европе ждут, что мы станем сербами больше, чем сами сербы. А то как же, ведь Россия — это новая Византия, оплот православия… Но разве ж так можно?! И зачем, главное? Нет, не должна Россия воевать за чужие земли! Своей земли столько — рабочих рук не хватает. Любого крестьянина спроси…

— Воевать вообще нельзя: жизни лишать друг друга, отнимать блага земные, душу собственную прежде времени убивать, — уверял Распутин в спорах с хозяином квартиры. — Грех это страшный! Пусть забирают друг друга немцы и турки — это их несчастье и ослепление, а мы любовно и тихо, смотря в самих себя, выше всех станем…

Свой дом блюсти надо, говорил Григорий Ефимович. А болгар, черногорцев, сербов и остальных — господь не оставит. И пускай сами за себя порадеют: не всё за них русской кровушкой платить! Довольно уже того, что снабжает их государь оружием и прочим, чего и в России не в избытке.

Хозяин квартиры держался совсем другого мнения, как большинство интеллигентных господ, думских депутатов, членов правительства — и, конечно, военных.

— Защита братских славянских народов — наш священный долг, — уверял Георгий Петрович своего постояльца. — Вообще давно пора навести в Европе порядок и показать, кто здесь настоящий хозяин!

Можно было понять военных, которым только волю дай — губили бы друг друга, не переставая. Можно было понять правительство и Думу, а с ними Сазонова и

остальных, что горели желанием восстановить европейскую справедливость по своему разумению. Не этим господам, случись что, иди навстречу пулям и шрапнели; не им вместо павших лошадей таскать по горам неподъёмные пушки, кормить вшей собственным мясом, хлебать в слякоти окопов вонючую баланду со скрипящим на зубах песком, наматывать на штыки кишки врагов — и умирать самим в месиве из крови, дерьма и земли. Чужой земли.

Сторонники войны красиво говорили о политике, особом пути и высоком предназначении России — не забывая о собственной карьере, наградах, прибыльных военных заказах… И молчок о том, что на самом деле война — тяжкий труд, кровь и горе многих миллионов безымянных, маленьких людей, которым на роду написано не гнить за тысячи вёрст от родного дома, а пахать и сеять, пасти скотину, строить дороги, растить детей…

Одним из миллионов и был Распутин, рождённый в далёком от Петербурга сибирском селе Покровское. До недавних пор — простой крестьянин Григорий сын Ефимов, ставший нынче божьим старцем для светской публики, излюбленным персонажем — для газет, объектом слежки — для министерства внутренних дел и помехой — для слишком многих.

Глава IX. Стокгольм. Война как спорт

Мария Павловна привела Дмитрия Павловича под тент на корме кораблика, чмокнула его в щёку и вернулась к гостям. Великий князь устроился в свободном шезлонге, стоявшем с краю, чуть поодаль от остальных. Соседний — рукой подать — занимал англичанин, прежде читавший вслух футбольные репортажи из московской газеты.

По виду — типичный британский офицер. Среднего роста, поджарый. Мужественное, волевое лицо сорокалетнего кадрового военного. Высокий лоб, короткая причёска с пробором, тщательно подстриженные усы щёточкой. Спокойный, внимательный взгляд глубоко посаженных серых глаз…

…которые смотрели прямо на великого князя.

— Для меня большая честь оказаться рядом с вами, ваше императорское высочество, — произнёс англичанин. Он прекрасно говорил по-русски, хотя и с выраженным акцентом. — Я заметил, что вам было неприятно слушать, как я читал, и готов принести глубочайшие извинения. Я сожалею…

Дмитрий Павлович прервал его нарочито небрежным жестом:

— Не сто́ит. Мне понравилось, как вы читали. Не понравилось только — *что* читали. Но ведь это была не ваша статья. Зачем же извиняться?

— Благодарю, ваше императорское высочество.

— Оставьте церемонии, господин?..

— Келл. Ве́рнон Келл. Я буду признателен, если вы станете называть меня Вернон.

Внимание остальной компании отвлекла Мария Павловна, предложившая недавнее местное

изобретение — шведский стол. С рыбачьей шхуны герцогине на корабль переправили несколько корзин свежевыловленных креветок. Гости успели проголодаться и, несмотря на жару, оживлённо воздавали должное искусству поваров. Два офицера могли спокойно говорить особняком от всех.

— Честно говоря, — сказал великий князь, — как бы ни было неприятно это признавать, почти все упрёки в газете справедливы. Пассажи про разгильдяйство, неспособность быстро ориентироваться в ситуации, дилетантство, боязнь принятия решения — это, к сожалению, правда. Но то, что мы оказались хуже всех — конечно, полная чушь.

— Бей своих, чтобы чужие боялись? О да, это очень по-русски. Простите бедному репортёру издержки профессии…

— …ибо в поте лица своего добывает он хлеб свой, — кивнул Дмитрий Павлович. — Это вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что при внешней агрессивности статья затрагивает очень интересные и глубокие… э-э… аспекты. Если смотреть на игру как на просто игру — вам удалось убедить Европу в том, что у русских, в сущности, нет футбола в современном понимании этого слова. Небольшая беда: сегодня в России футбола нет, завтра или через сто лет он будет. Но если задуматься, то — позвольте цитату…

Англичанин поднял газету, лежащую на палубе между их шезлонгами, и быстро нашёл нужное место.

Команда на команду — это маленькая армия на армию. Это народ на народ. Каждая команда — это воплощение государства, сконцентрированная народная мощь и сила, яркая живая характеристика всей нации… Темп игры, стремительность и методичность, план игры, тактика защиты и нападения — всё это разное у всех, всё это говорит о стране, в которой выросли,

воспитывались и призваны к решительному бою участники команд…

— Военный подход, военная терминология, — заметил Дмитрий Павлович.

— Можно смотреть на войну, как на игру, а можно — на игру, как на войну, — сказал Келл, и газета аккуратно легла обратно на палубу. — И так, и так будет правильно. Анализ игры спортивной команды, анализ крупных соревнований… Любой анализ иногда может привести к неожиданным заключениям. Мы с вами военные. Для нас тактика защиты и нападения, о которой пишет этот штатский, — не пустые слова… Например, австрийцы вооружены револьверами Гассера и пистолетами «штейр», американцы — пистолетами Кольта и автоматическими «сэвиджами». Я — британский офицер, и мне положен «уэбли-скотт». А вы каким оружием пользуетесь?

Рука Дмитрия Павловича привычно потянулась к боку, где положено висеть кобуре.

— Револьвером Нагана.

— Вот. Между тем, насколько мне известно, приказом по вашему военному ведомству офицерам разрешено иметь пистолеты Браунинга, Маузера, Борхарда-Люггера, или те же «штейр» и «сэвидж»…

Дмитрий Павлович удивлённо взглянул на собеседника.

— Вы прекрасно осведомлены.

— Невеликий секрет. Оружие надо приобретать на собственные деньги, но вы, конечно же, можете себе это позволить. Требуется разрешение командира части, но для великого князя это пустяк. Патроны на практическую стрельбу выдаются только для трёхлинейных револьверов, то есть калибра семь шестьдесят две, — тоже не проблема, купить можно любые. И всё же вы сделали выбор в пользу револьвера Нагана. Почему?

Дмитрий Павлович не понимал, куда клонит англичанин. К тому же вопрос застал его врасплох.

— Даже не знаю… Револьвер прост и очень надёжен, у него нет предохранителя. Курок взводится, когда нажимаешь спуск. Вынул из кобуры — и выстрелил.

— Револьвер долго перезаряжать, — тут же возразил Келл. — Пистолет намного удобнее. Расстреляли магазин, меняете его, передёргиваете затвор — и снова стреляете. К тому же в магазине восемь патронов или даже десять. А из вашего револьвера можно выстрелить только семь раз, потом надо вытряхнуть из барабана гильзы и снова зарядить каждое гнездо.

— Зато в револьвере, если патрон даёт осечку, вы просто снова нажимаете спуск, барабан поворачивается — и подставляет следующий патрон. А в пистолете от перекоса или осечки может заклинить затвор — и всё.

Великий князь постепенно втягивался в игру. Разговор начинал напоминать футбол: они перебрасывались словами, как мячом; сперва ведёт один, потом пасует другому. Вернон продолжал:

— Заклинить гильзу может и в револьвере, если после выстрела её слишком сильно раздует или если она… э-э… пригорит к плохо стёртой смазке. Тогда придётся выталкивать гильзу шомполом.

— Зато у «нагана» шомпол встроенный и всегда под рукой, — Дмитрий Павлович не смог удержаться от смеха. — Да не думал я так подробно об этом! Просто… Просто револьвер мне больше нравится!

Англичанин тоже улыбнулся:

— Собственно, к чему я и вёл. Мы могли бы ещё долго обсуждать то, что у моего пистолета калибр — девять миллиметров, а ваш револьвер — трёхлинейный, калибра семь шестьдесят две, и почти у всех разрешённых в России пистолетов калибр не больше, чем семь шестьдесят пять… Могли бы спорить о начальной скорости и останавливающей силе пули. О

томпаковых и мельхиоровых оболочках. О стальных и свинцово-сурьмяных сердечниках. О дальности и точности стрельбы… А о том, кому что больше нравится, спорить бесполезно, так ведь?

— Полагаете, это связано с национальными особенностями?

— Наверняка. Ведь один и тот же револьвер выбрали не только вы, но и большинство русских офицеров. А до вас — те, кто вам его рекомендовали. Вы были свободны в своём выборе, даже если чиновникам заплатили за то, чтобы они предпочли модель Лео Нагана всем остальным.

— Тут вы снова правы, — вынужденно признал Дмитрий Павлович, — чиновникам заплатили наверняка. Ещё одна национальная особенность. В России взятки — настоящий бич, не то что у вас!

— Не надо слишком идеализировать Англию. Впрочем, наши чиновники действительно берут намного скромнее… Но вернёмся к футболу. Выходя на поле, вы даёте ценнейший материал для анализа. Ведь национальные особенности есть и в игре каждой команды. Тренер анализирует эти особенности, чтобы использовать их сильные стороны. Противник анализирует, чтобы использовать стороны слабые. Чей анализ лучше и глубже, тот и победит при прочих равных.

— Всего учесть и предусмотреть невозможно.

— Невозможно, но и не требуется. Достаточно ухватить основное и понять: когда, в какой момент и какую именно особенность лучше использовать. Дальше. Каждая команда выступает под флагом страны, как самая настоящая армия. Наступает и защищается, как армия. И анализ тренера — та же самая тактика и стратегия полководца, командующего своей армией.

— Вы говорите о футболе как о настоящей войне! Лужайка — театр военных действий, команды — войска

воюющих стран, ворота — столицы, разметка — линии границ… Интересная игра получается!

— У всякой медали есть две стороны. Можно говорить об Играх как о способе прекращения конфликтов, как о способе поиска их решения на спортивной арене. Говорить о сублимации военной агрессии в спорт. Или, напротив, можно видеть в Олимпиаде возможность определить слабые стороны противника, возможность показать свою силу и — сознательно или нет — заявить об амбициях геополитического масштаба. Ведь то, как ведут себя на поле игроки, как выступают команды, совершенно соответствует положению в их стране. Бедное государство или богатое, была там революция или нет, спокойная в нём жизнь — или как на вулкане… Наконец, поведение спортсменов — заметьте, именно поведение, а не результаты! — зависит от того, насколько силён в них национальный дух. Так что рассматривать Игры можно с очень разных точек зрения!

Дмитрий Павлович поманил стоявшего наготове стюарда с лимонадом. Было действительно очень жарко, темп разговора всё возрастал, и от переключений с темы на тему, казалось, мозги могли закипеть в любую секунду.

Услышанное подтверждало собственные мысли великого князя, только Келл точнее формулировал и логичнее связывал. Справедливости ради стоило бы добавить ещё то, что соединяет две стороны медали. Деньги. Экономику как зеркало политики, или наоборот. Стремление к новым территориям, новым богатствам, новой власти…

В кавалерийской школе не готовили к тому, чтобы оперировать глобальными категориями, рассуждая в масштабе стран и народов. Да и педагоги нечасто хвалили Дмитрия Павловича за успехи в юридических и

экономических науках, необходимых для государственного деятеля. Но голова у него была хорошей, а учили отпрыска императорской фамилии всё же на совесть.

Великий князь понимал: Вернон Келл кругом прав. И двадцати лет не прошло, как началась история новых Олимпиад, а вокруг них уже вовсю полыхают политические и финансовые скандалы.

Кто-то требует провести следующие Игры у них в стране и грозит ультиматумами. Ну какая разница, где будут бороться, прыгать, бегать, стрелять и гонять мяч?

Кто-то настаивает на дисквалификации олимпийского чемпиона и лишении его медалей. И что это даст? Ведь соревнования уже прошли, медали вручены и все газеты об этом написали!

Кто-то клянётся и утверждает, что его команду засудили… Впрочем, это как раз можно объяснить стремлением к справедливости — или желанием оправдать проигрыш…

Организаторы соревнований устраивают лучшие условия для своих спортсменов, старательно оттирая остальных от пьедестала почёта. В драке за награды иные не брезгуют даже сомнительными средствами, как будто от количества медалей хоть что-то в мире зависит… Или всё же зависит, если так дерутся?!

Англичанин невозмутимо молчал, потягивая освежающий напиток, а Дмитрий Павлович продолжал размышлять о военной подоплёке Олимпиады. Он представил себе матч, в котором жребий свёл Турцию, например, с Сербией или Болгарией. Перед глазами возникла картина фантастической схватки на футбольном поле.

Сербы договариваются с болгарами и атакуют турок. Русские бросаются помогать сербам, и на стороне турок тут же появляются германцы. Вскоре к ним

присоединяются австрийцы с итальянцами — которые при этом успевают ещё ссориться между собой.

Англичане, поколебавшись, поддерживают русских. Но не потому, что русский император — кузен английского короля. И не потому, что императрица — дочь английской принцессы и внучка королевы. И не потому, что две страны связывает военный союз. И уж точно не потому, что англичане очень любят русских. Англия приходит на помощь России по той причине, что Германия для Англии — враг больше, чем Турция — друг. Вот так!

Американцы же спокойно посматривают на всё это с трибун за океаном — рассуждая, чем бы поживиться в европейской драке…

Фантазии фантазиями, но в олимпийском футболе ведь почти так и случилось! Отказ французов от игры вывел в следующий круг Норвегию. Шведы помогли России — родине своей будущей королевы — без игры пройти в четвертьфинал. При этом не забыли Данию — соседа, союзника и родину вдовствующей российской императрицы, матери Николая Второго. Германцев столкнули лбами с их стратегическими партнёрами — австрийцами, причём и фигурально, и буквально: германский вратарь и форвард сборной Австрии с разбитыми головами оказались в госпитале…

На лице Дмитрия Павловича отобразилась такая буря чувств, что Вернон Келл поспешил вмешаться:

— Бог с вами, не заставляйте меня сожалеть об этой беседе! То, о чём мы говорили, будоражит умы многих поколений. Целые народы и гениальные правители ломают головы в поисках железных достоинств своей нации, которыми было бы можно целиком покрыть все недостатки. Или пытаются проникнуть в тайну недостатков своих противников, чтобы усилить ими свои достоинства… Так сказать, анализируют игру. Но абсолютного оружия, по счастью или на беду, ещё никто

не нашёл. Наверное, не найдём ни вы, ни я. Хотя, если придётся, станем частью этого оружия. Ведь мы с вами офицеры! Однако любой разговор имеет свойство заканчиваться, ваше императорское высочество…

Вернон легко поднялся из шезлонга, и Дмитрий Павлович тоже встал.

— Я получил большое удовольствие от общения с вами, — сказал он. — При случае с радостью продолжу этот разговор. Если окажетесь в Петербурге, милости прошу ко мне.

— Благодарю вас, польщён, — коротко, с достоинством поклонился англичанин. — Мне действительно доводится бывать в России, и я полагаю, мы сможем встретиться ещё не раз.

— Тогда обязательно заглянем в тир на Крестовском, и там я докажу, что револьвер Нагана ничуть не хуже револьвера Уэбли-Скотта, — улыбнулся великий князь. — И что русские вовсе не такие плохие стрелки, как об этом пишут… Репортёришка прав: мы ещё ответим шведам Полтавой!

— Забудьте о шведах, — ответил Вернон Келл. Сделавшись серьёзным, он указал на лежащую у ног газету. — Дело вам придётся иметь с Германией.

Глава X. Вена. Русские немцы

Сибирь не в счёт. Финляндия, Закавказье и Бессарабия. Самара и Саратов, Прибалтика, Ставропольская губерния и столичный Петербург…

Максимилиан Ронге поставил вентилятор так, чтобы струя воздуха била прямо в лицо. И всё равно мысли ворочались с трудом: в кабинетах *Evidenzbüro*, службы военной разведки и контрразведки императорского и королевского Генерального штаба Австро-Венгрии, было душно.

Капитан Ронге просматривал аналитическую записку о российских немцах. Девятый по численности народ в империи. Есть места, где немцы селятся особенно компактно. Что ж, Закавказье от Европы далековато, сибирские края тем более, а вот Бессарабия — это уже интересно. Финляндия — тем более. О Петербурге и говорить нечего…

Размышления прервал стук в дверь, и в открывшуюся дверь шагнул седоватый блондин в штатском, произнеся насмешливым тоном:

— Разрешите?

Ронге радостно поднялся навстречу вошедшему.

— Боже мой, господин полковник! — Они пожали друг другу руки. — Какими судьбами? Я думал, вы в Праге…

Гость был среднего роста, но казался выше благодаря военной выправке. Дорогой костюм великолепно сидел на его статной фигуре.

— Всё правильно, Макс. Я в Праге… А здесь по делам, всего на пару дней. Ну, рассказывайте, что новенького в столице! Над чем нынче трудитесь, над чем голову ломаете?

Полковник свободно расположился на жёстком кожаном диване. Он отказался от предложенных Ронге папирос и принялся раскуривать сигару. Кончики его подкрученных вверх усов забавно двигались. По кабинету поплыл запах дорогого табака.

Капитан сел напротив полковника в кресло для посетителей.

— Появились интересные данные. Русские недавно ввели в служебных документах новую графу: вместо вероисповедания теперь указывают национальность.

Полковник лукаво глянул на Ронге:

— «Эвиденцбюро» подписалось на петербургский «Военно-статистический ежегодник»?

Макс улыбнулся в ответ:

— Вы сами учили не пренебрегать любыми источниками информации!

Полковник Альфред Редль действительно был его учителем, а для всех австрийских разведчиков и контрразведчиков — образцом и личностью легендарной. Написанную Редлем от руки и подаренную Максу Ронге секретную инструкцию «Советы по раскрытию шпионажа» каждый офицер бюро знал наизусть.

За десять с лишним лет работы в контрразведке полковник привил своей службе много новшеств. Разговоры начали записывать на фонограф. Интересующих людей — тайно фотографировать. Полковник и его сотрудники исхитрились взять отпечатки пальцев у каждого из тысяч посетителей, под благовидным предлогом вызванных в *Evidenzbüro*.

Альфред Редль имел репутацию блестящего аналитика и выступал экспертом в судебных процессах над шпионами. По его настоянию контрразведка завела досье на каждого жителя Вены, кому хоть раз довелось побывать в Цюрихе, Женеве, Стокгольме, Париже и Брюсселе — главных европейских центрах шпионажа.

Полковник Редль заставил Макса Ронге зубрить «Искусство войны» древнего китайского полководца Сунь Цзы. Книгу эту использовали для обучения военных многих стран, но своему любимцу полковник открывал в ней тайные смыслы.

Победит знающий, когда можно сражаться, а когда нельзя. Победит понимающий, как использовать большие и малые силы. Победит объединивший верхи и низы единым желанием. Победит полностью готовый, ждущий неподготовленного. Победит способный полководец, которому не мешает правитель. Вот пять путей узнать победу…

Ученики Альфреда Редля знали науку Сунь Цзы назубок.

Из *Evidenzbüro* полковника перевели в Прагу — начальником штаба Восьмого корпуса, и в скором времени ему прочили место начальника штаба всей австро-венгерской армии.

После отъезда Редля место ведущего контрразведчика, начальника *KS* — агентурного отдела *Kundschaftsstelle*, занял Ронге. Но полковник по-прежнему чувствовал себя в этом кабинете как дома.

— В России сейчас больше двух миллионов немцев, — рассказывал капитан. — То есть около полутора процентов населения. Но в армии соотношение другое. Генералов-немцев у русских процентов двадцать — двадцать пять, штаб-офицеров — до пятнадцати; среди обер-офицеров немцев — где десять процентов, где до двадцати…

— Надо полагать, под немцами вы имеете в виду только германцев, а не австрийцев? И видимо, в расчётах не учитываете православных. Иначе император Николай и великие князья первыми украсили бы ваш список.

Справедливое замечание только казалось шуткой: действительно, с петровских времён российские цари и великие князья женились на принцессах из Германии, и в жилах династии Романовых текла немецкая кровь. Ронге согласился:

— Вы правы, учесть можно только лютеран и реформатов. Этнические немцы, принявшие православие, по законам России считаются русскими. По ним отдельных данных нет. Но вот интересная деталь. Атаманы казачьих войск — немцы сплошь, — сказал Ронге и взял со стола листок записки. — Забайкальский атаман — генерал от инфантерии Эверт. Семиреченский — генерал-лейтенант Фольбаум.

Терский — генерал-лейтенант Фляйшер. Атаман Сибирского войска — генерал от кавалерии Шмидт…

— Скажу вам больше, Макс, — поддержал его Редль, — я побывал на Олимпиаде в Стокгольме. В команде русских конников — кстати, во главе с великим князем Дмитрием Павловичем, — выступал казачий офицер фон Эксе. Германский дворянин старинного рода, но при этом казак.

— Когда я стажировался в России, у меня был приятель, поручик фон Вик. Тоже из казаков. Что же касается флота, там до трети командиров — немцы. Примерно такая же картина в гвардии и в императорской свите. Маннергейм, Ренненкампф, Унгерн, Каппель, министр двора Фредерикс, наконец…

Полковник выпустил несколько колец дыма и заметил:

— Фредерикс всё же, по-моему, швед. Но согласитесь, обилие немцев на службе у русских неудивительно. Хорошие военные, аккуратные, исполнительные… и вообще ревностные служаки. А информацию вы подбирали на какой предмет?

— Анализировал возможные сценарии развития событий после начала войны. Резонно предположить, что солдаты неохотно пойдут за офицерами, у которых вражеские фамилии. Мы прикидываем, как усилить нелюбовь русских к инородцам…

— Хотите использовать национализм? Науськать толпу на русских немцев? Что ж, заставить противника воевать против него самого — дело хорошее.

Ронге, ободрённый похвалой учителя, пояснил:

— Конечно, умный человек националистом никогда не станет. Но патриотов-идиотов на наш век хватит, а манипулировать идиотами одно удовольствие…

— Думаю, в России немцев просто ассимилируют. Например, предложат поменять фамилии, чтобы звучали на русский лад…

— Да, такое уже бывало. Поменять фамилии всё же проще, чем поменять командный состав… особенно в начале войны. Когда, по-вашему, она может начаться?

— Я не гадалка, дорогой Макс. Но думаю, ещё пара лет на подготовку у нас есть. Так что, если мы действительно хотим узнать победу — надо работать, работать и ещё раз работать! Ну, всё, — полковник поднялся, — не стану мешать. Буду рад, если вы найдёте время поужинать со мной, пока я не укатил обратно в Прагу.

— Где вы остановились?

— В отеле «Кломзер». Телефонируйте!

Редль крепко пожал Ронге руку и вышел, оставив в кабинете висящий слоями сизый сигарный дым.

Предложение поужинать звучало соблазнительно. Полковник слыл тонким гурманом и славился щедростью. Только вот как выкроить время? Капитан вздохнул, уселся обратно за стол и снова направил в лицо струю воздуха от вентилятора. Записку с русско-немецкой статистикой он отложил в сторону и вынул из ящика стола невзрачную папку.

Заняв место Редля, капитан Максимилиан Ронге продолжил развитие секретной службы. Он сумел добиться создания на почтамте австрийской столицы *чёрного кабинета* — иначе говоря, организовал почтовую цензуру. Раньше корреспонденцию перлюстрировали выборочно; теперь досматривали тотально, по выработанной капитаном системе. Конечно же, работу окутали строжайшей тайной. Цензоров уверили, что они ищут контрабанду. Об истинной цели — борьбе с вражескими разведками — знали только три человека во всей Австрии: сам Ронге, его начальник — глава *Evidenzbüro* полковник Август Урбански фон Остромиц — и начальник цензурной службы.

Ронге пожалел, что не успел похвастать Редлю своими достижениями, пусть и в ущерб конспирации.

Сейчас неподалёку от Мясного рынка, на венском почтамте в ожидании адресата по имени Никон Ницетас лежали три толстых конверта. Опись их содержимого, сделанную в *чёрном кабинете*, капитан Ронге хранил в невзрачной папке; туда же он аккуратно подшил сопроводительные документы, несколько справок и кое-какие свои соображения. Опытный нюх подсказывал: расследование обещает сенсацию.

Глава XI. Ялта, Ливадия. До первых выстрелов

Владимир Николаевич Коковцов был и министром финансов, и главой кабинета министров России. Ещё весной, традиционно отправляясь с семьёй на отдых к Чёрному морю, император сказал ему:

— Я просто задыхаюсь в этой атмосфере сплетен, выдумок и злобы. Да, я уезжаю, и притом очень скоро, и постараюсь вернуться как можно позже. Поведение Думы глубоко возмутительно, и в особенности отвратительна речь Гучкова по смете Священного Синода. Я буду очень рад, если моё неудовольствие дойдёт до этих господ, не всё же с ними раскланиваться и только улыбаться!

Тогда Коковцов уговорил государя не обострять отношения с Думой перед расставанием на несколько месяцев. Император нашёл в себе силы соблюсти дипломатию, но простился с депутатами крайне сдержанно. Дальше Владимир Николаевич выдержал продолжительную паузу, а теперь объявился в Ялте с накопившимися делами. Автомобиль ежедневно возил его за две версты, в Ливадийский дворец, для продолжительных докладов.

Государь привычно работал даже на летнем отдыхе. Секретаря у него не было — ни в Царском Селе, ни в

Ливадии. Вошедшие бумаги он прочитывал сам и собственноручно накладывал не только резолюции, но даже государственные печати на конверты со своими письмами, а из-за рабочего стола не поднимался до тех пор, пока на нём лежал хоть один неизученный документ.

Николай Александрович принимал министра в кабинете, обставленном в стиле *жакоб*: русский классицизм и красное дерево с золочёными вставками были ему много милее, чем приёмная — уменьшенная, но всё равно внушительная копия зала «Совета пятисот» в венецианском Дворце Дожей.

— Можно считать, что турецкий пирог уже поделен, — говорил Коковцов. — Болгария рассчитывает на основную часть Македонии. В свою очередь, Сербия желает получить оставшуюся часть из рук вашего величества.

— То есть, пока болгары и сербы вслед за итальянцами добивают Османскую империю, Российская империя должна воевать с ещё двумя — Австрией и Германией. Так надо понимать?

— Совершенно верно. Они предполагают, что мы со своими союзниками сокрушим немцев даже скорее, чем Балканский союз разделается с турками. А после победы ваше величество станет третейским судьёй для всей Европы с решающим словом при определении новых границ.

— Новых границ... — повторил император. — Насколько я понимаю, господа в Думе поддерживают наших друзей на Балканах?

— Целиком поддерживают, ваше величество.

— И какой им видится Европа в новых границах?

— Они считают, что Константинополь должен быть присоединён к России, — с готовностью отрапортовал Коковцов. — Таким образом мы, называясь де-факто наследниками Византийской империи, сможем стать

Византией де-юре. Это политическая сторона дела. Стратегически необходимо овладеть проливами Босфор и Дарданеллы, хотя некоторые полагают, что достаточно и одного Босфора. Хорошей видится перспектива российского протектората над Балканами. Что касается Германии, то во избежание нового усиления надо разделить её на удельные княжества, числом около десяти…

Николай Александрович притворно изумился, вскинув брови:

— И только-то?! Остался сущий пустяк: заручиться согласием самой Германии да ещё Австрии. И для порядка Англию с Францией спросить: они всё же наши союзники! Но кто же осмелится нам возразить? Завтра же византийская Россия займёт пол-Европы и воцарится на Балканах, Адриатике и Чёрном море, а остальные страны станут жить по команде из Петербурга… Право, чудесно!

В сарказме император выплеснул накопившееся раздражение. У него порой складывалось впечатление, что министры и депутаты Государственной думы не в своём уме. Страна медленно приходит в чувство после позора войны с Японией и революции девятьсот пятого года. Армию предстоит перестраивать ещё несколько лет, промышленность — в сравнении с европейской — едва поднимает голову, а эти… С раздутыми щеками произносят пафосные речи о народе-богоносце — притом готовы сей же час принести в жертву многие миллионы жизней этого народа.

В жертву чему? Гордыне и стремлению чужой кровью вписать свои имена в историю? Подлости и алчному желанию нажиться на войне? Глупости, не позволяющей видеть дальше собственного носа? Тупому упорству, толкающему Россию к военной катастрофе?!

Коковцов между тем продолжал:

— Если позволите, Сербии ещё желательно по разделу Австро-Венгрии получить Боснию и Герцеговину. Румыния не станет вмешиваться в войну или даже выступит на нашей стороне, если предложить ей Трансильванию…

Император вдруг с удивительной отчётливостью понял, что ему не под силу остановить это безумие. Не предотвратить войны; не унять кровожадных генералов, хитрых союзников и беснующихся патриотов.

Приводить в порядок собственный дом — тяжёлая работа. За неё не дают ни чинов, ни наград. На ней не сколотишь состояния и не прославишься в веках. Со своими проблемами одна сплошь морока. То ли дело — подглядывать через забор к соседям! Вот и свора у его трона из таких. Им не до России, пропади она пропадом, ведь за забором сербов обижают и болгар…

…а царство Болгарское с королевством Сербским тем временем договор подписали. С гарантиями независимости, целостности территорий и взаимной помощи военными силами, если на кого-то из них кто-то нападёт… Понятно ведь, что имели в виду Австрию! И судьбу турецких земель решили: если кто попытается присоединить, оккупировать или временно занять участки Оттоманской империи, на которые сербы с болгарами положили глаз, — это *casus belli*, формальный повод для объявления войны. То есть снова пригрозили австрийцам.

Формально договор гласил: будет агрессия Австрии — вместе защищаемся. Но в секретном приложении речь шла совсем о другом: будет удобный момент — вместе нападаем на Турцию…

…и тогда России придётся воевать. Конечно, Болгария станет союзником Антанты. Конечно, ни сербы, ни болгары не имеют права объявлять войну без одобрения из Петербурга. Но кто сможет, и главное, кто

возьмётся остановить славянина, уже решившего ввязаться в драку?

— Международный престиж вашего величества сейчас исключительно высок, — уверял императора Коковцов. — Союзники очень довольны Россией. Дипломаты умеют читать между строк, какие уж там секреты! И ситуация тем более прояснилась, когда болгары и сербы подписали военную конвенцию прямо во время Олимпиады…

Глава кабинета министров говорил правду. Англию очень устраивали успехи стратегического партнёра и новые союзники на Балканах. Франция с удовольствием зарабатывала на займе, немедленно выданном Болгарии, и радовалась притоку капиталов стран-союзниц на французскую биржу. Правда, Париж при этом втихую заигрывал с австрийцами, следуя британской мудрости — не складывать все яйца в одну корзину.

— Я бы не спешил праздновать, Владимир Николаевич. — Император устало помассировал глаза. — Сказано ведь в Евангелии от Луки: «От всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут». Соглашение болгар и сербов не для мира создавалось. Оно рождено войною — и рождено для войны. Судите сами. Если Болгария защищает Сербию от Австрии — она ничего не выигрывает. Зато договор ускоряет нападение на Турцию. А для нас это ещё один шаг к большой войне в Европе…

Война всегда начинается задолго до первых выстрелов. Военные только начали подготовку, а в олимпийском Стокгольме уже воевали спортсмены. Весной двенадцатого года силами мерялись команды из почти трёх десятков стран. Рядом с нейтральными Нидерландами и Швейцарией выступали воюющие друг с другом Италия и Турция. В схватке сошлись страны

Антанты — Англия, Россия и Франция, их новые союзники — Сербия и Греция, и общие противники — Германия, Австрия и Венгрия.

Две с половиной тысячи атлетов готовы были на всё ради победы. Но за пределами стадионов делились опытом и спортивными хитростями, обменивались визитами и сувенирами, договаривались о встречах после Игр.

Впервые в Стокгольме провели олимпийский конкурс искусств, где состязались архитекторы, художники, скульпторы, музыканты и поэты. Впервые здесь опробовали последние новинки техники — фотофиниш и электронные часы…

…а в Берлине, Петербурге, Вене и Лондоне внимание уделяли совсем другим новинкам. Очень удобно оказалось держать связь с войсками по радио. Итальянские пилоты придумали облетать вражеский фронт для разведки позиций. Тридцать пять их аэропланов стали первой в мире военной авиацией и опробовали на турках прицельное бомбометание.

Химики сообщали об успешных опытах с боевыми отравляющими веществами — парами хлора и горчичным газом. Инженеры гордились вооружёнными бронированными автомобилями. Механики увеличивали скорострельность пулемётов. Карандашные фабрики учились выпускать патроны. Военные художники заново рисовали карты, уточнённые по направлениям вероятных ударов. Военные архитекторы мудрили над новыми укреплениями…

Фитиль войны был уже подожжён. И чем дольше он тлел, тем быстрее таяли сомнения: кто, с кем и против кого взорвёт европейскую пороховую бочку под названием Балканы. Предлог роли уже не играл.

В конце весны тысяча девятьсот двенадцатого года во время Пятой Олимпиады началась Первая мировая война.

Её официальное объявление стало всего лишь вопросом времени.

Глава XII. Санкт-Петербург. Язык улицы на проспекте

Один за другим грохотали по рельсам вагоны трамваев — красно-белые, с большими окнами, сияющие медными поручнями и ручками. В обе стороны Невского проспекта катили вереницы экипажей, тарахтели моторы, плыли людские толпы…

— Здесь веселее, чем у нас на Тверской, — признал Маяковский, шагая рядом с Бурлюком.

Хорошенькая миниатюрная брюнетка гордо вскинула носик и прошла мимо. Маяковский схватился за фонарный столб и крутанулся, провожая девушку нахальным взглядом. Она посмотрела через плечо и залилась румянцем.

— Однако и манеры у вас, Владим Владимыч, — с укоризной произнёс Бурлюк. — Нет бы подойти, представиться, покалякать по-французски…

— Я бы покалякал, конечно, — усмехнулся Маяковский, — да только французский мой хромает.

— Хромает?! Нет, не хромает ваш французский — ему ноги оторвало напрочь… Вот позовёт сейчас эта барышня городового, и пожалуйте, голубчик, в кутузку!

— Легко! Я за женщин сидел уже. И не в кутузке какой-нибудь вшивой, а в Бутырской тюрьме.

В голосе Маяковского звучала гордость.

— Вот как? — удивился Бурлюк. — Сидели за женщин?! Я считал вас политическим.

— Удачно совместил то и другое. Устроили с товарищами побег из Новинской. Ушли тринадцать каторжанок, а меня взяли. Слышал бы сейчас Хлебников про тринадцать — наверное, тоже какую-

нибудь закономерность вывел бы… через четыреста лет…

— И каково это — сидеть?

— Не хотел, скандалил. А с малолетки какой спрос? Переводили из части в часть. Кончилось Бутыркой. Одиночка номер сто три.

— Одиночка?! Ого… Наверное, с тоски повеситься можно.

— Не скажите. Я же до тех пор толком не читал ничего. Так, в учебники в гимназии заглядывал. По ревборьбе товарищи кое-что подбрасывали. А тут — беллетристика. Оказалось, чертовски много всякого люди пишут! И хорошо пишут! Бальмонт, Андрей Белый…

— Символисты зацепили — вас?! Чем же, позвольте спросить?

— Новизной. Вроде образы не мои, и не про мою жизнь, но хорошо! Тогда в первый раз и попробовал писать. Хотелось так же хорошо, но про другое.

— Вы раньше не рассказывали. Конспирация? Почитайте!

— Да ни к чему. Ходульные были стишки и ревплаксивые.

— Владим Владимыч, не ломайтесь. Что за кокетство? В конце концов, я вам как мать…

Маяковский сымпровизировал:

— В конце концов, я вам как мать, и я имею право знать…

— Вот именно! Читайте, читайте!

— Ладно… — Маяковский вскинул голову и начал, нарочито подвывая:

В золото, в пурпур леса одевались,
Солнце играло на главах церквей.
Ждал я, но в месяцах дни потерялись,
Сотни томительных дней…

— Да, — почесал в затылке Бурлюк, — и много вы такого… настрочили?

— Про́пасть. Целую тетрадку. Спасибо надзирателям — отобрали при выходе… Ну, и классиков глотал, конечно. Байрона, Шекспира, Льва Толстого. «Анну Каренину» не дочитал. Ночью вызвали — это называлось *с вещами по городу*. Так и не знаю, чем у них с Вронским история кончилась.

— Ничем хорошим не кончилась. А с вещами по городу вас куда отправили?

— Выпустили. Приятель отца отхлопотал. Он замначальника «Крестов» тогда был. Тюрьма здесь, в Питере, такая. Я вышел — и думаю: те, кого прочёл, — так называемые великие. Но до чего ж нетрудно писать лучше!

— Это ещё Козьма Прутков говорил: *Я поэт, поэт даровитый! Я в этом убедился, читая других: если они поэты, то и я тоже!*

— Не знаю я вашего Пруткова. Знаю только, что правильное отношение к миру у меня уже сейчас есть, а опыта нет. Где неучу взять опыт? Школа нужна, а меня из гимназии вышибли, из училища Строгановского — тоже… На воле понял: если партийную работу продолжать, надо переходить в нелегалы. Но тогда неучем и останусь. Буду всю жизнь револьверы прятать и переписывать в листовки чужие мысли из умных книжек, которые товарищи дают. А если прочитанное из меня вытряхнуть, что останется? Марксистский метод, и всё.

— То есть поняли, что лучше Белого пока не напишете?

— Не напишу. *В небеса запустил ананасом* — весело так не напишу никогда. Только *сотни томительных дней*… Решил учиться, чтобы делать социалистическое искусство. А с ревборьбой прервался…

— До чего же язык у вас ужасный, Владим Владимыч! Сами себя послушайте: ревборьба, замначальника, ревплаксивый… скажите ещё — нацменьшинства и жэдэвокзал… Слова-убожества! Калеки! Инвалиды, как ваш французский.

— Это язык улицы!

— Это — язык насекомых! Маленьких безмозглых насекомых! Вы хотите потрясать устои? Вас тошнит от красивенького? Понимаю! Вам хочется антиэстетики? Пожалуйста, вот Саша Чёрный:

У поэта умерла жена…
Он её любил сильнее гонорара!
Скорбь его была безумна и страшна —
Но поэт не умер от удара.
После похорон пришёл домой — до дна
Весь охвачен новым впечатленьем —
И спеша родил стихотворенье:
«У поэта умерла жена»…

— Слишком несерьёзно? — Бурлюк распалился не на шутку. — Пожалуйста, он же, про Петербург:

Восемь месяцев зима, вместо фиников — морошка.
Холод, слизь, дожди и тьма — так и тянет из окошка
Брякнуть вниз о мостовую одичалой головой…
Негодую, негодую… Что же дальше, боже мой?!..

— Слишком просто? Пожалуйста, Велимир Хлебников, вычурная работа с формой и звуком:

Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй — пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо…

— Или тех же нелюбимых *смехачей* вспомните… Есть языки разные, а языка улицы — нет! Безъязыкая она! — гаркнул Бурлюк. — Нечем ей разговаривать!

Маяковский огрызнулся:

— Чёрт возьми, нет — значит, будет!

— Вот так возьмёт — и будет?

— Я его придумаю! Наш с улицей общий язык!

— Ну-ну…

Два приятеля энергично рассекали толпу и препирались в голос, так что городовой на углу Невского и Садовой с подозрением на них посмотрел. Поймав этот взгляд, Бурлюк снизил тон.

— Вам, Владимир Владимирович, сперва и вправду подучиться надо. Россию посмотреть, народ послушать…

— Чтобы в стихи с полей глину тащить?

— А что вы хотите тащить? Чугун и железо? Из глины, между прочим, человек создан! А из чугуна что?

— А из чугуна… памятники!

Бурлюк застыл как вкопанный. Маяковский недоумённо обернулся.

— Что с вами? — спросил он.

— Маяковский! — Бурлюк подошёл и крепко сжал приятелю руку. — Это… это прозвучало! Если вас разозлить, вы убийственно остроумны. Почаще будьте таким. Нет, будьте таким всегда. Блеск!

Глава XIII. Вена. Ловушка для шпиона

Телефон зазвонил поздно вечером.

Была суббота, но капитан Ронге работал и по выходным. Он просидел в своём кабинете до начала двенадцатого. Перед глазами уже плясали красные чёртики — от выпитого кофе, выкуренных папирос и

прочитанных бумаг. Максимилиан решил, что на сегодня достаточно: пора домой.

Службу контрразведки *Evidenzbüro* лихорадило. Если у кого и оставались надежды на возможность решить миром балканскую проблему, то теперь они окончательно истаяли. Россия вооружала сербов и болгар, совершенствуя притом и собственную армию. Интриговали англичане. Хитрили французы. Крупнейшие города Европы превратились в шпионский муравейник. Неотвратимо приближалась война.

И в этот момент императорский и королевский Генеральный штаб получил сокрушительный удар. В руки русских попали ценнейшие документы австрийской армии: *Krieg ordre Bataille* — план боевого развёртывания, особый *Ordre de Bataille* — план развёртывания на случай Балканской войны; положение об охране железных дорог и порядке мобилизации укреплённых пунктов, инструкция об этапной службе и новые штаты военного времени… Для военных это стало катастрофой: невозможно воевать с противником, который заранее знает каждое твоё движение!

Началась паника. Кто выкрал сверхсекретные планы? Как они попали в Россию? Что ещё известно врагу? Штабные косо смотрели друг на друга, а *Evidenzbüro* получило жёсткий приказ: шпиона изобличить, найти и обезвредить.

В *чёрных кабинетах*, которые развернул Макс Ронге, проверяли всю корреспонденцию с пометкой «до востребования». И в одном объёмистом пакете, пришедшем на венский почтамт, кроме письма обнаружились пачки денежных купюр. Шесть тысяч австрийских крон — ощутимо больше, чем годовой оклад со всеми надбавками, которые получал ведущий контрразведчик империи капитан Ронге.

Размер суммы, тайный способ пересылки денег и почтовые адреса, указанные в письме, не оставляли

сомнений: получатель — шпион.

Австрийская контрразведка тесно сотрудничала с германской, а та — со швейцарской. Пять лет назад эти три службы сообща провели очень успешную операцию против России и Франции.

Слишком слаженно стали действовать страны Антанты, слишком успешно работали их разведки в Центральной Европе! Поэтому германцы с австрийцами тайно попросили помощи у Швейцарии — и сумели раскрыть вражескую систему связи. Детально выяснили всё: легенды прикрытия, адреса конспиративных квартир, почтовые ящики, имена связных, пути курьеров… Однако рушить русско-французскую сеть до поры не стали, продолжая наблюдать за её работой.

Отправитель вскрытого пакета с деньгами значился в картотеке *Evidenzbüro* как связной русских. Получатель скрывался под псевдонимом Никон Ницетас.

Капитан Ронге не терял времени даром. На конторку почтового служащего установили тревожную кнопку. Стоило её нажать — и в полицейском управлении по соседству звенел звонок. Пока служащий оформлял выдачу корреспонденции, агенты успели бы взять под наблюдение или арестовать таинственного адресата. Но вот на почтамт пришёл ещё один пакет для Никона Ницетаса с семью тысячами крон, и ещё… Время шло, а за громадными суммами никто не обращался.

Прогулка по ночной Вене освежила Ронге. Он прошёл по улице Штубенринг и дальше по Паркринг вдоль городского парка. Полюбовался огнями фонарей; подивился оживлённому движению автомобилей и фиакров, множеству людей на открытых террасах кафе…

Видимо, домашний телефон звонил всё время, пока Ронге неспешно добирался до своей квартиры. И стоило капитану перешагнуть порог, как вызов прозвучал снова.

— Это ужасно! — кричал в трубку статский советник Эдмунд фон Гайер, шеф полицейского управления. — Случилось такое… Скорее приезжайте ко мне!

Перед самым закрытием почтамта были выданы все три денежных пакета. Подчинённые фон Гайера сперва потеряли получателя, но после всё же сумели обнаружить и проследили до отеля «Кломзер». Никоном Ницетасом оказался легендарный контрразведчик, начальник штаба Восьмого корпуса австрийской армии, учитель Максимилиана Ронге — полковник Альфред Редль.

Глава XIV. Ялта, Ливадия. Императорская боль

— Ники, бедный мой, этот Коковцов тебя совсем замучил!

Император вышел во внутренний дворик Ливадийского дворца. Дворик назывался итальянским — его будто вправду перенесли сюда, в Россию, в Крым из Флоренции эпохи Возрождения. Солнце заливало стены, облицованные белым инкерманским камнем из каменоломен под Севастополем. Причудливо змеились кружевные решётки, кованные уральскими мастерами. Разгоняя зной, морской бриз чуть колыхал пальмы и обтекал точёные древние колонны, что подпирали арки галереи. К центру дворика, к фонтану, украшенному стилизованной под арабскую вязь надписью «Ливадия», сходились выложенные мраморными плитами дорожки, а между ними играл красками живой ковёр из цветов и зелени.

Николай Александрович несколько раз плеснул в лицо прохладной водой, струящейся из бронзовой бараньей головки фонтана, потом зачерпнул из мраморной чаши полные пригоршни, вылил на голову и постоял с закрытыми глазами, наслаждаясь текущими за ворот струйками и не обращая внимания на промокшую белую рубаху.

— Ники, — повторила императрица, — нельзя так себя истязать. Сделай эти встречи реже и короче, прошу тебя!

Николай Александрович промокнул кулаками глаза, провёл обеими руками по волосам, зачёсывая их назад и отжимая воду, привычным жестом разгладил усы и направился к жене.

Императрица устроилась в тени галереи на подушках поверх резного каменного дивана. Уверенными движениями она рисовала карандашом в альбоме, а рядом на столике лежали несколько пучков цветных ниток мулине и большие круглые пяльцы с начатым вышиванием.

— Дети на пляже? — спросил Николай Александрович, усаживаясь по соседству в плетёное кресло.

— Да, ещё не возвращались.

— Не слишком ли долго? Солнце вон какое злое…

— Аня с ними, не беспокойся.

Фрейлина Анна Вырубова, которую привычно вспоминали под девичьей фамилией — Танеева, с императорскими детьми почти не расставалась.

— А собаки?

— И собаки.

Любимцем Николая Александровича был французский бульдог Ортино. За модного пёсика он заплатил почти пять тысяч долларов — новый *Ford* для ливадийского гаража обошёлся вдесятеро дешевле. Цесаревич Алексей души не чаял в своём спаниеле по кличке Джой, а скотч-терьера Эйру императрица порой даже сажала за стол…

Император откинулся на спинку кресла, снова закрыл глаза и принялся массировать голову осторожными, но сильными прикосновениями пальцев.

— Голова с утра болит, — пожаловался он, — а пока слушал Коковцова, думал, просто расколется. Говорит, говорит, говорит… Причём думает одно, говорит другое, а делает потом третье и полагает, что ему в совете верят и что он всех проведёт. Старый хитрован!

Государю было сорок три, а председателю совета министров — шестьдесят.

— Что на этот раз?

— Ваше величество, вы можете быть спокойны за судьбу вашей страны и вашей династии до тех пор, пока у вас в порядке финансы и армия, — с пафосом процитировал Николай Александрович и поморщился от полоснувшей боли. — А я вот как раз неспокоен.

Императрица отложила альбом, почти закончив едкую и притом очень похожую карикатуру на Коковцова: рисовала она блестяще и обладала ироничным умом.

— Приляг, я помассирую…

Николай Александрович поднялся из кресла и лёг на подушки, забросив ноги на каменный подлокотник дивана и положив голову жене на колени. На него снова пахнуло леденцовой «Вербеной».

— Мо-окрый, — нежно протянула императрица, запуская пальцы в волосы мужа. — Надо было моему принцу Ники сидеть дома и ждать свою принцессу Аликс, а не колесить по всему миру в поисках приключений. От этой Японии одни неприятности…

В бытность свою цесаревичем Николай по настоянию отца, императора Александра Третьего, совершил кругосветное путешествие с эскадрой вице-адмирала Назимова. От Балтики наследник российского престола на крейсере добрался до Японии и там в городе Оцу едва не погиб: его пытался зарубить полицейский Сандзо Цуда. По счастью, в момент удара цесаревич обернулся, и клинок самурайского меча лишь скользнул по его голове. Нападавшего тут же сшибли с ног и скрутили двое рикш и английский кузен Джорджи, сопровождавший Николая в путешествии.

С кузеном они были похожи, как две капли воды, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте. Более старший принц Джорджи похвалялся сделанной в Иерусалиме великолепной татуировкой с изображением Вифлеемской звезды. В Японии кузен отвёл своего молодого друга к легендарному мастеру Хоре Кио,

который когда-то наколол красочного дракона отцу Джорджи.

С тех пор прошло уже больше двадцати лет. Умерла королева Виктория, и отмеченный драконом отец Джорджи стал английским королём Эдуардом Седьмым. Потом и он умер, Джорджи наследовал ему, — так что Вифлеемская звезда украшала теперь плечо короля Георга Пятого. А российскому императору на память о Японии остались сабельный шрам и изящная татуировка: цветок лотоса.

Да, шрам, татуировка — и ещё эта ноющая боль. Придворный врач Боткин предположил, что от удара самурая у Николая Александровича разошлись кости черепа, и на месте трещины образовался нарост, вроде мозоли. Со временем нарост начал давить на сосуды и мозг — это вызывало мучительную мигрень.

Если бы можно было заглянуть в голову и узнать, что же там болит на самом деле! Конечно, в Германии профессор Рентген уже опубликовал результаты своих удивительных опытов и даже получил за них первую в истории Нобелевскую премию по физике. Но кто бы осмелился подвергнуть исследованию икс-лучами голову монарха?! И без крайней нужды оперировать августейший череп, сверлить в нём дыру — тоже непозволительная роскошь…

Под нежными женскими пальцами боль, огнём терзавшая голову Николая Александровича, постепенно собиралась в точку где-то справа от темени. И затухала, затухала, переставала пульсировать, и до следующего приступа оставляла в память о себе только онемевшее пятно с пятак размером…

— Аликс, дорогая, ты снова спасла меня, — сказал император и, подняв глаза, посмотрел в склонившееся над ним лицо жены.

Она позвонила в серебряный колокольчик. Появившемуся слуге по-русски приказала подать кофе и

снова перешла на английский:

— Так чем же сегодня тебя расстраивал Коковцов?

Николай Александрович пересел в кресло и закурил душистую папиросу. Отборный табак ему присылал в подарок турецкий султан.

— Олимпийскими победами, — наконец, нехотя ответил он. — Россия на шестнадцатом месте, можешь себе представить? Команд нет и трёх десятков, а мы среди них — шестнадцатые! Ни единой золотой медали, только два серебра и две бронзы! Знаешь, как остряки уже называют наше выступление? Цусимой! А «Бирму» предлагают переименовать в «Титаник»!

Цусима была ещё одной японской болью императора. В девятьсот четвёртом году угроза революции в России стала опасной реальностью, и министр внутренних дел, шеф корпуса жандармов Вячеслав Константинович фон Плеве, высказал мысль:

— Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война!

Министр следовал простой логике: что может сплотить нацию сильнее, чем схватка с общим врагом? Тем более, война подвернулась как по заказу — Япония заявила претензии на Дальний Восток и угрожала интересам России. Государь сопротивлялся до последнего, но после японского ультиматума, оказавшись в безвыходном положении, отдал приказ воевать.

Плеве вскоре погиб от бомбы очередного террориста. Революция всё равно разразилась через год после начала войны. А Россия, за чередой поражений потерявшая в Цусимском сражении эскадру адмирала Рожественского, вынуждена была просить у Японии унизительного мира. И теперь писатель Куприн язвительно сравнивает выступление российских олимпийцев с позором Цусимы!

Что касается «Титаника», то гибель этого гигантского лайнера обсуждали до сих пор, хотя со времени его крушения минуло уже полгода. В апреле самый большой пароход в мире отправился в своё первое — и, как оказалось, последнее плавание из Старого Света в Нью-Йорк. Фантастическая роскошь судна и брошенный стихиям вызов обернулись трагедией для полутора тысяч пассажиров, нашедших смерть в ледяных водах Атлантики. Предлагались всё новые и новые версии о причинах катастрофы, одна невероятнее другой.

А «Бирмой» назывался океанский пароход, который обычно курсировал тем же маршрутом и ходил в тот же Нью-Йорк. Судно зафрахтовал Российский олимпийский комитет при поддержке правительства. Так предполагалось разом решить все проблемы с поездкой многочисленной делегации в Стокгольм и жильём на время Игр. Идея с пароходом сулила солидную экономию, да и спокойнее как-то, когда все свои под рукой.

В Швецию на «Бирме» отправились сто восемьдесят российских спортсменов, полсотни сопровождающих и чиновников. Огромный корабль вместил не только делегацию, но и лошадей, автомобили, спортивные снаряды — в общем, всё, что только могло понадобиться на Олимпиаде…

— Почему же получается так, что и в спорте у нас не получается? — замысловато спросил Николай Александрович.

Он сделал глоток ароматного кофе — жена распорядилась очень кстати! — запил холодной водой, посмаковал и закурил новую папиросу.

Александра Фёдоровна принялась за вышивание.

— Вот именно что получается, — сказала она. — Так и должно быть. Посуди сам, Ники: немцы педантичные и воинственные, поэтому воюют. Англичане изобретают

игры, которые лучше всего подходят их национальному характеру, поэтому выигрывают. Скажи мне: кто-нибудь в мире, кроме русских, играет в лапту?

— Американцы, — после секундного размышления ответил император.

— Американцы играют в бейсбол, — возразила ему жена. — Похоже, конечно, но всё же не лапта. Хорошо, пусть не бейсбол. В городки твои любимые уж точно нигде не играют.

— И очень зря. Тут бы мы их всех… А помнишь, как провожали «Бирму»?

Погода над Финским заливом стояла *лейб-гвардии петергофская*, как называл её Николай Первый: яркое солнце и редкий для здешнего побережья полный штиль. В Петергофе вся семья императора погрузилась на катер, который в символическом благословении обошёл кругом отплывающего парохода с российскими олимпийцами. Это было красиво и торжественно…

— Помню, — улыбнулась императрица. — А ты помнишь, что учудил Воейков?

Командир гвардейского гусарского полка генерал Воейков получил назначение официальным представителем России на Пятой Олимпиаде и тут же принялся активно действовать. Для начала он отправил «Бирму» часом раньше, причём решение принял в последний момент, не предупредив о том добрую половину пассажиров. Некоторым, что прибыли на причал загодя, повезло и они успели взойти на борт. Остальные, среди которых оказался и председатель Олимпийского комитета — действительный статский советник Срезневский, — увидали с берега удаляющийся пароход.

Пожилого Срезневского едва не хватил удар. Наконец, безвинно опоздавшие погрузились на быстроходный буксир и догоняли «Бирму» уже далеко в

заливе. Права была императрица Александра Фёдоровна: всё получалось очень по-русски!

По-русски, эдаким барином, повёл себя Воейков и дальше. Не пожелав путешествовать вместе со всей делегацией, он отправился вслед за пароходом на императорской яхте «Стрела». Балтика встретила суда туманом, в котором они скоро потеряли друг друга, так что снова официальный представитель России объявился перед спутниками уже только в Стокгольме.

Тут оказалось, что многим олимпийцам не успели оформить заграничные паспорта. Потом выяснилось, что «Бирма» ошвартована вдалеке от спортивных баз, и к месту тренировок надо долго добираться. Многие выступления становились неожиданностью для спортсменов, которые не знали: где, в какой день и час им выступать… И всё это тоже было вполне по-русски.

— Но футболисты-то наши каковы, а?! — Император в сердцах хлопнул себя по колену. — Продули всем, кому смогли! Финнам, норвежцам… Про германцев я вообще молчу.

— Ники, успокойся, иначе у тебя снова разболится голова, — строго сказала Александра Фёдоровна. — Норвежцам они проиграли, потому что не успели прийти в себя после немцев. И поле там было — сплошной морской гравий…

— Норвежцы играли на том же поле, но выиграли.

— Вы с матушкой можете радоваться, что Дания попала в финал!

Александра Фёдоровна не удержалась и съязвила: у неё не ладились отношения со свекровью, вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной — бывшей датской принцессой Дагмар.

Датчане действительно дошли до финала, но в решающей схватке проиграли родоначальникам футбола — сборной Англии — со счётом 2:4.

— Надеюсь, ты поздравила кузена Джорджи и всех своих, — колкостью на колкость ответил Николай Александрович.

Некоторое время они молчали. Императрица делала стежок за стежком: на канве, зажатой в пяльцах, проступали очертания средневекового немецкого замка. Император прикрыл глаза и наслаждался глотками горячего кофе в очередь с холодной водой. Пару раз Александра Фёдоровна бросала на мужа быстрые взгляды. Наконец, она не выдержала:

— Скажи, Ники, а почему нельзя, чтобы Григорий снова приехал?

Глава XV. Село Покровское — Царское Село. Череда чародеев

Однажды юная гречанка Кассандра уснула в святилище Аполлона. Храмовые змеи вылизали ей уши, и девушка получила дар — слышать будущее. Её полюбил сам Аполлон, только прорицательница его отвергла. Божественная месть оказалась изощрённой и жестокой: предсказаниям Кассандры никто не верил…

…а вот оракулу в Дельфах — верили. Омыв своё тело в Кастальском источнике, жрица-пифия надевала златотканую одежду и украшала распущенные волосы лавровым венком. Она восседала на высоком золотом треножнике, окутанная дымом курящихся благовоний, и в священном трансе выкрикивала свои пророчества.

Верили много веков спустя и предсказаниям Нострадамуса. Таинственный астролог прорицал королям и вельможам, а по смерти оставил тысячу четверостиший, в которых описал особо важные события вплоть до конца света. Современники начертали на его могиле:

Здесь покоятся кости знаменитого Мишеля Нострадамуса, единственного из всех смертных, который оказался достоин запечатлеть своим почти божественным пером, благодаря влиянию звёзд, будущие события всего мира.

С начала времён человека манит всё, что не поддаётся объяснению и лежит за гранью понимания. Как устоять перед соблазном узнать будущее? Как устоять перед желанием прикоснуться к тайнам высших сфер? Как устоять перед искусством магов и чародеев, которым ведомы тайные ходы человеческой души?

Восхождение Николая Второго на трон случилось не вполне ожиданно. В растерянности он пригласил к себе знаменитость — французского оккультиста и мистика Жерара Энкоссе по прозванию Папюс. Тот вызвал дух почившего императора Александра Третьего, и последние наставления от любимого отца новый император получил из потустороннего мира.

Жили в Петербурге дочери черногорского князя Николая Негоша — Милица и Анастасия. Первая была замужем за великим князем Петром Николаевичем, вторая — за герцогом Лейхтенбергским. Обе дружили с молодой императрицей Александрой Фёдоровной не только по-родственному: их сближало увлечение мистикой. В особняке Милицы не переводились боговдохновенные пророки, кликуши, юродивые — извечные приживалы состоятельных фамилий. Было их в достатке и у Анастасии.

Сёстры-черногорки увлекались мистическими практиками и увлекали за собой светскую публику: одни видели в странных ритуалах и спиритических сеансах лекарство от скуки, другие ждали от вызванных столоверчением духов удивительных откровений, третьих впечатляли магнетические опыты Месмера… В любом случае, это было забавно.

Российскому военному агенту во Франции графу Муравьёву-Амурскому случилось как-то познакомить сестёр с господином по имени Филипп Низьер-Вашоль. Мсье Филипп, выступавший с шокирующими магическими сеансами, пользовался репутацией шарлатана. Французская полиция *Sûreté Générale* давала о нём весьма малопочтенные отзывы: кроме прочего, иллюзионисту угрожало наказание за незаконную медицинскую практику. Но черногорки составили ему протекцию, и чародей пришёлся в России ко двору — во всех смыслах этого слова. На долгое время он совершенно околдовал Александру Фёдоровну. И особенно расположилась к нему императрица после того, как Филипп обещал ей рождение наследника: до сих пор в императорской семье на свет появлялись только девочки.

Прорицателю пришлось возвратиться во Францию до того, как его пророчество сбылось. Но перед отъездом благодарная августейшая пациентка совершенно осчастливила мсье Филиппа. Военному министру Куропаткину поручили оформить для француза диплом доктора медицины Петербургской военно-медицинской академии. Щедрым дополнением к бумаге, которая снимала с Филиппа Низьер-Вашоля угрозу тюрьмы на родине, стал чин действительного статского советника. Получил он в подарок и полагающийся ему по новому чину генеральский мундир с малиновыми лампасами и сияющими золотом эполетами. Более чем щедро для Александры Фёдоровны при её англо-германской прижимистости!

С отъездом француза императрица загрустила. Конечно, черногорские принцессы продолжали поставлять ко двору гадалок, прорицателей, проповедников и толкователей снов. Сколько их перебывало в покоях Царскосельского дворца! И гугнивый Митя Козельский, и дурочка Матрёна-

босоножка, и суровый протоиерей Иоанн Кронштадтский; а ещё старец Олег, отец Мартемьян, припадочная селянка Дарья Осипова…

…и вот в один прекрасный день инспектор Санкт-Петербургской духовной академии и духовник государыни Феофан привёл к сёстрам занятного мужичка. Сибирский крестьянин прибыл в Петербург с пятью копейками в кармане, которые тут же и потратил в Александро-Невской лавре: за три копейки отслужил молебен сиротский и на две купил свечку. Мужичок остался без гроша, но с мечтой — денег собрать на строительство церкви. Всё повторял слова апостола Павла: кто устроит храм, того адовы врата не одолеют никогда!

Гость из села Покровского едва мог читать и писать, обхождения светского не знал и не признавал, обращался ко всем на *ты*, хотя и уважительно; держался независимо и вёл себя запросто… Но при этом был далеко не прост, удивительно интересно рассказывал о своих хождениях по святым местам, знал уйму сказок и присказок и, главное, обладал непонятной, подчиняющей силой.

Эта сила вела по жизни его самого. Этой силой он мог врачевать других. Этой силой он мог усмирять плоть и дух. Эта сила открыла ему двери сначала в петербургский дом сестёр-черногорок, а после — и во дворец императора в Царском Селе.

Своею магической силой открыл двери в историю Григорий Распутин.

Глава XVI. Вена. Русская рулетка с пистолетом

Альфред Редль застрелился в первом номере-люкс фешенебельного отеля «Кломзер».

Ранним воскресным утром маленькая пятиграммовая пуля со свинцовым сердечником пробила в правом виске полковника аккуратную дырочку и вышла за левым ухом, не сильно разворотив череп.

Собственный армейский девятимиллиметровый пистолет «штейр» с наградной надписью у Редля изъяли. Всё, что мог предложить капитан Ронге своему учителю, который оказался предателем и русским шпионом, — это пистолет Браунинга с одним патроном в стволе. Хотя стоило бы, выходя из номера, оставить на столе револьвер Нагана, которым пользуются офицеры в России…

Теперь за дело Редля взялся шеф *Evidenzbüro* полковник Урбански, которому ассистировал военный следователь Форличек из Праги. А Ронге предстояло вернуться к прежней работе.

Несколько раз он начинал писать отчёт, но яростно драл в клочья лист за листом. Сидеть в кабинете, который не так давно принадлежал Редлю и где слишком многое напоминало о случившемся, было невозможно. Наконец, Ронге сдался. Не глядя, он сгрёб все бумаги со стола в стопку, сунул её в сейф, запер замок, опечатал дверь — и снова двинулся от Генерального штаба в сторону городского парка.

Редль по-прежнему не шёл из головы. Когда полицейские агенты появились в отеле, полковник понял, что его тайна раскрыта. Несколько часов он водил филёров по городу, пытаясь отделаться от слежки

— так же безнадёжно, как сейчас Ронге пытался отделаться от мыслей о нём…

На просторных улицах Штубенринг и Паркринг продолжала кипеть жизнь. Навстречу капитану прошла молодая, броско одетая женщина в игривой шляпке с цветами и не отвела взгляда, когда Ронге посмотрел ей в лицо. За нею две няньки катили плетёные коляски с младенцами. Утопающие в кружевах дети мирно посапывали, а няньки, играя румянцем на тугих щеках, негромко, но очень горячо обсуждали свою личную жизнь. За спиной капитана сердито тренькнул звонок, и по специальной дорожке, выложенной по краю тротуара красным кирпичом, промчался на велосипеде мужчина средних лет.

Несколько молодых художников расположились около парка с лёгкими складными мольбертами. Девушка в очках рисовала пастелью сидящего перед ней толстяка. Сходство было изумительным. В шаге от неё длинноволосый молодой человек, наверняка сердечный друг девушки, тем временем заканчивал гораздо менее удачный портрет жены толстяка: конопатая пампушка у него походила на холодную вагнеровскую валькирию.

Чуть в стороне ещё на одном мольберте висели для продажи с десяток акварелей. Застывшие собачьи морды, здание Венской оперы, угрюмые старинные дома, какие-то цветы в банках… Картинки были безликие, старательно-школярские, и под стать им смотрелась аккуратная школярская подпись в нижнем углу каждого листа: *A. Hitler*.

— Купите картину! — потребовал у Ронге стоявший рядом с мольбертом хмурый угловатый парнишка лет двадцати.

Капитан окинул его взглядом. Автор жухлых акварелей А. Гитлер пытался спрятать свои комплексы за нарочито наглым тоном. Ронге по профессиональной

привычке прикинул, как его могут звать. Альфред? Адольф? Арнольд?

— Купите! — повторил Гитлер. — Или денег жалко?

Ронге не ответил и двинулся дальше сквозь гуляющую толпу. Его вдруг словно кольнуло: все эти люди ничего не знают!

Они не знают, что в одном из лучших венских отелей покончил с собой самый известный контрразведчик Австрии, которого прочили в начальники Генерального штаба. Им не ведомо, что перед тем, как пустить пулю в висок, он продал своим коллегам — *заклятым друзьям из Петербурга*, как их называли в *Evidenzbüro*, — сверхсекретные планы наступления австрийских войск на Россию и Балканы.

Они не знают, что скоро начнётся война. Так скоро, что малыши, сопящие сейчас в колясках, не успеют подрасти — разве что скажут первые слова и сделают первые шаги, не больше. А их родители рассчитают румяных нянек и увезут своих чад к родственникам в Альпы, надеясь отсидеться вдали от стрельбы и взрывов.

Молодой женщине с вызывающим взглядом станет не до броских туалетов. Толстяку придётся изрядно похудеть — возможно, к радости жены-валькирии. Бездарным художникам — скучному аккуратисту Гитлеру и второму, с длинными волосами и девушкой, — скорее всего, придётся надеть военную форму и топать на фронт…

Все эти люди живут себе спокойно, радуются, грустят, гуляют, любят — ничего не зная. А он, Максимилиан Ронге, знает, что ждёт каждого из них. Но должен молчать. И даже если он что-то скажет — ничего не изменится. Ничего не изменится от того, что делает каждый день в своём кабинете начальник агентурного отдела *Evidenzbüro* капитан Ронге. Не изменится ни в жизни страны, ни в жизни каждого из

этих людей на Штубенринге, Паркринге и любой другой улице Вены.

Сегодня ценнейший вражеский шпион мёртв. Сегодня австрийцам — кроме Редля — повезло больше, чем русским. Но удача капризна и ветрена. Завтра она отвернётся от Вены и повернётся к Петербургу. И уже там станут праздновать победу, раздавать ордена и примерять новые погоны.

Скоро найдутся новые шпионы — с обеих сторон. А война всё равно случится. Всё равно она будет страшной и кровопролитной. Всё равно армия Австро-Венгерской империи начнёт наступление на армию Российской империи. Хоть по старому плану, хоть по новому — если в штабе успеют его разработать до начала войны. И всё равно с обеих сторон погибнут люди. Очень, очень много людей… До чего же тошно…

Максимилиана Ронге и правда подташнивало, а в голову лезли мысли, совсем ему не свойственные. Только сейчас капитан вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего дня.

Он устроился за столиком в парке, на террасе ресторанчика рядом с Курзалом. Внутри шёл концерт — оркестр играл Штрауса, и юные бальные пары вальсировали для увеселения праздной публики. Ронге расправился с огромным, как положено, венским шницелем и принялся тянуть горьковатое пиво, разглядывая знаменитый золотой памятник автору «Голубого Дуная».

На самом деле Максимилиан почти не почувствовал вкуса еды. И не сияющий композитор, что парил со скрипочкой в руках на фоне беломраморной арки, занимал сейчас его мысли.

Надо было признать: разоблачение Редля действительно произошло почти случайно. Как мог попасться в самую простую, наудачу расставленную ловушку человек, учивший Ронге и многих его

сослуживцев по контрразведке, — оставалось загадкой. К тому же Максимилиан чуть было сам не предупредил Редля: хотел ведь похвастаться *чёрным кабинетом* и перехваченными письмами для Никона Ницетаса!

Известие о предательстве полковника ошеломило всех настолько, что Редля едва не упустили. Пока докладывали по команде, повторяя, что ошибка исключена; пока получали у коменданта города санкцию на арест офицера такого ранга — Редль не только успел уничтожить секретные записи, но даже поужинал с давним приятелем, прокурором Верховного кассационного суда Виктором Поллаком.

Череда невероятных событий отказывалась укладываться в сознании.

Глава военной контрразведки с многолетним стажем, легенда борьбы с иностранными шпионами — оказывается одним из них! И накануне войны выдаёт врагу ценнейшие военные секреты.

Светский лев и любимец женщин перед смертью вдруг называет имя своего любовника — молоденького венгерского лейтенанта Штефана Хоринке, и объясняет предательство тем, что русские-де шантажировали его, а любовник беспрерывно тянул и тянул деньги.

Окружённый полицейскими агентами изменник и проваленный шпион сидит в отдельном кабинете умопомрачительно дорогого ресторана «Ридхоф» с прокурором, вместе с которым не раз выступал на процессах по делам изменников и проваленных шпионов…

Тут Ронге непроизвольно усмехнулся, вспомнив, как Редль приглашал его в ресторан. Что ж, это был шанс оказаться на месте Поллака и выслушать исповедь за изысканным ужином стоимостью больше месячного капитанского жалованья: когда полковник понял, что игра проиграна, — он шикарно провёл свои последние часы и успел прокутить часть шпионского гонорара…

— Счёт! — Ронге взмахнул рукой, и улыбчивый официант поспешил к кассе.

Очевидно, у *Evidenzbüro* сейчас возникнут серьёзные проблемы. Надо будет найти виновных в том, что Редль десяток лет безнаказанно шпионил на русских. Допустим, Ронге как автора удачной операции не тронут. По крайней мере, сразу. А вот на дальнейшее надо подстраховаться.

Уже давно в голове Ронге зрел план. Вернее, пока не план, а лишь намётки плана. Рассуждения, постепенно обретавшие форму.

Полковник Редль принудил его затвердить науку Сунь Цзы.

Умеющий управлять врагом — развёртывает соединения так, что враг должен отозваться. Он предлагает то, что враг может схватить. Он завлекает врага выгодой — и после ждёт со своими войсками.

О жизненной энергии *Ци* учил старый китаец.

Можно с корнем вырвать Ци трёх армий, можно отнять разум полководца. Утром Ци врага — пылающая; в течение дня Ци становится вялой; к сумеркам Ци истощается. Умело использующий армию — избегнет пылающей Ци врага и нанесёт удар, когда Ци вялая или истощена. Вот путь управления Ци.

И главное, рассуждал Ронге: враг на то и враг, чтобы думать и вести себя по-своему — не так, как ты. Надо влезть во вражескую шкуру, понять его мысли, проникнуться ими — только тогда можно победить!

С давних пор австрийские военные традиционно проходили стажировку в России. Молодой Редль, например, в Казани, а Ронге — на Дону. Там он, совсем ещё желторотый, хорошо запомнил русскую формулу,

которую со смехом поведал ему казачий офицер с фамилией германского дворянина — фон Вик:

— Бей своих, чтобы чужие боялись!

Эту формулу и хотел использовать капитан. Для того и копался он в аналитике, чтобы найти способ — заставить врага бить своих.

Перед войной и особенно после начала войны русские будут разжигать в народе ненависть к немцам. Это как дважды два. И тут уж всё едино — что германец, что австриец, что швед или датчанин. Из Конотопа, Тобольска или станицы Новодеревянковской не разглядишь, кто есть кто.

Очень хорошо, думал Ронге. Русские начнут разжигать ненависть, а мы им поможем. Пускай знают: немец — значит, враг. Пускай возьмутся за своих инженеров и врачей с подозрительными фамилиями. Пускай бьют гвардию и флот, штаб-офицеров и генералов с адмиралами… Да-да, и к императорской семье пусть повнимательнее приглядятся. Женщина по имени Алиса Гессен-Дармштадтская русской быть не может!

Пускай русские бьют своих. А мы ещё посмотрим, бояться или радоваться.

Ронге заплатил, оставил официанту хорошие чаевые и энергичной походкой двинулся обратно в сторону штаба. Полковник Редль, наконец, умер для него. Скандала получиться не должно. Газеты в Австрии и за рубежом цитируют заявление Венского телеграфного агентства о самоубийстве несостоявшегося начальника императорского и королевского Генерального штаба Альфреда Редля. Он работал без сна и отдыха — и пал жертвой нервного истощения:

Высокоталантливый офицер, которому предстояла блестящая карьера, находясь в Вене при исполнении служебных обязанностей, в припадке сумасшествия…

Глава XVII. Санкт-Петербург. Пощёчина в «Пале-Рояль»

— Скажите на милость, Давид Давидыч, почему на книжных развалах можно купить всё… ну, буквально всё, от прижизненного Пушкина до «Посмертных записок Пиквикского клуба», а Маяковского — не купить?

— А потому, Владим Владимыч, что нету пока у Маяковского книжек. Нету! И покупать нечего. Это вы хотели услышать?

Двое футуристов — или, по Хлебникову, *будетлян*, — прошли Невским проспектом от Зимнего дворца и Адмиралтейства почти до Знаменской площади. Там перед Николаевским вокзалом недавно соорудили памятник Александру Третьему.

Пётр Первый на Сенатской площади и Николай Первый на Исаакиевской, подтянутые и стремительные, красуются на вздыбленных конях. Александра на Знаменской изваяли на тумбообразном тяжеловозе, вросшем в землю всеми копытами. Сам отец нынешнего императора оказался тоже тумбой, под стать коню, да ещё одели его почему-то в форму железнодорожного кондуктора.

Острословы тут же сочинили загадку:

На площади комод,
На комоде — бегемот,
На бегемоте — обормот.

Скоро у загадки появилось продолжение:

На обормоте — шапка,
На шапке — крест,
Кто угадает —
Того под арест.

Политическая сатира после революции девятьсот пятого года стала популярной…

До памятника, впрочем, Бурлюк с Маяковским не дошли, свернув чуть раньше направо, в Пушкинскую улицу. Здесь посреди палисадника и маленькой площади на постаменте с золотыми буквами понуро стоял бронзовый Пушкин — первый петербургский памятник поэту, творение того же Опекушина, что ваял статую на Тверском бульваре в Москве.

А за площадью, в двадцатом доме, друзей ждало временное пристанище: добрый знакомый оставил Бурлюку ключи от номера в гостинице со звучным названием «Пале-Рояль», фасад которой украшал баронский герб.

Доходный дом баронессы Таубе больше походил на архитектурно облагороженный цейхгауз. Благодаря Александру Дюма любой гимназист знал его тёзку: шикарный дворец выстроили для кардинала Ришелье возле Лувра. В парижском *Palais Royal* коварные гвардейцы кардинала строили козни против мушкетёров короля. Но Петербург — не Париж, так что аристократические ассоциации дальше названия не пошли. Реклама гостиницы «Пале-Рояль» в газете выглядела сухо и прагматично.

175 меблированных комнат от 1 р. до 10 р. в сутки (включая постельное бельё). Месячно — уступка. Электрическое освещение бесплатно. Ванны. Телефон. Комиссионеры. Просят извозчикам не верить.

Рядом с Невским, тем более около вокзала, популярностью пользовались комнаты на пару часов или на одну ночь. Однако «Пале-Рояль» не стал домом свиданий: здесь держались строгих принципов, и любовникам приходилось искать для утех другие места. Рубль в сутки — цена не заоблачная, но простенькую

комнату в Петербурге можно было нанять вдвое дешевле, рублей за пятнадцать в месяц. Так что у баронессы Таубе селились даже не столько приезжие, сколько работающие холостяки и семейные *зимогоры* — те, что круглогодично квартировали в уютных пригородах столицы и наезжали в город лишь по делам, на несколько дней.

Постепенно «Пале-Рояль» стала обживать пишущая братия. Зачин принадлежал Глебу Успенскому: гостиница устраивала его близостью к редакциям «Русского богатства» и «Отечественных записок», а ещё тем, что в семнадцатом доме — через улицу — жил психиатр Синани, который выводил из запоев.

Следом за Успенским в гостинице начал регулярно загуливать сбегавший от жены Александр Куприн — автор язвительного сравнения стокгольмской Олимпиады с Цусимой. Собутыльниками Куприна становились мужчины рискованных профессий — авиаторы, цирковые борцы и акробаты, — и женщины рискованного поведения, млеющие от авиаторов, борцов и людей искусства.

Бывал в «Пале-Рояль» мрачный писатель Леонид Андреев. Здесь останавливался поэтичный писатель Иван Бунин. И учитель Бунина, немилый ему как драматург пьющий писатель Антон Чехов, тоже в своё время облюбовал гостиницу на Пушкинской.

Местные постояльцы-символисты, критик Аким Волынский и публицист Пётр Перцев, водку не уважали — зато уважали приходивших к ним в гости философа Василия Розанова и поэта Валерия Брюсова. Разговоры о таинственной Каббале, мудром Ницше и Прекрасной даме велись на трезвую голову. И всё же Волынскому случилось опьянеть — от любви к рыжеволосой поэтессе Зинаиде Гиппиус, жене ещё одного их приятеля, историка Дмитрия Мережковского. Аким даже завёл с нею роман.

Кто-то из талантливых посетителей «Пале-Рояль» сочинил стишок всё про тот же памятник Александру Третьему:

Это новая игрушка
Для российского холопа:
Был Царь-колокол, Царь-пушка,
А теперь ещё — Царь-жопа!

Частушка мгновенно ушла в народ, авторство снова осталось тайной.

За литераторами к баронессе Таубе потянулись актёры. Нынешние жильцы передавали друг другу истории о том, как лет пятнадцать назад в доме надолго обосновался неутомимый самец императорских театров, знаменитый Мамонт Дальский — дворянин, бежавший из дому с актёрами и сменивший скушную родовую фамилию Неелов на звучный псевдоним. В перерывах между гастролями Мамонт без устали кутил здесь со множеством почитателей и бессчётными поклонницами. Блестящий трагик, шальной красавец со взрывным темпераментом, самозабвенный игрок — он оказывал покровительство молодым талантам.

Рассказывали, как однажды за Мамонтом Дальским в «Пале-Рояль» приехал студент, присланный устроителями концерт-бала в Благородном собрании. Кумир обнаружился изумительно пьяным в окружении распалённых, едва одетых дам. Ни малейшего желания отрабатывать гонорар он не изъявил. Студент готов был разрыдаться, но тут Дальский произнёс своим проникновенным, богатым голосом:

— Не отчаивайтесь, юноша, я вместо себя приятеля пошлю. Отличный певец! Да где же он?.. Федька!

На зов явился худой долговязый молодой человек с прозрачными глазами — из тех, кого Дальский подкармливал. Прозвучала команда: живо надеть фрак

и съездить, спеть что-нибудь в концерте. Отказать благодетелю начинающий певец Федька не посмел.

Много позже великий русский драматический артист и великий русский бас со смехом вспоминали эту поездку. Василий Качалов переживал, что вместо долгожданного Дальского он везёт в Благородное собрание безвестного дебютанта. А Фёдор Шаляпин, которого Дальский пестовал в «Пале-Рояль» целых два года, мучился тем, что фрак на нём — с чужого плеча, и непонятно, как быть с аккомпанементом…

В таком овеянном театральными и литературными легендами месте остановились Бурлюк с Маяковским.

Здешняя центральная лестница пользовалась особенной любовью обитателей: ступени сделали пологими, чтобы в подпитии подниматься было не слишком затруднительно.

Добравшись до своего этажа, футуристы прошли длиннейшим коридором со множеством дверей и оказались в своей комнате. Маяковский по всегдашнему обыкновению первым делом тщательно вымыл руки. Бурлюк уже нетерпеливо ждал и, как только ванная освободилась, с криком нырнул под струи холодного душа: прогулка по жаре с неутомимым юным другом измотала его вконец.

Затем оба, позволив себе из одежды только расстёгнутые брюки, прилегли отдохнуть. Посвежевший богатырь занял кровать в алькове, а Маяковский, которому по молодости достался продавленный диван, продолжал допытываться:

— Так почему вы до сих пор не издали моей книжки?

— А кто вас купит, Владим Владимыч? Нашим всем — подарить придётся, а больше вас и не знает никто. Пушкина купят, «Пиквикский клуб» купят, вас — не купят. А денег у Давида Бурлюка пока что меньше, чем в Государственном банке.

Маяковский прикусил губу. Чутьё у Давида было на зависть, он всё время организовывал концерты, выставки, диспуты, кого-то издавал — и не только из любви к искусству. Каждое предприятие Бурлюка приносило известный доход, который позволял, например, ежедневно выдавать Володе по полтиннику.

— Может, я книжку от руки нарисую? — снова подал голос Маяковский. — Всю целиком, с текстами, с иллюстрациями… Тогда наборщикам не надо будет платить. И просто на гектографе размножим.

— Тоже денег стоит, — резонно заметил Бурлюк и повернулся на бок, чтобы видеть Маяковского здоровым глазом. — Вот Гучков — помните историю с письмами? Сделал на гектографе, а мог бы и в типографию отдать! Весь тираж мигом разлетелся, я себе экземплярчик едва добыл…

Действительно, зимой председатель Государственной думы Александр Иванович Гучков издал брошюры, которые тут же ушли нарасхват. Он опубликовал несколько писем императрицы, каким-то образом попавших в его руки. Александра Фёдоровна обращалась к Распутину — простому мужику, которого привечали при дворе. Письма её содержали очевидные двусмысленности и вызвали в обществе настоящий скандал.

— Гектограф для того нужен, чтобы все видели почерк, — сказал Маяковский, который по своему подпольному и тюремному опыту немного разбирался в криминалистике. — Чтобы понятно было, что письма и вправду её рукой написаны.

— Да я не об этом, — отмахнулся Бурлюк. — Известно вам, кто такой Распутин?

— Чёрт его знает. Святой старец. Колдун какой-то из Сибири, и вроде с императрицей у него шуры-муры…

— Вот! — Бурлюк приподнялся на кровати. — Вы не знаете, кто такой Распутин. И никто ничего толком не

знает: кто такой, чем занимается? Чумазый крестьянин из Тмутаракани! Плужок… Но сама — Сама! — шлёт ему письма, и эти письма читают в Москве, в Питере… везде! И все говорят о нём и о ней, и снова о нём, и снова… А теперь представьте, что этот Распутин стал бы вдруг кубо-футуристом и начал писать стихи. Тиражи можете вообразить?

— То есть Распутина вы хотите издавать, а меня нет.

На стуле рядом с диваном лежала манерно-узкая бежевая пачка папирос «Нарзан» и коробка спичек. Маяковский вытащил папиросу, продул мундштук и закурил.

— Сколько стоят ваши папиросы? — спросил Бурлюк.

— Шесть копеек десять штук.

— Интересное дело! У вас денег нет, и вы курите «Нарзан», а у меня деньги есть, но на те же шесть копеек я беру двадцать штук московского «Дуката»! Где справедливость, Владим Владимыч? И не трясите пепел, прошу вас, вот же блюдце…

Бурлюк прошлёпал босыми ногами до стола и поставил на стул возле Маяковского блюдце, которым они пользовались вместо пепельницы.

— Зря сердитесь, — сказал он.

— Я не сержусь, — буркнул Маяковский. Когда он нервничал, жевал картон мундштука.

— Сердитесь. Но вы послушайте, послушайте.

Бурлюк уселся обратно на кровать и продолжал:

— Вы — гениальный поэт. Я всем это говорю. И вы уж не подводите меня, пишите гениальные стихи! Только писать и публиковаться — две большие разницы. Писать можно сколько угодно. Но издавать книгу только для того, чтобы потешить ваше самолюбие, — извините, слишком большая роскошь. Надо как минимум окупить тираж. Муза может жить на чердаке… или у друзей в гостинице «Пале-Рояль», но ей надо что-то кушать. Хотя бы иногда. Опять же, папиросы покупать…

— Не надо попрекать меня папиросами! И при чём здесь Распутин?

— Да ведь он делает ровно то, что вы должны делать! Неграмотный крестьянин приезжает в Петербург чёрт-те откуда и создаёт себе имя из ничего! А вы приехали из Москвы — и лежите здесь, как кувалда, и ноете, что вас не издают! И в голове один футбол.

Маяковский резко сел, вдавил окурок в блюдце и свирепо уставился на Бурлюка, сжав кулаки.

— Я вас попрошу, Давид Давидович…

— Вот, — довольно ухмыльнулся Бурлюк, — другое дело. Теперь я снова вижу Владимира Маяковского. Понимаете, Распутин очень верно всё рассчитал. Его же никто не вёл под белы руки! Сам растолкал всех локтями, подошёл нахально к трону в лаптях своих, и стоит среди господ раззолоченных, семечки на паркет лузгает, в носу ковыряет и навозом пахнет.

— Грубо.

— Пусть. Это хорошо, что грубо! Чем грубее, тем лучше. Надо вызвать к себе интерес, привлечь внимание. Любой ценой, любым способом, понимаете? Эпатировать. Заставить на себя смотреть. Заставить слушать. И тогда…

— Вы вправду думаете, что Распутин на это рассчитывал?

— Неважно. Кто такой Распутин? Мы о вас говорим!.. Угостите папироской, будьте добры.

Маяковский выдал Бурлюку папиросу, поставил стул с блюдцем между диваном и кроватью и тоже закурил. Он не затягивался и мог курить постоянно.

— М-м, неплохой табак, — оценил Бурлюк. — Шесть копеек десять штук, говорите?

— Хватит уже глумиться, — раздражённо сказал Маяковский.

— Сейчас я очень серьёзен… Владим Владимыч, для того, чтобы выделиться из толпы, у вас уже почти всё

есть. Рост — прекрасный! Фамилия — любому псевдониму на зависть! Маяк такой высоты — уже есть, о чём говорить! Но к фамилии, росту и гениальным стихам надо добавить ещё пару штрихов, чтобы вас узнали и запомнили…

— Меня знают.

— Кто? Братья-футуристы? И ещё пара кружков вроде нашего? Бросьте, десяток-другой человек, даже полсотни — это ничто. Капля в море. Нам ведь нужны тысячные тиражи, верно? Значит, вас должны узнать и запомнить тысячи. Десятки тысяч… Вот вы сидели в тюрьме. Против кого вы боролись? Кого вы ненавидите?

Маяковский глубоко затянулся, выпустил длинную струю дыма и прищурился.

— Буржуев. Капиталистов.

— Прекрасно. Но у этих буржуев и капиталистов есть деньги, которых нет у вас и которые вам нужны. Надо заставить их раскошелиться. Что бы вы сделали, если бы столкнулись с тем, кого ненавидите? Ну? Чтобы он вас надолго запомнил?

— Дал бы в морду…

— В морду?.. Отлично! С этого и начнём.

— В каком смысле?

Бурлюк поднялся и зарокотал, расхаживая по комнате.

— В прямом! Дадим обществу в морду! Для начала сойдёт и пощёчина. Пощёчина общественному вкусу! Наотмашь всем этим… Пусть знают! Отдать швартовы! Кубо-футуристы выходят в открытое море! Балласт нам не нужен. Всё лишнее — за борт. Толстого — за борт. Достоевского — за борт…

Взгляд Бурлюка упал за окно, туда, где стоял бронзовый Пушкин. Он обернулся к Маяковскому, картинно простирая руку в сторону памятника:

— И Пушкина — за борт!

Маяковский настороженно следил за Бурлюком, единственный глаз которого сейчас горел, вправду придавая хозяину сходство со свирепым капитаном пиратского корабля или беспощадным командиром абордажной палубы.

— Вы меня пугаете, Давид Давидович, — сказал Маяковский. — И сегодня уже не в первый раз. Я понимаю, можно бросить за борт картонного Брюсова. Или Бальмонта — чёрт с ним, с парфюмером этим. Аверченко можно, Андреева… не знаю, Бунина… Горького даже. Но Пушкина?!

Бурлюк расхохотался.

— Ага! Вот видите, вы купились! Горький, Андреев… Для них дача возле речки — уже подарок судьбы. Награда для портных! А за Пушкина не бойтесь, куда мы без него… Я же вам толкую про декларацию. Фигуру вокала. Трюк! Называем имена, которые известны всем. Их знают все, нас — никто. Представляете, что начнётся, когда мы опубликуем такой манифест?! И в нём прямо заявим: эти так называемые великие не нужны современности! Поэтому всех до единого — за борт, к чёртовой матери! Представляете, что будет?

— Скандал будет. Большой скандал.

— К сожалению, не больше, чем с распутинскими письмами. Но ничего, для начала неплохо. Все побегут посмотреть, что это за футуристы такие, которые с Пушкиным и Толстым расправляются. И вот тут, на пике скандала появитесь — вы… Скажите мне, господин студент института живописи, какие цвета самые контрастные?

Маяковский смахнул с глаз длинную чёлку, которая тут же упала обратно.

— Чёрный с белым, наверное…

— Двойка! Чёрный с жёлтым. Наденете чёрный цилиндр, как у настоящего толстопузого капиталиста…

— Зачем это?

— Во-первых, не обижайтесь, но в цилиндре у вас на редкость дурацкий вид. Вот и пускай публика сначала считает вас дурачком, ржёт и думает, что она умнее. Чем позже выяснится, что всё наоборот — тем сильнее будет эффект. Во-вторых, цилиндр на вас — как раз та самая пощёчина общественному вкусу. Оплеуха капиталистам, которые носят цилиндры и которых вы ненавидите. Потому что вы — карикатура на них, но и это они поймут не сразу. И в-третьих, для контраста вы наденете… У вас из одежды что-нибудь жёлтое есть?

— Нет… Есть! Не у меня, у матери. Кофта старая, её как-то так постирали, что она вытянулась — теперь даже мне велика…

— Прекрасно! Я это вижу! Сцена — и на ней молодой гениальный великан в цилиндре и огромной жёлтой кофте! Вы будете неотразимы.

Маяковский откинулся на спинку дивана, дунул в мундштук очередной папиросы и сунул её в угол рта.

— Не пойдёт, — сказал он.

— Что не пойдёт? — не понял Бурлюк.

— Всё не пойдёт. Я хочу, чтобы улица говорила моим языком. Чтобы кричала! Хочу, чтобы люди слушали то, что я пишу. И чтобы книжки мои читали, а не пялились на меня, как на ярмарочного уродца. Хочу, чтобы обращали внимание на стихи, а не на кофту. Может, прикажете вообще голым на сцену выйти?

Маяковский прикурил и принялся гонять папиросу из одного угла рта в другой, пуская густые клубы дыма.

Бурлюк поник, добрёл до кровати и снова улёгся, закинув руки за голову.

— Голым — это было бы неплохо, — он зевнул, — но для карьеры губительно и небезопасно. Хотя к тюрьме вам не привыкать… Не знаю, может, потом как-нибудь. Посмотрим… А сейчас вот что я вам скажу. К этому делу мы подтянем Велимира и, может быть, ещё нескольких наших. Напишем манифест про пощёчину

общественному вкусу. Осенью опубликуем. В артистических кафе устроим несколько диспутов. Вы будете выступать с докладами и стихами. В цилиндре и маминой кофте. Выступать будете нагло, будете хамить. Наверное, в самом деле придётся пару раз дать кому-нибудь в морду, так что отведёте душу. Такого красавца обязательно заметят и запомнят. Я сразу же издам вашу книжку. Тиражи будут — не извольте беспокоиться… А дальше, дорогой Владим Владимыч, как пойдёт. Одно могу вам обещать почти наверняка: впредь сможете писать, что захотите. Сожжёте кофту и купите хороший костюм. Ездить будете на таксомоторе. И не копеечный «Нарзан» покупать, а гильзы «Викторсон» с турецким табаком или яванские сигары. Главное — помните: публика любит сильных мужчин, публика — это женщина! Топчите, надругайтесь, насилуйте. Вам за это руки целовать станут. Хотя я бы целовал за другое. *Чёрным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие жёлтые карты…* Или за — *платья зовущие лапы*… Но тут уж кому что нравится. Как говорил неизвестный вам автор: один любит арбуз, а другой — свиной хрящик. Я немного вздремну, ладно?

Глава XVIII. Ялта, Ливадия. Ярость бессилия

— Скажи, Ники, почему нельзя, чтобы Григорий снова приехал? — спросила Александра Фёдоровна, оторвавшись от вышивания и взглянув на мужа.

Николай Александрович молчал, сидя с закрытыми глазами.

Недавно, в мае, Распутин гостил в Ливадийском дворце. Но про то, что появление в Ялте едва не стоило ему жизни, нервной Аликс говорить было нельзя, чтобы не спровоцировать очередную истерику.

Ялта — лучший российский курорт на Чёрном море. В здешние дворцы съезжались по весне аристократы, здесь каждое лето отдыхала семья императора. После революции девятьсот пятого года Ялту объявили на положении чрезвычайной охраны. Градоначальником стал генерал Иван Антонович Думбадзе: его протежировал дядя императора, великий князь Николай Николаевич.

Имея такую силу за спиной, властный грузин распоясался и обнаглел. За корреспондентами столичных газет и горожанами Иван Антонович внимательно следил, неблагонадёжных высылал. Правил патриархально, судил сурово, гражданские иски против правил разбирал лично — и решения свои исполнял без помощи полиции. К возмущённым претензиям Сената относился пренебрежительно, а при напоминании о законах не без оснований повторял: *Я здесь закон!*

Желчные журналисты из «Сатирикона» язвили наперебой:

Вы российский подданный? — Нет, ялтинский.

В Ялте расцвёл Думбадзе и позеленело население.

Генерал Думбадзе в двадцать четыре часа выслал из Ялты свою собственную шинель за ношение красной подкладки.

А вот бомба, которую метнули в генерала с одной из дач, оказалась не шуточной. Террорист сразу застрелился, кучер и лошади были ранены, а Думбадзе уцелел и приказал дачу сжечь. Огромный иск от владельцев и жильцов на шестьдесят тысяч рублей министр внутренних дел Столыпин оплатил из казны. Дело замяли, как и многие другие. Из-за хамства Ивана Антоновича ушёл в отставку финляндский генерал-губернатор Бекман. На Думбадзе безрезультатно пытались подавать в суд многие, вплоть до сенаторов, но генерал при поддержке великого князя преспокойно продолжал править Ялтой, как настоящий диктатор…

Фрейлина Анна Танеева-Вырубова вызвала Распутина в Ялту по просьбе императрицы. Вызвала условленной телеграммой из Сибири, из родного Покровского. Распутин приехал в Петербург и сразу же отправился в Севастополь.

Но была ещё одна телеграмма, о которой стало известно императору. Шифрованное сообщение с пометкой «личное» предназначалось Степану Петровичу Белецкому, директору департамента полиции. Думбадзе писал: *Предлагаю избавиться от Распутина во время его переезда на катере из Севастополя в Ялту.*

Выпал редкий случай решить, наконец, проблему Распутина. Мужик прибывает в черноморскую столицу российского флота. Его встречают агенты Думбадзе — всё как положено. Ничего не подозревающего пассажира сажают в катер, чтобы везти в Ялту. Команда на катере, конечно, подставная, тоже из верных генералу людей. Они выходят в море, и там

Распутин просто исчезает, словно его не было. А пока в Ливадии хватятся и забьют тревогу, Думбадзе успеет подчистить изъяны операции и в полном смысле — спрятать концы в воду.

Прочитав шифровку, статский советник Белецкий задумался. Устранением Распутина ялтинский градоначальник хочет сделать подарок своему покровителю, великому князю Николаю Николаевичу. И заодно всем тем — от депутатов Государственной думы до членов императорской фамилии, — у кого при упоминании о сибирском мужике делается изжога.

Вопрос: что лично Белецкий выиграет, если мужик исчезнет? Похоже, ничего. Героем, уничтожившим Распутина, и даже одним из таких героев ему стать не дадут. Лавры достанутся Думбадзе, а у главного полицейского Российской империи, наоборот, появятся проблемы. Сначала с имитацией активного розыска пропавшего, потом — с ответом за то, что розыск не дал результатов…

…зато если операция сорвётся или пройдёт неудачно, если что угодно случится не так — Иван Антонович будет не единственным виновным. О телеграмме директору департамента полиции он точно молчать не станет. Значит, Белецкого ждут проблемы много более серьёзные, чем в случае с исчезновением. Отвечать придётся перед самим императором, тут и самому недолго под судом оказаться.

Конечно, велик соблазн махнуть на страхи рукой. Ответить Ивану Антоновичу — мол, убирайте Распутина, и дело с концом, а славой как-нибудь сочтёмся. Но всё же речь шла именно о близком государю Распутине, а не о ком-то другом. К тому же…

К тому же телеграмма пришла в департамент, и на квартиру директору её прислали с курьером уже расшифрованной. Значит, текст читали не только отправитель, шифровальщик и получатель, но и

секретарь-дешифровщик Митрофанов. Немцы говорят: что знают двое, знает и свинья. Выходит, о предложении убить Распутина известно минимум четверым. Минимум!

Точно, подложил ему свинью Думбадзе. Большую, всезнающую и очень опасную свинью. Кретин… Тот же Митрофанов телефонировал Белецкому раньше, чем появился курьер: телеграмма, сказал он, *очень и даже очень интересная.*

Выход из этой ситуации получался единственный. Степан Петрович снова вызвал курьера и подписал препроводительный бланк с пометкой «срочно». Расшифрованный текст надлежало доставить министру внутренних дел в собственные руки. Выждав положенное время, директор департамента полиции снял трубку особого — только для разговоров с министром! — телефона и спросил, нет ли для него распоряжений относительно известного предмета. После молчания на другом конце провода прозвучал ответ:

— Не надо, я сам.

Давал ли министр какие-то указания генералу Думбадзе? И если давал — какие именно? Препровождённая ему телеграмма в департамент полиции не вернулась. Подлинник Митрофанов после расшифровки уничтожил, как полагается, но… Для того и существуют на свете верноподданные, чтобы государь знал секреты остальных подданных. Распутина до самой Ливадии сопровождали филёры охранного отделения — кстати, подчинённые Степана Петровича Белецкого, — и приезд прошёл тихо и ровно, как по маслу…

Николай Александрович вздохнул.

— Я надеюсь, — сказал он Александре Фёдоровне, не открывая глаз, — что летом нужды в Григории здесь не будет. А осенью вернёмся в Царское, тогда и свидимся.

Под напускным спокойствием императора скрывалась вскипавшая ярость. И дело было вовсе не в Распутине.

Что Распутин? Сибирский мужик. Да, необычный. Философ от сохи, целитель словом божьим, любимец и спаситель Аликс. В меру хитрый, в меру хамоватый… Но если прошерстить полтораста миллионов крестьян Российской империи — неужели не найдутся ещё мужики, которые смогут и слово нужное молвить, и хворь победить, и байку интересную рассказать?! Найдутся, точно: не оскудела ими земля!

У самого Николая Александровича больше других сердце лежало к Иоанну Кронштадтскому. Здесь, в Ливадии, вместе стояли они у смертного одра Александра Третьего, и протоиерей Иоанн наставлял нового императора в начале царствования. Исцелял батюшка, не спрашивая роду-племени, всех страждущих. И даже с черносотенцами общался, приговаривая: *Нужно любить всякого человека и в грехе его и в позоре его. Не нужно смешивать человека — этот образ Божий — со злом, которое в нём.*

Зло хотел извести отец Иоанн, из греха погромщиков вырвать, на путь их, позорных, наставить. Да жаль — заболел Иоанн Ильич тяжко и преставился уже три года тому. Покинул царствие земное, отбыл в горнее, но слова его в памяти сохранились: *Только царю подается от Господа власть, сила, мужество и мудрость управлять своими подданными.*

Каково сказано! Эти бы слова, да каждому в уши…

Императора приводило в ярость собственное бессилие. У него, хозяина шестой части земной тверди, есть сотни генералов и тысячи штаб-офицеров. Генерал Думбадзе — лишь один из тех, что копошатся у подножия трона. Но этот обнаглевший служака, тупой солдафон, дядин лизоблюд — может то, чего не может сам государь!

Подлинный хозяин и царь здесь — Думбадзе. Ведь это он решает, кому жить в Ялте, а кого выслать. Кого лишить имущества, а кого посадить под арест. Кому разводиться, кому нет. И, наконец, это Думбадзе взялся решать — жить или не жить на свете человеку по имени Григорий Распутин.

Мужик не по нраву многим, верно. Но ведь ни в чём не провинился: не убил, не украл, не лжесвидетельствовал. Нет на нём смертных грехов: гордыни, зависти, алчности, гнева… А генерал Думбадзе легко и самовольно приговорил его к смерти на пути в Ялту. Со спокойной совестью предложил убить Распутина по пути к государю!

И государь, знающий об этом, ничего не может поделать с каким-то Думбадзе. Не то, что утопить в море: ни выслать не может, ни имущества лишить — ни, на худой конец, всыпать публично так, чтобы все снова вспомнили, кто здесь, в самом деле, царь и каков истинный закон… Вот оно в чём, бессилие! Вот она откуда, ярость!

Николай Александрович скрипнул зубами, и это не ускользнуло от внимания императрицы. Краешком канвы с вышиванием она украдкой вытерла набежавшую слезу. А государь продолжал сидеть в своём плетёном кресле, не размыкая век, и ворошить воспоминания, которые так надеялся хотя бы на лето оставить в Петербурге.

Первый раз он дал распоряжение охранять Распутина уже давно. Министром внутренних дел был тогда Пётр Аркадьевич Столыпин. Как только мужик появился в доме дядиной жены, княжны Милицы Николаевны, за ним тут же установили слежку. Это и правильно: полиция получает жалованье не за то, что смирно стоит и козыряет, когда члены императорской фамилии едут по Невскому, а за то, чтобы чувствовали они себя в безопасности. И с ними вместе —

верноподданные граждане, которые несут в казну деньги на содержание этой полиции.

Для спокойствия проследили за Распутиным. Сведения кое-какие о нём собрали, проверили — обычный крестьянин, разве что чуть не всю Россию исходил от монастыря к монастырю. Да мало ли таких странников… К тому же милостыню Григорий сын Ефимов не собирает: как посевная да уборочная — в родное село возвращается, к отцовскому хозяйству.

А потом черногорские княжны Милица и сестра её Анастасия привезли странника в Царское Село, в Александровский дворец. Императрица к мужику прониклась, увидав в нём единственное своё спасение; дети его приняли… И рассудил Николай Александрович, что уж если следят за Распутиным, если ходят за ним — так пусть и охраняют. Мужиков-то много, но в царский дворец допущен только один. А раз он такой особенный, значит, против него и злоумыслить могут. Или через него — против государевой семьи.

Удачно выходило: слежка с охраной — работа двойная, а деньги те же. Голос немецкой крови призывал Николая Александровича к бережливому расчёту.

И вот теперь снова пришлось распорядиться об охране. На министерском посту Столыпина уже сменил Макаров: бедного Петра Аркадьевича в прошлом году застрелил террорист. На торжествах в Киеве по случаю пятидесятилетия отмены крепостного права убийца при странном попустительстве охранников хладнокровно разрядил в министра свой «браунинг».

Государь указал Макарову: Распутина травят всерьёз.

В травле особенно усердствовал председатель Государственной думы Александр Иванович Гучков — лидер фракции октябристов. Начал он с того, что в собственной газете «Голос Москвы» опубликовал тщательно продуманную статью. Впрямую Распутин

упомянут не был. Но скрытый смысл предлагался такой: императорская фамилия пригрела у трона самозваного святого старца, а на деле — опасного и циничного сектанта.

Провокаторский расчёт оправдался: московский губернатор сгоряча издал распоряжение конфисковать весь тираж «Голоса Москвы». Тогда Гучков от имени фракции сделал в Думе депутатский запрос о законности гонений на газету. Подлость состояла в том, что в запросе целиком содержался скандальный текст. Стало быть, статья попала в думские стенографические отчёты — и была совершенно законным образом перепечатана в других изданиях.

Затем неутомимый октябрист предпринял ещё один демарш. Он отпечатал на гектографе и роздал депутатам памфлет «Гришка». Брошюра включала несколько писем императрицы к Распутину. То, что письма были выкрадены, никого не волновало. Волновало их содержание.

Возлюбленный мой и незабвенный учитель, спаситель и наставник, как томительно мне без тебя… Я только тогда душой покойна, отдыхаю, когда ты, учитель, сидишь около меня, а я целую твои руки и голову свою склоняю на твои блаженные плечи. О, как легко мне тогда бывает! Тогда я желаю одного: заснуть, заснуть навеки на твоих плечах, в твоих объятиях. О, какое счастье даже чувствовать одно твоё присутствие около меня… Где ты есть? Куда ты улетел? А мне так тяжело, такая тоска на сердце… Скоро ли ты будешь опять около меня? Скорей приезжай. Я жду тебя, и мучаюсь по тебе. Прошу твоего святого благословения и целую твои блаженные руки…

И это пишет жена российского императора, мать наследника престола — простому сибирскому мужику! Высокая статная красавица, воспитанная при

английском дворе, мечтает целовать руки пахаря и заснуть в объятиях крестьянина с побитым оспой носом!

Брошюра пошла гулять по рукам в Петербурге и Москве. Но далеко впереди неё летел и обрастал подробностями новый, похабный слушок про амуры государыни с оборотистым сластолюбцем. И вот уже сенсацию обсуждают на каждом углу; а вот уже слух перешагнул границы, и новое слово *Rasputin* запестрело в заголовках европейских газет…

Следующим шагом стала возмутительная речь, о которой перед отъездом в Крым говорил Коковцову государь. Та самая речь, полная сплетен, выдумок и злобы.

Дума обсуждала смету Священного Синода — собрания архиереев, ведавшего церковными делами империи. Гучков обрушился на главу Синода, обер-прокурора Саблера. А говорить Александр Иванович умел! Он сыпал цифрами и фактами, и на сей раз имя Распутина называл прямо. Выходило так, что Гришка — не бес даже, а дьявол во плоти. Что простой мужик, как паук, опутал сетями и царскую семью, и придворных, и министров. Что вертит страной, как хочет. Что всеми своими бедами Россия обязана одному Распутину. Что Синод ему мирволит, и Гришкиными интригами Саблер сделан обер-прокурором… Доказательства подобраны были ловко, и картина рисовалась чудовищная.

— Никакая революционная и антицерковная пропаганда в течение ряда лет не могла бы сделать того, что достигается событиями последних дней! — На думской трибуне Гучков уже не сдерживался; он горел праведным гневом, он обличал. — В центре её — загадочная трагикомическая фигура, точно выходец с того света или пережиток темноты веков… Какими путями достиг этот человек центральной позиции, захватил такое влияние, перед которым склоняются

высшие носители государственной и церковной власти?.. Вдумайтесь только, кто хозяйничает на верхах!

Речь обросла лавиной слухов: у трона сплошь марионетки, и управляет Россией какой-то мужик! В самую дикую несуразицу люди верят охотнее всего…

Бессильная ярость заставляла государя играть желваками и сжимать невольно кулаки. Бессильная ярость душила его, неспособного защитить от грязи любимую женщину. Распутин — просто разменная монета, повод. Сегодня подвернулся этот; не будет его — найдётся другой. Какая разница? Распутин — мишень, но не цель.

А настоящая цель — тот, на кого никто указать не посмеет. Цель — он, божьей поспешествующей милостью Николай Вторый, Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода низовския зе́мли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея северныя страны. Повелитель; и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинския зе́мли и области Арменския; Черкасских и Горских Князей и иных Наследный Государь и Обладатель, Государь Туркестанский; Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голштейнский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая.

Глава XIX. Оксфорд. Прощание с Альбионом

В Оксфорде только первый год Феликсу Юсупову пришлось жить в студенческом городке — впрочем, и там занимая обширные апартаменты.

На следующий год он воспользовался правом второкурсника, снял в городе целый дом и немедленно принялся за его благоустройство. Приложенные старания, недурной вкус Феликса и огромные деньги князей Юсуповых скоро принесли свои плоды: неказистый оксфордский домишко превратился в роскошное шале. Побывать здесь в гостях было честью не только для студентов, но и для светской публики из Лондона.

Например, Сергей Дягилев только что впервые привёз в британскую столицу «Русские сезоны» и произвёл настоящий фурор. Знаменитому балету рукоплескали король Георг Пятый и его матушка Александра Датская — старшая сестра вдовствующей российской императрицы Марии Фёдоровны. А Дягилев с любовником, солистом труппы Вацлавом Нижинским, после ошеломляющих представлений ныряли в лимузин Юсупова — тот самый *Rolls-Royce Silver Ghost Double Pullman* — и ускользали сюда, в Оксфорд, к своему гостеприимному и щедрому поклоннику.

Соученики Феликса, отпрыски лучших аристократических и королевских домов Европы, проводили в шале больше времени, чем в университетских аудиториях — как и он сам.

Посреди просторной гостиной князь увещевал приятелей, с которыми давеча наведывался в казино.

— Может быть, сегодня вам придётся немного поскучать, голуби мои, — ласково говорил он. — Из всех

приглашённых, по-моему, только вы совсем не говорите по-русски.

— Не смей нас бросать! — капризничал Луиджи Франкетти. — Ты тоже не говоришь по-итальянски, и что? Все знают английский, и вообще — мы в Англии...

— Вот именно, — поддержал итальянца француз Жак де Бестеги. — Вот уедешь в свою Россию, там и наговоришься!

Франкетти и де Бестеги жили в доме Юсупова с того момента, как он его купил и обставил. Эти два студента неплохо устроились и сейчас переживали: Феликс собирался возвращаться на родину, а их сладкая жизнь заканчивалась.

— Ступай-ка за клавиши, — подтолкнул итальянца князь. — Сыграй что-нибудь душевное.

Играл Франкетти прекрасно, так что иной раз гости слушали его ночи напролёт. Но сейчас он поплёлся к фортепиано, всем своим видом показывая недовольство и на ходу срывая длинные, до локтя, перчатки — в тон облегающему лимонному платью.

В отличие от своих одетых женщинами приятелей, *джентльменов с грамматическими ошибками*, Феликс надел фрак. Но из-за яркого вечернего макияжа выглядел вызывающе — с подведёнными бровями, кокетливой мушкой на щеке и кроваво-красными герленовскими губами. Бисексуальную красоту князя подчёркивала причёска: его чёрные, как вороново крыло, волосы были идеально подстрижены, набриолинены и зачёсаны назад.

— Артур, — повысил голос Юсупов, — всё ли готово? Гости скоро будут!

Артур служил у князя камердинером. Домашнего повара, вывезенного из России, Юсупов называл кашеваром. Автомобилем управлял шофёр-француз, за домом присматривала местная пара: конопатая жена ходила в экономках, а муж кроме прочего занимался

ещё тремя лошадьми — приехав в Англию, Феликс купил скакуна для охоты и двух пони для игры в поло.

— Всё готово, сэр, — доложил безупречный Артур.

Сияя серебром, стол украшала огромная княжеская икорница — на сей раз её использовали по назначению, а водка остывала в ведёрке со льдом. Хотя, само собой, гости всегда предпочитали шампанское. Недостатка не было ни в нём, ни в разнообразных лёгких закусках и фруктах.

В углу гостиной среди огромной клетки качалась на качелях носатая красно-жёлто-синяя попугаиха Мэри.

Под ногами путался, громко сопя и похрюкивая, любимый французский бульдог князя.

Британские офицеры появились точно в назначенное время, не дрогнув ни единым мускулом при виде юношей в вечерних дамских туалетах. Радушный хозяин представил вновь прибывших по-русски:

— Мистер Стивен Эллей. Можно сказать, почти русский и почти родственник. Родился в Москве, в нашем фамильном дворце. На русском говорит лучше меня — лучше, Стивен, лучше! — потому что лучше меня знает английскую поэзию. Работал в Петербурге инженером на строительстве железной дороги. Так что и Россию знает лучше меня… Я ничего не забыл?

Эллей поклонился компании Юсупова, изобразив на типично английском лице подобие улыбки.

— Вы забыли о моей бесконечной признательности вам и вашим родным.

— Благодарю вас, — Феликс чуть склонил голову в его сторону и рекомендовал второго гостя. — Мистер Джон Скейл, давний добрый друг нашей семьи. Если не ошибаюсь, в ближайшее время тоже собирается ехать в Россию.

— Точно так, — отозвался неприметный Скейл. — К вашим услугам, господа.

— А теперь представьте нам вашего товарища, — попросил князь. — Мы раньше не встречались?

Со знакомыми Юсупову офицерами приехал ещё один капитан — немного старше Скейла и Эллея, лет сорока. Князь откровенно разглядывал его. Среднего роста, поджарый. Мужественное, волевое лицо. Высокий лоб, короткая причёска с пробором, тщательно подстриженные усы щёточкой. Спокойный, внимательный взгляд глубоко посаженных серых глаз…

— Нет, ваше высочество, не встречались, — ответил офицер тоже по-русски. — Честь имею рекомендовать себя, капитан Келл. Вернон Келл. Я знаком только с вашим кузеном Михаилом, графом Сумароковым-Эльстон. Нас представили в Стокгольме на Играх. Миша — прекрасный теннисист и совершенно очаровательный молодой человек. В него нельзя не влюбиться. Мы сделались большими друзьями.

— О-о, — протянул Феликс, пристально глядя капитану прямо в глаза, — как я вас понимаю…

— Я, видимо, недостаточно удачно выразился, — продолжил британец, — ваш кузен в самом деле очаровательный молодой человек и блестящий спортсмен. Мы теперь очень дружны с ним, но я… *не делаю грамматических ошибок*.

— Ах, вот оно что, — разочарованно вздохнул Феликс. — Что ж, добро пожаловать, господин грамотей!

— Вернон, — спокойно напомнил офицер. — Я буду признателен, если вы станете называть меня Вернон… Ваш друг — хороший музыкант, — добавил он, кивнув на Франкетти.

Тот сидел за пианино и негромко наигрывал лёгкую мелодию. Рядом стоял де Бестеги и время от времени подносил к накрашенным губам итальянца бокал с шампанским.

Попугаиха вдруг пронзительно вскрикнула и забормотала что-то смешным хриплым голосом.

— Феликс, ты можешь унять свою птицу? — вздрогнув, спросил Джек Гордон, стоявший рядом с клеткой с бокалом в руке. — Я чуть не подавился.

Молодой шотландец говорил только по-английски. Он недавно поступил в Оксфорд и учился в соседнем колледже; был очень хорош собой, смахивал на индусского принца, и его уже приняли в высшем лондонском обществе. С удовольствием принял его в своё окружение и Юсупов — он любил красивых успешных молодых людей.

— Это что, — засмеялся князь, тоже переходя на английский. — По-моему, я не рассказывал, что устроили птицы, когда я приехал в Лондон в первый раз…

— Рассказывал, — не переставая играть, буркнул Франкетти, — сто раз уже.

— А я не слышал, — сказал Гордон.

Феликс тут же охотно начал:

— Я тогда поступил в Оксфорд, а до начала занятий уезжал обратно в Россию. И накупил здесь для своего имения в Архангельском целый скотный двор. Быка и коров с поросятами отправил прямо в Дувр на корабль, а клетки с курами, петухами и кроликами оставил при себе…

— Оставил при себе в отеле «Карлтон», — Франкетти пропел эти слова на мотивчик, который наигрывал, и Жак поднёс ему шампанское.

— Да, в отеле «Карлтон». Конечно, их поместили в подвале, а не у меня в апартаментах. Но мне вдруг стало их так жалко! Тогда я пошёл в подвал и открыл все клетки. А эта живность тут же разбежалась по гостинице.

— Могу себе представить, что там началось! — с завистью в голосе сказал Гордон.

Феликс многозначительно закатил глаза и подтвердил:

— Переполох по первому разряду! Петухи с курами квохчут. Кролики визжат и кладут повсюду кучки. Прислуга за ними гоняется, управляющий бушует и рвёт на себе волосы, а постояльцы разевают рты… Словом, полный успех!

— Пожалуй, для «Карлтона» это был тяжёлый шок, — сказал Эллей. — Такой респектабельный отель…

— Всё-таки вы — человек совершенно не военный, — в голосе Скейла прозвучал укор. — Настоящий штатский шалопай.

— Уж это точно, — с готовностью согласился Юсупов. — Военный из меня никогда не получится. Я так и сказал родителям, когда они заговаривали о Пажеском корпусе.

— Очень зря, — дрогнул усиками в ниточку ещё один гость, молодой человек в дорогом костюме и со сверкающим пенсне на носу. — Мы бы с тобой там славно провели время. Мог бы не уезжать так далеко от матушки.

Александр Карагеоргиевич, сын сербского короля, до учёбы в Оксфорде закончил Пажеский корпус в Петербурге. Сейчас он сидел в большом мягком кресле, закинув ногу на ногу, и дымил толстой сигарой.

— Нет уж, благодарю покорно, — Феликс энергично помотал набриолиненной головой, — военная служба не по мне. Да и вообще любая служба. Я — прирождённый плейбой, джентльмены!

С учётом того, как он выглядел, фраза прозвучала особенно убедительно.

Жак де Бестеги вдруг рассмеялся, и Франкетти с удивлением взглянул на него.

— Простите, — сказал Жак, — я вспомнил историю, которую Джек точно ещё не слышал… И вы, наверное, тоже, — он обратился к офицерам. — На первом курсе мы все жили в само́м колледже. И должны были

возвращаться не позже полуночи. Опоздаешь трижды за семестр — выгонят.

— Мы таким устраивали торжественные похороны, — включился в разговор Освальд Рейнер, который держался около фуршетного стола и опасливо поглядывал на икорницу. — После панихиды провожали на вокзал под похоронный марш. Оркестр приглашали, и шли за ним через город с поникшими головами, со шляпами в руках! А Феликс, чтобы спасти нарушителей, придумал связать из простыней верёвку…

— Это я рассказываю! — оборвал его де Бестеги. — Так вот, Феликс придумал эту штуку с верёвкой из простыней. Он ведь занимал у нас весь первый этаж. И тот, кто возвращался ночью, стучал ему в окно. Феликс тогда выбирался на крышу и сбрасывал верёвку.

— Да, — не удержался князь, — а однажды мне постучали уже под утро. Я спросонья не разобрал, кто стучит, спустил верёвку и поднял… полицейского!

Компания расхохоталась.

— И что же? — спросил Келл. — Это сошло вам с рук?

— Спасибо, вмешался архиепископ Лондонский, замолвил словечко, — ответил Юсупов. — Иначе выгнали бы меня, точно!

— Чёрт, как жаль, что ты уезжаешь! — вдруг сказал Франкетти. Он оборвал мелодию, и все тоже притихли. Стало слышно сопение и фырканье раскормленного бульдога.

Глянув на пса, молчание нарушил Вернон Келл.

— Как его зовут?

— Панч, — живо отозвался князь. — С ним тоже связана одна забавная история. Я забрал его на каникулы с собой, в Россию. А законы здесь у вас неумолимые. Шесть месяцев карантин — и только после этого разрешают ввозить собаку обратно в Британию. Но я же не мог расстаться с моим Панчем на целых полгода! И когда возвращался сюда через Париж,

заглянул к одной… в общем, старой русской куртизанке. Мы накормили его снотворным, завернули в пелёнки, надели чепчик. Старушка нарядилась няней, и вот так втроём добрались до Лондона: няня, я и мой младенец!

Гости снова рассмеялись.

— Похоже, ему нравится ваш ковёр, — заметил Келл.

Бульдог, действительно, потёрся мордой о совершенно чёрный ковёр, устилавший всю гостиную, завалился навзничь и стал, извиваясь, чесать об него спину.

— А вам нравится? — спросил Юсупов. Офицер утвердительно кивнул. — Это Джек мне присоветовал один магазинчик…

— Мебельный магазин на Фулхэм-роуд, — уточнил Гордон. — Держат его две такие смешные старые девы, сёстры Фрит.

— Ветхие, как мир, и очень приветливые, — продолжал князь. — Просто персонажи Диккенса, честное слово. Но когда я заказал им чёрный ковёр, их будто подменили.

— Они приняли тебя за дьявола, — снова вставил Франкетти, и Жак снова принялся поить его шампанским.

— Может быть, — согласился Юсупов. — С тех пор, стоило мне заглянуть в магазин, как они прятались за какую-то ширму. Я только и видел, как над ней трепетали две кружевные макушки.

— Скажу вам больше, джентльмены, — вмешался Скейл, — с лёгкой руки князя Юсупова на такие ковры пошла мода! Недавно был случай: жена настелила чёрный ковёр, а муж решил, что гостиная стала мрачной. И говорит: *Ковёр или я!*

— Напрасно, — сказал Эллей.

— Точно, напрасно, — согласился Скейл. — Жена выбрала ковёр, и они развелись.

— А какие цвета предпочитает ваша жена? — снова по-русски спросил Келла Юсупов. Он сделал приглашающий жест, и они уселись в углу на большой мягкий диван, повернувшись друг к другу.

— Я не женат, — ответил офицер. — Надеюсь, вы уезжаете не из-за болезни княгини Зинаиды Николаевны?

— О, матушкина хворь — это целая история! — махнул рукой князь. — Нервы, нервы, нервы… Недавно они с отцом были в Берлине и срочно вызвали меня депешей. У неё случился сильнейший нервный припадок, а успокоить её в таких случаях могу только я. Пришлось всё бросить и мчаться в Берлин. Там — жара, а матушка лежит на кровати под шубами, окна в комнате закрыты. Есть она наотрез отказывается, говорит, что боли дикие, кричит на всю гостиницу…

— Бог мой, — сказал Келл, — бедная женщина…

— Но мы-то знаем, что болезнь её чисто нервная, — повторил князь. — Не будете так любезны передать мне ещё бокал шампанского?.. Благодарю. Так вот, вызвали психиатра, светило номер один из берлинских светил. Я провёл его к матушке и оставил с глазу на глаз. Вдруг слышу из-за дверей смех. Я сперва ушам не поверил, потом приоткрыл дверь: точно. Матушка давно не смеялась, а тут весело так заливается, только что не хохочет. И рядом на стульчике сидит доктор, от смущения красный. Матушка сквозь смех просит: *Уведи его, не могу больше, умираю!* Я доктора проводил, возвращаюсь и понять не могу, в чём дело. А она говорит: *Где ты взял этого врача? Его самого лечить надо! Он посмотрел на часы у меня над кроватью, и знаешь, что сказал? Странно, говорит, вы заметили, что стрелки остановились в тот же час, когда умер Фридрих Великий?*

Келл покачал головой:

— И в самом деле, подозрительный психиатр… Но судя по тому, что княгиня смеялась, визит его всё же принёс пользу!

Юсупов согласился:

— Да, не мытьём, так катаньем.

— Отчего же вы не обратитесь к Распутину? Газеты пишут, что он обладает какой-то чудотворной силой…

Князь с подозрением посмотрел на офицера:

— Вы это серьёзно? Матушка и вправду иной раз неважно себя чувствует, но из ума пока не выжила.

— Однако Распутин врачует её величество и наследника цесаревича уже не первый год, и ваш император к нему благосклонен.

— Не ловите меня на слове, — Феликс поджал ярко-красные губы. — Я не имел в виду, что государыня безумна, и вы меня прекрасно понимаете.

— Конечно, понимаю. Говорят, Распутин не слишком располагает к себе. Неопрятный, странный, по виду — обычный посконный крестьянин… Но притом самый известный российский целитель и провидец. Его принимают при дворе, аристократы и петербургский бомонд стоят к нему в очереди. И госпожа Головина с ним близка…

Светская красавица Мария Головина была помолвлена с Николаем Юсуповым, старшим братом Феликса. Однако Николай влюбился в другую женщину, стрелялся с её мужем на дуэли и погиб. Так совсем юный Феликс стал единственным наследником несметных богатств рода Юсуповых, а Мария — безутешной вдовой. Она постепенно сходила с ума, но общение с Распутиным вернуло её к жизни. Распутин звал Марию — *Муней*, и это имя к ней приклеилось. А Муня называла Феликса *возлюбленным братом*, и они постоянно писали друг другу, когда Феликс уезжал в Англию.

— Вы занятный человек, Вернон, — помолчав, сказал князь. — Откуда вы так хорошо знаете Россию? И ваш блестящий русский язык… Что значит — посконный?

— Сделанный из посконины. Это ткань вроде холста, из волокон конопли. Крестьяне шьют из неё одежду.

— Смотрите-ка, впервые слышу… Да, Мария — одна из самых горячих поклонниц Распутина. Я видел его в доме Головиных. Отвратительный тип. Когда газеты стали писать о его непотребствах, я спрашивал её, в чём дело и что же там происходит. Кто такой этот святой Георгий…

— Что же она вам ответила?

— Что идущих по стопам Христа всегда преследовали и гнали. Что Распутин открывает людям другую жизнь. Что я не знаю его личности и той силы, которая им руководит. Что ему известна какая-то высшая истина, и что он несёт крест божий. В общем, традиционная оккультная болтовня: великое скрывается под неприметной оболочкой, которая закрывает путь к истине для профанов и недостойных вроде меня.

— То есть вы должны теперь вернуться к матушке, поскольку надежда её не на Распутина, а на вас?

— Распутина матушка на дух не переносит. А в России, надо полагать, мне всё же придётся получить военное образование. Ничего не поделаешь — одно из условий моей женитьбы. Подходит время связать себя…

— В самом деле?

Напомаженный молодой человек во фраке и с макияжем женщины-вамп, сидевший против Вернона Келла, мало напоминал жениха.

— Родители считают, что так. Устраивают, как они говорят, блестящую партию, — без энтузиазма сообщил Феликс, допивая уже пятый или шестой бокал.

Вернон взял со столика следующий и протянул его князю.

— И кто же ваша избранница?

— Избранница?! Говорю же, родители устраивают! У Ксении Александровны есть дочь Ирина…

— Ксения Александровна — это родная сестра императора?

— Да, сестра императора и жена великого князя Александра Михайловича. — Юсупов начал хуже ворочать языком. — Интересно всё же устроен мир! В молодости Александр Михайлович был без ума от моей матушки…

— Что и говорить, княгиня Зинаида Николаевна — женщина редкостной красоты, — подтвердил британец. — Мне доводилось видеть её в Петербурге, и потом, эти прекрасные портреты…

— Тогда вы можете себе представить, какой она была лет тридцать назад! Мне рассказывали про их танцы с великим князем на Исторических балах. Он — в золотом боярском кафтане, и она — одетая царевной Лебедь… Ах! Но тогда у них не сложилось. А теперь Александр Михайлович выдаёт за меня свою дочь.

— Наверное, Ирина Александровна — тоже красавица?

— О да! И вроде бы любит меня, как ни странно. Это всё Пушкин: *Пришла пора — она влюбилась…* Мы с детства каждое лето встречаемся: у них летний дворец в Ай-Тудоре, а у нас рядышком, в Кореизе. Теперь я с государем породнюсь. У него тоже дворец по соседству, в Ливадии… А Распутин и в Ливадию добрался… Вернон, вы бывали на Чёрном море? Вам нравится Ялта?

В этот момент, покачиваясь на высоких каблуках, к ним нетвёрдой походкой подошёл Франкетти. С полчаса тому назад он бросил играть; музыка звучала из граммофона, а итальянец пил шампанское и из противоположного угла гостиной угрюмо наблюдал за беседой Юсупова с офицером.

Подходя, он услыхал знакомые слова и громко повторил:

— *Rasputin?!* Ялта?! Ты уже зовёшь его с собой в Ялту? *Magnifico! Non credo ai miei orecchie!*

Келл поднялся с дивана и улыбнулся Феликсу, сказав по-английски:

— Простите, я украл вас у гостей. Ваш друг переживает…

— Он ревнует! — рассмеялся князь. — Луиджи, дорогой, что за сицилийские страсти? Ты сошёл с ума! Я просто немного выпил, и мы с Верноном славно поболтали…

— Ненавижу тебя! — заявил Франкетти, оступился на подвернувшемся каблуке и неловко рухнул на диван. Из-под задравшегося платья показалась подвязка сползшего ажурного чулка.

— Глупенький, — ласково сказал Юсупов и поправил итальянцу платье, — миром правит любовь…

— Ненависть! — выкрикнул Франкетти, лёжа с закрытыми глазами.

— Любовь, — повторил князь. — Мы все любим тебя. Иисус любит тебя. И Мэри любит тебя… — Попугаиха пронзительно крикнула, снова напугав Гордона. — И Панч любит. Правда, Панч? — Бульдог тут же подбежал к хозяину, хрюкнул и поставил на диван передние лапы. — И даже… Помнишь фигурку на капоте «Роллс-Ройса»?

— Нет!

— Знаешь, кто это?

— Нелли в ночнушке! — рявкнул итальянец, по-прежнему не открывая глаз. И правда, шутники прозвали так серебряную крылатую Нику…

— Это «Дух экстаза», мой маленький, — сказал Юсупов. — А позировала скульптору любовница барона Монтегю, приятеля Чарльза Роллса. Любовь — везде, и любовь правит миром. Так, джентльмены?

— А как же деньги? — спросил де Бестеги. — Не было бы денег — не было бы ни «Роллс-Ройса», ни любовницы, ни приятеля-барона… ни экстаза…

— Вернон, помогите! — позвал Феликс. — Прошу вас, скажите им, что миром правит любовь!

— Вполне вероятно, — согласился Вернон Келл. — Любовь, и ещё долг. Сейчас этот долг зовёт нас, джентльмены.

Джон Скейл и Стивен Эллей тут же отставили недопитые бокалы.

Три британских офицера откланялись и направились к выходу.

Глава XX. От любви до ненависти. Шаг первый

Земля родит, коли её вспахали да засеяли вовремя. Каждый год родит — осенью знай только успевай урожай собирать. Оттого и шли в Сибирь люди своей волей: к доброй земле шли. Бог высоко, царь далеко, а тут — леса, реки, поля бескрайние; зимой снежно и холодно, летом солнечно и жарко… Всё так, как и следует быть.

Сродственных семей по фамилии Распутины в селе Покровское набиралось, почитай, шесть или семь — всего человек с полста народу. Жили тихо, патриархально, по-сибирски. Война с японцами, волнения на заводах, стачки в больших городах и даже революция, когда девятьсот пятый год пришёл, — всё это из Покровского казалось картинками волшебного фонаря на ярмарке за тридевять земель…

…да так оно и было: новости привозили с юга, из Тюмени, — или из Тобольска, что на северо-востоке. Село-то между ними на тракте стоит. Опять же река Тура под боком — бывало, и с пароходом прибывало

какое известие. Тогда собирались, конечно, сродственники с другими сельчанами и посудачить, и газетку прочесть. Грамотных-то в Покровском наперечёт, из них кто-нибудь вслух односельчанам читал. А так — пахали по-прежнему землю, сеяли хлеб и богу молились, как отцы, деды и прадеды.

Григорий, сын Ефима Распутина, денег в Петербурге решил собрать на новую церковь. Много обошёл он городов, а вот в столице ещё не бывал. Думал: уж там-то найдутся добрые люди. Добрые — и денежные. В странствиях своих встречал он петербургских господ. В монастыре Симеона Верхотурского, в Саровской пустыни, в Греции на горе Афон, в Киеве, в Печерской лавре… Одеваются дорого, говорят иначе, да всё одно — люди. Верил Григорий, что найдёт путь к их сердцу, найдёт слова — рассказать мечту свою: построить в Покровском храм, чтобы со всей округи крестьяне могли прийти и порадоваться.

В столицу Распутин приехал запросто: старая поддёвка поверх крестьянской рубахи — на дворе-то зима; холщовые штаны в смазные сапоги заправлены. Волосы, что косицами сальными свисали на плечи, расчёсывал Григорий заскорузлой крестьянской пятернёй с трауром под ногтями, а бороды вовсе не стриг. Мылся, когда придётся. Одежды не переодевал — смены не было.

Жить тоже не знал где, но благо, запасся он письмом от знакомца своего, викария Казанской епархии отца Хрисанфа. Тот попросил за Григория ректора Духовной академии, епископа Сергия. Так что, отслужив на последние копейки молебен в лавре и поставив угодникам свечку, поселился Распутин при монастыре. И с отцом Феофаном здесь же познакомился.

Как-то за чаем у Сергия заговорили об эскадре адмирала Рожественского — мол, грозная сила, и победа теперь за нами. Что такое эскадра, Григорий

представлял себе смутно. Знал только, что война идёт с японцами, и что из Балтийского моря через полмира, на другой край земли отправились русские боевые корабли. Обмолвился: плохо будет, утонут.

Это с ним случалось ещё с юных лет: чувствовал, что произойти должно. Вот именно — не понимал, не видел, а сердцем чуял. Пожар, кражу, болезнь или смерть чью-то…

Так и тут вышло. Григория, было, зашикали и пристыдили — только эскадру-то потом японцы и вправду потопили при Цусиме. Вместо победы пришлось у них мира просить. А про Распутина в Петербурге слава пошла. Божий человек, провидец… Сам суровый отец Иоанн Кронштадтский, любимец государев, хорошо отзывался о Григории. И появился к нему интерес у черногорских княжон, Милицы Николаевны и Анастасии Николаевны.

Феликс Юсупов со смехом рассказывал британским приятелям, как отец его, прогуливаясь в Ялте, встретил однажды Милицу Николаевну с каким-то иностранцем. Князь Юсупов-старший, само собой, поклонился, но княжна ему не ответила. А потом объяснила, что спутник её — маг и чародей мсье Филипп. И когда надевает свою шляпу, то сам он и тот, кто с ним, делаются невидимыми. Стало быть, не мог Юсупов видеть княжны Милицы, и кланялся напрасно…

…а мсье Филипп засобирался вскоре, да и уехал. Деньжат поднакопил, получил от государыни диплом врача с мундиром генеральским — и укатил обратно во Францию. Загрустили охочие до всяких чудес черногорские сёстры: не находилось больше кудесников такого размаха. Скучно стало им, пусто. Но тут Милица с Анастасией прослышали о Распутине и вскоре попросили Феофана привести его к ним, в особняк на Английской набережной.

Пахло от мужика, конечно, ужасно. Мужиком и пахло — кислым, немытым крестьянином. И эти грязные ногти, эти сальные волосы, эти дикие манеры… Но уж очень занятно говорил брат Григорий. И не всегда разобрать можно, что сказал, а задумаешься — что ни слово, то перл! О мире любви и свободы он хорошо рассуждал. О мире, где ни быта, ни денег нет; одна только благодать. Кто ж не мечтает о благодати?!

— Везде нужна подготовка, и смирение, и любовь, — говорил Распутин. — Вот и я ценю, что в любви пребывает Христос, то есть неотходно есть на тебя благодать — только бы не искоренилась любовь, а она никогда не искоренится, если ставить себя невысоко, а любить побольше. Все учёные и знатные бояре и князья слушают от любви слово правды, потому что, если в тебе любовь есть, — ложь не приблизится…

Так учил Григорий черногорских княжон, а сам приближался к Александровскому дворцу в Царском Селе. Отгородившись от мира, жила во дворце императрица Александра Фёдоровна с маленьким больным сыном. Затворником жил там император Николай Второй в печалях своих.

Дядя императора, великий князь Пётр Николаевич, был мужем княжны Милицы. И другой государев дядя, великий князь Николай Николаевич, частенько наведывался к Милице с Петром, потому как встречался там с младшей черногорской княжной Анастасией, к которой питал сильные чувства, — несмотря на её замужество. Решили сёстры Николаевны и братья Николаевичи показать диковинного сибиряка государю с государыней. Имелись у них на то свои резоны, а Распутин как раз, кроме провидческого дара, явил столице ещё одно своё искусство — знахарское. Начал-то с любимой собаки Николая Николаевича: выходил пса. А оказалось, и людей исцелять может.

Духовник императорской семьи отец Феофан представил мужика в Царском:

— Григорий Ефимович — крестьянин, простой человек. Вашим величествам принесёт пользу его выслушать, потому что голос русской земли слышится из его уст!

Распутина помыли, приодели, причесали. Во дворце первые встречи с ним расценили как новую забаву, не более. Но до чего ж хорошо смотрелся он в сравнении с прочими юродивыми из народа! О священном писании умнó рассуждал, о любви и благодати светлó говорил, от денег отказывался наотрез. И главное, с детьми был хорош. У государя с государыней четыре дочки подрастали — Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия — и младенец Алексей. У Григория дома трое остались — Дмитрий, Матрёна и Варвара. Тоску свою по ним изливал он на царских деток.

Так понемногу привыкал ходить по наборным дворцовым паркетам мужик в смазных сапогах.

Глава XXI. Вена — Прага. Футбольная трагедия

Провал австрийской контрразведки случился из-за чешского футбола.

Игра не интересовала капитана Ронге, и всё же он обратил внимание на сокрушительный успех футбольной сборной Германии в матче с русскими. Недавняя союзница Австрии — Российская империя — становилась главным врагом в будущей войне. Максимилиан тогда злорадно подумал: если германцы *раскатали* Россию всухую 16:0, можно представить себе счёт встречи между русскими и австрийцами, которые обыграли Германию 5:1.

Да, Ронге был равнодушен к игре, но по службе знал, что лучшие футболисты сборной Киева — чехи. Украина входила в состав Российской империи, а Чехия — в состав Австро-Венгерской, и Максимилиан как глава австрийского агентурного отдела *KS* регулярно получал кое-какую полезную информацию от украинских чехов: все они работали инженерами-машиностроителями, а мяч гоняли только в свободное время.

Накануне Олимпиады капитан жалел, что владельцы заводов не отпустили чешских футболистов с Украины в Петербург на товарищеский матч со сборной столицы России. Эта поездка могла пригодиться императорскому и королевскому Генеральному штабу…

…а теперь из-за футбола, которым не интересовался Ронге и который так любили чехи, были рассекречены обстоятельства смерти полковника Редля.

Сначала всё шло как по маслу. Ведущие европейские газеты перепечатали сообщение Венского телеграфного агентства: начальник штаба пражского корпуса Альфред Редль сошёл с ума и застрелился. Но вскоре

Максимилиану позвонил из Праги начальник разведывательного бюро полковник Урбански.

— Вы читали «Прага Тагеблатт»? — спросил он и мог не сомневаться в ответе: заметка из ежедневной чешской газеты, выходившей на немецком языке, уже лежала на столе перед капитаном Ронге.

Эрвин Киш тоже носил звание капитана — капитана футбольной команды *Sturm-1*. Игроки-любители из Праги звёзд с неба не хватали, но в городской турнирной таблице чувствовали себя уверенно. Тем обиднее для Киша было проиграть откровенно слабой команде, а после игры терпеть издёвки приятеля, известного журналиста Ярослава Гашека…

…с которым Эрвин вполне мог поспорить известностью и едкостью. Приятелей связывала не только любовь к футболу: Гашек сотрудничал с немецкими газетами, Киш служил в *Praha Tageblatt*. Столичные читатели называли его *бардом ночной Праги*. Эрвин Киш придумал жанр художественного репортажа, и никто лучше него не умел плести такое кружево из, казалось бы, разрозненных фактов и наблюдений.

В неудаче на футбольном поле Киш винил своего форварда Вагнера, который возмутительным образом не явился на игру — и это в выходной день, в воскресенье! Капитан команды вынужден был опубликовать в родной газете отчёт о постыдном проигрыше, а потом отправился домой к Вагнеру, чтобы потолковать по душам.

Вагнер претензий не принял и сослался на уважительную причину: прямо перед матчем за ним пришла полиция — форвард славился на всю Прагу как слесарь-виртуоз. Полицейские доставили его с инструментами в очень богатый дом, на квартиру какого-то важного военного, только что умершего в Вене. Странным и необычным показалось то, что в

квартире распоряжались именно военные, а не полиция. Вагнеру приказали немедленно вскрыть письменный стол и несгораемые стальные шкафы-сейфы. Кишу он признался:

— Да уж, пришлось попотеть! Меня на эти дела часто таскают. Но сколько лет я всякие замки ковыряю, а таких никогда не встречал. Высший класс! Системы — новейшие, об одних я разве что читал, об остальных вообще только слышал. Вот уж не думал, что увижу здесь, у нас, просто у кого-то дома.

Слесарь поведал Кишу о множестве документов, которые обнаружились под замками; о толстых пачках денег на громадную сумму, фотографиях и картах. Похоже, от всего этого военные пришли в замешательство. Их бдительность притупилась, и Вагнеру удалось достаточно хорошо разглядеть находки. Многие бумаги были написаны по-русски, а карты и фотографии изображали сплошь военные укрепления.

Киш ещё какое-то время рассеянно слушал восторженный рассказ слесаря — про изощрённые хитрости английских замков и прочность крупповской стали, про потрясающую роскошь квартиры и подслушанную опись имущества: четыреста пар лайковых перчаток, две сотни рубашек, десяток дорогущих меховых шинелей, гора обуви, а в подвале — шампанское высших марок ящиками, коллекционные вина и коньяки…

Футбол мигом вылетел из головы Эрвина Киша. Капитан проигравшей команды уступил место цепкому бульварному репортёру, в мозгу которого начинала складываться презанятная картина.

Высокопоставленный военный. Внезапная смерть в столице империи. Обыск. Секретные домашние сейфы. Много документов. Много денег. Много военных из Вены, включая командира австрийского корпуса

генерала Гизля фон Гизлингена и высших офицеров. Бумаги на русском. Деньги. Документы. Смерть. Военные…

Эрвина осенило, когда на обратном пути он столкнулся с Гашеком. Тот прогуливался по бульвару, дымя трубкой, и снова начал шутить на футбольную тему. В язвительных пассажах Ярослав связывал игру и войну. Он говорил про безнадёжные попытки команды *Sturm-1* достигнуть таких же успехов, что достигли на полях футбольных сражений австрийцы и германцы в борьбе с русскими. А когда Гашек предложил вскладчину купить револьвер, чтобы Эрвин мог застрелиться и кровью смыть позор проигрыша, глаза приятеля вдруг вспыхнули. И напрасно Гашек отнёс это на счёт своего остроумия.

— Вот оно! — произнёс Киш, внезапно хлопнув Ярослава по плечу. — Вот оно в чём дело! Вот, значит, оно как!

Сказав это, Эрвин развернулся и почти бегом бросился в сторону редакции *Praha Tageblatt*, продолжая грозить кому-то пальцем. Его репортёрское неистовство хорошо знал не только Гашек, поэтому в редакции не удивились, когда Киш, бормоча себе под нос, принялся лихорадочно перебирать одну за другой свежие газеты — чешские, австрийские, русские, немецкие — и отчёркивать в них небольшие абзацы.

Все отмеченные статьи касались самоубийства полковника Редля — начальника штаба Восьмого корпуса австрийской армии, базированного в Праге, — и основывались на официальном сообщении столичного телеграфного агентства:

Высокоталантливый офицер, которому предстояла блестящая карьера, находясь в Вене при исполнении служебных обязанностей, в припадке сумасшествия…

По праву редактора Киш накричал на сотрудницу, которая до сих пор не удосужилась вызвать мастера, чтобы тот починил, наконец, каретку его пишущей машинки и поменял заедающую ленту. Потом он выпросил машинку у кого-то из коллег и долго долбил по клавишам.

Обычно *бард ночной Праги* не знал, что такое муки творчества, но тут скомканные листы с коротким текстом один за другим летели в мусорную корзину. И всё же Эрвин успел до окончания набора номера написать именно то, что хотелось — и что могло быть опубликовано в ближайшем выпуске *Praha Tageblatt*…

…а теперь капитан Ронге задумчиво глядел на заметку в пражском ежедневнике. Легкомысленное с виду сообщение за подписью Киша обрушило кропотливую работу австрийской контрразведки. А ещё — грозило последствиями настолько серьёзными, что и представить сложно.

Одно высокопоставленное лицо просит нас опровергнуть слухи, распространяемые преимущественно в военных кругах, относительно начальника штаба пражского корпуса полковника Редля, который, как уже сообщалось, покончил самоубийством в Вене в воскресенье утром. Согласно этим слухам, полковник будто бы обвиняется в том, что передавал одному государству, а именно России, военные секреты. На самом же деле комиссия высших офицеров, приехавшая в Прагу для того, чтобы произвести обыск в доме покойного полковника, преследовала совсем другую цель.

Этот пройдоха Эрвин Киш ухитрился не только разнюхать про обыск на квартире Редля. Он как-то догадался связать самоубийство полковника со шпионажем в пользу русских… Но как?!

Как могла просочиться в газету информация, доступная лишь нескольким высокопоставленным офицерам Генерального штаба? Ведь даже императору Францу-Иосифу доложили обстоятельства дела не сразу, и в докладе частично скрыли размах шпионской деятельности полковника!

Как о важнейшем государственном секрете узнал какой-то чешский молодчик, за которым — Ронге, естественно, мигом навёл справки, — числятся только трескучие статейки об увеселениях и светской жизни?

Этот репортёр ведь и форму выбрал такую, что не придерёшься! Напиши он самую достоверную статью о шпионаже Редля — цензура тут же арестовала бы весь тираж. Газете угрожал бы не только серьёзный штраф, но и судебное преследование... Киш сделал хитрый трюк: он сообщил читателям сенсационную новость под видом её опровержения.

Статья потому и проскочила мимо цензуры — никто не знал, что нельзя допустить ни малейшего сомнения в кристальной честности Редля, что ни в коем случае нельзя позволить даже тени сомнения в случайности его смерти! Цензоры, конечно, решили: заметка упоминает о дурацком слушке, который тут же сама и опровергает, ссылаясь на официальные источники. Версия этих источников уже распространена и всюду напечатана; так что пусть газета, если ей не жалко места, напечатает чушь, на которую и внимания-то никто не обратит.

Ещё как обратили!

Август Урбански, похоже, слетит с места начальника бюро, прикинул Ронге. Самому Максимилиану вряд ли что-то угрожает: по счастью, полковник не взял его с собой в Прагу, решив самостоятельно закончить дело Редля. Вот и закончил...

Но хуже всего то, что русские тоже умеют внимательно читать газеты и теперь знают наверняка:

Редль застрелился не из-за нервного срыва, а потому, что его разоблачили. Теперь в Петербурге понимают, что Вене известно, какие документы достались русской разведке. И австрийский Генеральный штаб срочно начнёт разрабатывать новые документы взамен утраченных.

Что продал Редль за те двести тысяч крон, что обнаружились на его счетах, и за ещё полмиллиона, в которые оценивалось его имущество — роскошное имение, шикарные автомобили, первоклассные рысаки? Или, может, часть шпионских гонораров полковник предпочитал хранить в рублях? Ведь рубль — валюта твёрдая, конвертируемая; он в два с половиной раза дороже австрийской кроны и обеспечен несметными золотыми запасами Российской империи…

Планы боевого развёртывания армий в начале войны — представлявшие, конечно, невероятную ценность, — оказались далеко не единственной жертвой. Редль выдал русским секретные служебные инструкции об охране железнодорожных сооружений, о минных заграждениях и об организации воинских перевозок. В Петербург ушёл целый ворох документов и схем, связанных с разведывательной деятельностью. Вражеским военным экспертам достались австрийские мобилизационные предписания, секретный справочник для высших командиров, обзор мероприятий имперской контрразведки за рубежом, списки агентов и шпионов, перечень адресов прикрытия, переписка австрийской разведки и контрразведки с разведками союзников, фотографии крепостей и последних войсковых манёвров…

В ужас пришёл не один только Ронге. Ущерб, который предательство полковника Редля нанесло императорским и королевским вооружённым силам, не поддавался оценке в цифрах. Огромный объём сверхсекретной документации предстояло

разрабатывать заново, а конкретные военные приготовления — подвергать дорогостоящим изменениям.

В Петербурге смогут подсчитать, сколько времени займёт эта работа, и достаточно точно определят срок, на который Австрии придётся сдвинуть возможное начало военных действий. К тому же полностью переделать хорошо и тщательно разработанные планы всё равно невозможно — разве что принять менее удачные решения, чем были. А значит, противник проанализирует шпионскую информацию и вычислит составляющие стратегических планов, которые меняться не будут…

Длинными канцелярскими ножницами Ронге вырезал статью Киша из *Praha Tageblatt*, аккуратно наклеил гуммиарабиком на лист плотной бумаги и поместил в новую папку. Неизвестно ещё, как долго и чем предстоит пополняться этому делу, начатому после появления на почтамте первого пакета на имя Никона Ницетаса.

Погоня чешского репортёра за сенсацией закончилась трагедией для бюро разведки и контрразведки Генерального штаба Австрийской империи и Венгерского королевства.

Футбольный матч, проигранный любительской командой во главе со смышлёным капитаном Эрвином Кишем, сорвал торжественные похороны полковника Редля, раскрыл государственную тайну и заставил трёх императоров спешно менять свои военные планы.

Глава XXII. От любви до ненависти. Шаг второй

В девятьсот пятом году увидал он государя. Первого ноября. Точно, первого.

Помнил Григорий Распутин этот день. В родном Покровском первого ноября по православному канону чтили священномученика Садока, а по старинному языческому обычаю — кормили домовых. Задабривали духов, чтобы, значит, не вредили: ставили на сеновале кашу с мёдом…

Оказался он тогда в Петергофе, пригороде столичном. В Сергиевке — усадьбе принца Георгия Лейхтенбергского и черногорской княжны Анастасии. Сюда и приехали вечерком государь с государыней — богом данные папа и мама земли русской. От Царского Села до Сергиевки рукой подать.

Государь какой-то потерянный был. Но говорили долго. Трепетал сперва Григорий от страха: чай, с императором самим беседует! А после — от восторга трепетал. Вот ведь как, никого между ними, ни слуг, ни бояр, только он — и царь-батюшка! Прямо как в сказках, которых знал без числа.

От государыни пахло вкусно — вроде леденцами, как от сладких петушков на палочке, что Ефим Распутин детям с ярмарки привозил. Видно было: вслушивается царица, силится понять. Конечно, не русская ведь, да и мужика-то сибирского говор не вдруг разберёшь, грамоте Григорий не шибко обучен. Что хотел сказать — сам знал вроде. Только вот беда, увлекался! И мысль далеко вперёд слов убегала. А он запинался, прыгал, пытался догнать… Ну, да ничего. Кто хочет — тот поймёт, потому как в задушевном разговоре не слова надобно слушать, а сердце своё.

Увидел Григорий, почуял — вот те люди, которые понимают любовь. Ведь разобрать её трудно. Жалость — прямое естество, она у всех есть. Пожалел кого — и вот она, жалость. А любовь в изгнании живёт. Любовь — такая златница, что ей никто не может цены описать. Она дороже всего созданного самим господом, чего бы ни было на свете. Но только мало кто её понимает!

Беседовать о любви разные люди берутся, но по большей части только слыхали о ней, далеко отстояли. Даже и батюшки церковные, они ведь тоже двояко есть: есть — наёмники паствы, а есть такие, что сама жизнь натолкнула их быть истинным пастырем. У избранников есть совершенная любовь, к ним можно сходить послушать: не из книги будут сказывать, а из опыта. Ведь кто понимает сию златницу любви, то этот человек такой премудрый, что самого Соломона научит! И не стоит бояться духа зла, а только продолжать во господе, петь ему славу, любить друг друга, храм любить и причащаться почаще…

Такие слова говорил Григорий государю с государыней, а они слушали его со всем возможным вниманием. Черногорские княжны Милица с Анастасией были довольны: всё больше, всё чаще интересовалась Распутиным императорская семья. Божьего человека стали приглашать в Царское Село. Конечно, не самого по себе, а с княжнами. Те сразу дали понять мужику, что не крестьянское это дело — с царём напрямую дружбу водить. Каждую встречу готовили. Дожидались случая, чтобы вроде как любезность оказать родственникам венценосным. Ждали, чтобы соскучились те, чтобы попросили, и уж тогда только везли брата Григория в Александровский дворец.

Привыкали государь с государыней к баюкающим мужицким речам и в свою очередь радовались. Как хорошо: ни слуг, ни бояр между ними — только они и простой мужик! Словно в сказке: царь-батюшка запросто с народом говорит. А народ ничего не просит, ни на кого не жалуется, и знай себе о любви твердит, о благодати земной да о царстве небесном. Про странствия свои богомольные рассказывает Распутин, про святые места, про бескрайние российские просторы. Он-то их исходил вдоль и поперёк, а вот

императорской семье даже на Валаам никак не выбраться — даром, что совсем рядом остров монастырский, на Ладожском озере.

Так за редкими разговорами один год прошёл, и другой… Но встречи с Распутиным случаться стали всё чаще. Всё глубже в императорские души проникал голос народа, который обещал их величествам духовник Феофан. Не нравоучительствовал брат Григорий, как Иоанн Кронштадтский. Не гугнил себе под нос, как Митя Козельский. Не просил чинов и денег, как мсье Филипп. Не бился в припадках, как Дарья Осипова. Покой от него исходил. Хорошо с ним было…

И смекнули сёстры-черногорки, что Распутин — большая для них удача. Подарок судьбы. Потому как мужик этот не просто забавой стал для императора, который в душевных терзаниях пребывал. Не просто развлечением для императрицы, истериками страдавшей и настроенной мистически. Всерьёз прислушиваться стали в царском дворце к тому, что им голос народный говорит. А голосу-то этому нужное слово и подсказать не грех!

На Балканах тем временем дело к войне шло. Болгары, черногорцы, сербы, боснийцы и греки на Россию дружно поглядывали. Ждали, когда царь Николай с армиями придёт и турок с австрийцами погонит. А тот, знай, слова Александра Третьего повторял, батюшки своего: *За все Балканы не отдам жизни даже одного русского солдата!* Не хотел войны император — мира хотел. Точь-в-точь как отец…

…но каково приходилось дочерям князя черногорского, Милице и Анастасии?! Русский царь воевать не хотел, а отец терзал их: вы, мол, царю родня, встречаетесь часто, можете запросто говорить о делах государственных! Напомните, мол, что он один сейчас — надежда всего православного мира, потому как без русских штыков не одолеть нам врага. У Черногории-то

всей армии — тридцать пять тысяч солдат. Пускай, мол, Россия войну начинает!

Дядя императора, великий князь Николай Николаевич, тоже о войне грезил. Командовал он полком синих кирасир. Кони в том полку *медведями* назывались, потому как были громадными. Воины все — богатыри, один к одному. И сам Николай Николаевич — седой красавец роста высоченного — рвался в бой. Сколько можно на охоте душу отводить, сотнями зайцев истреблять с косулями? Кровушки хотелось ему человеческой. Городов и стран захваченных. Армий огромных, через всю Европу марширующих.

Внутреннему взору рисовалась великолепная картина: идут подчинённые Николаю Николаевичу войска через какую-нибудь столицу, на штык взятую; впереди — полк синих кирасир верхами в парадном строю, а впереди полка он сам гарцует на храпящем рыжем *медведе*, и женщины кругом от восторга визжат и цветы в него бросают…

Ещё с императором Александром Третьим, которого Миротворцем прозвали, бесполезно спорил Николай Николаевич, к войне толкал. Да где там! Александр тоже статью богатырской вышел — гигант, косая сажень в плечах. А уж если гаркнет или кулаком пудовым по столу грохнет — у любого поджилки задрожат, даже у воинственного синего кирасира.

Вот сын Александра и племянник Николая Николаевича, император Николай Второй, не в их породу пошёл здоровьем. Маленький какой-то, тихий. Голос повышает разве что перед строем, когда с производством в офицеры поздравляет. Но упрямый — в отца. И так же воевать не хочет. Согласился один раз, когда с японцами Дальний Восток делили, так до сих пор переживает. И на Балканы ни в какую. Ни к чему, говорит, народ зря губить…

…так пусть народ и объявит ему, что желает воевать! Желает братьям-славянам помочь, руку помощи подать всем православным! Пусть русский мужик скажет, что готов хоть сейчас бросить соху — и под ружьё! Пусть Распутин этот, уж коли слушает его речи государь, голосом народным замолвит словечко за благодетелей своих — за княжон черногорских и за великого князя. Чай, не забыл ещё, кто его мыться приучил и одеваться, как подобает… кто в палаты царские ввёл…

И ещё в одном деле крепко надеялся на Распутина Николай Николаевич. Княжна Анастасия в браке с герцогом Лейхтенбергским состояла и детей имела от него. Только за спиной у герцога её отношения с великим князем всё ближе становились — уже и не утаить. Блудили напропалую. Вот кабы император помог с разводом дело уладить, да разрешил Николаю Николаевичу на Анастасии жениться!

Опасался великий князь гнева тихони-императора. Уж если государь любимого дядю своего Павла Александровича не пощадил, за женитьбу против царской воли лишил чинов и въезд ему закрыл в Россию, — с Николаем Николаевичем точно церемониться не станет!

Тем более, даже не в герцоге-рогоносце дело, а в том, что сестра Анастасии — княжна Милица — замужем за братом Николая Николаевича, великим князем Петром Николаевичем. А церковь запрещает родным братьям жениться на родных сёстрах. Знамо дело: как первая пара обвенчалась, так вторая уже — кровные родственники. Какая между ними женитьба? Грех! Вот и надеялся великий князь, что уговорит государя сибирский мужик.

Только понемногу выясняться стало, что Распутин-то себе на уме. И болтает всё, что хочет и что думает, а не то, что наказано. И во дворец уже иной раз его везут без сопровождения — и ещё, и ещё раз. А уж о чём меж

собой император с братом Григорием беседуют — одному богу ведомо.

Вот с этим ни черногорские княжны, ни кирасир Николай Николаевич примириться никак не могли.

Глава XXIII. Санкт-Петербург. Садик в Коломне

— Я себе так представляю, — басил Маяковский, подкрепляя слова энергичными взмахами кулака, — все эти облачка, цветочки и сюсюканья нам ни к чему. Как вы давеча справедливо заметили — за борт! Смотреть на жизнь из окна и слёзки точить — от горя, от умиления, всё равно, — это не искусство. Искусство должно быть внутри жизни. Вмешиваться в жизнь должно. Управлять, переиначивать! Это как… как обряд, понимаете? Как ритуал. Вот представьте. Собралось племя. Все косматые, в шкурах, с топорами каменными. Горит огромный костёр. А перед костром — шаман. Жрец. И все ловят каждое его слово. Каждое! Потому что у него каждое слово… нет, не на вес золота, золота они же ещё не знают… в общем, от каждого его слова зависит их жизнь. Как он скажет, так и будет. Не вождя слушают, не старейшину — его! Вот таким должно быть искусство. Поэзия такой должна быть, чтобы каждое слово ждали и ловили!

Бурлюк шёл рядом с Маяковским, не перебивая. Из дома на Пушкинской они отправились по Невскому в сторону Адмиралтейства и свернули влево на Морскую. Жара плыла по-прежнему.

Дойдя до Исаакиевской площади, сделали привал, посидели на скамеечке в палисаднике. Покурили, любуясь на слепящую золотом куполов махину собора. Осмотрели только-только достроенную рядом с «Англетером» гостиницу «Астория», которую собирались открыть к празднику трёхсотлетия императорского дома. Поглазели на скульптуры, венчавшие германское посольство напротив.

Двинулись дальше, обогнули конный монумент Николая Первого перед Мариинским дворцом, перешли широченный, в сто саженей, Синий мост и скоро с Вознесенского проспекта повернули направо, в Офицерскую улицу.

— Поэт титанической личностью должен быть! — продолжал Маяковский. — Поэт — это пророк. Тринадцатый апостол, если угодно. В конце концов, поэт — это с большой буквы Творец! Он создаёт новый мир. Ведь владеть словом — это и значит владеть миром. Не может пророк, владеющий миром, вот об этом стишки кропать!

Он ткнул пальцем в сторону витрины цветочного магазина. Под вывеской знаменитой фирмы Эйлерса пестрело великолепие бесчисленных роз, орхидей и лилий; две симпатичных цветочницы в форменных фартуках опрыскивали цветы и зелень из пульверизаторов и неслышно смеялись за стеклом…

— Сурово, Владим Владимыч, — сказал Бурлюк. — Творец, говорите; Создатель мира… Претендуете на роль господа бога?

— Бога нет, — отрезал Маяковский.

— Сказали бы уже, как Заратустра: бог умер… Ницше читали? Нет? Вернёмся в Москву, дам вам книжечку… Смотрите-ка, что получается. Вы собираетесь сотворить новый мир. Надо полагать, более справедливый и прекрасный, чем наш, иначе зачем тратить силы… Но для кого?

— Что — для кого?

— Для кого вы создадите этот мир? Для себя одного? Или ещё для кого-то?

— Для всех!

— Для всех? Для народа? Так народ придёт в этот ваш новенький, с иголочки, чистенький мир и начнёт в нём плевать, гадить по углам, сапожищами грязь развозить, окурки и от семечек шелуху разбрасывать…

Приятно вам будет? А ещё народ говорить станет, что мир-то ваш — так себе! Одному то не понравится, другому это… На всех не угодишь. Попрекать начнут: мол, сулил золотые горы… Много вы памятников пророкам видели? Отвечайте, отвечайте!

— Ни одного, — неохотно признался Маяковский.

— Вот! Зато камнями их сколько побито и распято — не сосчитаешь! И вы тоже окажетесь никаким не Спасителем, а просто очередным козлом отпущения.

Несостоявшийся Спаситель мрачно выслушал тираду.

— А вы что предлагаете? — наконец, процедил он.

— Предлагаю не спешить с мессианством, — с готовностью ответил Бурлюк. — Занять место на кресте всегда успеете, Голгофа работает круглосуточно. Конечно, кто бы отказался осчастливить собой человечество?! Но прежде чем создавать мир для всех, попробуйте создать его для себя. Тоже интересно, между прочим: представляете — целый мир для одного Владимира Маяковского! Создайте, поживите в нём, пообвыкните… Мне понравилось про жреца и тех, кто ловят каждое его слово. Хорошо! Собирайте вокруг себя толпу, и пусть слушают. Кто-то уйдёт сразу, кто-то потом… многие и не придут даже. Но будут и такие, которые не слушают, а — внемлют! Вот их и берите, и ведите за собой, в новый свой мир…

— Мы что же, в оперу собрались? — спросил Маяковский, улучивший возможность переменить тему.

Они прошли уже половину Офицерской и оказались на звенящем трамваями многолюдном перекрёстке возле Мариинского театра. Афишные тумбы приглашали на «Жизнь за царя» Глинки. Бурлюк хмыкнул:

— Почему же обязательно в оперу? В Мариинке, между прочим, Павлова танцевала. «Умирающего лебедя» я вам очень рекомендую, если повезёт.

Напротив бывший Каменный театр, ныне Консерватория — там Чайковский учился. Дальше — Литовский рынок и синагога. Видите купол? Не волнуйтесь, ни на рынок, ни в синагогу я вас не приглашаю. Так, что ещё… Сыскная полиция, где Тургенев сидел — ну, это вам не очень интересно, вы тоже сидели… Шахматный клуб — самого Чигорина клуб! Кадетский корпус мы прошли, а вон там — Крюков канал, Новая Голландия, эллинги и казармы Гвардейского экипажа. Знаете, сколько великих здесь жили? Грибоедов, Толстой, Салтыков-Щедрин… «Домик в Коломне» пушкинский помните?

По воскресеньям, летом и зимою,
Вдова ходила с нею к Покрову
И становилася перед толпою
У крылоса налево. Я живу
Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову — и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье…

— Покров — это церковь на площади, в здешнем центре, — пояснил Бурлюк. — Александрсергеич тоже поблизости квартировал, у Калинкина моста, «Руслана и Людмилу» дописывал.

— Вы же сказали, в Коломне?

— Э-э, Владим Владимыч! Края здешние так называются — Коломна. Представьте, было тут раньше Козье болото… Сколько мы с вами шли от Невского, минут двадцать? Хорошо, тихим шагом, нога за ногу — полчаса, не больше. А сто лет назад господа сюда ездили уток стрелять. Да не сто — семьдесят, пятьдесят! Гоголь как-то высказался в том смысле, что Коломна — не столица и не провинция, а очень странное место. И стоит перейти сюда из города, как пропадают всякие

молодые желания и порывы. Что, не боитесь без молодых желаний остаться?

— Диву даюсь, — вскинул брови Маяковский, глядя на рассмеявшегося приятеля, — откуда у вас в голове берётся такая пропасть всего?

— Книги читаю, в библиотеках ночую, — солидно заявил Бурлюк и снова прыснул со смеху. — Ладно, про Коломну мне Мандельштам рассказывал — он здесь жил в детстве и каждый камень знает. Я же говорю, одни сплошь великие! И, кстати, днями куда-то сюда Блок переехал. Только мне адреса пока не дали… Всё, мы на месте!

На Офицерской в городском увеселительном саду — бывшем Демидовском, который по-свойски именовали «Демидрон», — открылся «Луна-парк». К этой новой столичной забаве и привёл Бурлюк своего приятеля.

— Мне повезло, — говорил он, покупая билеты, — я здесь ещё саму Комиссаржевскую застал, Веру Фёдоровну…

— В «Луна-парке»?! — не поверил Маяковский. — И кем же она?..

— Фи, Владим Владимыч, такие шутки вам не к лицу. У Комиссаржевской в «Демидроне» раньше был театр. А у меня есть приятель, Сева Мейерхольд — надо бы вас познакомить. Феерическая личность, и вот уж у кого энциклопедия в голове! Сева работал в Москве со Станиславским и Немировичем, а потом перебрался сюда. Служил у Веры Фёдоровны режиссёром, Блока ставил. А я хаживал к нему по знакомству…

Приятели отправились блуждать по саду, разглядывая новомодное петербургское развлечение. На обширной территории уместилось множество аттракционов.

Среди высоких скалистых гор, устроенных бутафорами, вилась, поднимаясь и спускаясь по склонам, самая настоящая железная дорога. И по ней в

лязгающих вагончиках с визгом проносились вцепившиеся в поручни люди с перекошенными лицами.

Желающих приглашали покататься на *чёртовом колесе* в аккуратно выкрашенном деревянном павильоне с башенкой. Смельчаки рассаживались по кабинкам вдоль края большого горизонтального круга, и мощный двигатель начинал раскручивать этот круг — всё быстрее, быстрее, быстрее…

Полученное впечатление — а Маяковский уговорил Бурлюка прокатиться, — запили пивом в открытом буфете и двинулись дальше.

Тир с духовыми ружьями, силомер, качели…

Едва ли не больше народу, чем все остальные павильоны, собрала *деревня Сомали*. В окружении обычных петербургских лип и каштанов здесь и в самом деле выстроили настоящую африканскую деревню. На толстых деревянных столбах покоились покатые навесы, крытые вязанками сухого рыжего тростника. Под ними, как в обычных деревенских домах, сидели чёрные женщины со своим рукодельем. Склонив головы с необычно убранными густыми вьющимися волосами, они напевали что-то заунывно-бессловесное — простое, как мычание, — вязали циновки, толкли что-то в больших деревянных ступах и мастерили яркие тряпичные пояса.

Вдруг раздался глухой рокот барабанов — и на выстеленную досками центральную деревенскую площадь, эдакий африканский майдан, ухая в такт, выскочили два десятка воинов. Вооружены они были мечами, копьями и маленькими круглыми щитами. Под жёсткий завораживающий ритм чёрные воины в развевающихся белых накидках исполнили боевой танец. Местный служитель пояснял собравшимся вокруг посетителям «Луна-парка» ритуальный смысл танца, призванного обеспечить воинам силу и бесстрашие — и даровать победу над врагом.

— Вот вам обряды! — удовлетворённо сказал Бурлюк. — Смотрите, сколько народу! Все стоят, смотрят, и не уходит никто. А ритм какой! Надо взять на заметку.

В павильон кинематографа Маяковский идти не пожелал.

— Там же один сплошной Макс Линдер! — возмутился он. — И вы хотите это смотреть?! «Макс — законодатель мод», «Макс — преподаватель танго», «Макс — виртуоз»… Сколько можно?

— Ещё есть «Идиллия на ферме», — флегматично заметил Бурлюк. — Я уже видел в Москве. История такая: Макс приезжает в деревню, а там родители хотят выдать замуж старшую дочь. Младшую для маскировки переодевают служанкой, но всё равно Макс начинает за ней ухлёстывать. И пошла комедия…

— Чушь какая! — фыркнул Маяковский.

— Правда ваша, с мыслью там беда и смешно не очень. Зато натурные съёмки — фантастика! Я бы на вашем месте посмотрел, пригодится. Вы ведь мечтаете о кинематографе! И кем хотите быть — актёром, режиссёром, сценаристом?.. Нет, конечно же, всеми сразу!

Маяковский удивлённо уставился на Бурлюка.

— С чего вы взяли?

— Бросьте, Владим Владимыч! Если вы сейчас скажете, что безразличны к кинематографу, я перестану вас уважать. Может, и на сцену вам не хочется?

Крыть Маяковскому было нечем, а Бурлюк продолжал:

— Здесь, кстати, кроме театра имеется оперетка. Отменный зальчик, небольшой, но очень удобный. Вот где надо выступать! И обратите внимание — кругом наша публика. Вот в Мариинском — не наша. Опера, балет, фраки… Там ловить нечего. А здесь — вы

посмотрите, посмотрите на них! Эти мужчины с капустой в усах могут часами разглядывать папуасов. Эти женщины с набеленными лицами знают всего Макса Линдера наизусть. И все они скоро будут носить вас на руках. Слышите, как на горной дороге визжат? Их туда что, кто-то гонит? Нет! Сами ломятся в эти вагончики, деньги платят — и ещё дерутся с теми, кто пытается пролезть без очереди. А почему?

— Хотят сильных ощущений. Наверное, в жизни не хватает.

— Само собой! Жизнь — штука пресная и скучная. То ли дело в кинематографе или в театре — там страсти бушуют! Страсть — первое дело! О главных страстях только и надо писать.

— Я пишу.

— О чём же?

— О любви. О смерти…

— Любовь — да, смерть — конечно, да! Но как же вам писать о любви, когда вы её ещё не знали? Как писать о смерти, когда вы толком не понимаете, что она такое?.. Ненависть! Вот что клокочет внутри вас. Ненависть! Вы ненавидите буржуев и капиталистов, сами говорили. Я, правда, не вижу разницы… Вы ненавидите тех, у кого есть деньги, потому что у вас их нет. Из ненависти вы даже оружие брали в руки, все эти ваши бомбы и револьверы. Из ненависти вы готовы были убивать! Вы ненавидите женщин, которые не отдаются вам только за то, что вы — Владимир Маяковский. Вы ненавидите тех, кому они всё же отдаются — потому что это не вы. Вы ненавидите тех, кто обыгрывает вас в карты или на бильярде — не спорьте, я видел, как вы играете. Вы ненавидите чужое искусство, потому что другие пишут о цветочках. Или, как вы изволили выразиться, смотрят на жизнь из окна и точат слёзки. А вы этой жизнью желаете управлять! Ломать желаете то, что не по вас. Крушить беспощадно. Вы ненавидите людей, потому что

им нравятся слезливо-цветочные стихи. Ненавидите, потому что люди недостойны того мира, который вы для них создаёте, и никогда не смогут по достоинству оценить ваш дар…

Бурлюк отстранился и оглядел Маяковского, словно впервые увидел.

— Да вы же… вы же страшный человек, Владим Владимыч!

Глава XXIV. Ялта, Ливадия. Не мир, но меч...та о мире

Богатый запах щекотал ноздри. Орех, горький миндаль, ржаная корочка...

Николай Александрович, не открывая глаз, сделал глоток. Чуть солоноватое вино приятно обволакивало язык и радовало долгим послевкусием. Правы были насчёт хереса и Диккенс, и Шекспир. Да что там, сам Гиппократ отдавал ему должное!

Шампанского император не любил, коньяку не пил. В Ливадийском дворце в почёте были вина из соседней Массандры. С тех пор как Удельное ведомство Министерства двора купило здешние земли у наследников графа Воронцова, необъятные винные подвалы не просто стали императорской недвижимой собственностью, но и приносили солидный доход членам царствующего дома.

Ценил Николай Александрович красные портвейны, особенно — «Ливадию» № 80 и «Массандру» № 81, которые впервые создали не в Массандре даже, а прямо в дворцовых подвалах. В аптеках бутылки *царского* портвейна, отмеченные государственным гербом, продавались за немалые деньги, по восьми рублей. И стараниями главного императорского винодела, князя Льва Сергеевича Голицына, эти вина славились во многих странах.

Но вот херес — «Южнобережное крымское вино № 37» — делали только конкуренты из товарищества Христофорова. Так что лучший российский херес для императора заказывали в Симферополе. И там же брали крымскую мадеру «NV», которую смаковала сейчас императрица: вечером августейшие супруги позволяли себе рюмочку-другую.

— Ты не зябнешь? — спросил жену Николай Александрович.

Александра Фёдоровна поправила на плечах вязаную шаль. С моря тянуло свежестью. Дневная жара отступила, и вечерний сумрак окутал Ливадийский дворец. Император почитал детям перед сном, потом все вместе помолились, а когда царевны и цесаревич уснули — Николай Александрович с Александрой Фёдоровной сели на свежем воздухе, в любимом своём дворике, где жёлтый электрический свет выхватил из темноты плетёное кресло для него, кресло-качалку для неё и между ними — круглый столик, покрытый кружевом длинной белой скатерти.

Сюда не долетали звуки ни из казарм, где квартировали солдаты и казаки дворцовой охраны, ни из Свитского корпуса. Прохладный ветерок доносил лишь обрывки пенья граммофона, должно быть, откуда-то из покоев министра двора Фредерикса. Едва слышно шумело вечерним прибоем недальнее море. Во тьме надрывались сверчки, вскрикивала порой невидимая ночная птица — и похрустывал гравий под тяжестью огромного лейб-казака Тимофея, что расхаживал за кустами.

Николай Александрович сделал ещё глоток хереса, императрица пригубила мадеру.

— Господи, до чего же хорошо, — негромко сказал император. — Впору стихи читать в голос. Ей-богу, просто Фаустом себя чувствую. *Zum Augenblicke dürft ich sagen: «Verweile doch, du bist so schön!»* Мгновение, остановись! Ты так прекрасно…

— Ты романтик, Ники, — с улыбкой откликнулась Александра Фёдоровна. Она сунула карандаш между страниц книжки, которую читала, и положила её на стол. — Мне наконец-то стало покойно здесь…

Когда Алиса Гессенская приехала в Россию, чтобы креститься в православную веру, получить

благословение и стать женой цесаревича Николая, император Александр Третий умирал в ливадийском дворце.

Смотреть на человека, который знает о близкой смерти и доживает последние дни, невыносимо. Тем более когда человеку этому нет и пятидесяти, когда ещё совсем недавно он кипел энергией и бравировал здоровьем. Теперь оплывший, сломленный недугом богатырь целыми днями почти недвижно сидел в кресле и в ожидании конца слушал вальсы с мазурками в исполнении духового оркестра. Ники ходил, убитый горем, у Аликс разрывалось сердце, и тогда случились у неё первые истерики.

А шестью годами позже, на рубеже столетий, в тысяча девятисотом Ники слёг с тифом. Он умирал на том же месте, где почил его отец. В Ялту слетелись министры, и Аликс ненавидела этих падальщиков, ждавших конца её любимого. Она была в ужасе: оказалось, по смерти императора трон достанется не старшей его дочери — Ольге, а брату Михаилу, таков российский закон о престолонаследии. Что же будет с нею, с детьми?

По счастью, Николай Александрович поправился, и семья продолжала выезжать в Ливадию на лето. В прошлом году вместо ветхого дворца, овеянного мрачными воспоминаниями, наконец-то закончили строить новый — такой прекрасный и уютный, где ничто больше не напоминает о пережитых страданиях…

— Интересно? — император потянул со столика книжку, которую отложила Александра Фёдоровна.

Он взглянул на обложку с рисунком, где один гладиатор пронзал копьём грудь другого, и прочёл:

— Учитель и ученик. Велимир — о! — Хлебников… Велимир — это его настоящее имя?

— Не знаю, — ответила императрица, — какая разница? Очень занимательно пишет. Сначала там,

правда, про русский язык, про падежи внутри слова… я не очень поняла. Потом про географию, про славянские страны — вроде того, что ты рассказывал. А дальше о будущем…

— Вот как? И что же?

— Мне понравилось, как он подаёт мысль. Посмотри, где я подчеркнула.

Николай Александрович пролистал несколько страниц и прочёл отмеченные карандашом строки.

Я не смотрел на жизнь отдельных людей; но я хотел издали, как гряду облаков, как дальний хребет, увидеть весь человеческий род и узнать, свойственны ли волнам его жизни мера, порядок и стройность…

Он поднял глаза от книги.

— Что ж, наверное, молодой ещё. И стихи, небось, пишет.

— Я про это Анечку Танееву попросила узнать. А здесь он говорит, что открыл правила, которым подчиняются народные судьбы. Эти волны жизни. Царства появляются и пропадают, и великие войны начинаются через равные промежутки времени, через какие-то определённые периоды. Я сразу вспомнила Дашу…

Дарья Осипова — богаделка из тех, что приводили к Александре Фёдоровне черногорские принцессы, — страдала эпилепсией. Её предсказания рождались в корчах, когда Даша билась в припадке с пеной у рта и хрипло вещала, выкрикивая обрывки слов и фраз.

— Я её тоже часто вспоминаю. — Николай Александрович закурил новую ароматную папиросу. — Её и двенадцатилетние перевороты.

В очередном припадке напророчила Даша, что при трёх последних русских царях ход истории будет меняться раз в двенадцать лет. Конечно, звучали выкрики не так складно, и объяснить свои слова

вещунья толком не могла, но смысл от этого не менялся.

Сказав про Дашу, Александра Фёдоровна осеклась, но поздно: сказанного не воротишь. Такой славный, тихий вечер… И кто потянул её за язык?! Знала ведь, что Ники не любит говорить о прорицателях: мало хорошего доводилось ему от них слышать…

— Похоже, Даша права оказалась, — продолжал между тем Николай Александрович, машинально листая книжку. — Революция случилась в девятьсот пятом, как раз в мой двенадцатый год на троне. Обещал я охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как охранял его мой покойный незабвенный родитель, да не вышло. Революция, конституция… Теперь следующие двенадцать лет на исходе — и семнадцатый год впереди. Вот, пожалуйста, здесь ты тоже это отметила…

Одну фразу в книжке подчёркивали несколько резких карандашных линий.

Не следует ли ждать в 1917 году падения государства?

Императрица зябко поёжилась и плотнее запахнула шаль на груди.

— Ники, дорогой, не принимай близко к сердцу. Мало ли, что в книжках пишут. Там ведь не о России речь идёт… о государстве вообще… мало ли?

— Да мы-то ведь с тобой говорим и думаем о России, — невесело улыбнулся ей император. — Чем же Россия хуже других? Тяжкие, тяжкие дни сулят нам — что Даша, что Велимир твой… Дорого бы я дал за книгу не про то, когда и как начинаются войны, а про то, как их не начинать! Ты представь: сколько живут на земле люди, а ведь так, чтобы никто нигде не воевал — наверное, никогда и не было. Одна война ещё

заканчивается, а две других уже на подходе. Как же тут быть, милая моя, что с этим делать?

— Так ведь ещё в Писании сказано: *Не мир пришёл Я принести, но меч*...

— А мне всегда нравилось... ты знаешь, — сказал Николай Александрович, глядя на Александру Фёдоровну, и глаза его заволокло туманом. — *Сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему...*

Два идеала были у Николая Второго — два царя: Алексей Михайлович Тишайший и Александр Третий Миротворец.

В честь своего предка назвал он Алексеем единственного сына. Не побоялся. Хотя имени этого в династии избегали после того, как внук Алексея Михайловича царевич Алексей проклял отца своего, Петра Великого, и весь царский род.

Не за тихий нрав прозвали Тишайшим Алексея Михайловича европейцы. Титул этот — на латыни *Clementissimus* — давали за покой в стране во время правления государя. А ведь чего только не случилось на веку Алексея Михайловича! И бунты — Соляной и Медный, и восстание Разина, и войны с Польшей и Швецией... Но всё равно — тихо, спокойно было в России по сравнению с Европой. Умел Тишайший обходиться без ненужного кровопролития.

Желавшие сделать императору Николаю приятное — упоминали о сходстве с Алексеем Михайловичем. Оно и внешним было, и внутренним. Тишайший о себе говорил: *Я человек порядка по преимуществу*. Знаменитая мудрость — *делу время и потехе час* — тоже им записана. Вот и Николай Александрович долг свой прежде всего остального ставил, даже прежде семьи, хотя и тяжко ему это давалось.

В книжке хлебниковской про единение Великой и Малой Руси сказано, Александра Фёдоровна дату

отчеркнула. А кто беглого сотника Богдана Хмельницкого поддержал? Кто ему гетманом Украины стать помог и в нужный момент руку помощи протянул? Кто два братских народа объединил? Алексей Михайлович Тишайший…

И родителя своего боготворил император Николай. Любил повторять Александр Третий:

— У России есть только два союзника — армия и флот…

И добавлял с раскатистым смехом:

— Потому что России назначено быть пугалом для всего мира!

Золотые слова.

Александр Первый разгромил Наполеона — и во Франции на трон вернулись Бурбоны, а Британия смогла создать колониальную империю. Но с кем вскоре пришлось России вести Восточную войну? С Францией и Британией.

Николай Первый сохранил от распада Австрию. Благодаря нейтралитету Александра Второго — Пруссия смогла объединить Германию и превратить её в империю. Но не прошло и десяти лет, как Берлин, Лондон, Париж и Вена вынудили Россию к унизительному договору с Турцией. Тогда-то Балканы и достались немцам с австрийцами.

Чёрной неблагодарностью платили союзники. Потому и объявил Александр Третий, что такие друзья ему боле не нужны — довольно двух: армии и флота.

Можно ли для огромного и могучего государства придумать политику мудрее? Не на соседей бросаться, не в политические и военные игры с ними играть, а своими внутренними делами заниматься! Чтобы в стране порядок был, чтобы процветала она — войной ведь процветания не добудешь. Чтобы дети и старики в ней сытыми были. Что же касается других государств… Если они — настоящие друзья, пускай радуются

российскому спокойствию и мощи. Если же враги — пусть остерегутся: в драке армия и флот России ох как себя покажут!

Старался мирно править Александр Третий. Держался подальше от Австрии, чтобы иметь возможность манёвра в случае войны между Германией и Францией. Развивал банковское дело и промышленность. Заселял Сибирь. Уновлял законы. Торговал с половиной мира себе в прибыток.

За тринадцать лет его правления вооружённое столкновение случилось единственный раз — при Кушке, с афганцами, что захватили принадлежавший России оазис.

— Я не допущу посягательства на нашу территорию, — заявил тогда император и отдал приказ: врага уничтожить.

Афганцами командовали британские офицеры. Советники Александра опасались, что их гибель спровоцирует войну с Англией.

— Хотя бы и так, — спокойно ответил государь.

Лондон поспешил решить дело миром.

И сыну своему, ставшему российским императором Николаем Вторым, Александр Третий завещал — мечту свою о мире и умение любить жену.

Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть.

Глава XXV. Лондон. Бомба для «Титаника»

В служебной переписке его настоящее имя никогда не упоминали. Само появление британской контрразведки до сих пор оставалось строжайшей тайной, поэтому создателя и главу новой службы в

документах обозначали литерой «*К*». Надо сказать, он откликался, когда очень немногочисленные друзья и хорошие знакомые шутливо называли его, как и букву — Кей.

— Представьте себе, — говорил он сейчас, — этот мой парнишка, который на таможне без году неделя, обратил внимание на то, что у неё слишком сильно накрахмалена юбка! Экое диво: оперная певица отправляется на гастроли в юбке не по моде!

Его собеседник, дымя крепкой гаванской сигарой, рассудительно заметил:

— Интересно, что было бы, если бы вместо певицы ехал певец?

— Поверьте, Винни, немодную юбку он заметил бы и на певце!

Широколицый джентльмен, которого Кей дружески назвал Винни, издал довольный смешок.

— И всё же, — сказал он, — стоило бы в число ваших людей включить тех, которые обращают внимание на певцов. Вы меня понимаете.

Кей кивнул. Конечно, они понимали друг друга.

— Не желаете виски? — спросил Винни. — Только не говорите, что вы на службе!

— Мы оба на службе, — сказал Кей. — Виски, пожалуй, нет… Я бы не отказался от хереса.

Винни поднялся из огромного резного кресла. Подойдя к спрятанному в стене бару, он распахнул дубовые дверцы.

— Вам повезло. Мне привезли в подарок несколько бутылок из России. Дивный букет! Вы же читаете по-русски. Что здесь написано?

— Южнобережное крымское вино номер тридцать семь…

— Спасибо, номер я разобрал.

Теперь пришла очередь Кея усмехнуться. Пока Винни наливал херес ему и виски себе, он закончил рассказ:

— А с юбкой всё оказалось просто. Шифровка симпатическими чернилами, закреплённая крахмалом. Мы её проявили и отдали *головастикам* Холла…

Уильям Реджинальд Холл руководил королевской военно-морской разведкой. В старом адмиралтействе помещалась секретная комната, где трудились его дешифровщики, прозванные *мудрыми головастиками*. Даже уборщиц в комнату допускали редко и с невероятными мерами предосторожности.

— Любите вы подбрасывать им загадки! — сказал Винни, передавая гостю бокал. — А не получится снова, как с тем аббатом?

Кей поморщился при упоминании о курьёзе. Действительно, как-то контрразведка перехватила письмо священника, адресованное одной актрисе. Белокурая чаровница слыла дамой полусвета и славилась не столько сценическими талантами, сколько бесстыдными оргиями, которые устраивала на своей вилле «Алкивиад». Подозрительным показалось обращение *Ваше преосвященство*, которым начиналось письмо на имя известной кокотки. И последующий текст уж больно походил на шифровку. Люди Холла потратили уйму времени, но оказалось, что пастырь, таясь от церковных властей, просто очень витиевато благодарил за доставленные удовольствия и выражал желание участвовать в очередном развратном безумстве.

— Бывает и такое. — Кей пригубил рюмку с хересом. — В конце концов, каждый может ошибиться. Всё же мы просматриваем письма почти на тридцати языках. И вероятно, во время войны число это возрастёт раза в два.

Широколицый уселся обратно в своё грандиозное кресло.

— Да, — сказал он, — думаю, ждать осталось недолго. И — чёрт побери, нам надо готовиться к будущей войне!

А эти умницы в правительстве готовятся к предыдущей.

— Ну почему же, — возразил Кей, — я слышал, что генерал Вильсон совершает частные вояжи в Бельгию и там, как турист, объезжает на велосипеде германскую границу, осматривает укрепления. Сам ездит, и офицеров своих поощряет… Вы правы, херес чудесный. Запасами не поделитесь?

— Так и быть, уступлю бутылочку… К сожалению, Вильсона недостаточно внимательно слушают. И ездой на велосипеде проблемы армии не решаются… А про трюк Холла с яхтой вы слышали? Он отправился в Германию, чтобы разведать, как там идёт строительство дредноутов и береговых укреплений. Ни в доки, ни тем более на форты, конечно, не попасть — кругом полиция. А в Киле гостил герцог Вестминстерский. Холл на несколько дней выпросил у него моторную яхту, взял ещё пару офицеров, они переоделись механиками и стали кататься. Естественно, когда яхта оказывалась около верфей, двигатель обязательно глохнул. И пока его ремонтировали, Холл делал нужные фотографии. Я видел снимки — там немало интересного, поверьте мне!

— Увы, у немцев слишком много интересного, и не только в гавани Киля. Основные приготовления к войне они закончили. Слава богу, Британия лежит на островах. Будем надеяться, война двинется на восток, и дело с немцами иметь будут в основном союзники.

— Ни русские, ни тем более французы не станут таскать для нас каштаны из огня. Так что нам всё же придётся создавать массовую армию, отправлять её на континент и воевать вместе.

— Тогда не лучше ли заранее проявить о союзниках немного заботы и активнее обмениваться информацией? Русские не против такого сотрудничества. Они тут поделились со мной кое-чем…

Из портфеля, стоявшего около его кресла, Кей вынул увесистый бумажный пакет и выложил оттуда на стол

продолговатый серый цилиндр.

— Что это? — спросил Винни.

— Я думал, вы мне скажете. Вы же знаете толк в сигарах!.. Шучу. Это изобретение одного немецкого химика, доктора Шелле.

Кей начал манипулировать с цилиндром под пристальным взглядом Винни.

— Смотрите, вот здесь, посередине, медная пластина. С обеих сторон на неё навинчены свинцовые трубки. В эту наливается пикриновая кислота, в эту — серная. При соединении они воспламеняются. Скорость, с которой кислоты разъедают медь, известна. Значит, можно рассчитать толщину пластины так, чтобы кислоты разъели её и соединились в строго определённое время.

— Бомба с часовым механизмом!

— Именно. Причём во время пожара свинец плавится, и причину возгорания установить невозможно. Вполне вероятно, русские коллеги правы, когда полагают, что немцы опробовали эти сигары на «Титанике»...

В версиях о причинах гибели океанского суперлайнера недостатка не было. Официальная и самая простая гласила, что «Титаник» напоролся на айсберг по вине капитана, который пренебрёг нормами безопасности. Однако вскоре после трагедии в прессе появились заявления, что компания-судовладелец намеренно затопила его, намереваясь получить огромную страховку.

По другому слуху — ещё до выхода корабля в море в его трюмах загорелся уголь. Очаг возгорания показался небольшим, а задержка для тушения могла сорвать первый рейс и обойтись в кругленькую сумму. Владельцы «Титаника» решили оставить уголь тлеть, надеясь, что в пути без доступа воздуха он погаснет сам собой. Но либо расчёты не оправдались, либо воздух всё

же поступал, только пожар кончился взрывом угольной пыли. А может, кто-то бездумно пытался залить тонны раскалённого угля забортной водой, и обшивку разворотило паром…

Версия об атаке немецкой подводной лодки вызывала у военных улыбку. Хотя — как знать, если немцы и не торпедировали «Титаник», то вполне могли с ним просто столкнуться…

Винни повертел тяжёлую свинцовую сигару в руках, гулко стукнул ею о дубовый стол и катнул обратно к собеседнику.

— В общем, несложно подкинуть эту штуку в угольный трюм, — согласился он. — И даже следов не останется. Военный флот мы сейчас переводим с угля на мазут, но топливо — на то и топливо, чтобы гореть… Молодцы, хитро придумано! Уж если самый большой пароход в мире удалось пустить ко дну, что говорить о простых грузовых транспортах… Так вы говорите, эту штуку вам подарили русские?

— Не подарили, конечно. — Кей аккуратно завернул бомбу в пакет и убрал обратно в портфель. — Но мы иногда оказываем друг другу необременительные услуги. Например, они сдали мне барона Ростока.

Кей говорил про, быть может, самую успешную операцию британской контрразведки.

Два года назад умер король Эдуард Седьмой, и делегации со всей Европы съехались в Лондон на его похороны. Барон Росток состоял в свите германского кайзера Вильгельма Второго и уже попадался на шпионаже. Русские указали на него британцам, те проследили за бароном — и подтвердили подозрения коллег из Петербурга.

Росток очень живо интересовался арсеналом в Вулидже и лондонскими казармами. А однажды в полночь он вдруг вышел из своего фешенебельного отеля, взял такси и отправился в парикмахерскую на

окраине. Странный каприз — побриться ночью, да ещё в таком месте — тоже не ускользнул от внимания филёров, и барон провалил явку.

Владелец парикмахерской торговал оборудованием. Каждый день он получал несколько пакетов от иностранных поставщиков. Контрразведка проверила содержимое пакетов. Оказалось, в них вложены письма, адресованные в разные города Британии, где расквартированы войска и базируются военные корабли. Ночной парикмахер клеил на эти письма английские марки и рассылал как обычную корреспонденцию, снабжая инструкциями немецких шпионов по всей стране.

Ни его, ни барона Ростока трогать не стали: вместо уничтоженной разведывательной сети Германия тут же начала бы строить новую. Кей решил, что правильнее будет следить за вражескими агентами и дожидаться войны, чтобы нанести подготовленный удар и разом лишить немцев источников информации — именно в тот момент, когда они нуждаются в ней больше всего…

— Вы сообщали русским о том, что немцы, похоже, точно так же раскрыли и наблюдают их европейскую сеть? — спросил Винни.

Кей допил херес.

— Не думаю, что с этим надо спешить, — ответил он. — Мы, конечно, сделали Петербургу некоторые намёки, но не более того. Война всё ближе, и чем больше Германия увлечётся действиями на востоке, тем спокойнее будет у нас на западе.

Винни отсалютовал гостю остатками виски.

— Согласен с вами. Обескровленный союзник особенно хорош при дележе военной добычи. Русского орла хорошенько поклюют немецкий орёл и австрийский орёл, а британскому льву тем временем достанется львиная доля!

Они действительно прекрасно понимали друг друга — эти двое, широколицый Винни и подтянутый офицер с фамилией на букву «*K*»: первый лорд Адмиралтейства Уинстон Леонард Спенсер Черчилль и глава Имперской службы разведки и безопасности Вернон Джордж Вальдгрейв Келл.

Глава XXVI. От любви до ненависти. Шаг третий

Повезло Распутину с Кирочной улицей. Жить здесь — лучше не придумаешь. Кругом только доходные дома приличные, казармы гвардейских полков да божьи храмы. Во все края города добираться одинаково, самый что ни на есть центр.

Вышел на Литейный проспект, повернул направо, мимо арсеналов и Окружного суда — вот тебе Нева. А если налево повернул — Невский и дальше Владимирский проспект, Загородный…

На углу с Литейным — Офицерское собрание, где цвет столичного воинства частенько собирается. Сколько раз любовался Григорий, как подъезжают они, сияя погонами, лощёные, в аксельбантах…

Прямо напротив двенадцатого дома, где издатель Сазонов его приютил, из окон видать — Спасо-Преображенский собор-красавец, обсаженный густыми деревьями и обнесённый оградой из стволов завоёванных орудий турецких. Храм вроде Исаакиевского, только поменьше, конечно. А колокола как важно звонят!

Справа от дома — кирха Анны Лютеранской. Церковь немецкая, значит. Сазонов рассказывал, что её сам Пётр Первый повелел поставить для тех германцев, что в Литейной части работали, пушки отливали. И рядом «Анненшуле» — школа при церкви. Порядок там, чистота, аккуратно всё — залюбуешься.

Немного если влево пройти — будет пятнадцатый номер, глухая стена казармы, где петербургский корпус жандармов квартирует, а дальше по другой стороне, сразу за Воскресенским проспектом, — площадь большая, вся в густых деревьях. Среди площади стоит

церковь Космы и Дамиана, похожая на храмы византийские, что Григорию на богомольях в южных краях видать доводилось. Перед церковью — клумба с толстой цепью по кругу, а на клумбе — памятник павшим в боях за Отечество лейб-гвардейским сапёрам: высокий камень, обломок скалы, на котором императорский двуглавый орёл в коронах сидит. Здесь в Кирочную упирается длинная и прямая Знаменская улица, так что церковь и орла перед нею от самого Невского видать.

Ещё чуть дальше, при дворце князя Потёмкина-Таврического, — просторный сад с прудами, островами, мостами и видовыми горками. В пруды, сказывали, стерлядь запущена ещё при Екатерине Великой, а вдоль аллей дубы растут, лиственницы, ясени, клёны… Красиво в Таврическом саду, и дышится легко! А во дворце Таврическом Государственная дума заседает, когда государь ей собраться повелит.

И ещё дальше по улице — против сада, за клиникой великой княгини Елены Павловны — музей Суворова. Специально в честь побед легендарного воителя построен, вроде белого русского кремля с золотым орлом на башне. Внутри — вражеские знамёна, оружие и доспехи посмотреть можно, а снаружи по стенам — мозаичные картины огромные с подвигами суворовскими.

Хорошо на Кирочной! И просто гулять, и идти куда по ней — одно удовольствие. Будь на то его воля — Григорий здесь и квартиру бы себе спроворил. Не всё же по углам у добрых людей ютиться! Самому-то ему и чулана довольно, да только дети подрастают. Дмитрий, на беду, совсем дурачок, умом скорбный, зато Матрёна — умница, и Варька ей под стать. Пора везти в столицу и определять к учёбе. А мамка их Прасковья, жена Григория, тоже ведь в Покровском одна не останется. Значит, всем сюда перебираться надобно…

Два филёра, Свистунов и Терехов, шли следом по обеим сторонам улицы. К этой манере Распутина — говорить на ходу и по временам размахивать руками — они уже привыкли. А у него повелось так с давних пор — с тех ещё, когда в конюшне выкопал себе пещерку. Грамоте учился — Писание вслух разбирал. Молился — тоже в голос. Когда по святым местам шёл, с попутчиками беседовал. Нешто можно, не давши обета, рта не раскрывать на тысячевёрстном пути?! Ежели кто по доброте брался подвезти паломников — тоже не молча ехали, рассуждали о спасении души да о местах, где бывать довелось. А как в мыслях Григория бесы одолеть пытались, или соблазн перед глазами появлялся, или вспомнить случалось врага рода человеческого — одной рукой осенял себя Распутин крестным знамением, а другой — отмахивался кулаком.

Ходил он не быстро: тоже привык за годы паломничества. Когда пути впереди на месяцы — куда спешить? Зато таким неспешным ходом случалось и тридцать вёрст в день одолеть, случалось — и пятьдесят. Шаг за шагом, с утра до ночи…

Никуда не ждали нынче Григория Распутина; немногие знали, что приехал он из Покровского, съездил в Крым к императору с императрицей и вернулся теперь в Петербург. Можно было просто брести по петербургским улицам, обдумывая своё житьё.

Квартиру отдельную нанять в столице и семью, наконец, перевезти — дело хорошее. Только сильно не дешёвое. Где же такую уйму денег взять? Конечно, перепадало ему иной раз немного, когда приглашали к господам. Не оскудеет рука дающего! Только мало давали. Не оставляет человека бес искушением своим и делает всякие наваждения. Говорит: сам по миру пойдешь, не подавай, оскудеешь!

Удивлялся Григорий. Которые сами в скудости живут — всегда норовят отплатить за добро, хоть и последнее от себя оторвать. Что же скаредничают те, которые в сытости и достатке? И ещё: человеку, в средствах стеснённому, самому до святых мест в дальних краях не добраться; одна отрада — рассказы опытного странника послушать. А те, кто могут позволить себе и в Саров, и в Киев, и на Афон, и в Иерусалим, и куда душе угодно — вместо того за границу ездят смотреть разные горы. Да и то смотрят на них, как на роскошь, а не как на божье создание…

С кем молился вместе Распутин — тех всегда после в церковь направлял, чтобы причастились. Так и от церквей денег предлагали: ты людей-то, мол, направляй не абы куда, а к нам! К таким деньгам старался не прикасаться Григорий. Конечно, батюшки разные, их он любил не сильно, да разве же храм виноват?

— Всегда нужно подумать — худой, да батюшка, — говорил он, как заходил о том разговор, — уж ежели у нас искушения, то у него и подавно. Шурин у него кавалер, на балах, тёща кокетничает, жена много денег на платья извела, и гостей-то у него предстоит много к завтраку. А всё же почитать нужно его! Он есть батюшка — перед богом молитвенник. Затем причащайся как можно чаще и ходи в храм, какие бы ни были батюшки. Считай батюшек хорошими, потому что ты как спасающийся — тебя враг искушает, а у него тоже семейство и он тоже человек. Ему бы надо было поступить в исправники, а он пошел в батюшки. Ведь он бы рад спросить, да нет у нас таких живых людей — дать ему благой совет…

Вот покойный протоиерей Иоанн Кронштадтский — истинный батюшка был! За то и получил дар исцеляющей молитвы. Уж сколько народу жизнью ему обязаны — не сосчитаешь. Любого племени, любого звания, без разбору.

То же делал теперь и Григорий Распутин. Молился, спасительные беседы вёл, прорицал иной раз, врачевал словом. Ему пытались целовать руки. Он не возражал, хотя и в том видел беса искушающего. Господа с княгинями-графинями простому крестьянину руки целуют — гордиться впору. Так ведь грех это смертный — гордыня! А откажешься и запретишь — снова гордыня: что же, другим уже и благодарность выказать нельзя, возвыситься через унижение?! Хитёр бес, ох, хитёр…

Отмахнулся Григорий кулаком от врага помянутого, перекрестился широко:

— Рай земной, не отступи от меня, будь во мне!

Пусть уж целуют руки-то, коли нравится. А которые дурное подумают и станут говорить — их печаль. Рассуждал Распутин: золото всем известно и всеми ценимо, а бриллианты хотя и ценны, но не всем понятны. Так и духовная жизнь не всем вместима. И радость — насколько порадуешься, настолько и восплачешь. На сколько примут, на столько и погонят.

Те сёстры-княжны черногорские, что от Феофана о нём услыхали и к себе приглашать стали, сперва-то принимали, подарками задаривали. Чуял Григорий, что нужен им. И знал за собою силу такую: помочь в той надобности. Хорошо с черногорками было; они его кормили-поили и часами слушали, а он к жизни городской привыкал, примечал — что господам понятно, а что — не очень, как лучше сказать, чтобы на сердце легло…

Когда Аннушку Танееву привели — думал сначала: просто ещё одна лань пугливая. И замуж вроде хочет за лейтенанта своего, Вырубова, и место терять жалко: объяснили ему, что женщину замужнюю фрейлиной при императрице не оставят. Смотрел на неё Григорий — сама большая, плотная; копна волос льняных, глазищами голубыми лупает, губы пухлые малиновым

колечком… Ни дать ни взять — обычная деревенская деваха на выданье! Он и сказал, что почувствовал: под венец идти надобно, только счастью после свадьбы не бывать. Поговорил с этой Аней хорошо и простился с миром.

Уж потом только понял Григорий, что проверку ему делали. Готовились сёстры Милица с Анастасией государю с государыней показать своё чудо, своё новое открытие — народного целителя и прорицателя Григория Распутина. Потому и одеваться приучали в праздничное, и мыться что ни день с мылом душистым, и к цирюльнику наведываться. Фрейлина-то к чему была? Чтобы рассказать о нём во дворце, чтобы вроде как не сами сёстры встретиться с Григорием предложили.

А уж как увиделся он с царём-батюшкой да с царицей-матушкой — загордился сперва так, что неделю потом постовал, гордыню свою замаливал. Как же, не с кем-нибудь папа с мамой земли российской встретились, а с ним! Стало быть, есть в нём осóбина! А что? Он, Григорий Распутин — крестьянин, сын крестьянина Ефима и внук крестьянина Якова. А крестьянином сам царь живёт, питается от его рук трудящихся… И вся страна, все люди и птицы крестьянином пользуются, и даже мышь!

После опомнился, прогнал беса. А как встречи с папой и мамой чаще стали, так заметил Григорий, что чаще и черногорки на него гневаются. Слово дать потребовали, что без них он во дворец — ни ногой. А как сдержать такое слово? Прислал однажды царь-батюшка офицера на моторе, посадили его в мягкие кожаные кресла и повезли. Нешто Григорий Распутин мог отказать самодержцу? Знамо, не мог — поехал как миленький.

Мало того, за чаем спросил его государь о женитьбе родных братьев на сёстрах. Григорий ответил, как на

духу: мол, в сибирских краях, чтобы греха кровосмесительного случаем нежданным не вышло, невесту стараются из другой деревни взять: в своей-то мало ли, как оно по молодости у прежних поколений складывалось. Вон, Распутиных-то сколько в Покровском! Байку старинную припомнил про цветок иван-да-марья, как жили в давние времена брат с сестрой, не знавшие о своём родстве, и полюбили друг друга…

Ох, и бесновались после княжны! Ох, и устроили ему выволочку! И великий князь Николай Николаевич страшно кричал, ногами топал и Распутина называл скотиной неблагодарной. В чём скотство и неблагодарность правды его деревенской — так и не понял Григорий. Ведь разрешил же государь княжне Анастасии с герцогом своим развестись! О том и в газетах писали:

Определением Святейшего Синода, на основании учреждения об Императорской Фамилии, Высочайше утвержденном 15-го ноября сего года, брак князя Георгия Максимилиановича Романовского, герцога Лейхтенбергского, с Ея Императорским Высочеством Анастасией Николаевной Романовской, герцогиней Лейхтенбергской, расторгнут.

После дозволил государь Николаю Николаевичу жениться на Анастасии, хотя её сестра Милица замужем была за его братом Петром.

А что войну Григорий ругал — так чего же в ней хорошего, в войне-то? Она крестьянам рабочие руки-ноги отрывает, деревни опустошает, кормильцев крадёт. Избы-то строить да землю пахать — не бабьи силы нужны, мужицкие!

Говорил это всё Распутин — и чувствовал, что государь так же думает, только от него это хочет услышать. В том и таился один из нехитрых секретов целительных бесед: говорить страждущему то, что

внутри него уже сказано, только наружу выйти боится. Давит человека изнутри, мучает. А произнесёт Григорий те же слова вроде как от себя — тяжесть пропадает, и на глазах светлеет человек, спиной разгибается. К чему же молчать перед папой о том, что радость дарит и во что оба они верят?

Черногорки с великим князем страсть как хотели, чтобы Россия за Балканы воевать стала. Доводилось Григорию Распутину в Грецию хаживать, знал он, где Балканские горы. Это ж сколько дней шагать надо! А ежели от Петербурга и Москвы столько же в другую сторону отмерить — всё Россия будет. И ещё столько же. И ещё. Какая же нужда России в балканской земле, когда своей не объять, не вспахать, не засеять?..

— Стрельба в притоне! Стрельба в притоне! Гвардейский офицер покончил с собой!

Размышления Григория оборвал крик уличного продавца газет. Мальчишка размахивал свежим выпуском «Санкт-Петербургских Ведомостей». Там писали об унтер-офицере Исидоре Крожестосике: гвардеец Павловского полка с пьяных глаз поссорился с хозяйкой притона в Свечном переулке. Выхватив «наган», Крожестосик стрелял в неё и проституток, а последнюю пулю пустил себе в сердце.

Григорий вздохнул. Смерти-то разные бывают. Кто гибнет за веру, царя и отечество; кто в бою за чужие края далёкие, а кто вот так, во дни мира, в двух шагах от Невского, пьяной свиньёй среди непотребных девок — даром, что российский офицер…

Распутин огляделся. Идучи задумчиво по Кирочной вдоль Таврического сада, он свернул в Парадную улицу, мимо казарм лейб-гвардии Преображенского полка. Ноги сами несли по знакомым местам, через квартал, по старинке называемый — Пески, в сторону Греческого проспекта, где жил раньше на квартире действительного статского советника Лохтина. Самый

центр Петербурга, всё же рядышком… Не доходя Греческого, Распутин снова повернул направо, по Бассейной к Литейному проспекту, и филёры двинулись следом.

Шестое мая — в православном календаре юлианском — день Иова Многострадального, о котором шёл спор у сатаны с господом. Не было несчастья человеческого, которого не перенёс бы богатый и счастливый Иов. Всё разом обрушилось на его плечи: привелось испытать ему голод и бедность, болезни и потерю детей, лишение состояния и коварство жены, нападения от рабов и оскорбления от друзей бывших…

Всё стерпел Иов, оставаясь в вере своей твёрже всякого камня, ибо знал: есть суд, на котором оправдается только тот, кто имеет истинную премудрость — страх господень, и истинный разум — удаление от зла.

Шестого мая, в день Иова Многострадального, тезоименитство у государя императора. Знак тяжкой судьбы. Вроде знали об этом все, но особо не задумывались. И Григорий не задумывался — до той поры, пока не сделался вхож в чертоги царские. Пока не узнал тайну строго хранимую.

За десять супружеских лет родила императрица пятерых детей. Четыре царевны на радость и удивление росли здоровыми и весёлыми. А вот цесаревич долгожданный, младшенький — страшной болезнью страдал.

Так и называли *царской* болезнь, что досталась маленькому Алексею от прабабки, британской королевы Виктории. Больше шестидесяти лет правила она Британией, четырёх русских императоров видела — и не жаловала. Троим козни строила, а наследнику четвёртого с внучкой своей Алисой Гессенской передала хворь с названием чудны́м: гемофилия. Хворь,

от которой спасения нет, которая передаётся по женской линии, а убивает — по мужской.

Кровь не свёртывалась у цесаревича Алексея. И полбеды, когда бы сочилась она из порезанного пальца или разбитой коленки. Как-нибудь, да унять можно. Но большой оказалась беда: сосуды такие слабенькие и тоненькие у наследника, что лопнуть норовили когда и где угодно — под кожей, в почке… И лопались ведь! Шишками кровавыми малыш покрывался, кровью исходил, а родители безутешные смерти его ждали всякий миг.

Тайной о болезни цесаревича, законного наследника российского престола, отгородились государь с государыней ото всего мира. Жить стали в Царском Селе, не в Петербурге. Принимать во дворце Александровском только самых близких. С весны до осени уезжать подальше, к морю. И молиться о явлении того, кто хоть чем-то поможет.

Царица в истериках билась, что ни день, рассудок теряла понемногу. Без вины виноватая, наделила она сыночка болезнью страшной — и смотреть обречена была, как мучается он, как по краю смерти ходит. Царь тоже в себе замкнулся: глядел на муки угасания сына и жены, казня себя за бессилие спасти любимых.

Григорий Распутин посланцем свыше для них стал. Увидал он государя скорбящего и враз припомнил день тезоименитства. Услыхал стенания и ропот государыни — прочёл ей из жития мужнина святого, Иова, как тот говорил жене усомнившейся:

Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, злого не будем принимать?

Но не словом утвердился Григорий при дворе, а делом! Знал он травы и отвары целебные, знал рецепты народные, и главное — силой своей таинственной мог кровь цесаревича останавливать. Не разговорами

одними о Вере и Любви приблизился он к императору с императрицей, но принёс в государеву семью Надежду.

— Не век злой хвори терзать наследника, — говорил он, — вырастет Алексей из болезни, дайте срок.

В злобе бессильной глядели княжны черногорские с великим князем Николаем Николаевичем на ускользнувшего от них Григория. Пока он вроде как им принадлежал, пока средство чудодейственное от *царской* болезни в их руках было — любили его, лелеяли и холили, планы строили. А как сделался Распутин вхож во дворец — родилась из любви ненависть.

За стену, что государеву семью от всего мира отделяла, мало кто проникнуть мог. Но уж кто там оказывался — видно, чист был и нужен так, что без него не жизнь. Без Григория-то и вправду не жизнь цесаревичу, и как тигр с тигрицей растерзали бы теперь государь с государыней любого, кто попробует вещуна-целителя отнять!

Так и вышло, что те, кто раньше заставляли императора в мужика поверить, принялись теперь чернить и порочить Григория, интриги плести. Тут и Государственная дума осмелела. Депутаты, которые раньше самодержцу и слова поперёк сказать не могли, — на Распутина бросились, чтобы через мужика до Самого́ дотянуться…

Пройдя по Бассейной к Литейному проспекту, около некрасовского дома Григорий снова повернул направо и пошёл в сторону Кирочной — обратно домой. Никуда ему нынче не надобно: к чему без толку Петербург шагами мерить? Знай иди себе неторопливо по Литейному проспекту да размышляй о будущности своей.

Мечта его, с которой в столицу приехал, сбылась: дал царь-батюшка денег на храм в Покровском. Целых пять тысяч дал! За разъезды Григория из столицы в Сибирь и обратно, или вот теперь в Крым — государева

канцелярия платила. Чиновники, конечно, забывали о нём порой — они ж всегда больше о кармане своём пекутся. Ну, так мир не без добрых людей: находился кто-нибудь, кто ссужал рублей двадцать пять на дорогу. Дома в Покровском — семья, крестьянская работа, хозяйство отцовское, жить можно. Как выбирался Распутин в Петербург, тоже впроголодь не сидел — снова спасибо добрым людям; от издателя Сазонова его не гнали…

…только пора уже свою квартиру нанимать. Дочерей в Петербург на учёбу везти, жену. Да вот беда: денег откуда взять? Придётся всё же просить государя — больше-то некого. А что до княжон и прочих недругов заодно с теми двоими, которые на прогулках следом за Григорием ходят, — сам господь когда-то не всех убедить смог, вот и заготовил для неподдающихся взамен жизни вечной — ад и тьму.

Глава XXVII. Вена. Убойные места русского кабана

За кутерьмой с разоблачением полковника Редля и пронырливым чешским репортёром-футболистом капитан Ронге ненадолго отвлёкся от своей стратегической затеи. Но в голове держал крепко: что бы ни происходило, война всё ближе, а враг известен и грозен. Россию привыкли сравнивать с медведем — начальнику австрийской контрразведки предстоящая схватка виделась чем-то вроде кабаньей охоты.

Много лет назад Максимилиан Ронге впервые оказался в Москве. Стояла зима. Приятели — русские офицеры — взяли его на псарню к отцу одного из них. Компания полетела в санях по скрипучему снегу до Рогожской заставы.

— Надо бы австрийцу нашему показать меделян в деле, — сказал кто-то.

Молодой Ронге, уже преисполненный впечатлений от знакомства с Россией, заинтересовался: что за *меделяны*?

— Увидишь, — с усмешкой обещали ему.

Он увидел.

По деревне тут и там тонули в сугробах старинные русские избы под снежными шапками. Из печных труб кисеёй струился душистый дым. На штакетинах забора торчали чёрные головы чугунков, а по снегу расстелены были разноцветные половички. Ронге залюбовался идиллической картиной — и вдруг, неизвестно откуда появившись, к нему подошла собака… Нет, не собака — огромный зверь.

Волчьего окраса, с густой грубой шерстью пёс тяжело глядел на него из-под нависших бровей страшными светло-жёлтыми глазами. Громадная

львиная голова с небольшими прилегающими ушами и широким лбом, отвислые брылья на короткой морде, висячий подгрудок, мощные покатые плечи, широченная грудь — монстр отдалённо походил на сенбернаров, которых Макс видел во французских Альпах. Но этот зверь, массивный и коренастый, был вдвое больше самого большого из них.

Ронге похолодел и замер.

— Сейчас в нём уже и семи пудов не будет, наверное, — посетовал пришедший на выручку сын хозяина, — сдаёт Лебедь… Что, старый пёс, пора на покой? А раньше, бывало, в одиночку медведя валил!

Он крепко потрепал за холку зверюгу, головой достававшую ему до пояса. Лебедь флегматично перенёс ласку, языком размером с лопату лизнул офицеру ладонь, неторопливо добрёл до ближайшего сугроба и со вздохом повалился в него — дремать. Чудовище оказалось меделянской собакой, русским мастифом, о котором упоминали доро́гой.

Несмотря на потрясающие размеры и очевидную силу пса, Ронге решил, что упоминание о медведе — это уже слишком. Всё-таки собака — это собака, а медведь… Медведь — это медведь. Но и здесь Максимилиан ошибся.

После сытного обеда офицеры лениво курили в избе за длинным дощатым столом, когда с улицы послышались крики. Вся компания выбежала наружу. Оказалось, разъярённый бык вырвался из соседского загона, распугал народ и двинулся к Владимирскому тракту. Там в это время проходил казённый обоз, который охраняли солдаты, и бык мог натворить бед.

Хозяин дома оценил ситуацию и глянул на сына:

— Пусти Лебедя, — коротко сказал он.

Огромный пёс тяжёлой рысью догнал быка и в мощном прыжке ударил сзади грудью в бедро. Уже потом Максимилиану рассказали, что это меделянский

стиль: прежде сшибить зверя, лишить равновесия, и только потом *взять*.

Удар был такой силы, что взрослый разъярённый бык пал на колени и уткнулся головой в снег. Подняться он уже не смог, потому что Лебедь всем весом навалился ему на затылок и глухо рыкнул.

— Взял! — удовлетворённо сообщил хозяин. — Ай да старый пёс!

Подоспевшим владельцам быка осталось только накинуть ему на рога верёвки и привязать к дереву, чтобы успокоился.

С меделянскими собаками в России ходили и на медведя, и на кабана… Впрочем, посмотреть русского мастифа *в деле* Ронге в тот раз больше не удалось. А вот позже, уже на юге, он хаживал вместе с сослуживцами на кабанью охоту.

Видит кабан плохо, но обоняние и слух у него отменные. Так что подобраться к пятнадцатипудовой дикой свинье почти невозможно. И ведь ещё надо изловчиться, чтобы стрелять сбоку или *в угон*! Встречного, идущего *на штык*, лучше брать не пытаться. Кабан чешется о деревья, на его густую щетину попадает смола, после к ней липнет грязь, лесное крошево — и убойные места оказываются покрыты прочным панцирем. Конечно, пуля может его пробить, но может и срикошетить при неточном выстреле. А разозлённый или раненый кабан страшен и атакует гораздо быстрее, чем человек успеет спрятаться или перезарядить штуцер.

Максимилиану повезло: командир полка оказался заядлым охотником и владел сворой травильных собак — не таких огромных, как меделянские, но крепких и свирепых. Их запускали в заросли, где человеку трудно пробраться и где встреча со зрелым секачом наверняка закончится фатально. Запускали — и спокойно ждали.

Исступлённый лай своры давал знак: зверя нашли и подняли. Иногда кабан сразу принимал бой, иногда пытался удрать. Псы не отставали. Наконец, по лаю поняв, что кабан окружён и никуда не двигается, полковник давал команду: *Пора!*

Притравленные собаки уверенно брали кабана. Они вцеплялись ему в уши и в горло, оказываясь в недосягаемости для страшных кабаньих клыков, и повисали на туше зверя. Теперь охотник мог подойти совсем близко и прицельно стрелять из-под собак по убойному месту: в голову, в шею, в сердце… Случалось, русские сослуживцы Ронге брали кабана рогатиной, а иногда, проявив особое молодечество, даже запрыгивали ему на спину, чтобы всадить кинжал под лопатку.

Много лет спустя уже опытный капитан-контрразведчик понимал: нет надежды, что у Австрии с Россией пройдёт трюк, показанный Лебедем на быке. Улучив момент, рассчитывать на *Blitzkrieg* — один прыжок, мощный удар и молниеносную победу — в войне с такой страной может только безумец.

Псы, что хватают кабана за морду, обречены. Так можно поймать разве что поросёнка или, если посчастливится, свинью. А у матёрого зверя торчащие вверх клыки — огромные и острые, как усы германского кайзера, — легко разорвут собачью шкуру на рёбрах, вспорют живот и выпустят сизые внутренности на лесную траву. Хватать огромного русского секача за морду — удел армии.

Но вот хорошо обученная свора может его взять, считал Ронге. Сковать движения, отвлечь внимание на себя — и позволить хозяину добить зверя…

Начальник Австро-Венгерского императорского и королевского Генерального штаба Франц Конрад фон Хётцендорф на кабана не ходил: он предпочитал перепелиную охоту или спокойную стрельбу

вальдшнепов *на тяге*, когда в сумерках птицы летят с места на место привычным путём.

— Это лирика, — сухо прервал он рассуждения Максимилиана. — Кабаны и ваши ностальгические воспоминания о России… Что вы конкретно предлагаете?

В просторном кабинете под тяжёлыми готическими сводами Ронге докладывал лично фон Хётцендорфу, минуя своего непосредственного начальника — полковника Урбански. Мало того, что тот проморгал Редля. При досмотре имущества в доме шпиона Урбански обнаружил фотоаппарат, но внутрь не заглянул. Когда имущество Редля распродавали с молотка — суперсовременная камера досталась какому-то студенту. Он обнаружил внутри плёнку, проявил её — и стал обладателем секретных документов, которые двуличный полковник переснял в штабе, но не успел отправить в Петербург. Дополнительно к скандалу, что разгорелся после публикации в пражской газете, эта оплошность окончательно поставила крест на карьере главы *Evidenzbüro* полковника Урбански…

…а капитан Ронге излагал теперь начальнику штаба свои соображения. Добыча военных планов противника и разоблачение его шпионов — задача для контрразведки важная, но не единственная. Очень эффективным может быть использование агентов и сил влияния: они нарушат стабильность внутри России и облегчат задачу австрийской армии на фронтах. Отвлекаясь на внутренние проблемы, русские не смогут успешно действовать против внешнего врага.

Долгие годы и во многих войнах Австрия, Пруссия, Германия и Россия выступали союзниками — до недавних пор. Отсюда хорошее знание особенностей друг друга и богатейший материал для анализа, цель которого — поиск слабых мест.

— В этом смысле, — говорил Ронге, — анализировать Россию стоит, начиная с императорской семьи. Конечно, родственные связи между династиями не помеха для войны, особенно с учётом взаимной неприязни между кайзером Вильгельмом и царём Николаем. При этом царь вообще не расположен воевать и не вникает глубоко в дела военного ведомства. Это нам на руку, поскольку косвенно тормозит подготовку России к войне и впрямую сдерживает агрессивность военных. Также в нашу пользу и то, что существенная часть российского общества настроена воинственно, и влиятельные близкие родственники Николая желают войны…

Фон Хётцендорф понимающе кивнул:

— Вы имеете в виду великого князя Николая Николаевича?

— Точно так. Его — в первую очередь. Он пользуется большим авторитетом в армии и выступает ярым сторонником скорейшего начала войны на Балканах.

— Чем же нам выгоден великий князь?

— Тем, что он — противник императора во всём, что касается военных вопросов. Чем раньше Россия вступит в войну, тем сильнее скажется её неподготовленность. Сейчас у русских серьёзные проблемы с перевооружением. Их фронтовые роты насчитывают не более девяноста человек — против двухсот у нас. Недостатки подготовки и управления русские склонны компенсировать массовым героизмом солдат. На деле героизм оборачивается колоссальными людскими потерями. Бесконечно пополнять войска невозможно, и в какой-то момент враг будет обескровлен.

— На это рассчитывать не приходится, — заметил фон Хётцендорф. — Обескровить Россию не удавалось ещё никому.

— Никто и не пытался, — возразил Ронге. — К тому же будущая война обещает стать на порядок более

кровопролитной… Я продолжу, если позволите. Великий князь вполне может претендовать на российский престол. Общество и армия возражать не станут, а нынешняя супруга Анастасия разжигает и поощряет претензии Николая Николаевича.

Густые седые усы начальника австрийского штаба встали дыбом.

— Как вы себе это представляете? По русскому закону о престолонаследии трон должен перейти к цесаревичу Алексею. Но даже если император Николай нарушит закон и отречётся за себя и за сына, всё равно следующий в очереди — его брат, великий князь Михаил.

— Михаил сейчас в Вене с дамой сердца, и мы внимательно следим за ним, — с готовностью откликнулся Ронге. — Он отлучён от двора и слишком занят личной жизнью. Что же касается закона… Иногда законы меняются под влиянием обстоятельств.

— Вы считаете, что возможно повторение девятьсот пятого года?

— Вполне.

За время, прошедшее с тех пор, открылась тайна: во время революции император Николай намеревался отречься от престола и сделать великого князя Николая Николаевича диктатором. Даже мудрый председатель комитета министров Сергей Юльевич Витте в тот момент находил для России лишь два выхода: военную диктатуру — или ограничение абсолютной монархии, принятие конституции и созыв выборной Государственной думы.

Императору Николаю Второму конституция виделась наихудшим вариантом — при восшествии на престол он поклялся блюсти самодержавие как главную ценность, завещанную ему отцом. Так у дяди государя, великого князя Николая Николаевича, появился шанс возглавить страну.

Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна утверждала, что Николай Николаевич страдает неизлечимой болезнью: он глуп. Синий кирасир действительно смотрел на Россию, как на казарму, и другого взгляда, кроме армейского, не понимал. Но в тот раз ему всё же хватило ума сообразить, что в такой момент незаконно сменить государя и стать диктатором — идея провальная.

На Дальнем Востоке идёт война с Японией. Европейцы во главе с Англией, которая помогает японцам, караулят любой просчёт России. Тем временем внутри страны гуляет бессмысленный и беспощадный русский бунт. Обезумевший народ-богоносец крушит, убивает, грабит, жжёт — и для его усмирения не хватает сил: военные ориентированы в первую очередь на Дальний Восток. По той же причине гвардия и армейские генералы не могут оказать достойную поддержку своему любимцу Николаю Николаевичу. Как отреагирует общество на замену царя диктатором — прогнозировать трудно, управлять этой реакцией — невозможно…

Обстоятельства складывались явно не в пользу великого князя. Обрастал подробностями слух о том, что в смутные дни Николай Николаевич явился к министру двора Фредериксу, вынул из кобуры «наган» и заявил: если император отречётся от престола, он пустит себе пулю в лоб. Правда это или нет, но царь Николай остался на троне, а Россия осталась без диктатора Николая.

— Ваши доводы взаимно исключают друг друга, — заявил фон Хётцендорф. — Вы говорите, для нас выгоден прежний царь. И при этом выгодно, чтобы царя сменил его дядя?

— Точно так, — подтвердил Ронге. — Мы объективно выигрываем в обоих случаях. Предположим, Николая Второго незаконно меняет Николай Третий. Тут же

возникнет путаница, суета и неразбериха. Начнутся конфликты интересов различных групп, близких к трону: династических, олигархических… Мы вклинимся между ними, используем возникшие противоречия и расшатаем ситуацию в России. Николай Николаевич — солдафон, а значит — совсем не политик, и проблемы с союзниками обеспечит сам. Если прибавить сюда его горячее желание скорее начать войну, хотя ни страна, ни армия к ней не готовы, — появление Николая Третьего будет нам явно на руку.

Фон Хётцендорф задумчиво провёл рукой по голове, взъерошив жёсткий бобрик стальных волос.

— Хм… Пожалуй, вы правы.

— Если же на троне остаётся Николай Второй, — продолжал Ронге, — мы можем расшатывать ситуацию, вбивая клин между ним — и дядей с остальными сторонниками войны. Царь неадекватно оценивает не только работу военного министерства, но и обстановку в России в целом. Он не сомневается в безграничной преданности народа, его несокрушимой мощи и колоссальном подъёме благосостояния. Считает, что стране необходим только более широкий отпуск денег на производительные надобности. Николай уверен в том, что Германия просто пугает своими военными приготовлениями и никогда не решится на открытое вооружённое столкновение. Мол, если дать понять, что Россия никого не боится, то все сразу пойдут на уступки.

— Совсем как его отец, — фон Хётцендорф покачал головой. — С той лишь разницей, что Николай мало похож на Александра, и Россия Николая Второго — далеко не Россия Александра Третьего!

— Именно поэтому я и взял на себя смелость утверждать, что перед войной на русском троне нас вполне устраивает именно этот царь, — заключил Ронге.

Глава XXVIII. Санкт-Петербург. Превратности любви

На Морской в ресторане «Кюба́» рыдал скрипками румынский оркестр.

— Отчего Феликс привёз нас именно сюда? — спросила Анна.

Дмитрий Павлович молча показал взглядом из полутёмного зала в сторону подсвеченной сцены, где приятным контральто пела печальную цыганскую песню стройная брюнетка. Фигуру певицы облегало платье из голубого тюля с серебряными блёстками; по плечам струилось пышное боа из голубых страусовых перьев.

Великий князь вынул папиросу из лежащего на столе портсигара, несколько раз стукнул мундштуком о его костяную крышку, — и в тот же миг рядом вырос официант с зажжённой спичкой. Дмитрий Павлович прикурил.

— И поэтому тоже, — добавил он, кивком отпуская официанта. — Такого обслуживания вы не встретите нигде. А ещё здесь лучшая в городе кухня.

— Боюсь, искусство повара я оценить не смогу, — рассмеялась Анна и отщипнула крупную ягоду от кисти винограда в изобильной фруктовой вазе. — Вы же знаете, балетные только святым духом питаются…

— Так давайте закажем порцию святого духа, — весело предложил Дмитрий Павлович. — *À la carte* его нет, но Кюба обязательно что-нибудь придумает. Уж если выбрались на родину, не отказывайте себе в маленьких радостях!

Анна Павлова была одной из пяти танцовщиц в России, удостоенных титула императорской балерины. Знаменитая прима русского балета уже год жила с

тайным мужем в лондонском особняке *Ivy House*, гастролировала по всему миру и в родном городе почти не бывала. Но с Феликсом Юсуповым её связывали добрые отношения, и встреча в самом дорогом ресторане Петербурга была предопределена.

— Увы, мне скоро тридцать, — притворно вздохнула Анна, немного сбавив возраст, — и за собой приходится следить всё строже. А завтра с утра репетиция и вечером спектакль. Так что надо поменьше есть и побольше спать…

— Это кто здесь собрался спать?

Официант во фраке и белых перчатках услужливо отодвинул кресло, и за стол против Павловой уселся Феликс — в голубом платье с блёстками и накинутом на плечи страусовом боа. Он закончил петь, и теперь румынский оркестр аккомпанировал солисту, выводившему рулады на пан-флейте.

Второй официант налил гостям шампанского.

— Князь, вы были бесподобны, — сказала Анна. — Изумительный костюм, изумительная пластика… Я никогда не слышала этих песен. Где вы их берёте?

— Внимательно слушает в других ресторанах, — предположил Дмитрий Павлович. — Каждый вечер мы исправно объезжаем чуть не весь город.

— Не вижу причин, чтобы сегодня изменить традиции, — заявил Юсупов. — Который теперь час?

Великий князь сдвинул манжету с циферблата новомодных *Longines* на ремешке крокодиловой кожи и бросил взгляд на стрелки.

— Четверть десятого.

— Прекрасно! Вечер ещё и не начинался. Предлагаю программу: легко ужинаем здесь, а потом перебираемся в «Донон» или «Палкин». Там кофе с джинджером, десерт и дальше — в сады. В «Аркадию», в «Ливадию» или в «Буфф»… Кстати, в «Буффе» сегодня Варя Панина поёт. А можно прокатиться на «Виллу Родэ» — они

обещают новое пикантное шоу. — Юсупов буравил взглядом балерину. — Не упустите случай, Анна Матвеевна! Вас пропустят только с нами: одинокой даме в такие заведения показываться неприлично. Но лучшие устрицы всё же здесь, и шабли отменное…

— Что вы за человек, Феликс! — вздохнула Анна, томно глядя в ответ своими удивительными глазами цвета спелой вишни. — Все удовольствия от жизни сразу!

— Почему же нет, если я могу это себе позволить? — Князь похлопал накладными ресницами; его губы в яркой помаде изобразили улыбку. — Разве я делаю кому-то хуже?

— Ещё как хуже! Жаль, что вас не было с нами вчера, — сказал балерине Дмитрий Павлович. — Вы бы меня спасли. А так он затащил меня к Фёдорову…

— К Соловьёву, — строго поправил Юсупов. — Фёдоров на Малой Садовой.

— Ну, к Соловьёву, — согласился великий князь. — Добро бы в «Медведь» или «Аквариум»! «Вену» могу понять и «Малый Ярославец» — там тоже обслуживают по-человечески…

Феликс опять возмущённо перебил:

— А «Квисисана»?! Видели бы вы, Анна Матвеевна, как его императорское высочество на прошлой неделе замечательно сидел в «Квисисане» среди студентов и покорно ел из бесчеловечного буфета-автомата!

— Да, ел! — Дмитрий Павлович был немного сконфужен. — Потому что много выпил и проголодался! Но этот Фёдоров…

— Соловьёв!

— …этот Соловьёв — за гранью. Ресторан, называется! Какой-то занюханный трактир. У входа никто не встречает, посетители прямо в одежде с улицы идут к стойке и сами — сами, руками! — берут себе бутерброды! Кругом толпа мужиков, за стойкой —

здоровенный детина одновременно из двух бутылок льёт водку в рюмки. Я спрашиваю: *Любезный, сколько нам будет стоить?..* Словом, тамошнее удовольствие. А детина взглянул на нас и говорит: *Водка с пивом и закуской — по полтиннику с рыла!*

Феликс ждал этой фразы и захохотал в голос, показывая Павловой на сердитого Дмитрия Павловича.

— Представляете?! Великому князю и мне — по полтиннику с рыла! Умора! За водку с пивом…

— А чему вы удивляетесь? — спросила балерина, вскинув свою очаровательную миниатюрную головку на лебединой шее. — Город большой, люди в нём разные. Был бы Феликс одет, как сегодня, ещё и побить могли, чего доброго… Может, вы и в казёнках бывали?

— В казёнках? — Юсупов недоумённо нахмурился. — Это что?

— Значит, не бывали. Если случайно окажетесь в тихой улочке, обратите внимание. Стоит какой-нибудь частный дом, в первом этаже — дверь, и над ней зелёная гербовая вывеска «Казённая винная лавка». Зайдёшь — внутри высокая перегородка, а над ней сетка с окошечком. Там водку продают. Два сорта: очищенная с белой головкой — по шестьдесят копеек за *двадцатку*, и попроще, с красной — по сорок…

— Что такое *двадцатка*? — продолжал расспрашивать Феликс.

— Бутылка в двадцатую часть ведра… Не думала, что это вас так заинтересует! Бывают *четверти*, большие такие бутыли, в щепных корзинах плетёных. Но обычно покупают *двадцатку, сороковку* или *сотку*. Есть ещё самые маленькие бутылочки — на глоток, одна двухсотая ведра, их *мерзавчиками* называют…

— Мерзавчиками?! Какая прелесть, — поиграв бровями, сказал Дмитрий Павлович и снова прикурил от спички возникшего рядом фрачного молодца.

— Конечно, прелесть, — согласилась Анна. — Шесть копеек с посудой. Четыре копейки водка, две — бутылка. И штукатурка на стене возле лавки вся в красных кружка́х...

— А это почему?

— Я же сказала, у дешёвой водки головка красным сургучом запечатана. Мужики из казёнки выходят, тут же стучат легонько печатью об стену — сургуч обкалывается. Потом ладонью пробку вышибают и пьют прямо из горлышка...

— Без закуски? — скривился Юсупов.

— Одни без закуски, другие с собой приносят, третьи тут же у тёток покупают солёные огурцы или картошку горячую... Запах кругом стоит — только слюнки текут! Я девчонкой мимо казёнки бегала, картошку эту с огурцами нюхала, а у самой ком в горле, пелена перед глазами и слёзы по щекам... Росла ведь, есть хотелось всё время, но нельзя — иначе прощай, балет. А зимой бабы надевают юбки толстые и садятся на чугунки с варёной картошкой. Ей остывать не дают и сами греются...

— А полиция? — спросил Дмитрий Павлович. — Полиция куда смотрит?

— Что полиция, — балерина дёрнула плечиком, — полицию у казёнок угощают, так она только следит, чтобы смертоубийства не было и чтобы зимой пьяный кто-нибудь случайно не замёрз.

Великий князь с подозрением взглянул на Юсупова:

— Феликс, я надеюсь, ты не собираешься?.. Мне хватило *полтинника с рыла*! Когда можно легко потратить пятьдесят рублей на ужин у Кюба — зачем идти туда, где кормят и поят на пятьдесят копеек? Убей, не пойму.

— А я не пойму, почему мы до сих пор не пьём шампанского! — Феликс громко произнёс это голосом капризной женщины; метрдотель метнул взгляд на

официанта, и тот немедленно принялся откупоривать новую бутылку, остывавшую в серебряном ведёрке.

— Нет-нет, господа! У меня спектакль завтра и репетиция с утра, — запротестовала Анна, — я и так позволила себе лишнего…

— Всего один бокал, — нежно пропел Юсупов и молитвенно сложил ладони. — Один-единственный!

— Вы не обращали внимания, как он смотрит? — спросила Анна у Дмитрия Павловича. — У него в одном глазу бог, а в другом чёрт…

— Не увиливайте! Один бокал, — повторил Феликс, — иначе нам не перегнать Москвы! Помните, у Грибоедова? *Что за тузы в Москве живут и умирают!* Так пусть и о нас напишет кто-нибудь.

Официант снова налил всем троим, а Юсупов пояснил: газетчики по примеру спортивных репортёров стали сравнивать, сколько шампанского пьют в лучших ресторанах двух столиц. Конечно, больше всего выпивали в новогоднюю ночь — несмотря на то, что цены за бутылку взлетали до двадцати рублей.

В одном только петербургском увеселительном саду «Аквариум» на Каменноостровском проспекте в Новый год уходило три тысячи бутылок — столько, сколько в самых модных московских ресторанах «Яр», «Эрмитаж» и «Метрополь», вместе взятых. А ещё по шестьсот-семьсот бутылок хмельной французской шипучки продавали «Кюба», «Медведь» на Большой Конюшенной, «Вилла Родэ» в Новой Деревне, «Контан» на Мойке, «Палкин» на углу Невского и Владимирского, «Донон» на Английской набережной…

…и всё же, отмечая наступивший двенадцатый год, москвичи ухитрились выпить шампанского тысяч на двести, а петербуржцы — только на сто пятьдесят, и в течение года пропорция сохранялась. Похоже, Феликса Юсупова это решительно не устраивало. Однако Анна твёрдо заявила, что в поглощении шампанского она —

плохая помощница, и в доказательство ограничилась одним бокалом, после чего отправилась домой на автомобиле князя.

— Гетеры и авлетриды, — задумчиво проговорил Феликс после ухода балерины, поигрывая своим страусиным боа. — Тебе кто больше нравится, гетеры или авлетриды?

Когда они оставались с Дмитрием Павловичем наедине — общались без светских условностей, как и полагается друзьям детства.

— Настоящих гетер я, по правде говоря, ещё не встречал, — сообщил великий князь, разглядывая пузырьки в бокале шампанского. — Только проституток дорогих. Но это ведь не гетеры… А кто такие авлетриды?

Юсупов набросил боа на плечи, и несколько голубых пушинок поплыли в воздухе, медленно опускаясь на ковровый пол.

— Авлетриды, мой юный друг, — назидательным тоном начал он, напоминая о том, что на четыре года старше, — это древнегреческие танцовщицы и флейтистки, которые тайно торговали телом. А в наших северных краях — хоровые цыганки, танцовщицы кафешантанов, актрисы… Милые барышни из мира искусства, которые не прочь оказаться на содержании у состоятельного человека и окружить его романтической атмосферой. Те, кого мы с тобой каждый день имеем счастье наблюдать в изобилии.

— Так что же, мой высокомудрый друг, — в тон Феликсу произнёс Дмитрий Павлович и откинулся в кресле, — уж не хочешь ли ты сказать, что Анна Матвеевна — авлетрида?

— О нет! Сейчас — уже нет. Хотя с этого начинали все, кто чего-то добился… та же Матильда Кшесинская с твоим дядей Ники…

— Давай не будем трогать дядю Ники, — нахмурился великий князь.

Император доводился ему кузеном, но из-за разницы в возрасте и того, что Дмитрий Павлович вырос в доме государя, он по детской привычке иной раз называл Николая Александровича дядей.

— Его величество тогда ещё не был его величеством, а Матильда с кем только из великих князей не… Всё, прости, прости! — примирительно сказал Юсупов. — Что же касается Анны, то она стала содержанкой, как только попала в Мариинский. Ты же знаешь генерала Безобразова…

— Ещё бы, — согласился Дмитрий Павлович, — я всё-таки флигель-адъютант! Владимир Михайлович гвардейским корпусом теперь командует, известный краснобай.

— А главное, первейший балетоман с давних пор! — продолжил Феликс. — Он приметил, что *царская ведьма*, уж прости, Кшесинская взяла Павлову под покровительство и пытается подсунуть её под великого князя Бориса Владимировича…

— Феликс!

— При этом Безобразов покровительствовал Преображенской, которая конкурировала с Кшесинской. И генерал предложил своему приятелю по Английскому клубу, барону Дандрэ, хорошенько позлить *царскую ведьму*, а заодно развлечься с малюткой из балета.

— Феликс!

— Ханжество тебе не к лицу, — махнул рукой Юсупов, и ещё несколько пушинок от боа полетели в стороны, — тем более, Виктóр Дандрэ мне сам про это рассказывал. Анна и была тогда всего лишь малюткой из балета. Ей к двадцати, ему под сорок. Она — незаконнорожденная, он — барон и сенатор. Она — длинноногий тощий цыплёнок, в чём только душа

держится; он — усатый красавец и светский лев. Девчонка влюбилась без памяти, Викто́р снял ей роскошные апартаменты на Офицерской, танцевальный зал в квартире построил, на туалеты и постановки угрохал уйму денег… Один «Умирающий лебедь» чего стоит!

— Я слышал, что Фокин «Лебедя» за долги поставил.

— А долги откуда? Фокин с Павловой учился вместе, Дандрэ для неё денег не жалел, она Фокину подкидывала… И всё мечтала, что барон вот-вот на ней женится.

Скользящий тенью официант не забывал подливать приятелям шампанское.

— Дандрэ ведь под суд попал, — напомнил Дмитрий Павлович.

— А попал-то почему, знаешь?

— Некрасивая история вышла. Дандрэ финансами заведовал на строительстве моста Петра Великого. Ну, и…

— Ты будто вчера родился! Чиновники все воруют, и Викто́р не больше других. Просто Аня в гору пошла. Она же несколько лет в Мариинке была всего лишь Павлова-вторая! Ты Павлову-первую помнишь?

— Нет.

— И никто теперь не помнит. Разве что Безобразов… Была Павлова-вторая, а потом стала постепенно Матильду теснить. Глядь — раёк-то уже не Кшесинскую на бис вызывает, а Павлову! И партер её всё больше лорнирует, и ложи. И студенты толпой приходят в монтировщики сцены наниматься, чтобы Аню на утренней репетиции вблизи рассмотреть. И после спектакля у актёрского подъезда толпа под ноги цветы бросает ей, а не Кшесинской!

— И ты хочешь сказать?..

— Конечно, у Матильды вырос на Дандрэ здоровенный зуб! Она же знала, кто у неё гениальную

девчонку увёл и кому Павлова всем обязана. А в это время как раз Анна очень кстати заявила Викто́ру, что больше не желает быть ни содержанкой, ни любовницей. В деньгах баронских она уже не нуждалась: прима в самом расцвете сил, известность — сумасшедшая, Дягилев её в «Русских сезонах» через полмира провёз, теперь всюду нарасхват за любые гонорары, из заграницы не вылезает…

— То есть она хлопнула дверью и ушла от Дандрэ.

— Ещё как хлопнула! А следом Кшесинская хлопнула Викто́ра. Пошевелила связями, пришли вдруг на охтинский мост ревизоры, покопались — и присудили бедняге Дандрэ штраф какой-то колоссальный. В общем, светила ему долговая тюрьма до конца дней. Только отомстить у Матильды не получилось, потому что Анна ей снова дорогу перебежала. Заработала в Штатах кучу денег — и смогла выплатить штраф. А Дандрэ по липовым документам увезла в Англию. Там они тайно повенчались…

— Зачем же тайно?

— Затем, дорогой мой, что когда-то нищая худышка из балета мечтала стать женой солидного состоятельного человека и баронессой. Только барону это было не нужно. А теперь она — сама Анна Павлова, единственная и неповторимая! Всё у неё есть, даже особняк в Лондоне, с парком и лебедями в пруду. На кой чёрт ей становиться какой-то там госпожой Дандрэ?! И женой беглого уголовника… Жизнь-то вон как повернулась! Уже не она ему, а он ей оказался по гроб жизни обязан — так пусть унижается и мучается! Теперь Анна об Викто́ра ноги вытирает, а он занимается домом, ангажементами, рекламой, балетной школой — долг отрабатывает… Слушай, раз уж мы здесь застряли, давай поужинаем хорошенько, а потом двинем в «Буфф» или ещё куда!

Юсупов чуть повернул голову, и этого оказалось достаточно, чтобы закованный в смокинг метрдотель вырос около их столика с огромным меню в тиснёной кожаной папке и начал сыпать французскими названиями изысканных блюд.

Глава XXIX. Вена. Падающего подтолкни

— Я полагаю, рассказ далеко не окончен, — сказал Конрад фон Хётцендорф. — Прошу вас, продолжайте.

Начальник австрийского Генерального штаба приказал адъютанту на время беседы с Ронге не пускать к нему посетителей и ни с кем не соединять по телефону.

Фон Хётцендорф был военным до мозга костей. Его учили: солдаты должны воевать, а интригами пусть занимаются политики. На склоне лет генерал не собирался переучиваться, однако анализ Максимилиана Ронге представлял очевидный интерес. В скором времени Австрию ждёт война с Россией, и почему бы не облегчить задачу армии, если есть такая возможность?

Им принесли кофе.

Ронге польстило неожиданное внимание начальника штаба, а густой ароматный напиток добавил бодрости. Спросив разрешения курить, он вынул коробку папирос, но хозяин кабинета щедро раскрыл перед ним настольный, из инкрустированного испанского кедра, хьюмидор с сигарами.

Ронге выбрал толстую «гавану», фон Хётцендорф взял такую же. Окутавшись клубами дыма, они продолжили беседу.

— Царь Николай на российском троне нам сейчас удобен, — повторил Ронге. — Он не в состоянии адекватно оценивать подготовку армии к войне. С нами

сотрудничает военный министр Сухомлинов, и для проверки сведений есть ещё достоверные источники в его окружении. Все в один голос сообщают, что царь никогда не отказывает Сухомлинову в расходах. Как говорит сам Николай, если балканский пожар потушить не удастся, он никогда не простит себе, что отказал в военных кредитах хотя бы на один рубль. Поэтому, когда министр запрашивает денег — их каждый раз выдают. И это при том, что кредиты расходуются чудовищно неэффективно, частью разворовываются, а большей частью — их просто не успевают потратить, но всё равно требуют новых.

— Ваши агенты отлично потрудились, Ронге! Я читал финансовые отчёты Сухомлинова. Если мне не изменяет память — а она мне пока не изменяет! — за прошлый год не израсходованы сто восемьдесят миллионов рублей прежних кредитов…

— Около десяти процентов бюджета — можно себе представить инфляцию!

— Да, сумма огромная — без малого полмиллиарда крон. Австрию это разорило бы… И на будущий год Сухомлинов хочет получить ещё восемьдесят миллионов рублей. Прорва, бездонная прорва! Я благодарю бога за то, что это происходит не в нашей стране! Странно, что царь Николай не слушает главу кабинета министров.

— Коковцова? Наши аналитики говорят, что он довольно хорош, хотя до Столыпина ему, конечно, далеко, и в сельском хозяйстве мало смыслит… Если позволите, у меня не укладывается в голове: каким образом согласуется желание русских укрепить фронт на границах с нами — и размещение военных заказов на наших предприятиях.

Фон Хётцендорф в недоумении воззрился на Ронге.

— Вы это серьёзно?

— Абсолютно. Например, чиновники из России обеспечивают регулярными заказами завод «Шкода».

Монокль выпал из глаза начальника Генштаба и, качнувшись на длинном шнурке, тихо звякнул о пуговицы мундира.

— Если бы я узнал такое о любом из моих подчинённых, расстрелял бы на месте собственной рукой. Это же диверсия! Самая настоящая диверсия! Признайтесь, Ронге, в какие деньги нам обходятся такие агенты в России?

— Вынужден вас разочаровать, — с притворным сожалением ответил тот, — если не считать моего жалованья — весьма скромного, кстати, — за это его величество император Франц-Иосиф не платит ни кроны. Ни за мёртвые военные кредиты, ни за выгодные контракты наших заводов. Мы обязаны этим обычному русскому разгильдяйству.

— Что ж, похоже, русских и вправду можно расшатать, — помолчав, сказал фон Хётцендорф, снова налил себе кофе и положил в чашку несколько кусков сахара: он любил сладкое.

Капитан Ронге согласился:

— Расшатать можно. Тем более, в этом нам очень помогает Государственная дума. Её председатель, партийный лидер Гучков, прямо с трибуны официально обратился с речью к великим князьям и потребовал — представьте себе, именно потребовал! — отказаться, как он выразился, от некоторых земных благ и некоторых радостей тщеславия… э-э… принести себя в жертву насущной потребности возрождения военной мощи.

— Что он имел в виду?

— По его мнению, члены императорской фамилии должны выйти из руководства армией.

Фон Хётцендорф пожал плечами.

— Прямо скажем, странное требование. Родственники императора в верховном командовании — обычная практика. К тому же большинство великих князей — очень неплохие военные специалисты.

— Однако их особенный статус и, самое главное, их окружение серьёзно мешали проведению военных реформ, — пояснил Ронге, а начальник Генштаба продолжил:

— Что было нам на руку… Вы хотите сказать, что последние изменения в русской армии происходят по вине Гучкова?

— Вряд ли по его вине, но совершенно точно — после его выступления. Вообще-то и он, и многие депутаты полагали, что царь просто распустит Думу. Николай действительно возмутился до крайности, однако, к нашему огорчению, доводы Гучкова оказались весомыми. А может быть, царь использовал ситуацию для того, чтобы усилить собственное влияние в армии — или хотя бы уменьшить влияние родственников.

— И теперь великие князья стали генерал-инспекторами, то есть могут контролировать армию, но не распоряжаться ею, — заключил фон Хётцендорф.

— Совершенно верно. Как вы понимаете, ни о какой симпатии между царём и Думой во главе с Гучковым речи быть не может. Великие князья, ограниченные в правах, тоже не испытывают к Думе большой любви. Тем более, депутаты всё чаще в своих обсуждениях посягают на области, ранее от них закрытые. Третируют императора депутатскими запросами, постоянно конфликтуют с правительством, живут внутренними дрязгами — и представляются мне внушительной дестабилизирующей силой. Вроде псов, которые облепили кабана. К тому же основные думские партии декларируют, что форма правления в государстве для них не принципиальна: это может быть и конституционная монархия, и республика…

— Дело зашло так далеко? Они открыто обсуждают возможность изменения строя?!

— Не обсуждают. Пока — не обсуждают. Но такие заявления содержатся в партийных программах, уставах

и так далее. Это добрый знак для нас: престиж Николая падает, происходит девальвация власти.

— Согласен с вами. Русские солдаты всегда воевали за веру, царя и отечество. Если вера пошатнулась, и если царя может не быть — остаётся совсем немного, а, Ронге?

— Для солдат, для народа я тоже кое-что готовлю. С началом войны в России, естественно, начнётся пропаганда против нас и наших союзников. Думаю, мы должны активно в ней участвовать.

— Я слышал про вашу идею — поддерживать антинемецкую кампанию. Мне она не нравится. Мало того, что русских будут подогревать по ту сторону фронта, так вы ещё и по эту хотите добавлять? По моему опыту — солдат, который ненавидит противника, много опасней, чем просто солдат. А русские на одной силе духа способны творить чудеса, я это видел не раз.

— Силой духа можно управлять. Я хочу воспользоваться склонностью русских к погрому. Если заразить их шпиономанией, они сами произведут внутри России такие опустошения, о которых наша армия может только мечтать.

— А-а, понимаю! Охота на ведьм! Полагаете заставить их искать немцев среди своих? Искать внутреннего врага?

— Искать и по возможности истреблять… или хотя бы изгонять. Я готов пожертвовать двумя-тремя агентами в Петербурге. Подбираю кандидатуры с достаточно высоким положением, но чтобы их арест не нанёс нам серьёзного ущерба. Вероятно, позже подставим ещё нескольких русских предателей. В нужное время где-нибудь в Швейцарии произойдёт случайная утечка информации от германцев к французам. Те по-союзнически передадут её в Петербург и, думаю, русские это проглотят. Разоблачение

высокопоставленных шпионов не останется незамеченным…

— …а дальше — стихийный рост ненависти ко всему немецкому, так? — Фон Хётцендорф вернул монокль на место и окинул Ронге орлиным взглядом. — Удар по военному командованию, интеллигенции, промышленности… Солдатские волнения на фронте и погромы в тылу…

Начальник австрийского Генерального штаба откинулся в кресле, хищно ухмыльнулся и потёр жилистые руки.

— Отлично придумано!

— Благодарю вас. Тем более, нам поможет Государственная дума.

— Даже так? Агенты среди депутатов?!

— Почти, — Ронге презрительно усмехнулся, — националистическая фракция. Например, депутат Пуришкевич — он довольно бойко и широко распространяет подходящие для нас мысли. Такие вообще любят выступать. Националисты примитивны, иначе не были бы националистами. А примитив несложно просчитать, поэтому и манипулировать ими легко.

— Вас послушаешь, так нам предстоит не война, а приятная прогулка. Не забывайте, что говорил Фридрих Великий! *Русского солдата мало убить, его ещё повалить надо.*

— Я не говорил, что победа будет простой. Но Россия сама расшатывает себя, зачем же пренебрегать возможностью это использовать? Как говорится, падающего — подтолкни!

— Любите Ницше? Что ж, на ближайших заседаниях штаба мы рассмотрим ваши предложения. — Фон Хётцендорф дал понять, что аудиенция подходит к концу. — Расскажете про охоту на русского кабана и про свору, которой собираетесь его травить…

— Тем более, в этой своре есть один пёс, который может стоить многих, — поспешил добавить Ронге. — Я ещё не продумал в деталях, как его использовать, но потенциальные возможности представляются мне колоссальными. Этот человек близок ко двору, притом нелюбим императорской семьёй, его ненавидят министры и депутаты… Странным образом он не слишком популярен в народе, хотя сам — крестьянин из Сибири. Некто Распутин.

Глава XXX. Санкт-Петербург. Возможность выбора

Ужин был отменный: в отличие от большинства рестораторов, которые норовят втридорога продать вино и фрукты, Кюба́ брал немалые деньги за кухню, превращённую в настоящее искусство. Великий князь Дмитрий Павлович и князь Юсупов в этом искусстве знали толк, а потому блаженствовали. Они воздали должное стараниям повара и за едой едва обменялись парой фраз.

После нескольких ложек протёртого грибного супа-пюре, начинавшего ужин, второй переменой фрачные молодцы в белых перчатках доставили к столу по кусочку рыбы: Дмитрий Павлович насладился тающей на языке осетриной под белым соусом, Феликс предпочёл нежнейшую форель.

Блюда выносили торжественно и неспешно. Каждое таилось под сияющей серебряной полусферой: нельзя было раньше времени ни увидеть его, ни хотя бы вдохнуть аромат. Лишь после того, как для очередной перемены заново сервировали место перед обоими гостями, — официанты синхронным движением снимали серебряные крышки, отвешивая сдержанный поклон и желая *bon appétit*.

Третьим и основным блюдом великий князь избрал воспетый Пушкиным ростбиф. Юсупов заметил, что *ростбифом окровавле́нным* он сыт после трёх лет в Англии, скаламбурил насчёт своих азиатских кровей и откушал баранины.

Четвёртой переменой оба заказали дичь с салатом, пятой стали трюфеля, спаржа и артишоки. После непродолжительного совета приятели перешли к фруктам, мягким сырам и птифурам. Дмитрий Павлович

спросил себе коньяку, Феликсу принесли бокал тягучего десертного «Пино-Гри».

Тем временем зал ресторана заполнили гости. У «Кюба» обычно сиживали сенатские и министерские тузы, финансовые воротилы, сливки аристократического общества… Знакомые, завидев молодых людей, лишь приветствовали с лёгкой улыбкой: причуды Феликса всем были известны, и об их детской дружбе с великим князем здесь тоже знали.

Со сцены уже звучала скупая на поэзию модная песенка.

Милый шепчет уверенья,
Ласково в глаза глядит,
А она полна смущенья:
Что-то ей любовь сулит?

Это петербургская этуаль, властительница дум Анастасия Вяльцева в двенадцатом часу сменила приуставший румынский оркестр. Виолончельным голосом Вяльцева струила в зал незатейливый эстрадный шедевр «Гайда, тройка, снег пушистый».

Так с тревожными мечтами
Вдаль всё мчалася она,
И не помнит, как с устами
Вдруг слились её уста.
Ах, надолго ль это счастье?
Не мелькнули бы, как сон,
Эти ласки сладострастья
И вина бокала звон!

Официанты быстро и бесшумно убрали со стола, а Юсупов заново подкрасил губы и принялся разглядывать строгое тёмное платье Вяльцевой. Грудь

певицы украшал неизменный кулон на тонкой цепочке — белый слоник, приносящий счастье…

— Скажи-ка мне, о высокомудрый учитель, — прищурился Дмитрий Павлович в дыму очередной папиросы, — что тебя вдруг понесло? Анна Павлова, гетеры, авлетриды — к чему это всё?

Феликс отвлёкся от сцены и глянул на великого князя.

— Я думал, ты сам догадаешься, — сказал он. — Кругом только и разговоров, что про твою помолвку с Ольгой Николаевной…

О предстоящей женитьбе великого князя Дмитрия Павловича на старшей дочери Николая Второго и вправду судачили немало. Событием был не столько брак троюродных брата с сестрой — государь и государыня состояли в таком же родстве. Брачный союз выглядел необычно потому, что нарушал традицию: членам императорской фамилии — и великим князьям, и великим княжнам — обычно подыскивали партию за границей.

— Всё равно не понимаю, какая связь, — пожал плечами Дмитрий Павлович. — Сделай милость, объясни.

Феликс круто развернулся к нему и наклонился ближе, навалившись грудью на стол.

— Изволь. Твой дядя Ники…

— Я просил его не трогать!

— Нет уж, задал вопрос, так имей мужество выслушать ответ! Кто-то должен тебе об этом сказать, и кто, если не я?

Потяжелевшее вмиг лицо и сведённые к переносице брови совсем не вязались с голубым платьем в блёстках и вечерним макияжем Феликса.

— Твой дядя Ники, — повторил он, — смотрит много дальше всех. Вы недооцениваете его — и его комбинацию…

— Не надо было до ужина пить шампанское, — сказал Дмитрий Павлович, ломая в пепельнице окурок. — У тебя теперь мозги набекрень. О какой комбинации ты говоришь?! Я Ольгу знаю сызмальства! Сейчас у нас... возникло чувство, и дядя Ники просто...

— Да ничего не просто! Просто — не бывает, когда речь идёт о династии! А династия рушится!

Они быстро глянули по сторонам: обоим показалось, что слова прозвучали слишком громко. Но нет, в ресторане по-прежнему бесшумно скользили официанты, со сцены продолжала томно страдать Вяльцева, и гости за столиками сосредоточились кто на семи, кто на восьми, а кто и на десяти переменах утончённых блюд.

— Ты в своём уме? — после паузы вполголоса спросил Дмитрий Павлович.

— Я-то в своём, — откликнулся Феликс, — и тебя призываю к тому же. Ты ведь не намерен всю жизнь оставаться двадцатилетним кавалеристом?

— Мне скоро двадцать два.

— Ненавижу говорить банальности, но придётся. Династический брак по любви — это... это такая чушь, что просто смешно!

— Дядя Ники женился по любви!

— Вспомни, чего это стоило. И как ему это удалось — тоже вспомни. А главное, вспомни, к чему это привело теперь. Несколько раз он хотел отречься, его сын тяжело болен — только не говори, что это не так! — и её величество давно не в себе. Чуть что — истерики, с нею и общаться уже никто не может, рядом только врачи да упырь этот, Распутин!

— Распутин для того и нужен, чтобы лечить Алексея и сохранять рассудок Аликс. В конце концов, они вправе сами выбирать себе окружение. Это семейное дело, которое никого не касается.

— Ошибаешься, дорогой мой! Это дело касается всех, потому что речь идёт не об этих вот, — Юсупов небрежно махнул кончиком боа в сторону гостей за столиками, — и не о соседях родителей моих по даче, а об императорской семье! И так будет до тех пор, пока на троне — Николай Второй, а наследник престола — его сын! Поэтому твой кузен затеял эту свадьбу. Пытается спасти гибнущую династию.

Великий князь выпрямил спину.

— Династии триста лет, и она сильна, как никогда!

— Да проснись же ты, наконец! Николаем Вторым династия заканчивается. Не дай бог, с ним случится что-нибудь, — Юсупов мелко перекрестился. — Можешь себе представить, что будет? Кто окажется на троне? Больной мальчик при полоумной матери-регентше? Ты же понимаешь, что это бред!

— Конечно, бред. Регентом или императором станет великий князь Михаил.

— Михаил?! Ты знаешь, я всегда повторяю, что миром правит любовь. Но она же рушит государства и губит героев. Вспомни Самсона с Далилой, Париса с Еленой, Цезаря с Клеопатрой — и потом родню свою вспомни… Уж прости меня, но не ведёт любовь к добру ни императоров, ни великих князей.

Дмитрию Павловичу нечем было возразить Феликсу: любовные похождения его родственников и традиции их морганатических, неравнородных браков были слишком хорошо известны.

Ещё сын Павла Первого, великий князь Константин, доставил Европе неудовольствие и привёл семью в ужас. Он развёлся со своей супругой Анной Фёдоровной, принцессой земли Саксен-Кобург, и женился на любовнице — польской графине Жозефине Грудзинской.

Такой мезальянс лишил великого князя российского трона. Константин Павлович наследовал своему бездетному старшему брату, императору Александру

Первому. Но хотя Жозефина и получила в браке имя княгини Лович, род Грудзинских не принадлежал ни к королевским, ни к владетельным. Константин Павлович нарушил отцовский закон о престолонаследии, а потому новым императором стал его младший брат, взошедший на престол под именем Николая Первого.

Старший сын императора Николая, цесаревич Александр, взял в супруги принцессу Гессен-Дармштадтскую. Когда он стал императором Александром Вторым, она превратилась в императрицу Марию Александровну, в честь которой лучший театр Петербурга назвали Мариинским. Но однажды в Ливадии государь увлёкся небогатой княжной Екатериной Долгорукой, которая ко всему прочему была тридцатью годами младше его. Сбылись слова древнегреческого поэта о поздней любви, которая жарче горит!

Роман длился полтора десятилетия. Императрица тяжело болела, а княжна повсюду сопровождала императора и родила ему четверых детей. Тех, кто смел обсуждать двусмысленность ситуации, Александр сурово карал, считая свою частную жизнь закрытой от посторонних. Он повторял: *Я государь и единственный судья своим поступкам.*

По смерти императрицы государь женился на княгине Долгорукой столь поспешно, что даже не предупредил о том цесаревича, бывшего в отъезде. Так что если бы не страшная смерть от бомбы террориста всего через полгода после свадьбы, терпеливая любовница вполне могла получить от Александра Второго награду — корону императрицы Екатерины Третьей — и дать новую ветвь династии.

Воцарившийся сын убиенного императора, Александр Третий, хранил верность своей супруге Марии Фёдоровне до последнего часа и мезальянсов решительно не признавал. Чего нельзя сказать о других

членах фамилии, а в первую очередь — о великом князе Павле Александровиче, самом младшем брате императора Александра Третьего, любимом дяде императора Николая Второго…

…и отце Дмитрия Павловича. Похоронив жену-принцессу, великий князь завёл бурный роман со светской красавицей Ольгой Пистолькорс. Она была замужем — и при этом воспитывала двоих детей, как и Павел Александрович. Но никто и ничто не помешало любовникам добиться развода, бежать за границу и сочетаться браком. Со своей новой супругой Павел Александрович жил теперь в Европе как частное лицо, а не как член императорской фамилии: за самовольную женитьбу на неравнородной невесте император лишил его всех титулов и званий, включая звание великого князя, запретил видеться с детьми — и возвращаться в Россию.

Генерал Эрик Пистолькорс, бывший муж Ольги, служил адъютантом у великого князя Владимира Александровича. Среди всей родни тот слыл главным оппозиционером Николаю Второму, но приветствовал наказание, определённое государем — конечно, не из особой симпатии к генералу Пистолькорсу, а от искреннего возмущения поступком младшего брата.

Тем больнее оказался удар, нанесённый Владимиру Александровичу его сыном Кириллом. Молодой великий князь соблазнил Викторию Мелитту Саксен-Кобург — жену брата императрицы, герцога Эрнста Людвига Гессенского. Владимир Александрович вынужденно подал в отставку с поста командующего петербургским гарнизоном. Кирилл Владимирович тоже лишился многих своих прав и привилегий: исключение из службы, запрещение въезда в Россию, лишение удельных денег и потеря звания великого князя были в подобном случае наказанием обязательным.

Сестра императора Ольга Александровна состояла в браке с принцем Петром Ольденбургским. Человек он был милейший во всех отношениях, но любил, однако, лишь особ своего пола. Так что великая княгиня жила в мужнином особняке с гвардейским офицером из синих кирасир и ждала разрешения брата на развод и новое замужество.

Но героем самого сокрушительного скандала из всех оказался великий князь Михаил Александрович. Он стал наследником престола накануне нового века, после того, как умер следующий за императором по старшинству великий князь Георгий Александрович. Брат государя умер от туберкулёза — болезни лёгких преследовали семью. И вот на кавалерийском смотре новый наследник влюбился в пепельноволосую волоокую Наталью Вульферт. Пассией Михаила Александровича оказалась даже не княгиня или графиня — Вульферт была дочерью простого адвоката, к тому же состояла во втором браке и растила дочь от первого.

Император сделал всё возможное, чтобы разлучить любовников, но они оказались хитрее. Мало того, что Вульферт поспешила развестись с мужем, гвардейским ротмистром, и родила великому князю сына. Воспользовавшись случаем, парочка улизнула за границу. Теперь они жили в Австрии под присмотром местных властей и специально откомандированных жандармов…

Да, ни к чему хорошему для страны любовь императоров и великих князей не привела. Феликс Юсупов был прав сто раз.

— Думаешь, Наталья всё же окрутит Мишу? — спросил князя Дмитрий Павлович. — Ведь умоляла его Мария Фёдоровна не жениться! И дядя Ники письма государям по всей Европе разослал — просил помешать свадьбе. Генерала отправил с приказом…

Юсупов сделал крашеные губы дудочкой.

— Ночная кукушка дневную всегда перекукует. Представляешь, как Вульферт стелется, чтобы не упустить такого жениха? А жандармы… От них и здесь толку немного, что уж про заграницу говорить! Живут в своё удовольствие на казённый счёт и только знай донесения строчат. Я скажу тебе, как поступит Михаил. На полчаса запутает слежку, подкупит сербского православного батюшку…

— Почему именно сербского?

— Потому что они в Австрии! И потому что если их с Натальей обвенчает серб, наш Святейший Синод не сможет расторгнуть брак: тамошняя церковь ему не подвластна. Словом, ещё немного — и его императорское величество лишит его императорское высочество прав на престол. Кто же наследник?

Кровь бросилась в лицо Дмитрию Павловичу. Как зачарованный, следил он за красиво очерченными яркими губами Феликса, который всё говорил, подкрепляя свою речь округлыми жестами:

— А вот он! Всем известный великий князь, которого воспитали государь с государыней и которого частенько называют двоюродным сыном. Великий князь Дмитрий Павлович, за которого выходит старшая царевна. Двоюродный сын, любимый зять… Станешь если не императором, то уж наверняка регентом при Алексее или вашем с Ольгой первенце. А почему, собственно, не императором? Вполне, вполне… Ты спрашиваешь, зачем я тебе напомнил про Павлову и Кшесинскую? Затем и напомнил. Что они делили-то? Вдумайся: сцену Мариинского театра! Двести квадратных саженей затоптанного деревянного настила. Таких сцен что в Европе, что в Америке — пруд пруди. А Россия — одна! И представь, какая драка за неё начнётся. Драка внутри страны, драка снаружи… Но даже это — лишь половина дела… Тебе нехорошо? Может, воды?

Дмитрий Павлович отрицательно помотал головой и раскрыл портсигар.

— Анна очень кстати рассказала, как водкой торгуют, — криво ухмыльнувшись, продолжил Феликс. — Вот этот ресторан — не Россия. И остальные рестораны, и даже нелюбезный тебе Соловьёв по полтиннику с рыла... Россия — это как раз казёнки. Стены с красными кружка́ми от бутылок, бабы верхом на чугунках и мужики, хлебающие из *мерзавчиков*. Полтораста миллионов мужиков, по сравнению с которыми Распутин — и впрямь агнец божий. Добавь сюда ещё нашу озверевшую интеллигенцию, которая роняет слюни от любви к народу и дожидается, пока этот народ ей кишки выпустит. Плюс министры-казнокрады и болтуны в Думе, норовящие побольней укусить государя. А он, стиснув зубы, должен терпеть — и управлять всей этой сволочью. Только твой дядя Ники терпеть уже не может, вот и надумал... Хочешь по любви жениться? Так ведь женишься-то на Ольге Николаевне, а получишь в жёны Россию! Вот и ответь мне... нет, себе ответь: нужна тебе такая жена?

Слушая князя, Дмитрий Павлович уже сломал над пепельницей несколько папирос. В горле у него пересохло.

— Я, пожалуй, воды выпью, — сказал он сиплым голосом.

— Никакой воды! — отрезал Феликс и знаком приказал метрдотелю подать счёт. — Я просто пытался объяснить, как я понимаю, почему император — это помазанник божий. Не нам решать, кому... и не здесь. Только там! — Он указал пальцем вверх. — И давай на этом закончим. Заедем сейчас ко мне, я переоденусь, и двинем на «Виллу Родэ». Найдём тебе авлетрид хорошеньких — или, может, гетера наконец-то попадётся... Такая ночь пропадает, жалко!

Глава XXXI. Санкт-Петербург. Ночь бродячих псов

На ходу Бурлюк беспрерывно что-то рассказывал — о Петербурге, о здешних и нездешних поэтах, о богемной столичной жизни… Маяковский слушал, гонял из угла в угол рта папиросу и шагал рядом, сунув руки в карманы.

Из Коломны они около полуночи прошли до Невского по Морской и возле самого модного столичного ресторана «Кюба» увидели, как садится в красавец-лимузин *Rolls-Royce Silver Ghost Double Pullman* молодая пара: высокий стройный мужчина с военной выправкой и ярко накрашенная, сверкающая блёстками платья женщина, за которой тянулось боа из перьев. Наверное, то были очень важные гости — провожать их вышел сам ресторатор в сопровождении ливрейных швейцаров с огромными, расчёсанными надвое бакенбардами.

По Невскому футуристы миновали Мойку и, немного не доходя Казанского собора, свернули влево на Большую Конюшенную. Там к «Медведю» съезжались весёлые компании. Великолепное заведение, как и знаменитейший московский «Яр», принадлежало Алексею Акимовичу Судакову — бывшему буфетному мальчику родом из Ярославля. Столичная ночная жизнь бурлила: в полночь у «Медведя» гульба достигала апогея — и не утихала часов до трёх.

Улица оканчивалась Конюшенной площадью, куда в *стойло* Российского Таксомоторного Общества возвращались на ночь белые французские автомобили. Дальше путь лежал к многоглавому Спасу-на-Крови: храм отмечал то самое место, где террористы взорвали освободителя крестьян императора Александра Второго. Друзья полюбовались на причудливую архитектуру

Спаса, такую знакомую по Москве и такую необычную для Петербурга, и двинулись вдоль Екатерининского канала обратно к Невскому. Но на полдороге Давид вдруг свернул налево и не спеша повёл Маяковского по благообразной Итальянской улице.

— Как вы думаете, Владим Владимыч, — спросил он, — куда бегут собаки?

— Понятия не имею, — сквозь зубы, сжимавшие папиросу, ответил Маяковский. — Куда надо, туда и бегут. По делам своим собачьим.

— Наверное, вы правы, — согласился Бурлюк. — Был такой поэт французский, Бодлер. Занятный тип — кутила, наркоман… У него есть стихотворение в прозе, называется «Славные псы». Про то, как они каждый день отправляются искать еду и удовольствия. Шныряют всюду — в жару, в дождь, в снег, потому что их гонят блохи, страсть, нужда или долг… Ничего не напоминает?

— На нас намекаете?

— Только на нас с вами — это было бы слишком. На футуристов, на людей искусства, на богему вообще! Мы же с вами богема, Владим Владимыч, разве нет? — Бурлюк добавил наигранной патетики в голосе. — Ненавидим и презираем золотые клетки и раскормленных домашних собачек с коготками в маникюре — зато глубоко уважаем себе подобных озорных тощих голодных псов, которых кормят ноги и собственная башка.

— Насчёт тощих я бы поспорил. — Маяковский искоса окинул взглядом его плотную фигуру. — С блохами вы тоже не по адресу, а вот насчёт нужды и страсти — как не согласиться? Они нас гонят, и мы шныряем.

— Отлично! — весело заключил Бурлюк и так резко нырнул в подворотню, что его спутник по инерции прошёл ещё несколько шагов в одиночку.

— Давид Давидыч, вы что это задумали, на ночь глядя? — спросил Маяковский, рысцой догнав приятеля, но вместо ответа Бурлюк продекламировал:

Во втором дворе подвал,
В нём — приют собачий.
Каждый, кто сюда попал,
Просто бес бродячий.
Но в том гордость, но в том честь,
Чтобы в тот подвал залезть!
Гав!

Рокот его голоса и особенно внезапное *гав!* гулко отдались под сводами арки. Пройдя подворотню, футуристы пересекли чёрный двор-колодец, за ним ещё одну подворотню и, поморщившись от вони помойной ямы, подошли к неоштукатуренной кирпичной стене — вдоль которой уходила в землю, вниз, в подвал узкая каменная лестница.

Бурлюк начал спускаться первым, в потёмках осторожно нащупывая путь.

— Чёрт, каждый раз забываю ступеньки посчитать, — посетовал он через плечо. — Вам не трудно?..

— Четырнадцать, — сообщил Маяковский, когда они спустились.

Бурлюк несколько раз стукнул в доску деревянным молотком, висевшим у тяжёлой обшарпанной двери, и молвил:

— Странно. Я думал, ступенек у них тоже тринадцать. Надо попенять Борису.

Дверь отворилась, и на пороге возник невзрачный мужичок, похожий на татарина-дворника. Не меняясь в лице, он скользнул взглядом по Бурлюку, на мгновение задержался на Маяковском — и отступил в сторону, приглашая войти.

— Кто такой Борис? — спросил раздражённый тайнами Маяковский.

Бурлюк ткнул пальцем в рукописное объявление «Все между собой считаются знакомы», что белело на фоне кирпичной стены, шагнул в слабо освещённый тамбур и уверенно прошёл в следующую комнатку вроде гардеробной. Там перед мутным зеркалом подталкивали друг друга, хихикали и вглядывались в свои отражения две всклокоченные, не вполне трезвые девицы. Бурлюк походя стукнул ещё одним молотком по ещё одной доске, скорее для порядка, — и распахнул толстую, обитую клеёнкой дверь.

Тотчас навстречу футуристам хлынули пение и наигрыш пианино, гомон голосов, звон стаканов… Лопасти электрического вентилятора — размерами и тяжким гулом под стать пропеллеру аэроплана — разгоняли по душной подвальной зале ароматы табачного дыма, затопленного камина, вина, колбасы и человеческих тел.

Под сводчатым потолком сияла большая люстра — деревянный обод, висящий на толстых цепях, утыканный электрическими лампами наподобие свечей и увитый бутафорской виноградной лозой. С обода свисали длинная белая дамская перчатка и чёрная бархатная полумаска.

Все столы были заняты, между ними почти не оставалось места, а стены от пола и до самого свода покрывали причудливые фрески — странно изогнувшиеся люди, переплетённые со сказочными птицами и фантастическими цветами. Буйство фантазии художника поражало; палитра, в которой лихорадочно-красный соседствовал с ядовито-зелёным, болезненно бередила глаз.

— Вот он, рай для таких псов, как мы! — пробасил Бурлюк на ухо молодому товарищу, перекрывая шум. —

Общество Интимного Театра! Добро пожаловать в «Бродячую собаку»!

Маяковский озирался, разглядывая панно при входе: облезлый пёс на фоне геральдического щита, положивший лапу на улыбающуюся античную маску. А к Бурлюку уже бросился маленький человечек с розовым личиком в обрамлении растрёпанных кудрявых волос. Его мятый пиджак табачного цвета дополнялся большим бантом пронзительно-лазоревого галстука под острым подбородком.

— Давидавидыч! — тараторил человечек, обнимая Бурлюка. — Тыщу лет! Какими судьбами? Вишь, как тут славно всё навернулось!.. Привет! — Носитель банта хлопнул Маяковского по плечу, как старого знакомого. — А тебя чего давно не видно? Как дела? Заходи, заходи, наши уже собрались!

С этими словами человечек сделал широкий жест в сторону залы. Видя замешательство приятеля, Бурлюк рассмеялся.

— Это и есть Борис, — сообщил он. — С целым миром на *ты*, прожектёр, фантазёр и неуёмной энергии человек. Кабы не он, здесь никогда и ничего бы не залаяло! Раньше у Станиславского работал, потом у Комиссаржевской, а теперь — местный бог и царь!

Бурлюк вручил хозяину рубль, а тот, не глядя, сунул Маяковскому визитную карточку, на которой значилось: «Борис Константинович Пронин, доктор эстетики *honoris causa*», — и с криком *Ага, вот вы где!* отбежал к столу, за которым сидела компания дорого одетых людей: там ему немедленно налили шампанского.

— Для своих здесь вход по полтиннику, — пояснил Бурлюк и повлёк приятеля в глубину залы. — Зато с *фармацевтов* не меньше трёшки берут, а то и по пятёрке.

— Почему именно с фармацевтов? — не понял Маяковский.

— Да не с фармацевтов, а с *фар-ма-цев-тов*! С тех, кто не артист, не художник, не поэт… В общем, кто не бродячий пёс, а домашний. Чужаков здесь так называют. Меценатов приглашённых — вроде тех, к которым Боря пошёл. По уставу «Собаки» на благо общества полагается работать бесплатно. В уставе сказано: *Ни один член общества не имеет права получать ни одной копейки за свою работу из средств общества.* Но как-то всё же надо деньги зарабатывать!

Многочисленные гости «Бродячей собаки» — и свои, и меценаты-фармацевты — располагались за столами, уставив дешёвые бумажные скатерти нехитрой снедью, бутылками и рюмками. Маяковский вслед за Бурлюком пролавировал меж столов. Они добрались до буфета — маленького отгороженного угла, где буфетчик едва поворачивался рядом с самоваром, ящиками вина и тарелками с нарезанной колбасой для бутербродов.

Место могло найтись и дальше — во второй зале, расписанной кубистическими орнаментами. Но друзья устроились прямо возле буфетной стойки за небольшим столом, который оказался свободен.

— Обратите внимание на тот круглый белый стол посередине, — сказал Бурлюк. — За ним обычно заседают члены правления. Табуреты белые вокруг — тоже для них. Тринадцать штук. Опять же, лампочек на люстре — тринадцать…

— …а ступеней четырнадцать, — вспомнил Маяковский.

— Вот-вот. Непорядок, надо Борису сказать. Он вообще человек фантастический! — Продолжая говорить, Бурлюк разливал по гранёным рюмкам сухое красное вино из бутылки. — Вы сделайте нам пока по бутерброду… и колбасы не жалейте… Когда под Новый год открывали «Собаку» — никто не верил, что получится. Борис просто обошёл тучу знакомых, собрал с кого десятку, с кого четвертной, и нанял этот подвал.

Обычно подвалы сырые, Питер же на болотах стоит, но здесь раньше вино хранилось, поэтому сухо… Будем здоровы!

Они чокнулись и выпили.

— Может, лучше водки взять? — с сомнением сказал Маяковский, ёрзая на неудобном соломенном сиденье.

Бурлюк возмутился:

— Ну что вы, голубчик! Водку пьют только чеховские чиновники! А вы в приличном месте, среди своих… Не ведите себя, как *фармацевт*, и не заставляйте меня за вас краснеть! Посмотрите лучше вокруг, вон каминище какой — просто фаустовский! Стены Серёжа Судейкин расписывал — наше училище кончал, между прочим. И ещё Кульбин руку приложил — тоже художник и вообще интереснейшая личность. Здесь часто спектакли устраивают, представления, поэтические турниры… Жизнь кипит! А что за люди!

Они выпили снова.

В углу мажорным крещендо напомнило о себе недолго молчавшее пианино. На табурет перед ним боком взгромоздился сутулый человек. Он бросил пальцы по клавишам и принялся импровизировать. Прогремев несколько музыкальных фраз, остановился, залпом выпил рюмку, поднесённую очень полной пышноволосой дамой, и тут же заиграл тихую, печальную мелодию. Из бессмысленных глаз на запрокинутом красном лице вдруг ручьями потекли слёзы и закапали на липкие от ликёра клавиши.

На стол, у которого сидели *фармацевты* — трое мужчин, по виду чиновников, и дама, наверняка жена одного из них, — обеими руками опёрся молодой человек с длинной бородой. Он обвёл всех нехорошим взглядом и объявил:

— Стихи прочту. Хотите?

— Извольте… конечно, — без энтузиазма ответили ему.

Бородач нагло придвинул к себе рюмку, из которой пила женщина, взял со стола бутылку, налил вина, пролив на скатерть, и залпом выпил.

— Богемные нравы, — неуверенно сказал один из мужчин.

— Да, даже интересно, — поддержал другой.

— Поэты, известное дело, — согласился третий.

Выпив ещё рюмку и икнув, бородатый поэт выпрямился, покачнулся и начал с некоторым надрывом:

Любо мне, плевку-плевочку,
По канавке грязной мчаться,
То к окурку, то к пушинке
Скользким боком прижиматься.
Пусть с печалью или с гневом
Человеком был я плюнут,
Небо ясно, ветры свежи,
Ветры радость в меня вдунут!

Бурлюк с интересом следил за Маяковским, который прислушался к вещателю и покачал головой:

— Ветры радость в меня вдунут — с ума сойти можно! Что сделают ветры? Вменявдунут…

— Это ещё ерунда, — рассмеялся Бурлюк. — Вы не застали одну барышню, Марию Папер. Такое писклявое существо, зимой и летом в галошах. Сочиняла в день штук по двадцать стихов о любви. Аккуратно записывала в тетрадки и при каждом удобном случае читала. Ересь ужасная, но это запомнилось на всю жизнь:

Я великого, нежданного,
Невозможного прошу,
И одной струёй желанного
Вечный мрамор орошу.

— Колоссально... — только и смог сказать Маяковский.

— Ещё бы! — кивнул Бурлюк. — А у этого, с бородой — запамятовал, как бишь его? — такое было:

Я — как паук за паучихой —
За проституткой поползу
И — свирепея, ночью тихой
Её в постели загрызу.

Маяковский закурил очередную папиросу и пустил дым колечками.

— Тут хотя бы всё понятно. Но, по-моему, паучихи едят пауков, а не наоборот. Разве нет?

— Браво! Когда проблемы с поэзией, не худо знать хотя бы правду жизни... О, смотрите, смотрите!

От входа, едва пожав руку подскочившему Борису, к стойке буфета очень целеустремлённо двигался носатый молодой человек с одухотворённым лицом и растрёпанными волосами. Он крикнул: *Пустите!* — во рту его блеснули золотые коронки, и гости раздались в стороны, давая дорогу. Не глядя по сторонам, человек достиг стойки и начал что-то горячо втолковывать буфетчику...

...а бородатый декламатор на пафосной ноте заканчивал стих.

В голубом речном просторе
С волей жажду я обняться,
А пока мне любо — быстро
По канавке грязной мчаться!

— Нравится? — грозно спросил у *фармацевтов* автор, в которого свежие ветры должны были *вдунуть* радость, и налил себе ещё рюмку из их бутылки.

— Ну, — замялись слушатели, — интересно… конечно, нравится…

— Нравится — значит, поняли. А что вы поняли? Ну-ка, своими словами!

Мужчины за столом переглянулись.

— Вы говорите, — сказал тот, что посмелее, — что вы — плевок…

Бородач грохнул кулаком по столу. Рюмки попадали, бутылка прыгнула на пол и разбилась. Обрызганная красным вином женщина вскочила и взвизгнула.

— То есть я — плевок? Я?! Плевок?!

Пианист на мгновение затих, обернулся, поморгал пустыми заплаканными глазами — и заиграл снова.

— Саня, Саня, — приговаривал Борис, который тут же вырос рядом и тянул теперь задиру за рукав прочь, к выходу, — ты же обещал!.. Извините его, господа! Сей же миг вам снова принесут… Идём, идём!

— Я-то плевок, — ещё огрызался бородач в сторону *фармацевтов*, — а ты… а вы все…

Двое гостей помогли Борису вывести скандалиста.

— И часто у них такое? — спросил Маяковский.

— Уж не знаю, обычно здесь очень спокойно, — ответил Бурлюк, но смотрел он не на Володю, а на золотозубого молодого человека около стойки.

Тот обернулся на шум ссоры и уже собирался продолжить препираться с буфетчиком, но заметил

Бурлюка и, раскинув руки, шагнул к столику футуристов:

— Бог мой, — сказал он, — Додичка!

— Ося, — ласково отозвался Бурлюк.

Они обнялись.

— Представь, он утверждает, что мой кредит закончился, и не желает разменять золотой червонец! — возмущённо пожаловался Ося на буфетчика.

— А в чём проблема?

— В том, что этот червонец я уже истратил! Ну и что? Подумаешь! — Он кивнул на Маяковского. — Это твой знакомый? У него деньги есть?

— Деньги есть у меня, — сказал Бурлюк, — садись и угощайся. И познакомьтесь. Владимир Маяковский, футурист, гениальный поэт. Мы учимся вместе. А это…

— Мандельштам, — сказал молодой человек, в улыбке снова блеснув коронкой, и пожал руку Маяковскому. — Осип Мандельштам, очень приятно.

Глава XXXII. Лондон. От пирата до победы

Тройная белокаменная арка Адмиралтейства — так же, как и пронзающий её широкий, не по-лондонски прямой и длинный бульвар — появилась лишь в прошлом году, когда создавали мемориал королевы Виктории перед Букингемским дворцом. Ради этого поступились крайней аллеей парка Сент-Джеймс, которая последние триста лет была самым модным столичным променадом. На её месте проложили Мэлл — парадный проезд ко дворцу.

Выйдя из Адмиралтейства в этот поздний час, можно было пройти под аркой к Трафальгарской площади, оттуда через авеню Нортумберлэнд или через Скотланд-Ярд вывернуть на набережную Темзы и развеяться прогулкой по ней вправо, до Вестминстерского моста, или влево, мимо вокзала Черинг-Кросс до моста Ватерлоо.

Но Уинстон Черчилль и Вернон Келл предпочли суматохе популярных мест Лондона — безлюдный и благочинный королевский квартал.

Часовые у выхода взяли карабины *на караул*. Капитан Келл чётко вскинул руку к козырьку военно-морской фуражки. Первый лорд Адмиралтейства коснулся пальцами полей светлого цилиндра. Уинстон Черчилль, командующий британскими адмиралами и эскадрами боевых кораблей, ходил в цивильном, но в душе оставался майором Оксфордширского полка королевских гусар.

Вместо того чтобы свернуть направо, к арке, они двинулись влево, мимо статуи знаменитого пирата Фрэнсиса Дрейка, которого возвели в рыцарское достоинство то ли за умение делиться награбленным с

королевской казной, то ли за кругосветное путешествие. Черчилль попыхивал сигарой и бок о бок с Келлом неторопливо шёл по широкому тротуару, под шелестящими в темноте деревьями бульвара Мэлл.

— Ваше заявление о том, что для нас военно-морской флот необходим, а для Германии он в некотором роде роскошь, наделало у немцев много шума, — сказал Вернон.

— Ничего, пускай позлятся. — Уинстон выпустил густой клуб дыма. — Это стоило дешевле выстрела по какому-нибудь германскому эсминцу, зато какой эффект! Боюсь только, мои слова скоро останутся нашим единственным оружием. Чёрт возьми, рейхстаг принял военную программу, которая ставит под угрозу превосходство Британии на морях, а правительство этого упорно не понимает!

— Но вы же добились денег на перевод флота с угля на мазут…

— И горжусь этим! Корабли теперь маневрируют много лучше, работают надёжнее и к тому же ходят быстрее: цистерны с мазутом легче угольных трюмов.

— Пришла пора перебросить средиземноморскую эскадру в Северное море?

— Как в воду глядите! Мне всегда импонировало ваше умение осмысливать информацию в глобальном масштабе… Переброска эскадры несколько сдержит развитие германского флота.

Если внимание полиции обращено внутрь страны, на подданных, то разведка интересуется тем, что на уме у соседей. Без хорошо поставленной разведки любое государство чувствует себя неуютно.

Когда-то в Британии работали несколько разведывательных служб. Первую создало Министерство иностранных дел, а вслед за ним — Министерство по делам колоний и Министерство по делам Индии. Координации между службами не было,

но несколько лет назад активность немецких шпионов стала настолько заметной, что премьер-министр настоятельно рекомендовал Комитету обороны это многообразие реформировать, создав при своём Иностранном департаменте Имперскую службу разведки и безопасности. Что и было сделано в октябре девятьсот девятого года.

К этому времени у британских союзников во Франции и России разведка считалась делом малопочтенным. Тамошние дворяне полагали недостойным себя — связываться с подкупом, шантажом, слежкой, кражами, вероломством… Капитан Вернон Келл, организатор и глава Бюро новой секретной службы, напротив, набирал себе в сотрудники исключительно джентльменов: создавал флёр благопристойности, шарма и работы в белых перчатках.

Помимо контрразведки в самой Британии, Имперская служба посредничала между Адмиралтейством, военным министерством и агентами за рубежом. Этим и объяснялась широчайшая осведомлённость Келла. С этим — помимо личных взаимоотношений — и было связано его особенно доверительное общение с первым лордом Адмиралтейства Уинстоном Черчиллем.

На поздней прогулке, покинув душный кабинет, они продолжали негромко обсуждать противников и союзников в близящейся войне. Слева тянулся уютный парк Сент-Джеймс; особняки по правую руку скрывали за неприметными фасадами роскошь самых знаменитых фамилий Соединённого Королевства — герцогов Мальборо, Кларенс, Ланкастеров…

— Несомненно, с началом войны в России произойдёт всплеск национализма, — сказал Вернон. — Немцы максимально используют его, чтобы выбить инородцев из русской армии и вообще отовсюду, где они играют заметную роль.

— Увы, да, — согласился Уинстон. — В этом смысле мы тоже не останемся в стороне. Скажем, отставки принца Баттенберга мне придётся добиваться любой ценой. И не потому, что он плохой адмирал — как раз адмирал он прекрасный, — а потому, что немец. Другое дело, что в России за немцев сошли бы и вы, и я.

— Всё это совсем некстати, — продолжал рассуждать Вернон. — Многие нужные нам в России люди неминуемо пострадают, так что у моего Бюро появятся сложности.

— Однако русские ослабят себя, и это хорошо. Нам ведь не нужен слишком сильный союзник, верно? — заметил Уинстон. — Главное, чтобы они оттянули на свой фронт как можно бóльшие силы Австрии и Германии, а потом держались как можно дольше. Пускай у них в Думе думают не о том, как поднять русский флаг над Константинополем и Босфором, а о том, как сохранить его над Киевом и Балтикой!

— Мы просчитываем сейчас способы влияния на Думу. В условиях пещерной демократии это не так сложно. Тем более, нам неожиданным образом помогают губернаторы.

— Каким же образом, интересно?

— Подробности лучше посмотреть в моих меморандумах для премьер-министра и Комитета обороны. А если коротко — например, губернатор Нижнего Новгорода Хвостов настойчиво предлагает коллегам проводить на выборах в Думу исключительно тех, кого они желают. Уверяет, что уже устранил в своей губернии всех оппозиционных кандидатов и наметил на их места людей, совершенно надёжных в политическом отношении. Теперь он просит у Коковцова финансирования, а у министра внутренних дел — разрешения использовать возможности губернского жандармского управления…

Манифестом семнадцатого октября тысяча девятьсот пятого года император даровал россиянам права и свободы. Он объявил о созыве Думы — и тут же появилась оппозиционная пресса, которая стала влиять на результаты думских выборов. Стало очевидным, что власти должны вкладывать деньги в прессу консервативную, провинциальную, чтобы как-то бороться с оппозицией в глубинке. Но применять для этой борьбы полицейский аппарат?!

Уинстон глянул на Вернона и пощёлкал пальцами по лацкану сюртука, стряхивая пепел, упавший с кончика сигары.

— Довольно грубый механизм и довольно грязный, вы не находите? — заметил он.

— Я не политик, я разведчик, — ответил капитан. — Моё дело не выставлять оценки, а собирать и анализировать информацию. Что же касается механизма — он будет работать, если поставить цель и не колебаться в выборе средств. То есть не обращать внимания на истерики газетчиков и не бояться скандальных результатов голосования.

— А что говорит ваш анализ? Возможно такое развитие событий?

— У нас — нет, — улыбнулся Вернон. — В России — вполне. Вы же знаете, там есть три основные политические силы: кадеты во главе с Милюковым, октябристы Гучкова и националисты. Кадеты и октябристы хотя бы делают вид, что играют по-честному. А националисты Марков и Пуришкевич недавно просто потребовали, чтобы Коковцов заплатил — мол, тогда они обеспечат на выборах желаемые результаты.

— Интересно! То есть эти господа хотят использовать деньги из казны для создания сильной и гарантированно сговорчивой фракции? Законодательная власть откровенно продаётся и предлагает

исполнительной власти себя купить… Чудесно! Такой статьи бюджета нет — значит, расходы негласные. И в какую сумму националисты оценили свой успех?

— Девятьсот шестьдесят тысяч рублей. Мой источник сообщает, что Коковцов поинтересовался, почему не миллион. И Пуришкевич ответил, что знает любовь министра к точным цифрам, а потому в расчётах обошёлся без излишеств.

— Девятьсот шестьдесят? — переспросил Уинстон. — То есть сто тысяч фунтов… Чёрт возьми! Сто тысяч — совсем не дорого за влиятельную фракцию российских законодателей. Надо подумать!

Черчилль засопел, раскуривая гаснущую сигару. Он был потомком герцогов Мальборо: его семья действительно могла позволить себе многое — притом не за государственный, а за свой счёт…

— Особенно накануне войны в таком деле скупиться не стоит, — добавил Вернон. — А меня больше заботят попытки императора Николая укрепить позиции фамилии. Он готов выдать старшую дочь замуж за своего русского кузена, великого князя Дмитрия Павловича, и при этом согласен, чтобы его племянница вышла за богатейшего наследника России, князя Юсупова-младшего. Я свёл знакомство с обоими джентльменами…

— Любите воевать на передовой? Это мне в вас тоже ужасно нравится, — перебил его Уинстон. — Я и сам иногда подумываю бросить политику и вернуться в свой гусарский полк!

Похвала пришлась Вернону по душе.

— Бывают операции, которые просто невозможно поручить другим, — сказал он. — Так вот, я пообщался и с Дмитрием, и с Феликсом. Великий князь — весьма бесхитростный молодой человек. Получил домашнее образование и закончил только кавалерийскую школу…

— Между прочим, — снова перебил Черчилль, — у меня тоже, кроме кавалерийской школы, другого образования нет!

— Я не имел в виду ничего обидного, — спокойно продолжил Вернон, — а только хотел сказать, что Дмитрий Павлович совсем ещё молод, простоват, уступает в подготовке другим великим князьям и тем более не готов занять трон.

— Это практически нереально!

— Но всё же вероятность есть, и я обязан её учитывать. К тому же он может в какой-то момент оказаться регентом при малолетнем императоре. Такая вероятность уже выше. А вот Феликс Юсупов много хитрее и расчётливее великого князя. Положим, он кровно породнится с императором. Слишком прочный альянс верховной власти и капитала может нежелательно усилить Россию. Мне представляется, что Николай устал в одиночку противостоять Государственной думе и великим князьям, с которыми у него есть принципиальные разногласия. Возможно, он решил создать себе стратегическую опору из молодых аристократов. Словом, я начал разработку фигуры, которая позволит влиять на происходящее.

— Вы уверены, что такая фигура существует? После ухода Витте и убийства Столыпина в Кабинете министров — чехарда. Коковцов не слишком интересен, остальные ещё меньше. Депутаты? Гучков, конечно, заметная личность и не лишён харизмы, но его уровень — это скандал в интеллигентской среде, не более того. К тому же, если власть и вправду влияет на результаты голосования, следующие выборы Гучков проиграет. Националисты — не та сила, о которой стоит говорить. Окружение Николая? Тоже нет. Он мало кого подпускает близко к себе…

Вернон кивал на каждый довод собеседника и закончил мысль:

— Именно поэтому Распутин представляет особенный интерес.

— Распутин?! Вы шутите! — от неожиданности Черчилль уронил сигару на тротуар и расхохотался. — Это же опереточный персонаж! Карикатура. Ярмарочный Панч…

— *Petrushka*.

— Что?

— Наш Панч у русских называется — Петрушка.

— Какая разница?! Доморощенный мистик из крестьян, о котором газеты сочиняют пошлые анекдоты. Малограмотный прорицатель, лекарство от скуки для императорской семьи… И это — фигура влияния при дворе?! Скажите, что вы пошутили!

— И не думал, — сказал Вернон настолько серьёзно, что усмешка сбежала с широкого лица Уинстона. — Я готов согласиться с вашими эпитетами, но не с выводами. Попробуйте взглянуть на Распутина иначе. Каким-то образом он просочился во дворец и существует при царе шестой год — намного дольше, чем кто-либо из ему подобных. Государственная дума не имеет права напрямую критиковать императора, но бьёт именно по Распутину. Причём не раз, не два! Бьёт регулярно и всё более зло, а ведь в Думе знают российские реалии никак не хуже нас с вами. То есть Распутин — это серьёзная мишень. Настолько серьёзная, что в некотором смысле олицетворяет самого Николая. Притом в ненависти к Распутину депутаты удивительно единодушны с аристократией и членами императорской фамилии. Императрица почти перестала общаться со своими лучшими подругами — княгиней Зинаидой Юсуповой и с черногорскими княжнами Милицей и Анастасией. Она конфликтует из-за Распутина со вдовствующей императрицей, поэтому Николаю постоянно приходится лавировать между матерью и женой.

Черчилль сосредоточенно слушал, не перебивая, а разведчик продолжал:

— Царь продолжает выставлять себя и свою семью на посмешище. Он предпочитает противостоять великим князьям и светской публике, но не удаляет Распутина. Всё это вызывает предположение, что *Petrushka* — не просто лекарство от скуки. Его роль гораздо серьёзнее. Да, вот ещё что: кем бы ни был Распутин — он общается с Николаем напрямую и может без искажений донести до царя любую информацию, любую мысль, ничего не прибавляя и не убавляя. Свою мысль — или удачно подсказанную чужую… Здесь его малограмотность и отсутствие фантазии особенно ценны: вряд ли Распутин способен на придворную интригу. Простите за длинный монолог, но я всё больше склоняюсь к тому, что он действительно является исключительной фигурой, значение которой необходимо выяснить подробнее — и тогда уже решать, как лучше использовать Распутина во благо Британии.

С этими словами капитан Вернон Келл указал первому лорду Адмиралтейства Уинстону Черчиллю на огромную, высотой в пятнадцать футов, статую королевы Виктории. Они как раз прошли весь бульвар Мэлл и оказались перед величественным мемориалом в окружении аллегорических скульптур, осенённым золотыми крыльями богини победы.

Глава XXXIII. Санкт-Петербург. О сущности любви

— Ну, сейчас Миша пронзит! — сказал Борис Пронин, снова подходя к столу футуристов.

Место за пианино на маленькой сцене «Бродячей собаки» занял хрупкий Михаил Кузмин, похожий на фавна, которого одели в модный костюм. Щёки его были неестественно нарумянены. Блестящие чёрные волосы будто покрыли толстым слоем лака и старательно зачесали с боков к вискам, вперёд, а узкую бородку — нарисовали тушью. Фавн взял пару аккордов и проникновенно запел на незатейливый мотив:

Я тихо от тебя иду,
А ты остался на балконе.
«Коль славен наш Господь в Сионе»
Трубят в Таврическом саду…

— Новое? — спросил Бурлюк. — Я не слышал.

— Новое, — подтвердил Борис, — скоро книжка выйдет.

— А с кем ты сейчас здоровался? — поинтересовался Маяковский, наблюдавший, как Пронин только что обнимался и балагурил с дородным, очень хорошо одетым вальяжным господином.

Борис осклабился.

— Чёрт его знает. Какой-то хам. Разве всех упомнишь… Боже, боже, вот она, моя Коломбина! Анечка, фантастическое существо!

Всплеснув руками, Пронин со всех ног поспешил к входной двери. В «Собаку» вплыла бледная брюнетка в чёрном шёлковом платье, украшенном большой

овальной камеей у пояса. Женщину сопровождал узкоплечий шатен. Войдя, он первым делом поправил идеальную причёску и повёл по сторонам чуть косящими синими глазами, задерживая взгляд на каждой женщине. Мужчина держал спину по-военному прямо, хотя одет был в строгий длинный сюртук идеального покроя и стильные узкие брюки. Снежную белизну сорочки оттенял антрацитово-чёрный галстук-регат.

— Нынче нам определённо везёт, — сказал Бурлюк. — Видите, Владим Владимыч, можно хоть неделю кружить по Питеру — и не встретить ни одной знакомой души, а потом зайти вот так в «Собаку» — и повидать всех разом!

Возле камина, расписанного — под стать стенам — сплетением женщин, арапчат, цветов и птиц, брюнетке мгновенно нашлось место. Она закурила тонкую папироску и благосклонно подала руку для поцелуя собравшимся вокруг неё *фармацевтам*. Её спутник поприветствовал нескольких знакомых и подошёл к столу возле буфета.

— Привет идейному противнику! — сказал Бурлюк, обменявшись с ним рукопожатием. — Не удержался я, решил заглянуть на ваш огонёк.

— Коля сюда ходит немногим чаще тебя, — проворчал Мандельштам и тоже поздоровался с новым гостем. — Конечно, куда нам до него!

— Мы с Аней по Италии прокатились, а сейчас у родителей моих живём в Царском Селе, — сообщил синеглазый. — Всё-таки она в положении…

— Как неожидан блеск ручья у зеленеющих платанов! — восторженно пробасил Бурлюк. — И когда же?

— Бог даст, в конце сентября… Милостивые государи, может, нас кто-нибудь представит с этим молодым господином?

Маяковский отставил недопитую рюмку, поднялся в полный рост и молча протянул руку.

— Николай, — торжественно произнёс Мандельштам, — это Володя Маяковский из Москвы, поэт и приятель Бурлюка… Владимир! Это Коля Гумилёв, поэт и муж Ани Горенко… пардон, Ахматовой.

— Футурист? — подозрительно спросил Гумилёв у Мандельштама, глядя снизу вверх на продолжавшего молчать Маяковского.

— Футурист, — ответил Осип.

— На Пушкина хулу возводил?

— Нет. Может, уже присядешь? Сегодня Додичка угощает!

Гумилёв, наконец, пожал протянутую руку: его белые тонкие пальцы утонули в большом розовом кулаке Маяковского.

Когда у стола в «Бродячей собаке» появился Велимир Хлебников — субтильный, с наивно-виноватыми глазами — выпито было уже немало. Бурлюк представил ему Маяковского, усадил рядом с собой и щедро налил полную рюмку вина. Велимир пристроился на краю стула и положил на скатерть газету «Новое время».

— На чёрта ехать за тридевять земель? — гремел Маяковский; он снова спорил с Бурлюком. — Жизнь — она вот здесь, кругом! В нас, в них, в этих бутылках, в этой газете… — Он взглянул на Хлебникова. — Вам — зачем нужна газета?

— Там статья интересная, — тихо сказал тот. — Англичане собираются туннель под Ла-Маншем строить. И спорят, опасен он будет в случае войны или нет… Сведения кое-какие, мне для расчётов надо.

— Позволите? — спросил Маяковский.

Не дожидаясь разрешения, он взял со стола газету и раскрыл на странице объявлений о знакомствах. Пробежав глазами несколько строк, расхохотался.

— Послушайте! *Ищу душу, хотя вряд ли удастся найти; желательно вступить в переписку с человеком чутким, умным, очень тонко развитым, способным глубоко чувствовать и понять тончайшие проявления душевных движений, уловить все изгибы мысли, заглянуть в самую глубь человеческой души; способным найти удовольствие в одном лишь духовном общении с особой другого пола. Искателей приключений прошу не откликаться. В течение месяца переписка, затем не исключается возможность и личного знакомства. О средствах и общественном положении своём умалчиваю, смело подписываюсь: вполне порядочная женщина. Адрес: Главн. почт. предъяв. квит. «Нов. Вр.» № 192027*... Это же... стихи в прозе! А вот ещё: *Маргарита ищет богатого Фауста немедленно для законного брака. 6-е почт отд., предъяв. квитанции «Нов. Вр.» № 192200*. Весь Гёте в паре строчек! И проще некуда, любой поймёт!.. А вот, вот — вообще грандиозно! *Новую жизнь можно бы б. начать с Нов. Года, если бы нашлась инт., ср. л., муз., симп. во вс. отн. ос., кот. к моим 100 р. прибавляла бы ежем. хотя бы 50 р. или же им. св. дело. З.П.О., кв. «Н.В.» № 192441*... Вот это я и называю языком улицы!

— Скажите лучше, что это язык нового времени, — с насмешкой произнёс Бурлюк, намекая на название газеты.

Маяковский с досадой бросил «Новое время» обратно на стол перед Хлебниковым.

— Я, признаться, объявлений не читаю, — по-прежнему тихо сказал тот, складывая и пряча газету в карман. — Это не язык, так нельзя... Этому же место на гвоздике в сортире... или в топке...

И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

Это с пафосом продекламировал Мандельштам.

— Знаете, я интересное освещение придумал, — продолжал Хлебников, взглядывая по очереди на сидящих за столом. — Берёшь, например, «Искушение святого Антония» Флобера. Читаешь первую страницу, отрываешь, поджигаешь, и в свете пламени читаешь следующую. Потом её тоже поджигаешь, читаешь следующую, и так до самого конца книги. Представляете? Все эти боги, имена и почитания горят, как сухой хворост, — и обращаются в чёрный шуршащий пепел…

— Я чую едкий дым вероучений! — затрепетал ноздрями Бурлюк.

— Жертвоприношение? Гибель книги в очистительном огне? — выгнув бровь дугой, спросил Гумилёв. — Уж больно жутко, хотя и красиво.

— Не слишком ли дорогая цена за свободу? — задумчиво добавил Мандельштам.

— О какой свободе вы говорите? — не понял Маяковский.

— О свободе творчества, — пояснил Хлебников. — Писатель создаёт мир. Читатель его поглощает — и освобождает место для нового мира, для новой книги. Ни у кого из нас нет опыта личной смерти. Но смерть книги даёт такой опыт, потому что автор присутствует в каждой странице. И когда книга умирает в огне — автор тоже умирает, делается свободным и снова может творить. Такой вот бесконечный творческий Феникс…

Место ушедшего со сцены Кузмина за пианино занял юноша в льняном костюмчике и круглых очках. Он принялся елозить тряпкой по клавиатуре, исторгая немелодичные звуки, которые приглушал педалью модератора.

К сборищу поэтов снова подкатился неутомимый Борис с бокалом в руке.

— Это кто? — спросил его Гумилёв, кивнув на сцену. — Новый музыкальный эксцентрик?

— Нет, — рассмеялся распорядитель, — это Серж Прокофьев. Приходит иногда сочинения свои на публике пробовать. Консерваторский, не нашим чета, на липких клавишах играть не может. Всегда протирает сначала.

— По мне, так всё равно, — заявил Мандельштам. — Блямс, блямс… Если спиной к нему сидеть, не разберёшь: то ли протирает ещё, то ли уже музицирует!

Борис не согласился:

— Не скажи, у Серёжки пальцы стальные. Кисти, запястья, всё. Когда заиграет — каждую нотку слыхать!

Звуки вьются, звуки тают…
То по гладкой белой кости
Руки девичьи порхают,
Словно сказочные гостьи…

Гумилёв читал стихи, лениво крутя в пальцах рюмку.

— Опыт собственной смерти — это интересно, — заявил Бурлюк. — Как в «Маске ужаса», помните?

— Что за «Маска»? — спросил Хлебников, и Маяковский ответил:

— Фильма французская. Сильная вещь! Там скульптор пытается передать в глине предсмертную гримасу ужаса. У него не выходит. Тогда он принимает яд, смотрит на себя в зеркало и, пока умирает, лепит эту самую маску.

— И правда, ужас, — поёжился Гумилёв. — Где ж такое крутят?

— В «Кристалл-Паласе».

— Водил Владим Владимыча в многозальный кинематограф, — пояснил Бурлюк. — В Москве их ещё нет.

— Их ещё нигде нет, — авторитетно сообщил Борис. — Наш «Кристалл» первый в мире и единственный пока, я узнавал.

Прокофьев, наконец, закончил протирать клавиши, и в залу хлынули звуки виртуозных пассажей. Музыка, в самом деле, оказалась своеобразной.

Бурлюк повернулся к Хлебникову и взял его за руку:

— Витя, ты это своё, про смерть как движущую силу творчества, никому ещё не продал?

— И не написал даже, — застенчиво улыбнулся Хлебников. — Вам вот рассказал только.

— Когда напишешь, отдавай только мне! — Бурлюк сжал его пальцы. — Я издам, ладно?

— Мне отмщение, и аз издам! — пробасил уязвлённый Маяковский. — Давид Давидыч, а если я напишу про любовь как движущую силу, издадите?

— Гениальное — издам обязательно. Пишите! Только что-то… что-то такое, понимаете? Ведь любовь разная бывает. Вот, например, засмотрелись вы на красивую барышню, — Бурлюк показал в сторону изящной миловидной девицы, сидевшей за столом неподалёку, на которую и впрямь порой поглядывал Маяковский. — А её кавалер ваши *ку́ры* заметил — и в драку.

Гумилёв ободрил Маяковского:

— Это Олечка Судейкина. Они с Судейкиным развелись, и кавалера у неё как раз нет.

Бурлюк отмахнулся:

— Драка с кавалером — это не сюжет. А вот когда из-за любви начинается война Троянская — это сюжет. Или когда несколько полков на Сенатскую площадь умирать выходят — это сюжет! Понимаете, о чём я?

— О любви к родине? — неуверенно сказал Маяковский. — Если вы про декабристов, конечно.

— При чём тут любовь к родине?

— Декабристы ведь за народ выступали, за Россию, против царя…

— Что за чушь! — возмутился Гумилёв. — Гвардейские офицеры, дворяне из лучших российских фамилий — с чего бы вдруг им за народ выступать? По-вашему, они вместо крестьян своих чумазых на площадь вышли?!

— Здо́рово эти… товарищи революцьонеры мозги вам прополоскали, — покачал головой Бурлюк и, заметив неудовольствие на лице Маяковского, добавил: — Ничего, здесь можно, все свои.

— А я бы всё же не рисковал, — повернулся к нему Мандельштам. — Мало ли что?

— Декабристы за народ — чушь собачья, — продолжал Бурлюк. — Против царя — да, в каком-то смысле. Историю не по листовкам учить надо, дорогой вы мой! Когда Александр Первый умер, ему наследовал брат Константин. И гвардия присягнула новому русскому императору Константину Первому. А через три недели им неожиданно говорят: императором будет Николай Первый, и надо снова присягать. Те, кто дорожили честью, отказались и вышли на Сенатскую площадь. Тем более, все знали, что Павел не признавал Николая своим сыном. Какой же он император?!

— Любовь-то здесь при чём? — недоумевал Маяковский.

— При том! — Гумилёв пришёл Бурлюку на подмогу. — Константин отказался от престола потому, что влюбился в красавицу-полячку, княгиню Лович. Жил с нею в Варшаве и, когда его позвали царствовать, выбрал не корону, а любимую женщину. Манифест об отречении он писать отказался, потому что не считал себя императором. Просто сообщил семье, что трон его не интересует. А кроме нескольких человек в Сенате и пары генералов во главе с Милорадовичем — об этом никто не знал. Поэтому гвардейцы решили, что случился заговор, что Константина свергли. И почли делом чести встать на защиту законного императора, от

которого ждали европейских прав и свобод… Народ здесь ни при чём, и заговора никакого не было. Вот любовь — да, любовь была!

— И кровопролитие, — снова тихо вставил Хлебников. — Любовь и кровь не зря рифмуются. Вот и цена любви императора… А когда бы не стало ни границ, ни стран, и всей планетой управлял бы Совет Председателей Земного Шара — представляете? Всего триста семнадцать человек — не граждане государств, но граждане Вселенной, которые чужды страстям, и единственно ради всеобщего блага…

— Судари мои! — прервал его мигом появившийся Борис. — Я умоляю вас, здесь не политический клуб. И не подводите меня под монастырь! Пейте, веселитесь, но оставьте эти разговоры, бога ради! Вы же поэты? Поэты! Ну, так пишите стихи! Вам всем задание: сочинить четверостишие, где в каждой строчке было бы…

Он на мгновение задумался, щёлкая пальцами в поисках слова, но тут за соседним столом один *фармацевт* обнял другого и со слезой в голосе простонал:

— Жо-о-ра…

— Вот! — просиял Борис. — Играем в Жору! В каждой строчке пусть будет Жора! Пишите! Первому — приз лично от меня, бутылка шампанского!

Предложение звучало соблазнительно. Переглянувшись, поэты погрузились в сочинительство, и обеспокоивший Пронина разговор, к счастью, прекратился.

Фортепианные пассажи Прокофьева осложняли задачу.

Гумилёв посматривал на остальных, и губы его шевелились.

Маяковский вперил взгляд в стену, сжатым кулаком отбивая по колену ритм.

Хлебников явно продолжал думать о Председателях Земного Шара и печально улыбался.

Бурлюк позаимствовал у него газету «Новое время»: выхваченным из кармана карандашом он писал на полях и тут же вымарывал строку за строкой…

Первым, несмотря на подпитие, оказался Мандельштам. Он встал, как и сидел, с полузакрытыми глазами и, возвысив голос, нараспев прочёл:

Вуаяжор арбуз украл
Из сундука тамбурмажора.
«Обжора! — закричал капрал. —
Ужо расправа будет скоро!»

— Блеск! — восхитился Борис. — Господа, это же гениально! Ося, прошу тебя, немедленно в книгу. Немедленно!

Под ревнивыми взглядами остальных участников игры он подхватил Мандельштама под локоть и потянул к дверям.

— Что за книга? — спросил Маяковский.

— Ты что, не рассказал? — Гумилёв с удивлением глянул на Бурлюка. — Он про «Свиную книгу» не знает?!

— Выскочило, — признался Бурлюк. — Прошу прощения, Владим Владимыч, сейчас исправлюсь. Идёмте.

У дверей на специальной тумбе лежала внушительных размеров тетрадь в солидном кожаном переплёте. Мандельштам сделал в ней запись, и Бурлюк подвёл к тумбе Маяковского.

— Вот это «Свиная книга» и есть, — сообщил он, отрывая первую страницу. — Альбом для дорогих гостей, как принято в приличных клубах. Алёша Толстой специально для «Собаки» у переплётчика

заказал. Так что — видите? — его *кошачьими* стихами всё и начинается:

Поздней ночью город спит,
Лишь котам раздолье.
Путник с улицы глядит
В тёмное подполье…

Маяковский пожирал взглядом летящий почерк строк.

— А ещё кто тут есть? — спросил он.

— Да все, пожалуй… Все, кого только вспомните, кроме Блока. Супруга его, Любовь Дмитриевна, здесь часто бывает, а он — ни ногой. Говорит, «Собака» — это символ тех, кто заводятся около искусства, похваливают или поругивают художников и тем пьют их кровь… Не любит Сан Саныч литературного большинства!

Глаза Маяковского горели:

— Я хочу написать… Дайте карандаш!

Бурлюк закрыл книгу.

— Потерпите немного, — сказал он. — «Свиная книга» пока не для вас. Право сюда писать — заслужить надо. Не огорчайтесь, помните, что я говорил: за вами ещё ходить будут и уговаривать. Вы эту книгу всю испишете, и Боря вам обязательно орден вручит.

— Какой орден?

— Самый главный, орден Собаки! Железный, чин чином, с надписью *Care canem* — «Бойся собаки», значит. Это здесь самая почётная награда… Скоро, скоро всё будет, Владим Владимыч!

Глава XXXIV. Спа́ла. Осень императора

Цесаревич Алексей кричал от боли. Когда терял последние силы — ненадолго забывался то ли сном, то ли беспамятством. И, приходя в себя, кричал снова…

Спина, как струна, и генеральский мундир с голубым бантом, оттеняющим портреты трёх императоров в бриллиантовой россыпи, — таким каждое утро являлся к государю седовласый, с бесстрастным худым лицом министр двора барон Владимир Борисович Фредерикс.

— Мы не можем дольше молчать, ваше величество, — сказал он однажды. — Слухи расползаются с угрожающей скоростью и порождают новые слухи. Они просачиваются в газеты, в том числе зарубежные. Обсуждаемые подробности уже не просто нелепы, но поистине чудовищны. Я вынужден испросить разрешения вашего величества опубликовать бюллетень о состоянии здоровья его императорского высочества.

Николай Александрович выдержал паузу, сколько было возможно, и кивнул — молча, чтобы не разрыдаться ненароком.

В осенней резиденции мучительно и страшно умирал его наследник, его восьмилетний *Baby Boy*, его единственный сын Алёша. Мальчик невероятно похудел, и на осунувшемся мертвенно бледном, иконописном лице его исходили слезами огромные, полные боли глаза. Поражённые гемофилией сосуды лопались под напором несвёртывающейся крови. Разрывая плоть и нервы, кровь устремлялась в суставы и густела там, корёжила жилы и хрящи, не давала цесаревичу шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Он умирал уже полторы недели. В покои второго этажа, занятого спальнями царской семьи, допускали

теперь всего нескольких слуг. Им приходилось затыкать уши, чтобы хоть как-то отгородиться от душераздирающих криков и продолжать свою работу: убирать, стелить постели… Государевы дочери появлялись здесь только на ночь, а с утра пораньше их спешили увезти подальше, прочь из этой обители скорби. Но разве могли царевны заснуть?! Горько плакали они, уткнувшись в подушки. За бедного маленького братика молились семнадцатилетняя Ольга, пятнадцатилетняя Татьяна и подружки-толстушки Мария и Анастасия, двенадцати и одиннадцати лет.

Первые несколько дней императрица ещё изображала радушную хозяйку Охотничьего Дома: уж если даже родственники мужа не знали о том, что Алексей болен гемофилией, — свита и гости тем более должны были оставаться в неведении о действительной причине недомогания цесаревича. Но силы Александры Фёдоровны таяли, в её густых волосах с каждым днём прибавлялось седых прядей, унимать истерики становилось всё труднее, а ноги подкашивали спазмы поясничного нерва.

— Мамочка, — цесаревич неожиданно пришёл в себя и запёкшимися губами позвал её, сидевшую у изголовья кроватки, — мамочка, когда я умру, поставьте мне в парке маленький каменный памятник, хорошо?

Государыня упала без чувств. Её перенесли в собственную спальню, и больше она не спускалась со второго этажа, заставляя врачей беспомощно метаться между двумя комнатами, своей и Алёшиной, и между двумя угасающими жизнями — матери и сына.

Лишь Николай Александрович не мог позволить себе слабости. Никто не должен был заподозрить, что в семье творится неладное! Поэтому привычный уклад жизни не менялся: по утрам, после короткого общения с бароном Фредериксом, государь занимался неотложными делами, затем охотился с гостями в

ближних лесах, а вечером устраивал приём, где всем уделял внимание и каждого удостаивал разговором. Лишь ночью, запершись в кабинете, он оставался один на один со своим горем и давал немного воли чувствам…

В семидесяти верстах от Варшавы, близ польской деревеньки Спáла, издавна охотились польские короли. А когда Польша стала частью Российской империи — лесистые берега реки Пилицы привлекли царскую семью со свитой. Дамы развлекались прогулками по живописным окрестностям и поиском грибов, мужчины травили зверя и самозабвенно били дичь.

Александр Третий настолько пленился местными красотами и угодьями, что велел построить в Спале специальную резиденцию, которую и предпочитал всем остальным. Император продолжал ездить сюда даже после того, как врачи настойчиво посоветовали лечить почки в Крыму. Спала оказалась местом, где он узнал о своей губительной болезни и откуда до последней возможности отказывался уезжать перед смертью.

Аристократы Польши, России и всей Европы наслаждались тут государевым гостеприимством и поистине царской охотой. Вслед за Александром другие страстные охотники, не исключая российского царя Николая и германского кайзера Вильгельма, поддерживали обычай — украшать местный ресторан «Под Зубром» чучелами своих трофеев.

Благодаря отцу Николай Александрович ещё мальчиком привык проводить в Охотничьем Доме каждую осень. После коронации он единственный раз приехал в Польшу как император — пятнадцать лет назад, а с тех пор наведывался сюда только частным порядком, для отдыха с женой и детьми. Из Ливадийского дворца семья обычно ненадолго отправлялась на яхте в шхеры Финляндии, оттуда — в

замок в Беловежской Пуще на пару недель, и после — непременно в Спалу.

Маленький Алексей скучал в этой глуши. К развлечениям сестёр цесаревича не допускали. На недолгих прогулках, — чтобы, упаси бог, не побежал, не споткнулся! — его обычно носил на руках крепкий дядька-матрос. Игры в мяч и лаун-теннис, салки и прыгалки, походы по грибной тропе к россыпям опят, катание на лодках — всего этого Алёша был лишён и не мог вволю порезвиться даже с любимым спаниелем. Бо́льшую часть времени он проводил в Охотничьем Доме, где и днём не выключали электрических ламп — настолько густой лес высился кругом, застилая свет. Безотлучно сопровождавшая царскую семью Анна Танеева-Вырубова божилась, что государева вилла в Спале — самое сырое и мрачное место, которое ей доводилось видеть.

Как-то раз императрица, отправляясь на прогулку в экипаже, пожалела цесаревича и взяла его с собой. Они славно покатили по шоссе в сторону Скерневице, но скоро Алёша стал жаловаться: каждая выбоина, каждый попавший под колесо камень причиняли ему боль. Александра Фёдоровна приказала возвращаться, но — поздно. К вечеру у цесаревича открылось сильное внутреннее кровотечение.

Кто оказался болтливее, врачи или истерзанная детским криком прислуга, — неизвестно, только вскоре из лесной польской глуши поползли слухи о смертельной болезни наследника российского престола.

Пересудами кумушек и гнилым шепотком на ухо дело не ограничилось.

Через неделю авторитетная британская газета *London Daily Mail* сообщила читателям, что цесаревич тяжело ранен бомбой анархиста. Эту весть, разыграв комбинацию в несколько ходов, через Швейцарию подкинул газетчикам Максимилиан Ронге.

Хитроумный трюк австрийца не ускользнул от внимания Вернона Келла. Тот не стал препятствовать публикации, разумно рассудив, что из реакции на неё — за рубежом и особенно в России — можно будет сделать небезынтересные выводы.

Когда министр двора опубликовал первый бюллетень о здоровье цесаревича, у мальчика уже начиналось заражение крови. Пульс стал едва уловимым. Алёша больше не приходил в сознание, не мог кричать и лишь слабо стонал, испепеляемый сорокаградусным жаром.

Тайна, которую столько лет скрывала в затворничестве императорская семья, перестала существовать.

Православной церкви в Спале не было, и перед Охотничьим Домом лейб-гвардейцы разбили палатку с передвижным алтарём, как на фронте. Теперь здесь каждое утро и каждый вечер служили молебны за исцеление цесаревича.

Молиться за здравие наследника престола начали по всей России. Император заказал торжественную литургию пред чудотворной иконой Иверской Богоматери.

Когда печальная новость достигла Петербурга, князь Феликс Юсупов напомнил великому князю Дмитрию Павловичу свои слова, сказанные в ресторане «Кюба» про гибель династии.

Будетлянину Велимиру Хлебникову напророченная скорая смерть императорского сына подсказала новые исторические соответствия. А в голове кубо-футуриста Владимира Маяковского сложилась первая чудовищная строка будущих стихов: *Я люблю смотреть, как умирают дети…*

— Ники! Я напишу ему! Позволь, позволь мне!.. Не удерживай меня! — захлёбываясь истерикой, сорванным голосом кричала мужу опухшая, растрёпанная Аликс. —

Он спасал Бэби Боя, спасал, вспомни! Я напишу… Господи, не дай моему мальчику умереть, господи!!!

В прошлом году, когда у царевича открылось почечное кровотечение, врачи тоже прятали глаза и пересыпáли речь латинской заумью — как обычно, когда они пытаются скрыть своё бессилие. И только Распутин сумел вернуть Алексея к жизни, остановив кровь.

Только брат Григорий, один из всех, кто в последнее время были близки к трону, ходил пешим паломником в Афон и своими глазами видел Иверскую Богоматерь — не московский список с неё, а подлинную *Портаитиссу-Вратарницу*, хранительницу монахов. Прославленную от господа и чтимую людьми икону, которой молились теперь о здравии цесаревича.

После встречи в Ливадии уехал Григорий Ефимович в Петербург и оттуда — в родное Покровское: на крестьянском календаре теперь заканчивалась страдная пора. Из Польши в далёкую Сибирь полетела к нему телеграмма государыни. Отправляла весточку Анна Танеева: про последнюю надежду семьи, про исступлённую мольбу о помощи никто не должен был знать. А потом фрейлина появилась в Охотничьем Доме с ответом, продиктованным прямо в почтовой избе, что стояла на Тобольском тракте недалеко от дома Распутиных.

Бог воззрил на твои слезы и внял твоим молитвам не печалься твой сын будет жить.

Эти слова по телеграфу передал Григорий императрице. И она вдруг успокоилась, пошла на поправку. Но самое невероятное — стал поправляться цесаревич! Распутин, оставаясь за тысячи вёрст, не видя и не слыша папу и маму земли русской, мальчика умирающего не видя и не слыша, пришёл к ним на помощь и сотворил чудо. Одним лишь словом сделал то, чего не смогли сделать лучшие доктора.

— Наши тревоги позади, — сообщал теперь любопытным барон Фредерикс, — благодарение богу, острый и тяжёлый период болезни его императорского высочества миновал.

Врачи снова разводили руками и бормотали на латыни в тщетных попытках объяснить необъяснимое: о чудодейственной телеграмме им не сказали. Ни им, ни хоть кому-то из тех, кто настаивали на удалении Распутина от царской семьи.

Ещё весной специально для того, чтобы убедить сына с невесткой не призывать больше к себе этого шарлатана, приезжала в Царское Село вдовствующая императрица Мария Фёдоровна. Она грозилась покинуть двор, если там будет появляться Распутин. Разговор получился тяжёлым. Александра Фёдоровна не выдержала, вскочила с дивана и крикнула:

— Милостью божьей и подвигом Григория только и жив до сих пор Алексей! Нельзя терять такого человека!

Нынешний министр двора Фредерикс служил флигель-адъютантом у Александра Второго, когда будущего Николая Второго ещё на свете не было. Теперь в отношении семидесятипятилетнего старика к государю сквозила искренняя отеческая забота. Как-то не сдержался барон и, сославшись на светскую молву, высказал сомнение в том, что государю стоит впредь принимать Распутина.

— О Григории действительно слишком много говорят, — услышал он спокойный ответ. — И говорят слишком много лишнего. Как о всяком выходце не из обычной среды, кого мы изредка принимаем. А он — всего лишь простой человек. Императрице Григорий нравится своей искренностью. Она верит в его преданность и в силу его молитв за Алексея. Наконец, милейший Владимир Борисович, согласитесь, что это — наше совершенно частное дело. Удивительно, как люди

любят вмешиваться в то, что их совсем не касается! Распутин… Кому он мешает?

Сестра государя, великая княгиня Ольга Александровна, знала про телеграмму, которую Танеева отправила Распутину, — и про его ответ. Поэтому на признание лечащих врачей о том, что исцеление цесаревича Алексея с научной точки зрения невероятно, предпочла промолчать…

Император стоял, облокотившись на подоконник, и упирался лбом в холодное оконное стекло. Снаружи по стеклу бежали струи дождя — можно было подумать, что под жаром лба стекло плавится.

Раздался еле слышный стук в дверь — Аликс побарабанила кончиками ногтей по дубовой доске и спросила:

— Ники, ты здесь?

В кабинете Охотничьего Дома его всегда охватывала грусть: много лет назад он велел оставить все вещи покойного отца на своих местах. Но за время болезни Алексея только здесь Николай Александрович мог побыть самим собой — наедине со своими мыслями.

Днями ему под руку попался томик Лермонтова.

Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?»

Снова и снова, как чугунные гири, тяжко падали эти слова из лермонтовской «Реки смерти»: напрасно… враждует… зачем?

Пахло сыростью. Погода стояла отвратительная; дождь лил, не переставая. Из Скерневице до Спалы едва удавалось добраться по шоссе, которое было поправлено

на скорую руку и тут же снова совершенно размыто. Дорожные строители безудержно воруют хоть у государства, хоть у государя…

Унылое и тягостное впечатление дополняли кавалерские дома по бокам Охотничьего Дома, которые в насмешку назывались отелями «Бристоль» и «Националь».

— Иов Многострадальный, — едва слышно произнёс Николай Александрович. — Иов Многострадальный…

— Ники! — снова позвала императрица и поскреблась в дверь. — Открой, пожалуйста!

Государь вздохнул и оторвался от стекла, по которому продолжали сбегать потоки воды. Он отпер замок, а когда Аликс, хромая на больную ногу, вошла в кабинет и устроилась в большом мягком кресле, сказал:

— Я хочу ознаменовать исцеление Алёши добрым делом. Завтра же велю прекратить дело по обвинению генерала Курлова, Кулябки, Веригина и Спиридовича.

Четверо офицеров находились под следствием уже год — с того дня, когда в Киеве торжественно отмечали полувековой юбилей реформ Александра Второго и отмены крепостного права. По непостижимой, непростительной, вопиющей халатности охраны террористу удалось не только пронести «браунинг» в театр, куда уже приехал государь, но и расстрелять в упор главу Кабинета министров Петра Аркадьевича Столыпина.

Многие, очень многие полагали, что не в простой халатности было дело: убийство Столыпина слишком походило на заговор, а участие в нём высших руководителей службы государственной безопасности вселяло настоящий ужас.

— Простишь их, и славно, — согласилась Александра Фёдоровна. — Ни к чему слишком жалеть тех, кого не стало. Я уверена, каждый исполняет свою роль и своё

назначение. И если кого нет среди нас, то это потому, что он уже окончил свою роль.

— Я так счастлив, что Алёшенька спасён, — повторил Николай Александрович, будто не слыша её, — и мне кажется, все кругом должны радоваться. Я должен сделать как можно больше добра!

Он зажёг взятую из отцовского хьюмидора сигару. Обычным своим папиросам, набитым султанским табаком, император порой изменял со штучными, тонкой ручной работы *Regalia Byron*.

— Говорят, делать такие вот золотые ободки придумала Екатерина Великая, — сказал он, плавно взмахивая сигарой в воздухе и заставляя её тлеть равномерно. — Брала тонкую шёлковую тесьму и перевязывала сигару, чтобы покровный лист не касался пальцев и не оставлял запаха. Как тебе кажется, это правда?

Император уселся в кресло за письменным столом, затянулся и выпустил в сторону окна длинную струю дыма. Дым расплющился о стекло.

Александра Фёдоровна внимательно следила за мужем.

— Не знаю. Говорят, она в табакерку лазала левой рукой, потому что правую подавала для поцелуя… Ники, о чём ты думаешь?

Николай Александрович помолчал, причмокивая сладкий табак и окутываясь дымом.

— Я думаю, — наконец, произнёс он, — я думаю, что нам надо всё очень серьёзно менять. Таиться больше ни к чему. Теперь все знают, что Бэби Бой болен. Знают, зачем нужен Распутин. Знают, почему мы живём затворниками… Но ведь мы-то знаем, что стеной отгородились ото всех не из-за Алёшеньки! И не восемь лет назад это началось… Загнали нас. Как зверей, загнали! Ты не слышала, наверное: с Александром Первым смешная такая история однажды

приключилась. Он любил пешком гулять по набережным и попал под дождь. Остановил дрожки и велел извозчику ехать во дворец, в Зимний. Денег у него с собой не было, но он обещал: доедем — вынесут. «Ванька» решил, что это какой-то офицер из караула. И когда к Зимнему подкатили, потребовал в залог шинель. Император посмеялся, оставил шинель и отправил из дворца к «ваньке» лакея с рублём серебряным. Извозчик лакею шинели не отдал: мол, за рубль ему месяц работать, но шинель-то дороже стоит! А мало ли чей это лакей: вдруг его не посылал никто? Тогда рубль вынес Илья Байков — кучер придворный, его весь Петербург в лицо знал. Тут «ванька» и повалился Байкову в ноги: понял, что самого императора возил и шинель у него отнял!.. Понимаешь, о чём я? Сто лет назад Александр Первый не боялся гулять по городу! И к любому извозчику мог запросто в дрожки сесть... Государь в своей столице — не боялся! А потом что?

Рука Николая Александровича, державшая сигару, дрожала. Слёзы бежали по лицу и терялись в усах.

— Александра Второго, дедушку моего, убили... Он крестьян освободил, а его убили бомбой, ноги оторвали. Отец так за нас боялся, что из Крыма приказал поезд на всех парах гнать — катастрофа случилась, он почку себе повредил... А почему боялся-то? Жили ведь при нём сыто, не воевали, добра наживали, страна расцвела, и сколько хорошего он людям сделал — никто столько не сделал! Но смерть по пятам ходила, революционеры эти... если мы — как звери, то они — хуже зверей... А за что взорвали дядю моего, Сергея Александровича? Помнишь, как сестра твоя в крови перед домом ползала и куски дядиного мяса подбирала?

Александра Фёдоровна шевельнулась в кресле, пытаясь встать: поясницу по-прежнему пронзало болью.

— Ники, милый, сейчас я тебе попить налью...

Император жестом остановил её.

— Не надо, сиди, сиди… Прости, что-то я расклеился… — Он встал и сам налил себе из графина. — Не хочу больше прятаться. Не хочу бояться. Не хочу за вас дрожать каждый день. Не хочу больше — ни Ходынки, ни кровавых шествий, ни стрельбы на приисках! Ничего не хочу!

Николай Александрович залпом, судорожно глотая, выпил стакан воды. Она текла на бороду, капала на грудь…

С трагедии в Москве на Ходынском поле началось его царствование. По случаю коронации там ещё с ночи собрались чуть не полмиллиона человек за обещанным дармовым угощением — пивом, водкой, сладостями, и подарками: красивыми кру́жками с императорским гербом. Сгрудились плотно, плечом к плечу — бетон, из пушки не прошибёшь! До рассвета всё напирали, а как по солнышку началась давка, так и потоптали друг друга.

Раздавленных вывозили телегами — говорили, тысячи две, а может, и больше. Только государю не сказали об этом, утаили! Когда утром приехал Николай Александрович на Ходынку, там всё уже снова сияло. В императорском павильоне собрались гости со всей Европы, оркестр кантату торжественную сыграл, веселье началось… Тиражи всех газет, что про трагедию написали, полиция арестовала. Но японцы и американцы перепечатали статью журналиста Гиляровского из «Русских ведомостей», который на Ходынке был и чудом жив остался. Тут и узнал весь мир, как танцевал на костях новый император!

Кровавым январским воскресеньем начался девятьсот пятый год. Шла война с японцами, всем было нелегко, и народ подстрекаемый то и дело бастовал. А тут ещё главари забастовщиков питерских в трактире «Старый Ташкент» за Нарвской заставой повстречались. Выпили по случаю Нового года — и

давай петицию к государю составлять. Требования выдвинули дичайшие: поменять разом всю налоговую систему, ликвидировать помещиков, освободить преступников, созвать народный парламент…

Оказался там агент охранного отделения, священник Георгий Гапон. Ему бы собутыльников своих утихомирить и в разум привести, так нет же: наоборот, провоцировать начал, предложил идти скопом на Дворцовую площадь. Спьяну все и позабыли, что не в Зимнем дворце посреди Петербурга живёт император, а в Александровском — двадцать вёрст от города, в Царском Селе!

Столичными войсками командовал тогда дядя государя, великий князь Владимир Александрович. Вот дядя-то, вечный противник в делах политических, ему и услужил по-медвежьи: вывел гвардию на улицы — полицейским помогать. Горожанам объявили загодя, что демонстрации запрещены и участвовать в них опасно. Повторяли, повторяли… Куда там! Разве удержишь запретом русского человека?!

Пока демонстранты до Зимнего шли — шалили вполсилы. Но когда уже возле дворца солдат попытались разоружить, гвардейцы дали несколько залпов в воздух, а потом ещё один по толпе, которая никак не унималась. Пулями зацепило человек, может, около полусотни. Только люди в страхе бросились бежать — и топтали, и калечили друг друга нещадно. Тысячами, совсем как на Ходынке…

…а император в тот день из Царского Села не выезжал никуда. Ни демонстрацию встречать, ни тем более бред пьяных забастовщиков рассматривать не собирался. Только десятью днями позже делегаты пришли действительно к нему, а не ко дворцу. Николай Александрович сказал им:

— Вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменникам и врагам нашей родины. Стачки и

мятежные сборища только возбуждают толпу к таким беспорядкам, которые всегда заставляли и будут заставлять власти прибегать к военной силе. А это неизбежно вызывает неповинные жертвы. Знаю, что нелегка жизнь рабочего. Многое надо улучшить и упорядочить. Но мятежною толпою заявлять мне о своих требованиях — преступно!

Священный Синод скорбел и пытался воззвать к православным, чтобы чада церкви повиновались власти. Чтобы трудились исправно и обходили стороной советников ложных и лукавых…

…только всё равно дело кончилось революцией, а у императора остались только два пути. Первый — назначить энергичного военного человека диктатором, разрешив истребление крамолы любыми, даже самыми кровавыми способами. Второй путь — отказаться от самодержавия, хранить которое Николай Александрович обещал умирающему родителю.

Крови государь не хотел, диктатуры допустить не мог и пошёл вторым путём. Осенью девятьсот пятого года он даровал своему народу гражданские права и обязался проводить законопроекты через выборную Думу. Российская монархия по сути стала конституционной.

Две недели Николай Александрович не знал, куда девать себя, раздавленного подписанием унизительного манифеста — и вестью о неизлечимой болезни младенца-цесаревича. Но тут появился Распутин, а с ним пришли вдруг покой и надежда…

Дождь всё хлестал за окном. Государь попробовал раскурить погасшую сигару. Отчаялся, раскрошил её в пепельнице и взял новую.

— Ты знаешь, сколько они из-за приисков Ленских моей крови выпили? Не знаешь. А они ведь каждый день — пьют и пьют, пьют и пьют!

Александра Фёдоровна притихла, сжалась в комок и широко распахнутыми глазами следила из кресла за

мужем. Таким она его не видела: император вскочил и метался по кабинету, продолжая выплёскивать всё наболевшее за эти годы, всё передуманное одинокими ночами, пока умирали сын и жена.

— Полгода уже угомониться не могут, — говорил он. — Полгода!

В Бодайбо, за тысячу вёрст не от столицы даже — от Иркутска! — на другом конце страны Ленские прииски добывали треть российского золота. Акционерами общества «Лензолото» были и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, и бывший глава Кабинета министров граф Витте, и капиталист Путилов… В двенадцатом году по весне измождённые тяжким трудом рабочие подняли бунт. Прииски несли колоссальные убытки, число мятежников росло, и в Бодайбо на помощь охране направились войска.

Политические ссыльные подстрекали многотысячную толпу захватить склад взрывчатки и здание администрации с хранилищем золота. Рабочие попытались отобрать оружие у солдат и охраны. Повторился январь девятьсот пятого года: столкновение толпы с солдатами привело к стрельбе, а стрельба — к двум с половиной сотням убитых и ещё трём сотням раненых.

— Только этим всё не кончилось, этим только началось. — Николай Александрович нервно курил, блестя глазами. — Думские депутаты направили запрос о ситуации на Ленских приисках министру внутренних дел. И знаешь, что им ответил мой чудесный Макаров? Что администрация с военными действовали правильно. Что так было и так будет. Не разбираясь, не вдаваясь в детали — так было и так будет. Точка! Горлопаны в Думе ошалели настолько, что забыли даже про Распутина. Ежедневная работа вся у них встала, заседания Общего собрания прекратились… Ну как же, всех же теперь занимало *Ленское побоище*! Комиссию

создали с адвокатом этим молодым, Керенским. По стране снова пошли стачки, митинги. С приисков сбежала чуть не половина рабочих… Разбирательство полгода уже тянется. Полгода! А я не хочу больше. Не могу, не хочу! Всё из рук у меня валится, не получается ничего — ни в России, ни в Европе, ни в Азии… Ни войны, ни мира… Помнишь, я мир всем предлагал? И что? Где он?

— *Si vis pacem, para bellum*. Кто хочет мира, пусть готовится к войне, сам знаешь, — тихо сказала Александра Фёдоровна.

Восходя на трон, мечтал Николай Александрович продолжить политику своего отца. У философа Блоха прочёл он о том, что любая новая война станет глобальной и уничтожит великие европейские империи.

Победитель не избежит ужасных разрушений, поэтому каждое правительство, которое нынче готовится к войне, должно готовиться и к социальной катастрофе.

Император пригласил философа к себе, и после впечатляющего разговора при помощи Витте составил «Воззвание к державам», где предлагал объявить в Европе всеобщий мир. Его не услышали, а Столыпин, вместе с государем желавший для России хотя бы двадцати лет без войны, был убит.

— Ничего не хочу, — повторил Николай Александрович и без сил опустился в рабочее кресло. — Одного только… Ты ведь знаешь…

Неловким детским движением он вытер остатки слёз на скулах, расправил усы и улыбнулся Александре Фёдоровне.

— Я в рай хочу. В наш с тобою рай, в Ливадию. Просто уехать туда и жить. Дети там расти будут, а мы с тобой — стариться потихоньку. На море смотреть, вино пить. Я, может, писать начну. Почему Константин

Константинович может, и Николай Михайлович может, а я не могу?

Великого князя Константина Константиновича читающая Россия знала и любила за тонкие лирические стихи, что публиковал он, скрываясь за прозрачным псевдонимом *К.Р.* — Константин Романовский. Великий князь был плодовит на пьесы, романсы, переводы… Особенно трогательные сочинения Александра Фёдоровна, как и многие поклонницы — от светских львиц до гимназисток, старательно переписывала к себе в альбом.

Над нами зеленел тенистый свод
И, липовым нас цветом осыпая,
Затейливою сетью рисовал
Узоры по песку; благоухая,
Куст алых роз вблизи нас расцветал…
И так тепло, и солнечно так было!
Без слов мы наслаждались тишиной, —
Но сердце всё ж сжималося и ныло,
Как бы перед грозящею бедой.
И предвкушая будущие муки,
Душа, робея, торопилась жить,
Чтоб близость неминуемой разлуки
Хоть на одно мгновенье отдалить.

Великий князь Николай Михайлович — циник, интриган и большой умница — славился трудами по истории и заслуженно председательствовал в Русском историческом обществе. Составленная им биография Александра Первого произвела сенсацию среди французских наполеонистов и доставила Николаю Михайловичу редчайшую для иностранца честь — быть избранным во Французскую академию.

— Ты можешь, Ники! Конечно, можешь, — ласково сказала императрица. — Они пишут, так ведь и ты пишешь!

Николая Михайловича она недолюбливала и едва удержалась от колкости про тягу обоих великих князей не только к творчеству, но и к однополой любви. Шутить на щекотливую тему сейчас было не к месту. Вообще в императорской семье избегали этих разговоров, предоставляя волю салонным сплетникам.

А Николай Александрович действительно писал. Правда, писательство его свидетельствовало скорее о замечательной методичности, чем о таланте. Четырнадцати лет, раскрыв перед собой обычную тетрадь в чёрном коленкоровом переплёте, Ники начал вести дневник — и с тех пор в записях не пропустил ни единого дня. События из жизни цесаревича Николая, а потом и российского императора Николая Второго, оставались памятками в дневнике — с указанием времени, места и участников…

— Ну-ка, — сказал император, выходя из-за письменного стола.

Он взял подушку с дивана и бросил её на пол около кресла, в котором сидела Александра Фёдоровна. Устроившись на подушке спиной к императрице, он запрокинул голову ей на колени и закрыл глаза. Даже сигарный дым не мог перебить сладкого запаха «Вербены», когда жена принялась массировать ему затылок.

— Милая моя, милая Аликс, — приговаривал Николай Александрович, — когда-то я выменял тебя на русский трон. Двадцать лет прошло! Теперь хочу выменять обратно…

Алису Гессенскую цесаревич Николай впервые увидал, когда она приехала на свадьбу своей сестры Эллы с великим князем Сергеем Александровичем. Наследник престола запомнил эту красивую девочку. И

в свой двадцать первый день рождения, став совершеннолетним, Николай попросил у родителей благословения на брак с принцессой.

— Ты очень молод, для женитьбы ещё есть время, — сурово ответил ему император Александр Третий. — И запомни: ты — наследник престола; ты обручён России! А жену тебе мы ещё успеем найти.

Отец имел право так сказать. Марию Фёдоровну — не он себе выбирал. Датской принцессе Дагмар предстояло выйти за его старшего брата, Николая, который наследовал Александру Второму. Когда Николай внезапно умер, цесаревичем стал Александр, и ему досталась просватанная невеста. Она любила другого, и он любил другую, но — поженились по династической обязанности, составили удивительно гармоничную пару и хранили друг другу верность всю совместную жизнь.

Николай родительского благословения не получил. У внучки британской королевы и гессенской принцессы, которая ответно симпатизировала русскому цесаревичу, шансов на благословение тоже было немного. Алиса рано осталась сиротой, а коварная интриганка королева Виктория, которая воспитывала внучку при своём дворе, Россию не любила.

Император Александр сомневался в благоразумии сына, поэтому на всякий случай поощрял его роман с балериной Матильдой Кшесинской: дело молодое, развлечётся Ники — и позабудет свою белокурую принцессу…

…а он не позабыл и упорно противился браку с француженкой Еленой Орлеанской, принцессой Савойской династии, которую отец почёл для него лучшей партией. Ники не помышлял о троне — пав на колени, он пытался отказаться от титула наследника престола. Но Александр Третий оставался непреклонен: закон о престолонаследии должен соблюдаться

неукоснительно, и следующим императором будет Николай Второй!

Они договорились, когда Александр уже одной ногой стоял в могиле. Видя колебания Ники, умирающий отец благословил его на брак с принцессой Алисой — с тем лишь условием, что цесаревич взойдёт на трон. Николай дал слово. Пришлось и королеве Виктории, скрепя сердце, благословить свою внучку-сироту.

Сколько же потом пришлось пережить вместе Ники и Аликс!

Смерть Александра Третьего, въезд в Петербург вслед за гробом и свадьбу через неделю после похорон.

Русское злословие о немецкой принцессе-замухрышке из княжества такого маленького, что покойников там хоронят стоя, иначе они окажутся за границей.

Анекдоты про любимые духи Аликс: мол, княжна Белосельская прогнала горничную из-за того, что та пахла дешёвкой — трёхрублёвой «Вербеной».

Насмешки над стеснительностью, дурным вкусом и неловкими манерами молодой императрицы; бесконечные сравнения её с Марией Фёдоровной — при заведомом предпочтении императрицы вдовствующей.

Горечь Ходынки, трагедию больного сына, позор военных поражений, страх революции, ненависть толпы, подлость приближённых, грязь слухов…

— Я принял трон, чтобы получить тебя, — говорил Николай Александрович, и государыня перебирала его волосы, — а теперь хочу оставить трон, чтобы снова получить тебя. Чтобы получить мою милую Аликс, и девочек, и Алёшу… Я решил отречься!

Александра Фёдоровна стиснула голову мужа.

— Нет, — сказала она твёрдо, и снова повторила: — Нет.

Император высвободил голову из цепких пальцев, развернулся и сел на полу по-турецки, глядя на жену

снизу вверх.

— Я думал, ты поймёшь меня. В Ливадии мы наконец-то сможем принадлежать лишь друг другу. Не будет больше ни придворных, ни министров, ни депутатов, ни страха. Григорий станет жить при нас неотлучно, хранить Алёшу, а там, я верю, его слова сбудутся, и Бэби Бой вырастет из болезни… Почему — нет?

— Потому что ты — помазанник божий. Потому что власть эта — не от людей, а свыше. Потому что ты — император, и я — императрица, и дети наши — багрянорожденные от царствующих родителей. Твой сын Алексей станет императором, и дочери — королевами!

Александра Фёдоровна выпрямилась, крепко впилась в подлокотники кресла и возвышалась теперь над мужем, как высеченная в камне лондонского мемориала Виктория, как Екатерина Великая в саду перед Александринским театром в Петербурге, как тысячелетний сфинкс у берега Невы.

— Вспомни, — говорила она, — как встречали тебя на Бородинском поле! Какими глазами смотрели на тебя солдаты! Кто ещё, когда ещё переживал такие минуты? И ты хочешь от этого отречься?! В будущем году династии триста лет. Народ на тебя молится! И в день трёхсотлетия на троне должен быть божьей поспешествующей милостью император Николай Второй! Скажешь, матушка твоя в тебя не верит? Пусть! А в кого верит? Кому править, как не тебе? Кому? Назови!.. Война? Да, много потеряли. Но всё возвращается! И богаче нашей России — в мире нет страны!

Николай Александрович молча слушал, потрясённый тем, что говорила сейчас его стеснительная тихоня-жена, которая не читала газет и не интересовалась политикой.

Да, в августе ездили они в Москву на столетие Бородинской битвы. При огромном стечении народа отстояли панихиду и торжественный молебен знаменитой иконе Божией Матери Одигитрии — той самой, которая была в сражении. После икону пронесли вдоль фронта войск, а к императору подвели нескольких стариков, помнящих пришествие французов, и один из них оказался участником сражения ста двадцати двух лет от роду! Бывший фельдфебель Винтонюк, пожирая государя выцветшим взглядом, вспоминал подробности битвы и показал на поле место, где сто лет назад был ранен.

Да, в феврале следующего года действительно готовились торжества к трёхсотлетию императорского дома. Государь уже не раз совещался насчёт грандиозного юбилея с министрами и вскоре ждал новых докладов от Коковцова.

Да, вдовствующая императрица порой сокрушалась, что у сына её Николая характер не императорский. Но всегда прибавляла, что у Миши воли и характера ещё меньше. Теперь же, когда обезумевший от любви Миша сбежал в Австрию, сумел-таки обмануть охрану и обвенчался у сербов со своей красоткой Вульферт, — какой из него наследник?

Да, погибла русская эскадра при Цусиме. Но крейсер «Аврора» сумел уйти в Манилу, был интернирован и вернулся. В составе международной эскадры держав-покровительниц он ещё весной ошвартовался на Крите как русский стационер, неся сторожевую и полицейскую службу в бухте Суда.

Да, российская урожайность, чего греха таить, уступает германской или английской в несколько раз. Но всё равно больше трети мирового аграрного экспорта на Россию приходится…

Императора снова обжёг болью след самурайского меча на голове.

— Аликс, дорогая моя, что же мне делать? — застонал Николай Александрович.

— Править, — ответила императрица. — Собраться с духом — и править. Я бы хотела стать тебе достойной помощницей, но женские мозги не так устроены... Я благодарю бога за такого мужа, как ты. И детям нашим могу только пожелать такого счастья в супружестве. Мой ненаглядный Ники... Я никогда не верила, что в мире может быть такое полное счастье! Тебе не надо меня возвращать или выменивать — мы венчаны и связаны теперь на всю жизнь. А когда эта жизнь закончится, мы встретимся снова в другом мире и снова будем вместе — уже навеки!

Часть вторая. война

Глава I. Дыхание смерти

Осень в шестнадцатом году выдалась холодной.

С Балтики задувал пронизывающий сырой ветер. Рваные тучи сеяли нудный дождь, который превращался в мокрый снег всё чаще, пока на российскую столицу не сыпанула уже колючая крупа.

Погода менялась что ни день. И с каждой такой переменой — тягучей, мучительной болью рана в животе напоминала о себе… и о смерти, которая теперь ходила за Григорием Распутиным по пятам.

Летом четырнадцатого года он отправился из Петербурга в родное Покровское. В первый же день по приезде, как вернулся из церкви, — сосед и родственник Мишка Распутин принёс телеграмму. Григорий Ефимович было отпустил его, да после решил догнать, чтобы тут же составить ответ.

Вышел за ворота — покликать гонца обратно. С лавочки по соседству, возле волостного правления, поднялась баба в платке, повязанном так, что только глаза видать. Подошла, поклонилась в землю… Обычная нищенка. Хотел Распутин милостыню подать, замешкался с портмоне, а баба выхватила кинжал — и вогнала ему в живот три вершка обоюдоострой стали.

Охнул Григорий: *Тошно мне!* — и побежал на заплетающихся ногах по улице, уводя убийцу прочь от дома. Не догнала она его, не успела снова пырнуть, а тут и сельчане подоспели, схватили бабу. Платок-то у ней с головы сбился — и тогда, теряя сознание и оседая в придорожную пыль, зрел впервые Григорий Распутин лик смерти: кудель редких волосиков на паршивом черепе, зияющий провал вместо носа и в кривой ухмылке — зубы, покрытые зеленоватым налётом.

Телеграммой-молнией вызвали тюменских врачей. Операцию прямо в доме Распутиных делали — на обеденном столе, у которого за трапезой собиралась обычно вся семья с работниками и гостями. На спасение-то едва надеялись, но помогал господь: выкарабкался Григорий Ефимович.

Через несколько дней осторожно перевезли его за восемьдесят вёрст в Тюмень, и ещё полтора месяца провалялся Распутин в тамошней больнице, постепенно возвращаясь к жизни. Многие тогда волновались о нём. Мировая знаменитость, борец-богатырь Иван Заикин телеграмму прислал: *Молю Бога об укреплении вашего душевного и физического здоровья*…

Ох, неспроста именно в лето четырнадцатого года подослали к нему сифилитичку безносую с кинжалом, неспроста! Чуть жив был Григорий, когда в далёкой Сербии студент по фамилии Принцип застрелил наследника австрийского престола Франца-Фердинанда. Не вернуться было Распутину в Петербург; по ранению не мог он снова пасть на колени перед государем и молить, молить — не ввязываться в войну, мир сохранять всеми силами… Только письмо продиктовал Григорий царю-батюшке.

Милый друг, ещё раз скажу: грозна туча над Россией, беда, горя много, темно и просвету нет; слёз-то море и меры нет, а крови? Что скажу? Слов нет, неописуемый ужас. Знаю, все от тебя войны хотят и верные, не зная, что ради гибели. Тяжко Божье наказание, когда уж отымет путь, — начало конца. Ты — царь, отец народа, не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Вот Германию победят, а Россия? Подумать, так всё по-другому. Не было от веку горшей страдалицы, вся тонет в крови великой, погибель без конца, печаль…

Может, и послушал бы государь слова его горячие, мольбы слёзные. Особливо если царица-матушка их поддержала бы. Да только почти не вставал Григорий с

больничной постели-то, ходил едва-едва: распоротое брюхо заживало медленно.

Страшное случилось. Уж какая там Сербия крошечная, кто её теперь вспоминал! Поднялась необъятная Россия, ударила с востока против Австро-Венгрии с Германией. С запада на немца французы двинули, англичане зашевелились на островах своих. Вся Европа ходуном заходила. Миллионы мужчин форму надели военную и стали под ружьё. Нескончаемые вереницы эшелонов помчали солдат к фронтам — навстречу санитарным поездам с увечными и ранеными. Заголосили по городам и деревням безутешные вдовы…

Столица российская стала называться Петроградом. Слишком по-немецки звучало теперь для патриотов прежнее имя — Санкт-Петербург, в честь небесного покровителя Петром Великим данное.

Как только здоровье позволило, снова приехал Распутин из Покровского в столицу и семью привёз на новую квартиру. Прежнюю, в третьем доме по Английскому проспекту, снимал он у отставного генерал-майора Веретенникова. Тот брал недорого, потому как надеялся, что Григорий Ефимович замолвит словечко и поможет вернуться на службу. Квартира в шестьдесят четвёртом номере по улице Гороховой обходилась дороже генеральской, но платил за неё уже не Григорий, а собственный его величества кабинет. Было жилище много просторнее, имело два входа — с парадной лестницы и с чёрной, и располагалось очень уж удачно.

Случись, позовут к семье императорской, так отсюда до Царскосельского вокзала с поездами — меньше получаса неспешного ходу. По соседству с вокзалом — плац, ипподром и казармы лейб-гвардейского Семёновского полка. Дома доходные кругом, поблизости — Сенная площадь с многоглавой Успенской церковью и

огромным рынком. Рукой подать — безбрежный торговый Апраксин двор. Загородный проспект под боком: упершись в него, заканчивается улица. Невский проспект недалеко…

…а если двинуться по Гороховой в другую сторону, в начало — через Фонтанку, Екатерининский канал и Мойку, где вдоль набережных тянутся особняки, — придёшь прямиком к Адмиралтейству и Зимнему дворцу. Лучшее место для жилья сыскал Григорий Ефимович, по всем статьям лучшее.

Правда, пришлось ему полицию просить, чтобы оградили новую квартиру от газетчиков. Проходу ведь не давали и, как тараканы, в любую щель пролезть норовили! Благо, всё равно филёры ходили за Распутиным и караулили его всюду; вот и нашлось им достойное применение. Теперь и перед домом на Гороховой, и на чёрной лестнице обязательно два-три неприметных господинчика дежурили, зорко примечая и записывая всех входящих-выходящих.

Номер телефона Григорию Ефимовичу тоже пришлось поменять. Прежний-то 64–646 слишком уж стал известен. Мало того, что три шестёрки не давали покою досужим болтунам, так ещё всякий час какая-нибудь сволочь с оскорблениями звонила…

Придерживая рукой ноющий шрам на животе, Распутин вышел из своей комнаты. Здесь, как и в Покровском, носил он обыкновенно крестьянскую поддёвку поверх чесучовой рубахи и шаровары, заправленные в блестящие сапоги.

В столовой на большом кожаном диване против камина сидели его дочери. Летний загар давно сошёл с их широких лиц, и бледность особенно подчёркивала яркие губы. Внимательные глаза тяжело смотрели из-под низко подстриженных чёлок. Увидев отца, девушки поднялись. Их строгие кашемировые платьица едва сдерживали дикую сибирскую мощь молодых тел.

Шестнадцатилетняя Варвара выглядела уже почти так же, как Матрёна в свои девятнадцать. *Замуж пора*, подумал Григорий Ефимович, а вслух спросил, кивая на развёрнутые газеты:

— Читаете?

— В кои-то веки раз о тебе хорошо написали, — сказала бровастая толстуха в туго повязанном платке, похожая на раскормленную амбарную мышь.

Крестьянка Акилина Лаптинская прижилась у Распутина, постепенно прибрала к рукам хозяйство, в отсутствие жены блюла дом и даже стала чем-то вроде секретаря. Случалось, Акилина вела себя слишком свободно да ещё приворовывала не в меру. За то Григорий Ефимович не раз её прогонял, но потом всегда отходил и принимал обратно.

— Ну, почитай, что ли, — кивнул он старшей дочери, уселся за стол и подвинул в сторону вазу с красными и белыми розами. Такие же вазы, распространяющие пьяняще-горький аромат, стояли на подоконниках. Цветы Распутин крепко любил, и почитатели, зная об этом, часто являлись с букетами.

— А ты, — обернулся он к Лаптинской, — собирай к чаю.

Матрёна читала низким спокойным голосом.

Благоволение и доверие, которыми Распутин пользуется у некоторых лиц, не дают покоя злобствующим и завистливым людям, не только близким к высшим сферам, но и бесконечно от них далёким. Простой крестьянин дерзает говорить то, что считает истиною, лицам, особам высокого положения и редко слышащим откровенное слово — слово незлобивого, всем сердцем любящего ближнего своего, мужика. И вот за недолгое время около имени Григория Распутина успела уже вырасти целая обширная легенда. Пользуются ею, увы, не только борзописцы бульварной прессы, но и весьма солидные органы

печати и даже политические деятели с именем, как, например, П.Н. Милюков, с думской трибуны утверждавший, что «церковь православная попала в плен распутного проходимца», или сорвавшийся демагог А. И. Гучков, распространявший с той же кафедры небылицы, за что в другом правовом государстве ему пришлось бы понести ответ. Вполне понятно, куда направляются все эти подлые выстрелы, доказывающие всесилие Распутина.

— Смотри-ка, — искренне удивился Григорий Ефимович и даже покачал головой, — нешто остались ещё, которые понимают?!

Старшая закончила читать, и тут же своей газетой зашуршала младшая, Варя.

Будучи знаком с Григорием Распутиным более двух лет и наблюдая его в домашней обстановке, я положительно утверждаю, что не имею никаких данных, которые бы свидетельствовали о его отрицательных сторонах жизни и характера…

— Это кто же пишет? — прервал Григорий Ефимович.

— Клепацкий, — ответила Варвара.

— Мог бы наклепать, — улыбнулся ей отец, — ан по чести решил! Куда ни взглянешь, всё одно и одно. Вроде живу в тиши, а выходит, что кругом все галдят. Кажется, в России есть больше о чём писать, чем обо мне… а всё не могут успокоиться! Бог всё видит и рассудит, были ли правы те, кто на меня нападал. Я же маленькая мушка, и нечего мною заниматься. Кругом большие дела, а они одно и то же — Распутин да Распутин… Ну, и что там дальше?

Простой мужик, одарённый бесхитростным, здравым и проницательным умом, искренний и прямой в ответе, Распутин может быть любопытен, как отражение дел мира сего в миросозерцании и понимании народном. А его своеобразное, никому покоя не дающее «положение» создалось по воле всемогущего случая и

содействием нападающих на него в печати и политиканствующих с думской кафедры, а никак не происками самого Распутина, немудрствующего лукаво, но прямого и добродушного простеца.

Акилина тем временем принесла вскипевший самовар. По дому ей помогали жившие здесь в работницах Дуня и Катя Печеркины — тётка с племянницей, землячки распутинские. Они выставили на стол чайную посуду, плетёные корзинки с толстыми ломтями чёрного хлеба и варёными вкрутую яйцами, тарелки с рыбой и соленьями — Григорий Ефимович не ел ни мясного, ни молочного…

Сказав короткую молитву, собравшиеся сначала по сибирскому обычаю закусили солёными огурцами и капустой, а уж потом принялись за всё остальное, прихлёбывая чай. Распутин ломал хлеб прямо на столе, рассыпая кругом крупные крошки, и даже рыбу брал руками. Вилок не признавал: еду господь даёт, чего ж её острым тыкать? И дочерей дома одёргивал, когда манерно есть пытались. По крайности одной ложки довольно, а руки-то на что? Христос, небось, руками хлебы делил и голодных одаривал!

После трапезы Григорий Ефимович уже заканчивал говорить по телефону с тобольским епархиальным наблюдателем, когда раздался звонок в дверь. Лаптинская пошла в переднюю. Телефонный аппарат стоял на этажерке у двери столовой, и Распутин примостился рядышком на стуле.

— Так ты, милой, смотри, не забудь, — говорил он, пятернёй вычёсывая из бороды хлебные крошки, — псаломщик Комаров, он сейчас где-то в Самаре служит, а его надо бы в Курган перевести. И дьякона Бушуева тоже надо бы поближе к Покровскому. Постарайся, милой! Хоть он и непутёвый, да не его мне жалко, а жену. Они ведь сейчас порозня живут, считай, целый год. Баба к нему ехать не может: рублей, поди, сто

дорога-то будет стоить, или даже сто пятьдесят, а у ней таких денег нет. Вот, чтобы не развалилась семья, и надо их соединить вместе. Женщину-то за Бушуева я сам сватал. Думал, он путный, а оказалось, нет. Выходит, виноват Гришка-то… Сделаешь?.. Благодарствуй! Ну, а больше, кажется, и ничего. Заезжай в Покровское ко мне, напейся чаю и передай всем поклон, поцелуй всех…

— Там к тебе дамочка, — сообщила вернувшаяся Акилина.

— Кто?

— Не знаю, первый раз вижу.

Поморщившись и прижав ладонью снова занывший живот, Распутин поднялся со стула и широким коридором вышел к двери на парадную лестницу. В передней стояла хорошо одетая женщина в пелерине с белой меховой оторочкой и шляпке с вуалеткой. С ботиков на пол уже натекла небольшая лужица. Руки гостьи были спрятаны в муфту — тоже из белого меха.

Распутину вдруг послышался звон — высокая нескончаемая нота, будто над головой у него, где-то сзади, повис огромный комар. Рана заныла сильнее, в лицо жарко бросилась кровь, а по спине, наоборот, пробежал озноб. Могилой повеяло от женщины, и почудилось Григорию, что сквозь вуалетку вновь глядит на него смерть — лысая, безносая, щербатая…

Сколько они стояли так друг против друга? Мгновение, минуту, три? Акилина тоже замерла, и лишь бусинки её глаз под густыми бровями прыгали с женщины на Распутина и обратно.

— Ну, что там у тебя? — хриплым, не своим голосом, но очень ласково сказал, наконец, Григорий Ефимович. — Что? Я ж знаю… Давай, давай сюда…

Не отрывая левую руку от пульсирующего болью живота, он осторожно протянул вперёд правую, держа её ладонью вверх. И гостья тоже выпростала из муфты

дрожащую правую руку. Побелевшие от напряжения пальцы сжимали маленький дамский «браунинг». Не сводя глаз с Распутина, она медленно подняла ствол до уровня его груди, потом так же медленно опустила блеснувший воронёной сталью пистолет на протянутую ладонь — и в тот же миг разрыдалась и выбежала из незапертой двери на лестницу.

Акилина поспешила захлопнуть дверь и загремела засовом. А Григорий Ефимович продолжал стоять неподвижно, разглядывая пистолет. Вдоль позвоночника сбегали холодные капли, а на разгорячённом лице ещё чувствовался могильный холод, которым дохнула смерть. Но комариный писк в ушах затихал, и рана болеть перестала.

Телефон снова взорвался трезвоном, и Лаптинская засеменила в столовую, схватила трубку.

— Это Вырубова, — послушав, сообщила она. — Тебя в Царское зовут.

Глава II. Дума о Распутине

Первого ноября, в день открытия Пятой сессии Четвёртой Государственной думы, Таврический дворец гудел. Можно было бы уподобить его растревоженному улью, когда бы огромный зал заседаний хоть немного походил на тесное жилище трудолюбивых медоносов. Да и четыреста сорок депутатов, сытых, с иголочки одетых, самоуверенных и горластых, ничуть не напоминали скромных безликих пчёл. Пообвыкли уже, нагуляли жир: Четвёртая дума с перерывами заседала с осени двенадцатого года…

— Господа члены Государственной думы, — перекрывая гул голосов, проникновенно начал свою речь лидер партии кадетов Павел Николаевич Милюков, — с тяжёлым чувством я вхожу сегодня на эту трибуну. Мы с вами те же на двадцать седьмом месяце войны, какими были на десятом и какими были на первом. Мы по-прежнему стремимся к полной победе и по-прежнему хотим поддерживать национальное единение. Но я скажу открыто: есть разница в положении.

Глаза у главного конституционного демократа страны были несколько навыкате, и толстые стёкла пенсне придавали его квадратному лицу рачье выражение.

— Недавно французы опубликовали германский документ, — говорил Милюков, — в котором преподавались правила, как создать брожение и беспорядки в неприятельской стране. И у меня такое ощущение, господа, что министры нашего правительства намеренно поставили перед собой эту задачу — выполнить инструкции немцев…

— Верно! — пронзительно крикнул из зала плотный коротышка, бликуя лысиной и взмахивая рукой.

Бессарабский помещик Владимир Митрофанович Пуришкевич верховодил в Думе крайне правыми. Он заслужил славу паяца и выделялся среди коллег хамскими манерами. По столице гуляли множество анекдотов про выходки этого черносотенца. То, чем бравировал Пуришкевич, в медицине называется *отсутствием задерживающих умственных центров*. Во время выступлений других депутатов он вертелся на своём месте, вскакивал и снова садился, а порой начинал бегать в проходах между секторами, выкриками прерывая ораторов. Председательствующий не раз вызывал охрану Таврического дворца, чтобы Пуришкевича вывели из зала. Тогда он падал на пол, отбрыкивался и упирался до тех пор, пока дюжие солдаты не выносили его на руках.

Милюков, глава думских демократов, был для монархиста и националиста Пуришкевича злейшим врагом. На одном заседании Владимир Митрофанович даже пытался бросить в Павла Николаевича стаканом, но помощник думского пристава успел перехватить опасный снаряд. Тем более странно выглядело то, что Пуришкевич поддерживал сейчас Милюкова.

— Господа депутаты Государственной думы, покорнейше прошу прекратить шум, — солидно молвил с высоты председательского места октябрист Михаил Владимирович Родзянко.

— Естественно, возникают слухи о том, что правительство признаёт бесцельность войны и хочет её закончить, заключив сепаратный мир, — продолжал Милюков. — Взволнованное чувство русского патриота реагирует на это с болезненной подозрительностью. Но как опровергнуть эти подозрения, когда кучка тёмных личностей во главе с Распутиным руководит важнейшими государственными делами?! Из края в

край земли русской расползаются мрачные слухи о предательстве интересов России на самом высоком уровне. На самом высоком!

Тут кадетский лидер воздел указательный палец и закатил глаза к огромному плафону, венчающему зал. А в конце концов договорился Милюков до того, что вражеская рука тайно влияет на ход государственных дел в пользу Германии, разрушает народное единство и готовит почву для позорного мира.

Молодой князь Феликс Юсупов начал скучать.

Он устроился на хорах, подпёртых массивными белыми колоннами и опоясывавших по периметру зал заседаний, и наблюдал сверху за работой Государственной думы. Её председатель Родзянко — тучный стареющий мужчина с короткой седой бородкой, бывший кавалергард и добрый приятель Столыпина — доводился князю дядюшкой. Михаилу Владимировичу и был обязан Феликс возможностью заглянуть за кулисы думской жизни. Впрочем, для Юсупова почти не осталось закрытых дверей — особенно после женитьбы на родной племяннице императора, великой княжне Ирине Александровне.

Красные бархатные кресла зала амфитеатром спускались к думской трибуне, откуда вещал Милюков. За спиной главы кадетов поднимались ярусы массивных лакированных столов президиума: там восседал Родзянко со своими заместителями и секретарём. Стенографисты усердно записывали каждое слово, прозвучавшее с трибуны или донёсшееся из зала. Все депутатские места были заняты: фракции постарались к началу сессии собраться в полном составе.

Юсупов скучал, несмотря на то, что заседание Думы решительно отличалось от обычных. Вопреки своим обязанностям — обсуждать предложенные для рассмотрения законы, депутаты на сей раз говорили о политике и положении в стране. Милюков увлечённо

нарушал регламент, а Пуришкевич своими визгливыми репликами и подпрыгиваниями — протокол заседания. Само собой, черносотенец устроился в крайнем правом секторе, почти под тем местом, откуда смотрел князь, и сверху его сияющая лысина выглядела просто замечательно.

— Я прошу господ членов Думы соблюдать спокойствие, — снова и снова повторял председатель, но порядка в собрании больше не становилось.

Милюков упомянул о своём летнем отпуске. Что с того, что Россия третий год ведёт кровопролитную войну, что на фронтах каждый день гибнут тысячи солдат? Партийный лидер — человек состоятельный, как, впрочем, и подавляющее большинство депутатов. Война войной, а он только что славно отдохнул в нейтральной Швейцарии, и потом ещё заехал в Париж и Лондон…

Юсупова охватывало всё большее отвращение. Оглянувшись, Феликс убедился, что немногочисленные зрители сидят довольно далеко от него и смотрят вниз, в зал. Из потайного кармана князь добыл маленькую перламутровую коробочку вроде табакерки. Раньше он нюхал кокаин нечасто, от случая к случаю. Но с началом войны развлечений стало меньше, зато на кокаин в свете пошла мода, и теперь коробочка с белым порошком всегда была под рукой.

Зачерпнув кокаина мизинцем и хорошенько потянув сперва одной, потом другой ноздрёй, Юсупов втёр в дёсны остатки горькой пудры. Ждать пришлось недолго. Наркотик подействовал и превратил депутатский фарс в яркое забавное представление.

Свои густые усы Милюков заботливо расчёсывал и подкрашивал: они росли строго горизонтально, а под скулами соединялись с бакенбардами. Князю голова кадетского лидера увиделась разрубленной по горизонтали. Каждая половина жила своей жизнью;

выше тёмной полосы усов вращались искажённые оптикой рачьи глаза, ниже — чётко артикулировал большой мясистый рот.

Милюков сообщил о существовании некой прогерманской придворной партии, сгруппированной вокруг царицы, упомянув её членами *святого старца* Гришку Распутина и министра иностранных дел Бориса Владимировича Штюрмера.

— Я позволю себе процитировать передовую статью из «Нойе Фрайе Пресс», — сказал Милюков, подглядывая сквозь пенсне в разложенные на трибуне заметки. — Как бы ни обрусел старик Штюрмер, всё же довольно странно, что во время войны с Германией иностранной политикой в России руководит немец!

Упоминание о происхождении министра депутаты встретили хохотом, а Пуришкевич даже побарабанил кулаками о подлокотники своего кресла. Его активность импонировала Юсупову всё больше, да и кокаин был хорош.

— Имеем ли мы в данном случае дело с глупостью или с изменой? — вопросил Милюков, добравшийся, наконец, до главной мысли своего выступления. — Когда мы целый год ждём выступления Румынии, а в нужную минуту не оказывается ни войск, ни возможности быстро подвозить их по единственной узкоколейной дороге — что это? Когда снова упускается момент для решительного удара на Балканах — это глупость или измена?

Пуришкевич немедленно подпрыгнул.

— Одно и то же! — пронзительно крикнул он.

— Когда власти сознательно предпочитают хаос и дезорганизацию — что это, глупость или измена?

— Измена! — Пуришкевич вскочил и принялся остервенело протирать пенсне.

Милюков грозно вращал выпученными глазами.

— Когда власти намеренно вызывают волнения и беспорядки путём провокации, — говорил он, — и притом знают, что это может служить мотивом для прекращения войны — это делается сознательно или бессознательно? А придворная партия стараниями Распутина делает всё для того, чтобы избавиться от честных людей, болеющих за судьбу России… Нет, господа, воля ваша, но слишком уж много глупости. И объяснить происходящее одной только глупостью слишком трудно!

— Это измена! — Пуришкевич потряс над головой кулаком. Юсупов сверху любовался блеском его бритого черепа. Гул в зале нарастал.

— К такому выводу приходит и население, — согласился Милюков со своим непримиримым противником. — Сегодня у нас уже нет выбора. Мы должны добиваться ухода этого правительства. Мы должны положить конец чехарде министров, каждый из которых только хуже предыдущего. Мы должны покончить с распутинщиной и со всей придворной партией. Мы должны бороться со своими врагами здесь, внутри страны. Вы спросите, как же мы начнём бороться во время войны? Да ведь, господа, только во время войны они и опасны. Они для войны опасны: именно потому-то во время войны и во имя войны, во имя того самого, что нас заставило объединиться, мы с ними теперь боремся!

Депутаты разразились аплодисментами, а Пуришкевич, не в силах больше сдерживаться, выбежал в проход и аплодировал оттуда. Он заявлял не раз, что на время войны любые внутренние распри должны быть забыты. Но с мнением о плохих министрах и придворной партии, о немцах и Распутине был согласен полностью.

— Мы будем бороться, пока не добьёмся настоящей ответственности правительства, — на патетическом подъёме заканчивал Милюков. — А ответственность

определяется тремя признаками. Первое — одинаковое понимание министрами ближайших задач. Второе — их сознательная готовность выполнить программу большинства Государственной думы. И третье — их обязанность опираться на большинство Государственной думы! А кабинет, не удовлетворяющий этим признакам, не заслуживает нашего доверия и должен уйти!

Последние слова Милюкова утонули в настоящей овации: уже не только Пуришкевич, но и другие депутаты поднялись из кресел и аплодировали стоя.

Решив, что для него представление окончено, Феликс Юсупов покинул хоры и спустился в просторный квадрат дворцового вестибюля. Депутаты явно рвутся к власти, думал он, и страх потеряли напрочь. Выступающий уже открыто называет изменниками немку-императрицу и её ставленников! Под аплодисменты вещает с трибуны германскую пропаганду…

Эти господа решили, что они — народ и знают, как управлять страной. Четыре сотни человек, подменяющие собой полтораста миллионов россиян. Оказывается, теперь не государь, а они должны назначать министров! И министры должны выполнять задачи, поставленные не государем, а Думой! И быть подотчётными не государю, а депутатам!

Юсупов скрипнул зубами: мышцы лица сводило судорогой не только из-за кокаина. Почему же Ники терпит, почему не разгонит этот зловонный балаган?! Поиграли в демократию — хватит! Думский сброд, все эти мелкие дворянчики, купчики и кухаркины дети ставят себя выше Совета министров, выше первых чинов двора и Государственного совета, потому что министры, видите ли, приходят по назначению, а они, депутаты — по выборам! Так мало ли подонков выбирали в Думу? Начиная от главы погромщиков, чьи руки обагрены

детской кровью, и заканчивая каким-то вором свиней по деревням… Другие бы, оказавшись в такой компании, сгорели со стыда, а нашим — всё божья роса!

Родзянко, пожалуй, староват уже, думал князь. Ему с депутатской бандой не справиться. Милюков — опасный краснобай, и левых многовато… А вот к Пуришкевичу надо присмотреться. Такой полоумный может быть полезен.

Глава III. Младых искателей изысканные игры

— Вовка, не газуй!.. Не газуй, говорю! И руль не дёргай… плавней, плавней! Пошёл в занос — в обратную сторону сразу крути, в сторону заноса!

Громадный *Renault-40* с открытым кузовом «дубль-фаэтон» выписывал восьмёрки по бескрайнему скучному плацу Марсова поля. Натужно взрёвывал могучий семилитровый двигатель. Визжали рубчатые баллоны узких шин, веером разбрасывая осеннее грязное крошево. Осколки льда вперемешку с гравием гулко барабанили по изнанке круто изогнутых крыльев автомобиля и днищу, звенели о стальные спицы колёс…

На месте шофёра, намертво вцепившись обветренными заледеневшими руками в рулевую баранку, сидел хохочущий Владимир Маяковский. Рядом болтался Виктор Шкловский, ударяясь на виражах то в борт, то в плечо товарища. Он уже был не рад, что поддался на бесконечные просьбы и согласился научить Маяковского управлять мотором. Ледяной ветер пронизывал шинельное сукно, забирался под шофёрские очки, обжигал раскрасневшиеся лица и вышибал слезу.

Ровесникам Виктору и Владимиру шёл двадцать четвёртый год. Первый раз их свела судьба ещё до войны — конечно же, в «Бродячей собаке». Петербургский литератор Шкловский выступал там с докладом о месте футуризма в истории языка, а заезжий скандальный футурист Маяковский читал свои стихи и в своей знаменитой жёлтой кофте невольно служил иллюстрацией к докладу.

С началом войны Виктор ушёл добровольцем на фронт, геройски воевал и заслужил старший унтер-

офицерский чин. Через полтора года он получил назначение инструктором в военную автошколу и там снова повстречал Маяковского — ратника второго класса.

Владимира армейские подвиги ничуть не прельщали, хотя он и писал на патриотическом подъёме:

...в лаве атак
я буду первый
в геройстве,
в храбрости!

Воевать Маяковский не собирался. Взяв старт зимой тринадцатого года, до середины пятнадцатого они с Бурлюком и другими друзьями-поэтами успешно гастролировали по всей Центральной России и черноморскому побережью. Война была где-то далеко...

Беспримерная наглость Маяковского, его выдающаяся внешность и густой бас интриговали провинциальную публику. Пристрастие к одежде вызывающих цветов и покроев эпатировало, стихи поражали необычностью и силой. Скандал за скандалом возникали везде, где бы ни появились гастролёры. И с каждым скандалом слава молодого футуриста крепла; к его услугам были деньги, женщины, шикарные рестораны, изысканные вина и всевозможные удовольствия — ни в чём теперь Маяковский не чувствовал недостатка, как и пророчил Давид.

Тюремное прошлое надёжно защищало от призыва, но война никак не кончалась. Когда под мобилизацию попали уже миллионов десять подданных Николая Второго, очередь Маяковского всё же подошла. Ужас окопов сделался близок.

Бурлюк перевернул вверх дном Москву и Петроград, поднял на ноги всех знакомых и незнакомых... В итоге

его дорогого Владим Владимыча спасали от фронта всем миром. И спасли — стараниями самого Максима Горького! Кто бы мог ожидать такого расположения? Но знаменитый писатель выхлопотал для футуриста тёплое место чертёжника в военной автошколе. Благо, карандаш в руках держать Володя умел и немного разбирался в машинах…

— Осторожнее ты, балда! Всё, тормози! Тормози, говорю! Ратник Маяковский, вам приказывает старший по званию! — кричал Шкловский.

Недовольному Маяковскому пришлось остановить мотор, и под урчание двигателя на холостых оборотах Виктор сделал товарищу выговор:

— Автомобиль любить надо! Чувствовать надо! А ты знай на гашетку давишь… Это же «Рено» шестицилиндровый! Купи себе такой — и гоняй, сколько влезет. А сейчас — перебирайся, живо!

Они поменялись местами. Маяковскому осталось только с завистью смотреть на то, как изящно и легко Шкловский ведёт мотор. Он думал, что через минуту-другую они окажутся на Конюшенной площади, в императорском гараже — огромный *Renault* с российским гербом на передних дверцах был именно оттуда. Но Виктор по пути от Марсова поля через Садовый мост и дальше вдоль Михайловского сада не стал поворачивать направо, к *стойлу* «Белых таксомоторов» и дворцовых автомобилей.

Едучи по-прежнему вдоль чёрного кружева садовой решётки, он обогнул храм Спаса-на-Крови и покатил по набережной Екатерининского канала, обгоняя неторопливо тянувшихся по мостовой «ванек» и пугая клаксоном неосторожных прохожих. То и дело навстречу попадались солдаты: говорили, что в городе и ближайших пригородах их собрали чуть не двести тысяч — для обучения и отправки на фронт…

На перекрёстке с Невским проспектом Шкловскому всё же пришлось притормозить с лёгким юзом, пропуская трамвай. Автомобиль остановился возле знаменитого в прошлом дома Энгельгардта, где бывали Пушкин и Тургенев; где выступали Лист и Вагнер; где Лермонтов устроил свой «Маскарад» — и где благоденствовали потом Купеческое собрание и Учётно-ссудный банк. Справа, за каналом, увитый бронзой модерновой ковки, высился гранитный дом общества «Зингер». Его стеклянный купол венчал огромный прозрачный земной шар.

Шкловский снова придавил акселератор, и *Renault*, перемахнув Невский и оставив справа серые рёбра колонн Казанского собора, помчался дальше по прямой набережной.

— Не пешком же нам идти! — пояснил Виктор в ответ на вопросительный взгляд Маяковского. — И брать извозчика, когда восемьдесят лошадей под капотом — это вообще бред!

— А если остановят?

Шкловский фыркнул.

— Кто посмеет? Мотор, вообще-то, государю императору принадлежит. И мало ли какие у нас дела? Может, мы важное задание выполняем! В общем, принцип психологической достоверности: никому даже в голову не придёт, что мы нахально катаемся по центру города! Так что причину сами придумают.

И правда — городовой, вышедший на канал из проезда к Гостиному двору, уцепился за них взглядом, недолго поразмыслил — и приосанился, отдал честь. Шкловский с Маяковским переглянулись, а когда миновали служаку, расхохотались в голос.

Следующий раз Виктор чуть притормозил у поворота перед висячим Банковским мостом: после златокрылых грифонов, державших мост, набережная изгибалась вправо. Резина баллонов проскальзывала по наледи на

булыжнике мостовой, и Шкловский аккуратно подработал рулём, выравнивая автомобиль. Маяковский уважительно поцокал языком, а Виктор гордо кивнул: то-то, мол, учись!

Через минуту они уже поворачивали с набережной налево, в Гороховую улицу: Шкловский вёл мотор к Царскосельскому вокзалу, рядом с которым помещалась их автошкола.

— А здесь как? — снова заволновался Маяковский.

— Совру что-нибудь, — беззаботно ответил Виктор. — Тем более, мне мыслишка кое-какая насчёт подвески пришла, надо проверить. Вечером или завтра в гараж отгоню.

Шкловский был у начальства на особом счету. Несмотря на университетское филологическое образование, он удивительно чувствовал автомобили, а потому ему доверяли не только работать с шофёрами, но и проверять и обкатывать моторы и давать рекомендации по доводке. Своим особым положением Виктор охотно пользовался, и с не меньшей охотой его возможностями пользовались сослуживцы.

Когда весёлые Шкловский с Маяковским добрались до автошколы и вошли в просторный кабинет, отряхивая шинели и растирая замёрзшие красные лица со следами очков вокруг глаз, их встретил вольноопределяющийся Осип Брик.

Он выглядел старше своих двадцати восьми лет и в дружной троице играл роль ментора, эдакого ворчливого наставника. Основаниями к тому служили не только и не столько его возраст, стильные усы, опыт юридической практики или предпринимательские успехи. Вместе с Виктором трудолюбивый Осип организовал Общество изучения поэтического языка — ОПОЯЗ и занимался научной работой. А в пятнадцатом году Брик познакомился с Володей и продолжил дело

Давида Бурлюка, который начинал публиковать стихи Маяковского.

Осип тысячными тиражами напечатал за свой счёт два опуса молодого футуриста. Два крика о любви, смерти и ненависти — две жутковатые поэмы «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник». Наконец, именно Брик направил усилия Горького в нужное русло и подсказал устроить Володю в автошколу, где уже обосновались они со Шкловским.

Сейчас Осип сидел за обширным канцелярским столом, на котором в идеальном порядке были разложены множество бумаг, папок, книг и журналов. Ровно посередине стола стоял аккуратный письменный прибор с пресс-папье и большой стеклянной чернильницей; латунный стакан щетинился тщательно очиненными разноцветными карандашами. Рабочее место выдавало в хозяине человека обстоятельного и серьёзного.

— Всё развлекаетесь, господа хорошие? — нарочито сердитым тоном вопросил он вошедших, откладывая в сторону толстый журнал. Маленький, головастый Брик выглядел забавно в мешковатой военной форме. — От разгильдяя Маяковского я ничего другого и не ждал, но вы-то, господин старший унтер-офицер!

— Ося, не нуди! — продолжая улыбаться, попросил Шкловский. Он расстегнул портупею, освободился от шинели и повесил её на гнутую деревянную вешалку при входе. — Ты же знал, что у нас дела в гараже! И, кстати, мы тебя звали.

— Охота была мёрзнуть, — хмыкнул Брик.

Маяковский небрежно бросил ремень и шинель на стул около своей чертёжной доски и гордо сообщил:

— А я зато мотором правил. Меня Витя научил!

Шкловский ворошил бумаги на стеллажах, тянущихся вдоль стены, в поисках документации

по *Renault-40*: не иначе, ему и вправду пришла в голову интересная мысль.

— Володька-то наш — прямо прирождённый шофёр, — сказал он через плечо. — Сейчас такие кренделя выписывал!

Довольный Маяковский карманным ножиком точил карандаш, роняя стружку на пол.

— Ему бы ещё башку на место поставить! Чуть нас обоих не угробил, — добавил Шкловский, и Владимир насупился.

— Вот-вот, — подхватил Брик, — ты бы лучше научил его за порядком следить, чтобы свинарник здесь не разводил... На моторе кататься — это мы мастера! А чертить за него кто будет? Начальство приходило уже, спрашивало...

— Подумаешь! — пробасил Маяковский, проверяя остроту карандаша. — С генералом у нас отношения шо-ко-ладные. Начнёт снова сердиться — напишу ещё один портрет его дочки, вот и вся недолга! Может, чаю, господа?

Они успели выпить чаю и уже работали, когда дверь в кабинет распахнулась.

Брик делал выписки из журнала в большую тетрадь. Шкловский насвистывал, сидя на краешке своего стола — куда менее ухоженного, чем у Брика, — и листал французский автомобильный альбом. Маяковский сверялся с многочисленными черновиками, которыми обложил чертёжную доску, бормотал себе под нос, считая на логарифмической линейке, и на листе ватмана перед ним постепенно возникали контуры узла какого-то механизма.

— Смирно! — скомандовал Шкловский. Он спрыгнул со стола, отбросив альбом, одёрнул гимнастёрку и по-военному чётко шагнул навстречу входящим. — Господин генерал-майор...

— Вольно! — махнул рукой начальник автошколы генерал Секретарёв. — Изволите видеть, ваше высочество, это — здешняя интеллектуальная элита. Так сказать, душа и гордость личного состава.

Он обращался к рослому молодому человеку в форме гвардейского штаб-ротмистра со знаками флигель-адъютанта. Тот благосклонно кивнул. Рядом с молодым, заложив руки за спину и расставив ноги в высоких ботинках на шнуровке, застыл усатый мужчина средних лет.

Генерал представил гостям своих подчинённых:

— Наш инструктор и вообще золотая голова Виктор Шкловский… Владимир Маяковский, толковый чертёжник… Брик Осип, тоже умница и этим двоим не даёт расхолаживаться… Господа! С этой минуты вы поступаете в распоряжение его императорского высочества великого князя Дмитрия Павловича и господина Кегресса.

Кто же в мире моторов не слышал имени Адольфа Кегресса?! Пышноусый директор императорского гаража в Царском Селе и личный шофёр государя славился виртуозной скоростной ездой. Он блестяще знал автомобили всех марок и конструкций, которые сам же и усовершенствовал. Заметив восхищённые взгляды солдат, Кегресс приосанился и скрипнул вкусно пахнущей кожаной курткой.

— Ваша задача, — добавил генерал, — срочно подготовить чертежи и техническую документацию для новых разработок господина Кегресса, имеющих военное значение. Маяковский, Брик! Всё остальное — в сторону, сосредоточьтесь на этом. Шкловскому надлежит озаботиться новым автомобилем его величества. Задача ясна?

— Так точно! — вытянувшись во фрунт и вылупив глаза, вразнобой рявкнули литераторы. Ещё Пётр

Первый говорил, что *перед начальством вид надо иметь лихой и придурковатый*.

Глава IV. Простые будни непростого доктора

Тремя лучами пронзая Петроград, разбегаются от Адмиралтейства Невский проспект, Вознесенский проспект и между ними Гороховая улица. Невский уходит почти на восток…

…а Вознесенский — на юг; через мосты переваливает заледеневшие Мойку, Екатерининский канал и Фонтанку; превращается в широченный Измайловский проспект и всё так же прямо бежит к Обводному каналу. Здесь город кончается, но начинается Варшавская железная дорога.

За мостом через Обводный канал, прямо против Измайловского проспекта, высится безыскусное вокзальное здание. Ещё полста лет назад, при Александре Втором, отсюда к императорскому дворцу в Гатчине двинулись первые поезда, которые теперь доходили аж до самой Польши. Позади вокзала — припорошенная серым снегом товарная станция. Здесь, в одном из тупиков рядом с новой городской скотобойней, среди бесчисленных путей, змеящихся между депо и пакгаузами, готовился к очередному фронтовому рейду санитарный поезд Красного Креста.

Поезд был создан благодаря энтузиазму депутата Государственной думы Пуришкевича. Владимир Митрофанович расстарался и организовал перворазрядный состав: ещё бы, ведь соревноваться его детищу приходилось с санитарным поездом самой государыни Александры Фёдоровны!

Пуришкевич исхлопотал генеральский чин и щеголял в мундире. Он увлечённо боролся с начальницей склада солдатского белья, женой военного министра Сухомлинова, которая разделяла нелюбовь

императрицы к агрессивному депутату. В муравейнике девиц и дам, работавших у Сухомлиновой, состояли многочисленные прапорщики ускоренного выпуска из богатых семейств. Вся эта сытая тыловая сволочь числилась адъютантами для неведомо каких поручений, лоснилась, ходила в защитных френчах и кичилась военной службой, хотя пороху никогда не нюхала и нюхать не собиралась.

Ещё воевал Владимир Митрофанович со свиномордыми чиновниками в Главном управлении российского Красного Креста, где занимались лишь интригами, собственными орденами и писанием бумаг в ущерб живому делу. Ездил с докладами к принцу Александру Петровичу Ольденбургскому. Разоблачал безобразия в санитарном обеспечении солдат на фронтах. Скандалил с ворами-интендантами и вызывал их на дуэль. Добывал противогазовые маски Зелинского для солдат из пополнения; закупал книги, табак и сапоги…

Организацией же работы поезда и поставками медикаментов, особенно от английских и американских союзников, на самом деле ведал главный врач Станислав Лазоверт, сотрудник Международного Красного Креста. Вступая в должность, он сразу препоручил медицинскую практику коллегам из штата поезда и целиком сосредоточился лишь на хозяйственной части.

По всегдашнему обыкновению доктор трудился с самого утра. Для начала он сделал смотр унтер-офицерскому и рядовому составу, санитарам и шофёрам: кто есть, кого нет… От Варшавского вокзала по Измайловскому проспекту в четверть часа можно добежать до Фонтанки. А там — что налево, в Коломне, что направо, у Гороховой — домов свиданий не счесть, и уйма женщин с добрым сердцем. Вот и бегали

солдатики: блудливому кобелю семь вёрст не крюк! Приходилось проверять что ни день.

После смотра Лазоверт выслушал доклады врачей и сестёр, потом железнодорожников, инженеров, военных… Подготовка к новому рейду заканчивалась. Только что посетив Румынский фронт, санитарный поезд снова собирался в дорогу.

Доктор обошёл состав изнутри и сделал несколько замечаний. Даже выговаривая кому-то, Лазоверт никогда не повышал голоса — лишь спокойно перекатывал во рту русские слова, тронутые иностранным акцентом. Несмотря на морозец, доктор придирчиво и долго обследовал все вагоны снаружи. Приказал подновить местами надписи на бортах и даже заглянул под днища, не пропустив ни одной колёсной пары. Наконец к облегчению сопровождающих он объявил в инспекции перерыв и с тем вернулся в классный штабной вагон, где за дверцами красного дерева помещались их с Пуришкевичем купе.

Войдя к себе, Лазоверт щёлкнул бронзовым выключателем и зажёг лампионы. Это жилище нельзя было назвать спартанским. По размеру купе превосходило обычные: здесь помещались огромное мягкое кресло, обтянутое бордовым бархатом, и в тон ему широкий раскладной диван. Уютом веяло от занавесок на окне, наполовину задёрнутых плотной шторой с ламбрекеном и витыми золотыми шнурами. На белой крахмальной скатерти столика, рядом с милой бутоньеркой в вазочке, ждала початая бутылка коньяку — *tinctura coniaci*, как на медицинский лад именовал его Лазоверт. Кроме собственной печки, к услугам обитателя квартиры на колёсах был умывальник, благоухающий мужским парфюмом, — с туалетом, зеркалом в полстены, аккуратным несессером на полке и толстыми полотенцами на крючках.

У входа в купе доктор повесил на плечики в шкафу пальто с барашковым воротником и пиджак. По-врачебному тщательно, со щёткой вымыл руки горячей водой и устроился в кресле. Он плеснул в рюмку *tincturae coniaci*, чтобы выгнать изнутри остатки станционного холода, ослабил узел галстука и расстегнул верхние пуговицы жилета. Раскуривая толстую сигару, на столике перед собой Лазоверт неторопливо листал английский медицинский журнал. Он скользил взглядом по страницам, но мысли его унеслись далеко…

Санитарный поезд непрерывно курсировал между столицей и фронтами. В каждом городе, на каждой станции общительный Пуришкевич не сидел на месте, успевая повстречаться и с солдатами, и с офицерами, и с генералами. Доктор же оставался в поезде и почти не показывался на́ люди. Однако Владимир Митрофанович, найдя в Лазоверте благодарного слушателя, коротал с ним долгие перегоны и подробно рассказывал обо всём увиденном и услышанном. Почти не перебивая, доктор внимал быстрой речи своего начальника. Его лаконичные замечания всегда приходились кстати, обычно подтверждали соображения Пуришкевича и поощряли того к новым рассказам.

Так обсудили они замечания генерала Деникина насчёт перемены Верховного главнокомандующего, когда император сместил великого князя Николая Николаевича и сам занял Ставку. Вопреки расхожему мнению, Антон Иванович Деникин считал, что в армии эта перемена не вызвала большого впечатления. Конечно, высшие офицеры поволновались. Был страх за отсутствие военных знаний и опыта у нового Верховного: это могло осложнить и без того непростое положение армии. Опасались, что скажется влияние Распутина. Но когда император назначил начальником

штаба опытного и популярного в войсках генерала Алексеева — остальной генералитет успокоился.

Что же касается солдат, то в иерархических тонкостях они не разбирались, а государь император в их представлении всегда был главой армии. Правда, Пуришкевич присовокуплял, что это Распутин с царицей внушили царю опасную мысль — удалить из Ставки Николая Николаевича, отправить его на Кавказ и самому стать Верховным.

Владимир Митрофанович не сомневался: либо Александра Фёдоровна, кровная немка и кузина германского кайзера, — враг России, либо её волю полностью подчинил себе Распутин, действующий по немецкой указке и лезущий в военные дела. Неспроста Николай Николаевич, ещё будучи Верховным, коротко пообещал: *Появится Гришка в Ставке — прикажу повесить!*

Пуришкевич обсудил с Лазовертом и слова командующего Юго-Западным фронтом генерала Брусилова. Того самого Брусилова, что ещё в начале балканского конфликта пророчил начало мировой войны не позже пятнадцатого года, а в шестнадцатом предпринял фантастически успешную наступательную операцию. В дерзком Брусиловском прорыве особо отличились армии генерала Каледина и старого балетомана генерала Безобразова: они разгромили австро-венгерские войска и заняли Галицию и Буковину.

Потери австрийцев — полтора миллиона человек убитыми, ранеными и пленными — вынудили их перебросить шесть пехотных дивизий с Итальянского фронта. Ещё одиннадцать дивизий перебросили из Франции германцы, и это позволило союзникам России вздохнуть с облегчением. К тому же Румыния, под впечатлением от успехов русских, решилась воевать на стороне Антанты…

…но всё же Брусилов был невесел. Ведь если бы до войны какой-нибудь командир вздумал объяснить своим подчинённым, что главный враг России — немец, который готовит нападение, — этого господина немедленно выгнали бы со службы или даже предали суду. А любого учителя за такие слова просто объявили бы опасным панславистом, ярым революционером и сослали в Туруханский или Нарымский край.

Ещё два с половиной года назад немец был в России всесилен и занимал высокие посты. И даже теперь пополнения, прибывшие из глубинки, совершенно не понимали, какая такая война свалилась им на голову. *Шо вдруг?* — говорили в белорусском Могилёве, где помещалась Ставка Верховного главнокомандующего.

Спрашивал Брусилов своих солдат, почему они воюют, и каждый раз слышал: мол, какой-то там Эрц-Герц-Перц с женой были убиты, а потому австрияки захотели обидеть сербов. Трудно крестьянину запомнить имя австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда… И кто такие сербы — солдаты тоже не знали. И кто такие славяне — ответить не могли. Как же им было понять, почему немцы из-за Сербии вздумали воевать с Россией?! Выходило, что людей ведут на убой по царскому капризу, а это не придавало популярности ни войне, ни государю…

— Раньше надо было думать! — горячился Пуришкевич. — Чем виноват наш крестьянин, что не слыхал о замыслах Германии и вообще не знал такой страны? Только знал, что существуют какие-то немцы, которые обезьяну выдумали, и что зачастую сам губернатор из этих умных и хитрых людей!

— Откуда крестьянину знать, что такое Германия или тем более Австрия, если он о России-то понятия не имеет? — вторил ему Лазоверт.

— Вот-вот, — соглашался Пуришкевич. — Нет у русского человека понятия о великой матушке-России! Знает разве что свой уезд и совсем немного — губернию. Знает, что есть где-то далеко Петербург… пардон, Петроград и Москва, и на этом знакомство с отечеством заканчивается. Как же его защищать? Откуда взяться патриотизму и любви к Родине?

От печки по купе разливалось тепло. Тепло бежало по жилам от *tincturae coniaci* из французской бутылки, и вуали сигарного дыма струились к потолку…

Не так давно, во время японской кампании, генералы потешались над окопной войной. Зато теперь в землю зарылись многомиллионные армии. Российская авиация подкачала: аэропланов было мало, и большинство из них — слабые. Знаменитые «Ильи Муромцы» — воздушные гиганты, на которые возлагали столько надежд, — не оправдали себя, а дирижаблей к началу войны оказалось всего несколько штук, да и то купленных втридорога за границей… Результат, по мнению Брусилова, выглядел печально: Россия фатально отставала от врага в технике, и это отставание могло восполняться только солдатской кровью. Тут не до веселья!

В последнем рейде санитарный поезд завернул в Могилёв: Пуришкевич получил приглашение в Ставку. Со встречи с императором он вернулся мрачнее тучи, кусал губы, и Лазоверту совсем не скоро удалось его разговорить.

Однако постепенно коньяк, сигары и монотонно бегущий ночной пейзаж за окном по пути в Петроград сделали своё дело. Пуришкевич рассказал: пока он в блестящей шумливой толпе великих князей и генералов ждал выхода Верховного, многие из них обращались к нему с просьбой — рассказать императору всю правду, не жалея красок, и открыть глаза на истинное положение дел.

— Трусы! — бушевал подпивший Пуришкевич в купе санитарного поезда, сверкая стёклышками пенсне и вспотевшей лысиной. — Жалкие, презренные себялюбцы и трусы! Они ежедневно видят государя, они имеют к нему доступ… В конце концов, великие князья — его родственники! Это их долг — каждый день говорить ему правду, ибо они в курсе всего того, что творится в стране и на фронтах. Они прекрасно знают, что творят Распутин с императрицей, прикрываясь именем государя и убивая любовь к нему в глазах народа! Знают, но молчат. Получают всё, чего только пожелают — и молчат! Дурманят его сладкой лестью и даже не пытаются оградить от вранья правительства, от всех этих мыльных пузырей! А народ не будет терпеть вечно! Народ встревожен!

На докладе Владимир Митрофанович высказал государю всё, что наболело. И о холере на Румынском фронте. И о полуодетых, полуобутых, полуголодных и плохо вооружённых солдатах. И о бестолочи тыловых и санитарных служб. И о потрясающем размахе воровства в военных ведомствах… Конечно, не удержался Пуришкевич от того, чтобы просить императора выслать Распутина, убрать его от императрицы, а саму её — устранить от государственных дел.

Тон государя вмиг стал холодным. Полученная отповедь потрясла Пуришкевича — хотя неизвестно, на что рассчитывал депутат, рубя в Ставке правду-матку.

— Последняя осталась у меня возможность, — упавшим голосом заключил Владимир Митрофанович, допивая докторский коньяк. — Последний шанс. Если, не тая, сказать обо всём с думской трибуны — многое можно ещё исправить.

Лазоверт считал иначе, однако соображения эти держал при себе. И сейчас, листая журнал в своём купе, прикидывал возможные варианты развития событий.

Допив коньяк, он трижды нажал кнопку электрического звонка над столиком и сказал явившемуся буфетчику:

— Подавайте обед. Владимир Митрофанович задерживается — пожалуй, не стоит его ждать.

А когда буфетчик вышел — отложил журнал, прикрыл уставшие глаза, откинулся на спинку кресла и снова погрузился в размышления.

Что бы ни говорили генералы, что бы ни рассказывал Пуришкевич, но наступающий семнадцатый год станет годом решительных русских побед. Это неминуемо и очевидно. Самое позднее, в марте начнётся наступление на всех фронтах, и войне конец. Причём одержит победу не столько Антанта, сколько именно Россия. Набирающая силу и заканчивающая перевооружение Россия, чьи армии вторглись далеко в Европу. Россия-спасительница, которую безоглядно поддержат на Балканах и не только. Огромная Россия, которая от Белого моря раскинется уже не до Чёрного, но до самого Средиземного…

Предвидя столь нежелательную для себя перспективу, страны Антанты искали способы влияния на русского императора, который выразил своё отношение к союзникам ещё в начале войны. Когда Николая призывали воевать с немцами до последней капли крови, он заметил: господа из Англии и Франции, очевидно, имеют в виду войну до последней капли *русской*крови?

Так что, отправляя эмиссаров на союзническую конференцию в Петроград, британский премьер-министр Ллойд-Джордж дал им сверхсекретное указание. Он потребовал искать соглашения, которое поможет выслать Николая с женой из России, а управление страной возложить на регента. Опираться предполагалось на оппозицию и сочувствующих в русской Ставке.

В ходе конференции британцы выдвинули Николаю Второму три условия: ввести в штаб Верховного главнокомандующего представителей союзников с правом решающего голоса, обновить командный состав русской армии по согласованию со странами Антанты и ввести ответственное министерство.

По всем пунктам император ответил отказом.

— Союзные представители в нашем штабе излишни, ибо мы не предполагаем вводить своих представителей в штабы союзников, — холодно сообщил он своим негромким голосом. — Мы не видим смысла в обновлении командного состава, поскольку наши армии сражаются с бо́льшим успехом, чем ваши: свидетельством тому хотя бы Брусиловский прорыв. Что же касается введения в России новых министерств, джентльмены, то акты внутреннего управления подлежат единственно усмотрению монарха и никак не требуют указаний союзников!

Британский ультиматум был категорически отвергнут. Неотвратимо приближался конец мировой войны, а с ним — пугающая победа русских. Времени для дипломатических игр уже не оставалось. Приходилось идти на последнюю, крайнюю меру для укрощения не в меру успешной России: интриговать непосредственно против императора Николая.

Аристократ британской разведки, виртуоз оперативной работы Вернон Келл одним из первых предугадал такой сценарий. Вот почему он загодя появился в России. Болтливый Пуришкевич с его санитарным поездом, колесившим из Петрограда по театрам военных действий, стал настоящим подарком судьбы для Келла — теперь сотрудника Международного Красного Креста с документами на имя доктора Станислава Лазоверта.

Глава V. Кто ездит в Царское Село

Бывало, за Распутиным присылали мотор. Но чаще всё же ездил он в Царское Село на поезде. Чаще? За этот год — по пальцам пересчитать можно, сколько раз государыня принимала брата Григория в Александровском дворце. Последнее время виделся он больше с Аннушкой Танеевой, которая из Царского почти не выбиралась.

Подходя к Царскосельскому вокзалу, Распутин глянул на часовую башню: времени до отправления поезда оставалось немного. Он обогнул здание и прошёл берегом Введенского канала, что тянулся вдоль железнодорожной насыпи и соединял Фонтанку с Обводным. Заморозки в этом году ранние — днями, поди, лёд встанет… Распутин поднялся на уровень второго этажа: там под ажурными перекрытиями вокзального дебаркадера поезда струили дымок из вагонных печек и собирали пассажиров. Кинул взгляд в сторону отдельного Царского павильона, куда прибывали члены императорской фамилии…

Раньше Аня Танеева всегда была при государыне, но вот уже почти два года держалась от поездов подальше. В январе пятнадцатого она ехала в Петроград. От Царского Села всего-то двадцать вёрст! Что тогда случилось, как это произошло — дело тёмное, только разогнавшиеся вагоны вдруг попадали с рельсов и закувыркались по насыпи, калеча людей.

Переломанную фрейлину врачи признали безнадёжной и только по настоянию государыни поместили в отдельную больничную палату. У кровати умирающей Аннушки слезами обливалась императрица, терявшая лучшую и, пожалуй, единственную свою

настоящую подругу. Возле окна курил одну папиросу за другой государь: он с содроганием вспоминал давнее крушение поезда по дороге из Крыма, в котором сам чудом спасся, а отец его повредил почку, да так и не оправился.

Такими увидал всех троих Распутин, вызванный в больницу по высочайшему повелению. Троекратно облобызался с царём-батюшкой и царицей-матушкой, утерев ей слёзы. Попросил их отойти в сторону, а сам встал у высокого больничного ложа и взял Аннушку за руку.

Фрейлина лежала в беспамятстве. Врачи сделали всё, что могли и должны были сделать: спеленали треснувшие рёбра, обездвижили ломаные кости таза и ног, обработали разбитое, заплывшее лицо… Кроме обычного для больницы запаха карболки Распутин почуял запахи свежего гипса, бинтов, крови — и «Вербены», которой пользовалась Аня в подражание своей госпоже.

Императрица опустилась на стул, государь приобнял её за плечи, и так смотрели они на Григория Ефимовича. А он, положив меж своих тёмных ладоней исцарапанные Анины пальцы с обломанными ногтями, закрыл глаза и замер. И принялся говорить — мысленно, не произнося вслух ни слова.

Много раз его спрашивали, *как* он это делает. А он даже толком не знал, *что* он делает — делал, и всё… В голове нарастал комариный писк. Через холодеющую руку фрейлины — покрытую синяками полную руку с ободранным локтем — его мрак соединился со мраком Ани, и Григорий почувствовал, как в её теле пульсирует жизнь. Увидал внутренним взором бьющегося где-то в глубине маленького такого светлого червячка, чуть теплящегося… К этому червячку, к этому биению, к этому свету обращался Распутин. Уговаривал, требовал, повторял и повторял одну-единственную просьбу: не

покидать Аню. И будто выталкивал тёплый комочек из бездонных глубин, из тьмы — к свету, питал ту жизнь — своей, перетекавшей через сомкнутые руки…

В звенящей тишине больничной палаты вскрик императрицы прозвучал оглушительно. Вбежавшая санитарка увидела, что веки несчастной фрейлины дрожат, — и вот уже Аня открыла глаза и медленно, тяжело обвела взглядом палату.

— Не умрёт, — глухо проговорил Распутин, осторожно опустив руку Танеевой обратно на простыню и погладив её, — не умрёт, ничего… Поправится, жить будет. Калекой останется… да, жалко… А всё ж поправится, жить будет, не умрёт…

Его мутный взгляд в эту минуту был очень похож на Анин. Григорий Ефимович словно с трудом понимал, где он находится и что происходит вокруг. Зацепив плечом санитарку, на ватных ногах он двинулся к выходу.

В коридоре Распутин сделал несколько шагов по жёлто-белым шашечкам метлахской плитки — и почти рухнул на священника, которого кто-то уже предусмотрительно вызвал. Батюшка подхватил его, усадил на скамью у стены.

— Ничего, жить будет, — шептал Григорий Ефимович, — не умрёт…

Если бы в тот момент он порезал себе палец — наверное, вот так сидел бы и безвольно смотрел, как струится кровь, и истёк бы, не в силах даже шевельнуться.

Фрейлина действительно поправилась, хотя выздоравливала мучительно долго и осталась калекой. Она ездила теперь на кресле-каталке и заново училась ходить. Говорила: когда ковыляет на костылях — вспоминает, как в доме отца по субботам собирали аристократических детей и обучали танцам. Ей в пару вечно доставался мелкий вертлявый Феликс Юсупов, нещадно топтавший ноги…

С поездом была связана ещё одна прошлогодняя история. В очередной раз государь отправился в Ставку и решил взять с собой цесаревича. Отъехать успели недалеко, когда у Алексея хлынула носом кровь. Состав спешно вернули в Петроград, мальчика поместили в дворцовой детской, а за Григорием Ефимовичем послали автомобиль.

Восковое лицо на подушке, кровавая вата из ноздрей… Подойдя к цесаревичу, Распутин задержался недолго.

— Нечего беспокоиться, — сказал он ошеломлённым папе с мамой и, перекрестив Алексея, вышел из детской.

Когда из дворца примчался посыльный, чтобы везти его к больному мальчику, Григорий уже немало выпил, а теперь стыдился винного смрада. Не хотел дышать ни на государя с государыней, ни тем более на ребёнка, вот и поспешил скорее уехать. Кровотечение же и впрямь с его отъездом прекратилось; цесаревич пошёл на поправку, снова поражая докторов и укрепляя веру в целителя…

Теперь Распутин ехал на поезде. Против него устроились две девушки — молоденькие, румяные, хорошо одетые… Попутчицы были похожи — сёстры, небось, подумал Григорий. Они ни секунды не сидели спокойно, шуршали конфетными обёртками, стреляли во все стороны глазками, листали журналы — тронувшийся поезд качало на стыках, и девушки несильно стукались лбами, показывая друг другу страницы.

— Хотите? — спросила вдруг Распутина пигалица, волосы которой отливали медью. Ручкой с холёными ноготками она протягивала ему коробку с маркой «Первая фабрика конфет, шоколада и бисквита». — Угощайтесь!

Григорий Ефимович знал, что с шоколадом в Петрограде плохо. Не из-за войны, а из-за путаницы с тарифами: одни чиновники проворовались, другие напороли — всё как всегда. Но девушек этих, судя по богатой коробке, трудности обошли стороной. Распутин улыбнулся рыженькой.

— Благодарствуй, милая, — сказал он и отказался от конфеты.

— Почему же? — удивилась девушка. — Что за праздник сегодня такой, что конфеты есть нельзя?

Она взглянула на подругу, и обе задорно рассмеялись.

— Праздник… — повторил за разговорчивой хохотушкой Григорий Ефимович. — Как не быть празднику-то! Ноября первый день — стало быть, славим священномученика Садока. А конфеты есть можно. Почитай, две недели ещё можно, до Рождественского поста. Только не меня, а домового нынче угощать надобно. Мы вот в деревне всегда кашу с мёдом на сеновале ставили.

Сказал он про Садока — и вспомнил, как в такой же день одиннадцать лет назад близ Царского Села увидал в первый раз государя с государыней, папу с мамой. Ох, и давно это было — сколько же воды утекло!

— Берите-берите, не стесняйтесь, — не отставала рыжая.

— Вот ведь! — хлопнул себя по коленям Распутин. — Не ем я сладкого, дочка, не привычный.

Вторая девушка, шатенка с аккуратно убранными волосами, осуждающе смотрела на первую. Та пожала плечами и сама потянула из коробки конфету.

Миниатюрная тёмно-рыжая Лиля была старше своей сестры: ей уже исполнилось двадцать пять, а Эльзе — двадцать. Обе не красавицы, но если круглолицая Эльза выглядела милой простушкой, то большеголовая Лиля напоминала забавную обезьянку — когда бы не

ослепительная улыбка и огромные глаза, которые завораживали и заставляли обратить внимание на свою хозяйку.

Похожая на подростка Лиля научилась производить впечатление на мужчин ещё в те поры, когда и была подростком. По-настоящему свой дар она впервые опробовала на родном дяде — и буквально свела его с ума: солидный взрослый человек валялся в ногах у её родителей, умоляя отдать ему в жёны пятнадцатилетнюю девочку. Потом были другие жертвы страсти, которую она разжигала забавы ради; даже Шаляпина как-то заставила пригласить себя на спектакль. Родители нервничали, слыша крепнущий шёпоток о беспутстве дочери, а Лиля тем временем уже сделала первый аборт и продолжала множить число своих кавалеров.

Настоящим спасением стал удачно устроенный брак её с талантливым молодым юристом Осипом Бриком. Они оказались на удивление неплохой парой и впервые сильно повздорили года через два после свадьбы. После ссоры Лиля ушла из дому, а вернулась только на следующее утро.

— Ты взбесил меня! — с вызовом сказала она мужу. — Я гуляла... и загуляла! На Невском ко мне пристал офицер. Я пошла с ним в ресторан, а потом — в отдельный кабинет!

Брик оставался невозмутим, и Лиля растерялась.

— Что мне теперь делать?

— Обязательно принять ванну, — ответил он.

Эльза под удвоенным родительским надзором вела себя скромнее старшей сестры. Однако семнадцати лет и она не устояла — ударилась во все тяжкие, встретив скандального поэта-футуриста Владимира Маяковского. Бурный роман вызывал интерес и даже зависть Лили: её отношения с Осипом сводились лишь к совместному существованию — страсти там не было и в помине.

Эльза чувствовала Лилино нетерпение и, сколько могла, оттягивала момент знакомства хищной сестры с возлюбленным. Но всё же прошлым летом это случилось.

Они с Володей приехали к Брикам на дачу. Куда только девались хамские замашки и всегдашняя грубость Маяковского! Едва увидав Лилю и обменявшись с нею парой фраз, он сделался совсем ручным, как будто даже меньше ростом. Эльза думала поразить сестру Володиной мощью и своей властью над ним, а вместо этого — в кровь кусала губы, обречённо наблюдая очередную Лилину победу.

Маяковский влюбился сразу и бесповоротно. Он красовался каждым словом, каждым жестом. Играя гулким голосом, прочёл свою новую поэму «Облако в штанах». Потрясающе прочёл! И тут же размашисто вывел на тетрадке с рукописью посвящение *Лиле Юрьевне Брик*. Свои стихи, выворачивающие душу наизнанку стихи о любви к женщине, которая была у него до Эльзы, — посвятил той, что — сомнений уже не оставалось — будет после неё.

Рыдать? Бессмысленно. Ждать от Брика подмоги — тоже. Осип не тешил себя иллюзиями: Лиля к двадцати годам уже потеряла счёт любовникам. Его интересовала не плотская сторона брака, но партнёрские, добрососедские отношения. Брик был знатоком литературы и человеком практическим — его привлекало сотрудничество с Маяковским-поэтом. Поэта привлекла его жена. И что же? Каждому своё…

Однако Маяковский не остался простым героем нескольких строк в Лилином интимном дневнике. И она видела в нём не обычное мимолётное увлечение. Странные отношения тянулись второй год. Лиля держала Володю на коротком поводке, дразня обещанием близости; не отпускала его *от* себя, но и не допускала *до*. В безудержном кураже продолжала

терзать — и вымучивала у поэта новые страстные стихи с единственным посвящением: *Лиле*.

Эльза не простила старшей сестре украденного любовника, зато нашла утешение в объятиях Виктора Шкловского. И точно так же, как Лиля, помыкала влюблённым молодым человеком — брала реванш перед сестрой и неосознанно продолжала мстить Маяковскому.

Волею судьбы и стараниями хитроумного Осипа трое мужчин оказались вместе на службе в автошколе. Брик издавал стихи Маяковского и занимался со Шкловским литературными исследованиями. В их с Лилей маленькой квартирке на улице Жуковского, в двух шагах от Литейного проспекта, собирались художники, поэты, писатели…

Лиля привыкла к вниманию, которое оказывали ей мужчины. Но сейчас против воли её собственное внимание приковывал мужик лет пятидесяти, сидевший в поезде напротив. Крестьянское морщинистое лицо с большущим носом, небрежный пробор стриженных в скобку волос, лохматая борода, сутулая посадка, тёмные жилистые руки, зажатые между колен… Всё это не вязалось с яркой шёлковой блузой, которая выглядывала из распахнутого воротника поддёвки, с бархатными штанами, высокими сапогами в новеньких фетровых калошах и тяжёлым золотым браслетом, блестящим на запястье.

Но главное — глаза. Небольшие, глубоко посаженные и такие пронзительные, что Лиля почти физически чувствовала, как мужик смотрит. Лицо его казалось знакомым — хотя откуда?

Ногти Эльзы вдруг больно впились в её руку. Лиля едва не вскрикнула — и обмерла, увидав страницу, которую сестра открыла в своём журнале. Там красовалась карикатура с подписью: *Мы, Николай Второй*, — и ниже: *Романов и Распутин*. На рисунке

рядом с императором в лихо заломленной набок казачьей шапке, потупившись, глядел куда-то вбок тот самый мужик, что сидел сейчас напротив. Художнику удалось передать сходство: и растрёпанные волосы, и неряшливую бороду; только живого выражения глаз не смог он ухватить.

Распутин!

Лиля снова почувствовала его пронизывающий взгляд.

— Язык-то это какой, милая? — спросил Распутин, кивнув на журнал, который Лиля держала в руках. Ося затеял новое издание, для которого ему нужен был переводчик. Нанимать кого-то на стороне — немыслимая роскошь, особенно сейчас, и тем более когда жена владеет несколькими языками…

— Французский, — ответила Лиля.

— Надо же, — уважительно сказал Распутин. — А немецкий знаешь?

Странный был вопрос для военного времени. Но разве не странно сидеть запросто в поезде со *святым чёртом*, угощать его конфетами и разговаривать? С самим Распутиным, про которого столько писали сейчас! Лиля мигом вспомнила самые невероятные слухи: он-де и женщин соблазняет десятками, и самой царицы любовник, и министров назначает, и армией командует, и вообще царём вертит, как хочет… Про то и карикатура Эльзе попалась: Николай с Гришкой теперь называются — *Мы*, а государь неспроста *Второй*: первый-то, выходит, как раз Распутин!

— Немецкий? — Лиля, не отводя взгляда, с улыбкой смотрела в серо-синие мужицкие глаза. — Немецкий — свободно! Спрашивайте.

Поезд вздрогнул, тоскливо покряхтел тормозами и остановился у павильона Царского Села. Подхватив сумки, сёстры вышли на заснеженный перрон. Мужик не отставал.

Лиля крутанулась на каблуках и снова глянула на него.

— А я знаю, кто вы! — заявила она. — Вы ведь Распутин, верно?

— Верно, я и есть. Признала? Распутин Григорий, сын Ефимов. — Он погладил бороду. — Понравилась ты мне — бойкая! Заходи в гости. Дом-то найдёшь, поди, на Гороховой? Шестьдесят четвёртый номер, от Фонтанки недалеко. Заплутаешь — спроси там, любой подскажет.

— Сама найду! — сказала Лиля.

Распутин кивнул и пошёл к выходу с перрона, поскрипывая снегом под модными фетровыми галошами-ботиками, надетыми поверх сапог.

— Ты что?! — горячо зашептала Эльза и вцепилась в рукав Лилиного пальто. — Ты ведь не пойдёшь к нему? Он же… чёрт! Настоящий чёрт! Он с девушками такое!.. Скажи, не пойдёшь?.. Сумасшедшая!

Глава VI. Фальшивые голуби

— Дай!!!

Крикнув, великий князь Дмитрий Павлович вскинул ружьё и напряжённо замер.

Шагах в пятнадцати от него из-за деревянного щита стремительно вылетели одна за другой две толстых глиняных тарелочки. Дмитрий Павлович подался вперёд, упирая дробовик в плечо, по очереди спустил курки — и мишени разлетелись вдребезги.

Щёлкнули эжекторы, выбросив на снег дымящиеся стреляные гильзы. Великий князь перезарядил ружьё, снова изготовился к стрельбе и крикнул:

— Дай!!!

Флигель-адъютанту государя, отозванному с фронта и вынужденному прозябать вдали от театра военных действий, только и оставалось, что отводить душу стрельбой на Крестовском острове.

Великие князья рвались в бой с самого начала войны. Дмитрий Павлович не был исключением. На фронте он чувствовал, что наконец-то занимается своим делом. Георгиевский крест ему достался вполне заслуженно…

…только уже в сентябре четырнадцатого года смертельную рану получил великий князь Олег Константинович — ровесник Дмитрия, сын великого князя Константина Константиновича. Вслед за сыном поэт К.Р. потерял зятя, и от горя скоро умер сам. После этого генералиссимус русской армии, великий князь Николай Николаевич повелел беречь особ императорской крови. Их всех вернули в тыл — так Дмитрий Павлович оказался в Ставке, а позже государь направил его в Петроград.

— Дай! — снова крикнул великий князь.

Американское развлечение — стрельба по тарелочкам — военной зимой заменяло привычную стрельбу по живым голубям: содержать садки с птицей стало накладно. На Крестовском острове, на большом стенде для настоящих знатоков, появились метательные машинки. Их крепили к земле и закрывали щитами, чтобы усложнить задачу стрелку: глиняные снаряды вылетали неожиданно. Криком Дмитрий Павлович давал сигнал рабочему, тот дёргал за верёвку, тянувшуюся к очередной машинке; механизм срабатывал… Дальше всё зависело от сноровки и меткости стрелка.

Снова щёлкнули замки ружья, и латунные гильзы зашипели на снегу. Дмитрий Павлович бил без промаха — десять из десяти. Все машинки опустели; рабочий побежал за щиты, чтобы взвести механизмы и зарядить их новыми тарелочками.

Великий князь повесил переломленное ружьё через плечо, вынул из кармана охотничьей куртки папиросы и закурил, поглаживая стволы. Он любил красивое оружие и дорожил этим дробовиком — горизонтальной двустволкой с золотой инкрустацией, которая изображала сцены охоты.

— Ружьё, я полагаю, немецкое? — раздался сзади знакомый насмешливый голос.

— «Зауэр», — буркнул, оборачиваясь, Дмитрий Павлович.

Подошедший Феликс Юсупов был одет в форму Пажеского корпуса. Чёрное драповое пальто не слишком грело: зябнуть он стал сразу, как только вышел из автомобиля.

— Что же вы, батенька, так непатриотично себя ведёте? — продолжал Феликс. — Нет бы взять хорошее наше… Где у нас ружья хорошие делают?

— В Туле, в Ижевске, — по-прежнему неохотно ответил Дмитрий Павлович.

— Вот, — подхватил Феликс, — взял бы хорошее тульское ружьё и упражнялся!

Появление Юсупова не обрадовало великого князя. Он специально в одиночку выбрался на Крестовский, чтобы отвести душу и всласть пострелять. К тому же их отношения с другом детства уже не были такими безоблачными, как раньше.

— Я смотрю, ты уже давно здесь. — Феликс кивнул на разбросанные гильзы. — Не теряешь формы, молодец! Можно, я попробую?

— Взял бы хорошее тульское ружьё… — передразнил его Дмитрий Павлович, снимая «зауэр» с плеча. Он знал, что от Феликса не отделаться, особенно когда тот под кокаином.

— Так ведь нет у тебя тульского! — рассмеялся Юсупов. — А ижевского… тоже нет! Какой калибр?

— Двенадцатый. Патроны в коробке. Заряжать сам будешь.

— Справлюсь, не маленький, — приговаривал князь, распечатывая коробку с патронами на столике возле огневого рубежа. — Вот скоро экзамены сдам и тоже буду офицером…

Феликс после возвращения из Оксфорда всё же поступил на специальные курсы Пажеского корпуса, хотя и был много старше своих соучеников. Но ещё до того, ещё до войны — женился на племяннице императора, великой княжне Ирине Александровне.

На свадьбу пригласили всего шестьсот человек, зато каких! В Ани́чковом дворце, принадлежащем бабушке невесты, вдовствующей императрице Марии Фёдоровне, собрался цвет российской и европейской аристократии. Дамы в длинных с полувырезом платьях, без шляп, гражданские кавалеры в праздничной форме и военные — в парадной. Так было определено в приглашениях, разосланных обергофмаршалом.

Государь с государыней, все четыре царевны и остальные члены императорской фамилии прибывали к собственному подъезду. Туда же подъехала Ирина Александровна — невероятно прекрасная в шитом серебром платье из белого сатина с длинным шлейфом. Из-под хрустальной диадемы с алмазами ниспадала ажурная фата — кружева эти носила ещё королева Мария Антуанетта. Четвёрка лошадей, цугом запряжённых в карету великой княжны, должна была напоминать статуи Аничкова моста. В Красной гостиной невесту благословили император и вдовствующая императрица.

Феликс даже на свадьбе остался верен себе и сумел отличиться. Отказавшись от фрака и надев к белым панталонам экстравагантный жокейский редингот — чёрный с золотыми отворотами, — он словно подчёркивал, что не служит ни по военному, ни по гражданскому ведомству, а просто свободно *гарцует* по жизни. Мало того, по приезде Юсупов-младший благополучно застрял в лифте, заставив будущую жену волноваться, а высоких гостей — томительно ждать его вызволения.

Зван был на свадьбу и великий князь Дмитрий Павлович. Его жилище — Сергиевский дворец — разделяла с Аничковым только река Фонтанка; дворцы стояли окна в окна. Сотня шагов пешком, или минута езды по Невскому проспекту через мост, украшенный скульптурами вздыбленных и усмирённых коней Клодта.

Дорого бы дал Дмитрий Павлович за то, чтобы оказаться в тот день за тридевять земель! Обманул его Феликс, дважды обманул. Сначала отговорил от почти уже решённой женитьбы на императорской дочери, великой княжне Ольге Николаевне. И потом, когда Дмитрий Павлович принялся ухаживать за Ириной Александровной — сделал всё для того, чтобы не сложился роман; сам женился на государевой

племяннице! С тех пор и охладел великий князь к Феликсу, оттого и не порадовался появлению князя на Крестовском острове…

— Дай! — крикнул Юсупов.

Он уже занял место стрелка, и рабочий, снарядивший метательные машинки, потянул за верёвку. За деревянным щитом раздался щелчок, оттуда вылетели тарелочки-мишени.

Два ствола грохнули почти одновременно: по неопытности Феликс спустил сразу оба курка. Каким-то чудом дробь зацепила одну из тарелочек, а князь, выронив ружьё, скривился от боли и схватился за ушибленное плечо.

— Попробовал? — спросил Дмитрий Павлович. — Ещё или хватит?

Подскочивший ординарец бережно поднял «зауэр» с мёрзлой земли и по властному кивку великого князя потрусил в сторону машины, унося дорогое оружие от греха подальше.

Юсупов продолжал шипеть и чертыхаться.

— Что, и вправду крепко задело? — нахмурился великий князь.

— Вправду, вправду, — приплясывая, сквозь зубы ответил Феликс. — Ты видел? Я всё-таки попал!.. Чёрт, больно-то как! Голуби у вас тут фальшивые, а вот синяки точно будут настоящие.

— Голубей сейчас пойди найди, — вздохнул Дмитрий Павлович.

— Нет голубей — есть вороны… или жаворонки… чёрт!

Стрельба по живым голубям была не просто популярной забавой офицеров и аристократов, но даже входила в программу первых Олимпиад. И «Полюстровское общество голубиных садков», а за ним «Российское атлетическое общество» проводили постоянные соревнования стрелков, среди которых

великий князь Дмитрий Павлович пользовался заслуженным авторитетом. Американские машинки с глиняными тарелочками появились теперь лишь в Петрограде. А в Москве, Одессе, Харькове, Риге — прав был Юсупов — при нехватке голубей предпочитали стрелять по воронам и галкам.

— По тарелочкам гуманнее, — пожал плечами великий князь.

— Боже мой, — глянул на него Феликс, — и кто это говорит?! Боевой офицер! Стрелок от бога! Кавалер серебряного Георгия! Вся Европа воюет, а он голубей пожалел!

— Слушай, ты зачем приехал? Себя покалечить или мне нотацию прочитать?

— Поговорить, поговорить приехал. — Юсупов растирал плечо и всё ещё морщился. — Сказку тебе рассказать хочу про маленькую страну под названием Царское Село. Эта сказочная страна мирно спит себе на краю бездны. А чтобы она крепче спала, кругом сладко поют усатые сирены. Гудят мягко так: *Бо-о-о-же, царя храни!* А ещё аккуратно ходят в церковь. И время от времени вежливо спрашивают государя сказочной страны, когда они могут получить следующий орден, или повышение по службе, или прибавку к жалованью.

— Ты к чему это?

— К тому, что скоро конец этой сказочной стране. И бездна — вот она, совсем рядом… Слушай, давай отсюда перебираться, а то холодно!

Стрелковый стенд располагался в виду Большого Петровского моста — там, где речка Чухонка впадает в Малую Невку. Тарелочки летели в сторону воды, чтобы никого ненароком не задело выстрелом и не накрыло осыпью дроби.

Феликс пригласил Дмитрия Павловича в свой автомобиль; мотор великого князя двинулся следом. Дорога не отняла много времени. Приятели промчались

прямыми аллеями Крестовского острова, пересекли Каменный, махнули через мост к Новодеревенской набережной — и через несколько минут уже входили в жарко натопленные хоромы «Виллы Родэ».

Столы в обширном ресторанном зале пятью рядами тянулись к сцене. До вечернего представления сцена пустовала, гостей почти не было. Дмитрий Павлович с озябшим Феликсом прошли через зал и расположились в отдельном кабинете. Им подали горячий чай с ромом. Юсупов велел добавить в напиток корицу, гвоздику и дольку лимона. Затем отослал официантов, сделал добрый согревающий глоток и снова заговорил:

— Представь себе крест. Такой поэтический образ — крест, который несёт Россия… Ладно. Просто крест. В центре — император, наш добрый дядя Ники. А на четырёх концах — четыре разные силы, которые на него действуют.

Для наглядности князь выложил на скатерти крест из двух вилок и двух ножей, сходившихся к судку со специями, который изображал государя.

— Вот это, — Феликс показал на одну из вилок, — семья. Теперь ведь все в сборе…

С началом войны провинившимся великим князьям было высочайше разрешено приехать в Россию. После многолетней заграничной ссылки вернулся государев дядя — отец Дмитрия, великий князь Павел Александрович. Император пожаловал ему чин генерала от кавалерии и сделал своим генерал-адъютантом.

Помилования дождался и великий князь Михаил: государь простил ему женитьбу в Австрии на пепельноволосой Наталье Вульферт. Специально для Михаила Александровича из лихих кавказских джигитов создали Дикую дивизию, которой он теперь командовал, наводя ужас на врага.

— Это семья, которая перестала видеть в Ники императора, — жёстко заключил Юсупов. — Потому что сейчас России нужен другой… И не надо на меня так смотреть. Ты сам прекрасно это знаешь! Или не ты ездил его уговаривать?

Первые полтора года войны во главе армии стоял великий князь Николай Николаевич. Он постепенно забирал в руки всё бо́льшую власть, распространяя её с фронтов на прифронтовые районы, а потом и глубже в тыл. Дошло до того, что Грозный Дядя, как его прозвали, начал вызывать к себе в Ставку императорских министров для доклада. А то и просто издавал государственные распоряжения, минуя правительство.

Великий князь явно увлёкся, и летом пятнадцатого года император решил сам стать Верховным главнокомандующим, сместив дядю. Об этом узнали в Ставке. Дмитрий Павлович на специальном поезде отправился к Ники, чтобы уговорить кузена одуматься. Семья и высшие офицеры были напуганы: в мировой войне гвардейский полковник — не лучшая замена генералиссимусу.

После обеда они вышли в бильярдную. Государь внимательно выслушал Дмитрия Павловича, потом долго благодарил. Наконец, растроганные до слёз кузены обнялись и отправились в покои императрицы. Не было сомнений, что после прочувствованного разговора всё в войсках останется по-прежнему…

…и на следующий же день император назначил себя Верховным, а Николая Николаевича отправил командовать Кавказским фронтом!

— Новым государем вместо Ники может стать не только Грозный Дядя, это правда. Так считают многие — в семье и в армии. Многие, но не все. Остальные склоняются к тому, что следующего императора может и не быть!

Юсупов остановился, ожидая реплики Дмитрия Павловича, но тот лишь угрюмо молчал. Тогда Феликс взял вилку из креста, лежавшего на столе, и покачал ею перед носом великого князя.

— Эти остальные, — сказал он, — тоже часть семьи и часть армии. Но не только. Это ещё наша, с позволения сказать, буржуазия. А с ними господа в Государственной думе, добрая половина министров и чёртова либеральная интеллигенция. Аликс не зря называет их тварями. Тут я с ней согласен: тварей надо вешать. Вешать и вешать! А Ники с ними церемонится, рук не хочет марать… Рушится империя, дорогой мой. Сказочной стране конец… А как ты думаешь, кто может стать во главе республики?

Вопрос, пусть и заданный в упор, не застал великого князя врасплох. Конечно, об этом и думали, и говорили. Однако Дмитрий Павлович помолчал ещё с минуту, неторопливо закурил и только тогда произнёс, делая большие паузы:

— Из министров — никто. Они сами никто. Сегодня есть, завтра нет… Из думских — разве что Милюков или Родзянко… Из семьи? Михаил — вряд ли. Кирилл Владимирович… или, скорее, Николай Михайлович…

— Бимбо, — подтвердил Феликс, лишний раз демонстрируя отменное знание отношений в императорской семье.

Брак с Ириной приобщил его к царствующей фамилии и открыл доступ к семейным тайнам. Язвительного фрондёра Николая Михайловича родственники называли именем сказочного слонёнка — *Бимбо*, хотя великому князю было уже под шестьдесят. Он был популярен в России и за границей, держался от семьи особняком — и, пожалуй, действительно лучше всех подходил на роль республиканского правителя.

— Но у твоего креста ведь не два конца, а четыре, — полувопросительно сказал Дмитрий Павлович.

— У нашего, — поправил Юсупов и положил вилку на место, — у нашего креста! Верно, четыре, как положено. Не забудь ещё Европу, — с этими словами он взял со стола один нож, — и, уж прости, не забудь ещё народ! — Он взял второй нож и позвенел им о первый. — Европа имеет на нас виды. Волю дай — кровь до капли выпьет и косточки обгложет… Только на всю эту Европу народу — четыреста миллионов. А в одной России — сто шестьдесят, из которых десять миллионов — под ружьём. Ты из гуманизма по фальшивым голубям стреляешь, зато эти церемониться не станут. Десять миллионов вооружённых, озлобленных войной мужиков! Сегодня они в немцев стреляют, а завтра куда, можешь сказать? Я — нет. Вернее, могу, но… даже подумать об этом страшно.

Феликс бросил ножи на стол, и в кабинете стало тихо. За опущенной портьерой, которой Феликс отгородился от зала, негромко и мелодично заиграл на сцене оригинальный дуэт — арфа с шестиструнной испанской гитарой. Приближался вечер, музыканты разминались перед весёлым представлением.

— Ничего нового ты мне сейчас не сказал, — произнёс, наконец, великий князь.

— Я и не пытался, — парировал Феликс.

— Тогда зачем?..

— Затем что есть он. — Князь коснулся пальцами изящного хрустального флакона с оливковым маслом, пробка которого возвышалась над судком. — Наш государь и твой кузен Ники. Затем, что ты его любишь и желаешь ему добра. И затем, что есть эти…

Юсупов стукнул об стол донышками солонки и перечницы, вынутых из судка. Дмитрий Павлович кивнул.

— Аликс и Распутин, — сказал он, а Феликс продолжил:

— Ники, даже если сто раз не прав, всегда останется с семьёй и с армией. Если надо — снова поменяет министров, генералов, и снова поменяет, и снова… С Думой договорится — или раздавит, наконец, тамошних тварей. А уж будет в России самодержавие, или конституционная монархия, или парламентарная, или даже республика — не так важно… Но есть Аликс, и есть этот её вонючий мужик, которые толкают Ники вот сюда, — он показал на ножи, — и это — действительно про́пасть.

Тут князь вдруг улыбнулся и заключил:

— Не знаю, как тебе, а мне в пропасть совсем не хочется. В про́пасти пропа́сть — смотри-ка, с тобою точно поэтом станешь… Только некуда уже деваться, ваше высочество. Рушится страна. Остаётся выбирать: быть свидетелями, жертвами… или всё-таки самим что-то делать, чёрт возьми!

Глава VII. Страсти земные

В двенадцатом часу ночи сумрачный возница миновал палисадник с бронзовым Пушкиным в снежной ермолке и погонах, высадил Маяковского возле «Пале-Рояль», получил свой полтинник и укатил в сторону Лиговки.

Доходы, которые появились у Владим Владимыча с лёгкой руки Бурлюка, позволили молодому футуристу после переезда из Москвы в столицу поселиться на Пушкинской. И теперь, попав в автошколу, Маяковский продолжал квартировать в доходном доме баронессы Таубе, овеянном легендами и воспоминаниями.

Обитатели «Пале-Рояль» уже спали. Наследив по лестнице и коридору огромными солдатскими

ботинками, Маяковский добрался до своего жилища. Надо хотя бы часть работы брать на дом, думал он. В казарме не жизнь, но и возвращаться ночь-заполночь с подведённым от голода брюхом — тоже не дело. Вроде были в номере остатки хлеба: догрызть его с чаем и скорее спать. Чёрт, сахар же вчера кончился! Эдак с мудрёными Кегрессовыми чертежами самого себя забыть можно…

Маяковский нашарил ключ в кармане шинели, но дверь оказалась не заперта. Он шагнул в тёмную комнату и повёл носом. Густо пахло щами. В тот же миг его шею оплели девичьи руки, и ласковый голос проворковал:

— Во-овочка…

Все прежние любови Маяковского были не то.

Сонка из Минска — бессовестно красивая студентка-бестужевка Софья Шамардина; нежная змея, которую он увёл у Игоря-Северянина…

Юная Мария из Одессы — томная яркогубая Мария Денисова, которую он мечтал отнять у Бурлюка и вообще у всего света, на обороте портрета которой нацарапал: *Я вас люблю поняли симпатичная дорогая милая обожаемая поцелуйте меня вы любите меня?* — и потом выл поэмой «Облако в штанах»…

Даже Лиля Брик, которой — в отместку неприступной одесситке — он посвятил «Облако» и которая уже второй год изощрённо дразнилась, навлекая себе одно посвящение за другим…

…не то были они все. Потому что все захватывали в плен, порабощали, уносили на седьмое небо, разбивали сердце, пронзали бешеной страстью и заполняли Маяковского — собой. А очень земная девушка Тоня сама растворилась в Маяковском. Они увиделись раз, другой; потом стали встречаться то тут, то там, в артистических подвалах и кабачках, у общих знакомых

— и как-то само собою вышло, что стали порой спать вместе.

Не миниатюрная, неброская Тоня Гумилина обладала тихим обаянием — удивительным и немодным в любую пору. Она могла надолго замереть и просто любоваться Маяковским — неважно, читал он в это время со сцены, или спал, или брился, или резался в карты, или яростно спорил с другими поэтами, или глядел в окно... Над этим трогательным оцепенением шутили, Тоне с Володей завидовали. Бурлюк относился к девушке почти по-отечески, Хлебников — с нежностью. Говорили, что она поливает Маяковского вниманием, как цветок из лейки. А он, подлец, расцветает и снисходительно позволяет себя обожать.

Володю отношения с Тоней вполне устраивали: эдакая семейная жизнь без семьи. Она стирала и гладила его бельё, прибирала вечный беспорядок в *пале-рояльном* жилище, иной раз готовила что-нибудь домашнее, делила с Маяковским постель — и притом не пыталась по-женски свить гнёздышко. Тоня появлялась на день-два, могла задержаться на несколько дней, но потом снова пропадала — в Коломне родственница оставила ей махонькую квартирку, которая носила громкое звание мастерской: девушка была художницей.

Портреты членов семейства начальника автошколы, которыми Маяковский покупал особое расположение генерала Секретарёва, были результатом их с Тоней совместных усилий. Сначала Володя с натуры набрасывал эскиз, играя в придворного живописца генеральской семьи, а потом уносил набросок домой, где Тоня выполняла основную работу — она писала быстро, легко и в милой Секретарёву классической манере. Так что Маяковскому оставалось, как он говорил, лишь осчастливить полотно прикосновением кисти мастера: нельзя же, в самом деле, объявлять своей совсем уж чужую работу!

Так они и жили — не вместе, не врозь. Тоня осталась бы с Володей сразу и навсегда, только предложи, но он не спешил с предложением…

— А я задремала. — Девушка потягивалась, куталась в пуховый платок, наброшенный поверх халатика, и улыбалась. — Хотела обязательно тебя дождаться, а чуть с книжкой прилегла — меня и сморило сразу.

Володя с обыкновенным тщанием мыл руки, а Тоня продолжала приговаривать, собирая на стол:

— Я мяса купила такой кусок — даже резать жалко было, на картину просился! Половину в щи, а половину оставила, хотела ещё потушить, так у тебя в примусе керосин закончился. Я сразу принести не сообразила, а когда спохватилась — лавка закрылась уже…

Маяковский никогда не спрашивал, откуда она берёт деньги. На что живёт, с каких таких доходов балует его вкусненьким в пору, когда мясные лавки не работают четыре дня в неделю, цены выросли в несколько раз против довоенных, а булочные и чайные магазины прогорают что ни день. Может, ей родители с Рязанщины денег шлют, может, работы свои продаёт… Случалось, Тоне перепадало от Володи рублей десять-пятнадцать, иногда — четвертной. После удачного выступления или крупного выигрыша — в карты, на бильярде — он мог щедро выдать ей даже сотню. Но ровно так же мог под настроение потратить эти деньги на огромный букет цветов — и вовсе не обязательно для Тони. Или просто не давать денег неделю, другую…

Набросившись на еду, Маяковский выхлебал щи на диво быстро. Тоня с удовольствием смотрела, как её Вовочка, не торопясь, расправляется с добавкой и соловеет на глазах. А когда он, наконец, наелся — развернула перед ним холст.

— Вот, похвастаться принесла, — сказала она с застенчивой улыбкой. — Недавно закончила. Вдруг похвалишь?

На картине Тоня изобразила девочку с персиками. Ту самую Верушу Мамонтову, которую писал Серов и которая украшала теперь московское собрание Третьякова. И композиция та же, и палитра, и техника… Разве что на скатерти появились ещё несколько персиковых косточек, а надкушенный румяный плод катился по столу, выпав из разжавшихся пальцев: девочка была мёртвой. И сквозь тонкую девичью кожу уже просвечивал страшный костяк, череп оскалившийся.

— Это что такое? — спросил Маяковский после минутной паузы.

Тоня глянула на картину, будто в первый раз.

— Девочка с персиками, — сказала она. — Персики, понимаешь? Ну, персики, Древний Египет! В храме Изиды на стене написано: *Не открывай, иначе умрёшь от персика*. Или: *Не произносите имени Иао под страхом наказания персиком*. В Египте из них цианиды умели добывать… Ещё супа хочешь?

— Да нет уж, спасибо. — Маяковский поднялся из-за стола. — Аппетит пропал. Наверное, искусством нахлобучило.

Он принялся стаскивать с себя военную форму. Погрустневшая Тоня свернула холст и убрала в тубус. Маяковский в исподнем сел на пропевшую пружинами кровать, подобрал с пола книжку и раскрыл на странице, которая была заложена карандашом.

Цианиды лишают организм способности усваивать кислород. Кислород в избытке поступает с дыханием, но цианиды блокируют железосодержащий дыхательный фермент. Возникает парадокс: при избытке кислорода клетки и ткани не могут его усвоить, поскольку он химически неактивен. В результате наступает патологическое состояние организма, именуемое гистотоксической или тканевой гипоксией. Состояние проявляется удушьем, судорогами, параличами…

Брошенная Маяковским книжка перелетела через комнату и шлёпнулась в угол.

— Тьфу, что за ерунду ты читаешь?! Всё про смерть, про смерть, про смерть — книги, картины… К чему?

— Так ведь это просто, — сказала Тоня, стоя у окна и глядя в ночь. — На свете есть только Любовь и Смерть, а больше нет ничего. Люди любят Смерть… по крайней мере, когда умирают другие. Люди любят Любовь, а ведь Любовь — игра смертельная. Единственное слово, которое никогда не теряет своего значения — это слово *Смерть*. И мы идём всю жизнь — к Смерти… Как же о ней не думать? С тобой я о Любви думаю, но без тебя… Да ведь и ты такой же!

Не оборачиваясь, она начала читать из многажды слышанной трагедии «Владимир Маяковский», в точности повторяя авторскую интонацию:

Прохожий!
Это улица Жуковского?
Смотрит,
как смотрит дитя на скелет,
глаза вот такие,
старается мимо.
«Она — Маяковского тысячи лет:
он здесь застрелился у двери любимой».

— Не надо передёргивать, — нахмурился Володя, — дальше-то у меня как?

Кто,
я застрелился?
Такое загнут!
Блестящую радость, сердце, вычекань!

— И всё равно, — так же тихо продолжала Тоня, — я бы хотела так, как ты написал…

Легенда есть:
к нему
из окна.
Вот так и валялись
тело на теле.

Маяковский подошёл к ней и обнял, прижав к себе.

— Дурёшка, — зашептал он в Тонины волосы, — чтоб телом на теле валяться, из окна шагать не надо. Ну, иди ко мне…

Он склонился и поцеловал её в затылок, в душистую тёплую ямочку у самых корней волос, в шею… Девушка охнула, сбросила с плеч его руки, развернулась и выскользнула из халатика.

Глава VIII. Истые дадаисты

Максимилиан Ронге не просто представлял себе карту Европы в мельчайших подробностях — он её физически ощущал.

В центре континента ворочаются огромная Германия и лоскутная Австро-Венгрия, ниже — потрёпанная Турция и хитро замирившаяся с турками Болгария. Со всех сторон их стискивает враг. На западе — могучие Англия и Франция. На востоке — бескрайняя Россия. На юге кусают воинственные Балканы и сидит занозой вероломная Италия, которая заключила с германцами и австрийцами Тройственный союз, но выступила на стороне Антанты…

Немецкий *Blitzkrieg* не состоялся: не получилось ни войны на один фронт, ни быстрой войны на всех фронтах разом. Третий год миллионы мужчин изощрённо и методично истребляли друг друга. Немногие страны сумели остаться нейтральными в кровавой бойне.

Швейцария свой нейтралитет сохранила. Чистотой и порядком радовал столичный Берн: здесь Ронге бывал частенько — встречался с местными коллегами и секретными агентами.

А вот Цюрих ещё до войны стал настоящим шпионским центром. Превратился в перевалочный пункт, промежуточную остановку для пёстрого международного сброда. Закопчённый, промозглый, пропахший гарью средневековый город воплощал собой почти что рай для разведчика. Какой только рыбки не водилось в здешней мутной воде! Швейцарцы покидали Берн, зато сюда, в самый центр Европы, бежали отовсюду обыватели и жулики, поэты и спекулянты, революционеры и проститутки… Бежали, чтобы перевести дух, отсидеться, переждать войну.

Ресторан гостиницы *Zur Linde* облюбовали выходцы из России. Их обстоятельные сетования на горькую долю порой давали Ронге больше достоверной информации, чем сообщения агентуры. В кафе *Kaufleuten*, в прежние времена собиравшем торговцев, подавали вполне приличное пиво. А в кафе *Zum schwarze Adler* — естественно, под вывеской с чёрным орлом — варили неплохой кофе.

Эти заведения стали местом каждодневных дискуссий русских эмигрантов, представлявших политические течения всевозможного толка: Максимилиан внимательно следил за их бурными стычками на грани драки. Но больше всего он любил бывать на Шпигельгассе. Переулок получил название из-за зеркальца в руках ангела, укреплённого на шпиле угловой башенки, и славился далеко за пределами Цюриха благодаря кабаре «Вольтер».

Начиналось всё с обкновенной сосисочной, где по вечерам для развлечения посетителей играли музыку. В начале шестнадцатого года местным тапёром стал эмигрант из Германии, поэт и мистик Хуго Балль. Он считал себя последователем знаменитых русских — авангардиста Василия Кандинского и анархиста Михаила Бакунина. Вслед за Баллем в сосисочную потянулись его приятели, разноплемённая богемная публика во главе с неугомонным румыном Тристаном Тцара, и через месяц здесь гомонили уже на полудюжине языков.

Так заурядная едальня превратилась в настоящее кабаре, и никто уже не помнил: назвали кабаре *Voltaire* в насмешку над мудрым французом — или обыграли жёсткое немецкое *Folter*, мучение. А ещё в бывшей забегаловке возникло литературное кафе, где миру явился дадаизм.

Жизнь предстаёт как одновременная путаница шорохов, красок и ритмов духовной жизни. Дадаизм не

противостоит жизни эстетически, но рвёт на части все понятия этики, культуры и внутренней жизни, являющиеся лишь одеждой для слабых мышц.

Вольтеровские дадаисты без колебаний взяли на вооружение сенсационный гвалт и лихорадку повседневного языка.

Высочайшим искусством будет то, которое отразит многотысячные проблемы времени; искусство, несущее на себе следы потрясений последней недели; искусство, вновь и вновь оправляющееся от ударов последнего дня.

Вот как раз последние потрясения и удары весьма занимали Максимилиана Ронге — в отличие от выкрутасов мающейся интеллигенции. В потрясениях и ударах он знал толк.

Дадаист любит необычное, даже абсурдное. Он знает, что его эпоха, как никакая другая, нацелена на уничтожение великодушия. Поэтому ему подходит любая маска. Любая игра в прятки, наделённая способностью к мистификации.

Необычного и даже абсурдного в жизни Ронге хватало с избытком. Об уничтожении великодушия он знал побольше прочих. В том, что касается игр в прятки, масок и мистификаций — что ни день, упражнялся по службе. Кем же, как не самым настоящим дадаистом, был австрийский разведчик?!

Однажды Максимилиан ждал поезда на вокзале в Берне. Его заинтересовал невысокий господин со скуластым веснушчатым лицом. В распахнутом пальто, с кулаками, засунутыми глубоко в карманы брюк, коротышка безостановочно сновал взад-вперёд вдоль перрона, выставив вперёд бородку. Маленькие глазки с монгольской раскосинкой настороженно шарили вокруг. Из-за обширной конопатой лысины и сетки морщин господин выглядел лет на пятьдесят с лишним, хотя вполне мог оказаться моложе.

От нечего делать Ронге принялся украдкой его разглядывать и по профессиональной привычке строить предположения. Если это врач — разве что сельский… Нет, вряд ли. Скорее, какой-нибудь инженер… или чиновник средней руки… или стряпчий — не сильно успешный, судя по скромному поношенному костюму и несвежей рубашке… а может, лавочник?

Лысый хмурился и шевелил губами, разговаривая сам с собой. Ронге дождался, когда подвижный господин очередной раз просеменит мимо, и задал случайный вопрос. Ответ прозвучал с резким русским акцентом, и Максимилиан отругал себя: о лавочниках и стряпчих он подумал, а об эмигрантах, которых нынче во множестве и которые живут неизвестно чем — забыл.

Тут как раз подали состав до Цюриха, но двери вагонов почему-то открыли не сразу, так что разговор продолжился сам собой. Из любопытства и в наказание себе Ронге составил попутчику компанию во втором классе, хотя билет покупал в первый, а грамотно подобранное содержимое его кожаного дорожного несессера помогло скоротать время пути за непринуждённой беседой.

Максимилиан использовал возможность попрактиковаться и говорил по-русски — к удовольствию нового знакомого. Тот представился волжским дворянином Владимиром Ильичом Ульяновым, о роде своих занятий сообщил уклончиво, но благодаря хорошему коньяку скоро повеселел и сделался словоохотливым. Оказалось, Ульянов давно эмигрировал из России и обосновался в Швейцарии. Несколько лет назад он получил изрядное наследство от немецкой родни, но пожить на широкую ногу так и не успел: с началом войны деньги в берлинских банках оказались недоступными. Вот и приходилось Владимиру Ильичу регулярно мотаться из Цюриха в Берн, в

германское посольство, чтобы выцарапать очередные крохи с блокированных счетов.

Позже в *Evidenzbüro* подготовили подробную справку об Ульянове. Профессиональное чутьё, которое заставило Ронге заинтересоваться нервным человеком на вокзале, не подвело: этот русский числился и в австрийских, и в немецких картотеках. Лидер небольшой фракции социал-демократов, которые отчего-то именовали себя большевиками. Непримиримый оппозиционер. Сиживал в тюрьме, бывал в сибирской ссылке, где вынужденно женился. Сам придумал жене конспиративные клички — *Рыба* и *Минога*. Клички метко описывали её внешность и характеризовали теплоту супружеских отношений. Десять лет назад Владимир Ильич безнадёжно провалился на выборах в Государственную думу и с тех пор, обиженный на всех и вся, в России не появлялся. Он издалека грозил оппонентам, писал теоретические статьи о марксизме и о грядущей революции. Подписывал работы псевдонимом — Николай Ленин.

Ронге отрекомендовался Ульянову швейцарским коммерсантом, проявил щедрость в угощении и тонкость в беседе, а по прибытии в Цюрих удостоился от разомлевшего Владимира Ильича приглашения в гости.

Квартировал Ульянов у сапожника Каммерера в четырнадцатом доме по Шпигельгассе, и о жалком своём существовании упомянул не ради красного словца. Жилище, выбранное за дешевизну и возможность столоваться у хозяйки, произвело на Максимилиана удручающее впечатление. Из-за вони соседней мясной лавки окна всегда оставались закрытыми. В узком коридоре и крохотных комнатушках пахло сыростью, пудрой, старыми вещами, кислой капустой и пролитым керосином.

У Ронге мелькнула мысль, что квартира напоминает Европу в миниатюре. Соседями Ульянова и его

неопрятной супруги Надежды Константиновны были подозрительного вида итальянец, блёклая немка — жена военного — с крикливыми детьми и австрийские актёры, владельцы рыжей кошки с обваренным боком. Находчивый Максимилиан сослался на аллергию и поспешил откланяться, а Владимир Ильич с заметной радостью составил ему компанию.

Он-то и привёл Максимилиана на противоположный конец Шпигельгассе, где знаменитое кабаре «Вольтер» гудело развесёлой программой, не утихавшей, казалось, круглые сутки. Многоязычная публика выглядела ещё пестрее, чем в апартаментах сапожника, а здешний повар готовил не в пример лучше фрау Каммерер. В бывшей сосисочной социалисты мирно сосуществовали с художниками и поэтами, светскими мошенниками, восторженными студентами, падшими женщинами и патологичными психиатрами.

Владимира Ильича здесь прекрасно знали. За небольшие деньги он давал консультации о типографских тонкостях: дадаисты желали издавать свои брошюры, а Ульянов имел немалый опыт подпольной печати. К тому же на паях с товарищем по партии он держал издательство, едва сводившее концы с концами. Владимир Ильич ежедневно пил у «Вольтера» тёмное пиво, закусывая яичницей с жареным беконом. Ежевечерне сражался с другими посетителями в шахматы. Охотно участвовал в импровизированных представлениях на сцене кабаре: исполнял на бис потешные танцы и пощипывал струны балалайки…

Максимилиан вполне понимал желание нового русского знакомца бежать от неустроенного быта, от постылой жены-миноги, от убожества сапожничьего жилища — куда угодно и как угодно. Из тухлых эмигрантских будней Владимир Ильич рвался в праздничную фантасмагорию авангарда. Любовь к

абсурду и отсутствие великодушия; готовность играть в прятки, скрываться под маской и мистифицировать окружающих — всё это толкало его на сцену и трибуну, тянуло в сочинительство, в революцию, хотя бы революцию в искусстве. Поэтому когда глава дадаистов Тцара похвалил при Ронге стихи начинающего дадаиста Ульянова — это было воспринято как должное. Ведь в своих теориях Карл Маркс и Николай Ленин писали о том же, что и Тристан Тцара.

Лишь деньги не умирают, они только путешествуют. Это — бог, которого уважают. Почёт и слава деньгам; человек, у которого есть деньги, — это человек почтенный… Дадаизм ничем не пахнет, он — ничто, ничто, ничто. Как ваши надежды: ничто! Как ваши райские кущи: ничто! Как ваши кумиры: ничто! Как ваши политические мужи: ничто! Как ваши герои: ничто! Как ваши художники: ничто! Как ваши религии: ничто!

Ронге взял на заметку презрение, с которым Ульянов и его товарищи по партии относились к духовным ценностям. Большевиков интересовали только ценности материальные. Вещи.

Быть дадаистом — значит быть больше купцом, партийцем, чем художником… Быть дадаистом — значит давать вещам овладеть собой.

В табачном дыму и балаганном шуме кабаре «Вольтер» решение окончательно созрело, и Максимилиан собрался в Россию: через нейтральные Голландию или Данию попасть в нейтральные же Норвегию или Швецию, чтобы оттуда перебраться в Финляндию и проскользнуть до Петрограда.

При помощи швейцарского коллеги Фрица Платтена австрийский капитан обзавёлся подходящими документами. Оставалось получить согласие командования на секретную операцию с исключительной миссией. Под надуманным предлогом

вроде инспекции русской агентуры или коррекции её работы — Максимилиану Ронге предстояло переломить ход войны.

Начальником Генерального штаба генерала фон Хётцендорфа поставил наследник австрийского престола, эрцгерцог Франц-Фердинанд. О войне с Россией тогда и речи быть не могло — будущий император Австро-Венгрии видел империю Николая Второго союзницей в войне против Англии и Франции. Однако эрцгерцог погиб в Сараево от выстрелов чахоточного сербского мальчишки, а генерал фон Хётцендорф теперь убеждал престарелого императора Франца-Иосифа воевать с Россией до победного конца…

…хотя положение на фронтах складывалось не в пользу Австрии и Германии. Охотники на русского кабана упустили момент: Россия всё меньше напоминала затравленного зверя, а её противники — свору свирепых псов. Ещё немного, ещё несколько месяцев, и царь Николай нанесёт решающий удар, способный сокрушить империи Габсбургов и Гогенцоллернов.

Австрийских и германских немцев мог спасти лишь сепаратный мир с Россией. Если русские выходят из войны — остаётся всего один фронт, западный. И французы с англичанами, которые увязли в кровопролитных боях на Сомме и под Верденом, сами начнут искать мира. Но как убедить Россию сложить оружие? Как остановить русских накануне победы? Как удержать императора Николая в шаге от мирового триумфа?

Ронге придумал, как найти подход к российскому государю и предложить мир. Немедленный мир в обход англичан и французов. Условия не важны: если Николай хотя бы согласится их обсуждать, миссию можно считать выполненной. Все детали — позже, это удел шаркунов-дипломатов.

Если же Николай откажется, надо немедленно играть на опережение. Поднимать российскую оппозицию и революционеров, разобщать партию войны, провоцировать солдат, компрометировать командиров… Должно произойти то, что едва не случилось десятью годами раньше. Нынешний император должен отречься, и русским станет не до внешнего врага — внутренняя борьба за власть отвлечёт их, как собаки отвлекают кабана от охотника. Фронты получат драгоценную передышку, а Россия захлебнётся в крови гражданской войны и развалится на части.

Просидеть лишнее мгновение на стуле — значит подвергнуть жизнь опасности (мастер Венго уже вынул пистолет из кармана брюк).

Хорошо сказал дадаист! У Максимилиана Ронге не оставалось времени на размышления. Он начал действовать.

Глава IX. Сотворение легенды

— Гришенька, Христом-богом тебя прошу, возьми! Он же лёгонький, маленький — в карман сунул и забыл!

Акилина отказалась выбрасывать, сдавать в полицию или ещё куда девать пистолет, который забрал Распутин у давешней визитёрши. Вещь дорогая, да к тому и не бесполезная по нынешним временам. Коли уже дамочки стали с «браунингами» в муфточках шастать — знать, впору и честным людям вооружаться. Теперь толстуха уламывала Григория:

— Ну что ты артачишься?! Дурак! На улицах-то боязно нынче… А случись что? Когда на себя плевать — о дочках бы подумал! Возьми, а? Возьми пистолетик, Гришенька…

— Я не городовой, — отвечал он, — и носить оружие смерти — дело не моё. Оружие мира, а не смерти должен носить я. И пошто меня злым умыслом жизни лишать? Или я кому враг? Знамо, по-всякому бывает, и от руки злодея жалко помирать. Только смерти-то к чему бояться? Я её видал и не боюсь. Коли решит господь прекратить мои земные страдания — стало, так тому и быть.

Лукавил Григорий Ефимович, конечное дело. Содрогался с тех пор, как взглянул в лицо сифилитички Хионии Гусевой, которая убивала его, в брюхо кинжалом тыкая. Верно — видал он смерть, только встречи с ней страшился. Ох, страшился!

И о врагах говоря — лукавил. Откуда бы взяться Гусевой, когда бы врагов у него не было? Знал Григорий врагов своих, пусть и не всех, но многих знал точно. И когда на смертном одре лежал с животом распоротым, следователю под запись говорил, что подослана-де баба

иеромонахом Илиодором, который на него, Распутина, имеет все подлости...

Теперь Илиодора расстригли, и стал он снова мирянином Серьгой Труфановым. А истовым почитателем Распутина иеромонах ещё раньше перестал быть: пожранный грехами смертными — завистью и неуёмной гордыней, в злейшего врага превратился Илиодор. Он и сочинил памфлет «Гришка» — тот самый, что Гучков потом раздавал направо-налево, с враньём и похабством. Это ведь после памфлета стало нарицательным имя — Гришка Распутин!

А нынче Труфанов и вовсе за границу бежал, и там книжонку настрочил, в которой мерзости собственные Распутину приписывал. И ведь каков паскуда?! Императрице предложил выкуп заплатить, чтобы книжонка из печати не вышла! Шестьдесят тысяч рублей требовал — это ж деньжищи сумасшедшие, мастеровитому рабочему за них полвека ломаться надо!

Императрица, понятно, отказалась. Да и Григорий Ефимович, когда спрашивали его про Труфанова, отвечал так:

— Пусть себе пишет, коль охота есть. Хоть десять книг испишет, всё одно. Потому — бумага всё терпит. А что касаемо именно Илиодора, то ведь песня его спета уже. Что бы ни писал, аль ни хотел там писать, прошлого не вернёшь. Всё хорошо во благовремении.

Но когда задавали вопрос о прощении, говорил резонно:

— Ежели собаку прощать, вроде Серьги Труфанова, он, собака этот, всех съест!

Знал, знал врагов своих Григорий Ефимович, и не одного только расстригу Илиодора. Силу вражью знал. А пуще того — чувствовал. Как в отрочестве всегда чуял, кто помрёт из односельчан. Так и теперь знал, что

страшное грядёт — не к кому-нибудь, к нему самому. Знал, да поделать ничего не мог.

Сам не мог, и охрана не могла. На что они ему? Разве газетчиков не подпускать… Это ж сколько его именем деньги народные из казны прожирают?! Филёры, что следом ходят и ездят — автомобилями пользуются, опять же. А ещё те, что перед домом, на парадной лестнице да на чёрной… Терехов, Свистунов, Попов, Григорьев… да не забыть бы Василенко, Иварова, Жукова… да начальство ихнее…

Директор департамента полиции, непотопляемый Степан Петрович Белецкий, в последний год утвердился вдобавок товарищем министра внутренних дел, хотя сами министры на этом посту менялись то и дело. Как и в двенадцатом году, когда думали утопить Распутина под Ялтой, в году шестнадцатом филёры по-прежнему подчинялись Степану Петровичу, а он пытался использовать их весьма изобретательно.

Составил Белецкий с компаньонами расчёт: скомпрометировать Григория Ефимовича и через него — именитую публику, которой вокруг Распутина собралось немало. Что ни день, в квартиру на Гороховой несколько визитёров являлись или присылали мотор, чтобы брат Григорий к ним приехал. Могли даже в Покровское отправиться, когда по весне или осенью, в страдную крестьянскую пору, отсутствовал хозяин в Питере. За год в сводках филёрских по нескольку сот имён гостей Распутина появлялись — да каких!

Славно могло получиться, если их всех к рукам прибрать! Как удастся выставить Григория в непотребном виде — стало быть, плохи окажутся и те, кто его сторону держит, кто к нему в гости ездит, кто у себя его принимает, кто дела с ним водит. А как почувствуют они, что прихватил их Белецкий крепко — станут покладистыми, шёлковыми, готовыми к услугам…

Только вот незадача: не больно-то складывалась затея. Филёры — народ без фантазии, правду в отчётах писали. А пуще того переживал Степан Петрович, что удивительным образом проникались они симпатией к подопечному своему. Вот, скажем, отрядили в Покровское филёра. Не новичка какого — сам Белецкий опытного выбрал, заслуженного. Отрядили на постоянное жительство с наказом: вроде бы Распутина охранять, но на деле — присматривать. А что вышло? Филёр тот скорее скорого сошёлся с объектом своим. Начальство кляузы ждёт, а он задушевные беседы ведёт с Григорием Ефимовичем, чаи гоняет, газеты читает ему вслух и всё, как на духу, о себе и работе своей рассказывает.

Недоумевал Белецкий: и что за власть над людьми имеет Распутин, что люди к нему так тянутся?! Не приходило в полицейскую голову, что видели филёры против себя такого же, как они, человека — не семи пядей во лбу, но с умом крестьянским, хитрым и цепким, да без камня за пазухой.

Зато, к удаче Степана Петровича, по-прежнему издавались в России газеты, и вера в слухи только укреплялась. Так что получал Белецкий отчёты своих филёров, запирался в кабинете, рюмочку-другую выпивал — любил он это дело! — и принимался за работу: общую сводку составлял. Здесь чуть убавит, здесь прибавит; здесь чуть иначе скажет — глядишь, картина-то и меняется в нужную сторону.

Сказано в отчёте, что подошла к Распутину на улице женщина и говорил он с ней, а в записях Белецкого женщина та непременно проституткой окажется. Приехал Распутин в чей-то дом, пробыл там с полчаса — не иначе, с чужой женой развлекался. А уж если записку накорябает Григорий какому чиновнику — это просто подарок для Степана Петровича.

Прыгают по листу кривые каракули: *Милой дорогой красивую посылаю дамочку бедная спаси её нуждаетца поговори с ней Григорий.* Вроде ничего криминального, но это ведь как посмотреть! Может, просто пришла к Распутину просительница, пожаловалась — вот и просит он разобраться, в чём её беда: жалко, плачет ведь…

Можно прочесть так, а можно иначе, было бы желание. Фантазия подскажет, что старается Распутин за взятку. Или с дамочкой этой у него интрижка — вот и требует, чтобы чиновник исполнил всякую дамочкину прихоть. Была записка? Была. А уж брал Гришка деньги или нет — неважно. Все поверят, что брал. Главное — записку никому не показывать, а только на свой, нужный лад содержание пересказать.

Этим и занимался Степан Петрович Белецкий, запершись в своём кабинете с филёрскими донесениями и графинчиком коньяку. А как заканчивал сводку, где Распутина опять с грязью мешал, — газетчиков тут же кликал из числа приближённых и тщательно отобранных. Шакалов, что при любом режиме и любой полиции кормятся.

Они Белецкому информацию исправно поставляли, он — им. И вот этим шакалам — костью с барского стола — бросал Степан Петрович своё сочинение *про Гришку*. Не сочинение — строгой секретности документ! А дальше приукрашенные и совсем уже дикие истории из жизни столичной знаменитости вмиг по изданиям разлетались.

Только даже бумага не всё терпит, и на такой случай тоже был готов Белецкий. Что никак не получалось тиснуть в газете — сообщал душным шёпотком на ухо кому следует. Тот — другому и третьему, те — десятому и двадцатому… Вскоре и газетные-то статьи блекли перед слухами, один другого чудовищней.

Директор полицейского департамента рассуждал аккурат по Достоевскому: *Подлец человек!* Но

чувствовать себя подлым не любит. Зато подвернись ему возможность уличить в подлости соседа своего — радуется: знать, не я один такой, есть и похуже!

Расчёт оправдывался полностью. Белецкий, имея задачу, врал продуманно. Пересказчики врали упоённо — и чтобы оправдать собственную подлость, и чтобы сплетню грязную посмаковать. А самые сообразительные шли дальше и обращали себе на пользу образ Распутина, сложенный Степаном Петровичем с помощниками.

Особо удачливым по этой части оказался молодой князь Михаил Андронников. Зашёл на Гороховую раз, другой. Отметился в полицейских отчётах, чтобы все знали — он здесь бывает. Предложил Григорию Ефимовичу бескорыстную помощь: служу, мол, по Министерству иностранных дел, готов быть полезным. Для себя ничего не хотел — лишь бы только иметь возможность творить добро по благословению *старца*, облегчать беды множества просителей…

Скоро молва разнесла весть: князь Андронников к Распутину вхож, имеет с ним особые отношения. А сам Михаил Михайлович тем временем хитроумные комбинации проворачивал. Курьеров императорских подкупал — и был в курсе всех служебных назначений. За сомнительные сделки с махинациями финансовыми брался, намекая на покровительство Григория Ефимовича и близость к государю с государыней. Подряды военные проталкивал. Там ходатайствовал, тут представительствовал…

Клиентов у бескорыстного Андронникова набрался не один десяток, и с них за своё содействие он деньги драл немилосердно: уверял, что для жадного мужика. Просители верили, платили — и по секрету о сделках своих другим рассказывали. Так что доходы Михаила Михайловича росли ещё быстрее, чем популярность его и слухи о могуществе Распутина.

Григорию-то и впрямь случалось помогать людям в кой-каких просьбах, и денег в благодарность перепадало. Только он сам про помощь не распространялся. Кому помог — те тоже помалкивали: разве станет рыбак болтать о рыбном месте? Платили-то государеву мужику не миллионы — миллионами пускай, вон, дурачки швыряются, у которых денег много…

Слухи о распутинской власти множились помимо Белецкого. На бурную деятельность князя Андронникова полицейский старательно закрывал глаза. Длилось это, почитай, года полтора-два, покуда аферист не попался случайно. Григорий в подлость князя верить не желал. Но пришли к Михаилу Михайловичу с обыском, и обнаружилась на его квартире целая канцелярия. Квартира-то знатная была, с роскошной мебелью — за четыреста рублей в месяц; на одного князя аж двадцать комнат — против пяти у Распутина с дочками!

Папки с делопроизводством Андронникова на двух грузовиках вывозили. Аккуратные папки, и на каждой надпись — где какое министерство, где какой департамент… Чиновники тамошние частенько получали от любезного Михаила Михайловича плотные тугие конверты с купюрами да льстивые письма с иконками — благословляет, мол, *старец Григорий*! — а потому никогда не отказывали.

Про мошенничество узнал весь Петербург, и князя перестали принимать, но к Распутину относились по-прежнему. Имя его продолжали полоскать и после того, как Андронникова специальным указом выслали из столицы. Другие-то многие продолжали играть на вере в могущество мужика государева! Жадный до самозабвения Ваня Манасевич-Мануйлов, хитрый циник Арон Симанович, оборотистый батюшка-очкарик Варнава и прочие втирались к Распутину в доверие, взносы благотворительные делали… Именем Григория

Ефимовича могли даже собственный дом отвести под госпиталь, но после — махинациями ловкими стократ возмещали затраты свои. Боялись они Распутина, боялись и ненавидели, но не могли сдержаться и спешили урвать кусок пожирнее, пока возможность такая была.

Опять же, записочку распутинскую подделать — раз плюнуть. Принесут такой листок иному чиновнику, скажут: сам писал, своею собственной рукой. А кто когда настоящий почерк *старца* видел? Кто знает — он писал или не он? Тут представлялись чиновнику два выхода. Первый — начать выяснять: Распутину ли в самом деле записка принадлежит, и правильно ли смысл её понят. Каракули-то малограмотные, не вдруг разберёшь! Но так можно легко на неприятность нарваться: а ну как и вправду сам писал, и вместо того, чтобы вопросы задавать, надо было спешно делать то, что приказано? Распутин, по слухам, не только всемогущ, но и вспыльчив — того гляди, с места вылетишь! К тому ж чиновник — существо ленивое. Чем лишнюю работу себе выдумывать да нервы трепать, лучше пойти вторым путём: сделать, как в записке сказано, и с плеч долой. Оно и проще, и спокойнее.

Как-то возмутился князь Жевахов насчёт человека одного по фамилии Добровольский. Тот в канцелярию Синода норовил устроиться и всё на Распутина кивал, записки показывал. Явился Жевахов на Гороховую в шумном негодовании — и услыхал в ответ от Григория:

— Вольно́ же министрам верить всякому проходимцу. Вот ты, миленькой, накричал на меня. И того не спросил, точно ли я подсунул тебе Добровола. А может быть, он сам подсунулся да за меня спрятался? Пущай себе напирает, а ты гони его прочь…

Григорий Ефимович заправил шаровары в сапоги, одёрнул рубашку с косым воротом и вышел из ванной комнаты. Он мыться-то в баню ходил. Без бани — что за

мытьё? Но баня строго по субботам, раз в неделю: чтобы чистым быть, мужику чаще не надо. Зато как стал Распутин жить в квартире с ванной — полюбил, что ни день, в лохани огромной плескаться. Купель она ему напоминала, купель крестильную. А краны с льющейся водой представлялись источниками неиссякаемыми — так что Акилина имела частые разбирательства с нижним соседом. Заливал его Григорий, подолгу не закрывая кранов. И приходилось Лапинской то и дело нанимать рабочих, чтобы счищали разводы и заново белили потолки в пострадавшей квартире…

В столовой Распутин взял из буфета большую гранёную рюмку, налил мадеры всклянь, широко перекрестился и одним духом выпил. И следом — ещё одну рюмку. И ещё.

Без малого двадцать лет назад, уходя паломничать, бросил он вино и табак. От мяса отказался, от молочного и сладкого. И ведь сколько лет прошло — не тянуло! Но как война началась — ещё толком от раны не оправился, а начал вдруг пить снова. Предпочитал всё больше мадеру из Массандры: видал он в Крыму красивые тёплые оранжереи, где зрело это вино в огромных дубовых бочках, и очень уж вкус ему понравился. Напоминал о том, что довелось отведать в дальних странствиях — смокву греческую из окрестностей Афона, финики с пальмы близ Иерусалима…

— Не пил бы ты, Григорий Ефимович, — сердито сказала Акилина, выйдя из кухни, и встала в дверях со сложенными на животе пухлыми красными руками. — Не пей! К чему тебе пить?

— К чему… Авось, запью то, что после будет.

Распутин вылил в рюмку остатки тягучего золотистого вина из бутылки, опрокинул в рот и поперхнулся. Спирт карамельным духом ударил в нос, обволок нёбо горькой сладостью. Тяжестью наполнился

затылок, тёпло поплыло в груди, а на языке остался привкус жареного миндаля.

— Запью, что после будет, — повторил он. Горло перехватило, и голос не слушался.

— Э-эх, — только и сказала Лаптинская, сторонясь и давая Григорию пройти.

Шаркая по паркету сапогами, он побрёл в небольшой кабинет. Всего и убранства там было, что диван да письменный стол с креслом.

— Чую, — бормотал захмелевший Распутин, ничком повалившись на диван, — болезнь опасную чую… Пережить бы, господи! Укрепи, дай силы пострадать мушке малой за грехи свои, ты же больше страдал за грехи наши…

По скуле, изрытой ранними морщинами, скользнула слеза. Григорий уткнулся лицом в маленькую подушку-думку.

Страх томил его, хоть и говорил он всем, что не боится. Страшные видения преследовали. Ещё не встал на Неве лёд, и высоко вздулась меж гранитных берегов бурливая вода. Давеча ехал он в моторе по набережной — и вдруг вскрикнул, увидав, как наяву: покраснела жёлто-серая рябь, и вот уже течёт Нева кровью. А в кровавых волнах колышутся, плывут по течению к морю Балтийскому трупы замученных людей — не по отдельности, а густо, словно брёвна на лесосплаве, сколько хватает глаз. И снова вскрикнул Распутин, признав мертвецов. Были среди них и великие князья, полураздетые и растерзанные… много, невероятно много знакомых и незнакомых людей с изуродованными, искажёнными мукой лицами…

Вспомнил Григорий ту страшную картину, заскулил, вцепился зубами в рукав… А после рывком сел, утёр сырые глаза кулаками. То не бес ли его снова искушает? Он отмахнулся от лукавого и забормотал, размышляя.

Можно ведь бросить всё и уехать, уехать. Дочки в пансион пристроены, выучатся. В Покровском хозяйство ладное, крепкое — там тоже не пропадут. Денег у него особых в загашнике нет — так пропитание-то всегда добыть можно, здоровье и руки при нём покуда. В Палестине землицы кусок прикуплен, добрые люди пособили. Уехать, что ли, туда, поближе ко граду святому Иерусалимскому? Жить в уединении да богу молиться — чего ещё надобно…

Уехать, уехать! Только доделать последние дела важные, а на всякий случай — вот что. Григорий перебрался в кресло у стола. Придвинул поближе блокнот, нашарил карандаш в ящике и размашистыми каракулями, прыгающими буквами принялся старательно выводить на листе первые строки завещания.

Я пишу и оставляю это письмо в Петербурге. Я предчувствую что ещё до первого января я уйду из жизни. Я хочу русскому народу папе русской маме детям и русской земле наказать что им предпринять…

Глава X. Корень зла

За те полтора часа, что длилось выступление Пуришкевича, стенографисты Государственной думы сменились раз тридцать. Владимир Митрофанович сыпал с трибуны больше чем сотней слов ежеминутно, и поспеть за ним было мудрено.

Его исступлённая речь потрясла всех настолько, что депутаты прерывали её лишь рукоплесканиями. Крики *браво!* неслись отовсюду — справа, слева, из центра зала... Небывалое единение всех без изъятия фракций заставило съёжиться членов правительства: во главе с председателем Совета министров они сидели на отведённых им особых местах.

— Да не будут вершителями исторических судеб России люди, выпестованные на немецкие деньги! Предающие Россию и нашедшие себе приют, начиная от митрополичьих покоев, в разного рода низших учреждениях! — почти кричал с трибуны Владимир Митрофанович под шумное одобрение коллег. — Да исчезнут с нашего государственного горизонта в ужасные переживаемые нами дни и Андронников, и Варнава, и Манасевич, и все те господа, которые составляют позор русской жизни! Я знаю, господа, что вы думаете так же, как и я, я это чувствую!

— Верно! — вновь прокатилось по залу.

— Моими словами говорит вам здесь вся Россия без различия партий, без различия направлений, верноподданная, желающая счастья царю! — продолжал Пуришкевич, и голос его срывался. — Россия бескорыстная в дни скорби, Россия Пожарского и Юрия Долгорукого, Россия Кузьмы Минина и Ивана Сусанина! Россия, стоящая на страже своих великодержавных задач и не способная мириться с

картиной государственной разрухи! В былые годы, в былые столетия Гришка Отрепьев колебал основы русской державы. Гришка Отрепьев воскрес в Гришке Распутине! Но этот Гришка, живущий при других условиях, опаснее Гришки Отрепьева!

— Верно!.. Долой!.. — гудели депутаты.

— Господа! Надо просить государя! И вы, — оратор дёрнулся, ткнув пальцем в министров, — его верноподданные слуги, вы, призванные исполнять его волю, вы, первые ответственные за течение русского государственного корабля, скорее туда, в Ставку, государя просить, да не будет Гришка Распутин руководителем русской внутренней, общественной жизни!

Последние слова потонули в новой волне аплодисментов. Депутаты вскакивали со своих мест и барабанили ладонями о пюпитры, как делал обычно в ажитации сам Пуришкевич.

Меньше трёх недель отделяли эту его речь от памятного выступления Милюкова в начале работы Государственной думы, и порядок шестого заседания нарушился сразу. По регламенту на трибуну вышел председатель Совета министров, но депутаты перебивали его с первых же слов криками *Долой! В отставку!* и стуком по столам и пюпитрам. Особенно усердствовали левые.

Председатель Думы удалил сперва депутата от Саратовской губернии Керенского. Следом пострадали тифлисец, депутат от русского населения Закавказья и представитель Уфимской губернии, но депутаты всё не унимались. Каждый считал своим долгом обличить правительство и косвенно — государя, назначившего этих министров.

— Их заботят только собственная корысть и личное благополучие! — утверждали одни.

— Наши министры — это террористы с подкладкой мелких мошенников! — вторили им другие. — Их власть есть результат личного каприза, находящегося под влиянием преступного проходимца!

Все понимали, что речь о капризе немки-императрицы, которая одурманена Распутиным и помыкает безвольным государем.

— Я считаю своим долгом крикнуть стране, что нам не дают говорить при этом новом кабинете, — заявил депутат Керенский перед тем, как был исключён на восемь следующих заседаний. — Скажите стране, что между народом и вами нет ничего общего! Страна гибнет! Её надо спасать, но из Думы нас выгоняют — и поддерживают тех, кого я называю предателями и трусами!

Феликс Юсупов с отвращением смотрел вниз, в зал заседаний Таврического дворца. Там, за широкими перилами, которые ограждали хоры, бесновались четыре сотни депутатов. А дядя князя — председатель Думы и бывший кавалергард Родзянко — силился удержать их в рамках приличий.

— Покорнейше прошу не извращать смысл меры, принимаемой Государственной думой, — нарочито спокойным тоном басил председатель, исключая вслед за Керенским очередного скандалиста. — Мера касается производящих недопустимый в государственном установлении беспорядок!

Приставы удалили из зала ещё нескольких депутатов, кричавших об измене правительства. Левые ещё какое-то время мешали председателю Совета министров начать выступление.

— Власть сама вела борьбу с народом и довела страну до того положения, в котором она находится! — ярился очередной исключаемый. — Что поменялось с первого ноября?

— Ничего! — живо откликался зал.

Так и есть, думал Феликс, ничего не изменилось. Эти зажравшиеся депутаты, которые полагают, что их голос — это голос народа, от безнаказанности становятся всё смелее. А сказочная страна, убаюканная голосами усатых сирен, под *Боже, царя храни!* продолжает сползать в бездну.

В зале наперебой кричали про политику изменников и дураков, которую проводит правительство. Но никто, кроме князя Юсупова, не обратил внимания: всё это время Пуришкевич молчал, хотя даже самые сдержанные депутаты поддались общему разрушительному настроению.

Наконец, Родзянко угомонил одних и велел вывести из зала других, кто угомониться не пожелали. Теперь председатель Совета министров мог выступить.

После дежурных слов о всегдашнем миролюбии России он заявил, что преждевременного мира с Германией, и тем более мира, заключённого отдельно от союзников, не будет никогда. Это, как он выразился, не воля правительства, но непреклонная воля Державного Вождя земли русской!

— Пусть ещё раз услышит весь мир, — патетично сообщил глава кабинета, — что какие бы ни были временные неудачи, великая Россия поставит под ружьё последнего солдата! Мы пожертвуем всем государственным достоянием, но война будет доведена до конца, до решительного конца, до сокрушения навек германского засилья и насилья!

Тоже верно, думал Юсупов, жертвовать чужими жизнями мы умеем, и не своим достоянием — тоже… Пуришкевич молчал, а оратор продолжал, вдохновляясь всё больше:

— Великая держава российская должна стать страною самодовлеющей, находящей в себе удовлетворение всех своих потребностей! Война при всех её ужасах несёт в себе оздоравливающее начало.

Несомненно, после войны должен наступить громадный экономический расцвет. Наша общая и чрезвычайная по своей важности задача — упорным трудом подготовить к тому пути…

Депутаты порой выкрикивали язвительные реплики, а Пуришкевич всё молчал. Тем временем председатель Совета министров зачем-то переключился с военной темы на приоритетные национальные задачи — и понёс околесицу про народное образование. Тут Юсупов понял, что пришла пора открыть перламутровую коробочку с волшебным порошком, и порадовал себя щедрой понюшкой.

Ему было известно, что Пуришкевич молчит не просто так. Князь дожидался выступления Владимира Митрофановича — самого правого из всех правых депутатов — и предвкушал сенсацию. Родзянко по-родственному рассказал Феликсу, что накануне Пуришкевич имел тяжёлую беседу с членами своей фракции: он хотел выступить в Думе от имени всех националистов и черносотенцев, но получил отказ — и заявил, что выходит из фракции и дальше намерен существовать самостоятельно. Жест истерический, однако способный вызвать далеко идущие последствия.

На трибуне глава кабинета закончил своё выступление дежурной болтовнёй о необходимости отвоевания исконных зарубежных польских земель. Он подчеркнул: исконно русских польских земель! И ещё сказал про *живущую в сердце каждого русского человека тысячелетнюю мечту* — о ключах от Босфора и Дарданелл, об Олеговом щите на вратах Царьграда…

Феликса передёрнуло. Тысячелетняя мечта?! Останови русского человека возле «казёнки» и спроси: что такое Царьград? где он расположен? что за щит должен быть на его воротах? Ответ можно себе представить… Попроси чумазого крестьянина показать

на карте или хотя бы правильно произнести — Босфор и Дарданеллы! Идиот… свиномордая тварь…

Когда Пуришкевич взошёл на трибуну, князь устроился поудобнее в кресле и приготовился слушать. Ему надо было подтвердить свои соображения, и он очень надеялся, что не ошибся в черносотенном предводителе.

Владимир Митрофанович был, что называется, в ударе. Нарочито неторопливо высмеяв радужные перспективы, которые нарисовал председатель Совета министров, он постепенно говорил всё быстрее и громче, а речь его становилась всё цветистее. Дошло дело и до стихов.

Исканье прав в годину непогоды,
Украсит ли просящего оно?
Что принесут дары нам той свободы,
Которой быть насильем суждено?

Пуришкевич насладился эффектом от патетичной декламации и продолжил говорить о том, что Россия исстрадалась по твёрдой властной руке и по настоящему порядку — взамен нынешнего повсеместного безобразия. При упоминании о немецкой партии в русском тылу депутаты совсем притихли: стало понятно, куда нацелены стрелы оратора. Теперь если и раздавались иной раз возгласы, то лишь одобрительные — независимо от того, в лагере левых или правых был их источник.

— Ни жить, ни работать при таких условиях нельзя, — говорил Владимир Митрофанович. — Ведь каждый министр считает момент своего появления у власти эрой. Одна эра — от сотворения мира или от Рождества Христова до его вступления в управление министерством, а он открывает новую эру. И всякий раз,

высказывая программную речь, он открывает новые горизонты, как будто никому до настоящего времени не известные!

Эти слова Пуришкевич бросил в сторону членов правительства, и зал весело зааплодировал. Все слишком хорошо знали, что министры последнее время меняются не реже раза в два-три месяца, оттого шпилька насчёт эпохальности таких назначений прозвучала особенно остро. Но Юсупов ждал от Пуришкевича других, совсем других слов, а с трибуны снова звучали стихи — на сей раз опального Бальмонта.

Решает миг, но предрешает час,
Три дня, недели, месяцы и годы…

Вот это уже было гораздо ближе. Ибо взвинченный кокаином князь уже вторую неделю жил ожиданием того мига, что предрешит будущее надолго!

Когда истекло время, отведённое для выступления, Пуришкевич как раз добрался до очередной чиновничьей аферы: министр внутренних дел покрывал банки, которые процветали, несмотря на войну, хотя в них были две трети германского капитала и лишь одна треть — российского. Владимир Митрофанович умел манипулировать аудиторией; он оставил этот рассказ под конец и оборвал на полуслове. Заинтригованным депутатам не терпелось услышать всю правду о продажном чиновнике. Пуришкевича просили продолжать, и ожидания Феликса Юсупова наконец-то были вознаграждены.

— Я указал вам на отдельные факты, — произнёс депутат, постепенно возвышая голос. — Я указал вам на то, что гнетёт и поражает русскую жизнь. Но повторяю, что корень зла не в этих мелких и жалких людях, без государственных горизонтов взлетевших наверх. Откуда

всё это зло? Я позволю себе с трибуны Государственной думы сказать, что всё зло идет от тёмных сил, от тех влияний, которые возглавляются Гришкой Распутиным!

Пуришкевич уже почти кричал — о столичном хаосе и невероятных слухах про *Гришку*, о растлении русской общественной жизни, о распутинских записках с требованиями к министрам и о готовности министров эти требования исполнять.

— Идите к царю, — требовал он от правительства, переполняясь праведным гневом, — и скажите, что дальше так быть нельзя. Это долг ваш перед государем! Если слава России, её мощь и будущее, тесно и неразрывно связанное с величием и блеском царского имени, вам дороги, ступайте туда, в царскую Ставку, киньтесь в ноги государю и просите царя позволить раскрыть глаза на ужасную действительность. Просите избавить Россию от Распутина и распутинцев больших и малых!

Депутаты наградили его аплодисментами. С ещё большим воодушевлением был встречен заключительный пассаж — о Сусанине, Минине, Пожарском и о Гришке Отрепьеве в новом обличье Гришки Распутина.

Родзянко объявил перерыв.

Счастливый Пуришкевич, утирая взмокшую лысину, вышел в фойе. Он отвечал на приветствия, благодарил за слова одобрения, упивался успехом, — как вдруг на пути у него встал миловидный молодой человек, одетый в форму Пажеского корпуса, и произнёс:

— Позвольте мне рекомендовать себя. Я князь Феликс Юсупов, граф Сумароков-Эльстон младший. Отныне ваш поклонник.

— Польщён, польщён, — приосанился Пуришкевич, пожимая сухую горячую ладонь Феликса. — Вы слушали моё выступление? И что скажете?

— Потрясён и вдохновлён вашим патриотизмом! Это знакомство — большая честь для меня, — Юсупов не отпускал руку депутата, глядя ему прямо в глаза. — Буду признателен, если вы уделите мне время для беседы. Дело впрямую касается избавления России от Гришки.

Глава XI. Британцы на Итальянской

Этим ноябрьским вечером в столичном Благородном собрании ждали выступления Шаляпина — он теперь часто наезжал в Петроград. Свой московский особняк на Новинском бульваре Фёдор Иванович отдал под госпиталь. Просторный дом, где в прежние времена не было отбою от гостей, заполнили раненые солдаты и сёстры милосердия. По мраморным полам, доселе знавшим лишь фланирующий бомонд, загремели подковами армейских ботинок сумрачные санитары с носилками и мешками окровавленных бинтов. Вместо щекочущих ноздри ароматов дорогих сигар, изысканных вин и тонкого парфюма — в особняке установился тошнотворный запах больницы.

Европа воевала, ей стало не до ангажементов, а в Америку Фёдор Иванович не стремился, и его всемирно известный бас всё чаще стал звучать под сводами госпиталей. Он услаждал слух тамошней публики — израненных и увечных солдат. Ариями Бориса Годунова, Филиппа Испанского и Мефистофеля тешил тех, кто в жизни и не слыхали ничего, кроме задиристых частушек под гармошку.

Лето шестнадцатого года Шаляпин провёл в крымском имении своего приятеля и поклонника. Купался, загорал и притом работал вместе с Максимом Горьким над автобиографической книгой. С казённой сцены Фёдор Иванович ушёл окончательно. Он разъезжал повсюду с французским бульдогом по кличке Ройка и пел только в антрепризе Аксарина или частной опере Зимина. А ещё давал благотворительные концерты в пользу раненых. Такие, как сегодняшний — в Благородном собрании на Итальянской улице.

Автомобиль подвёз Феликса Юсупова к парадному входу. Через просторную лоджию князь прошёл внутрь, сдал форменное драповое пальто в гардероб и покрутился в вестибюле перед зеркалом, не забывая раскланиваться со знакомыми. За время учёбы на курсах Пажеского корпуса Юсупов сперва привык, а потом и полюбил военную форму — пошитую, конечно, лучшим столичным портным и напоминавшую о былых маскарадах. Князь сверкнул погонами с императорским вензелем, поправил белую портупею; одёрнул мундир, который и без того сидел на его ладной фигуре как влитой, и по широкой лестнице двинулся в фойе второго этажа, к зрительному залу.

Проходя мимо ящика для пожертвований, Феликс щедро опустил в прорезь несколько крупных купюр. Взгляд князя рассеянно скользил по изящной мраморной отделке, колоннам и живописному панно на потолке, изображавшему Диану-охотницу. Столичный бомонд не успел в полной мере насладиться великолепным дворцом: его достроили только в начале войны. И надпись на новеньком фасаде сообщала уже о том, что это Дом *Петроградского* Благородного собрания — не *Петербургского*.

Под конец четырнадцатого года здесь открылся лазарет японского отряда Красного Креста для тяжелораненых нижних чинов. Осталась в прошлом война за Ляодунский полуостров, оборона Порт-Артура и предсказанная Распутиным гибель балтийской эскадры. В мировой войне Япония поддерживала Россию против Германии.

Из Токио во дворец на Итальянской приехали известные хирурги во главе с кудесником Иено, прочие врачи, сёстры милосердия и настоятель токийской православной церкви Акира, в крещении Павел. Свой лазарет японцы укомплектовали по последнему слову техники; с собой они привезли без малого две тысячи

пудов медикаментов и новейшее оборудование — в Благородном собрании появился даже рентгеновский аппарат.

Собственно, собранию остался только театральный зал со службами и гримёрными — лазарет, расположенный сперва в верхнем этаже, с течением войны разросся и постепенно занял весь дворец. Успехи японцев впечатляли: из пятисот тяжелораненых они потеряли всего шестерых. Через два года, летом шестнадцатого, миссия вернулась в Японию, а русскому Красному Кресту досталось идеально налаженное госпитальное хозяйство.

Юсупов завернул в уборную, недолго побыл наедине с заветной коробочкой и уже в приподнятом настроении осмотрел театральный зал. Обычных зрительских кресел там сильно поубавилось: санитары прикатили десятки коек с ранеными и уставили ими всё пространство — перед сценой, вдоль стен… А путь Феликса лежал дальше, за кулисы.

У двери гримёрной Шаляпина возле столиков с фруктами и напитками гомонила бурлящая толпа избранных гостей — сливок столичного общества. Пожертвования они уже сделали, концерт интересовал их во вторую очередь, а главным всё же было клубление в закулисье. Для того и придумана светская жизнь, чтобы в ней участвовать! Кто не бывает на таких вот концертах, раутах, балах и приёмах — тех в свете вроде бы не существует…

Шаляпин давно не напоминал долговязого юношу, который ютился у Мамонта Дальского в доходном доме «Пале-Рояль» и рад был лишней миске супа. Его — холёного, вальяжного великана в изумительной фрачной паре, хрустящего манишкой на необъятной груди и сияющего лаковыми штиблетами, обступили гости. А Фёдор Иванович утёсом возвышался над ними, играл громоподобным голосом и рассказывал

очередную актёрскую байку. На сей раз — о том, как давным-давно привёз молодого Рахманинова в Ясную Поляну, в гости ко Льву Толстому.

— Колени у Серёжки тряслись, факт, — говорил он. — Я пару его песен спел — дрожит всё равно. Потом он свои вещички поиграл — все аплодируют, но с оглядкой на Толстого. А тот сидит насупленный, руки за пояс заткнул, борода торчком… Чёрт с ним, после концерта чаю попили — вроде хорошо. Тут к Серёжке подходит Толстой. Хотел, говорит, промолчать, но решил сказать, что мне не понравилось! Всё, что вы играли! И Бетховен — вздор! И Пушкин с Лермонтовым — тоже! Сказал, насупился ещё больше и отошёл. Серёжка стоит ни жив ни мёртв. Софья Андреевна его тихонько умоляет: *Бога ради, только не надо с ним спорить! Лёвушке вредно волноваться!* Ну, вредно так вредно… А Толстой вдруг снова подходит. Вы, говорит, господин Рахманинов, простите меня, я старик уже, поэтому говорю прямо, а вообще я не хотел вас обидеть. Тут Серёжка и брякнул: как же, говорит, я за себя могу обижаться, если я за Бетховена с Пушкиным не обиделся?! Развернулся — и ходу оттуда. С тех пор в Ясную Поляну — ни ногой!

Шаляпин густо хохотнул, раздувая ноздри.

— Это ведь анекдот? — робко спросила немолодая полная дама, в одной руке державшая бокал шипучего *Dom Perignon*, а другой — цеплявшаяся за локоть седенького генерала. Тут Фёдор Иванович, а следом и многие вокруг расхохотались уже в голос.

Юсупов пожал руку певцу и ещё двум-трём знакомым. Он пробирался в дальний конец коридора — туда, где зорким глазом приметил знакомые поджарые фигуры британских офицеров: Джон Скейл и Стивен Эллей по-прежнему работали в России. Иной раз они наведывались на фронт, но большей частью их служба проходила в Петрограде и Москве.

— Джентльмены, поздравьте меня, — потребовал князь, салютуя подхваченным по пути бокалом шампанского. — Догадки в отношении Пуришкевича полностью подтвердились. Его речь в Думе была великолепна! Я теперь окончательно уверен: он тот, кто нам нужен.

Скейл с сомнением покачал головой.

— А по-моему, он истерик и болтун. Хотелось бы видеть вместо него человека более вменяемого. Одна история с трамваем чего стоит!

Об этом по весне судачил чуть не весь Петроград. Пуришкевич ехал в пролётке и подгонял кучера. Тот не обратил внимания на знаки городового, на полном ходу вывернул с Пантелеймоновской улицы на Литейный проспект и столкнулся с трамваем, повредив пролётку. Кучер не уступил дорогу и был виноват, но взбешённый Пуришкевич набросился на вагоновожатого с кулаками и нецензурной бранью. Присутствие дам его не остановило. Тогда один из пассажиров, крепкий мужчина, за шиворот вытащил из трамвая лысого матершинника, который визжал на весь Литейный:

— Не сметь! Он — подлец! А я… Вы не знаете, кто я?! Я — депутат Государственной думы! Я — Пуришкевич!

С тех пор истошное *Я — Пуришкевич!* стало в столице крылатой фразой.

— Уверяю вас, лучшей кандидатуры мы не найдём, — повторил Феликс, глотнув шампанского. — Тем более, я уже беседовал с ним. Он согласен.

— Князь! Мы же просили вас не проявлять чрезмерной инициативы, — укоризненно сказал Эллей. — Надеюсь, вы не наговорили лишнего.

— Джентльмены! За кого вы меня принимаете? — возмутился Юсупов.

Старшие офицеры британской разведки в Петрограде хорошо понимали, с кем имеют дело. И неспроста обратились именно к Феликсу — скучающему

бездельнику-кокаинисту; именитому плейбою, вхожему в любой дом и дворец российской столицы, родственнику самого императора.

Когда князю предложили способствовать удалению Распутина, он немедленно согласился. Конечно, Юсупов догадывался о том, что его давние знакомые Скейл и Эллей — не простые сотрудники военной миссии союзников, но виду не подавал. А скорее всего, такие детали его попросту не интересовали. Гораздо интереснее была новая интрига: он окунулся в неё со всем безрассудством молодости — и с восторгом от участия в настоящем заговоре.

Феликсу дали понять, что британцы озабочены влиянием Гришки при дворе, что их беспокоит набирающая силу прогерманская партия императрицы. Чехарда в правительстве, говорили Скейл и Эллей, а тем более — любое сближение с врагом не может не настораживать союзников. Особенно когда слухи о возможности сепаратного мира между Россией и Германией появляются с пугающей частотой и приходят из самых разных источников.

Виной же тому — Гришка. Он опасен, пока остаётся в столице. Удалить его — значит, развязать руки государю. Из слабоволия, любви к императрице и жалости к больному цесаревичу сам Николай не сможет этого сделать. Зато, освободившись от временщика, Россия пожнёт неувядающие лавры славной победы в великой войне. Принесёт свободу балканским народам, приобретёт обширные территории и станет, наконец, новой Византией. Сбудутся слова, пять столетий не дававшие покоя богопомазанникам российским. Те, что инок Филофей рек царю Ивану Третьему: *Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти!*

Распутина необходимо срочно убирать от государя. Однако вряд ли он пойдёт на контакт с британскими офицерами, если сотрудничает с немцами. Вот и

понадобился Феликс Юсупов, чтобы войти к нему в доверие, ведь князь ни разу открыто не выступал против Гришки — в отличие от своей матушки и большинства членов императорской фамилии.

Кроме того, Феликсу поручили найти подходящего депутата — представителя власти, на глазах набиравшей силу. Всем вместе, говорили Скейл и Эллей, непременно удастся деньгами, посулами или уговорами аккуратно отодвинуть Распутина от престола и загнать обратно в сибирский медвежий угол, откуда он уж точно не сможет влиять на погоду в Царском Селе.

Так британцы обрисовали князю план — умолчав о том, что его разработал Вернон Келл, и под несколько иные задачи.

Глава XII. Путешествие комедиантов

«Бродячую собаку» закрыли в марте пятнадцатого. Стоило градоначальнику распорядиться — и в заведение Бориса Пронина немедленно нагрянул обыск. Само собой, в кладовке нашлись несколько бутылок вина; лицензии на них не было, зато был в стране *сухой закон* с начала войны.

Не спасли «Собаку» ни громкая слава, ни многочисленные представления, выручку от которых Общество Интимного Театра перечисляло в пользу «Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне воинам и их семьям». Не помогло заступничество именитых *фармацевтов*. Слишком уж вольный дух царил среди здешних завсегдатаев, слишком многое они стали себе позволять!

Ещё в феврале подвальный кабачок работал, как обычно. Тем вечером народу набилось полным-полно: гостям обещали встречу со знаменитостями — эго-футуристом Игорем-Северянином и кубо-футуристами Давидом Бурлюком и Василием Каменским. Выйдя на эстраду, Бурлюк величественно поднял лорнет, через стёклышко обозрел гостей единственным глазом и объявил:

— Милостивые государи! Сегодня перед вами выступят львы различных пустынь, и каждый похвастается своим рыком!

Но тут среди зала во весь рост поднялся ещё один кубо-футурист — Владимир Маяковский.

— Львы падалью не питаются! — гаркнул он. И, пока ошеломлённая публика постигала оскорбление, взобрался на эстраду, плечом оттеснил Бурлюка и бросил в обращённые к нему лица новые свои стихи:

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и тёплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Молодой сочный бас рокотал под низкими сводами подвала, и каждая строка звучала, как оплеуха:

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?
Если б он, приведённый на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Маяковский ткнул пальцем в сторону поэта, и тот залился румянцем. Вся клокочущая ненависть, которую приметил у Володи ещё Бурлюк, вырвалась на волю, воплотилась в стихе и обрушилась на замерших в зале *фармацевтов*. На последних строках несколько дам упали в обморок, господа повскакали с мест, а поэт, возвышаясь на эстраде, нагло ухмылялся, жёг их угольями глаз и раздувал ноздри:

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!..

Драки не случилось лишь благодаря старому князю Михаилу Николаевичу Волконскому — поэт, писатель и былой соратник Пуришкевича по Союзу русского народа оказался в подвальчике и приструнил

недовольных. А когда страсти поутихли, князь Волконский распушил седую бороду и принялся читать свои стихи. Его поддержал журналист и поэт Николай Корнейчуков, знакомый публике под псевдонимом Корней Чуковский. Следом на эстраде снова появился Бурлюк, а там уже и Северянин пришёл в себя.

Скандал замяли, но кто-то из оскорблённых Маяковским всё же добрался до полиции и состряпал протокол. Судьба «Бродячей собаки» была предрешена, и после того памятного вечера кабачок не протянул даже месяца.

Впрочем, Борис Пронин не унывал. Вместо распавшегося Общества Интимного Театра он тут же создал Петроградское Художественное Общество, и уже через год вместо тесного подвальчика на Итальянской зазывал в просторный подвалище около Марсова поля: в доме Адамини он открыл новый артистический кабачок, почти что подземный театр — «Привал комедиантов».

К зиме шестнадцатого года в «Привале» снова собрались все те же. Правда, *фармацевтов* стало много больше: если в «Собаку» их снисходительно пускали, то здесь они превратились в дорогих гостей — именно потому, что платили втридорога, приносили заведению изрядный доход и позволяли подкармливать богему.

Сейчас худощавый птиценосый человек в белых одеждах Пьеро, полузакрыв глаза и мягко грассируя, пел со сцены под гитару. Даже не пел — мелодекламировал, мяучил про юную кокаинетку, мокрую и одинокую на московском бульваре; про её тонкую шейку под лысой горжеточкой, про ядовитую слякоть и сиреневый трупик бедняжки, которая обезумела от бессмысленности своего существования… Театральный надрыв звучал жалостливо. Высокий голос исполнителя дребезжал, крашеные брови поднимались домиком, и нарисованная слеза катилась по выбеленной щеке.

Игорь-Северянин презрительно покосился в сторону сцены:

— Одно слово, паяц!

Александра Вертинского он не любил, ибо сам же провозгласил принцип: *Если желаете меня оскорбить, подражайте мне*. Вертинский — подражал и тем навлекал себе эпиграммы Северянина, вроде: *Душистый дух бездушной духоты, гнилой, фокстротной, пошлой, кокаинной…* Они не общались.

— Брось, не ершись, — посоветовал Маяковский, сидевший с Игорем за столиком почти у самого входа. — Ноет и ноет себе. Давай-ка мы с тобой винца потихоньку, а? Я с Прониным договорюсь.

Игорь Лотарёв был на семь лет старше Володи Маяковского и прославиться успел раньше. Однажды заезжий журналист прочёл ироничный стишок из его брошюры Льву Толстому.

Вонзите штопор в упругость пробки,
И взоры женщин не будут робки!

Толстой возмутился и охаял автора. Пресса подхватила сказанное, подняла вой и улюлюканье — так про молодого поэта вмиг узнала вся страна. Выдуманное запойным приятелем прозвище Игорь-Лыжеход для подписи к стихам категорически не годилось, и после некоторых раздумий Игорь Лотарёв стал Игорем-Северянином.

С Маяковским их свели общие знакомые в Москве в тринадцатом году. Большой компанией долго сидели в отдельном кабинете ресторана «Бар», много пили. Игорь царил весь вечер, стихи его лились почти без остановки — он именовал их *поэзами* и не читал, а напевал на известные мотивы. Когда же Северянин притомился, Маяковский тоже захотел выступить.

— Господин… э-э… как бишь вас, — сказал ему Игорь, подняв бокал до уровня покрасневших глаз и глядя сквозь стекло, — давайте не будем омрачать знакомства вашими стихами!

Болезненно самолюбивый Маяковский это запомнил. Он только начинал тогда выступать и безумно завидовал чужому успеху. Вместе с Бурлюком или сам по себе таскался на северянинские *поэзоконцерты*, чтобы научиться очаровывать публику: Игорь называл это — *популярить изыски*. Главной аудиторией Северянина были женщины, *намагниченные принцессы*. Во время представлений они бесновались, словно в сумасшедшем доме, куда пришёл любимый доктор. И даже имя — *И-и-и-игорь!* — удивительно подходило для восторженного визга.

Учёба не прошла даром: уже через год Северянин взял Маяковского в совместные гастроли по Крыму. Контракт оказался удачным — поэты кутили напропалую, перебираясь из ресторана в ресторан. Приятной участницей загула стала любвеобильная Валечка Солнцева. Вскоре совершенно очарованный Игорь сообщил Володе, что всерьёз намерен осупружиться. В ответ Маяковский грубо расхохотался ему в лицо и огорошил стихами:

Она пришла ко мне нагою,
Взамен потребовав венца,
А я ей предложил винца
И оттолкнул её ногою.

Правду он сказал или нет, но Валечка получила отставку, а посрамлённый Северянин понёс кару за унижение при знакомстве. Маяковский был отмщён.

— Споёшь сегодня? — спросил Володя, когда им принесли вина в чайнике и они с Игорем выпили по

чашке.

— После этого?! — Северянин изогнул бровь и слегка кивнул в сторону Вертинского. — Ну нет, уволь. А ты?

— Пожалуй…

Маяковский хмуро, исподлобья обвёл взглядом задымлённый сводчатый зал с расписными стенами и подлил в чашки вина.

Из-за соседнего стола поднялся невзрачный мужчина в мундире поручика гвардии Преображенского полка.

— Миша! — махнув рукой, крикнул он вошедшему в «Привал» рослому, красивому штабс-капитану. — Миша, Зощенко!

Штабс-капитан заулыбался и подошёл. Они с поручиком обнялись.

— Сухотин, дружище! Какими судьбами? — спросил Зощенко. — Тебя же вроде выписали?

— Да я пока ещё… словом, не очень, — ответил Сухотин. — Голова, знаешь ли, как ватная, и соображаю туго. Придётся пока в Питере кантоваться. До поры приставлен к великому князю Дмитрию Павловичу, а там видно будет. Ну, а ты?

— Снова годен, — сообщил штабс-капитан, усаживаясь за стол. — Гренадеры мои заждались, возвращаться пора.

Маяковский и Северянин украдкой разглядывали собеседников. Офицеры выглядели не старше поэтов, но у обоих над обшлагом левого рукава виднелись несколько нашивок за ранения. Из разговора стало понятно, что и знакомы они по госпиталю. Грудь Зощенко украшали знаки орденов Анны и Станислава. Поэты многозначительно переглянулись: соседи оказались настоящими боевыми офицерами, героями…

В начале войны Игорь-Северянин пропел со сцены:

Друзья! Но если в день убийственный
Падёт последний исполин,
Тогда ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин!

Весной шестнадцатого года нежный и единственный попал под мобилизацию и очутился в запасном полку. Первым делом Игорь заслужил новое прозвище. На стрельбах его похвалил командир батальона, и он радостно ответил:

— Мерси, господин полковник!

Разъярённый офицер приказал называть новобранца — *Мерси* и готовил изощрённые кары, но через две недели ратника Лотарёва вытащила из армии великая княжна Ирина Александровна — супруга молодого князя Феликса Юсупова и горячая поклонница поэта Игоря-Северянина.

А вот ратник Маяковский продолжал тянуть военную лямку и перед походом в «Привал» переодеваться в штатское, опасаясь полиции и патрулей. Солдату не дозволялось бывать в подобных заведениях и уж тем более — выступать на публике. Но Володя выступал: без аудитории он себя уже не мыслил; к тому же за его *épate* Пронин хорошо платил деньгами *фармацевтов*.

— О, смотри-ка ты, какие гости пожаловали! — оживился Северянин. — Его сиятельство!

Из открывшейся двери потянуло холодом, и пламя свечей в настенных канделябрах дрогнуло. Маяковский обернулся: в кабачок вошли Феликс Юсупов, два британских офицера и гвардейский штаб-ротмистр со знаками флигель-адъютанта.

Поручик Сухотин оборвал разговор с Зощенко, поднялся и щёлкнул каблуками.

— Чёрт! — прошипел Маяковский. — Этому-то что здесь надо?

— Кому?

— Дмитрию Павловичу!

Проходя мимо, великий князь приветливо кивнул Сухотину, прищурился на Северянина, но Маяковского вроде не заметил. Гостей ждали места за столом почти у самой сцены, где Вертинский заканчивал уныло рифмовать горжетку и кокаинетку.

Северянин с интересом взглянул на Маяковского.

— Великий князь тебя знает?! Вот это номер! И что же, выступление отменяется?

— Ну уж нет! Я у Бори денег взял. И вообще — пошли они все!

Володя неуклюже выругался, залпом допил вино из чашки, встал и двинулся к сцене.

Глава XIII. Вполголоса

Первый раз Лиля пришла к Распутину спустя несколько дней после встречи в поезде.

Эльза и вправду опасалась за сестру-авантюристку, а потому, присочинив добрую половину, рассказала Осипу о приглашении Распутина. Однако ждать решительных действий от флегматичного Брика не приходилось, и потому она стала сама приглядывать за Лилей. Та выждала, пока бдительность охранницы притупится, а в первый же удобный вечер улучила момент, отговорилась каким-то пустячным предлогом и отправилась на Гороховую.

Агенты охранного отделения у парадного входа внимательно Лилю рассмотрели. Те, что дежурили на лестнице — строго спросили, кто такая и по какому делу, ждёт ли её Григорий Ефимович. После того один из филёров аккуратно записал сведения про гостью в тетрадь.

Дверь на звонок открыла толстуха с поджатыми губами, которая со странной настойчивостью прямо с порога потребовала отдать ей муфточку. Расставшись с муфтой, пальто и калошами, Лиля оказалась в столовой.

За время замужества она привыкла к небольшой квартирке, где почти всегда было полно гостей и всевозможных милых безделушек. Так она по своему вкусу создавала уют и атмосферу литературного салона; так жили большинство их с Бриком знакомых. Лиля никогда не видела крестьянских изб, поэтому распутинская квартира показалась ей полупустой и чересчур просторной — очень чистой, но словно нежилой. От ванной комнаты тянуло сыростью. Мебель сюда наверняка подбирали по случаю, и выглядела она появившейся только что. Броские тона полосатой

обивки особенно резали глаз на фоне тусклых обоев с аляповатым скучным рисунком. Совсем странными выглядели вазы со свежими розами на подоконниках. Горький запах цветов соперничал с ароматом свежайших пирожных, разложенных на большом блюде. Толстуха, которая звалась Акилиной, подавала чай.

Распутин сел за стол напротив Лили и со странным выражением лица буравил её взглядом прозрачных глаз, утонувших в мелкой сети морщин.

— Сладкое-то любишь, миленькая, — сказал он, кивая на буше и эклеры. — Помню конфетки твои в поезде… Кушай, кушай!

— А вы как же?

— Говорил же тебе — отвык давно. Уж, почитай, лет двадцать тому. Опять же, кислотность у меня… после операции. Нельзя, понимаешь, сладкого — врачи говорят. Слыхала, небось, как в брюхо-то пырнули меня? Вот.

Лилин слух резануло слово *кислотность*, произнесённое этим мужиком с косматой бородой и нервными руками. А сам Распутин в яркой рубахе, расшитой цветами, упорно не желал восприниматься живым человеком, оставаясь персонажем сплетен и карикатур.

— Вы здесь один квартируете? — Лиля пыталась поддержать светскую беседу.

— Зачем же один… Акилина вот у меня, ещё Печеркины… Дочки из пансиона по выходным и на праздники непременно… Матрёна даже днями часто… Обычным делом здесь и шагу ступить некуда, столько народу с утра до ночи — тебе-то повезло в затишье попасть!

Он говорил — и смотрел, не отрываясь, и посмеивался, и прихлёбывал крепкий чай, отвечая на неловкие и пустые вопросы.

А когда Лиля, с удовольствием съев несколько пирожных, решительно отодвинула от себя блюдо, Распутин подождал ещё немного, потом поднялся и очень буднично сказал:

— Ну так что… пойдём тогда в спальную, что ли.

— Побойся бога, Гриша, — сказала Акилина, полоснув Лилю взглядом. — Поговорить-то и здесь можно, коли надо — выйду я, а то ещё кабинет есть…

— Цыц! — вдруг прикрикнул на неё Распутин. Не громко, но так, будто пригвоздил к месту.

Сердце Лили запрыгало и мысли тут же спутались. В одно мгновение успела она подумать и о том, что предполагала мужской интерес к себе Распутина, но не могла себе представить, что это случится так… между двумя чашками чаю. И о том, что третье пирожное было точно лишним. И о том, что словно нарочно надела сегодня ярко-красное дорогое бельё, добытое для неё где-то пронырой Бриком. И о том, есть ли у Распутина волосы на груди. И о том, не стоит ли сперва попроситься в ванную… или это будет неловко?.. или в спальне предусмотрительно приготовлен кувшин с водой и тазик? И о том, как бы половчее справиться с высокой шнуровкой на изящных английских сапожках… или лучше их не снимать?.. в них ноги кажутся длиннее…

Мысли путались, мешались, а Лиля под ненавидящим кухаркиным взглядом уже шла за Распутиным по коридору и чувствовала сладкий зуд внутри, как всегда в предвкушении мужчины; щёки её горели, грудь наливалась, и сердце стучало сильнее с каждым шагом…

Кувшина с тазиком в спальне не обнаружилось. Распутин усадил Лилю на простую узкую кровать с металлическими спинками и никелированными шарами, застеленную шерстяным одеялом, с несколькими тощими подушками в изголовье. На ложе великого

любовника это походило мало. Да и сам Распутин повёл себя вопреки ожиданиям Лили. Она умирала от любопытства — как же это у них всё-таки случится? Как он подойдёт… или набросится? Что станет говорить, и насколько окажется силён…

— Помощь твоя нужна, миленькая, — сказал Распутин.

Возле кровати стоял новенький, блестящий лаком американский письменный стол с массивными тумбами. Дорогущий, Брик давно мечтал о таком. Распутин выудил из кармана бархатных штанов ключ и отпер замок — тугой и надёжный, судя по сочным щелчкам пружины. Из тяжёлого ящика он вынул ворох бумаг, не удержал в руках, и те посыпались — на столешницу, на пол…

Лиля, опустившись на корточки, помогла их собрать. Прошения пестрели разными почерками — мужскими, женскими; попадались даже отпечатанные на машинке. Мазнув глазами по собранным листкам, Лиля зацепила взглядом несколько непохожих на другие. Они были скреплены между собой и написаны крупными каракулями.

Я чувствую что расстанусь с жизнью до 1 января… Если я буду убит простыми убийцами и особенно моими собратьями русскими мужиками, ты Царь русский можешь ничего не боятца, останешся на троне и будешь править, и ты Царь русский можешь ничего не боятца и за детей своих, они будут царствовать в России еще сотни лет…

— Это вы писали? — подняла Лиля глаза на Распутина. — Что это?

— Дух мой. Завещание, значит, — он вынул листки из её рук и убрал обратно в ящик. — И не того ради я тебя позвал. Присядь, миленькая…

Все бумаги вернулись в стол, кроме нескольких машинописных страниц. Распутин протянул их Лиле.

— Ты давеча немецким своим похвалялась. А ну-ка, почитай!

Тонкая бумага оказалась неожиданно плотной. Автор явно экономил место и текст напечатал убористо. Лиля старательно разбирала строки, едва не наползающие друг на друга.

Если это и был документ, то без начала и конца. Что-то вроде меморандума. В тексте говорилось о том, как русских военнопленных используют на строительстве дорог в горах Словении. На перевале Вршич, по пути от посёлка Краньска Гора до долины Трента — только под снежными лавинами погибли несколько сот русских. Ещё никак не меньше десяти тысяч умерли от непосильного труда, голода и болезней. Сведения эти засекретили, хотя стараниями добрых людей и появилась на горном склоне, на заоблачной высоте, русская часовня.

Был на тонких листках и сухой, а потому особенно страшный рассказ о геноциде армян. Громадная Османская империя рушилась и, уходя в небытие, словно старалась унести с собой как можно больше жизней. Турки обвинили армян-христиан в сочувствии к русским единоверцам, то есть в государственной измене. А обвинив — за одну августовскую неделю вырезали три четверти населения Западной Армении. Больше полутора миллионов человек. Все мужчины, начиная от мальчиков девяти лет и старше — Лиля содрогнулась, читая это, — подлежали уничтожению в любом случае. Изнасилованных женщин оставляли в живых, но каждой перерезали сухожилие на ноге, чтобы хромота напоминала о случившемся до конца дней. Спаслись лишь армяне в Восточной Армении — той, что принадлежала Российской империи — да ещё в Персии.

— Отчего же у нас нигде об этом не пишут?! — спросила Лиля, подняв на Распутина полные слёз глаза.

— Оттого, что... где писать-то? — вздохнул он в ответ. — Газетки-то, сама знаешь... брешут и брешут. Им Гришку-то Распутина куда как сподручней полоскать... Вот надумал я самую настоящую, правдивую, народную газету в ход пустить. Денег мне дадут, люди верующие нашлись... соберу я людей хороших, перекрещусь, да и — господи, благослови! — в колокол ударю... Так ведь тоже, понимаешь, не хочется, чтобы тяп-ляп — вышел корабль. Дело большое, сразу не решишь, не скажешь... Но ты читай, дальше читай!

И Лиля снова стала читать — о кыргызах Семиреченской области. Много лет Англия противостояла России в Центральной Азии, много лет шла между ними *Большая Игра* за туркестанские края, за кратчайший путь в Индию через Кыргызстан. Летом российские войска усмиряли восстания по всем южным границам империи. Но едва дело было закончено, как англичане устроили провокацию в Семиречье, в Токмаке, где жил вполне лояльный России древний мирный народ. И тем временем, когда турки уничтожали армян, — по английскому наущению от рук российских карателей и ополченцев лютой смертью погибли чуть не четыреста тысяч кыргызов.

— А наших-то крестьян сколько там полегло! — Теперь уже Распутин смахнул слезу и шмыгнул носом. — Крестьян да казачко́в русских... Кыргызы-то в ответ их тоже, поди, резали, как баранов — война ж не разбирает... господи, прости!

Оставшиеся сводки касались более известных материй — предательства болгар и затянувшихся боёв на Сомме и под Верденом.

Болгария с самого начала войны вела себя подло, лавируя между Россией и Австрией. А теперь страна, у турок выкупленная кровью русских солдат в битвах на Шипке и под Плевной, подняла оружие против России.

Откололась от славянского лагеря и заключила союз с Германией и Турцией — злейшим своим врагом.

Французскую крепость Верден уже скоро год, как осаждали войска во главе с германским кронпринцем. Обе стороны увязли в осенней грязи, а счёт перемолотых Верденской мясорубкой шёл уже на сотни тысяч. И ещё одна битва никак не кончалась в полях вдоль реки Соммы. Там французские дивизии при поддержке британского экспедиционного корпуса медленно теснили германцев. На Сомме англичане впервые бросили в бой долгожданное детище министра Черчилля — танки. Огромные стальные короба в клубах сизого дыма медленно ползли на лязгающих гусеницах, поливали врага из пулемётов и сеяли панику. Но и здесь германцы упорно держались, а потери каждой стороны подошли уже к полумиллиону человек…

Голос Лили, читавшей с листа, дрожал, но переводила она бойко, лишь иногда спотыкаясь на специфических военных терминах.

— Откуда это у вас? — спросила она, возвращая записки. — Зачем?

— Затем, что кончать всё надо разом, — откликнулся Распутин. — Кровь остановить. А царю нашему батюшке никак не с руки одному. Помощь ему нужна.

Глава XIV. Последний привал

Когда по весне открывался «Привал комедиантов», война шла уже почти два года. Но жизнь столичной богемы продолжала бурлить, и тот фееричный апрельский вечер особенно запомнился двумя событиями.

Для праздника знаменитые режиссёры Всеволод Мейерхольд и Николай Евреинов совместно поставили несколько коротких забавных пьесок — небывалый случай! Это событие стало первым. Пронин ведь собрал в «Привале» постоянную труппу из учащихся студии Мейерхольда, объявил о появлении на Марсовом поле подземного театра-кабаре и утвердился в праве драть с *фармацевтов* изрядную цену за вход в свой подвал.

Вторым событием оказалось поздравление от прежних сослуживцев Мейерхольда, актёров Московского художественного театра:

В Москве ни собак, ни привала.
Актёры, художники есть
И даже поэтов немало…

Конферансье читал длиннющую телеграмму на бис. Как же хотелось оказаться здесь кумирам театральной публики — и Ольге Книппер, и Ивану Москвину, и Николаю Массалитинову!

В «Привале» зарыта «Собака»,
Но духа её не зарыть.
И каждый бродячий гуляка
Пусть помнит собачую прыть!

Два пронинских подвала, старый и новый, во многом походили друг на друга — и столь же многим рознились.

Как и в «Собаке», своды «Привала» от пола до потолка покрывали фрески. Но фигуры уже не громоздились хаотично: новую роспись делали академические художники.

По стенам в старинных канделябрах горели свечи. Их неверный свет рассеивали *бауты* — венецианские маски, которые напоминали о комедии дель арте и об итальянской карнавальной столице, с которой так часто сравнивают город на Неве. Но и в электрических лампах «Привал» не испытывал недостатка.

Новое детище Пронин хотел сперва назвать «Звездочётом». Поэтому на сводчатых потолках, обозначавших Своды Небесные, распластались подобия звёзд — осколки зеркал в золотом обрамлении. В антураже настоящего питерского подвала оживали сказки Гофмана — здесь, на дне глубоченного двора-колодца, откуда лучше видно звёздное небо…

Маяковскому с его ростом не привыкать было смотреть на публику сверху вниз. А сейчас, стоя на сцене, он в самом деле царил над переполненным залом. И слои табачного дыма подчёркивали его сходство с горной вершиной, встающей из клубящихся облаков.

Володя внял мольбам Пронина: в присутствии великого князя и многих уважаемых людей — бога ради! — не повторять скандала, приведшего к закрытию «Собаки». Он избегал смотреть на Дмитрия Павловича со спутниками. И потому, глянув сперва на Бориса, ставшего сбоку от сцены, потом на Северянина, который откинулся на спинку стула за дальним столом, глухим голосом Маяковский начал читать свою новую поэму «Война и Мир» — результат почти годичных творческих мук:

Хорошо вам.
Мёртвые сраму не имут.
Злобу
к умершим убийцам туши́.
Очистительнейшей влагой вымыт
грех отлетевшей души…

Зал, размякший под Вертинского, отреагировал не сразу. Свежа была сентиментальная слеза о пальцах, пахнущих ладаном; о синеющей кокаинетке… Но теперь освещённый пятачок сцены заполнял собой Володя и сжатым кулачищем будто бы дирижировал рубленый ритм стиха. С тяжестью парового молота падали слова — не самый подходящий фон для выпивки и закуски. Организованные Бурлюком выступления в десятках городов принесли свои плоды: Маяковский научился заставлять слушать себя. Не каждому полезут в горло кусок или рюмка; мало кто сможет жевать, когда со сцены слышится такое…

Что им,
вернувшимся,
печали ваши,
что им
каких-то стихов бахрома?!
Им
на паре б деревяшек
день кое-как прохромать!

Игорь-Северянин, с первых строк окунувшийся в Володины стихи, вздрогнул, когда на соседний стул тихо опустилась Тоня и вскользь чмокнула его в щёку.

— Опоздала, прости, — шепнула она, устраиваясь. — Давно читает?

— Только начал…

Лысины слиплись в одну луну.
Смаслились глазки, щелясь.
Даже пляж,
расхлестав солёную слюну,
осклабил утыканную домами челюсть…

Ещё никто не примерял сказанного на себя, но гул голосов в зале «Привала» уже стал заметно тише. А Маяковский бил и бил в одну точку.

Кто это,
кто?
Эта массомясая
быкомордая орава?..

Борис Пронин, который было отошёл от сцены к очередному столу, не успел толком поворковать с гостями — поспешил вернуться обратно.

И в клавиши тротуаров бу́хали мужчины,
уличных блудилищ остервенелые тапёры…

Маяковский читал, щупая зал тяжёлым взглядом.

Нажрутся,
а после,
в ночной слепоте,
вывалясь мясами в пухе и вате,
сползутся друг на друге потеть,
города содрогая скрипом кроватей…

Слова звучали диким контрастом жалостному тремоло Вертинского; после некрофильской эротики —

сочились животной страстью.

В крыши зажатые!
Горсточка звёзд,
ори!
Шарахайся испуганно, вечер-инок!
Идём!
Раздуем на самок
ноздри,
выеденные зубами кокаина!

Дмитрий Павлович с возрастающим интересом разглядывал Маяковского, а потом перевёл взгляд на Феликса. Юсупов сделал в ответ страшные глаза, раздул тонкие ноздри — и снова воззрился на сцену.

…страх
под черепом
рукой красной
распутывал, распутывал и распутывал мысли,
и стало невыносимо ясно:
если не собрать людей пучками рот,
не взять и не взрезать людям вены —
заражённая земля
сама умрёт —
сдохнут Парижи,
Берлины,
Вены!

Скейл и Эллей дымили пахучими сигарами и безучастно слушали. Впрочем, странно было бы ждать от британских офицеров проявления чувств в богемном подвале. Однако и они время от времени внимательно взглядывали на соседей.

Батареи добела раскалили жару.
Прыгают по трупам городов и сёл.
Медными мордами жрут
всё…

Басом своим Маяковский каждое слово вколачивал в зал, будто сваю. Полуоткрыв рот, за столом по соседству с Северянином и Тоней застыл поручик Сухотин, неотрывно глядя на сцену.

Никому не ведомо,
дни ли,
годы ли,
с тех пор, как на поле
первую кровь войне отдали,
в чашу земли сцедив по капле.
Одинаково —
камень,
болото,
халупа ли,
человечьей кровищей вымочили весь его.
Везде
шаги
одинаково хлюпали,
меся дымящееся мира месиво…

Тоня уже слышала эти стихи. Но сейчас и она сглотнула подкативший к горлу ком, настолько зрима была нарисованная Маяковским жуткая картина мировой бойни. *Гойя!* — подумала она.

…ветер ядер
в клочки изорвал
и мясо и платье.
Выдернулась из дыма сотня голов.
Не сметь заплаканных глаз им!
Заволокло
газом…

Орденоносный штабс-капитан Зощенко тоже не сводил с Маяковского огромных чёрных глаз. Он даже приподнялся на стуле и вцепился в край стола. Стихи вернули фронтовые воспоминания: о склизкой окопной грязи, о визге шрапнели, о клочьях человеческих тел и вони развороченных кишок; о ядовитых горчичных облаках, наползающих с германской стороны, — облаках газа, который рвёт грудь и заставляет кровью сочиться глаза. Газа, хватанув которого, счастливчики вроде Зощенко ухитряются выжить и после месяцами валяются по госпиталям…

Маяковский гремел со сцены:

Никто не просил,
чтоб была победа
родине начертана.
Безрукому огрызку кровавого обеда
на черта она?!

Недалеко от сцены, качнувшись, поднялся прапорщик — из тех, что получали погоны на ускоренных курсах и ходили потом в адъютантах при бельевых складах министерши Сухомлиновой.

— Хорош! — вальяжно протянул он. — Вертинского давай!

Одетый в такой же френч другой прапорщик, чуть потрезвее, дёрнул крикуна за рукав, и тот упал обратно

на стул. А Маяковский читал, возвышая голос:

Пятый день
в простреленной голове
поезда выкручивают за изгибом изгиб.
В гниющем вагоне
на сорок человек —
четыре ноги…

Лоснящийся брылястый прапорщик оттолкнул миролюбивого толстяка-соседа и снова поднялся.

— Хорош, я сказал! Ты кому здесь про войну рассказывать будешь, ты, крыса тыловая?!

Маяковский побелел лицом и шагнул со сцены, продолжая:

А мне за что хлопать?
Я ничего не сочинил.
Думаете:
врёт!
Нигде не прострелен.
В целёхоньких висках биенья не уладить,
если рукоплещут
его барабанов трели…

Взвизгнула дама, которую поэт вместе со стулом отодвинул с пути.

— Молодой человек, — неуверенно сказал её кавалер с круглым следом от шапки на бриолиновой причёске, — что вы себе позволяете?!

Володя тараном шёл на прапорщика.

В зале сделалось движение, и в последний момент, когда драка была уже неминуема, перед Маяковским вырос коренастый Сухотин.

— Не надо, — коротко сказал он, дрогнув щекой в нервном тике.

В тот же миг Зощенко плечом отодвинул в сторону полупьяного прапорщика. Герой бельевого склада вскинулся, но тут увидал ордена и нашивки за ранения, погоны, а потом и глаза штабс-капитана — и мгновенно сник.

— Вон отсюда, мразь, — тихо и страшно скомандовал Зощенко. Прапорщик покорно попятился к выходу. Тут же поднялись и, спотыкаясь о стулья и чужие колени, потянулись за ним соседи по столу — два таких же выпускника ускоренных курсов и с ними пара напуганных барышень.

— Ратник Маяковский! Ко мне!

В голосе Дмитрия Павловича звенел металл. Сухотин с удивлением взглянул на поэта — откуда знает его сам великий князь? и почему называет детину в цивильной одежде ратником? — а Володя обречённо подошёл к столу возле сцены.

— Однако, я смотрю, вы везде успеваете! — Теперь Дмитрий Павлович говорил уже с насмешкой. — Днём — чертежи и автомобили, ночью — вино и стихи… Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, солдатам запрещено посещать подобные заведения и участвовать в публичных выступлениях. Нет?

Маяковский играл желваками на скулах и молча сопел. Его дурацкая бравада грозила теперь большими неприятностями. Эдак мало, что из автошколы выгонят — ещё и на фронт запросто пошлют…

Из-за Володиной спины вынырнула и храбро встала рядом Тоня.

— Вы же сами видели, — сказала она, вскинув голову, — он не виноват!

— Господа, — засиял вымученной улыбкой Борис Пронин. — Прошу прощения за досадное недоразумение. Благодаря господам офицерам

инцидент исчерпан. Позвольте шампанского за счёт заведения!

И он сделал знак буфетчику. Юсупов расхохотался.

— Ваше высочество! — Подошедший Игорь-Северянин поклонился великому князю; в голосе его звучали самые бархатные тона; он повернулся к Юсупову. — Ваше сиятельство… Эти хамы устроили гнусную провокацию!

— Что же вы молчите, Маяковский? — спросил Дмитрий Павлович. — Вашу милую даму и прочих адвокатов мы уже послушали, а что вы сами скажете в своё оправдание?

— Я дворянин, — глухо сказал Володя, глядя в пол.

— Вот как?! — вскинул брови Дмитрий Павлович. — И что же?

Маяковский поднял голову и, глядя в глаза великому князю, повторил громко и чётко:

— Я дворянин! И намерен отстаивать свою честь, кто бы и где бы на неё ни посягнул!

Великий князь встал и заложил руки за спину. С Маяковским они оказались почти одного роста.

— Вот что я вам скажу, милостивый государь, — негромко произнёс Дмитрий Павлович, и слова его долетали только до собравшихся возле стола, но не были слышны остальному залу. — Вы пишете прекрасные стихи. Я, признаться, просто потрясён и отныне навсегда ваш поклонник. Не удивлюсь и даже буду рад, если вы станете действительно знаменитым… Но — после войны, и не раньше! А пока что вы — дворянин на службе государя и отечества. Извольте выполнять то, что положено солдату! Я не стану ничего говорить вашему генералу, и сегодняшний случай останется между нами. Однако потрудитесь впредь не попадаться мне на глаза в неурочное время и в неподходящем месте. Свободны!

Маяковский вспыхнул и резко двинулся к выходу. Юсупов проводил его взглядом и повернулся к Северянину:

— А вы, голубчик, сделайте милость, порадуйте нас тоже чем-нибудь… эдаким… Любезный, — теперь он обращался к Борису, — не вы ли только что произнесли это волшебное слово — шампанское?

Шагая через ступеньку, Маяковский поднялся из подвала и вышел на Марсово поле. На ходу он совал руки в рукава пальто и всё не мог попасть. Щёки пылали — даже пронизывающий ветер не сразу их остудил.

Тоня выбежала следом, схватила Маяковского за локоть и пошла рядом.

— Вовка, я так по тебе соскучилась! Почти неделя прошла… Во-овочка…

Она старательно семенила в ногу с его саженными шагами.

— Ты правда дворянин? — Тоня попыталась заглянуть в насупленное лицо Маяковского.

— Правда, — буркнул он. — Столбовой.

— Ишь ты! Никогда не говорил…

Они шли вдоль Мойки. Володя машинально двигался к дому — он съехал, наконец, из «Пале-Рояль» и снял маленькую квартиру на Надеждинской, почти на углу с Кирочной. Новое жильё обходилось дешевле и было ближе к Брикам.

Обгоняя парочку, в сторону Пантелеймоновского моста проехали несколько грузовиков с солдатами. Несмотря на холод, в кузове первого кто-то пиликал на гармошке и пел:

Распроклятая машина
Дружка в Питер утащила.
Она свистнула, пошла,
Расцеловаться не дала!

В следующем грузовике ехал свой частушечник, надтреснутым голосом перекрывавший нытьё двигателя:

Помолись, милашка, богу
На Исаковский собор.
Не возьмут меня в солдаты —
Мы поженимся с тобой!

Рыжей кометой мелькнул в воздухе окурок, брошенный из кузова третьего грузовика — там ехали молча. А в четвёртом задорный молодец, привстав, покрикивал почти без мотива:

Николай любил калину,
А Распутин — виноград.
Николай проел Россию,
А Распутин — Петроград!

В кузове хохотали.

— Поэты... — поморщился Маяковский.

— Ой, ты так читал сегодня! — Тоня сияла от восторга. — Это же невероятие какое-то! Все просто замерли! Такие образы! Вовочка, зачем ты не остался художником? Если бы всё это — на холст, а? Выступать сейчас нельзя, но картины-то писать можно!

— Аудитория маловата, — помолчав, ответил он. — Ну, стану я картины писать. И что меня ждёт? Разве что Третьяковка, в которую один чёрт никто не ходит. А у

поэта — аудитория! Толпа, понимаешь? Поэт с толпой может говорить! На языке толпы. И толпа начнёт говорить моим языком, погоди!

— Вовка, — млея, сказала Тоня и посмотрела на него блестящими, бесконечно влюблёнными глазами, — я с тобой такая счастливая!

А в дымном «Привале» Игорь-Северянин, гордившийся тем, что за две недели в запасном полку не замарал рук государевой службой, по просьбе мужа своей спасительницы напевно *популярил* со сцены очередной *изыск*:

Я в солнце угасаю — я живу
По вечерам: брожу я на Неву, —
Там ждет грезэра девственная дама.
Она — креолка древнего Днепра, —
Верна тому, чьего ребёнка мама...
И нервничают броско два пера...

Глава XV. Сбор на Гончарной

Ронге шёл по переулку немного бочком, натянув на уши шапку, и прятал нос в поднятом воротнике пальто. Он силился понять: каким образом ледяным зарядам ветра удаётся ударять со всех сторон сразу?!

Известие о смерти Франца-Иосифа догнало Ронге в Петрограде. Император Австрии и король Венгрии, просидевший на троне невероятно долго — шестьдесят восемь лет из своих почти девяноста! — не пережил краха империи. А вступление на шаткий престол его внучатого племянника Карла, которому не исполнилось и тридцати, выглядело почти что фарсом.

В разгаре войны Австро-Венгрия рассыпа́лась на глазах. Германия подобно крепкому кулаку продолжала наносить увесистые удары на обоих фронтах — Западном и Восточном, — но и ей приходилось несладко. Англия наращивала помощь Франции, Россия оправилась от тяжёлых неудач и воевала всё успешнее… Пришла пора всерьёз озаботиться перемирием.

Родина вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны — нейтральная Дания — ещё в августе пятнадцатого предлагала своё посредничество в переговорах между Россией и Германией. Император Николай отказался категорически. Предложение совпало с его решением стать Верховным главнокомандующим и переездом в Ставку; к тому же российский государь был честным союзником и не желал за спинами Англии и Франции говорить о мире с общим врагом…

Вязаная перчатка царапнула веки: Ронге утёр слёзы, застившие глаза от ветра. В памяти всплыла байка, давным-давно рассказанная весельчаком фон Виком,

который помогал Максу учить русский язык. Владимир Иоганнович Даль — потомок датчан и немцев, приехавших служить в Россию, — в любой поездке неутомимо пополнял свой «Толковый словарь живаго великорусскаго языка». И вот однажды — видать, в такую же погоду, как сегодня, — молчаливый ямщик вёз его широкой степью. Но вдруг поёжился на облучке, глянул по сторонам и хмуро произнёс:

— Однако, замолаживает…

Даль оживился, извлёк на свет блокнот, который всегда держал под рукой, и свинцовым карандашом принялся записывать: *Замолаживает — нарождается буря, пронизывает холодным ветром, сыплет порошею…* Тут он хотел было спросить, откуда ямщик родом, чтобы отметить диалект. А мужик сам обернулся к нему и пояснил:

— Потолапливаться нам надо. Замолаживает — не ловён час, совсем замёлзнуть можем!

В кармане Максимилиана Ронге лежал паспорт на имя финского мещанина, приехавшего в столицу империи по коммерческим делам. Российское правительство очень кстати отменило запрет на ввоз молочных продуктов из Финляндии. Швейцарский ловкач Фриц Платтен спроворил отличные документы, и за качество их Ронге был спокоен, но всё же встречаться с полицией ему совсем не хотелось. Так что отвратительный питерский ноябрь, который *замолаживал* и вышибал слезу, оказался на руку: мало кому охота по такой погоде обретаться на улице. Городовые попрятались. К тому же и ходу от меблированных комнат «Пале-Рояль», где остановился Максимилиан, до условленного адреса в Гончарной — всего ничего: только выйти на Лиговку да обогнуть Николаевский вокзал.

Австрия спешила завязать диалог с Россией, пока не обскакали северонемецкие братья. У Германии было

много больше возможностей, чтобы подтолкнуть русских к торгу о мире. На сокрушительную победу в Берлине уже, конечно, не рассчитывали, но прекратить или хотя бы приостановить войну могли вполне. Ведь если противник артачится — его к миру понуждают, создавая проблемы поважней военных.

Германцы активно поощряли партийных агитаторов и горлопанов, разлагающих российскую армию. Финансировали сумятицу с поставками продовольствия на фронт, в крупные города и даже в сам Петроград. Хлеб за время войны подорожал втрое — хотя к зиме шестнадцатого года, сверх всех нужд и государственного резерва, в России остались ещё полмиллиарда пудов отборного зерна…

Император Николай желает воевать до победного конца? Прекрасно! И берлинцы искусно подогревали антивоенные настроения. Они организовали банковские и биржевые аферы, забастовки и шествия возмущённых; щедро платили оппозиционерам в России и в эмиграции… Кайзер не скупился — подрывная деятельность обходилась в миллионы золотых рублей, но результаты того стоили. Ползли слухи, что даже «Летопись», журнал самого Максима Горького, оплачен из Берлина! А германские разведчики нахально угнездились в гостинице «Франция», на Невском проспекте — между Мойкой и российским Главным штабом…

Ронге вздохнул. Такому размаху оставалось только позавидовать: возможности Австрии выглядели не в пример скромнее. Когда лет восемь назад австрийцам удалось завербовать военного министра Сухомлинова, — ему не платили напрямую, а тайно ссужали деньгами на биржевую игру через подставных лиц. С началом войны такая возможность пропала, и теперь продажный генерал охотней работал на Германию. Жил он, кстати, в казённой квартире на набережной Мойки — по

соседству с гостиницей «Франция». Удобно, чёрт возьми!

Нынешний австрийский план предполагал, что долгожданная смена венского правителя может сослужить хорошую службу. Почему бы императору Николаю, враждовавшему с дряхлым императором Францем-Иосифом, не повести себя лояльно к молодому императору Карлу?

Ронге предстояло обратиться к российскому государю через Распутина. Тоже не напрямую: Николай редко появлялся в Царском Селе или в Петрограде, из Ставки в белорусском Могилёве почти не выезжал и с придворным мужиком не встречался. Но Распутин вхож к императрице. А её влияние на супруга, пусть и преувеличенное, ни для кого не тайна. И Ставку она порой навещает. Гений искусства войны Сунь Цзы, мудрость которого так ценил полковник Альфред Редль, учил: *Обязательно используй тех, кто занимают важные посты в государстве врага, сделав их внутренними шпионами!*

Вероятность успеха операции выглядела весьма и весьма зыбкой, однако в таком деле нельзя сбрасывать со счетов даже самый незначительный шанс. Русские говорят: *коготок увязнет — птичке пропа́сть*. Лишь бы заинтересовался Николай предложениями, которые поддержат измученная Аликс и спаситель цесаревича Распутин. Лишь бы заинтересовался, и тогда… О! При одной мысли об этом Максимилиан уносился фантазиями в такую заоблачную высь, что дух захватывало. А что? Возможно, именно ему, простому обер-офицеру и даже не дворянину, назначено спасти свою страну и повернуть ход мировой истории! Ради этого стоило поторопиться.

Последние события в Государственной думе тоже подстёгивали Максимилиана. Сначала — речь демократа Милюкова об измене в верхах,

всколыхнувшая общество и вызвавшая небывалый резонанс. Даже ярый противник кадетского лидера, черносотенец Пуришкевич, развозил тысячи листовок с текстом речи по фронтам в своём санитарном поезде! Потом, меньше чем через три недели, провальное выступление в Думе главы Кабинета министров — и зажигательная речь самого Пуришкевича, приведшая в восторг всех без изъятия депутатов…

Возможности через Распутина предложить мир императору Николаю таяли на глазах. Надо было успеть до Рождества, до Нового года, до назначенной на январь встречи русского царя с эмиссарами Антанты; до того, как случится ещё что-нибудь. И Максимилиан Ронге плечом вперёд шёл навстречу ветру, на встречу с Распутиным.

Дешёвые ходики громко тикали на стене. Уже скоро. Далеко за окном, у Николаевского вокзала, зашипел и свистнул паровоз. Лиля разгладила ладонью на столе вытертую скатерть. Обернулась к зеркалу и поправила причёску. Бессмысленные жесты женщины, которая ждёт. Чего?

Лиля снова вспомнила первую встречу с Распутиным, и щёки её сделались пунцовыми. Это приглашение в спальню и суматошные мысли — о волосах на его груди, кувшине с водой у кровати, красном белье и сапожках со шнуровкой… Господи, стыдно-то как! Скрип половиц под толстой Акилиной, топтавшейся в коридоре, и тихий увещевающий голос мужика. Непривычные интонации, странные слова, сбивчивая распутинская речь…

Речь о том, что реки крови льются по всей Европе — и о том, что их можно остановить. Хотя бы попробовать. И надобно взять это на себя. В народе приметили: *одна ласточка весны не делает.* Так и есть. Но той, которая весну чувствует, что — сидеть и ждать? Нельзя так! Коли все ласточки затаятся — и весна-то не придёт!

И о том ещё говорил Распутин, что избавила война Россию от двух зол: пьянства и немецкой дружбы. Да только одно дело — *не дружить*, и совсем другое дело — *воевать*! Достоинство своё национальное соблюдать, конечно, надо, но оружием-то бряцать не пристало!

С англичанами ведь союзничаем, а уж сколько они России гадили! И продолжают гадить. О том и в записке памятной сказано было: провокацию с кыргызами англичане устроили, а кровушка-то чья пролилась? Русская. Вот и с немцами дружить ни к чему, но и воевать никак нельзя.

Услыхала Лиля слова Григория, как в хождениях своих видел он на Волге и в Сибири поселения немецкие — чистенькие, ухоженные, богатые… Не потому, что деньги там с неба сыплются, а потому, что работают немцы на совесть. Вот и мужички русские, что живут окрест, перенимают понемногу трудолюбие и аккуратность. На девок ладных немецких заглядываются, в жёны берут. Где в избе хозяйка-немка, ту избу в русской деревне сразу видать. И дети — ангелочки, и муж непьющий, работящий.

— У мужичка-то задние мысли какие? — вполголоса рассуждал Распутин. — Никаких. Ему что хорошо, то и хорошо. А немецкие бабы — сдобные и справные. Вот закрывают у нас кабаки — два закроют, а один откроют. Казне-то прибыль! И мужики, чем работать, тащат да тащат деньги. Ан у немки-то не забалуешь!

— Так что же, разве в Германии не пьют? — спросила Лиля. — Пьют, и хорошо пьют.

— То-то и оно, что хорошо! Пьют все — кто не пьёт? Все ж люди… Вот только там они пьют, да себя не пропивают. К тому и жена-немка — не даст она мужичку русскому спиться-то!

Мириться надо с немцами, что с австрийскими, что с германскими, говорил Распутин. Хватит уже, довольно потешились, поубивали друг друга. Поди, никто и не

помнит, с чего да к чему кровопролитие началось. Вот и надо остановиться, миром дело решить. А с тем и человек из вражьего стана прибыл, совсем уж тихо сообщил он. Офицер, имеет полномочия и нужные бумаги, для доставки государю назначенные. Что Лиля прочла Григорию Ефимовичу, то была часть их. Одна беда: хоть и соображает австрияк по-русски, да не всегда с ним друг дружку понять можно.

Это верно, Лиля напрягала внимание, чтобы ловить сказанное Распутиным — больно уж непривычно строил он фразы, прыгал с мысли на мысль, частил… Порой она скорее догадывалась, чем понимала слова, но тут поразилась:

— Так вы со шпионами?! Переговоры?! И как только язык повернулся это — мне? У меня… у меня муж в армии!.. И как вы не боитесь? Вы же меня не знаете совсем!

— А потому и говорю тебе, а не кому ещё, — хитро подмигнул вдруг Распутин. — Народу-то вокруг меня много, и люди заметные, да попросить, вишь, некого. Мигом продадут. А ты кто, миленькая? Никто. Кто тебя слушать станет, если и скажешь кому? Никто не станет. А как и станет — пока разберутся, дело сделается уже. Опять же, на людей у меня глаз острый. Хорошая ты. Бойкая! Не-ет, не станешь зря болтать. И по-немецки поможешь. Глядишь, уймём русскую кровушку-то…

Совсем не прост оказался простой мужик! Долго ещё говорили они, сговаривались, а когда вышли из спальни — Распутин велел Акилине выдать Лиле денег. Та вынесла из кабинета пачку замусоленных четвертных и швырнула разве что не в лицо. Но Лиля стерпела, переполненная восторгом. Собрала деньги, глянула на толстуху свысока — как ухитрилась при своём-то росточке?! — и вышла чёрным ходом: Распутин для новых встреч шепнул ей нужное словечко, охранным агентам на потайной лестнице ведомое.

На выданные деньги Лиля следующим же днём наняла квартиру в Гончарной улице. Торговалась недолго и заплатила вперёд за три месяца. Приняла её хозяйка за проститутку безбилетную или поверила в сказку о несчастной женщине, скрывающейся от бывшего любовника, — Лилю не заботило. Гостиницы и дома свиданий стояли по всей Гончарной, тянувшейся вдоль Николаевского вокзала и железнодорожных путей на Москву. Среди людей, что сновали здесь день и ночь, легко было затеряться. Того и хотел выученик полковника Редля, опытный в деле конспирации. О том и просил Распутин, назначая Ронге встречу — в самом деле, не на собственной же квартире принимать ему вражеского шпиона!

Григорий устроил так, что ещё утром к нему приехала Муня — Мария Головина. Следом потянулась каждодневная публика — просители, страждущие, бесчисленные знакомые... Приволок свой ящик на треноге Миша Оцуп: он служил неподалёку, в военной автошколе у Царскосельского вокзала, но притом часто фотографировал Распутина для газет и, как сам с придыханием говорил, для истории.

Днём Григорий Ефимович отобедал с теми, кто ко времени на Гороховой оказались, а после вместе с Муней парадным ходом вышел на улицу, где дожидалась карета Головиной. Поехали в сторону Адмиралтейства; следом тут же увязались филёры на извозчике.

В дороге Григорий неспешно беседовал с ясноглазой Муней, а сам думал о предстоящей встрече с Ронге. Даже не о встрече, а о том, что станется после неё. Такие беседы и размышления отвлекали от страха, который в последние дни преследовал его неотступно. Снова и снова перед глазами вставали распухшие уродливые трупы, брёвнами ворочающиеся в кровавых

волнах Невы… холодный взгляд безносой мерещился повсюду… Распутин теперь не любил быть один.

— Завтра или послезавтра, когда? — говорила Муня. — Маленький Феликс который день жалуется, что грудь болит. От врачей толку — чуть. Просит поскорее с вами свести. Не откажите, Григорий Ефимович!

Она приглашала к себе — встретиться с Феликсом Юсуповым. *Маленьким* в семье называли молодого князя, чтобы отличать от отца, Феликса Юсупова-старшего. Распутину это сразу понравилось. И то, что *маленькой* сам о встрече просит — добрая весть! Матушка-то его, княгиня Зинаида Николаевна, в числе ненавистниц Распутина первой числилась, заодно с Эллой — сестрой императрицы и вдовой взорванного великого князя Сергея Александровича. А уж вслед за ними ненавидела его и вся семья императорская, кроме царя с царицей да деток. Болел от этого Григорий: любовь-то ведь лечит, а злоба убивает… Вишь ты, *маленькой* встретиться пожелал! Надо, надо к Муне заехать. Феликс-то из всех один никогда слова плохого про него не сказал, не охаял нигде. А ну, если следом и с остальной роднёй княжеской да императорской как-нибудь замириться удастся? Эк славно выйдет!

— Разве можно отказать? — сказал Григорий, отвечая на кроткий Мунин взгляд. — С радостью и моим почтением… Грудь, говоришь, болит? Молоденькой он ещё совсем, рано болеть князюшке-то! Вот завтра прямо и поедем.

Как всё ладится! Нынче вечером — встреча с австрияком. Завтра — с Юсуповым. Потом надо в Царское попасть во что бы то ни стало, и поскорее. Ну, да Аннушка Вырубова поможет, стоит только сказать. А там — уговорит мама папу, и война кончится. И уже не будет по-прежнему: министры-то с депутатами себя показали! Знает царь-батюшка теперь цену ихнюю.

Знает, что не на этих всех — на мужичка русского ему опираться надобно… а мужичок — вот он, тут как тут!

Григорий даже улыбнулся, представляя светлую и любимую свою картину: в золотом сиянии славы на троне — царь, перед ним — коленопреклоненный Григорий среди крестьян бесчисленных, а меж троном и мужичками нет больше никого! На что им ещё кто-то, когда от мужика вся земля кормится, а государь — это и мысль, и совесть, и воля народная?

Скорей бы уж папа вернулся из своей Ставки… Ох, нельзя было ему уезжать! Войсками-то и другие покомандуют — чай, обучены, нешто зря деньги с орденами получают? Солдат всё одно знает: не генерал, но государь над ним главный. И главному этому — непременно в столице надо оставаться. Говорил о том Григорий, объяснить пытался папе земли русской… Слов не нашёл, сбился; осерчал сперва, потом заплакал. Давно ведь уже приметил: не спорит никогда царь-батюшка. Говорят, слабый он? Как бы не так! Ежли решил что — уже ни на шаг, ни на полшага уже не сдвинется!

Не сдвинулся и тут. Ему бы в кулак собрать правительство, да что там — просто самому *быть* в Петрограде! Уже довольно для того, чтобы стало порядку больше. А он — в Могилёв укатил с генералами. Вот и пошла чехарда: всего за год четыре премьера поменялись и четыре министра внутренних дел; трое — иностранными делами ведали, военным министерством и юстицией… Чехарда и есть, словно в деревне у мальчишек! Или — неразбериха, как у пьяного, которого по улице мотает от стены к стене.

И снова холодом сжало у Григория сердце, как в начале ноября в Царском Селе. У Аннушки тогда встретился он с папой последний раз. Похристосовались — сказано ведь апостолом: *не будем смотреть на разные поношения, слуха зла да не убоимся, станем*

продолжать петь псалмы и любить друг друга всем сердцем, и приветствовать друг друга святым лобзанием... До того не виделись они долго, а тут почаёвничали, поговорили душевно. И вот прощаться стали.

— Благослови, брат Григорий, — попросил по обыкновению царь. — С цесаревичем в Ставку нынче ночью поедем.

Но тут мужик побледнел сильно и головой замотал.

— Нет, — сказал, — нынче не я тебя — ты меня благослови!

Страшное предчувствие висело над Григорием, давило, не отпускало...

С Муней он расстался возле её дома и ещё раз пообещал завтра же повстречаться с маленьким Феликсом Юсуповым, а дальше карета отвезла его с Невского на Знаменскую — туда, где улица в Кирочную упирается. Филёры не отставали. Распутин поблагодарил кучера и отпустил восвояси, а сам зашёл в церковь Косьмы и Дамиана, поставил свечку к иконе *Всех скорбящих радость* и помолился немного. Выйдя наружу, положил ещё три поясных поклона памятнику погибшим сапёрам и двинулся в сторону Таврического сада, но тут же перешёл вдруг через мостовую и нырнул в подворотню двадцать третьего дома.

Пока добежали филёры; пока сообразили, в какую сторону мог он подеваться... Ищи-свищи! Дворы-то питерские — что сыр, ходами-переходами насквозь пронизаны. Зайдёт человек в квартал с одной улицы, а выйти на три других может. Да не в одном месте, а в нескольких. Интереса ради Григорий прогуливался здесь, ещё когда жил по соседству. Вот и пригодилось теперь давнее любопытство. Агенты охранного — на Кирочной и Преображенской его искали, а он уже по

Спасской на Знаменскую вернулся и там взял извозчика.

Минут через десять пролётка с укутанным в бобровую шубу седоком, прокатившись вдоль всей Знаменской обратно к Невскому, вывернула через площадь у Николаевского вокзала на Старый Невский и встала на первом углу — с Полтавской улицей. Здесь Григорий, по-прежнему пряча лицо в меховой воротник, расплатился с «ванькой» и пешком отправился в соседнюю Гончарную.

Глава XVI. Правь, Британия!

Путь от Варшавского вокзала занял почти час: извозчичья лошадь, как нарочно, тащилась еле-еле. Доктор Лазоверт мог воспользоваться любезностью начальника санитарного поезда — Пуришкевич настойчиво предлагал свой автомобиль и решительно отказывался понимать, зачем его главному врачу кататься на извозчике по такой стуже. Однако доктор с благодарностью отвёл заботу начальника — поездка на служебной машине его не устраивала.

Казалось бы, какая разница, что могут подумать, увидав мотор Владимира Митрофановича возле Английского клуба? Обычное дело: сотрудники британской миссии собрались обсудить поставки медикаментов для санитарного поезда и пригласили к себе главного врача Станислава Лазоверта. Но сегодня доктор ехал в клуб как Вернон Келл — к своим подчинённым, а тема разговора требовала исключительной осторожности. Даже случайный намёк на связь Пуришкевича с англичанами был неуместен, и приметному автомобилю с красными крестами на бортах нельзя было появляться на Миллионной улице…

…которая в несколько минут приводит от Марсова поля к Дворцовой площади и Зимнему императорскому дворцу. Старейший в России Английский клуб помещался в семнадцатом доме по Миллионной. Извозчик укатил, а Келл ещё немного задержался на тротуаре перед клубом. Он пошагал вперёд-назад, чтобы возвратить подвижность застывшим коленям и хоть немного разогнать кровь, и лишь после этого позвонил в звонок.

Высоченный британец с огромными пушистыми бакенбардами, волосок к волоску, неспешно открыл

дверь и сделал вид, что не может разобрать славянского акцента. Униженно заглядывая в оловянные глаза, посетитель несколько раз повторил своё дурнозвучное имя — *Lazoviert* — и то, что его ждут господа Скейл и Эллей.

В вестибюле его встретил следующий страж — такой важный, будто служил у Виндзоров. По-старушечьи чопорно поджав губы, швейцар принял серое пальто с барашковым воротником, тёплую русскую шапку с болтающимися наушниками и несуразные ярко-красные кожаные перчатки. Он даже не глядел на гостя, прижимавшего к груди объёмистую папку с бумагами, и буквально излучал превосходство. Швейцар считал, что *таких* в Английский клуб дальше порога пускать нельзя.

Ливрейный лакей проводил Келла широкой лестницей на второй этаж и ввёл в квасную гостиную. У растопленного камина в мягких креслах тонули Скейл и Эллей. Не вставая, они небрежно приветствовали вошедшего; Эллей распорядился принести виски. Но лишь лакей притворил за собой дверь, офицеры пружинисто поднялись и щёлкнули перед Келлом каблуками.

— Превосходно, джентльмены, — кивнул в ответ переодетый доктором полковник и, вспомнив швейцара, улыбнулся одними губами. — Приятно хоть ненадолго почувствовать себя на родине, среди своих.

Он жестом предложил подчинённым сесть, а сам разложил на столе у окна принесённые документы.

— Времени у нас немного, поэтому приступим, — сказал Келл. — В общих чертах обстановка такова. Кризис в России — вопрос нескольких недель. Правительство беспомощно, Дума с ним на ножах, общество передралось и расслоилось, Николай теряет контроль над ситуацией — волнений можно ждать уже в самое ближайшее время. Если это случится, российская армия откажется воевать, немцы вздохнут свободно и

обстановка на фронтах резко изменится не в нашу пользу.

— Если волнения возникнут, то скорее по экономическим, а не политическим причинам, — предположил Эллей. — Правительство опасается столичных рабочих, и первыми, на мой взгляд, выступят толпы, которые стоят на морозе в очередях у продуктовых лавок.

— Возможно, вы правы. Однако не это сейчас важно. Откуда бы ни пришёл кризис, если он приведёт хотя бы к приостановке русскими военных действий — немцы немедленно перебросят до полумиллиона солдат на свой Западный фронт, то есть к нашим позициям. Думаю, не надо объяснять, какие губительные последствия…

Тут Келл услышал за дверью шаги, неуловимо изменился в лице, чуть сгорбился и забормотал с ошибками и русским акцентом:

— Поэтому я просить вас, джентльменс, было бы крайне любезно предоставить моему поезду необходимые медикаменты так скоро, как это возможно.

Дверь открылась, и официант внёс виски на сервированном подносе. Эллей поощряющим жестом показал гостю — продолжайте, продолжайте! Келл через пень-колоду зачитывал список лекарств, а Скейл извлёк из нагрудного кармана френча сигару и неторопливо снял обёртку. Эллей принял у официанта стакан с виски, отхлебнул и с безразличным видом принялся разглядывать высокий, футов пятнадцати, потолок со сложной лепниной.

Выход России из войны был для Британии нежелателен тем более, чем более успешными становились действия Ставки императора Николая. А действия развивались настолько успешно, что великий князь Николай Михайлович — интеллектуал и любимец императорской семьи, прозванный *Бимбо*, — даже

подготовил проект комиссии для мирной конференции. Этой конференции ждали в наступающем семнадцатом году, после неминуемой победы над Германией, Австро-Венгрией и сателлитами — Турцией и Болгарией. Дядя императора набросал схему из полутора десятков пунктов, касающихся судьбы поверженных врагов и устройства послевоенного мира в целом.

Британцам довелось читать работу Николая Михайловича, отправленную почтой. Государь пребывал в Ставке и почти не появлялся в столице, поэтому со многими теперь не встречался, а переписывался. С членами семьи, с чиновниками, с придворными… Для разведчиков очень удобно: в отличие от разговора переписка даёт больше шансов ознакомиться со своим содержанием.

Да, великий князь ещё в начале осени был настроен на скорую победу, но на днях Николай Михайлович отправил императору письмо уже совсем другого свойства. Он оставил верноподданнический тон и теперь, скорее, поучал своего племянника.

Ты неоднократно выражал твою волю довести войну до победоносного конца. Уверен ли ты, что при настоящих тыловых условиях это исполнимо? Осведомлён ли ты о положении не только внутри империи, но и на окраинах — в Сибири, в Туркестане, на Кавказе? Говорят ли тебе всю правду или многое скрывают? Где кроется корень зла?

Великий князь предупреждал Николая о волнениях и даже покушениях, эра которых, по его мнению, настала. Более того, сказалась растущая неприязнь императорской фамилии к государыне: дядюшка посмел упомянуть в письме и о ней.

Неоднократно ты мне сказывал, что тебе некому верить, что тебя обманывают. Если это так, то же явление должно повторяться и с твоей супругой, горячо тебя любящей, но заблуждающейся, благодаря

злостному, сплошному обману окружающей её среды. Ты веришь Александре Фёдоровне. Оно и понятно. Но что исходит из её уст — есть результат ловкой подтасовки, а не действительной правды. Если ты не властен отстранить от неё это влияние, то, по крайней мере, огради себя от постоянных, систематических вмешательств этих нашёптываний через любимую тобой супругу.

Трудно сказать, кто первым прочёл письмо Николая Михайловича: император или Аликс. Так у них было заведено — не скрывать друг от друга частной переписки. Даже в царских дневниках супруга постоянно оставляла на полях свои заметки. Возмутительный тон и тем более возмутительные слова великого князя вызвали у неё настоящую истерику. Обычно ровные строчки в этом письме к мужу прыгали — от того, что она пыталась унять своё бешенство.

Я прочла письмо Николая с полным отвращением. Ты обязан сказать ему, что, если он хотя бы раз ещё коснется этого предмета или меня, ты его сошлёшь в Сибирь — так как это выходит почти государственная измена. Он всегда меня ненавидел и дурно обо мне отзывался уже 22 года, но во время войны и в такую пору ползти за твоей мамашей и твоими сёстрами и не встать отважно на защиту жены своего императора — это отвратительно, это измена!

Клубный официант дождался, пока Скейл и за ним Эллей раскурят сигары, придвинул им столик, подал пепельницы и удалился. Всё это время Келл нудно, с запинками читал из разложенных на столе бумаг подробный перечень того, что необходимо его санитарному поезду к ближайшему выезду на фронт. И как только официант вышел — вернулся к разговору.

— Лондон беспокоит то, что смута зреет не только в армии, на заводах или в очередях, — говорил он, прохаживаясь вдоль высоких окон, глядевших на Неву;

отсюда открывался великолепный вид на Петропавловскую крепость с иглой соборного шпиля, на шикарный Троицкий мост и почти достроенный Дворцовый. — Смута поразила одновременно все слои русского общества, сверху донизу. А стало быть, анализировать её гораздо сложнее, и влиять на события — тем более. Опасно и то, что делает пропаганда немцев. Как вы помните, до недавнего времени они постоянно утверждали, что мы заставляем Россию нести все тяготы войны. А теперь — кивают на нашу новую армию и флот и выставляют Британию будущей мировой сверхдержавой, которая желает продолжать войну для удовлетворения своего собственного непомерного честолюбия!

— Это не единственное мнение, сэр, — сказал Скейл. — Рябушинский на днях заявил, что вся Европа, не исключая ни России, ни Британии, переживает общее падение, в то время как возвышаются во всём мире только Соединённые Штаты. Война причиняет колоссальный ущерб всем ведущим странам мира, кроме них. Американцы сперва заняли в Европе огромные деньги и хорошо запустили в оборот. Теперь они воспользовались моментом, опутали своих же кредиторов колоссальными долгами и каждый день обогащаются несметно. Рябушинский полагает, что в ближайшем будущем расчётный центр переедет из Лондона в Нью-Йорк.

— Расчётный центр, а следом и всё остальное, — добавил Эллей. — У американцев нет ни науки, ни искусства, ни культуры в европейском смысле слова. Но теперь есть деньги, на которые они купят у побеждённых стран их национальные музеи, переманят поэтов и художников. А настоящие проблемы появятся, когда за громадным жалованьем к ним потянутся уже деловые люди, учёные, инженеры… В Штаты со всего мира потекут мозги, так что скоро там будет абсолютно

всё. Рябушинский — слишком серьёзный финансист, чтобы не прислушаться к его мнению!

— Я бы не переоценивал роли американцев, — возразил Келл. — Господин Рябушинский, конечно, уважаемый человек. Миллионер, банкир… Всё верно. Однако Соединённым Штатам ещё расти и расти. Согласитесь, джентльмены, что государство без разведки вряд ли может представлять угрозу в обозримом будущем.

Полковник знал, о чём говорил. Американская разведка состояла из нескольких сотрудников и имела годовой бюджет в одиннадцать тысяч долларов. Называть разведкой это скромное подобие аналитического отдела на фоне действий британцев или немцев — даже язык не поворачивался. Особенно на фоне немцев.

— Германская пропаганда оседлала опасную тему, — сказал он. — На Восточном фронте немцы распространяют листовки о том, что именно Британия понуждает Россию продолжать войну и запрещает ей принять благоприятные условия мира, которые готова предложить Германия. А значит, именно мы виноваты в лишениях и страданиях русского народа.

— С учётом колоссальных потерь это может быть очень опасно, — согласился Эллей.

Скейл покачал головой.

— Парадокс! Россия воюет с немцами, но врагом становится Британия.

— В последнее время русские безо всякой видимой пользы потеряли столько солдат, что даже в окопах уже говорят о бессмысленности войны, — Келл указал на стол с бумагами. — Вы знаете, джентльмены, я часто бываю на фронтах и получаю информацию практически из первых рук. Не только солдаты, но даже офицеры начинают считать, что воюют зря и что Россия даже в случае победы ничего не выигрывает — в отличие от

нас! Так что с новой немецкой кампанией бороться намного сложнее.

— Особенно если учесть, что царица не прочь содействовать мирным переговорам с немцами, — заметил Эллей.

Направление Александры Фёдоровны вёл именно он, и по результатам этой аналитической работы картина складывалась весьма яркая. Супруга российского императора находилась на грани психического расстройства, одержимая мыслью о том, что её призвание — спасти Россию. Единство империи, по её мнению, могло обеспечить лишь самодержавие. Как и многие, она полагала своего мужа человеком слабым — и потому внушала ему твёрдость, бесконечно повторяя, что он должен быть самодержцем не только по имени, но и на деле. Твёрже! Ещё твёрже, ещё жёстче, ещё неприступнее!

Когда Николай принял главнокомандование войсками, царица стала всё активнее пытаться участвовать в управлении страной. Шла напролом. Неуклюжие и в большинстве своём бессмысленные её действия часто причиняли вред, но не колебали уверенности в том, что совершаются во имя России. С неистовым, патологическим упорством она продолжала подталкивать мужа к назначению на высокие посты тех, кто отличался подходящими политическими убеждениями, а не навыками государственного управления. Император, разрываясь в попытках одновременно управлять страной и армией, иной раз внимал её советам…

…и в этой ситуации особенно опасной становилась фигура Распутина. У императрицы — постоянный, застарелый невроз. Давали знать о себе и слабое здоровье, и неустойчивая психика, и постоянная тревога за цесаревича, и утомление от госпиталей — вместе с дочерьми она постоянно работала сестрой милосердия.

Надломленная Аликс вполне могла стать бессознательным агентом и способствовать придворным авантюрам, влияя на самого императора.

— Они встречались? — спросил Келл, и ответ прозвучал утвердительно: британцы знали о появлении Ронге и его контактах с Распутиным. — Ну что же, джентльмены, давайте со всей энергией займёмся своей работой, пока господин Бьюкенен успокаивает горячие умы в Государственной думе!

Британский посол Джордж Бьюкенен, служивший в российской столице уже почти семь лет, действительно не раз выступал в Думе. Сейчас, когда немецкая пропаганда стремилась вызвать раскол между союзниками, он уверял: *Не только на полях сражений Европы должна продолжаться война до победного конца. Окончательная победа должна быть также одержана над ещё более коварным врагом в нашем собственном доме!* Его красноречие вызывало аплодисменты думских патриотов, особенно когда сопровождалось обещанием от имени британской короны — после войны уступить России захваченный Константинополь. Германофилы оказывались посрамлёнными.

От камина тянуло жаром. Его красно-коричневый в белых прожилках мрамор походил на подвяленное мясо, вроде испанского хамона. Весёлые зайчики играли на золоте барочных завитушек, которыми фантазия скульптора украсила камень.

— Сомневаюсь, что влияние Распутина может оказаться столь сильным, — сказал Скейл.

— Я не вижу смысла тратить время на выяснение его возможностей, — бесстрастно парировал Келл. — Вспомните слова великого князя Николая Михайловича о влиянии на царицу. Вспомните других… В конце концов, достаточно того, что Распутина используют немцы. Значит, вероятность организации сепаратных

переговоров при его посредничестве — существует. Большая или небольшая, но она есть! Мы обязаны это учитывать. Действовать надо немедленно, джентльмены. Распутин должен быть устранён. Здесь ваши инструкции, извольте ознакомиться.

Выбрав из вороха разложенных на столе бумаг несколько тонких листков с убористым текстом, он вручил их Скейлу и Эллею.

— Надеюсь, я ничего не упустил. Все вопросы постарайтесь задать сейчас, потому что мы не сможем видеться до операции и какое-то время после… Давайте проверим. Дата — шестнадцатое декабря по здешнему календарю. Вечер… точнее, ночь с пятницы на субботу. Самое тихое и спокойное время, к тому же пересменок у распутинской охраны. Ваша основная задача, джентльмены, обеспечить встречу в особняке Юсупова. Он готовит место и приглашает Распутина. Насколько князь информирован?

— Без лишних деталей, — сказал Эллей, не отрываясь от чтения.

— Юсупов с нами, — подтвердил Скейл.

— Прекрасно, — кивнул Келл. — Князь должен быть там и, кроме Распутина, обеспечить присутствие Пуришкевича.

— Это обязательно? — спросил Скейл. — Мало ли…

— Обязательно. Пуришкевич обозначит присутствие Государственной думы, то есть избранной власти, представителей народа… — Келл усмехнулся. — В противном случае наше… мероприятие будет выглядеть не слишком серьёзно, вроде частной инициативы. Я же хотел бы убедительно смотреться перед Распутиным и всеми участниками встречи.

— Вы намерены лично говорить с Распутиным?! — изумился Эллей, и оба офицера посмотрели на Келла.

— Несомненно, — ответил он. — К тому же больше некому. Потому что утром шестнадцатого декабря,

закончив подготовку операции, вы оба покинете Петроград. Сегодня же начните улаживать формальности.

Эллей задумчиво потеребил верхнюю губу.

— Наш отъезд может вызвать подозрения.

— Отчего же? Здешнее шестнадцатое — у нас двадцать девятое. Через два дня Новый год, и вы спешите к родным на праздничные каникулы. В чём вас можно заподозрить? А Пуришкевич должен быть у Юсупова. Помимо всего прочего, мы создадим ему определённую репутацию взамен той, что есть, и потом используем. Человек он заметный, энергичный… Да и мне с ним впредь будет проще и спокойнее. Кстати, джентльмены, семнадцатого декабря наш поезд опять уходит на фронт. Так что не забудьте о медикаментах, заявки я вам оставлю. На русских складах в самом деле ужасно воруют, и Пуришкевич тысячу раз прав: стрелять их там надо!

Келл отхлебнул виски. Несколько мгновений он молча наслаждался ванильно-яблочным букетом напитка, а потом продолжил:

— Теперь что касается великого князя. Дмитрий Павлович тоже должен той ночью оказаться у Юсупова.

— Я думаю, это можно будет устроить, — сказал Скейл, глянув на Эллея. Келл нахмурился:

— Не можно устроить, а обязательно, чего бы это ни стоило! Нажмите на Юсупова. Во-первых, присутствие особы императорской крови освятит происходящее, уж простите за патетику. Во-вторых, в случае чего причастность Дмитрия Павловича серьёзно осложнит работу полиции и следователей.

— Вы всё же полагаете, что Распутина придётся?.. — спросил Эллей с непроизвольным жестом, словно смахивая шахматную фигуру с доски.

— Мы обязаны рассматривать все варианты. Вам не хуже моего известно, что Распутина не раз пытались

уговорить и щедро купить, лишь бы он удалился от двора. Безуспешно. Конечно, физическое устранение — это крайний случай, но… Либо он пойдёт на сотрудничество, либо не оставит нам выбора.

Полковник снова приложился к стакану.

— Давайте непосредственно к делу. Юсупов, Пуришкевич и Дмитрий Павлович — на вашей совести. Имейте в виду, что великий князь предполагает не позже восемнадцатого декабря отправиться в Ставку. Надо заручиться его присутствием как можно скорее, чтобы он не отбыл раньше. После того как вы уедете, у меня должна быть возможность связаться с Рейнером в любую секунду. В любую! Знать о том, что я здесь, ему не надо. Никакой лишней информации — где, что… Но сутки, с полудня шестнадцатого и до полудня семнадцатого, пусть не отходит от телефона. И пусть будет готов мгновенно выехать к Юсупову в случае, если мне всё же понадобится *чистильщик*.

Это слово — *eraser* — прозвучало, и сомнений в наиболее вероятном исходе встречи с Распутиным уже не осталось. Прочие слова были сказаны для порядка.

— Вот, пожалуй, и всё, джентльмены. Вопросы, неясности?.. Нет? Прекрасно.

Келл принялся собирать бумаги со стола обратно в папку, откладывая заявки на лекарства для санитарного поезда.

— Куй железо, пока горячее, — сказал он вдруг по-русски и снова перешёл на английский. — Прикажите меня проводить, джентльмены. И да поможет нам бог!

Скейл позвонил в колокольчик, вызывая лакея.

Пламя мгновенно охватило скомканные листки, брошенные офицерами в камин. Инструкции Келла недолго корчились на углях, превращаясь в дырчатые серо-коричневые хлопья. Лакей распахнул дверь в квасную гостиную, приглашая сутулого доктора к выходу, и тяга унесла раскалённую пыль в дымоход.

Глава XVII. GarCon и его гарсоньерка

Последние дни Феликс и без кокаина чувствовал удивительный прилив сил. То есть, конечно, не без кокаина… Только теперь от былой скуки не осталось и следа. Единственное, с чем приходилось мириться, — это каждодневные нудные упражнения с репетиторами: близились экзамены в Пажеском корпусе. В конце концов, пришла пора с ними разделаться и получить вожделенные офицерские погоны! Зато всё остальное время князь проводил в радостных хлопотах, с упоением тратя деньги на новую затею — и разве бывает занятие приятнее?!

В столице Юсуповым принадлежали несколько дворцов. Но этот, обозначенный номером девяносто четыре по набережной реки Мойки, в княжеском семействе любили больше других. Сотню лет назад обветшалый особняк графов Шуваловых обошёлся предку Феликса в преизрядную сумму — четверть миллиона рублей золотом. Неизвестно, сколько ещё пришлось потратить, но вскоре новое родовое гнездо Юсуповых затмило собою другие дворцы Петербурга. К тому же князья, много лет собирая картины для императорской семьи, не забывали и свою коллекцию. Так что галереи Эрмитажа и Лувра кое в чём уступали дворцу на Мойке.

Здешнее великолепие дополняли редкие вазы и скульптуры; знатоки восхищались гобеленами — подарком Наполеона Бонапарта… Во время путешествия по Италии один из князей посетил некую историческую виллу, увидал там поразительной красоты лестницу и захотел купить её для дворца на Мойке. Итальянцы заявили, что лестница — часть здания, и

Юсупов, не останавливаясь на полпути, купил виллу целиком. После чего мраморное чудо всё же отправилось в Петербург: старинные ступени вели теперь в партер дворцового театра.

Феликс легко взбежал по ковру, укрывавшему мрамор. Следом едва поспевал сопящий Панч. Ушастый лупоглазый французский бульдог, развлекавший князя в пору учёбы в Оксфорде, продолжал неотлучно быть рядом.

— Отяжелел ты, братец! — Феликс рассмеялся и, наклонившись, почесал Панча за ухом. — На диету пора.

Бульдог славился любовью к шоколадным конфетам и шампанскому. От излишеств он жирел и покрывался паршой, так что князь время от времени устраивал нечто вроде санаторного курса, возвращая псу нормальные кондиции.

С легендарной лестницы Феликс в сопровождении Панча прошёл в партер. Уютный зал, роскошно декорированный золочёной резьбой, вмещал до полутораста зрителей — сливки общества, самую аристократическую публику. Да и на сцену, которую заново перекрывали сейчас рабочие, выходили только лучшие из лучших. Здесь гостей чаровал волшебным голосом Шаляпин, завораживали танцем Кшесинская и Павлова, потрясал пируэтами Нижинский…

Сами Юсуповы тоже порой играли в домашних постановках. Играли талантливо: Зинаиде Николаевне предлагал ангажемент сам Станиславский! Надежды на то, что княгиня станет служить в театре, пусть даже прославленном Московском художественном, даже быть не могло. Однако внимание легендарного Константина Сергеевича весьма ей польстило и долго ещё обсуждалось в свете.

Первые выступления Феликса тоже запомнились. В пятнадцать лет великосветские друзья-шалопаи

составили ему протекцию в кабаре «Аквариум», и юный князь — в блестящем облегающем платье и неизменном боа — под видом французской певички несколько дней кряду появлялся на сцене. Выступления проходили триумфально; томную красотку, обозначенную в афише как таинственная мадемуазель со звёздочками вместо имени — *Mademoiselle ****, осыпали цветами и непристойными предложениями. То была фантастическая неделя! Гром грянул, когда родительские знакомые опознали в роковой диве юного негодника. Феликс неосмотрительно надел матушкины драгоценности, и фамильное бриллиантовое колье оказалось слишком уж приметным. Скандал замяли чудом…

Заглянув в зал, князь пробыл здесь недолго: атмосфера не располагала. Ряды кресел партера укрывали белые тканые чехлы. Занавес был снят, приспущенные штанкеты покачивались над вскрытым настилом сцены. Феликс поймал себя на ощущении неловкости — будто без стука вошёл в гримуборную пожилой актрисы, которая в этот момент переодевалась… Грубыми голосами переговаривались рабочие, грохотали молотки, скрежетали пилы, едко пахло свежеструганными досками и политурой. Минуту князь поболтал со смотрителем о какой-то безделице, решил попенять архитектору, чтобы заканчивали скорей, и ретировался в сопровождении похрюкивающего Панча.

Проходя через восточную гостиную, Феликс привычно глянул на арабскую вязь, змеившуюся по стене: полвека назад архитектору Монигетти велели включить в росписи каллиграфические суры Корана — не для дизайна, а из уважения к родоначальникам Юсуповых.

Первым считался Абубекир, который правил мусульманами вслед за своим родственником, пророком

Мохаммедом. Тремя веками позже тёзка его, Абубекир Бен-Райок, носил уже титул Эмира эль-Омра, князя князей и султана султанов, светского и духовного владыки всего мусульманского мира. Ногайская Орда у берегов Каспия и Азовского моря появилась после того, как султан Термес — потомок этих Абубекиров — переселился со своими племенами на север от Аравии.

Потомок Термеса, богатырь Эдигей, стал главным полководцем великого Тамерлана. Это он своей рукой зарубил хана Тохтамыша, который сжёг Москву; это он обложил данью сына Дмитрия Донского — князя Василия Дмитриевича; это Эдигей завоевал Крым и основал там Крымскую Орду. А его правнук Муса-мурза — или князь Моисей по-русски — с любимой своей старшей женой Кондазой родил Юсуфа, потомки которого были царями крымскими, астраханскими, казанскими и сибирскими и стали уже при Иване Четвёртом Грозном прозываться Юсуповыми.

Вот почему император Николай Второй, давая согласие на брак своей племянницы с Феликсом Юсуповым, роднился с фамилией много более древней, чем трёхсотлетний дом Романовых. Женитьба Феликса на Ирине связала две царские династии — православных российских государей и выходцев из колена мусульманского пророка.

Старшие Юсуповы отвели молодым левое крыло дворца. Достойное жилище для единственного наследника самого большого состояния в России и его супруги — великой княжны, родной племянницы императора!

Феликс явил завидное рвение и принялся за устройство семейного гнёздышка. Имея возможность выбирать из архитекторов самых именитых, он пригласил старшекурсника Академии художеств, безвестного Андрея Белобородова. Хотелось князю свободы от канонов, раскрепощённой фантазии... Да и

общаться со сверстником всяко веселее, чем с авторитетным седовласым мэтром!

Юсупов с Белобородовым стали часто ездить вместе по антикварным лавкам. Раз Андрею приглянулся чудный ковёр — слишком дорогой для молодого архитектора. Феликс же объявил, что ковёр будет отлично смотреться в покоях Ирины, купил его и велел доставить во дворец. Целый день потом князь потешался над Белобородовым. А к ночи Андрей вернулся домой — и обнаружил ковёр, присланный Феликсом в подарок. К ковру прилагался ещё редкий набор тарелок с видами Парижа и надушенная записка с просьбой простить за слишком колкие шутки.

Молодой князь не был мелочен и скуп, в отличие от многих и многих очень богатых людей. В его натуре странным образом сочетались наивное ребячество с верой в собственное высокое назначение и проделки школьника — с жестами большого барина. А уж о таком заказчике любой архитектор и строитель мог только мечтать!

Панч отпрянул в сторону: его хозяин по́ходя сделал на паркете подобие рискованного танцевального па и расхохотался. Никто не мог поверить, что сын Зинаиды Николаевны решительно не способен к танцам: она-то ведь танцевала изумительно! На одном из балов в Зимнем дворце княгиня вальсировала до самых схваток, так что едва успела добраться в особняк на Мойке, где родила Феликса-младшего.

Но юный князь, буквально дитя танца, никак не мог справиться с бальной премудростью. Сызмальства Феликс невзлюбил субботы: в этот день его возили на детские вечера, в дом государственного секретаря Танеева на Инженерной улице. И там ставили в танцевальную пару с противной рыхлой дылдой — дочерью хозяина, которой он с затаённым удовольствием наступал на ноги. Годы прошли, Аня

Танеева стала фрейлиной, побывала замужем за лейтенантом Вырубовым и оставалась последние годы ближайшей подругой императрицы, а Феликс…

Феликс унёсся мыслью уже на третий этаж дворца. Свои детские покои мечтал он оформить совсем неожиданно и экстравагантно. Князь весело улыбнулся, припомнив доктора Коровина — доброго человечка, которого в детстве прозвал *дядей Му*: они с доктором потешно мычали, завидев друг друга. А при воспоминании о ненавистной няньке улыбка стала злорадной: немецкую бонну маленький Феликс довёл своими проделками до сумасшедшего дома.

Надо, надо что-нибудь придумать в детской. И Белобородова расшевелить, и самому пораскинуть умом… Ведь как удалась ему уборная жены! Потайным ходом Ирина Александровна попадала в пещеру Аладдина — настоящую восточную сокровищницу. Там в стальных сейфах, стилизованных под разбойничьи сундучки, хранились её драгоценности: две с половиной сотни бриллиантовых брошей, два десятка диадем, множество браслетов и бесчисленные украшения помельче. Великая княжна, жена младшего князя Феликса Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон, каждый раз выходила в театр, на бал или приём как настоящая царица. И разве могла иначе выглядеть красавица императорских кровей, супруга потомка владык, создававших царства?!

Но и на этой мысли князь задержался недолго. В мозгу снова и снова вспыхивали и проносились мысли о приближающемся вечере, ради которого он, пользуясь отсутствием во дворце остальных обитателей, затеял ремонт.

В бельэтаже за Малым вестибюлем молодой князь устроил гарсоньерку — эдакую частную, отдельную от остального дворца холостяцкую квартиру. Личные гости Феликса попадали в необычную полукруглую залу.

Грандиозное впечатление производила туалетная комната — о восьми углах, вся отделанная зеркалами... Нашлось в бельэтаже место и для кабинета, и для спальни.

Феликс гордился идеей — использовать бывший угольный погреб, расположенный прямо под кабинетом. С появлением во дворце парового отопления нужда в хранении залежей угля отпала. А на днях расписные своды «Привала комедиантов» напомнили князю собственный заброшенный подвал — и натолкнули на мысль сделать там столовую с будуаром.

Он спустился из зеркальной комнаты по винтовой деревянной лесенке — это была дорога для тех, кто прибыли с парадного входа. Но вела к столовой и потайная дверь со двора, которая открывалась на ту же лесенку: очень удобно для гостей, не желающих афишировать своё появление... или появление которых не желает афишировать сам хозяин.

Времени на всё про всё князь дал в обрез, но Белобородов поработал славно. Теперь столовая походила на зал средневекового замка, разделённый аркадами на две части, и уже ничем не напоминала угольное хранилище. Канделябры и фонари сеяли зыбкий свет, который лишь подчёркивал полумрак сводчатого зала — на этом настоял Феликс. Гранитный пол укрывал толстый, скрадывающий звуки восточный ковёр. Продавцы пытались навязать князю персидский, но он, будучи знатоком, не успокоился до тех пор, пока не нашёл настоящий туркменский, со многими тысячами узелков, дающих ковру сверхъестественную прочность — и жизнь почти что вечную. Разверстая пасть гранитного камина ждала поленьев.

Угрюмым средневековьем здесь веяло отовсюду. Резные стулья, выбранные князем для столовой, матовели тёмной состаренной кожей. Вдоль стен встали чернодеревые шкафчики с бесчисленными ящичками и

тайниками. Около небольших столиков высились кресла из морёного дуба — их спинки тоже покрывала резьба. Столикам ещё предстоял декор цветными тканями, и на каждом Феликс собирался расставить кубки из слоновой кости.

В нишах при входе яркими пятнами красовались две красные китайские вазы — результат продолжительных рейдов по антикварным лавкам. Особенную гордость Феликса составлял массивный инкрустированный шкаф, внутри которого помещался лабиринт из зеркал и бронзовых колонок. Князь подумал, что сюда надо бы ещё поставить распятие: именно его не хватало в этом прибежище средневековых заговорщиков. В коллекции Юсуповых подходящее распятие как раз имелось — старинное, красоты необычайной, сделанное из горного хрусталя в серебряном окладе тонкой работы. Его словно специально создали для такого случая. Да, распятие необходимо! А уж за всякими статуэтками, майоликой, картинами и прочими безделушками дело не станет.

Споткнувшись о Панча, суетившегося под ногами, Феликс поднялся обратно в гарсоньерку и закурил. Кабинетом своим он тоже заслуженно гордился. Развалясь в кресле и закинув ноги на письменный стол, князь дымил папиросой. В голове его всплывали события последних дней. Не слишком серьёзные внешне, но такие напряжённые встречи со Скейлом и Эллеем. Вязкие разговоры, где слова будто шли по замкнутому кругу: так подолгу кружит ястреб, заметивший добычу — и вдруг устремляется вниз, нанося жертве смертельный удар…

Родители и жена Феликса уехали в Крым.

Старший Феликс Феликсович, князь Юсупов граф Сумароков-Эльстон, получил отставку с поста главноначальствующего над Москвой: он допустил немецкие погромы и теперь оказался под следствием.

Матушка успокаивала нервы, наслаждаясь уютом и тишиной дворца в Кореизе. Ирина Александровна с полуторагодовалой дочерью, тоже Ириной, составляла ей компанию, удалившись от суеты и треволнений воюющей столицы. Дворец остался целиком в распоряжении младшего Юсупова.

Британские ястребы преследовали очевидную цель. Вечером шестнадцатого декабря на Мойке предстояло собраться участникам — Феликс ни секунды не сомневался! — самого настоящего заговора. Дворцу Юсуповых было не привыкать к встречам удивительных людей в неожиданно пёстрых комбинациях. Но даже Феликс, при всей его безудержной фантазии, не смог бы выдумать более необычной компании. Хищные Скейл и Эллей круг за кругом, от разговора к разговору внушали ему имена тех, кого непременно, обязательно надо собрать в условленное время. А потому, отдав должное изобретательности британцев, он так же осторожно и наверняка расставлял сети для своего нового знакомого — Пуришкевича, для старинного приятеля — Дмитрия Павловича и для Распутина — царского мужика, ради которого разыгрывался весь этот спектакль.

К шестнадцатому декабря предполагалось во что бы то ни стало закончить отделку гарсоньерки. Новоселье давало чудный повод для встречи — и Феликс озаботился приглашением нужных гостей.

Пуришкевич загорелся, узнав, что сможет в домашней дружеской обстановке пообщаться с великим князем и обсудить с британцами снабжение своего санитарного поезда. Эксцентричного политика принимали далеко не во всех петербургских домах… При этом от внимания Владимира Митрофановича не ускользнул ни внезапный интерес Феликса Юсупова, возникший после выступления в Думе, ни его постоянные намёки на скорейшее устранение Распутина. Пуришкевич догадывался, что гости

собираются во дворце на Мойке не просто так. К тому же князь между делом упомянул о милых дамах, которые скрасят вечеринку, и это тоже заинтриговало деятельного депутата.

Для Дмитрия Павловича дамы стали одним из манков. Юсупов настаивал, чтобы великий князь пригласил своих сестёр — родную и сводную — развеяться в приятной компании. А самому Дмитрию пообещал встречу с ослепительной Верочкой Каралли, звездой кино и балета, к которой его приятель был сердечно неравнодушен — вместе с большинством российских мужчин.

С приглашением Распутина проблем не предполагалось. Мужик вёл себя открыто и дружелюбно. Уже несколько раз для пробы Феликс неожиданно приезжал на Гороховую, где всегда ждал его радушный приём. И если он приглашал Распутина покататься, съездить в какой-нибудь ресторан или в гости — тот не отказывал… Интересно, в азарте думал Феликс, каково будет, когда княгине сообщат, что сын принимал во дворце её злейшего врага?!

Панч громко захлюпал. Дизайн кабинета Феликс обдумывал сам, и в двух саженях от письменного стола расположил бассейн, из которого, брызгая по сторонам водой, пил сейчас бульдог. Бассейн получился не слишком большим, но уже одна мысль — устроить его здесь — выглядела революционной и продолжала развлекать князя. Жаль, с керамической облицовкой не вышло: ставшая невероятно модной кафельная плитка, заказанная в Академии художеств, упрямо трескалась и крошилась при обжиге. Нетерпеливому Феликсу пришлось отделать бассейн как обычно, по старинке — белым мрамором.

Князь выдвинул ящик стола. Ему нравилось это соседство: рядом с красивой коробкой «Первой фабрики конфет, шоколада и бисквита» тускло блеснул

«браунинг». Стрелять Феликс толком не умел, но пистолет купил, как только увидал: воронёное чудо выглядело хищным и совершенным.

Дмитрий Павлович, которому новая игрушка приятеля как-то попалась на глаза, недоумённо хмыкнул: патрон у «браунинга» слабый и маленький, калибром всего семь целых шестьдесят пять сотых миллиметра. Если уж пользоваться пистолетом, сказал он, то девятимиллиметровым, но всё равно револьвер — лучше.

Феликс возразил: именно из «браунинга» сербский студент Гаврила Принцип застрелил наследника австрийского престола, эрцгерцога Фердинанда. Не револьвер, а пистолет сделал исторический выстрел, положивший начало мировой войне. И российские террористы из таких вот «браунингов» перестреляли дюжину-другую генералов, губернаторов и министров вплоть до самого Столыпина.

Дмитрий Павлович объяснил: заговорщики выбирали этот пистолет за то, что он плоский — его легко спрятать под одеждой, если снять с рукояти накладные щёчки. Но Феликс настаивал: надо стрелять метко, тогда калибра 7.65 и слону хватит.

— Слону вряд ли. А метко — это не про тебя, уж прости, — рассмеялся тогда великий князь.

Феликс вздохнул и бросил «браунинг» обратно в ящик. Надо бы распорядиться, чтобы пистолет почистили, подумал он. И, кстати, давно пора съездить в тир на Крестовском острове — научиться стрелять хоть немного. Из коробки «Первой фабрики» князь вынул шоколадную конфету и бросил Панчу. Пёс поймал угощение на лету, мгновенно проглотил и довольно хрюкнул.

Мысль о заговоре будоражила Феликсу кровь. Он любил это пьянящее ощущение риска, когда кажется, что ещё шаг — и всё полетит в тартарары. Поэтому

князь одевался кокоткой и пел в кабаре «Аквариум», видя в зале знакомые лица: словно напрашивался, чтобы его узнали. Ради этого чувства Феликс в компании друзей-подружек выискивал самые злачные места в Лондоне, перебираясь из Сохо в Ист-Энд или Паддингтон. И тогда, и сейчас он не пытался предвосхитить события, а просто наслаждался опасностью и тем неведомым, что таила она в себе.

Ноздри Феликса возбуждённо трепетали. Подражая манерному блеянью Вертинского, князь принялся негромко мурлыкать песенку про несчастную московскую девицу — и нашарил в кармане перламутровую коробочку. На письменном столе красовался подарок, сделанный самому себе: хрустальная панель вроде шахматной доски в пядь размером, на золотых ножках в форме львиных лап. Вдоль краёв панели вился орнамент из неглубоких борозд, по периметру играла огнями алмазная грань. Феликс постучал коробочкой о хрусталь и золотой лопаткой протащил высыпавшийся порошок по идеальной глади до орнамента. Кокаин аккуратно заполнил две борозды. Мгновение полюбовавшись, князь вынул из бокового паза хрустальную трубку, огранённую наподобие карандаша и разбрасывающую радужные блики.

Правой ноздрёй через трубку он потянул порошок с таким свистом, что бульдог насторожился, прянул ушами и подбежал к столу. Милый городской романс, подумал Феликс про «Кокаинетку». Пригласить, что ли, этого Вертинского, чтобы выступил в театре, когда родители вернутся? И вот ещё что: на пол в столовой надо бросить шкуру белого медведя. Обязательно! Перед просторным диваном, прямо поверх ковра — светлое пятно неправильной формы на тёмном регулярном рисунке станет изумительным диссонансом!

А оскаленная клыкастая пасть добавит обстановке мрачной мужественности.

Князь приладился к трубке левой ноздрёй, шумно вдохнул вторую порцию порошка и поднёс запылённую кокаином хрустальную столешницу к плоскому сопливому носу Панча. Тот отвёл глаза, прижал уши и заскулил.

— Ну и пожалуйста, — обиженно сказал Феликс и сам лизнул горькую холодную поверхность.

Глава XVIII. Дурачество

Шкловский косился на Маяковского, но обращался к Брику.

— Знаете, коллега, — высокопарно произнёс он, — в слове, которое мы сегодня в силу разных обстоятельств стараемся не употреблять, многие сотни лет не было ровным счётом ничего оскорбительного.

— Абсолютно согласен с вами, коллега, — поддержал его Брик, старательно сохраняя невозмутимое выражение лица. — Язычники по сей день дают детям дополнительные имена, чтобы сбить с толку злых духов. Обычай местами сохранился и до наших дней. Так что этим именем, пусть и… м-м… нецерковным, зачастую звались очень даже уважаемые люди… Погоди, Вить, ты сверло поменять не хочешь?

В отведённом им кабинете автошколы приятели опробовали новую выдумку Шкловского для облегчения брошюровки документов. Пользоваться сапожной иглой показалось головастому унтер-офицеру унылым делом. И Маяковский каждый раз нервничал: вот так же, сшивая бумаги, его отец уколол палец, не обратил на это внимания — и умер от заражения крови. С тех пор у Володи остался невроз: он постоянно мыл руки и всегда держал при себе пузырёк с настойкой йода.

Идея Шкловского отменила иглу. Под руководством изобретателя Брик укладывал на край стола пачку документов, которые предстояло сшить в папку. Сверху вдоль кромки листов Шкловский пристраивал дощечку шириной в ладонь и при помощи струбцин плотно прижимал ею документы к столу. В дощечке через равные промежутки были проделаны отверстия. Брик придерживал конструкцию, а Виктор, вооружённый ручной дрелью, по месту отверстий сверлил стопку

бумаг насквозь. Дальше оставалось лишь продёрнуть шпагат в полученные дырочки, связать — и поместить сшитые кирпичи документов в плотные картонные папки, загодя красиво надписанные Маяковским.

Володя в эксперименте не участвовал. Он переводил в чертёж очередной эскиз Кегресса, разбирал его с трудом — и делал вид, что глубоко погружён в работу, а потому ничего вокруг не слышит и не замечает. Однако приятели любовались его пламенеющими ушами и неестественно напряжённой спиной. Они продолжали неторопливую полемику, адресованную Маяковскому.

— Сверло продержится ещё пару папок, никуда не денется, — не меняя тона, сообщил Шкловский и продолжил крутить коловорот. — Что же касается нашей дискуссии, то нельзя забывать о карнавальной инверсии образа короля. Это, конечно, скорее свойственно Европе, а не России. В здешних краях схожие функции выполняли юродивые.

— Полностью с вами согласен, — снова закивал Брик. — Предположение о том, что Иван Грозный и Василий Блаженный — один и тот же человек, мне кажется вполне обоснованным. Косвенно эту мысль подтверждает и народное название Покровского собора.

— Конечно! — Виктор закончил возиться с коловоротом и отряхнул с рук бумажное крошево. — Храм построили по воле Ивана Грозного. Тогда с чего бы вдруг москвичам называть его Василием Блаженным? Наверняка в массовом сознании царь и юродивый представляли собою одно лицо, или разные грани одного человека…

Шутка сложилась во время утренней поездки.

Адольф Кегресс закончил отладку нового императорского автомобиля. Помогал ему Шкловский. Вездесущий приятель и сослуживец Миша Оцуп сделал фотографию перед входом в автошколу: француз в неизменной кожаной куртке и старший унтер-офицер в

шинели, оба в больших шофёрских очках, стоящие перед лимузином *Delaunay-Belleville-45* с просторным кузовом «дубль-фаэтон».

— Делонэ… Бельвилль. — Шевеля губами, фотограф аккуратно записал красивое название в карманный блокнотик, поскольку точность любил, а в автомобилях понимал не ахти.

Когда работу закончили, великий князь Дмитрий Павлович приехал опробовать мотор. Отправляясь с Кегрессом в лимузине, он велел Шкловскому взять с собой ещё двоих солдат, чтобы дать автомобилю хорошую нагрузку. Само собой, Виктор позвал Осипа и Володю.

Маяковский, набравшись смелости и памятуя о том, как Дмитрий Павлович хвалил его в «Привале комедиантов», нахально просил позволить ему сидеть рядом с императорским шофёром. Усмехнувшись, великий князь не стал возражать. Оливково-зелёный, сияющий лаком бортов и надраенной латунью *Delaunay-Belleville* зарокотал восьмилитровым двигателем и в мгновение ока домчал пассажиров к простору Марсова поля.

Солдатам пришлось выйти. Они долго топтались на заснеженном плацу, шмыгая носами, с сожалением поглядывали в сторону седьмого дома, в подвале которого к вечеру открывался «Привал», и сквозь стучащие от холода зубы костерили великого князя и Кегресса.

А те, забыв о времени, поочерёдно садились за руль, разгонялись, тормозили, выписывали восьмёрки и змейки, пробовали вывести мотор из заноса, не снижая скорости… Дмитрий Павлович рулил блестяще. Единственный трюк из показанных французом так и не удался ему: разогнаться задним ходом, вывернуть руль, а когда лимузин развернётся и опишет полукруг на скользких покрышках — резко вдавить акселератор и

рвануть в прежнем направлении, но уже вперёд. Хитрый Кегресс вид имел невозмутимый, хотя наверняка скрыл какой-то секрет.

Наконец, Дмитрий Павлович сдался, но пообещал, что всё равно научится необычному развороту и утрёт нос шофёру своего кузена. Он кликнул солдат. Продрогшие на декабрьском ветру, Шкловский с остальными сели обратно в лимузин и ещё какое-то время болтались на кожаных подушках сидений, пока Кегресс и Дмитрий Павлович гоняли по плацу. А когда автомобиль остановился, Маяковский вдруг сказал:

— Ваше императорское высочество, позвольте мне попробовать!

Великий князь, изумлённый нахальством солдата, взглянул на француза: вы тоже это слышали? Пушистые усы Кегресса встали дыбом, и на сносном русском языке он произнёс речь.

Вернее, сначала Кегресс осведомился у Маяковского, умеет ли тот вообще рулить мотором. Он презрительно расхохотался, когда Володя ответил утвердительно — и прибавил, что знающие люди называли его прирождённым шофёром. Хорошо, хватило ума не называть знающих людей по имени… А собственно речь Адольф Кегресс посвятил главным, по Гоголю, русским проблемам — дорогам и дуракам. Отвратительным российским дорогам, по которым так трудно ездить. И самонадеянным дуракам, уверенным, что им по силам огромный *Delaunay-Belleville,* шесть цилиндров которого выдают невероятные восемьдесят лошадиных сил. Поистине царский лимузин, способный за час пролететь сотню вёрст!

Пусти дурака за руль, говорил Кегресс, и он обязательно вытворит что-нибудь такое, что нормальному человеку даже и в голову не придёт! Вот если бы дураки перестали дурить, а занялись

строительством дорог, тогда хоть одной серьёзной проблемой в России стало бы меньше…

С каждым словом француза Маяковский мрачнел всё больше. Он уже сам не рад был, что сунулся к Дмитрию Павловичу с дурацкой просьбой. Тем более сослуживцы, перед которыми он по-мальчишески рассчитывал пофорсить, слышали отповедь Кегресса, а тот называл его дураком через слово.

Тут великий князь почёл необходимым вступиться — не за Маяковского, конечно, а за Россию. Он осадил разошедшегося француза и заметил, что толку от дурака в любом деле немного, на то он и дурак. К этому времени Дмитрий Павлович тоже замёрз и велел ехать назад, к автошколе: в моторе, остановленном посреди плаца, и околеть недолго.

У Царскосельского вокзала Дмитрий Павлович пересел в свой лимузин и умчался, а солдаты вернулись в школьный кабинет, отогрелись горячим чаем и занялись прерванными делами. Володя предпочёл бы как можно скорее забыть об инциденте, но после обеда ядовитые приятели нарочно завели разговор про дурака — не произнося самого слова.

— Частный случай с Иваном Грозным и Василием Блаженным на протяжении человеческой истории многократно повторялся, — вещал Брик, пока они со Шкловским сверлили следующую пачку документов. — Я думаю, надо на ближайшей конференции ОПОЯЗа подискутировать на тему амбивалентности в мировой культуре.

Приятели знали, что Маяковский не выносил насмешек и очень не любил, когда его подавляют эрудицией. Поэтому Осип с Виктором старательно выдерживали глумливый стиль беседы и расцвечивали речь специальными терминами.

Так поговорили они о знаменитом московском дьяке Мишурине, который четыреста лет назад подписывал

документы собственным именем — Дурак. Зацепили великого князя Дмитрия Павловича: мужем его сводной сестры, баронессы Марианны фон Дерфельден, некогда был гвардеец-гусар с известной на всю столицу фамилией Дурновó…

Напустив на себя серьёзный вид, Шкловский порассуждал о дуальности общественной организации и происходящей из неё карнавальной инверсии, когда дурак становится царём. В тон ему Брик добавил, что инверсия касается и аксессуаров. Символика дурака проходит десакрализацию: рогатая корона становится колпаком о многих концах с бубенчиками, а скипетр — шутовским жезлом.

Затем они прошлись насчёт Чаадаева, который использовал апологию сумасшествия для изложения своей философии. Следом — обсудили дурака как непосвящённого адепта в эзотерике и как необработанное вещество — в алхимии.

— В традиции же народной Иван… э-э… ну, вы понимаете, коллега… тот самый Иванушка амбивалентен Ивану-царевичу, — заявил Виктор, закручивая на столе струбцину. — Сперва он сидит на печи в золе, сажу колпаком меряет и сопли на кулак мотает. А потом по мере развития событий Иван… э-э… обычный морфирует в царя. В такой логике балаганный шут-карлик вполне может соответствовать, например, королю Карлу.

— То есть Петрушка — это Пётр Первый, хотите вы сказать? — вскинул брови Осип, пристраивая коловорот — его очередь была сверлить.

— Зачем же! Петрушка — это, скорее, пародия на папский престол, — парировал Шкловский; разговор, выглядевший болтовнёй, имел под собой недюжинную научную основу и увлекал филолога помимо воли. — Я бы рассматривал появление Петрушки как результат раскола церкви на византийскую и римско-

католическую. *Pedro* по латыни *камень*, коллега! То есть Петрушка — это намёк на святого Петра, камень в основании храма западной веры.

— А я бы здесь как раз поспорил, — сказал Брик. — Одно несомненно: в народном творчестве действительно очень популярен сюжет о разнообразных метаморфозах Ивана-дурака…

Осип увлёкся, и запретное слово *дурак* всё же прозвучало. Казалось, Маяковский только этого и ждал. Бросив карандаш и линейку, он в один прыжок оказался рядом с шутниками и сгрёб их в охапку. Тщедушный Осип и субтильный Виктор, которых безудержный смех душил сильней Маяковского, едва сопротивлялись. Стоило одному из них немного освободиться — и он выдавливал из себя реплику, которая вызывала у обоих новый приступ хохота, а у Володи — новую вспышку ярости.

— Философ Ориген учил… ой, не могу… что дурак отрешается от бренного мира, — всхлипывал из-под мышки справа Шкловский, — и что это благо, а дурак… ой… он дурак в силу асоциального поведения… Вовка, слышишь? Асоциального!

— Мне дурно! Дурно мне! — в тон ему стонал из-под мышки слева Брик. — Пусти, дурак, шею сломаешь!

— А ещё ягода такая есть — дураха, — добавлял Виктор, плача от смеха, — дура-а-аха… ой, господи… это гонобобель так называ-ают*… вакциниум улигносум* на латыни… я сейчас умру…

— Ты белладонну забыл, — Осипа было уже едва слышно, — которая сонная одурь… и птичку ещё… маленькая такая птичка… свистит… ржанка — её на юге зовут — дурандан… дуранда-а-анчик…

Маяковский действительно готов был растерзать или задушить Брика и Шкловского, но его остановило появление Кегресса.

— Хватит дурака вальять, — добродушно сказал француз.

Володя взвыл от бессильного бешенства, но руки его разжались, и помятые шутники, всхлипывая, сползли на пол. А Кегресс продолжил:

— У нас говорьят: старый дурак больше глюпый, чем молодой.

Оказалось, императорский шофёр пришёл с извинениями: наговорил лишнего симпатичному молодому человеку и теперь чувствовал себя неловко. К России он тоже относился — дай бог русскому так относиться! Оттого и жил здесь столько лет.

Сбиваясь на французский — его понимали Шкловский и Брик, но не Маяковский, — Кегресс говорил о том, как благодарен русским солдатам, которые бьют немцев, посягнувших на его страну. Рассказывал, как благодарен изобретателям за спасённые французские жизни. Зелинский изобрёл противогаз, а ведь именно французов атаковали газами немцы. Котельников придумал парашют, и теперь у пилотов лёгких «Блерио» или «Фарманов», сбитых немецкими асами, появилось больше шансов остаться в живых…

Француз на русской службе решил принести свой изобретательский талант в дар второй родине. Воюющий мир потрясло появление нового чудо-оружия — детища Черчилля, британских танков. Понятно, что будущее на полях сражений — за такими вот бронированными черепахами. Но на пересечённой местности они пока бесполезны. Военным приходится искать специальные места, где танки могут пройти. Это в тёплой равнинной Франции, а что же тогда будет в России с её болотами и, пардон, отсутствием дорог? Не говоря уже о снежной зиме…

Блестя глазами, Кегресс похвастался: он придумал выход! Трём солдатам в автошколе императорского

гаража француз набросал на листках бумаги несколько эскизов.

— Можно взять автомобиль, — говорил он, работая карандашом, — конечно, не любой, а мощный и хороший, вроде *Rolls-Royce* или *Delaunay-Belleville* — и заменить ему передние колёса на лыжи! А вместо задних — посадить на шасси гусеничный привод. Но не такой, как у английских танков.

Изобретатель глянул на Шкловского как самого, по его мнению, смышлёного из троицы, и спросил: в чём русская бабушка ходит зимой? Сам же ответил: в валенках! А из чего сделаны валенки?.. Вот! И гусеницы должны быть из войлока. Кегресс стремительно набрасывал на бумаге лёгкие войлочные гусеницы, которые легко крутить мотору. Им не страшны неровности, они не расколются от удара о камень, а если и лопнут — чинить их на холоде много проще. Наверное, можно делать гусеницы из резины, но это ещё надо проверять. Война, конечно, скоро кончится, Россия побеждает, и следующей зимой воевать уже не придётся. Но броневые моторы и лыжемобили Кегресса всё равно украсят русскую армию!

Закончив эмоциональный спич, усатый автомобилист ещё раз принёс Маяковскому свои извинения и, попросив его скорее закончить новый чертёж, вышел из кабинета.

— Милейший господин этот Адольф, — сказал Шкловский, приводя гимнастёрку в порядок. — Голова золотая… ей-богу, такой умница!

— Ладно, давайте работать, правда, — вздохнул Брик; лицо его всё ещё было пунцовым. — И давно мы что-то не собирались. Так что приглашаю ко мне. Нынче пятница, завтра выходной. Выпьем, в карты поиграем…

— В дурачка-а-а-а-а! — простонал Виктор, сквозь мигом вернувшиеся слёзы глядя на Маяковского.

Тот зарычал, а приятели опять захлебнулись хохотом.

Глава XIX. От сумерек до сумерек

В четверг Феликс Юсупов пригласил Григория Ефимовича в ресторан. Очень кстати: последнее время и Матрёна, и Акилина попрекали пьянством, вино давали неохотно. Всё верно, аккурат посреди Рождественского поста сорвался Григорий и уже две недели пил. С утра принимал стаканчик тягучей мадеры, потом, коли отправлялся куда — добавлял ещё то здесь, то там. И ввечеру, воротясь домой, недопитую с утра бутылку приканчивал непременно. Страх-то иначе как залить?

А тут подвернулся Феликс. Они виделись теперь едва не каждый день — подолгу разговаривали, ездили в гости по знакомым друга дружки, развлекались… *Маленькой* князь уверял, что благодаря старцу чувствует себя много лучше, и всё норовил угостить. Насчёт ресторанов он был большой дока, и потчевали в его компании славно. Да разве мудрено угодить Григорию? Особых яств не требовал — за отсутствием привычки к излишествам; опять же, держал пост, от безысходности нарушаемый лишь вином.

Сегодня он последний раз встретился с Ронге в укромной квартирке на Гончарной улице. Последний — это до Рождества, потому как вроде всё они с австрияком обсудили. Всё разобрали, разложили по полочкам: как с мамой-царицей разговаривать, как до папы-царя донести мысль о мире скором.

Лиля крепко помогала — счастливо повстречал её Григорий тогда в поезде! И как переводчица помогала, и как женщина: объясняла двум мужчинам, на что скорее откликнутся другие женщины — государыня

Александра Фёдоровна и подруга её, фрейлина. Танеевой-Вырубовой в плане Ронге тоже важная роль отводилась. Григорию-то никак невозможно с мамой долго общаться, зато Аннушка с нею каждый день с утра до ночи. Тут словечко скажет, там намекнёт… Глядишь, мама скоро и запомнит, что нужно, и в нужную сторону размышлять станет: как хорошо выйдет, когда Россия с Австрией замирится, а там и с Германией.

Про гибель тысяч русских пленных на стройках должна была узнать царица. Узнать правду про потери на фронте — уж, почитай, миллиона четыре убитыми и ранеными. Про то, как турки христиан режут. И про то, что англичане в Азии творят, какие козни строят, в глаза улыбаясь России — союзнице своей… Переболеет мама всем этим, отплачет — и с тем к папе придёт. Ей-то папу не впервой уговаривать, да и Григорий, мушка малая, помочь готов. Всего ничего подождать осталось! А к Рождеству-то всяко будет оказия — в Царское съездить. Время праздничное, подарки полагается дарить. Вот и случай…

Звал Юсупов в ресторан «Кюба», да Распутин отказался. Неуютно ему становилось от взглядов публики тамошней. Взгляды эти Григорий даже затылком чуял: кто при встрече глаза прятал или глядел заискивающе — будто кинжалом колол в спину, стоило лишь отвернуться. Пришлось мотору Феликса недалеко от Гороховой первую остановку сделать — на углу Владимирского проспекта с Кузнечным переулком.

Довелось Григорию в паломничестве побывать на берегу Галилейского моря в деревне Кфар-Наум, переиначенной римлянами в Капернаум. Там Иисус ходил по воде, аки посуху, и страждущих водой исцелял. А в России охочие до выпивки острословы вроде Куприна с Чеховым окрестили *капернаумами*

третьеразрядные ресторации: там лечили душевные раны вином и водочкой.

В такой вот *капернаум* под вывеской «У Давыдки» и зазвал Григорий Распутин князя Феликса Юсупова. Ошалевший буфетчик провёл нежданных высоких гостей через общую залу — мимо занюханных чиновников, газетных репортёров и полупьяных армейских офицеров. В единственном кабинете помещались только неопрятный стол и диван с отвратительной зелёной обивкой. Окно комнатёнки выходило в запущенный двор, совсем тоскливый в декабрьских сумерках, и Григорий с Феликсом скоро бежали прочь от этой тоски.

Прокатились по Владимирскому до угла с Невским и свернули влево. К «Палкину» заезжать не стали — золота в клубе больно много и выкрутасов, не то настроение нынче. *Rolls-Royce*князя в несколько минут доставил их по Невскому на Большую Конюшенную, в судаковский «Медведь». А уж оттуда по настоянию Юсупова двинулись на «Виллу Родэ». Григорий согласился, примолвив, что на вилле-то не бывал ещё ни разу.

Путь хоть и лежал на столичную окраину, да вышел недолгим. Через Конюшенную площадь выехали к Марсову полю. Звать Григория в «Привал комедиантов» Феликс не стал: нечего им вдвоём в «Привале» делать. Остался позади Троицкий мост — и стрелой Каменноостровского проспекта помчались они через всю Петроградскую сторону, на север.

Город кончился. Переезжая Малую Невку, князь потыкал пальцем влево, в сторону Крестовского острова, и похвалился, что с Дмитрием Павловичем упражняется порой на тамошнем стрельбище.

— Неловко получится, когда произведут меня, наконец, в офицеры, а я и стрелять не умею, — пояснил

он. — Всё же по нынешним временам без оружия мужчине как-то не *comme il faut.*

С этими словами Феликс вынул из кармана пажеского пальто «браунинг» и повертел под носом у Распутина. Пистолет точь-в-точь походил на тот, что оставила на Гороховой дамочка с кроличьей муфтой, и привычный комариный звон засвербел у Григория в голове. А Юсупов, налюбовавшись блеском воронёной стали, спрятал «браунинг» обратно и спросил:

— А вы неужели без оружия ходите? На вас теперь охотников много!

Григорий нахмурился.

— Нет у меня оружия, потому как не городовой, — повторил он то же, что Акилине сказывал. — И тебе баловство это ни к чему. Человек с человеком завсегда договориться могут.

— А эта, которая вас ножом пырнула? — усмехнулся Феликс. — Много вы с ней сказать успели?

Миновали Каменный остров и мост через Большую Невку. Мотор выкатился на Выборгскую сторону. Дай Феликсу волю — и *Rolls-Royce*, не останавливаясь, унёсся бы в *Чухландию*, как ещё с петровских времён прозывались тамошние края.

Последние два десятка лет вдоль Финляндской железной дороги, окрест Выборгского шоссе и по берегу Финского залива петербуржцы охотно покупали дачи. Многие оседали здесь на постоянную жизнь целыми семьями, превращаясь в *зимогоров*. Ланская, Удельная, Озерки, Шувалово, три Парголова, Юкки, Заманиловка, Кабаловка, Старожиловка, Левашово, Сестрорецк и Белоостров… Эти городки, растянувшиеся на сорок вёрст от столицы, и есть *Чухландия* — или Финляндия русская.

Финляндия же настоящая, финская, начинается за белоостровской таможней. Оллила, Келломяки, Куоккала, Терийоки, Новая Кирка и дальше до Выборга,

и ещё дальше — до Риихимяки и самого Гельсингфорса... Мчать и мчать! Но княжеский шофёр остановил автомобиль, не доехав даже до Чёрной речки. И оказались Распутин с Юсуповым в Новой Деревне, на Строгановской улице, перед «Виллой Родэ».

Дом наполовину скрывался за обычным деревянным забором, какими обносят дачи. Нижняя часть забора была глухой; верхнюю набрали из редких штакетин, оканчивавшихся простенькой струганой луковкой. «Вилла» принадлежала Адольфу Родэ, который из-за войны с Германией предпочитал именоваться Адолием Сергеевичем. Снаружи дом походил на одну из непритязательных дач русской Финляндии; на очень большую... нет, просто огромную двухэтажную дачу с резным крыльцом, стеклянной верандой и мезонином, обшитую вагонной доской и крытую оцинкованным железом.

Не зря хозяин в прежние времена был фокусником-престидижитатором и зарабатывал ловкостью рук. Внутри Родэ чудесным образом устроил заведение именно так, как и полагалось знаменитому ресторану с блистательным кабаре. Чучело медведя с подносом у входа, цветы в вазах и целые деревья в массивных кадках на полу; дорогая мебель, бронзовые светильники с тюльпанами стеклянных лампионов, тяжёлые складки плюшевых портьер... Волшебный замкнутый мир. Здесь была даже своя электрическая станция.

«Вилла Родэ» заслуженно почиталась в столице храмом изысканного разврата: бывший фокусник продумал всё, чтобы каждый гость мог легко найти себе пару. Познакомившись, искателям и искательницам приключений никуда не надо было уезжать.

Представление могло раззадорить хоть почтенного отца семейства, хоть глубокого старика, хоть монаха, а плотные драпировки в торцах кабинетов скрывали альковы для желающих выплеснуть задор. Стоило

потянуть за кисть витого золотого шнура — и плюшевый занавес раздвигался, являя огромных размеров низкую кровать. Уголок одеяла уже был призывно откинут, а крахмальное постельное бельё — белоснежно. Адолий Сергеевич Родэ знал, как угодить дорогим гостям.

По городу гуляла разбитная песенка о бывшей белошвейке, которая шила гладью, и о развлечениях на «Вилле».

Вчера я танцевала
С одним нахалом
В отдельном кабинете
Под одеялом…

Зал оказался переполнен, столы в пять рядов были заняты, но Феликса как завсегдатая ждали с распростёртыми объятиями. Их с Распутиным проводили в кабинет и обслуживали по-царски. Представление набирало силу; скоро захмелевший Григорий уже плакал, слушая доносившуюся со сцены музыку. Когда же с гиканьем и визгом, грохоча каблуками, на эстраду выскакивали полуголые девки со срамными танцами, начинали задирать ноги и сбрасывать тот лёгкий водевильный вздор, что был на них надет, — Григорий хватал князя за рукав и шептал горячо:

— Маленькой, не надо… Ты им скажи, не надо, пускай только поют!

И снова плакал вместе со скрипками румынского оркестра под цыганские романсы и саратовские страдания.

Под утро он задремал прямо в кабинете на подушках уютного дивана, пустив слюну по бороде. Юсупов ещё держался на ногах, но собирался ехать домой. Хотел немного выспаться до появления репетитора,

полковника Фогеля. Их ждал последний день занятий: семнадцатого декабря князю предстояли экзамены в Пажеском корпусе. Феликс щедро оделил прислугу чаевыми и велел приятеля своего не будить, а как проснётся — похмелить и отправить на таксомоторе, куда скажет.

— Ты смотри у меня, любезный, — грозя метрдотелю пальцем, строго говорил князь. — Завтра снова заедем, Григорий Ефимович непременно желает. Так что…

Что — было неважно, однако фразу эту на разные лады он за ночь повторил не раз. Так наказывал Скейл: в ночь с пятницы на субботу Распутина определённо должны ждать на «Вилле Родэ». Кабинет записали на его имя.

Метрдотель понимающе кивал и пытался рассказать историю про Распутина. Дескать, Гришка — то есть, виноват, Григорий Ефимович за последнее время несколько раз появлялись. Даже скверный анекдот приключился третьего дня, когда заехали они с великой княжной Ольгой Николаевной. Напились в кабинете пьяными и дебоширили так, что пришлось полицию вызвать. Всё думали, как же это дочку императора в участок заберут?!

Хорошо, что по вызову явился жандарм знакомый, ещё фамилия у него такая забавная — Перебейнос. Он старый служака, без затей. Царевна ему давай Сибирью грозить: папенька, мол, узнает — сгноит! Страшно так кричала, требовала везти во дворец… А Перебейнос только ухмыльнулся и велел вызвать агента, который проститутками ведал. Тут всё и кончилось: барышня оказалась Муськой, из дорогих, с билетом *весёлого дома* где-то на Фонтанке. Но сходство с Ольгой Николаевной имела разительное! С нею разобрались установленным порядком, а Григорий Ефимович за разорённый кабинет, побитую посуду, поломанную мебель и беспокойство хорошо заплатили… и потом за ними

автомобиль приехал, как обычно — они всегда на своём уезжают, таксомотором не пользуются…

Мысли у Феликса разбегались, и слушал он невнимательно, однако тут болтуна оборвал:

— Ври, да не завирайся, любезный! Какой у него автомобиль, откуда? И не был он здесь никогда… Путаешь ты… А во хмелю Григорий ласковый. Врёте вы все… Врёте… хамы…

Засыпающего князя кулём погрузили в *Rolls-Royce*, и мотор исчез в предутренней мгле. А метрдотель вернулся в ресторан, обиженный: за что же его вруном и хамом потчевать, когда он сам Распутина видел и служил ему?! Унимал, когда тот недоглоданной свиной рулькой пытался драться с елабужским купцом Стахеевым… Пряча омерзение, полотенце собственноручно подавал, когда Распутин блевал в кадку с фикусом… А когда этот мужик привёз проститутку, выдавая её за великую княжну, как раз метрдотель Перебейноса и вызвал…

Никому и в голову не могло прийти, что пьяный дебош Распутина — это инсценировка Белецкого. Хоть не был он уже товарищем министра внутренних дел, но сенатором оставался. Оставалась и задача: порочить окружение Распутина, опаскудив его самого. Чем хуже Распутин — тем лучше! Подтасовка филёрских отчётов и дневников наружного наблюдения — штука, конечно, нужная. Слухи тоже нужны, только их порою событиями подкреплять приходится.

Вот и сыскали актёришку провинциального, чтобы повадки распутинские перенял. Живьём-то Гришку сколькие видели? Раз, два — и обчёлся. Остальные знали только по слухам да по карикатурам. А взять бородача носатого, волосёнки немытые расчесать на пробор, нарядить в яркую шёлковую рубашку, объявить Распутиным — так он Распутиным и будет! Случалось, Белецкий актёришку и в Москву направлял

подебоширить. Как-то раз двойник чуть у «Яра» на самого Гришку не попал — заигрался, вишь, увлёкся…

Поутру, озираясь в пустом кабинете на «Вилле Родэ», Григорий не сразу понял, где он. Спасибо, добрые люди вина поднесли — здоровье поправить. Умыться дали… И Феликсу маленькому спасибо, денег оставил. Предлагали Григорию таксомотор, да он велел сани нанять, чтобы доро́гой проветриться. За пьянство ночное, поди, дочка-то старшая с Акилиной снова казнить станут.

Его везли по Каменному острову в сторону города, когда навстречу проехали сани с гробом. Отдавая похмельной болью в затылок, снова запищал над ухом злой комар. Жутко стало Григорию: совсем запросто ехал гроб на дровнях с копыльями — длиннющими полозьями, надставленными сзади. Не провожал никто покойника, только возница сидел рядом с гробом, цигаркой попыхивал и вид имел совсем не траурный. А самая жуть в том, что был гроб хрустальным и переливался на проглянувшем сквозь тучи солнышке. Искрился весело, радугой играл.

Григорий трижды перекрестился. Дровни с безучастно глянувшим на него возницей и сияющим гробом проскрипели мимо.

— Стой! — гаркнул Распутин так, что спина сидящего перед ним «ваньки» в огромном ватном кафтане вздрогнула, а сам извозчик обернулся и высунул нос из лисьего воротника.

Они встали на мосту через Малую Невку. Отсюда Григорий увидал на белом льду чернеющие водой майны с оградками из жердей. Так вот в чём дело! Он счастливо рассмеялся, вылез из саней и облокотился на перила моста, глядя вниз. Мужичок-то вёз никакой не хрустальный гроб: то был *кабан*.

Кабанами называли громадные бруски, выпиленные изо льда на питерских реках. Этими брусками набивали

ле́дники в богатых домах, из них резали скульптуры для украшения званых вечеров и дворцовых парков. В шестнадцатом году холода пришли необычно рано: лёд уже накрепко встал даже на Неве, не то что на Невках. А *кабаны* — мало ли, кому и зачем понадобились они об эту пору? По островам — Каменному да Крестовскому — особняков без счёта. И Рождество на носу...

«Ванька» заёрзал в санях.

— Поедем, что ли?

— Погоди, милой, — не оборачиваясь, отмахнулся Григорий, — я ещё денег дам.

Он смотрел, как вблизи моста мужики неторопливо добывали новый *кабан*. В паре саженей друг от друга пробили пешнями две лунки во льду и опустили в них продольные пилы. Снизу к пилам крепились гири, которые забулькали, заплескались в воде, когда мужики начали гонять пилы вверх-вниз: вверх тянул человек, вниз — гиря. Сталь с хрустом вгрызалась в лёд, и вскоре на белой поверхности появились два длинных параллельных распила. Мужики снова взялись за пешни и откололи между распилами несколько аккуратных широких брусков.

Один из мужиков свистнул, и к майне подкатил возница на дровнях с длинными копыльями. Покрикивая на лошадь, он заставил её пятиться к майне так, чтобы копылья ушли в воду. На них пешнями завели льдину и придерживали её, пока мохнатая лошадка тянула воз обратно. Ледяной брус, и впрямь схожий с хрустальным гробом, сверкал на солнце.

Григорий облегчённо вздохнул. Бывало, дровни с ледяной глыбой утаскивали лошадь в майну. Ненароком сгинуть в чёрной воде мог и любой из *кабанщиков* — работа считалась опасной, потому и платили за неё хорошие деньги. Мужики на льду закурили. Григорий полез обратно в сани. Странно, что комариный звон в

голове не утихал. И тяжкие мысли одолевали по-прежнему.

От этих мыслей на всём пути к дому отвлёкся Распутин только раз — когда проезжал мимо Марсова поля. Посреди плаца стучали ногой о ногу и толкали друг друга, пытаясь согреться, три солдатика — маленький, среднего роста и высоченный. А вокруг потешной троицы, гудя мощным двигателем и взвизгивая железом на резких поворотах, в клубах серого дыма носился огромный лимузин.

Дома Григорий не стал слушать ни Матрёны, ни Лаптинской. Объявил, что отправляется в баню, хотя нынче была пятница, а мылся он всегда по субботам. Акилина попыталась заикнуться про непорядок, да в ответ получила такой взгляд, что прикусила язык и бросилась Гришеньке банный узелок собирать. О том, что к двум часам хотела зайти Шабельская, толстуха говорить не стала...

...но Григорий как раз об этой встрече помнил. Он отправился в Казачий переулок. Хороша квартира на Гороховой: перешёл мостовую — и вот они, Ермаковские бани! Там, уже в мыльной, под несмолкающий комариный зуд над ухом Григорий продолжал размышлять: зачем *Верноподданная Старуха* просила о встрече?

Елизавета Александровна Шабельская сама придумала себе такой странный титул. На склоне лет она играла роль городской сумасшедшей, а когда-то считалась редкой красавицей, и список её пылких кавалеров пестрел замечательными фамилиями — вплоть до тех, которые произносят шёпотом. Шабельская была актрисой, певицей и антрепренёршей. Писала книги и занималась журналистикой. Но красота постепенно увядала, любые затеи оканчивались полным крахом, а за шантаж и подделку векселей пришлось идти под суд.

К пятидесяти годам Шабельская растеряла всё, кроме привычки к алкоголю и морфию. Однако стоило вступить в черносотенный Союз русского народа, как дела снова пошли на лад. В шестьдесят Елизавета Александровна имела таинственные отношения с высшими чиновниками Министерства внутренних дел и казённый револьвер Смита-Вессона с пятью патронами... Нешто снова про деньги говорить хочет *Верноподданная Старуха*?

Потея на верхнем полке́ в парной, Григорий вспомнил, как давно, ещё до войны, тогдашний главный министр Коковцов предлагал ему и двести, и триста тыщ за отъезд из столицы. Разгорался скандал с письмами царицы, которые выкрал Илиодор — Серьга Труфанов. К тому ещё Гучков напечатал труфановский пасквиль «Гришка»...

Коковцов убеждал, что исчезновение Распутина всех успокоит. Словечко ещё повторял: *престиж! Надо вернуть престиж царской семье!* Вот престиж-то, видать, и оценил министр в триста тыщ. Целое состояние, чего там... Кабы Григорий взял тогда, так по сию пору жил бы припеваючи. А теперь, вон, денег второй год не собрать, чтобы лесу купить и в Покровском дом перестроить. И дочкам на приданое отложено по три тыщи всего.

Отказал он Коковцову. Вернее, отговорился: коли велят папа с мамой, царь с царицей — он и с пятаком в кармане уедет, как приехал. А коли нужен им, так ни за какие деньги с места не двинется. Тем и кончилось: Распутин остался при месте, а Коковцов своё — потерял. И сколько раз ещё ему денег сулили! Особенно когда государь взялся чуть не каждый месяц премьеров менять. Из них один зятя своего на Гороховую прислал. Тот не стал ходить вокруг да около — прямо с порога предложил Григорию дом в Петрограде, телохранителей, оплату всех расходов и сто тыщ рублей

ассигнациями. Взамен, говорит, помоги заменить министра внутренних дел Протопопова! И ещё просил нашёптывать папе с мамой — мол, новое правительство с новым начальством хорошо работает.

Кабы мог это сделать Григорий — всё равно отказался бы. А так даже сердиться не стал: прогнал премьерского зятя, и вся недолга. Протопопов остался при должности министерской, а премьера государь погнал: сказывают, в Думе ему говорить не давали, позорили, и Пуришкевич растоптал совсем…

Долго ещё думал Григорий. Долго кряхтел под ударами веника, которым охаживал его банщик-богатырь. Докрасна драл кожу мочалкой и лил на себя попеременно то горячую, то холодную воду, звон в ушах отогнать пытаясь. Не вышло.

Там же, в Ермаковских, зашёл Григорий в цирюльню. Подстригался он редко, а нынче словно толкнуло, ноги сами несли. Болтливый цирюльник обкорнал отросшие патлы, выщипал по-модному прямой пробор и умастил распутинскую бороду каким-то снадобьем: заблестела она вороновым крылом и сделалась похожей на узкую лопату.

К возвращению Григория Ефимовича из бани Лаптинская собрала на стол почаёвничать. Хлеб выставила чёрный, рыбу, мёд… На причёску глянула с интересом. На торчащую, словно привязанную бороду покосилась неодобрительно. Рассказала, что Шабельская являлась в два, как и обещала. Отсутствием хозяина удивлена не была, дожидаться не стала, да никто и не предлагал. С подмигиваниями и похохатываниями выпалила скороговоркой про какие-то заговоры с убийствами — и была такова. Не удалось Акилине толком разобрать ничего.

— Кабы и удалось, не стал бы слушать, — махнул рукой Григорий. — Будем-ка лучше чай пить. А вино

зачем опять прибрала? Вина мне дай, в бане-то хмель вышел весь.

Тут неожиданно, без телефонного звонка приехала Танеева-Вырубова. Агенты охраны помогли ей подняться в квартиру, чуть не на руках донесли по лестнице. Фрейлина старалась ходить без костылей, но хромала ужасно.

Григорий всегда был рад Аннушке. Похристосовался, чуть не силой усадил с собою рядом за стол, мадеры налил в высокую гранёную рюмку. Выпили.

— Я ненадолго, Григорий Ефимович, — сказала гостья. — Мне домой надо ехать поскорее. Ждут меня. А тебе я икону привезла от мамы, и девочкам — гостинцы от великих княжон. Это из Новгорода. Знал бы ты, как там народ принимал маму! Цветы под ноги прямо в снег бросали, слова чудесные говорили… Она помолодела лет на десять, ей-богу!

О поездке с императрицей и царевнами Танеева рассказала коротко. Тут же засобиралась и поковыляла к выходу, опершись на руку Григория. А у дверей резко повернулась к нему и зашептала сбивчиво:

— Я не хотела говорить… отчего спешить надо… Протопопов подловил сразу после поезда. Сказал, что на меня могут покушаться. Застрелить или взорвать… И это как-то связано с тобой, с мамой, с немцами почему-то… Специальных людей ко мне приставил, и дома — тоже… В Царском охрану удвоили. Григорий Ефимович, миленький! Я боюсь!

Она заплакала. Широкое рыхлое лицо сразу оплыло, и от глаз по щекам потянулись чёрные дорожки размокшей туши.

— Аннушка, — сказал Григорий, гладя её по волосам, и комар в голове зазвенел почему-то басом, — голубушка моя! Ну чем же я тебе сейчас… что же я тебе могу ещё дать? Дал всё, что мог. Нет во мне больше

ничего, что тебе надобно. Ты всё получила. Уж прости меня… И ступай, ступай!

Он почти вытолкнул всхлипывающую фрейлину за дверь, к охранникам, что курили на лестничной площадке. А сам схватился за гудящую голову: ведь и слова сами вырвались, он их не ждал — как тогда, когда отказался благословить папу во время прощания в Царском Селе. И слёзы едва не брызнули…

Притулившись у американского стола в спальной, Григорий продолжил переписывать *дух*, завещание своё. Слова давались адовым трудом, словно их не писать, а таскать приходилось, как тяжеленные глыбы льда из чёрной майны.

Если же меня убьют бояре и дворяне и они прольют мою кровь то их руки останутся замаранными моей кровью и двадцать пять лет они не смогут отмыть свои руки. Они оставят Россию. Братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга и двадцать пять лет не будет в стране дворянства…

Откуда мог знать Григорий то, что на бумагу переносил крупными каракулями? Но вот — царапал теперь страшные слова, будто про чужого кого. Отхлёбывал прямо из горлышка бутылки, прихваченной в спальную, и мешалось ароматное вино со слезами солёными.

Русской земли Царь, когда ты услышишь звон колоколов сообщающий тебе о смерти Григория, то знай: если убийство совершили твои родственники то ни один из твоей семьи, то есть детей и родных не проживет дольше двух лет. Их убьет русский народ…

Под вечер Акилина сунулась в дверь и сказала, что приехал Протопопов.

— Хотел бы надеяться на ваше благоразумие, Григорий Ефимович, — сказал министр внутренних дел, когда они сели в столовой, предварительно выгнав Лаптинскую и затворив дверь. — Могу я просить вас в

ближайшие день-два не выходить из дому? И ещё скажите мне, не ждёте ли вы каких-то особенных встреч? Может, необычное что-то замечали?

Григорий молчал, через цветы на подоконниках глядя в зимнюю темень за окном. Что отвечать на такие вопросы? Из дому не выходить — с тоски удавиться. Насчёт встреч и поездок — вчера они с Феликсом договорились продолжить сегодня: дело к Рождеству, да ещё ночь с пятницы на субботу — в столичных заведениях одна программа лучше другой. Пели-то вчера на «Вилле Родэ» как душевно! И нынче князь обещал уже совершенное чудо.

А насчёт необычного… Каждодневный, ежечасный страх смерти — необычно это или как? А видения кровавые? А комариный зуд изнуряющий, который на разные голоса в голове звенит, почти не стихая? А то, что творил Григорий простым словом — с цесаревичем, с Аннушкой, с Феликсом, с сотнями других — необычно, или?..

— Не знаю, что и сказать тебе, — устало промолвил Григорий. Он говорил министру *ты*, как и всем, другого обращения не признавая. — Давай-ка лучше выпьем!

— Нельзя мне, худо будет…

— Что будет, то не худо, — с этими словами Григорий поднялся, достал из буфета рюмку, наполнил по обыкновению всклянь, уронив несколько тёмных капель на скатерть, и поставил перед Протопоповым. Себе он тоже налил. — А вот ты мне скажи. Тут Аннушка заезжала…

— Вырубова?

— Аннушка, да. Плакала. Жалилась, что ты к ней охрану приставил, будто бы убить её хотят.

— Верно, охрану приставил. Я надеюсь, что это всего только слухи, но меры принимать обязан. Ведь и о вас поговаривают, Григорий Ефимович.

— А обо мне-то что? Я, милой, в свой час помру, когда бог судил.

Протопопову не хотелось вдаваться в подробности. Раздражало, что кроме слухов и сплетен, зацепиться и впрямь было не за что. Но дыму нет без огня, как известно. А спросят с кого?

Раздражало и то, что одной из самых энергичных сплетниц оказалась баронесса Марианна фон Дерфельден. Будь она просто супругой своего барона, министр внутренних дел нашёл бы на неё управу. Но в девичестве Марианна носила фамилию Пистолькорс: она была дочерью от первого брака Ольги Валерьяновны — нынешней княгини Палей и жены великого князя Павла Александровича, дяди государя. Пусть родство её с императорским домом и не кровное, но такую персону тронуть — у министра руки коротки.

Некогда баронесса вполне симпатизировала Распутину, зато теперь переметнулась во вражеский лагерь. А ведь нет врага опаснее, чем бывший друг!

— Худые нынче пошли дела, — вздохнул Протопопов. — Я вас очень прошу, Григорий Ефимович, какое-то время старайтесь без особой нужды никуда не выезжать. Ваши молитвы чудеса творят, вот и помолитесь, чтобы…

— Помолиться, говоришь? — перебил Григорий. Голос его звучал глухо, ароматная мадера окутывала мысли туманом, речь стала медленней. — В одно прекрасное время ехал я зимой, — заговорил Григорий, снова глядя мимо министра в окно. — У нас на Туре дело было, в долине. Мороз тридцать градусов, а я слышу голос: *Сними шапку и молись!* Строго так… Остановил я лошадок, снял, конечно, шапку — и давай молиться. А потом стало мне казаться в очах, будто бог очень близко. Что же получилось? Голову простудил, потом захворал, сильным жаром промаялся, едва не сгорел, чудом жив остался…

Он замолчал, продолжая сидеть с остановившимся взглядом.

— Это вы к чему, Григорий Ефимович? — спросил министр, не дождавшись продолжения.

— Жаром-то промаялся да и понял: враг хитрый ловит спасающихся! — Распутин отмахнулся кулаком от лукавого. — Вот и надоумил шапку снять. А молиться-то можно и на долине, и где ты ни есть, только шапку в тридцать градусов снимать не надобно.

Протопопов подумал, что Распутин уже наклюкался, но так оно и лучше: пускай дома пьёт, а наружу не показывается.

— Пойду я, пожалуй, — сказал министр и поднялся из-за стола.

Григорий, не глядя, перекрестил его.

— Будь здоров и ступай с богом… К катастрофе мы идём… Самые неумелые будут править повозкой… Раздавимы будем поступью безумцев, а мудрость в цепи закуют. Невежественный и властный станет законы диктовать мудрому и даже смиренному…

Протопопов вышел из столовой, но даже в прихожей, надевая поданное Акилиной тёплое пальто, — слышал голос Григория:

— Как не все, так большая часть поверит во власть имущих, но разуверится в боге… И будет кара божья не скора, но ужасна… Мученьям нашим несть числа, и за то снова мудрость освободят от цепей, и снова доверимся богу, как доверяемся матери… Только по этому пути придём в рай земной…

Глава XX. Укусы злобы

Игорь-Северянин дёрнулся, чтобы встать из-за стола, ушибся о ножку и зашипел от боли.

— Страна, созидающая распутиных — это плохо следящая за собою страна! — раздражённо выкрикнул он. — И если вы при мне помянете Распутина, я укажу вам на непристойность поведения!

Пятничная вечеринка у Бриков была испорчена…

…хотя начиналось всё прекрасно. Ещё утром к Лиле из Москвы, от родителей, приехала Эльза. За день сёстры успели всласть поболтать и поделиться новостями. Потом телефонировал Осип: хозяйкой Лиля была неважной, но уж хлеб с колбасой и пару нехитрых закусок выставить на стол могла вполне. Брик пригласил в гости приятелей из автошколы: с походами в «Привал» после встречи с великим князем пришлось повременить. Дома у Бриков компанию поджидало вино — результат какой-то тёмной совместной операции с Борисом Прониным.

Почти сразу в гостеприимной квартире на улице Жуковского появился Игорь-Северянин. Не зря его дразнили за длинный чуткий нос: он унюхал вечеринку и заглянул на огонёк, будто невзначай. Володиной подружки-художницы что-то не было, но все привыкли, что Тоня появляется по настроению, когда хочет. Зашла — прекрасно, нет — нет…

Места за круглым столом в маленькой комнате хватило всем.

— Ну, в путь на одиннадцатую версту! — весело возгласил хозяин дома, наполнив стаканы. — Встретимся у Николы!

Гости рассмеялись и выпили.

Присказку принёс в компанию Игорь, который подхватил её у давнего своего приятеля, поэта Константина Фофанова. На одиннадцатой версте Петергофского шоссе в бывшей летней резиденции князя Потёмкина помещалась лечебница для душевнобольных и алкоголиков. Сам Фофанов побывал там лишь один раз, зато жена его — целых семь, а сын,

тоже Константин — дважды. Словом, в семье Фофановых знали, где могут очутиться и, поднимая рюмки, на всякий случай прощались до встречи у небесного покровителя лечебницы, Николая Чудотворца.

Американские консервы, добытые в автошколе, пришлись очень кстати. Компания с молодым аппетитом уминала скромный ужин. Осип не забывал подливать гостям, пятница заканчивалась, увольнение только началось; впереди ждала суббота, и можно было кутить хоть до утра.

Скоро всех разморило. Эльза с ногами забралась на диван и свернулась калачиком, склонив голову на плечо к сидящему рядом Шкловскому. Маяковский боком оседлал стул, развёрнутый спинкой к столу. Он курил, оборачиваясь и выпуская дым в сторону распахнутой форточки. Лиля, глядя в зеркало пудреницы, заново подкрашивала губы. Брик довольно жмурился и часто моргал подслеповатыми глазами. Игорь, втиснутый между столом и стеной, вещал.

— В ужасный век мы с вами живём, господа, — говорил он. — Какие стихи? Какое творчество может быть? Ничего никому не нужно, кроме физиологических отправлений. Искусство, наука, так называемая идейность — это всё или поза, или выгода!

— Что делать, — вторил ему Виктор, — война! Многие вещи умерли. Только по мне — гораздо хуже то, что в нас самих. Вы не замечали? Мы теряем ощущение мира. Представьте себе скрипача, который перестал чувствовать смычок и струны! Мы не любим наших домов и наших платьев. Даже с жизнью мы расстаёмся легко, потому что её не ощущаем. Плохие времена!

— На этот счёт Витя Хлебников хорошо сказал, — пустив струю дыма, откликнулся Маяковский. — *Не события делают времена, а времена делают события!* Судя по нынешним временам, за событиями дело не станет.

— А кстати, — Эльза подняла голову, — писем от него давно не было?

Хлебникова мобилизовали весной и отправили в запасной пехотный полк, стоявший в Царицыне. Он пытался оттуда вырваться, теребил знакомых… Помочь взялся Николай Кульбин — один из художников, что расписывали стены «Бродячей собаки». Во время войны он оказался в чинах чуть ли не генеральских и служил военным врачом. Кульбин объявил Велимира-Виктора ненормальным. Полгода Хлебников курсировал вдоль Волги, между психиатрами Царицына и Астрахани, от комиссии до комиссии… Но кончилось это переводом в Саратов, где бедный поэт снова угодил в полк.

— Письмо было, было, — встрепенулся Осип, — неужели я не сказал? Сейчас!

Он выбрался из-за стола, принёс из спальни письмо и нацепил очки.

— Тут Витя всё про клиники пишет и про сволочных врачей. Но есть пассаж просто изумительный. Вот, послушайте… *Война обратила вселенную в чернильницу с кровью и хотела в ней утопить жалкого, смешного писателя. А писатель хочет войну утопить в своей чернильнице, самую войну…* Как вам это?

— Гениально, — сказал Шкловский, Северянин кивнул, и Маяковский помычал утвердительно.

— Войну в чернильнице не утопишь, — заявила вдруг Лиля и щёлкнула замком пудреницы. — Пора уже вам повзрослеть, мальчики.

Осип с удивлением посмотрел на жену поверх очков.

— Интересно, ты что же, знаешь верный рецепт против войны?

— А что, нельзя? — вызывающе глянула в ответ Лиля.

— Поделись, окажи милость, — попросил Маяковский. — Надоело таскать это тряпьё.

И он брезгливо, двумя пальцами оттянул расстёгнутый ворот гимнастёрки.

— Всё очень просто, — сказала Лиля. — Рецепт против войны — мир.

— Мир с кем? С немцами? — удивилась Эльза. — Это Распутин тебя надоумил?

Пока они болтали в ожидании мужчин, Лиля не удержалась и рассказала сестре о продолжении знакомства со старцем — конечно, без подробностей насчёт Ронге и квартиры на Гончарной.

Шкловский фыркнул:

— Тогда неудивительно. Шпион ваш Распутин, голову даю!

Вот тут и попытался вскочить Игорь, засопевший после Лилиных слов о мире.

— Страна, созидающая распутиных, — это плохо следящая за собою страна! И если вы при мне помянете Распутина, я укажу вам на непристойность поведения! — Он тёр под столом ушибленное колено. — Потому что Распутин — это из лексикона ломовых извозчиков! Распутин — это гнусно, его упоминание недостойно женщины!

Вечеринка перестала быть милой.

Лиля бросилась защищать Распутина, едва не плача от бессилия и невозможности рассказать всего, что знает.

Игорь-Северянин проклинал вонючего хама, безграмотное быдло, попирающее дворцовые паркеты и лезущее со свиным рылом в калашный ряд.

Шкловский вёл себя спокойнее, но продолжал предрекать Распутину виселицу — вместе с другими шпионами и прочими, из-за кого война всё тянется, а победы над немцами до сих пор не случилось.

Эльза поддакивала Виктору, не совсем кстати пересказывая слухи о развратной жизни старца и его любовницах.

Брик безуспешно пытался всех примирить. На мир он смотрел рационально и Распутиным, конечно,

интересовался. Было понятно, что для одних этот мужик — просто мерзавец, который держит, как говорили среди коммерсантов, *контору для обделывания дел*; для других он — великий комедиант; для третьих — удобная педаль немецкого шпионажа, а для четвёртых — хитрый и мстительный придворный интриган, который не забывает обид.

Маяковский составил своё мнение после слов, сказанных ему некогда Бурлюком в «Пале-Рояль». Хитрый сибирский мужик, сумевший из ничтожества стать фигурой общероссийской, привлекал его внимание и вызывал зависть. Володя и сам уже мог многим похвастаться, но его успехи не шли ни в какое сравнение с распутинскими. Увы, Бурлюк был прав, и книжки с фамилией *Распутин* на обложке по-прежнему продавались куда резвее тех, которые украшала фамилия *Маяковский*. «Житие опытного странника» уходило солидными тиражами. Быстрее горячих пирожков читатели расхватывали малограмотные Гришкины «Мысли и размышления»…

К войне и миру популярность Распутина отношения не имела, но в споре Володя неожиданно для всех принял сторону Лили, которая уже успела вконец расстроиться. Закусив губу и глотая слёзы, она вышла в прихожую, сунула ноги в ботики, набросила шубку и распахнула входную дверь. Маяковский промешкал всего мгновение. А после тоже выскочил из комнаты, подхватил с вешалки шинель и загремел ботинками по лестнице следом.

Эльза проводила его взглядом и очень выразительно посмотрела на Осипа. Он спокойно протирал очки.

— Друзья, — примирительно произнёс Шкловский, — что же мы это, а? Из-за ерунды-то… Давайте лучше вина выпьем!

В предыдущие дни сильно потеплело, и в Петрограде стояла хорошая зимняя погода — лёгкий морозец,

градуса два-три. Но когда Лиля и следом за нею Маяковский очутились на улице, обнаружилось, что температура быстро падает. Снова поднимался ледяной ветер, который бросал в лицо пригоршни колючего снега и забирался под одежду.

Час был уже довольно поздний. Лиля стала посреди тротуара, пытаясь натянуть воротник повыше: в спешке она забыла шапку. Маяковский надел ей на голову свою, солдатскую. Лиля не отказалась и по-женски ловко поправила смятую причёску. Володя посмотрел по сторонам — белая улица Жуковского была совершенно пуста от Литейного проспекта до Лиговки. Он приобнял девушку, не достающую ему до плеча, прикрыл от ветра и заговорил.

Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака лицо луны гололобой —
взял бы
и всё обвыл.
Нервы, должно быть...
Выйду,
погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я.
Какая-то прокричала про добрый вечер.
Надо ответить:
она — знакомая.
Хочу.
Чувствую —
не могу по-человечьи...

— Угу, — насмешливо отозвалась Лиля и оттолкнула Маяковского. — *Я стал на четвереньки и залаял: гав! гав! гав!* Володенька, сколько можно? Как ты

превратился в собаку — я уже помню наизусть. Лучше скажи: мы так и будем здесь топтаться? У барышень устройство деликатное, нам застужаться нельзя. Пригласи меня куда-нибудь!

Володя беспомощно огляделся.

— Так ведь поздно уже. А ты же знаешь…

— Знаю! В публичные заведения солдатам запрещено. И?

— Пойдём ко мне, — сглотнув, несмело сказал Маяковский.

— Ну, наконец-то! Я уж думала, ты никогда не решишься!

Лиля весело тряхнула головой и зашагала в сторону Надеждинской.

Глава XXI. Явная вечеря

Новоселье в гарсоньерке у Юсупова справляли весело.

Напитками и закусками ведал Фёдор Житков, буфетчик великого князя: этого немолодого расторопного солдата частенько нанимали служить на таких пирушках. Ещё до войны Дмитрий Павлович по рекомендации взял Житкова буфетчиком офицерского собрания в лейб-гвардии Павловский полк. Жалеть не пришлось. Дело своё солдат знал — не зря его двадцать лет школили сперва у графа Клейнмихеля, а потом у князя Белосельского-Белозерского. Получая за вечер десять рублей — служил за троих. К тому ещё умел держать язык за зубами: в деликатных делах великий князь проверял его не раз, отправляя к дамам с нежными письмами. Доводилось Житкову служить и на интимных встречах великосветских любовников.

Баронесса фон Дерфельден выпила хереса и развеселилась. Убранные по моде роскошные чёрные волосы Марианны украшала бриллиантовая заколка. Драгоценные камни брызгали огнями, когда девушка быстро поворачивалась в кресле — то к Пуришкевичу, то к Юсупову. Баронесса чесала за ухом хрюкающего Панча и рассказывала о развлечении последнего времени: с подругами они распускали слухи про императрицу.

— Представьте, господа, новая история — Александра Фёдоровна спаивает своего мужа! Это совершенно уморительно! — щебетала она и смеялась серебряным колокольчиком. — А главное — верят ведь! В любую небылицу верят охотно и бесповоротно! Не проходит недели, чтобы слух не вернулся. И

обязательно с новыми подробностями — порой не сразу узна́ешь то, что сама придумала!

Дмитрий Павлович сердито косился на сводную сестру. Они не ладили: забавы скучающей Марианны попахивали дурно и вредили великокняжеской семье.

Мать баронессы, Ольгу Пистолькорс, и без того едва терпели при дворе. С началом войны государь вернул великого князя Павла Александровича — её мужа, своего дядю и отца Дмитрия Павловича — из заграничной ссылки. По возвращении Ольга Валерьяновна получила титул княгини Палей. Это ей симпатий в свете не прибавило: многовато чести! А брат Марианны, придворный камер-юнкер Александр Пистолькорс, женился на сестре Анны Танеевой. Поэтому фрейлина скоро узнавала о новых проделках неугомонной свояченицы — и доносила каждую сплетню государыне Александре Фёдоровне.

В соседнем кресле рядом с Дмитрием Павловичем устроилась великая княжна Мария Павловна. Канули в Лету времена разлуки брата с сестрой. Это после Олимпиады в Стокгольме следующая встреча случилась лишь через полгода, когда герцогиня Сёдерманландская смогла приехать в Россию на праздник трёхсотлетия российского императорского дома. А ещё через полгода случилось невероятное: Мария Павловна решила уйти от супруга! Не помогли ни уговоры, ни упрёки, ни династический скандал. Кузен-император Николай Второй, скрепя сердце, издал именной указ о разводе.

Ещё более невероятным было то, что великая княжна ушла не из-за любовной интрижки, не к кому-то, а именно бросила мужа и ушла. Свобода досталась ей дорогой ценой: сына, маленького Ленарта, пришлось оставить в Стокгольме — он ведь был наследником шведского престола…

Мария Павловна пыталась забыться. В начале войны она стала сестрой милосердия, с гвардейским полком брата отправилась на фронт и заслужила Георгиевскую медаль, а когда особ императорской крови убрали из-под пуль — попала во Псковский госпиталь. Два года изнурительной работы с увечными и ранеными отвлекли от собственной боли. Но сейчас, воротясь в Петроград, великая княжна снова тосковала, и приглашение Феликса на вечеринку пришлось очень кстати.

Сияющий раструб граммофона исторгал разухабистую песенку:

Алёша, ша!
Бери на полутона ниже,
Брось арапа заправлять, эх-ма!
И не подсаживайся ближе…

К новоселью Феликс купил не только новый граммофон, но и стопку пластинок. Подобралась обширная коллекция комических куплетов Михаила Савоярова — короля музыкальных эксцентриков. Феликс не раз видел его в концертах и слушал в питерских ресторанах. Выступал Савояров и на сцене театра Юсуповых.

— Фе-еликс, — капризным голосом протянула Верочка Каралли, живописно полулежащая на подушках дивана, — что за репертуар? Я вас не узнаю.

— Не любите вы, артисты, чужого творчества, — ядовито заметил Феликс и прошёл к столику с граммофоном. — Ревность, страшная актёрская ревность!

— Ревность тут ни при чём. — Верочка приподнялась на локте. — Просто я устала от хулиганства и

уголовщины. Кругом и без того сплошное хамство, ужас…

Князь перебирал конверты с пластинками, читая надписи.

— И где же это вы, любезная Вера Алексеевна, устали от уголовщины, позвольте спросить?.. Всё, всё, умолкаю. Чего изволите? «Луна-Луна, ты сегодня пьяна»? Или вот, «Я босяк и тем горжуся»… Хм, вряд ли. А вот «Вы всё та же», милые такие куплеты… «Смерть авиатора»? Точно нет… О! Даже вы ничего не сможете возразить!

Поджав губы и придав лицу чопорное выражение, Юсупов запустил выбранную пластинку. Оркестр сыграл вступление, и медный раструб снова разразился голосом Савоярова:

По селу бегут мальчишки,
Бабы, девки, ребятишки,
Словно стая саранчи.
В трубы дуют трубачи,
Раздаются тары-бары:
«К нам приехали гусары!..»

— Что скажете? — спросил Феликс. — Деревенская сценка, пастораль, ничего предосудительного.

Верочка закатила глаза и снова откинулась на подушки. Мария Павловна перевела сердитый взгляд с неё на Дмитрия Павловича — он откровенно любовался грацией Каралли. О, эта нарочито небрежная причёска, эти соболиные брови, взгляд с поволокой, напудренный носик и трогательная родинка над верхней губой — настоящая, не накладная! А какая линия бедра, какие точёные ножки…

Даже если бы великий князь ничего не знал об этой красавице — хотя кто в России мог не знать Веру

Каралли?! — её пластика мигом выдала бы танцовщицу. Семнадцатилетней девушкой она стала корифейкой, солировала в Большом театре. Год назад — в двадцать пять — Вера получила звание балерины. Танцевала в «Русских сезонах» у Дягилева. Многим критикам её исполнение «Умирающего лебедя» казалось более глубоким, чем у Анны Павловой. Очаровательную Каралли признали талантливой драматической актрисой и пригласили в Малый театр…

…но её поистине всенародная слава расцвела на съёмочной площадке знаменитой кинофабрики Ханжонкова. Балерина в одночасье превратилась из дебютантки в богиню кинематографа.

Что там Иван Мозжухин или Витольд Полонский! Теперь они почитали за честь оказаться рядом с ней на экране. Специально для Верочки, для любимицы публики пришлось отменить правило, запрещавшее актрисе Императорских театров играть в кино: балерина Каралли уже не нуждалась в театре — это театр нуждался в ней! Киностудии буквально рвали красавицу на части. Фильма следовала за фильмой, по десятку в год. Зрители снова и снова желали смотреть «Смерч любовный», «Войну и мир», «Хризантемы» — и, конечно, «Умирающего лебедя», пользующегося грандиозным успехом. Гонорары актрисы неуклонно росли. Так же много платили ещё разве что её тёзке — Вере Холодной.

Бурные эмоции Верочки, снискавшие ей славу в кино и на сцене, там же и оставались — по ту сторону экрана, по ту сторону рампы. В жизни она заслуженно слыла дамой расчётливой. Начиная карьеру, стала любовницей великого тенора, шаляпинского приятеля Леонида Собинова. Добилась при его поддержке успеха, оборвала надоевший роман и теперь закрутила новый — с Дмитрием Павловичем.

Великая княжна Мария Павловна ревновала брата. Слабость к балеринам отличала большинство мужчин императорской фамилии. Теперь понятно, кто берёт любовников под крыло — ах, Феликс, Феликс… Но не в домах же свиданий встречаться с подружками великому князю!

— Я не понимаю, отчего государь не решается заточить Александру Фёдоровну в монастырь хотя бы до конца войны? — с бокалом на отлёте рассуждал между тем Пуришкевич, найдя благодарную слушательницу в Марианне фон Дерфельден. — Это отнюдь не позорный шаг, так поступали многие великие!

Баронесса соглашалась под крымский херес:

— Прекрасная возможность для императора — проявить непреклонную волю и вернуть всеобщую симпатию!

— Александра Фёдоровна — это злой гений России и царя! И на русском престоле по-прежнему остаётся немкой, — продолжал депутат, воодушевляясь напитком и поддержкой. — Она чужда стране и народу, которые должны бы стать для неё предметом забот и попечения! Она позорит государя… Верите ли, у казарм Семёновского полка я на днях собственными ушами слышал: *Царь с Георгием, а царица с Григорием!* Уже солдаты зубоскалят о том, что царская супруга, простите великодушно, живёт с мужиком! Болтунов, конечно, карают… но, положа руку на сердце, скажите: морально ли наказывать пошляка и балагура, который вслух говорит о том, что молча с горечью наблюдают все?!

Около полуночи в разговор вмешался Юсупов:

— Владимир Митрофанович, могу я воспользоваться вашей любезностью и просить вашего доктора сопроводить меня в короткой поездке? В моём лимузине как раз сегодня взялись что-то ремонтировать… Я

оставлю вас ненадолго, господа. И обещаю привезти сюрприз!

Это была одна из обязанностей Скейла: обеспечить присутствие на вечеринке полковника Вернона Келла под видом доктора Лазоверта. Скейл проинструктировал Юсупова, который просил Пуришкевича взять с собой главного врача санитарного поезда и усадить за руль автомобиля. Владимир Митрофанович удивился: зачем это нужно, когда у него есть шофёры? Наученный британцем Феликс пояснил: неизвестно, как ночью повернётся дело. Напомнил о приглашённых дамах… К чему доверяться солдату, который может сболтнуть лишнего? Упаси бог, рассказ о развлечениях Владимира Митрофановича достигнет ушей его уважаемой супруги! Шофёры будут счастливы, если отпустить их по домам накануне отправки на фронт. А для весёлых разъездов лучше взять верного человека. Вот хотя бы Лазоверта — с ним лично Феликс не знаком, но слышал прекрасные отзывы.

Доводы выглядели убедительно. Пуришкевич согласился и переговорил с доктором. Лазоверт не стал отказываться. К удивлению своего начальника, он даже облачился в кожаный фартук и собственноручно закрасил на дверцах автомобиля девиз *Semper Idem.* Ярко-красная надпись на латыни значила *Всегда Постоянный* и составляла предмет гордости Пуришкевича. Девиз он придумал сам и предпочитал переводить его иначе — *Верноподданный*, подчёркивая свой крайний монархизм.

Лазоверт объяснил, что лучше не привлекать лишнего внимания такой броской отметиной. Мало ли, куда отправится весёлая компания — по ресторанам, по кафешантанам, на острова — и в каком составе… Ни к чему Владимиру Митрофановичу афишировать свои похождения, ведь супруга ждёт его в кубышке вагона, на запасных путях возле скотобойни — накануне выезда

она всегда перебиралась в мужнино купе из их квартиры на Шпалерной… Наконец, доктор пообещал по возвращении загнать машину на платформу поезда и заново надписать девиз.

Владимир Митрофанович внял уговорам, позволил доктору отвезти себя во дворец Юсупова и оставил при автомобиле. Когда Феликс вышел — машина Пуришкевича тихо урчала у парадного входа. Князь уселся рядом с шофёром и, не глядя, сказал:

— Будьте добры, господин Лазоверт, мне надо съездить на Гороховую и вернуться. Если можно, побыстрее.

Ответ прозвучал по-английски.

— Я знаю, ваше сиятельство, мы едем за Распутиным. Благоволите немного подождать, пока двигатель прогреется.

Феликс вздрогнул. Человек за рулём был одет в шофёрскую доху, перчатки с крагами и папаху: ни дать ни взять — солдат из санитарного поезда. Но князь мгновенно узнал спокойный взгляд глубоко посаженных серых глаз, тщательно стриженные усы щёточкой — и голос. Юсупов изумился:

— Вернон?! Уж кого-кого, а вас я точно не ожидал увидеть… Извольте объяснить, почему вместо доктора Лазоверта я вижу британского офицера! И где ваши коллеги? Мы договаривались о встрече, я телефонировал — оба не отвечают.

— Давайте сейчас о главном, а детали потом, — сказал полковник, переходя на русский. — Время поджимает. Скейл и Эллей срочно отбыли из Петрограда. Вместо них говорить с Распутиным придётся мне. Да, вот ещё что: я позволил себе распорядиться от вашего имени, чтобы ворота во двор оставили открытыми. Возвращаться лучше к малому подъезду, и сразу оттуда спуститься в подвал. Лишнее внимание нам ни к чему.

— Не хотите, чтобы его видели? — спросил Феликс. Он знал, что к Распутину приставлены соглядатаи от Министерства внутренних дел и, по недавнему желанию царицы, от Министерства императорского двора. — Охрана Распутина в полночь сменяется. Кого вы боитесь? Нынешние агенты как раз сейчас уходят, а новые появятся только утром.

— Вы правы, — согласился Келл. Общаясь с Распутиным, Юсупов хорошо изучил его распорядок, а Скейл умело вытянул из князя интересующие подробности и загодя осмотрел место встречи. — Но где гарантия, что уйдут действительно все? Может остаться какой-нибудь особенно ретивый… или тот, кого мы не знаем. Ещё не забывайте, что напротив — полиция, и кругом тоже всего хватает. Ухо надо держать востро!

Вернон был прав. На другой стороне Мойки в шестьдесят первом доме сквозь редко сыплющий снег светил фонарями полицейский участок. Несмотря на поздний час, дверь иногда открывалась, впуская или выпуская то городового, то каких-то людей в цивильном. У входа дежурил возок. По соседству с участком — Окружной военный суд и казармы Конногвардейского полка, а позади дворца Юсуповых, ближе к Офицерской, — Главный военный суд, Военно-юридическая академия и кадетский корпус. Такое соседство очень удобно для спокойной жизни, но заставит понервничать того, кто хочет что-то утаить.

Феликс подивился подготовленности Келла к простой, в общем-то, встрече. И снова подтвердил свои догадки: встреча вовсе не так проста, какой хотели её представить британцы. Рядом с ним в автомобиле с закрашенными опознавательными знаками сидит не кто-то из знакомых британских офицеров, а их начальник, о нынешнем ранге которого можно только догадываться. Даже если военный служит в союзной армии — тот, кто под чужим именем работает в чужой

стране, называется шпионом. Получается, Феликс помогает шпиону встретиться с человеком, охрану которого надо ещё обмануть, а самого его — привезти тайком в юсуповскую гарсоньерку…

…и у Келла всё прекрасно рассчитано. Время и место — ночь и огромный дворец, из которого отослана почти вся прислуга. Предусмотрены невольные участники событий — великий князь Дмитрий Павлович и думский депутат Пуришкевич. Британец уверен, что Юсупов, авантюрист по своей природе, не пойдёт на попятный и не откажется в последний момент.

Ах, до чего же кстати пришёлся бы сейчас кокаин! Князь на миг задумался — и не стал вынимать перламутровую коробочку. Вернон ждёт этого наверняка, так пусть хоть что-то нарушит его расчёты. Феликс утешил себя: мы ведь съездим и скоро вернёмся, вот тогда…

— Который теперь час? — спросил Келл.

Князь подтянул рукав шубы, которую надел поверх мундира, отогнул лайковую перчатку и открыл запястье с белеющим кругом циферблата. Склонил голову, в полумраке разглядывая стрелки.

— Половина первого.

— Самое время… Удобная вещь, — оценил часы британец. — Особенно зимой. Карманные пока вытащишь — или простудишься, или проклянёшь всё на свете… На обратом пути я хочу быть уверен, что за нами нет *хвоста*. И вообще лучше, чтобы никто не видел, куда мы поехали и откуда приехали. Поэтому с Гороховой двинемся кружным путём, через Фонтанку и Крюков канал. Подумайте, как объяснить это Распутину, если спросит.

Келл надвинул на глаза шофёрские очки и включил передачу. Автомобиль, понемногу набирая ход, покатился вдоль набережной Мойки в сторону Гороховой улицы.

Глава XXII. Игра тел

Идите,
голодненькие,
потненькие, покорненькие,
закисшие в блохастом грязненьке!
Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Земле, обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!

Маяковский лежал навзничь в скомканных простынях, широко улыбался и вдыхал самый прекрасный запах на свете — мускусно-апельсиновый запах вылюбленного женского тела. Лиля льнула к нему и щекотала грудь острым коготком, бережно целуя место, которого только что коснулась. Володина ладонь легла на шелковистое Лилино бедро, и в ответ раздалось игривое мурлыканье…

По морозцу они в несколько минут не дошли, а почти добежали по Надеждинской до пятьдесят второго дома, где поселился Маяковский. Он всё ещё не верил в происходящее. Лиля, издевательски дразнившая его полтора года, соблазнявшая и ускользавшая — вдруг сама потребовала вести её сюда, ночью!

Расковыряв ключом дверной замок, Володя пропустил Лилю вперёд. И она вошла в его новую квартиру естественно и спокойно, словно в тысячный раз.

Об уюте здесь не могло быть и речи — хозяин целыми днями пропадал в казарме автошколы.

Они накинулись друг на друга, едва успев освободиться от шубки и шинели. Вещи полетели на пол. Стиснув Лилю, Маяковский поволок её в комнату. Страстные поцелуи оставляли вкус крови на треснувших от мороза губах.

В темноте с грохотом отлетел случившийся на пути венский стул. Лиля успевала отвечать на ласки, шарить в поисках пуговиц по Володиной гимнастёрке — и быстро-быстро расстёгивать свои пуговки и крючочки, иначе толстые пальцы Маяковского мигом изодрали бы платье в клочья.

Падение двух полунагих тел старая кровать выдержала чудом, и скрип её заглушили стоны наслаждения. Такого натиска Лиля не ожидала, а Володя неистовствовал, воздавая за невыносимо долгие муки ожидания. И, дав Лиле немного передохнуть *на перекрёстке своих больших неуклюжих рук*, снова и снова бросался на неё…

Когда Тоня вошла в незапертую Маяковским дверь — поняла всё с первой секунды, ещё не разобрав звуков. Довольно было одежды, брошенной на полу тёмной прихожей.

Дверь в комнату тоже оставалась приоткрытой. Там, на придвинутой к окну кровати, в еле брезжащем свете луны Тоня увидала растрепавшиеся рыжие Лилины волосы, её перекошенный стоном рот; услыхала знакомый хриплый рык Маяковского…

Неслышно ступая, девушка попятилась, носком ботика оттолкнула зацепившуюся шинель и выскользнула на лестницу.

Глава XXIII. Начало конца

С отъездом Феликса граммофон умолк.

Дмитрий Павлович в угоду Верочке остановил пение Савоярова. Великий князь упивался близостью желанной женщины и густым цветочным ароматом её духов. Теперь они вместе перебирали конверты с пластинками. Он не спешил и невзначай касался то гладкой руки в жемчугах, то круглого плеча Верочки. Она не отстранялась, вздыхая едва слышно, и оттого в голове Дмитрия Павловича пуще прежнего шумел царский портвейн.

Вид брата, одержимого макаковой страстью, огорчал Марию Павловну. Она демонстративно отвернулась в сторону от любовников — и вынуждена была слушать, как баронесса фон Дерфельден расспрашивает Пуришкевича про выступление в Думе: его речь продолжали обсуждать в свете, а текст передавали друг другу в списках. Владимир Митрофанович отвечал охотно; красноречия добавляло выпитое вино и внимание молодых красивых женщин. Тем более, одна из них была баронессой и родственницей императорской семьи, а другая — великой княжной и матерью наследника шведского престола. С такой аудиторией и немой разговорится! Утирая платком вспотевшую лысину, Пуришкевич повторял своё выступление чуть не слово в слово.

Граммофон молчал недолго. Вера Каралли и Дмитрий Павлович выбрали пластинку, и в гарсоньерке грянул бравурный американский марш:

Yankee Doodle went to town,
a-riding on a pony.
Stuck a feather in his cap
and called it macaroni.
Yankee Doodle, keep it up!
Yankee Doodle dandy!
Mind the music and the step
and with the girls be handy!

Затасканный шлягер про Янки Дудла — деревенщину верхом на пони и в шляпе с торчащими перьями; потешного сельского денди, который заигрывает с девушками. Этой песенкой великий князь и его любовница явно метили в Пуришкевича. Шпильку оценили все, кроме депутата — он пропустил комическое сравнение мимо ушей, зато баронесса с великой княжной едва удержались от смеха, и Мария Павловна даже подумала о Верочке немного лучше.

Когда музыка смолкла, Дмитрий Павлович звонком вызвал буфетчика. Житков получил приказание — прибрать на столе, сервированном тарелками с пирожными и лёгкой снедью, подать ещё вина и отнести угощение Сухотину: великий князь напрочь забыл о нём за светской болтовнёй и флиртом с Верочкой. Поручик, сопровождавший его к Юсупову, оставался в передней у главного входа. Дмитрию Павловичу стало стыдно. Всё же Сухотин — боевой офицер, ранен в голову и контужен, только из госпиталя…

Пуришкевич продолжал так же громко, когда пытался перекричать граммофон:

— Забавно вышло, когда я уже кончил говорить и принимал поздравления от коллег. Даже левые норовили руку пожать, хоть мы с ними хуже кошки с собакой… А супруга моя на хорах сидела. К ней тоже подходили дамы из высшего круга, вы понимаете.

Поздравляли, просили передать сочувствие по поводу всего мною сказанного. И баронесса фон Гильденбант подошла среди прочих…

— Старая сводня! — возмущённо перебила Марианна. — Это же самая-самая распутинская поклонница! Гришка в её салоне запросто бывает, он там свой человек…

— Ещё какой свой! — Депутат вскочил, едва не плеснув из бокала. — А она подошла к моей жене, чтобы сообщить по адресу моему горячий привет и восхищение. И вместе с тем, подумайте только, просила в один из ближайших дней отобедать у неё вместе с некоторыми её друзьями!

Мария Павловна вскинула брови:

— Что же она, хотела вас усадить за один стол с Распутиным?

— Вот именно! — подтвердил Пуришкевич и залпом допил вино. — Можете себе представить… Когда жена рассказала мне вечером про это приглашение, мы с нею долго хохотали. Цель-то у почтенной баронессы вполне ясная: свести меня с Гришкой. Она уверена, что я тоже поддамся гипнозу и после свидания окажусь его фанатичным поклонником!

Верочка переглянулась с Дмитрием Павловичем и ещё раз пустила пластинку.

Yankee Doodle went to town,
a-riding on a pony…

Пуришкевич сел, но тут же снова поднялся.

— Фу ты! А я думаю, что мне мешает?! — сказал он, вытащил из кармана брюк пистолет и встал в картинную позу, вроде бы решая, куда бы его положить.

— Владимир Митрофанович, да вы, оказывается, вооружены! — оживилась Марианна. — Позволите

взглянуть?

— Конечно! Прошу!

Продолжая красоваться, под внимательным взглядом великого князя Пуришкевич вынул магазин, передёрнул затвор и спустил курок. Убедившись, что пистолет разряжен, депутат щёлкнул предохранителем и торжественно вручил оружие баронессе.

— Ой, какой тяжёлый, — нарочито удивилась та и попыталась прицелиться, смешно прищуривая глаз и водя стволом из стороны в сторону.

Дмитрий Павлович процедил сквозь зубы:

— На людей направлять не надо, даже если пистолет не заряжен… И на собак, — добавил он, когда ствол повернулся в угол, где дремал Панч. — Цельтесь куда-нибудь… в лампу.

— Вы хорошо стреляете? — спросила Мария Павловна депутата.

Лицо Пуришкевича расплылось в довольной улыбке.

— Изрядно. Стрелок я более чем приличный! Не такой, конечно, как ваш брат, — он спохватился и отвесил шутливый поклон в сторону великого князя, — но тир на Семёновском плацу посещаю регулярно. И в небольшие мишени на пятидесяти шагах бью!

Пистолет перекочевал в руки Марии Павловны, которой было не привыкать обращаться с оружием.

— И правда, тяжеловат, — сказала она, несколько раз уверенным движением подняв и опустив ствол. — А если ещё снарядить… В магазине сколько патронов?

— Десять. Он двухрядный, — солидно ответил Пуришкевич. — Я вижу, вы разбираетесь.

— Не советую соревноваться с ней в тире! — В голосе Дмитрия Павловича прозвучала гордость.

— Можно?

Теперь пистолет двумя руками держала Верочка, разглядывая щёчку рукояти. На рубчатой поверхности

виднелось рельефное изображение: индеец в головном уборе из перьев, а над ним по кругу надпись *Savage*.

— Сэвидж, — прочла она, — дикарь… Так пистолет называется?

Пуришкевич кивнул.

Балерина наклоняла пистолет в разные стороны и любовалась игрой света на синеватой поверхности.

— Сэвидж, — нараспев повторяла она, раздувая ноздри. — Сэвидж… Какое звучное слово! Всё-таки в оружии есть что-то возбуждающее… дикарь с оружием — м-м-м…

Мария Павловна перехватила призывный Верочкин взгляд, брошенный на брата. Дмитрий Павлович с наигранным безразличием покрутил взвод граммофонной пружины и поставил иглу в начало пластинки.

Yankee Doodle went to town,
a-riding on a pony.
Stuck a feather in his cap
and called it macaroni…

Из зеркальной комнаты к гостям вышел Феликс. По приезде он первым делом угостился из перламутровой коробочки, выполнив данное себе обещание. Князь мелко шмыгал носом и подпевал пластинке.

— *…called it macaroni…* Что, Верочка, вы нашли достойную музыку? — спросил Феликс. К нему бросился Панч, и князь, присев на корточки, принялся чесать бульдога. — *Yankee Doodle dandy…* Пси-ина… Заждался? А мы уже вернулись!

Дмитрий Павлович кивнул на дверь в зеркальную комнату.

— Там что, есть отдельный выход на улицу?

— Есть, потом покажу, тебе понравится. — Князь увидел в руках Верочки «сэвидж». — Чей это пистолет?

— Мой. — Пуришкевич поспешил забрать оружие у девушки. — Карман оттягивает.

Он вставил магазин и сунул пистолет в карман брюк.

— Оставили бы в пальто, — посоветовал Юсупов.

Брутальный *Savage* ему не понравился. Вот «браунинг» — другое дело.

— А где сюрприз? — не сговариваясь, хором спросили Мария Павловна с Марианной и переглянулись.

— Да, вы обещали! — поддержала Каралли.

— Сюрприз готов и скоро будет! А пока…

Феликс прикрыл глаза, загадочно улыбнулся и стал дирижировать в такт песенке.

Yankee Doodle went to town,
a-riding on a pony.
Stuck a feather in his cap
and called it macaroni…

Глава XXIV. Игра разума

Брик собрал со стола карты. Была его очередь сдавать.

В дурачка они рубиться не стали, играли в преферанс. Шкловский глянул в листок с *пулей* — записью игры — и поцокал языком по поводу незавидного результата Северянина.

— Пуля — дура, вист — молодец… Повезло тебе, что Вовки нет, а то без штанов остался бы!

Это верно, играл Маяковский очень азартно и норовил сокрушить противника. Перед игрой всегда оговаривал *принцип сухого чистогана*: тот, у кого кончаются деньги, выходит из игры без долгов. То есть проигравший должен расплатиться немедленно. Одни

приписывали такой принцип жадности, другие — бессмысленной жёсткости.

— Может, чаю? — предложила Эльза. Она прибрала на кухне и вернулась в комнату.

— Эличка, чай — в партер! — привычно ответил Игорь, посмешив мужчин, и разлил вино по бокалам.

Присказка о чае, как и об одиннадцатой версте, сложилась благодаря талантливым алкоголикам. Костя Фофанов-младший писал стихи под псевдонимом Олимпов. Ваня Игнатьев тоже был поэтом и завсегдатаем «Бродячей собаки». Они дружили с Северяниным, и как-то втроём за бутылочкой выдумали эго-футуризм — в отличие от кубо-футуризма Давида Бурлюка.

Девиз — *Мысль до безумия! Безумие индивидуально!* — забавлял эго-футуристов до женитьбы Игнатьева в январе четырнадцатого года. На второй день свадебной гулянки он зарезался бритвой.

Индивидуальное безумие Фофанова-Олимпова выглядело менее опасным. Он любил прихлёбывать чай из стакана в паузах между стихами, когда читал со сцены, и однажды широким театральным жестом вдруг выплеснул на слушателей остатки заварки с ложечкой и лимоном. Случился скандал, дворнику пришлось высвистывать городового, и Костю забрали в участок. После этого фраза про *чай в партер* стала знаковой.

Преферанс в отсутствие Маяковского тянулся вяло. Брик со Шкловским заказывали верные контракты; Северянин *ремизился* по собственной оплошности, *просев* на несколько рублей при десятикопеечном висте.

— Не люблю я преферанса, — наконец забрюзжал он и налёг на остатки вина.

Осип хмыкнул:

— Ваша фамилия Достоевский?

— Фёдор Михалыч преферанс презирал потому, что крупно выиграть нельзя, — заметил Виктор и повторил: — Повезло, что Вовки нет. Крупно, не крупно, а раздел бы тебя наверняка!

— Ничего, — отмахнулся Игорь. — Покуда публика книги покупает и на концерты мои ходит, Маяковский не страшен.

Эльза снова устроилась на диване, поджав ноги.

— Это ненадолго, — сказала она. — Скоро все читать перестанут и будут в кинематограф ходить. Фильму смотреть недорого и легко. Даже грамоте учиться не надо.

— Как это можно сравнивать?! — возмутился Северянин. — Одно дело — какая-то фильма, за пару дней снятая, и другое — книга.

— Книга книге рознь, — рассудительно заметил Брик. — Я, если позволишь, в издательском деле немного смыслю. Что публика лучше всего покупает?

В голосе Шкловского звучало презрение.

— Пинкертоновщину. Детективчики всякие и прочий мусор.

— Мусор, может, и мусор. Только у приличной книги какой тираж? Тысяча, две, от силы три, а у этого мусора — тридцать тысяч, пятьдесят… Случается, и до ста доходит!

Северянин продолжал возмущаться:

— Ну и что? Это же не литература, а порнография!

— Не скажи! Порнография стоит рубль, и её поискать надо. А детектив — семь копеек в любом газетном киоске. Каждый купить может, даже ребёнок. Помню, Розанов рассказывал, как однажды у детей на даче отнял книжонку про сыщиков. Вредно, мол, такое читать! Потом поехал домой — и в поезде раскрыл грешным делом. Говорит, не заметил, как от Сиверской до Питера добрался! А это часа три езды, между прочим… Теперь вот краснеет, но тайком покупает и

читает иной раз ночь напролёт. Сам Василий Розанов, не кто-нибудь!

— Я и говорю, — раздражённо сказал Игорь. — Детективчики или порнография — один чёрт. Дрянь для ремесленников, проституток и прислуги. Спекуляция на низменном. Разжижение мозга.

— ...и поэтому люди тянутся в кино, — заключила Эльза.

Шкловский её поддержал, зацепив Игоря:

— Твои-то книги — конечно, дело особенное! Зато какой-нибудь Лев Толстой для кинематографа вполне годится. Лежит, например, «Война и мир». Здоровенный романище, четыре тома, в руки взять страшно. Но ничего, приходит Протазанов — чик! чик! чик! — и делает из романища фильму. Читать месяц надо, а так — сходил вечерком и посмотрел. И барышню взял. Приятное с полезным... Ты что, «Войну и мир» не видел?! Я — три раза. Какая там Вера Каралли — о!

Брик неторопливо тасовал карты и так же неторопливо рассуждал:

— Фильмы сродни цирку. Зрелище без мысли. Возбуждение дают, а ума не трогают. Призвание кинематографа — сообщать информацию. Только страна-то у нас мещанская! Публика не новое узнать хочет, а поразвлечься. На красивую жизнь посмотреть. Покажут шикарную женщину, ту же Каралли — народ валом валит. По три раза ходят, верно, Вить?.. А не покажут — зал пустой. Все хотят красивой жизни! Не дома, так хоть на экране. Мещанина неудержимо влечёт к тому, кто тратит больше его. Идёт пешком — завидует пассажиру коляски. Едет на извозчике — завидует тому, кто на автомобиле.

— Нищие завидуют не тем, кто богаче, а тем, кому подают больше, — пробурчал Северянин. — Это Бэкон сказал. Или Джонсон.

Шкловский рассмеялся.

— Видишь, тогда ещё и кинематографа не было, а как в воду глядел!

— Игорь, вот ты выйди на улицу и поговори об этом с людьми, — предложил Осип. — По концертам для избранных *изыски популярить* — это одно, а с толпой общаться — другое.

— Есть у Чехова такой рассказ, — вставила Эльза, — про монастырского настоятеля, который съездил в город, потом вернулся и долго расписывал монахам, какой там разврат и разложение. Клеймил, обличал… А наутро после речи проснулся — глядь, монастырь пустой, потому что все монахи в город сбежали.

Брик начал сдавать карты, а Шкловский с хрустом потянулся и подытожил:

— Трудно удержаться от соблазна… Агитаторы этим пользуются, народ баламутят. У нас на фронте знаете, сколько таких было? Говорили, мол, не с германцами воевать надо, а со своими: отобрать, у кого что есть, и поделить между собой.

— Ага, потом всё пропить, проесть — и снова пойти на Германию, чтобы там грабить и делить, — кивнул Осип. — И так далее.

— Циники вы, — продолжал бурчать Северянин. — Хорошо, что есть ещё в России люди с идеалами, для которых патриотизм — не пустой звук!

— О, да! И немало, — насмешливо посмотрел на него Шкловский. — А где ваша военная форма, господин патриот? Россия воюет вообще-то… Брось, Игорёша, для человека важней всего собственное благополучие. А высокие идеалы придумали, чтобы наивных барышень в койку валить. Чтобы студентам в руки бомбы совать или «браунинги». И ещё чтобы солдаты без лишних вопросов гибли геройски. Всё же просто: надо убить всех плохих, и всем хорошим сразу станет хорошо! Так, что ли? Не-а, дорогой мой! Мыслящим человеком движет разумная корысть и стремление к выгоде!

— Судя по игре, не уверен, — сказал Брик, передвинул к центру стола листок с *пулей*, и мужчины подняли розданные карты. — А потому повторяю для некоторых: взятку снёс — без взятки остался. И правило Аристотеля: лучше сыграть шестерную, чем *сесть* на девятерной.

— Каждый раз выигрывать — партнёров терять, — парировал Северянин. — Семь пик!

Глава XXV. Искусство войны

Дмитрий Павлович уже держал Верочку за руку в предвкушении скорого и страстного *tête-à-tête*. Феликс взахлёб рассказывал великой княжне и баронессе о том, как придумывал свою гарсоньерку, как рылся в старых альбомах, как в поисках антиквариата исколесил весь город… И тут Пуришкевич вскользь поинтересовался, удачна ли была поездка с Лазовертом и где теперь доктор.

— Он внизу с Распутиным беседует, — ответил Юсупов. — Думаю, скоро поднимется.

Дмитрий Павлович оторопел.

— Это что, шутка?!

— Нет. Это сюрприз!

Поражённые гости глядели на беззаботно улыбающегося Феликса.

— Распутин здесь, в твоём доме? — переспросил великий князь, а у Верочки Каралли загорелись глаза.

— Как интересно! — прошептала она.

Лысина Пуришкевича покрылась испариной. Он затараторил срывающимся голосом:

— Князь! Вы отдаёте себе отчёт?.. Вы нас компрометируете! Распутин?! Это немыслимо! И зачем доктору говорить с этим проходимцем? О чём они могут говорить?!

Баронесса фон Дерфельден сердито наморщила лобик:

— Этот хам и шарлатан — рядом с нами?! С ума сойти…

Мария Павловна решительно поднялась.

— Вот именно! Феликс, ты сошёл с ума! Воля ваша, господа, а я здесь не останусь ни секунды. Дмитрий, сейчас же вези меня домой!

Великий князь подал сестре руку, но в этот момент Панч загавкал на дверь в зеркальную комнату, и все обернулись на вышедшего оттуда мужчину, который обратился к Дмитрию Павловичу:

— Ваше высочество! Я приношу свои самые глубокие извинения. Князь виноват лишь в том, что позволил мне злоупотребить своим гостеприимством...

Великая княжна обменялась недоумёнными взглядами с братом и снова посмотрела на нового гостя.

— Мистер... э-э... мистер Келл, если не ошибаюсь? — припомнила она. — Вы-то здесь какими судьбами?

— Господин Лазоверт, — нервно сказал доктору Пуришкевич, — я отказываюсь понимать, что происходит. Какие дела могут у вас быть с Распутиным, и почему Мария Павловна называет вас чужим именем?

Дмитрий Павлович, казалось, начинал о чём-то догадываться и теперь выжидательно смотрел на Феликса. Келл подошёл к гостям.

— Владимир Митрофанович, я всё объясню чуть позже. Её высочество абсолютно правы, и дамам сейчас лучше уехать. А вас, джентльмены, я просил бы уделить мне каплю времени. Уверяю, что недоразумение разрешится ко всеобщему удовольствию.

Обмен любезностями тянулся недолго. Феликс и Дмитрий Павлович отправились проводить дам к автомобилю великого князя. Удивлённый вниманием, с которым они отреагировали на слова Лазоверта-Келла, Пуришкевич скрылся в туалетной комнате, долго там сморкался с оглушительными трубными звуками и совал разгорячённую голову под струю холодной воды.

Юсупов по пути с милой улыбкой выслушал гневную отповедь Марии Павловны, которую поддержала Марианна. Дмитрий Павлович попрощался с Верочкой, которая сердито дула губки: вместо объятий завидного любовника ей досталось общество разъярённых женщин, которым она не ровня. К тому же в ожидании

ночи страсти актриса оделась очень легко и теперь с содроганием думала про долгую поездку в стылом авто. Вышколенный шофёр-гвардеец, конечно же, первой доставит во дворец великую княжну Марию Павловну, после — отвезёт домой баронессу фон Дерфельден и лишь затем порулит в сторону квартиры балерины Каралли. Ничего не поделаешь — иерархия! Капризничать при Марии Павловне и требовать, чтобы Дмитрий Павлович вызвал таксомотор, Верочка не решилась, а самому великому князю это в голову не пришло.

Через несколько минут дамы отбыли. Четверо мужчин собрались в кабинете Феликса и заняли места в креслах. Бульдог забрался на диван. Пуришкевич, которому намокший воротничок больно тёр шею, то и дело морщился и нервно дымил толстой сигарой. Остальные закурили папиросы. Князь, сидя боком у письменного стола, постукивал наманикюренными ногтями по хрустальной панели с бороздками. Кабинет заволокло сизой дымкой.

— Мы готовы слушать вас, Вернон, — холодно сказал Дмитрий Павлович. — Хочется верить, что вы не только объясните происходящее, но и приведёте аргументы, действительно извиняющие вас за испорченный вечер!

— Первым делом позвольте принести извинения господину Пуришкевичу за продолжительную мистификацию, — мнимый Лазоверт коротко кивнул идеальной причёской с пробором в сторону депутата. — Моё настоящее имя Вернон Келл, и я полковник британской разведки.

— Господи… только этого не хватало… — Побледневший Пуришкевич перекрестился сигарой, а гость продолжал:

— С этими джентльменами мы знакомы с довоенной поры. Однако, поверьте, моё сегодняшнее появление для них — не меньший сюрприз.

— Кстати, о сюрпризе, — напомнил Феликс. — Вы оставили его одного?

— Не беспокойтесь, Распутин вряд ли поднимется. Я сказал, что здесь кутят синие кирасиры великого князя Николая Николаевича и каждый из них с радостью выпустит ему кишки. А дверь во двор я запер, — сказал британец, похлопав себя по карману пиджака, где лежал ключ.

— И всё же какого чёрта? — Дмитрий Павлович резким движением раздавил окурок в пепельнице; поднялся во весь рост, блеснув флигель-адъютантскими погонами, и заложил руки за спину. — Извольте объяснить, что вы затеяли!

Вернону тоже пришлось встать.

— Срочная встреча с Распутиным была необходима, — спокойно сказал он. — А чтобы сохранить разговор в строжайшей тайне — лучшего места я выдумать не смог, простите великодушно.

Пуришкевич рванул галстук, освобождая натёртую шею. Лицо его постепенно наливалось кровью.

— Ради всего святого, зачем вам понадобился этот упырь?

— Затем, что через Распутина немцы пытаются предложить сепаратный мир. Используют его влияние на императрицу. У меня есть неопровержимые доказательства встреч Распутина с полномочным эмиссаром из Австрии. Похоже, что на сей раз, благодаря совместным усилиям Распутина и её величества, ваш император всё же может начать переговоры.

Теперь вскочил и депутат, осыпая жилет сигарным пеплом.

— Я же говорил! — крикнул он. — Господа, сколько раз я это говорил! Распутин — тягчайший позор для России! Тёмная сила! И под стать ему — эта немка на престоле, злой гений государя императора…

Юсупов единственный остался сидеть, закинул ногу на ногу и сказал с подковыркой:

— Владимир Митрофанович, здесь не Таврический дворец, и нас переубеждать не надо. — Он ткнул папиросой в Келла. — А вы, значит, Гришку переубедить решили?

— Вы ведь будущий офицер, — ответил британец, — и наверняка знаете книгу Сунь Цзы «Искусство войны».

Феликс вспомнил нудные уроки полковника Фогеля и сделал в воздухе неопределённый жест.

— Вроде бы… что-то знакомое.

— Этот китаец учил воевать за пять веков до Христа. И с тех пор в искусстве войны мало что изменилось. *Необходимо искать шпионов врага, которые пришли шпионить против тебя. Соблазни их выгодой и возьми к себе*.

— Не обладая мудростью совершенномудрого, нельзя использовать шпионов, — возразил Дмитрий Павлович. Келл оценил ответную цитату.

— Приятно слышать. Я не претендую на совершенную мудрость, но дело своё знаю. Представьте себе сильный яд. Он убивает, но в малых дозах может быть лекарством. Так и Распутин отравляет всё вокруг, но при грамотном использовании…

— Цианиды не могут быть лекарством, — перебил Пуришкевич, плюхнувшись обратно в кресло, — они убивают!

— Поверьте своему главному врачу, — британский офицер тонко усмехнулся, — цианид ртути, например, хоть и не лекарство, но хороший антисептик. А вот цианид калия — это и вправду смерть. Чтобы узнать о яде наверняка, его необходимо исследовать.

— Исследовали? — спросил великий князь.

— Увы, Распутин оказался цианистым калием. Лекарства из него не получится.

— То есть шпион выгодой не соблазнился, денег не взял и сотрудничать отказался, — констатировал Феликс и снова забарабанил по хрусталю. — Спасовал ваш китаец. И что теперь?

Вернон помолчал немного и продолжил:

— Теперь выпускать отсюда Распутина нельзя ни в коем случае. Надеюсь, джентльмены, ситуация предельно ясна. Отчизна вверила вам свою судьбу. И я горжусь тем, что оказался сегодня среди самых надёжных людей в России. Для вас идеалы — не простой звук. Поэтому вам выпала высокая честь…

— Вернон, умоляю, без патетики. — Юсупов открыл ящик стола и взял шоколадную конфету из коробки; пистолет он отодвинул в сторону. — Вы посягаете на лавры Владимира Митрофановича. Что значит — Распутина нельзя выпускать? Прикажете поселить его здесь навечно?

Взгляд Келла сделался стальным.

— Нет, князь. Всё гораздо проще. Я назову вам телефонный номер, который надо вызвать прямо сейчас и сказать всего одну фразу: *Ваня приехал*. Кстати, по номеру ответит ваш старый университетский знакомый, Рейнер.

— Освальд в Петрограде?! — встрепенулся князь. — И он… он с вами?

— Лейтенант Рейнер — один из лучших наших специалистов, — подтвердил Келл. — Через полчаса он будет здесь и… словом, сделает всё сам. Ваша совесть и ваши руки останутся чисты. Один телефонный номер, одна фраза, ещё немного терпения, и Распутин исчезнет навсегда.

— Вы говорите об убийстве. — Слова Дмитрия Павловича мало походили на вопрос, и британец уточнил:

— Я говорю об устранении того, кого вы сами называете позором России и тёмной силой. Не так ли,

Владимир Митрофанович? Я говорю об устранении источника угрозы Антанте. Идёт война, джентльмены, и я говорю об уничтожении опасного врага. Но одних слов мало. Очередь за реальным делом.

Пуришкевич снова вскочил.

— Я не желаю иметь с этим ничего общего! Я требую вернуть автомобиль и отвезти меня к поезду!

— Придётся обождать, — отрезал Келл. — Ваш автомобиль нам понадобится. На нём Распутин сюда незаметно приехал, на нём незаметно и уедет.

— Так вот зачем вы закрасили надписи, — упавшим голосом произнёс депутат. — Но ведь… ведь разговаривали с ним только вы! А меня и великого князя Распутин не видел!

Дмитрий Павлович раздавил в пепельнице очередной окурок.

— Возьмите себя в руки, — велел он Пуришкевичу. — Распутин видел Феликса. К тому же Феликс его сюда пригласил, и Гришка наверняка кому-нибудь похвалился… Скажите, Вернон, в самом ли деле так опасно его отпускать?

— Он теперь опасен ещё больше, чем до встречи. Первое, что сделает Распутин, выйдя отсюда, — это форсирует переговоры с немцами. А ещё раньше расскажет в полиции обо мне и вашем соучастии.

— Соучастии в чём? Максимум, он может рассказать о приглашении Феликса.

— Ошибаетесь. Распутин знает, что вы здесь. Он видел ваши автомобили, даже если бы я ему ничего не сказал.

— А вы сказали?

— Да, — ответил Келл, глядя прямо в глаза Дмитрию Павловичу. — Сказал, что ваше присутствие гарантирует каждое моё слово, и все мои предложения согласованы с каждым из вас. Люблю, знаете, когда мосты сожжены. Это мобилизует.

Вечеринка приняла совсем уже неожиданный оборот. В разговоре возникла пауза.

Пуришкевич лихорадочно размышлял. Что же получается? Лазоверт — или как его, чёрта? — Келл подстроил так, чтобы Юсупов одновременно пригласил к себе Распутина и его с великим князем. Здесь попытался переманить Гришку на свою сторону, превратить из немецкого агента — в британского. При этом выставил присутствующих своими гарантами. Мол, все они заодно. Заодно с иностранным офицером, нелегалом, и значит — шпионом! Все трое — пособники шпиона. Господи, боже! Ведь это — государственная измена! Он, Пуришкевич, ярый монархист, патриот-черносотенец, лидер правых в Думе — изменник! И великий князь Дмитрий Павлович — изменник. И князь Феликс Юсупов — изменник… Распутин завтра же раструбит про них на весь Петроград. Как стервятники на падаль, налетят газетчики, шакалами набросятся коллеги-депутаты… Это конец.

Конец? Кому конец? С головы великого князя и волосу не дадут упасть. Член императорской фамилии изменником быть не может, особенно во время войны и народной смуты. Чай, не во Франции живём и даже не в Англии. Дело замнут. Переведут Дмитрия Павловича обратно в Ставку. Ещё и орденов нахватает.

Феликс? Последний князь древнего рода, богатейший наследник страны. Женат на государевой племяннице; великая княжна ему дочку родила, крестницу императора. Значит, этого тоже просто пожурят и от греха подальше вышлют из столицы. Ничего, поскучает у себя на крымском курорте, пока история не забудется.

Британец, конечно, шпион. Но при этом — штаб-офицер союзников, и наверняка из особо приближённых. Действовал во благо России, раскрыл и сорвал операцию вражеской разведки… Что ему грозит?

Для вида подержат немного под арестом и по-тихому отправят в Лондон, только и всего. А значит…

…значит, откуда ни посмотри, центральной фигурой интриги оказывается он, Пуришкевич! Всем известный депутат — государственный изменник! А по закону военного времени пощады за измену не будет. Это верная петля, или — в лучшем случае — расстрел. Вот почему чёртов доктор… чёртов Келл знает, что все трое никуда от него не денутся. Проще и безопаснее принять его условия. Вот почему он так уверен в своём плане!

В голове у Пуришкевича помутилось. Отсутствие сдерживающих умственных центров… В следующее мгновение депутат уже оказался на другом конце кабинета, вдавив британца в кресло и с рычанием вцепившись ему в горло.

Перепуганный Панч сорвался с дивана, скользнул по мрамору лапами и угодил в бассейн.

— Мерзавец! — орал депутат, орошая лицо Келла слюной и вращая глазами навыкате. — Гадина британская! Шантажировать вздумал?! Под пулю меня?!.. На виселицу?!.. Врёшь! Я — Пуришкевич! Я так просто не дамся!

Дмитрий Павлович шагнул к Пуришкевичу сзади и дважды тяжело ударил его кулаком в почку. Депутат взвыл и ослабил хватку.

Панч выбрался из бассейна, отряхнулся, обдал кабинет тучей брызг и принялся прыгать вокруг дерущихся, заходясь лаем.

Великий князь схватил Пуришкевича за шиворот, оторвал от Келла и поставил на ноги.

— Молчать! Баба! — по-военному рявкнул он и наотмашь хлестнул коротышку по лицу так, что тот оступился и упал в кресло.

Окрик подействовал и на Панча — пёс тоже замолчал.

— Благодарю… вас… ваше высочество, — с трудом проговорил британец, кашляя и ощупывая шею. — Вот ведь… не ожидал… А где Феликс?

Князя в кабинете не было. Дмитрий Павлович шагнул к письменному столу и увидал в выдвинутом ящике только конфетную коробку.

— Пистолет, — негромко сказал он.

Продолжая держаться за горло, Келл рванулся к лестнице, ведущей вниз.

Глава XXVI. Фига и крест

Незадолго до войны случилось Распутину побывать на лётном поле в Гатчине, под Петербургом. Уж больно много стали говорить об аэропланах, и заинтересовался ими Григорий. Кто же тогда устроил ему билет, уж не баронесса ли фон Дерфельден? Или тогда они уже знались не по-доброму?

В воздух взмывали трескучие крылатые этажерки. Некоторые, покружив, счастливо возвращались на поле под аплодисменты публики. Другим везло меньше — садились, куда попало; клевали носом, теряя пропеллеры и шасси. А то и просто падали. За обломками отправляли мужиков на телегах. К спасению пострадавших пилотов определена была медицинская карета.

Особое внимание привлекал к себе лёгкий моноплан «Ньюпор IV», на котором из Киева прилетел поручик Нестеров. Целых девять с половиной часов в воздухе — как долго! И всего девять с половиной часов на то, чтобы добраться от Киева до Гатчины — как быстро! Это был рекорд. Дамы вполголоса обсуждали миловидного Петра Николаевича, обладателя щегольских усиков и ещё одного недавнего рекорда, который он повторил к восторгу публики.

Перед вылетом поручик, немного стесняясь, прочёл собравшимся строки собственного сочинения.

Не для забавы иль задора,
А вас мне нужно убедить,
Что в воздухе везде опора.
Одного хочу лишь я,
Свою петлю осуществляя,
Чтобы «мёртвая петля»
Была бы в воздухе «живая»!

Корявые стишата позабавили гостей — и в момент забылись, когда управляемый Нестеровым аэроплан взлетел и стал, задирая нос, карабкаться вверх всё выше, выше, выше… Вот уже пилот повис вниз головой: «Ньюпор» перекувырнулся в воздухе, совершив обещанную поручиком *мёртвую петлю*, — а после под визг впечатлённых дам и уважительные аплодисменты мужчин понёсся к земле, постепенно выравнивая опасную дугу и возвращаясь к привычному горизонтальному полёту.

Рядом с Распутиным расположились военные и кто-то с Щетининского завода, выпускавшего «Ньюпоры» по французской лицензии. Упоминали закупки монопланов для армии; бубнили про семидесятисильный двигатель, особенности вертикального и горизонтального оперения, необычное управление «Ньюпора» и возможности больших углов крена…

Распутин ничего не слышал; он смотрел только вверх, задрав голову и раскрыв рот. Надо же, человек — летает! В голове не укладывалось… И не было в том покушения на небо. Спутникам своим Григорий сказал даже, что и сам желал бы увидать мир сверху, вознесясь подобно ангелу. Но когда поручика Нестерова знакомиться подвели, шарахнулся Григорий, напугался: очки у пилота огромные, словно глаза стрекозьи, и в кожу скрипучую чёрную затянут — какой там ангел!

Посмеялись окружающие и спустя несколько дней поднесли такой же точно костюм. Кожаный, чёрный. Повозился Григорий с костюмом, так и сяк померил, перед зеркалом повертелся — да и велел с поклоном обратно отдать.

— Страшон я в нём больно, — сказал. — Страшон, что твой сатана!

А снова вспомнил эту давнюю историю, когда шофёра увидал, что вёз их с Феликсом от Гороховой. И вёз-то странно, длинным-предлинным кругом. Мог в два счёта домчать, но зачем-то свернул на Фонтанку, оттуда на Крюков канал с петлёй мимо театра Мариинского и только потом — на Мойку, так что и подкатили-то ко дворцу Юсуповых совсем с другой стороны, от Коломны. Чудно́!

Пока ехали, Григорий про *кабаны* давешние Феликсу рассказал, как возвращался с «Виллы Родэ» и ледяную глыбу с гробом хрустальным попутал. Посмеялись.

У дворца думал Григорий к парадному подъезду выходить, где стоял уже чей-то лимузин, ан и тут ошибка вышла: их автомобиль повернул через ворота во двор и только там остановился. Кто бы подумал, что князь чуть ли не чёрным ходом в хоромы свои пробирается!

А *маленькой*, знай, с улыбкой смотрит. Сюрприз, говорит! Вот как втроём они в дверцу какую-то прошли, тогда и начались сюрпризы.

Первое дело — комар над ухом, изводивший Григория, затих. То житья не давал, зудел на все лады, а у Юсупова исчез, как его и не было. Такое облегчение…

Короткой лестницей спустились в подвал. С виду обычный, только по-дворцовому устроен. Григорий во многих палатах бывал, а красоты такой припомнить не смог. Старинные фонари с разноцветными стёклами. Свет пятнами. Занавеси — тёмно-красные, богатые, тяжёлые. Камин из красного гранита навроде очага

сделан. В нём поленья здоровенные трещат, искрами сыплют, а на полке — кубки золочёные, тарелки глиняные и статуэтки чёрного дерева.

Из угла посверкивает зеркалами буфет в полстены, перед ним на полу — необычная шкура. Огромная и совсем белая, с оскаленной медвежьей мордой. Слыхал Григорий, что на севере такие звери водятся, но увидал первый раз. Одно слово — сказка. И музыка весёлая откуда-то слышится.

Григорий с Феликсом сбросили шубы, шофёр тоже из дохи выпростался — вот и возник в памяти пилот вида сатанинского. И ведь не в кожу был одет шофёр: оказался он господином в костюме строгом. Разве костюм чёрный, круги у глаз от больших очков и… что-то в нём насторожило Григория.

— Прошу, Григорий Ефимович, — сказал князь и господина под локоток ближе подвёл, — прошу любить и жаловать. Шофёр у нас нынче редкий. Сюрпризом для вас — и не шофёр вовсе, а тоже мой гость и старый знакомый. Дело у него к вам. Так что вы пока побеседуйте, а я, с вашего позволения, отлучусь ненадолго. Там тоже гости ждут, неловко.

И с тем вспорхнул по винтовой лесенке, улыбаясь по-прежнему.

Господин в костюме Верноном назвался, сказал, что из Англии. Нерусский, оно и сразу понятно было. Полюбовался этот Вернон креслами резными и на одном уселся, а Григорий в диване утонул.

Рядом круглый чайный стол стоял с самоваром и блюдами, полными всякой всячиной — бутербродами, хрустящими корзиночками с начинкой, пирожными… Ну, пирожные — не про Григория угощение. Он и так-то сладкого не ел, а тут ещё пост Рождественский. Но корзинку-другую съел, конечно. Выбрал с рыбкой мелко порубленной: пятница-то закончилась уже, суббота началась, и рыбку вкушать можно.

Чай — чаем, а вино хорошее тоже не позабыл для гостей князь: мадеру, херес, портвейн с марсалой. Стояли наготове большие рюмки из тёмного стекла. Вернон принялся за херес, но вино только пригубливал, а Григорий мадеру пил глотками большими и ещё себе подливал.

Слово за слово, стала уходить настороженность — приятно оказалось говорить с этим Верноном. Похвалил его Григорий: мол, язык русский хорошо знаешь. А тот в ответ:

— Неужто лучше, чем ваш знакомый немец, с которым на Гончарной встречаетесь?

Вот это был сюрприз так сюрприз. И тут уже совсем другой разговор у них затеялся. Вернон будто сам на Гончарной за столом сидел — всё знал, как и о чём австрияк с Григорием договаривались. Мысль мелькнула: уж не Лилька ли ему всё выкладывает? Но нет, знал англичанин и то, что ей неведомо — иной раз ведь и с глазу на глаз Григорий с гонцом разговаривал, переводчицу рыжую удалив.

И вот Вернон этот спокойно объяснять стал, почему с немцами никак дел иметь нельзя, а с англичанами, наоборот, очень даже можно и нужно. Другой для убедительности говорил бы громко, руками размахивал. А он — нет. Сидит, сигарой попыхивает, вино маленькими глоточками пьёт и вроде даже улыбается, словно перед ним дитя неразумное.

Красивую картину нарисовал Вернон. Разобьём, говорил, немца, и не останется на свете Германии — только десяток маленьких княжеств, и довольно с них. Пусть спасибо скажут, что легко отделались. Австро-Венгрии тоже конец. То есть Австрия сама, так и быть, сохранится, но без армии. Венгры же, чехи и прочие, кто под австрияками ходят нынче, — сами по себе заживут.

Россия, говорил Вернон, в Европе крепко встанет и раскинется от севера до самого юга. И народы балканские придут под крест и знамя православного государя. И Константинополь — Византия древняя! — из-под власти турецкой к христианам вернётся.

Всем тогда, говорил Вернон, хорошо будет. Жизнь тогда начнётся — слаще малины! Говорил — и давал понять: среди всех, кому будет хорошо, Григорий далеко не последним окажется. Денег впрямую не предлагал — не как те, что купить Григория пытались. Не предлагал, но хитро так разговор вёл, что деньги вроде сами собой разумелись. Сколько? Да сколько надо, столько и будет! Разговор-то не о них — о России.

Удивлялся британец: как же может Григорий Ефимович немцу помогать?! Немец кровь русскую льёт. Детей сиротит, баб вдовами оставляет в деревнях русских, а Григорий Ефимович за немца этого перед папой и мамой радеет, перед царём и царицей слово замолвить хочет?!

Рассуждая так, англичанин порой вставал, прохаживался по коврам, поправлял поленья в камине кованой кочергой и продолжал.

России-то из войны сейчас выходить опасно и невозможно. Бить надо немца, пуще прежнего бить, пока не издохнет! А коли передышку врагу дать — он ту передышку как раз использует, чтобы сил новых накопить. И как с новыми-то силами на Россию ударит — тогда уже ни удержать его, ни тем более победить не удастся. Тогда получит немец всё, чего пожелает.

Другое дело, если сделает Григорий Ефимович вид, что для Австрии с Германией старается. Вот тут и Вернон ему поможет. Чтобы, значит, думал немец, что всё у него на мази, что переговоры будут, что передышка на фронте скоро. Обведём, говорил, врага вокруг пальца так, что комар носа не подточит. И государь-батюшка порадуется, и царица-матушка только

рада будет. Народ — сами знаете, Григорий Ефимович! — крепко против неё настроен. Она же немка. Немкой была, немкой и осталась. И за родственничка своего, мол, перед мужем хлопочет, за кайзера Вильгельма. Спасти пытается, чтобы дух из него не вышибли совсем.

А в народе-то как говорится? Муж да жена — одна сатана! Вот и выходит, что злоба-то против Александры Фёдоровны копится, но как выплеснется — тут и супруга её царственного, упаси господь, зацепить может. Страшно подумать, что тогда начнётся! Плач и стон по всей земле, реки кровавые…

Вздрогнул Григорий, когда британец про реки сказал. И без того порой чудилось, что он мысли читает. А тут — в который уж раз видение перед глазами встало: Нева, кровью текущая и телами запруженная.

И вот ещё что. Англичанин-то всё говорил, а Григорий почуял вдруг, что силы из него уходят. Как тогда, в больнице, с Аннушкой Танеевой. По капельке, по капельке — сил всё меньше, и слабость наваливается. Не то, чтобы в сон клонит, но…

Тряхнул головой Григорий и вино залпом допил. Погоди-ка, сказал англичанину. Погоди, милой! Эк ты сладко поёшь! Что ж, выходит, коли Россия немца-то разобьёт и сильнее всех станет, — так и сильнее Англии твоей? А тебе-то на что такая Россия, которая сильнее всех? Или там в Англии все дурачки такие? Или нас за дурачков держите? А не надо! Потому как уже который раз хотите вы нашими руками жар загрести. Кровушкой русской власть в мире купить. С турками гужуетесь, Туркестан против России баламутите. Ждёте, пока обессилеем мы да немца на фронте без сил оставим. И вы тогда для всех свой порядок установите, чтобы слова поперёк пикнуть не могли.

— А фигу ты видел? — Григорий выбросил в сторону англичанина жилистый кукиш. — Вот тебе! Фигу!

Откинулся на диван и по матушке длинно запустил. С давних пор — с тех, когда ещё ямщичил, не позволял он себе такого. А тут, вишь, вырвалось.

Вернон спокойно выслушал, в лице не поменялся. Зря вы так, говорит, Григорий Ефимович. Я-то к вам с добром и всем уважением. Ну, как знаете, воля ваша. Сигару в пепельнице погасил аккуратно и к двери пошёл, через которую они в подвал попали, когда приехали. Но одеваться не стал и наружу не вышел. Вместо того дверь запер, а ключ из замка вынул и в карман положил. Вы, говорит, Григорий Ефимович, погодите немного, скоро поедем, я за Феликсом схожу. И наверх по лесенке поднялся.

По правде говоря, был момент — струхнул Григорий. Виделось ему: то ли от своих же, от мужиков смерть примет, то ли от бояр каких. Англичанин-то что? Кто такой, откуда взялся?

Григорий выпил ещё вина и стал успокаиваться. Ни при чём тут англичанин. Авось пронесёт, охранит господь... Оглядел подвал, осмотрелся. Взгляд притягивал буфетище, в зеркалах весь и в столбиках бронзовых. А на буфете — распятие в локоть высотой. Что за невидаль! Сияет, как давешний гроб, то бишь *кабан* ледяной. Всеми цветами радуги переливается: сумрачно в подвале, да свет удачно падает.

Слабость не отпускала. Покряхтел Григорий, из дивана мягкого выбираясь, и к распятию пошёл. Шаги тонули в ковре и медвежьей шкуре.

Вблизи хрустальный крест оказался ещё чудеснее. Огнями не перестал играть, а вдобавок поразил искуснейшим серебряным кружевом.

Застучали каблуки по дереву лестницы. Глянул Григорий через плечо — Юсупов спускается.

— Ты, милой? — совсем успокоился Григорий и обратно к распятию повернулся. — Красота-то какая...

Пальцем осторожно повёл по старинному потемневшему серебру.

— Это ж сколько народу его целовало! — сказал. — Скольких крестом этим в последний путь проводили!

Феликс подошёл вплотную и выстрелил Распутину в спину.

Глава XXVII. Полёт фантазии

Счастье переполняло Маяковского.

Можно ли теперь себе представить, что когда-то он не знал Лили? Не рук её нежных, не жаркого тела, а самой Лили — не знал вообще?! Даже не представлял себе, что живёт на свете такая… Не знал?! Но откуда тогда взялись эти строки?

Морей неведомых далёким пляжем
идёт луна —
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.

Почему он это написал? Как почуял? Не луноликая, не пшеничнокóсая… Стихи родились ещё до войны, ещё даже до знакомства с Эльзой, которая потом только привела его к Лиле! А любовница рыжеволосая теперь лежала рядом и уютно дышала Маяковскому в ухо.

— Лиличка, спишь? — еле слышно спросил он, боясь потревожить.

— Нет, — чуть погодя шёпотом ответила она.

— Ты знаешь, как я тебя люблю?

— Знаю. — Было слышно, что Лиля говорит с улыбкой. — Дурашка… Ты сейчас на щенка похож. Огромного глупого щенка.

И она снова щекотно засопела ему в ухо.

Маяковский зажмурился. Господи, какое счастье! Не может столько счастья поместиться в одном человеке! Не удержать в себе столько! Он должен немедленно сделать что-то небывалое, немыслимое, выходящее из ряда вон!

Моя любовница рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражом…

Володя так стремительно вскочил и зашлёпал по полу босыми ногами, что Лиля испугалась.

— Ты что? — она села на кровати и потянула на грудь перекрученную простыню, а Маяковский, запинаясь о стул и не зажигая лампы, собирал с пола разбросанные вещи.

— Одевайся! Идём! — радостно скомандовал он.

— Подожди, я же не могу так… Мне же надо привести себя… Куда идём? Ночь на дворе, холодно!

— Идём, идём!

Володе всё же пришлось подождать, пока Лиля закончит плескаться в ванной, оденется и подкрасит губы. Сидя на многострадальном венском стуле, он курил и улыбался, не переставая. Мысль, пришедшая в голову, была фантастической и казалась гениальной. Кто ещё, кроме него, Владимира Маяковского, мог придумать такое для любимой?! *Венчается автомобильным гаражом* — отлично сказано!

Когда они добрались до Царскосельского вокзала, он заставил Лилю спрятаться от ветра в какой-то арке: *на пару минуточек*. И наотрез отказался объяснить свою затею. Только заговорщицки подмигивал и широко улыбался. Губы трескались.

Чуть не вприпрыжку Маяковский исчез в морозной тьме. Оставшись одна, Лиля подумала: уж не повредился ли рассудком её любовник? Она решила досчитать до ста, а после отправиться домой. Ося, наверное, волнуется. Там же Эльза ещё со Шкловским, и Северянин...

После дневной езды императорский *Delaunay-Belleville* не стали отгонять на Конюшенную и оставили на ночь в гараже автошколы. Договориться с солдатиком, который охранял гараж, Маяковскому удалось не сразу: караульный сперва и слышать ничего не хотел. Но разве можно было остановить окрылённого Володю?! Он упоённо врал, что к утру обязан проверить автомобиль в ночной поездке, грозил генералом Секретарёвым, который не простит невыполненного приказа, поминал великого князя Дмитрия Павловича...

Замёрзший полусонный солдат сдался, когда Маяковский пошёл ва-банк и предложил вызвать дежурного офицера, чтобы тот подтвердил его слова. Генерал с великим князем — ерунда, сменился и забыл. Но вот дежурный... При упоминании о нём караульный прикинул, чем обернётся вызов начальника глухой ночью на мороз, и решил не наживать неприятностей. К тому же Володю он немного знал, да и подумать не мог, что тот просто решил покатать свою подружку на личном лимузине государя!

Лиля давно уже досчитала до ста, потом подождала ещё... Совсем замёрзнув, она потеряла терпение, вышла из арки и, съёжившись, засеменила по Загородному. Там и нагнал её огромный автомобиль с поднятым кожаным верхом. По обе стороны сияющего капота трепетали императорские флажки — чёрный двуглавый орёл на квадрате золотого поля.

— Прошу! — гаркнул сидевший за рулём Маяковский и сквозь огромные шофёрские очки весело поглядел на Лилю.

— Володенька, что это? — изумилась она.

— Карета подана, — гаерским тоном объявил самозваный шофёр, спрыгнул на заснеженную мостовую и распахнул дверцу салона. — «Делонэ-Бельвилль» его величества к вашим услугам. Куда прикажете, королева?

Глава XXVIII. Не в живых

Келл с великим князем опоздали.

Выстрел в подвале грохнул в тот момент, когда они друг за другом ринулись вниз по витой лестнице. Через мгновение оба оказались в столовой.

На шкуре белого медведя лежал Распутин. Над ним неподвижно стоял Юсупов. Руки он заложил за спину; «браунинг» подрагивал в правом кулаке: Феликса била мелкая дрожь.

— Вы понимаете, что вы наделали? — тихо спросил Келл.

Князь криво улыбнулся и не ответил.

— Господа! — По лестнице топотал Пуришкевич. — Господа!

Увидав открывшуюся картину, он застыл в дверях, ахнул и отшатнулся к стене. Щёлкнул задетый выключатель — столовая погрузилась во мрак.

Феликс испуганно вскрикнул, а великий князь рявкнул из темноты:

— Чёрт вас дери, Пуришкевич, включите свет!

Незадачливый депутат пошарил рукой по стене, и лампы снова зажглись.

Келл уже стоял около Юсупова.

— Отдайте пистолет, — сказал он, осторожно вынул оружие из руки князя и засунул во внутренний карман своего пиджака.

Дмитрий Павлович взял со стола бутылку, налил полную рюмку вина и протянул Феликсу. Тот звякнул зубами о хрусталь, выпил, не глядя, и сказал:

— Я его убил.

— По счастью, нет, — ответил Келл, наклонился над Распутиным и проверил пульс на шее. — Владимир Митрофанович, если не трудно, помогите мне.

Пуришкевич осторожно подошёл.

— Вы уверены, что он… не умер?

Британец искоса посмотрел на депутата и взял Распутина под плечи.

— Надо его убрать, пока кровь не замарала шкуру, — сказал он.

Пуришкевичу пришлось взяться за глянцево блестящие голенища распутинских сапог, и вместе с Келлом они перенесли тело на гранитный пол перед лестницей. Мужик оказался тяжёлым. Крови на белой шкуре не осталось.

До сих пор Владимир Митрофанович никогда не видел Распутина. Знал он его только по фотографиям, которые делал некий Михаил Оцуп. Недели три назад в руки Пуришкевичу попала большая карточка: старец в кругу светских поклонниц за чайным столом. По заказу депутата знакомый фотограф переснял и подретушировал снимок. Пуришкевич подписал на нём фамилии тех, кто были рядом с Распутиным, добавил оскорбительную надпись и заказал несколько сотен копий. Тираж он роздал депутатам Государственной думы и разослал по редакциям всех петроградских газет. Посмотрите, мол, как развлекается *святой чёрт* с нашей аристократией!

И вот сейчас ни разу не виданный, ненавидимый им Распутин лежал на полу залы-бонбоньерки. Щуплый немолодой мужик с растрепавшимися длинными волосами и торчащей окладистой бородой. На животе васильковой шёлковой рубахи среди вышитых колосьев

медленно расплывалось кровавое пятно. Всаженная в спину слева, под сердце, пуля прошла навылет через правый бок.

Дмитрий Павлович подвёл Феликса к дивану, усадил и налил ещё рюмку. Князь опять выпил залпом.

— Интересное ощущение, когда стреляешь в человека, — задумчиво произнёс он. — Очень интересное. Это тебе не голуби.

— Маша была права, — сказал Дмитрий Павлович. — Ты рехнулся.

Юсупов вдруг изменился в лице и со смехом вскочил с дивана. Оцепенение прошло.

— А что ты хотел? — жарко зашептал он, став перед великим князем и постепенно повышая голос. — Чтобы это сделали англичане? Сколько сказано о том, что Распутину не жить! Что такую тварь давно пора уничтожить! Что он достоин только одного — смерти! Все об этом только и говорили, все! С трибуны, в салонах, в ресторанах… Газеты захлёбывались: Распутин — злой гений! Распутин — враг отечества! Распутин — германский шпион! Надо помочь государю! Говорили, говорили, говорили… Но никто и пальцем не шевельнул! Ждали, пока появится добрый дядя и сделает всё за них, да? Никто, понимаешь, никто не подумал раздавить эту гадину! И только я — я! — Феликс Юсупов, вот этими руками…

Феликс посмотрел на свои белые руки с тонкими растопыренными пальцами и крикнул:

— Отдайте пистолет! Я убью его! Дмитрий, что ты стоишь? Стреляй!

У князя перехватило дыхание, он разрыдался, упал на диван и завыл:

— Господи-и-и, что же теперь буде-е-ет?

— Вот это и придётся решать, джентльмены, — сказал Келл великому князю и Пуришкевичу, отвлекая

их от Юсупова. — Не обращайте внимания, реакция вполне естественная, он сам успокоится.

Пока Феликс произносил свой монолог, британец сидел на корточках и внимательно осматривал пол. Подобрав находки — стреляную гильзу калибра семь шестьдесят пять и сплющенный металлический комок, ещё недавно бывший пулей, — Келл поднялся и сел в то же кресло, что и во время разговора с Распутиным.

— Вы здорово просчитали сегодняшнюю встречу. — Дмитрий Павлович тоже устроился в кресле у стола и закурил папиросу. Пальцы его слегка подрагивали. — Наверняка у вас имеется план. Самое время сообщить его нам.

Третьим сел за стол Пуришкевич, оглянувшись на лежащего Распутина и подвинув кресло так, чтобы не сидеть к телу спиной.

— Сделайте милость, — поддержал он.

— План у меня, и правда, был, — согласился Келл, крутя в пальцах мятую пулю. — Хороший план. Только инициатива милейшего князя и его снайперский выстрел не оставили от моего плана камня на камне.

Видно было, что он действительно в замешательстве и напряжённо думает.

— Добить его, да и дело с концом, — неуверенно сказал Пуришкевич, снова взглянув в сторону Распутина. — Вы ведь сами об этом говорили!

— Я говорил о том, — по-прежнему медленно продолжил Келл, — что сюда приедет лейтенант Рейнер и всё устроит.

— Каким образом? — спросил Дмитрий Павлович.

— Вы действительно хотите это знать? — Британец оторвал взгляд от пули и пристально посмотрел на великого князя. — Извольте. Освальд — профессионал. Работает без шума и не оставляет улик. Полагаю, он убил бы Распутина резиновым кастетом. Или сломал бы шею. Основание черепа, знаете ли, хрупкое место! В

любом случае, внешних повреждений минимум, крови нет. Сделал бы он это не здесь, а труп оставил бы где-нибудь на улице. Может, Гришка упал неудачно или просто спьяну замёрз. Может, кто-то ему голову проломил, чтобы ограбить… Есть ещё вариант — переехать автомобилем и симулировать несчастный случай. Вариантов много. Но главное, утром Распутина нашли бы мёртвым очень далеко отсюда. Дальше — горе почитателей, ликование всех остальных и гарантия от появления двойника.

— Даже так?! — удивился Дмитрий Павлович.

— Даже так, — подтвердил британец, — но это уже не имеет значения. Теперь его придётся хорошенько спрятать. Человек, простреленный навылет, мало похож на погибшего под колёсами.

От лестницы послышался стон.

— Он очнулся! — Пуришкевич подпрыгнул в кресле. — Смотрите, он сейчас встанет!

Распутин действительно приходил в себя. Правой рукой с массивным золотым браслетом на запястье он прикрыл глаза от света, а левой осторожно ощупывал живот. Грудь его вздымалась неровными толчками, правая нога конвульсивно дёргалась. Рубашка уже заметно намокла от крови. Губы Распутина шевелились.

— Что он говорит? — спросил Пуришкевич, опасливо держась поодаль.

Дмитрий Павлович с британцем подошли к раненому и прислушались.

— Не пойму, — сказал великий князь. — Молится, что ли…

Распутин же, запинаясь, одними губами повторял последние слова своего прощального письма папе-государю, *духа* своего:

— Скажи твоим родным… я им заплатил моей жизнью… Я уже не в живых… Молись, молись… Будь сильным… Заботься о твоём избранном роде…

Вернон Келл, наконец, принял решение и обратился к великому князю:

— Феликс не в себе. Я прошу вас дойти до телефона. Вызовите, пожалуйста, этот номер, — он протянул визитную карточку без имени, с одними цифрами, — и тому, кто ответит, скажите: *Ваня приехал*. Одну фразу, ничего больше. Затем вызовите номер «Виллы Родэ» и спросите, нет ли там Григория Ефимовича. Само собой, вам ответят, что нет. Удивитесь и скажите, что он обещал давно приехать и, по всем вероятиям, скоро появится. Поторопитесь, прошу вас!

— Думаю, Феликса лучше отсюда увести, — сказал Дмитрий Павлович.

Британец не стал возражать.

— И вот ещё что, — добавил он. — Пустите музыку. Пускай всё выглядит так, будто вечеринка продолжается.

Великий князь поднял с дивана поскуливающего Юсупова и, придерживая за талию, повёл прочь из подвала. У подножия лестницы им пришлось обойти тело. Феликс шумно сглотнул и отвернулся. Келл глазами указал Пуришкевичу на Распутина:

— Давайте-ка мы с вами его оденем.

— Зачем?

— Чтобы спокойно вывести под руки, как пьяного. На случай, если нас всё-таки проследили. Князь прострелил ему печень. Это значит — обильное внутреннее кровотечение, и жить нашему другу осталось от силы полчаса.

Сверху весело запел граммофон.

Yankee Doodle went to town,
a-riding on a pony…

Глава XXIX. Конец игры

Тоня пешком добралась до своего домика в Коломне.

С Надеждинской переулками вышла на Фонтанку и долго-долго брела вдоль пустынной набережной. Через Невский, через Гороховую… Лишь раз у Забалканского проспекта окликнул её городовой, а так — словно одна в целом мире. Может, и попались по пути несколько прохожих, но девушка их не заметила: ночь стояла тёмная, и глаза от ледяного ветра слезились. Только вот плакать — слёз не было. Ничего больше не было. Пустота внутри. Пустота.

У Фонтанки Тоню медленно обогнал какой-то автомобиль. За рулём нахохлился шофёр в огромной дохе, из салона выглядывали два пассажира в шубах. На лицо одного из них упал свет уличного фонаря, — и Тоня узнала князя Юсупова: он был в «Привале», когда Володя читал со сцены «Войну и мир»… её Володя… её бывший Володя… Мотор укатил дальше, на Крюков канал, а Тоня повернула к себе, в Щепяной переулок.

Квартира-живопырка под самой крышей встретила теплом. Осенью Тоня потратила на окна целый день. Сперва хорошенько вымыла толстые рамы, потом принялась за стёкла и оттёрла их скомканными газетами до визга и полной прозрачности. Орудуя мастихином, туго-натуго заткнула все щели и щёлочки паклей, а поверх прилепила крахмальным клейстером широкие бумажные полосы. Недавно под настроение она расписала эти полосы солнечными цветами.

Жилище со скошенным мансардным потолком было уютным, и Тоня называла его мастерской не зря. Скромному быту отведён был лишь один угол, где стояла узкая кушетка, застланная лоскутным одеялом. Поверх одеяла грудились подушки-думки с вышивками и аппликациями. В ногах кровати — старый шкаф, в изголовье — комод. В этом углу жила аккуратная девушка. Остальным пространством безраздельно владела художница.

Последнее время в моду вошла яркая, сочная, густая живопись — темперой, гуашью, маслом, — но Тоня предпочитала нежную акварель. Своими картинами она увешала всю квартирку; стопки листов лежали, где только можно; картоны стояли, прислонённые к стенам… И с каждого рисунка глядел Маяковский.

Вот он, на коротких крепких ногах фавна с копытцами вместо штиблет, *плавит лбом стекло окошечное*. За ним — комната в предрассветной мгле, и там на кровати, в прозрачной рубашке, соскользнувшей с одного плеча, сидит совсем ещё девочка — Тоня.

Вот акварели с Володей в восточных доспехах. Серия появилась после того, как Витька Шкловский прожужжал им уши переводом какого-то Сунь Цзы, древней китайской книги о войне.

Тот, кто побеждает в шести битвах из десяти, следует правилам звёзд. Тот, кто побеждает в семи битвах из десяти, следует правилам солнца. Тот, кто побеждает в восьми битвах из десяти, следует правилам луны. Тот же, кто побеждает в десяти битвах из десяти — искуснейший из полководцев, но может зайти слишком далеко.

Это было сказано про Маяковского. На одном дыхании Тоня написала его полководцем, который следует правилам звёзд, луны, солнца и — не следует никаким правилам. Она и любила того, кто попирал правила, издевался над правилами, высмеивал правила — в стихах, в жизни… своего Володю… своего бывшего Володю…

Ещё одна акварель — тайная вечеря, где среди разгульного застолья Маяковский сидит на месте Христа со строгим лицом в сиянии неземного света. Портретное сходство удавалось Тоне феноменально, и если над кем-то другим иной раз приходилось потрудиться, то Володю она могла писать с закрытыми глазами. Столько часов, не отрываясь, Тоня ощупывала

его взглядом — когда любимый думал, ел, курил, ругался…

А вот — стопка иллюстраций к «Слуге двух господ» Гольдони. Один из недавних заказов, за который щедро заплатили. Мужественный Труффальдино с Володиным лицом — и нежная, наивная Эсмеральдина, вылитая Тоня. Как там сказано?

Для побеждённых меркнет свет в оконце.
Лишь победитель вновь увидит солнце.
Кто проиграл — напрасно утра ждёт:
В долину смерти путь его ведёт.

С кухни Тоня принесла початую бутылку вина и села за стол. Напротив у стены поставила свою последнюю картину, только вчера законченную. Большой картон, который она хотела подарить Володе на Рождество.

Тоня пила маленькими глотками. Она пробовала сочинять. *Только о себе, только о себе, пусть о другом не будет речи…* Свои полустихи, полупрозу назвала «Двое в одном сердце» и посвятила Маяковскому. Уже и не вспомнить, где сейчас та серая тетрадка.

Пусть о другом не будет речи… Тоня силилась оградить их с Володей от всего остального мира, их своё — от чужого другого. Но ей говорить о своей любви — всё равно, что говорить о том, что солнце светит, а море — большое. Зачем? Это ведь так естественно!

Картина родилась вместо писем. Под серебром облаков в золотозвёздом небе белоснежные птицы осеняли крылами свадебный стол. Женихом сидел Маяковский — величественный, роскошный, в цилиндре и фраке. Справа от него, в подвенечном белом платье, — сияющая от счастья Тоня. Красивая, как никогда в жизни. Просто сказочная принцесса! Слева горой возвышался Бурлюк с сигарой в одной руке и лорнетом

в другой. А множество гостей за столом — их друзья, знакомые, художники, поэты. Хлебников с виноватыми глазами. Северянин в лавровом венке. Шкловский, Пронин, Гумилёв с Ахматовой; блестящий коронками Мандельштам…

Гору яств на столе Тоня выписала в мельчайших деталях. Сколько раз она представляла себе, как друзья увидят эту картину и обязательно примутся вышучивать гастрономический разгул на их с Маяковским свадьбе! Время-то военное, несытое, а тут прямо Лукуллов пир… Сколько раз Тоня мечтала о долгожданном сборе и обязательном дурацком *горько!* за таким вот столом… Сколько раз видела себя невестой, сквозь дымку фаты говорящей фрачному Володе давным-давно решённое *да…*

Но теперь — всё. Тот, кто побеждал в десяти битвах из десяти, зашёл слишком далеко. Он остаётся под солнцем, а ей — счастливый путь. Смертельной игре в любовь настал конец.

Рама поддалась после нескольких рывков. С гулким звоном полопались весёлые подсолнухи на бумажных полосках. Серой лохматой змеёй выползла из щелей пакля. Зимний ветер ударил в распахнутое окно, снова заволок слезами Тонины глаза и повалил на пол акварельное свадебное счастье.

Покачнувшись, девушка встала на подоконник. Глянула вниз — на застывшие под синим снегом окрестные крыши, потом вверх — на пятно луны, размазанное в ночном небе. Очень по-детски шмыгнула носом…

…и нырнула в бездонную тьму двора-колодца.

Глава XXX. Запах смерти

В животе полыхал раскалённый шар. В ушах вместо исчезнувшего комариного звона раскатисто отдавались удары сердца. Пальцы левой руки слиплись от крови. Гранитный пол высасывал тепло. Григория знобило, по телу пробегали судороги.

Несколько раз он пробовал открыть глаза, но даже когда это удавалось, свет казался слишком ярким, а взгляд застила багровая пелена. Какие-то люди ворочали его с боку на бок и переговаривались. Слов не разобрать — одна гулкая каша.

Вдруг стало жарко. Григория подняли под руки, усадили на ступени лестницы, прислонив к стене, и пытались вправить в шубу. Дышать он мог только через раз и неглубоко. Раскалённый шар медленно перекатывался в животе, выжигая нутро. Боль росла и захватывала всё, каждую клеточку, каждый закоулочек; болели даже волосы и ресницы… Но когда боль стала оглушительной — она вдруг пропала.

В мутном сознании соткалось размытое, оплывшее лицо Акилины… Чёрный хлеб с мёдом и рыба — его последняя еда… любимая еда, которая стояла на столе после бани… А ведь как чувствовал — противу обыкновения своего помылся накануне, в пятницу, не стал субботы ждать… Чистым помирать хорошо, правильно… Дочки появились, Матрёна с Варварой: два лица, вроде как в одно слитые… Читал им перед сном от Иоанна: *В начале было Слово*… Слово-то в начале было плотию, и долго ещё обитало среди человеков… Дочек сменила Катя Печеркина, что прижилась на Гороховой: родич ейный, Дмитрий Иванович, и сподвигнул Григория на странствия… Давеча вспоминал Григорий с Катей житьё-бытьё в Покровском: как в Туре купались, как рыбу ловили…

Обмякший Распутин вздрогнул и застонал, когда Пуришкевич попытался натянуть фетровые калоши на его сапоги. Дело шло туго, и Келл остановил депутата:

— Оставьте, это ни к чему.

Сверху спустился Дмитрий Павлович.

— Я всё сделал, как вы сказали. Телефонировал.

— Очень хорошо. — Британец вынул из жилетного кармана часы-луковицу; стрелки показывали начало четвёртого. — Что ж, джентльмены, мучиться нам с вами осталось недолго.

На граммофон они уже не обращали внимания. Никому в голову не пришло менять пластинки — иглу просто ставили в начало, и по дому снова разносился бравурный марш *Yankee Doodle*.

— Как вы его повезёте? — поинтересовался Пуришкевич; он уже пообвык и по-хозяйски придерживал Распутина за плечо.

— Так же, — ответил Келл. — Приехали втроём, и уедем втроём.

Великий князь поиграл желваками на скулах.

— Феликса лучше пока не трогать.

— Об этом нет и речи, — успокоил его британец. — Я снова сяду за руль, а рядом с нашим смертельно пьяным другом сядет Рейнер в шубе князя. И всё, дело за немногим.

Келл отправил Дмитрия Павловича наверх к Юсупову и передумал возиться с шубой Распутина: её достаточно было просто накинуть мужику на плечи.

Пуришкевич остался присматривать за Распутиным, а Келл облачился в доху, отпер дверь во двор и пешком отправился в соседний Прачечный переулок — там на углу с Офицерской улицей полковнику Келлу предстояло встретить лейтенанта Рейнера.

За время короткого отсутствия великого князя Феликс успел поманипулировать с перламутровой коробочкой. Когда Дмитрий Павлович вернулся в кабинет — на хрустальной панели оставались только следы белого порошка.

— Прошу без сентенций, — сказал Феликс, заметив недовольный взгляд приятеля. — Моралистов мне и без тебя хватает. Он там ещё живой?

— Я не проверял. Скоро увезут. Вернон уже пошёл встречать Рейнера твоего.

Великий князь опустился на диван и закурил, а Юсупов, наоборот, поднялся из-за стола:

— Я тоже пойду, пожалуй. Надо с Освальдом поздороваться и с Гришкой попрощаться.

Спускаясь по лестнице, он увидал поникшую голову Распутина, которого усадили на пол и прислонили к стене. Навстречу князю бросился Пуришкевич: его лысину сплошь покрывали нервические красные пятна.

— Сделайте милость, покараульте немного! А я в уборную, с вашего позволения. Терпеть сил нет…

Депутат заторопился наверх, оставив князя с Распутиным.

Несколько мгновений Юсупов стоял неподвижно. Перед ним был человек, в которого он совсем недавно стрелял из пистолета. Стрелял, целя в сердце и желая убить, убить, убить!

Распутин сидел, неуклюже раскидав прямые ноги в блестящих сапогах с криво насаженными калошами-ботиками. Бессильно упавшие жилистые руки были перепачканы кровью, волосы в беспорядке свешивались на лицо. Лоснящаяся борода прикрывала кровавое пятно над малиновым поясом с большими кистями.

Феликс опустился перед мужиком на корточки. Судорогой свело челюсти — похоже, князь переборщил с кокаином. Он заскрежетал зубами и шмыгнул носом. От Распутина исходили запахи вымытого мужского тела и крови. Но к ним примешивалось ещё что-то неуловимо знакомое… как леденец… Господи, это же «Вербена»! Газеты пестрят рекламой дешёвых духов и мыла: *Аромат удачи!* Любимый аромат Аликс — теперь запах смерти…

Странно, подумал князь, когда я шёл его убивать, злобы не было. Был внезапный порыв, было желание отомстить Вернону и утереть нос Освальду с Дмитрием. Было любопытство, была гадливость, было ещё чёрт знает что внутри — что угодно, кроме злобы. А сейчас, глядя на аккуратный пробор в растрёпанной распутинской шевелюре, Феликс почувствовал, как в нём закипает даже не злоба, но бешенство, от которого мутилось в голове.

Гришка словно на праздник собрался. В бане, видно, был. Причёску сделал. Борода нафабренная, как у древнего ассирийца. Пробор — как у полового в трактире… Узорное шитьё на рубахе тоже бесило. Все знали, что императорский кабинет оплачивает Распутину квартиру, но денег от царской семьи мужик не берёт. Кормится на стороне и в подарок принимает только иконы да шёлковые рубашки, которые собственноручно расшили царица с царевнами. Видно, из таких и эта — васильковая в золотых колосьях, залитая распутинской кровью, с дырками от пули Феликса.

Вырядился, сволочь!

Бешенство и ненависть поднимались в сердце князя. Жуткий скрежет зубов, казалось, доносился наверх и даже — через узкие окна вровень с мостовой — до набережной Мойки.

Что же с ними всеми сделал Гришка? Чем околдовал и вынудил говорить о себе столько, сколько ни о ком другом не говорили? Что заставляло царскую жену и дочерей вышивать ему рубашки, а самого императора — гонять чаи с простым крестьянином и слушать его путаную болтовню про бога? Что привело к нему многие сотни людей — далеко не самых глупых, не самых бедных, не самых безнадежных? Чем он врачевал, чем ворожил? Чем выделялся из полутораста миллионов таких же, как он, российских мужиков? Как вызывал

беззаветную преданность и искреннюю любовь у одних — и дикую зависть, исступлённое бешенство и лютую ненависть у других?

Ни на один из вопросов уже не будет ответа. Никогда! Он, Феликс Юсупов, положил всему этому конец. Конец! Зря Дмитрий потешался над «браунингом». Пускай не слона, но Распутина он своей игрушкой одолел. И не промахнулся!

Бешенство и ненависть мутили разум Феликса. Почему Распутин всё ещё здесь? Он же убит! И должен исчезнуть, раствориться, сам собой растаять в воздухе, как злой дух! Рассыпаться прахом, как вампир, которому влепили серебряную пулю! Но вместо этого Гришка снова заставляет суетиться вокруг себя. Заставляет — кого?! Его, князя Феликса Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон! А ещё — великого князя Дмитрия Павловича и остальных, рангом пониже. Распутин должен валяться у него в ногах, но вместо этого сам Юсупов сидит на корточках перед какой-то мразью!

Кокаиновая энергия распирала Феликса. Он хотел вскочить, но затёкшие ноги подвели. Князь повалился на Распутина…

…и тут раненый мужик вдруг положил руки на плечи Юсупова. А самое страшное — он открыл глаза. Не сразу. Сначала дрогнуло левое веко, потом задрожало правое; лицо Распутина исказилось гримасой — и вдруг шило знакомого взгляда вонзилось в Феликса.

От ужаса у князя перехватило дыхание. Он хотел крикнуть — из распахнутого рта не вырвался даже писк. Феликс упёрся руками в грудь мужика, но тот окровавленными пальцами сгрёб оба погона и держал намертво — не вырвешься.

Распутин шевельнул губами и захрипел, роняя на бутафорскую бороду клочья пены:

— Фе… Феликс… милой… встать помоги… Феликс… худо мне… очень…

К запаху его смерти, смешанному из крови и «Вербены», добавился тяжёлый винный дух. Взгляд Распутина держал ещё крепче, чем руки. Почти теряя сознание, князь рванулся, что было сил, и упал навзничь. Мундир затрещал, один погон остался в мужичьем кулаке.

От удара об пол дыхание к Феликсу неожиданно вернулось. Он глубоко вдохнул и закричал, завыл на одной высокой ноте.

Распутин — простреленный, истекающий кровью, уже почти труп — шарил руками по гранитным плитам, ища опоры. И всё выплёвывал вместе с пеной имя князя.

Феликс так и не смог встать — колени подгибались. На четвереньках, ломая ногти о ступени лестницы и не переставая выть, он стал карабкаться наверх.

Глава XXXI. Точка

Выйдя из уборной, Пуришкевич заглянул в кабинет.

Там на диване, расстегнув верхние пуговицы мундира и сбросив сапоги, полулежал Дмитрий Павлович с папиросой в зубах. Он бездумно перелистывал страницы иллюстрированного журнала для мужчин и мычал под нос шаляпинскую арию из «Бориса Годунова»:

Напрасно мне кудесники сулят
дни долгие, дни власти безмятежной.
Ни жизнь, ни власть, ни славы обольщенья,
ни клики толпы меня не веселят!

— Читаете? — брякнул Пуришкевич. Ему хотелось общаться.

Великий князь замолчал, поднял взгляд от полуобнажённой танцовщицы, выразительно посмотрел

на депутата — и снова уткнулся в привлекательную картинку…

…но депутат сейчас не мог молчать, это было выше его сил. На глаза кстати попался граммофон.

— Музыка кончилась. А сказано было, чтобы играла… Я заведу?

Дмитрий Павлович захлопнул журнал.

— Владимир Митрофанович, — сказал он подчёркнуто мягко, — если я сегодня услышу «Янки Дудл» ещё хоть раз… Если я вообще услышу ещё хоть один звук из этого граммофона — я его расстреляю. И заодно того, кто к нему прикоснётся.

Для убедительности великий князь похлопал по кобуре. В этот момент послышалось нечто, напоминавшее музыку так же мало, как и человеческий голос. Инфернальный вой тянулся и нарастал, продирая морозом по коже.

Дмитрий Павлович и Пуришкевич недоумённо переглянулись.

— Вы… слышите? — зачем-то спросил побледневший депутат.

Вой оборвался, и через мгновение в кабинет влетел Феликс. Вид его был страшен. Всегда идеальная причёска всклокочена, глаза безумные. На мундире — пятна крови, один погон вырван с мясом, другой сидит набекрень…

— Где? — закричал князь, протягивая руки к Пуришкевичу. — Где?

Тот не понял:

— Где — что?

— Ваш! Пистолет! Он жив! Хотел меня убить! Что вы стоите?!

Дмитрий Павлович выругался, сел на диване и стал натягивать сапоги.

Пуришкевич пытался вытащить «сэвидж» из кармана. Руки дрожали, пистолет за что-то зацепился, а

Феликс толкал депутата к лестнице.

— Там, там! Стреляйте! — повторял он.

Держа с трудом добытый пистолет в вытянутой руке, Пуришкевич осторожно стал спускаться по лестнице — и отпрянул назад, ударив спиной князя.

— Он убежал! — сказал депутат, обернувшись к Феликсу и Дмитрию Павловичу.

— Убежал? — Юсупов захохотал и заплакал одновременно. — Убежал!

— Что значит — убежал? — спросил великий князь. Он уже справился с сапогами и вскочил на ноги. — Как это — убежал? Он же… труп!

Перед глазами Пуришкевича стояла только что виденная картина: мужик в окровавленной рубашке, с хрипом карабкающийся по ступеням и вываливающийся в темноту дверного проёма, во двор.

— Я не знаю как, — беспомощно лепетал депутат. — Доктор дверь не запер…

Действительно, уходя на встречу с Рейнером через потайную дверь, Келл не стал её запирать — зачем? Распутин умирал, к тому же его караулил Пуришкевич. Но депутата сменил князь. Чудом оживший мужик обратил Феликса в бегство и теперь пытался спастись единственным известным ему путём. На сколько могло ещё хватить его сил — неизвестно.

Из двора вели трое ворот, и средние по-прежнему оставались открытыми, чтобы выпустить автомобиль. Стоит Распутину вырваться на набережную — он спасён, и его спасение означает гибель для заговорщиков. Через Мойку — полицейский участок, в соседнем переулке — Прачечном или Максимилиановском — наверняка слоняется городовой; вдобавок рядом — особняки, жилые дома и казармы.

Всё это молнией пронеслось в голове Дмитрия Павловича. Путь из кабинета по лестнице и дальше во двор — прямой и короткий, путь через парадный

подъезд по набережной к воротам — кружный и длинный. Пуришкевич напуган и немолод…

— Ступайте вниз, — скомандовал депутату великий князь. — Главное не дать Гришке уйти. Я зайду с другой стороны и встречу его у ворот!

Последние слова он бросил уже на бегу из гарсоньерки в переднюю.

Пуришкевич помешкал ещё мгновение и стал спускаться по лестнице к двери, ведущей во двор. На каждом шагу он проклинал всех и вся: двуличного доктора, который втравил его в эту авантюру; Юсупова, который не смог с первого раза пристрелить Распутина и теперь снова упустил; себя, отказавшегося от желания добить мужика ещё там, в подвале…

Свет из дворцовых окон лишь немного рассеивал ночную мглу, но на фоне снега Пуришкевич сразу увидал Распутина. Тот по-утиному переваливался, скорчившись и зажимая обеими руками рану на животе. Его мотало из стороны в сторону; волочащимися ногами мужик загребал снег, падал, вставал — и зигзагами медленно ковылял в сторону набережной.

Ещё на лестнице Пуришкевич перевёл флажок предохранителя своего «сэвиджа» в боевое положение и дослал в ствол патрон, передёрнув затворную раму. До Распутина было меньше двадцати шагов. Пуришкевич вскинул пистолет и спустил курок.

Полуденный пушечный выстрел на Петропавловке — ничто по сравнению с выстрелом ночью во дворе. Грохот хлестнул по ушам. Дребезгом откликнулись оконные стёкла. В саду подняли картавый грай разбуженные вороны, откуда-то истеричным лаем ответила собака. Но главное — пуля срикошетила от стены: Пуришкевич промахнулся. И тут же, забыв про всё, чему научился в тире, опять судорожно рванул спусковой крючок…

…а Распутин уже был совсем близко к воротам. Пуришкевич мог догнать его и оглушить ударом

тяжёлого пистолета или пристрелить на месте, только ноги словно приросли к земле. На лысине леденела испарина, а в раскалённом мозгу бились обрывки мыслей. Где Дмитрий Павлович? Где Юсупов? Где все? Почему бросили его одного?

Депутат зарычал и вцепился зубами в кисть левой руки. Пронзительная боль и солёный вкус крови привели его в чувство. Даже азарт какой-то появился. Князь говорил: интересное ощущение, когда стреляешь в человека. Наверное, он хотел сказать — когда попадаешь! Двумя руками Пуришкевич снова поднял пистолет, задержал дыхание, прицелился и выстрелил — раз, другой…

Дмитрий Павлович пролетел по дворцу до передней, на бегу окликнул Сухотина и выскочил из парадного подъезда. Ещё не утих звон оброненного поручиком бокала, ещё не замерли на каменном полу брызги хрусталя, а Сухотин уже мчался следом за великим князем по набережной вдоль садовой решётки…

…через которую Дмитрий Павлович увидал Распутина — во дворе маячила приметная васильковая рубаха. Два выстрела раскололи тишину, и великий князь в сердцах выругался. Пуришкевич и впрямь конченый идиот! Он должен был догнать полуживого Гришку и сшибить с ног, как делают на охоте меделянские собаки, а не полошить стрельбой всю округу! На бегу Дмитрий Павлович расстегнул кобуру — всё равно терять уже нечего…

…а когда раздались новые выстрелы, великий князь понял, что не может остановиться. Скользкие подмётки кавалерийских сапог выносили его по льду тротуара прямо на линию огня. Недоставало только схватить пулю от Пуришкевича…

…которого раззадорил вкус крови: теперь оба выстрела достигли цели. Распутин хрипло вскрикнул и дёрнулся. Девятимиллиметровые пули с такого

расстояния бьют наповал, но калибр у «сэвиджа» — семь шестьдесят пять, как у княжеского «браунинга», и мужик продолжал держаться на ногах.

Лишь чудом Пуришкевич не спустил курок снова — господь миловал. Потому что в створе ворот, скользя по льду, словно уличный мальчишка, показался Дмитрий Павлович с револьвером в руке. И последние шаги в своей жизни Распутин сделал навстречу великому князю.

Калибр у «нагана» — всего семь шестьдесят две. Но пуля тяжела, её свинцово-сурьмяной сердечник упрятан в мельхиор, а вместо скруглённой вершинки — плоская. Другие пули рвут мишень; пуля из «нагана» оставляет в ней аккуратную круглую дырочку вроде большой точки.

Дмитрий Павлович стрелял почти в упор. Кожу вокруг аккуратной дырочки во лбу Распутина обметало пороховой гарью.

Глава XXXII. Новая встреча

Маяковский чувствовал досаду. Проделка с автомобилем казалась ему подвигом, достойным восхищения. Но Лиля уже забыла, как была потрясена в первые минуты, и стала вести себя так, словно прогулка в императорском лимузине — дело для неё привычное.

Замёрзший город словно вымер. Они покатались по Коломне, сделали круг на площади у Николы Чудотворца и около Покровской церкви, по Забалканскому проспекту доехали до Московского шоссе, потом вернулись к особнякам Фонтанки…

— Теперь на Мойку, — велела Лиля, и Маяковский покорно кивнул.

Обогнув Мариинский театр, на углу Крюкова канала с Офицерской он упёрся взглядом в мрачное здание

отвратительного вида. Хотя какой ещё может быть городская тюрьма, тем более в такую холодину…

— Ты слышал? Как будто стреляют, — сказала Лиля, когда лимузин вывернул на набережную Мойки. Двигатель работал едва слышно, и Маяковскому тоже почудились выстрелы. Ерунда какая-то. Кто здесь может стрелять, а главное — зачем? Но всё же лучше побыстрее проскочить по набережной, и для форсу — мимо Мариинского дворца, где собирался Государственный совет. Дальше по Гороховой они приедут к Царскосельскому вокзалу — и Маяковский вернёт лимузин в гараж. Он придавил акселератор. Хватит, накатались, пора и честь знать!

С пулей в голове Распутин отшатнулся, переступил с ноги на ногу и рухнул в сугроб за пару шагов от Дмитрия Павловича и подоспевшего Сухотина. Когда Пуришкевич трусцой приблизился к ним из глубины двора, великий князь поинтересовался:

— Решили перебудить весь город? И меня заодно укокошить?

Сухотин силился понять, что происходит. Стрельба, труп в снегу… Со стороны Прачечного переулка по набережной к воротам бежали двое. Поручик пригляделся и сказал Пуришкевичу:

— Там доктор ваш и с ним ещё кто-то…

Скоро Келл и Рейнер уже стояли возле тела Распутина, переводя дух.

— Вы продолжаете удивлять меня, джентльмены. — Британский полковник с трудом сохранял спокойствие. — Это кто же, скажите на милость, додумался среди ночи?..

Пуришкевич виновато вертел в руках пистолет. По его виду Келл всё понял.

— Помнится, когда-то давно мы поспорили об оружии, — сказал он великому князю. — Полагаю, теперь спор окончен.

Дмитрий Павлович убрал револьвер в кобуру и нервно усмехнулся.

— Плохо, что вы тоже стреляли, — продолжал британец. — Но хорошо, что у вас револьвер: по крайней мере, следов не оставили. А вот Владимиру Митрофановичу придётся собрать все гильзы.

— Не успеет, — мотнул головой Рейнер, и он был прав. Городовой, которого они с Келлом издалека видели в Максимилиановском переулке, наверняка тоже слышал стрельбу. Конечно, бегать он не станет, но пойдёт на звук, осматривая по дороге дома, и минут через десять, или пятнадцать, или через полчаса всё равно доберётся до Юсуповского дворца. А может статься, первыми полюбопытствуют из соседнего полицейского участка…

— Гильзы не так важны. Есть у меня мысль, если позволите, — сказал лейтенант. — Только тело надо убрать, и ещё нужна дворовая собака. Немедленно. Где Феликс?

Когда Дмитрий Павлович с Пуришкевичем выбежали из кабинета, Юсупов остался один. Перед глазами стоял змеиный взгляд Распутина, падающая на бороду пена, окровавленный кулак с зажатым в нём погоном… Ещё мутило от мешанины запахов крови, «Вербены» и винного перегара.

Феликс вытер слёзы. Взгляд его наткнулся на лежащие в углу небольшие гантели, привезённые из Англии, с которыми он порой делал гимнастику. Обрезиненные чугунные болванки вызвали в памяти слова Келла о том, что Оскар убил бы Распутина кастетом. Феликс поднял гантель. Два фунта удобно легли в руку и сообщили ей приятную тяжесть. Если бы эта штука подвернулась ему там, в подвале, — всё было бы кончено разом!

С гантелью в кулаке князь бросился тем же путём, что и Дмитрий Павлович. Миновав пустую переднюю и

распахнув парадную дверь, Феликс успел сделать лишь несколько шагов, поскользнулся и вылетел на мостовую — прямо перед проезжавшим автомобилем…

…который взвизгнул тормозами и вильнул в сторону. Его понесло по обледенелой мостовой, а потом развернуло; лимузин уткнулся в поребрик и замер. Двигатель заглох.

— Лиличка, Лиличка! Ты цела? — спрашивал Маяковский, а перепуганная Лиля только скулила, баюкая ушибленную руку. — Миленькая моя, прости, прости!

Володя закашлялся. Грудь болела от удара об руль. Надо посмотреть, жив ли тот, кто бросился под колёса и лежал теперь в снегу…

Чехарда событий перепутала мысли в контуженной голове Сухотина. Каких-то несколько часов назад, сопровождая Дмитрия Павловича с великой княжной, поручик приехал во дворец. Посмотрел на Пуришкевича, о котором давеча слыхал солёный анекдотец. Изловчился и взял автограф у самой Веры Каралли — то-то в полку завидовать будут! Поболтал с иностранным доктором и угощался вином в передней, ожидая распоряжений, когда что-то изменилось. Рассерженные дамы уехали, а Дмитрий Павлович вдруг бросился бежать и вместе с Пуришкевичем расстрелял во дворе человека. Великий князь с депутатом Государственной думы изрешетили пулями безоружного — и кого?! Когда Сухотин признал в убитом Распутина, он растерялся.

— Мы спасаем сейчас государя и Россию, — сказал поручику Дмитрий Павлович. — Поверьте, так надо. У нас не оставалось другого выхода. Позже я всё вам объясню. Приказать не могу, но прошу — поверьте. Поверьте и помогите.

Простые слова царского кузена звучали убедительно. К тому же гвардии поручик умел подчиняться и смерть

видел не впервой. Сухотин стал помогать Рейнеру: подхватив тело Распутина за руки, они поволокли его обратно в подвал. Впереди семенил Пуришкевич…

…а Дмитрий Павлович с Келлом задержались во дворе, чтобы закрыть и запереть ворота, но тут набережная осветилась автомобильными фарами, в тишине кто-то вскрикнул, послышался визг покрышек и металлический скрежет. Великий князь выглянул из ворот наружу.

— Что за чёрт…

Он не поверил собственным глазам, увидав автомобиль, на котором ездил утром. Лимузину с императорскими флажками полагалось стоять в гараже, и тем не менее он только что врезался в поребрик против дворца. Рядом на заснеженной мостовой неподвижно лежал человек.

— Только этого не хватало, — сквозь зубы процедил Келл. — Ещё один подарок полиции…

— Запирайте ворота, — сказал Дмитрий Павлович, снова расстёгивая кобуру. — Я погляжу.

Увидев Маяковского, великий князь опешил.

— Вы?! — Он опустил револьвер. — Вон из автомобиля, живо!

Лежавший человек со стоном сел. Дмитрий Павлович обернулся, узнал Юсупова и помог ему подняться.

— Решительно не везёт мне сегодня. — Феликс морщился, отряхивая снег с мундира. — Кажется, я повредил ногу.

— Спасибо скажи, что живой, — посоветовал Дмитрий Павлович и снова гаркнул: — Маяковский! Ко мне, бегом!

— Я здесь одна не останусь! — пискнула не замеченная великим князем Лиля, и Володя помог ей выбраться из лимузина.

Юсупов подобрал оброненную гантель и подкинул на ладони.

— Да никак это господин поэт?

— Да никак он с девкой?! — добавил Дмитрий Павлович. Теперь его изумила уже солдатская наглость: мало того, что Маяковский катается ночью на царском автомобиле, так ещё и пигалицу какую-то с собой таскает! Великий князь погнал пленников впереди себя к парадому входу, а сам поддерживал хромавшего Феликса.

В передней им навстречу вышли Келл, Пуришкевич и Сухотин.

— Господин поручик, — Дмитрий Павлович больно подтолкнул Маяковского стволом револьвера в спину, — его я поручаю вам. Если что — не церемоньтесь.

Лиля снизу вверх посмотрела на великого князя и храбро спросила:

— Что всё это значит?

— Молчать! — вдруг рявкнул Пуришкевич.

— Владимир Митрофанович, — урезонил его Келл, — постарайтесь держать себя в руках. Мы все нервничаем… Леди — и джентльмены, идёмте в гарсоньерку!

В кабинете Феликс наконец-то встретил Освальда Рейнера, который уклонился от объятий, в недоумении посмотрев на князя:

— Бог мой, да тебя не узнать! Что случилось, дорогой?

Выглядел Юсупов и впрямь плачевно: волосы всклокочены, перепачканный мундир в пятнах растаявшего снега, портупея сбилась, один погон выдран, императорский вензель на втором измазан кровью, а в ободранном о мостовую кулаке зажата гантель.

— Прошу вас, — Келл обратился к Феликсу, — переоденьтесь в домашнее. Хотя бы накиньте халат. Полиция будет здесь с минуты на минуту. И объясните Освальду, где у вас держат собак.

Юсупов с Рейнером вышли. Пуришкевич налил вина в бокал, из которого пил ещё с баронессой, и осушил залпом. Келл завёл граммофон: по кабинету снова разнёсся режущий слух мотивчик *Yankee Doodle*. Дмитрий Павлович закатил глаза.

— Пожалуй, надо напоследок воспользоваться любезностью вашего буфетчика, — сказал ему британец. — Пусть обслужит Владимира Митрофановича… и новых гостей, а после отпустите его с миром, он будет лишним.

Шубку и солдатскую шинель Сухотин куда-то унёс, а Лилю и Маяковского усадили в кресла по разные стороны комнаты. Обоим казалось, что это происходило не с ними: весёлое застолье на улице Жуковского, ссора из-за Распутина, побег на Надеждинскую, долгожданная исступлённая близость, похищение царского лимузина, катание по ночному городу, авария, странный арест — столько событий всего за несколько часов! А теперь они оказались в Юсуповском дворце, в более чем странной компании великого князя, мрачного гвардейского поручика, двух иностранцев и депутата Государственной думы…

— Дать вам йоду? — спросил его Маяковский.

Пуришкевич не понял:

— Что?

— Йоду вам дать? У вас рука в крови, надо прижечь.

Руку, прокушенную перед стрельбой в Распутина, депутат наскоро замотал носовым платком; тот сполз, и рана продолжала кровоточить. Маяковский вынул из кармана небольшой флакон. Келл с интересом смотрел на него.

— Вы держите при себе йод? Странные бывают привычки у молодых людей.

— Я перевяжу, — сказала Лиля. — Кто это вас так?

Глава XXXIII. Собачья смерть

Когда постовой городовой Власюк позвонил у парадного входа во дворец, Вернон Келл отправил к нему Пуришкевича и Сухотина. Британский полковник посчитал, что даже в роли врача-иностранца он будет лишним. Великому князю выступать привратником тем более не с руки. Феликс ушёл с Освальдом и ещё не вернулся…

Поручик впустил городового в переднюю.

— Здравия желаю, ваше благородие, — козырнул Власюк. — Добрая ночь.

— Добрая… Чем обязаны? — Сухотин обычно не блистал красноречием, и сейчас это могло пригодиться: каждое лишнее слово грозило гибелью всем заговорщикам.

— Стреляли тут где-то, — сообщил городовой, сдвигая башлык с лохматой чёрной папахи. — А наше дело известное: проверить и доложить.

Сухотин с деланым безразличием пожал плечами:

— Вот и доложи — мол, всё спокойно. Почудилось, и кругом полный порядок.

— Да как же почудилось, ваше благородие, — так же ровно и неторопливо ответил Власюк, — когда грохнуло разá три али четыре? Нешто мы глухие? В Максимилиановском и Прачечном пусто. Я на Морскую. За Почтамтским мостиком Ефимова встретил, там Ефимов постовым, — нет, говорит, отсюда слышно было. Вроде с девяносто второго номера. А по набережной ни огонька, только у вас, в девяносто четвёртом. Дозвольте осмотреть, ваше благородие…

Городовой Власюк, отставной унтер-офицер с седеющими украинскими усами, в княжеские дворцы раньше не захаживал. Любопытно ему было поглазеть,

как Юсуповы живут. В народе-то болтали всякое… Случая такого упускать никак нельзя, особливо если пальба среди ночи. Начальство всё одно спросит — в участке, поди, выстрелы тоже слыхали. Опять же, в тепле лучше, чем на морозе.

Власюка интересовало всё вокруг. Роскошь, заметная даже здесь, в передней. Едва слышная музыка. Коренастый поручик, мрачно стоявший у него на пути, и маленький лысый господин, который допивал явно не первый бокал вина.

— Ты знаешь, кто я? — лысый потешно приосанился.

Унтер прищурил глаз, припоминая.

— Извиняйте, коли что не так. Личность ваша знакомая, но вот как звать-величать — убей меня бог, не помню. Оплошал, простите великодушно.

— Я — депутат Государственной думы Владимир Митрофанович Пуришкевич! — торжественно заявил человечек.

Так и есть! Конечно, видел Власюк в газетах его портрет… А Пуришкевич продолжал торжественно вещать:

— Послушай меня, служивый! Послушай и ответь: любишь ли ты батюшку царя и матушку Россию? Хочешь ли ты победы русскому оружию над немцем?

— Так точно, ваше превосходительство! — в некотором недоумении откликнулся городовой. — Царя и отечество люблю, конечно. И победы над немцем желаю, как не желать…

Странно вёл себя Пуришкевич, и Сухотин насторожился. Унтера этого гнать отсюда надо, а не разговоры с ним разговаривать. Депутатом же овладел неудержимый порыв пьяной патетики.

— А коли так, — заявил он, подошёл к Власюку и дружески положил руку ему на плечо, — знай, братец, что злейший враг царя и пособник немцев — это Гришка Распутин. Он царицу в руки забрал и через неё

расправляется с Россией. Только нет больше Гришки! — Голос Пуришкевича возвысился и дрогнул. — Нет Гришки! Убили его, собаку! Это я по нём стрелял. А стреляю я, братец, будьте-нате! Так и знай: кончился Распутин! Собаке собачья смерть!

— Владимир Митрофанович, верно, шутит! — послышался голос князя: в переднюю вышел Феликс. Поверх пострадавшего мундира он по совету Келла надел парчовый домашний халат, под которым криво топорщился единственный погон; успел немного причесаться и продолжал поигрывать гантелей, обращаясь к Власюку. — Я князь Юсупов. Чего тебе?

— Простите великодушно, ваше сиятельство, — городовой снова козырнул. — Стрельба где-то здесь была. Обязан осмотреть.

— Обязан, так смотри.

Власюк и остальные отправились во двор. К ним присоединился великий князь, а Келл остался с Лилей и Маяковским. Он продемонстрировал парочке «браунинг», отнятый у Юсупова, и дал совет:

— Ведите себя спокойно. Мы здесь все друзья и весело справляем новоселье.

Императорский лимузин стоял в глубине двора — Дмитрий Павлович успел убрать его с набережной, а в окровавленном сугробе перед средними воротами на месте тела Распутина лежала собака. Юсупов отвёл Рейнера к вольерам, и лейтенант пристрелил крупного дворового пса — по-тихому, через прихваченную подушку.

Пуришкевич, сам того не желая, подыграл замыслу британцев, когда признался в убийстве собаки. Если полицейским придёт в голову рыться в снегу — они найдут стреляные гильзы от его «саважа». Что поделать, крепко выпил Владимир Митрофанович… Дмитрий Павлович съязвил:

— Вот, служивый, сам погляди, какие жестокие забавы у избранников народа!

Городовой млел от того, что с ним разговаривает великий князь, и на забрызганный кровью снег смотрел вполглаза. Эка невидаль — собака мёртвая! Пуришкевич же сначала хотел обидеться, но внезапно проявил сообразительность.

— Хороша забава, когда эта псина меня за руку тяпнула! — пожаловался он и продемонстрировал Власюку перевязанную руку: на белой ткани платка проступило пятно крови.

Владимиру Митрофановичу хотелось ещё похвастать, что он прекрасно знает районного полицмейстера, полковника Григорьева, человека порядочного и хорошей семьи. Хотелось пообещать, что непременно замолвит перед полковником словечко за городового — бдительного служаку, который пришёлся ему по душе… Но Сухотин оттёр депутата в сторону, мешая болтать, а Юсупов притворно взохнул: придётся теперь зверя в саду хоронить.

— Понял теперь, братец, о какой собаке толковал тебе Владимир Митрофанович? — напутствовал он городового на прощание. — Ну, то-то! Ступай с богом!

Глава XXXIV. Хороший свидетель — мёртвый свидетель

Городового выпустили через ворота. Обаяние родственников императора сыграло свою роль; их объяснения и труп собаки вполне удовлетворили Власюка. Не осталось причин задерживаться и подробнее осматривать двор с домом. Опять же, скоро дежурству конец. Пока дойдёшь до участка, пока доложишь о стрельбе — уже и сменяться пора.

Со двора озябшие заговорщики отправились в подвал.

— Какая муха вас укусила? — выговаривал Пуришкевичу князь. — Что за чушь вы несли? Любишь ли ты царя! — передразнил он. — Я убил Распутина!

— Под монастырь нас решили подвести? — вторил Дмитрий Павлович.

Пуришкевич пытался выкрутиться:

— Напротив, господа, я ведь не знал про собаку! А этот унтер попался — старый служака, крестьянская косточка. Я хорошо таких знаю — не купишь, не уговоришь. И не уйдёт, пока своего не добьётся. Не пускать — подозрительно, а пустить тоже нельзя — двор кровью залит. Вот я и решил принять всю вину на себя.

— Скорее, решили присвоить все лавры, — хмыкнул великий князь. — Я убил Распутина, я спас Россию!.. Отличный способ прославиться, ты не находишь, Феликс?

Распутин лежал на полу при входе в подвал. Сквозь синюю штору, которую Рейнер набросил на покойника, читались торчащая борода и длинный нос. Дмитрий Павлович отправил Сухотина в кабинет — сменить Келла, и британец присоединился к остальным.

Когда он спустился, мужчины уже расселись и курили, невзначай бросая взляды на тело. Келл остался стоять.

— Что ж, джентльмены, — сказал он, — пора подвести кое-какие итоги. Распутин устранён. Нас всех это устраивает. Значит, в некотором смысле операцию можно считать успешной. Однако дело не кончено, более того, возникли серьёзные проблемы. Сперва постарался князь, затем Владимир Митрофанович устроил канонаду… Скоро утро, а мы ещё не избавились от тела. И самое главное — у нас есть два свидетеля.

— Они ничего не видели, — пожал плечами Пуришкевич.

— Лимузин я верну в гараж, — добавил великий князь, — Маяковского под трибунал, а девку…

Британец перебил:

— Они видели достаточно. Их нельзя отпускать ни в коем случае.

— Вы сегодня это уже говорили, — напомнил Юсупов и кивнул на тело под синей шторой. — Про Распутина. Его тоже нельзя было отпускать. Правильно ли я вас понимаю?

Келл задумчиво потеребил щёточку усов и сказал:

— Позвольте, я кое-что объясню. Завтра… вернее, уже сегодня Распутина начнут искать. Кто-то знал, что он собирался на встречу с князем. О чём-то проговорятся ваши дамы — великая княжна, баронесса… Словом, поползут слухи. И этот молодой человек — Маяковский, да? — наверняка тоже молчать не станет. Он ведь поэт?

— Поэт, — мрачно подтвердил Дмитрий Павлович, — весьма способный и уже довольно популярный.

— Вот именно, — подхватил британец. — Вы хотите отдать его под трибунал. Хорошо. Только на первом же допросе он выложит всё, что было ночью. Как ему под колёса бросился князь, как вы бегали с револьвером… Ещё наврёт с три короба, если хороший поэт. Его подружка добавит подробностей, и наша версия про весёлую вечеринку и про пса, которого пристрелил Владимир Митрофанович, благополучно развалится. Не надо недооценивать полицию, джентльмены! Нашу компанию возьмут в оборот, Маяковский станет героем, который чудом избегнул смерти, а мы превратимся в злодеев и участников международного заговора.

Полковник тонко напомнил о государственной измене. Пуришкевич занервничал, поднялся с кресла и раздражённо сказал:

— Послушайте, хватит ходить вокруг да около! Вы снова испытываете наше терпение. К чему столько

слов? У вас наверняка уже готово решение — так сообщите его! Что мы должны делать?

— Вежливо пригласить молодых людей сюда, — с готовностью ответил Келл. — А здесь мы превратим их из свидетелей — в соучастников.

Глава XXXV. Сладкий миг воспоминаний

Буфетчик Житков перед уходом заново сервировал стол в кабинете. Келл позволил пленникам отведать вина под разнообразные закуски — канапе, тарталетки, фрукты... Лилю и Маяковского уговаривать не пришлось.

Теперь их караулил молчаливый поручик-преображенец. Он отвернулся в сторону и, похоже, дремал в кресле. У Маяковского мелькнула мысль, что этого поручика он уже где-то видел.

Вино оказалось изумительным — крепкое, в меру сладкое, с сильным букетом. Уже не белое и ещё не красное, тёмно-янтарного оттенка; настоящая марсала — жемчужина Сицилии. Ею наслаждаются и ценители мадеры, и те, кто предпочитают портвейн, а многолетнюю марсалу знатоки сравнивают с выдержанным хересом. Такой жгучий смолистый вкус встречался Маяковскому лишь однажды, и он стал рассказывать об этом Лиле, чтобы развлечь — и отогнать тревожные мысли.

Было дело, говорил Маяковский, жил на юге России, в Крыму, такой человек — Владимир Сидоров. Успешный коммерсант, вида быковатого, но простой души. Так и жил бы себе спокойно, добра наживал, но к тридцати годам возжелал литературной славы. Начал тогда Володя Сидоров переписываться с Игорем-Северянином, съездил в Петербург, а вскоре взял

псевдоним — Вадим Баян — и объявил себя эго-футуристом. Понятное дело, стал сочинять стихи, перенасыщенные эротикой будуаров и отдельных кабинетов. На свои деньги тиснул в издательстве Вольфа книжку «Лирический поток. Ларионетты и баркаролы»…

— Представляешь, Лилик? Тринадцатый год, декабрь, как сейчас. Мы с Бурлюком только-только со спектаклями разделались. Кстати, в двух шагах отсюда играли, на Офицерской. Шум, тарарам, фурор, скандал! Трагедию мою просвистели до дырок. Ну, думаем, столицу потрясли, а дальше что? Ровно в этот момент Северянин приводит Баяна, и тот предлагает нам гастроли в Крыму. Причём не просто гастроли, а Олимпиаду российских футуристов — он её, оказывается, ещё во время Олимпиады в Стокгольме придумал! Контракт — загляденье, деньжищи знатные. А я до этого неплохо в Харькове погрохотал, ну, и в другие места уже наскакивал. Хорошее дело! Рванули в Крым…

В опереточном зале, который годом раньше Бурлюк присмотрел в «Луна-парке» на Офицерской, они устроили акцию «Первых в мире футуристов театра» из нескольких премьер. Павел Филонов декорации нарисовал, а Володя срежиссировал свою трагедию. Вообще-то написал он всего один акт. Братья-футуристы настояли, чтобы не ленился: куцая вышла вещичка, минут на пятнадцать от силы. Побьёт публика за такой спектакль и деньги назад потребует. Володя поднатужился и написал ещё.

А вот с названием мучился, мучился… «Железная дорога»? «Восстание вещей»? Время поджимало, плюнул — и текст в цензуру отдал с одним только именем на титульном листе. Цензоры кое-что порезали, но остальное утвердили. Притом оказалось, что имя приняли за название. Ошибка обернулась нежданной

помощью: так и сыграли трагедию под названием «Владимир Маяковский». Глаз у Бурлюка был один, но будущее он видел получше многих: на сцене Володя в самом деле чувствовал себя недурно.

— …и покатились: Симферополь, Севастополь, Керчь, — продолжал Маяковский с набитым ртом. — Я, Бурлюк, сам Баян… Северянин, конечно… Ванька Игнатьев с нами не поехал, остался в Питере жениться. Его стихи на концертах Давид читал. А потом телеграмма пришла, что зарезался Ваня после свадьбы. На второй день сам себя бритвой… бр-р-р-р… Кровищи, наверное, было! Кровь не могу видеть…

Сухотин приоткрыл глаз и внимательно взглянул на Маяковского.

— И что, хорошо принимали? — спросила Лиля, запив глотком вина тарталетку с мясом краба.

— Не то слово! Игорёша написал тогда:

Живём совсем как борова:
Едим весь день с утра до ночи,
По горло сыты, сыты очень;
Вокруг съедобные слова:
«Ещё котлеток пять? Ветчинки?
Пол-окорочка?..»

— Слюнки текут, — сказала Лиля и, быстро оглянувшись на поручика, цапнула с тарелки канапе с чёрной икрой.

— Ещё бы, — согласился Маяковский. — Баян ходил довольный, толстый такой, во фраке с голубой лентой вокруг жилета. Я себе смокинг выправил, розовый с отворотами чёрными атласными. Трость купил… Говорю же, полный ажур с деньгами. Эх, было время! Северянин чего-то миндальничал, а я марсалой просто упивался. Шампанское велел только со льда подавать,

коньяк пил, икрой объедался — чего там, когда Баян платит!

— Так он что, из своего кошелька?

— А я не сказал? Он, чудило провинциальный… меценатище… Гастроли — штука ненадёжная. Поубавили Баяну тысяч несколько, на том и поругались. Вы, говорит, господа, что-то очень расточительно себя ведёте. Я ему в ответ и рубанул: всякий труд, милсдарь, должен быть оплачен. А разве не труд, говорю, тянуть за уши в литературу людей бездарных? Вы же, голубчик, скажем открыто, талантом не сияете, а на сцену лезете читать вместе с нами… У нас, милсдарь, не дружба, а сделка! И потому одно из двух: или вы, осознав, отбросьте вашу мелкобуржуазную жадность, или убирайтесь ко всем чертям!

— Убрался?

— Ага. Развалилась наша компашка. Мы с Бурлюком откочевали в Одессу, а Северянин с Баяном новую программу затеяли… Там же ещё Сонка была — не скучно…

— Шамардина? — нахмурилась Лиля, и впервые Володя подумал: уж не ревнует ли? Точно, ревнует! Но к кому? Любовь с Сонкой Шамардиной случилась ещё до знакомства с Лилей и осталась далеко в прошлом, а поди ж ты…

— Лилик, — сказал, потягиваясь, осовевший от вина Маяковский, — скоро кончится эта тухлятина. Ждать недолго осталось, точно. Мы с Хлебниковым спорили: я говорил — в шестнадцатом, он — в семнадцатом. Похоже, его взяла. А только один чёрт — скоро. Ох, и заживём тогда! Марсала, икра, смокинги, кураж — всё по-прежнему… Какое! В сто раз веселей будет!

— Однако и нравы у вас, — заговорил вдруг позабытый Сухотин. — Я, признаться, думал, что поэты как-то иначе живут. Ночами не спят, мучаются… Музы там, вдохновение, творчество… А оно, значит, вот как!

Поручик встал, и Маяковский нехотя поднялся следом. Выпить ему вроде как разрешили, но сидеть солдату точно нельзя, когда офицер стоит…

Сухотин же встал потому, что услыхал на лестнице шаги.

Из зеркальной комнаты вышел Рейнер.

— Вас приглашают вниз, — сказал он. Увидал кисть винограда у Лили в руках и с улыбкой добавил: — Не стесняйтесь, возьмите с собой.

Глава XXXVI. Повязанные кровью

Маяковский ждал развязки: приключение затягивалось. Хоть кому расскажи — не поверят, что полночи провёл в княжеском дворце, где прямо в кабинете из белого мрамора сделан бассейн. Не поверят, что их с Лилей угощали икрой и редким вином. А если добавить ещё и то, что он увёл из гаража личный лимузин императора, объехал полгорода, сшиб князя Юсупова и под угрозой револьвера был задержан великим князем Дмитрием Павловичем — не поверят тем более… ну и пусть, зато рассказ выйдет знатный!

Жгучая марсала разогрела, истомой разлилась по телу. Выкрутимся, подумал Маяковский. Ничего они нам не сделают.

— Помогите мне, — распорядился Рейнер, когда они спустились в подвал.

Шедший последним Сухотин подтолкнул Маяковского к стене, возле которой холмилась плотная синяя ткань. Рядом стоял иностранец, который первым стерёг их с Лилей. Остальные — великий князь Дмитрий Павлович, Пуришкевич и князь Юсупов — молча курили в глубине комнаты.

Рейнер приподнял край лежавшей на полу ткани — и вдруг резко, словно фокусник, сдёрнул её в сторону.

Лиля не потеряла сознания. Только широко распахнула глаза — лобик её сморщился, как стиральная доска, до самых корней волос, — шагнула в сторону и опустилась в кресло.

Хуже пришлось Маяковскому. Глядя на распростёртого окровавленного бородача, он почувствовал, как ком подкатывает к горлу. Володю

бросило в пот, колени обмякли, перед глазами всё поплыло…

— Ну-ну-ну, — сказал Келл, — будьте молодцом, держитесь! Дама смотрит.

— Помогите его завернуть, — повторил Рейнер. — Пол зальёт кровью, не ототрёшь потом.

Сухотин начал аккуратно расстилать на полу сложенную вдвое ткань, оказавшуюся шторой с нашитыми вдоль кромки деревянными кольцами.

— Ну? — Рейнер нетерпеливо глянул на парализованного ужасом Маяковского.

Тот, как в тумане, взял труп за ноги. Британец подхватил под плечи и попытался разогнуться. Рука не удержала скользкий шёлк рубашки, мертвец вывернулся и брякнулся затылком о гранитную плиту.

Снова накатила тошнота, и Маяковского словно обожгло собственными строками, совсем недавно брошенными со сцены Дмитрию Павловичу и Юсупову.

Выволакивайте забившихся под Евангелие Толстых!
За ногу худую!
По камню бородой!

Господи, да разве же мог он себе представить…

Пальцы судорожно сжались на распутинских сапогах. Рейнер снова подхватил убитого за плечи, и они перенесли его на шубу, которую Сухотин бросил поверх шторы.

Келл ещё до прихода Маяковского с Лилей в деталях объяснил каждому его задачу. Дело шло к утру, и времени оставалось всё меньше.

Юсупов подошёл к тому месту, где только что лежал труп.

— Сволочь, — сказал он. — Что теперь с этим делать?

— Да, проблема, — согласился Келл.

Немного крови всё же натекло из ран Распутина на пол. Пятна в мрачном освещении подвала смотрелись чёрными.

— Сволочь, — процедил Феликс и вдруг с разворота ударил мертвеца в бок носком сапога.

Такой звук бывает, когда мясник рубит мясо. Глухой животный звук. Тело колыхнулось.

— Сволочь! — крикнул князь. Он ударил Распутина ногой — ещё раз, ещё. В поднятой руке мелькнула гантель, с которой князь никак не мог расстаться. От удара в висок окровавленная голова мотнулась и неестественно вывернулась, правый глаз выскочил из орбиты. А Феликс бил и бил обрезиненной металлической чушкой куда ни попадя. Хрустели кости, цокнул по полу отколотый зуб. Густеющая кровь покойника брызгала в стороны…

…а жилы Юсупова разрывала бешеная кровь ногайских князей. Это ему пророкотал на днях в «Привале» провидец-Маяковский:

Разбойной ли Азии зной остыл?!
В крови желанья бурлят ордой…

Безумие накатило внезапно. Первым опомнился Рейнер, бросился к Юсупову и повалил его на пол. Прижал, держа за руки, и что-то горячо зашептал по-английски Феликсу на ухо.

Маяковского вырвало. Он стоял, серый лицом, и держался рукой за стену. Пуришкевич прижимал обе руки к сердцу и хватал ртом воздух. Лиля вжалась в кресло.

Келл придирчиво оглядел свой костюм — не осталось ли брызг.

— Надо, чёрт возьми, всё это заканчивать, — с трудом сдерживаясь, негромко произнёс он и приказал Лиле: —

Будьте любезны, возьмите со стола салфетки и бутылку портвейна принесите. Побыстрее! А вы, джентльмены… Я прошу, за дело!

Дмитрий Павлович надел шубу, Сухотин — шофёрскую доху, в которой приехал Келл. Вдвоём они вышли во двор и осмотрели императорский *Delaunay-Belleville*. Автомобиль лишь вскользь ударился колесом о поребрик — на кузове не осталось даже царапин.

В это время Лиля, как под гипнозом, смачивала салфетки красным портвейном и безропотно драила пол, смывая кровавые потёки. Келл рассудил так: совсем убрать кровь не удастся, но от пятен вина отличить их будет трудно. И даже если полиция приведёт сюда собаку, коллекционный букет собьёт ищейку со следа. Здесь веселилась компания крепко выпивших мужчин. Вели себя неопрятно — бывает! На всякий случай Келл ещё накрошил на гранит сигарного табака.

Рейнер, усадив Юсупова на диван, командовал Маяковским, который сперва одевал изувеченный труп в шубу, потом заворачивал в штору. Пуришкевич принёс из багажника своего автомобиля верёвки, дальновидно припасённые Келлом.

Дмитрий Павлович остался курить во дворе. Сухотин спустился в подвал и скоро вернулся: вместе с Рейнером и Маяковским они вынесли тело Распутина — в синем коконе, наспех перевязанном верёвками, — и уложили на дно царского автомобиля.

Следом вышел Юсупов, которого вёл под руку Пуришкевич. Одеть дрожащего князя оказалось едва ли не труднее, чем Распутина.

Прихрамывая на повреждённую ногу, Феликс забрался в мотор Пуришкевича. Рядом устроился Рейнер в шубе, похожей на распутинскую, и в его бобровой шапке. За руль сел Сухотин, одетый шофёром. Надо было не оставить у наблюдателей сомнений в том,

что Распутин как приехал с князем, так и уехал с ним вместе из дворца.

Келл жёстко определил маршрут Сухотину. Двигаться по набережной Мойки, свернуть на Гороховую и через Звенигородскую попасть на Обводный канал — там на пустынной набережной слежка невозможна, скрыться негде. Высадить пассажиров и мчаться по Обводному к Варшавскому вокзалу. Затем сдать автомобиль и сообщить охране санитарного поезда: Владимир Митрофанович с доктором немного загуляли и появятся позже. А князю с Рейнером предстояло, сменив двух-трёх извозчиков, вернуться во дворец.

Почихав холодной машиной, мотор Пуришкевича выехал со двора.

Дмитрий Павлович курил без остановки. Маяковский тоже пытался прикурить, но спички ломались, а пальцы не держали папиросу. Пуришкевич нервно расхаживал рядом и постепенно вытаптывал в снегу тёмный круг. Наконец, к лимузину вышла Лиля и следом за ней Келл.

— Прошу простить, джентльмены, — сказал британец, — нам пришлось задержаться. Жгли салфетки в камине. Мокрые, горят отвратительно… Ещё мгновение!

По остаткам кровавого следа, тянущегося от сугроба, он разбрызгал большой флакон пахучей камфоры, который позаимствовал в туалетной у Феликса, — тоже на случай появления собак-ищеек.

— Можем ехать!

Царский мотор оказался очень кстати. На полу огромного салона без труда уместилось спелёнутое тело Распутина. Лиля, Келл и Пуришкевич сели на диваны. Случайно или намеренно депутат поставил ноги на труп. Великий князь занял место шофёра, с циничным смешком указав Маяковскому на сиденье рядом с собой:

— Вам ведь не привыкать? Прошу!

В императорском лимузине они выглядели как дружная компания, которая продолжает затянувшийся кутёж до рассвета. Кому придёт в голову — серой метельной ночью останавливать и тем более досматривать автомобиль самого государя, за рулём которого сидит его кузен и флигель-адъютант, великий князь Дмитрий Павлович? Да и к чему это, когда господа с дамой едут развеяться на острова, в «Аркадию» с «Ливадией», или на «Виллу Родэ»…

Вернон Келл рассчитал и ещё кое-что.

Единственная возможность в сложившейся ситуации быстро и надёжно спрятать труп — утопить. Каналов и рек в Петрограде хватает. От юсуповского дворца можно ехать по набережной Мойки в сторону Финского залива, можно добраться туда по Крюкову каналу; можно в считанные минуты долететь до окончания Фонтанки, Екатерининского канала или речки Пряжки; в конце концов, можно провезти Распутина мимо его же дома и утопить во Введенском канале рядом с электростанцией или железной дорогой…

Одна загвоздка: питерская вода стоит подо льдом. В поисках подходящей полыньи надо утюжить набережные, суетиться на берегу и высматривать, рискуя привлечь к себе внимание. А потом ещё придётся волочь тело и спускать его под лёд в надежде, что никто не заметит. Чистое самоубийство! К тому же — кто знает, сколько времени всё это может занять?

Нет, Келл решил проехать через весь город, через самый центр его — с тем, чтобы представить их компанию весёлыми прожигателями ночной жизни. Огромный блестящий *Delaunay-Belleville* в тихой Коломне или на другой окраине вызовет подозрения. Но урчать машиной и сиять фарами среди дворцов и широких проспектов — самое место.

Решение Келлу подсказал Распутин. Несколько часов назад в разговоре с Юсуповым по пути во дворец он

потешался над тем, как днём на Малой Невке перепутал *кабан* с хрустальным гробом. Значит, в тех краях точно есть майны, оставленные *кабанщиками*, смекнул британец. Майны есть, а народу нет. Надо лишь туда добраться.

Ночь длилась невыносимо долго. Вернона порядком измотала цепь невероятных случайностей, которые методично разрушали его планы. Хотелось верить, что вот-вот всё это закончится. Чёрная невская вода навеки поглотит обезображенный труп Распутина, и участники ночных событий разлетятся в разные стороны.

Он снова нацепит личину доктора Лазоверта, чтобы ассистировать Пуришкевичу. На десять утра назначен смотр их санитарного поезда депутацией из Государственной думы. А когда любопытные коллеги Владимира Митрофановича соизволят откланяться — паровоз тотчас разовьёт пары, и унесёт Лазоверта-Келла и Пуришкевича к румынскому фронту.

У Феликса Юсупова, конечно, уже не хватит духу на экзамен в Пажеском корпусе. Но не беда: с несколькими родственниками князь тоже сядет вечером в поезд, который доставит его на юг, в Кореиз, в объятия родителей и жены.

Дмитрия Павловича тоже ждёт дорога, но на запад — к императору, в Ставку Верховного главнокомандующего.

Поручику Сергею Сухотину пора возвращаться в лейб-гвардии его императорского величества Преображенский полк — за новыми ранами и наградами.

Британский лейтенант Освальд Рейнер проследит за своим дружком Феликсом до самого его отъезда — и снова примется за работу в Зимнем дворце, приближая победу Антанты над немцами.

Что же касается этих двоих, поэта и его подружки, — Келл ещё в подвале держал небольшую речь.

— Милостивый государь! — сказал он Маяковскому. — Я не стану произносить монологов из плохой пьесы о том, что либо вы нам поможете, либо ваша девушка умрёт. К чему угрозы? Мы ведь джентльмены! Просто у вас нет выбора. Вам угрожаю не я, вам угрожает закон. Вы — участники убийства.

Маяковский боролся с приступами тошноты и не мог издать ни звука. Лиля собралась протестовать, но Келл властным жестом остановил её.

— Участники убийства, — жёстко повторил он. — Если начнётся полицейское расследование, мы все подтвердим, что Распутина убили вы. Сами понимаете, нам поверят. Наше слово против вашего. И доказать вы ничего не сможете.

— Но мы же скажем, что и вы — убийцы! — слабо возразила Лиля. — Вы все…

— Хорошо. Допустим, вы обвините в убийстве великого князя Дмитрия Павловича и князя Юсупова. Представьте себе последствия. Представили? Голубушка, кто они — и кто вы? Это во-первых. Во-вторых, что бы ни грозило этим джентльменам, вам обоим грозит пожизненная каторга… То есть грозила бы, когда бы не война. И когда бы не то, что убит любимец императорской семьи. А значит, наказанием будет смерть. Короткое следствие, скорый суд — и вас повесят. Знаете, как вешают людей? Разденут догола, облапают и велят надеть грубую рубаху без ворота. Вам будет мерзко к ней даже прикасаться, но палачам всё равно — рубаха ведь на один раз. Вы наденете её, иначе вас снова станут лапать и оденут силой. Потом ваши руки свяжут за спиной. Толстая верёвка больно вопьётся в тело, но и это всем будет безразлично. А на вашу милую головку накинут мешок. Пыльный холщовый мешок вроде тех, в которые упаковывают почтовые посылки. Тут вы можете закричать — многие в

этот момент начинают кричать, — и вам заткнут рот кляпом. Какой-нибудь грязной ненужной тряпкой…

Голос британца звучал бесстрастно. Он не смаковал подробности казни, он обстоятельно и холодно про них рассказывал. И от этой холодности кровь стыла в жилах.

— Потом вас поставят на скамью и накинут петлю на шею. Не могу сказать, будет петля из стальной проволоки или из пеньки — это много от чего зависит. Скорее, всё же сделают верёвочную, вы всё же дама… Палач слегка затянет петлю и подведёт узел под левое ухо. Узел всегда подводят под левое ухо. Потом по сигналу офицера палач дёрнет рычаг, и в полу под скамьёй откроется люк. Или, может, вас казнят в менее комфортабельном месте, и тогда скамью просто вышибут у вас из-под ног. В любом случае, узел затянется и передавит сонную артерию. Ваша шея изогнётся и вытянется. Вообще-то от рывка она должна сломаться, но знаете, убить человека совсем не просто. Обычно повешенный дёргается, хрипит и никак не хочет умирать. Особенно если в петле такая миниатюрная женщина — лёгкая, как пёрышко. Страдания жертвы ужасны и невыносимы — естественно, для присутствующих. Тогда палач подходит, обнимает её за ноги и повисает, чтобы под тяжестью двух тел петля, наконец, сломала позвоночник и оборвала нервы… Но — к чему нужны такие подробности? Мы ведь не хотим всего этого, верно?

До окончания операции осталось совсем немного. Распутин был устранён, и труп его двинулся в последний путь.

Глава XXXVII. Конец пути

У Мариинского дворца Дмитрий Павлович повернул по Вознесенскому проспекту в сторону Невы. Постовой проводил взглядом одинокий лимузин, кативший мимо Адмиралтейства, вдоль Александровского сада, к Дворцовой площади и Зимнему дворцу.

— Не знаете, когда, наконец, мост откроют? — спросил Келл.

— Обещали до Нового года, — откликнулся Пуришкевич.

Главный мост Российской империи, ведущий от главного проспекта империи — Невского, и главного дворца империи — Зимнего, к главной Бирже империи — на Стрелку Васильевского острова, печально свидетельствовал тяжёлое положение России и две её главные беды: воровство и волокиту.

Общество Коломенских заводов подряжалось выстроить Дворцовый мост к зиме тринадцатого года. Но из-за чиновников, крадущих и волынящих на каждом шагу, в срок не успели, а потом началась война. И стояли теперь гранитные махины опор с широченными стальными пролётами, стесняясь уродливых дощатых ограждений и убогих фонарей. Власти же, махнув рукой, решили открыть мост таким, как есть. Когда ещё в опустевшей казне сыщутся деньги, чтобы закончить стройку?

— Здесь же пять минут всего — и мы на Петроградской! — посетовал Дмитрий Павлович. — А придётся круг давать…

Когда бы через мост можно было проехать — они вмиг перенеслись бы через Большую Неву на Васильевский остров. А там по краю острова, именуемому Стрелкой, мимо Биржи и ростральных

колонн, Биржевым мостом через Малую Неву — на Петроградскую сторону. Если же доехать до Тучкова моста — он приводит в створ Большого проспекта Петроградки, совсем близко к тому месту, которое наметил Келл...

...но въезд на мост преграждали рогатки. Трепеща императорскими флажками, автомобиль свернул на Дворцовую набережную и двинулся вдоль фасада Зимнего дворца в сторону Троицкого моста.

Маяковского передёрнуло. Ему вспомнилась испепеляющая жара, которой встретила его столица в первый приезд. Тогда на мосту копошились рабочие, а сам он сидел у воды, изнывал от жажды и в ожидании Бурлюка коротал время за статьями о разгроме российской футбольной команды... Как же давно это было, и сколько с тех пор невской воды утекло!

Володя перебрался из Москвы в Петроград, став столичным жителем. Читал свои стихи уже не Бурлюку по ночным бульварам, а состоятельной публике со сцены: *фармацевты* валом валили *на Маяковского* и хорошо платили. Старый Дворцовый мост разобрали по брёвнышку — место плоской деревянной переправы занял широченный стальной разводной горб. И над былыми олимпийскими страданиями осталось только невесело посмеяться.

Тогда репортёр писал: *Команда на команду — это маленькая армия на армию, это народ на народ; каждая команда — это воплощение государства...* Теперь уже не капитаны команд вели за собой по десятку товарищей, но императоры бросали в бой многомиллионные армии. Народ в самом деле шёл на народ.

Тогда шестнадцать безответных голов, пропущенных в схватке с германцами на футбольном поле, казались трагедией. Теперь полями сражений покрылась вся Европа, а спортивные репортажи уступили место военным сводкам о каждодневной гибели многих тысяч

солдат. И ужасало то, что даже к этому люди постепенно привыкли…

Пуришкевич, попирая коротенькими ножками тело под синей шторой, чувствовал себя вполне комфортно. Они с Келлом закурили сигары. Скоро Лиля закашлялась, и Келл приоткрыл окно. Дым потянуло в щель, но от сквозняка сделалось совсем холодно.

Ужас положения Лиля до конца поняла только сейчас. Несколько вооружённых мужчин, решительно настроенных и упивающихся собственной безнаказанностью, везут их с Володей ночью в безлюдное место. Они только что жестоко расправились с Распутиным и собираются утопить его труп. Но что будет со свидетелями убийства?

Лиля замерла в неловкой позе, а в её затёкших ногах, как мешок с тряпьём, лежал мертвец. Человек, которого она знала и с которым виделась буквально накануне. Сибирский мужик Распутин, в которого всадили несколько пуль и после смерти изувечили кастетом. Григорий Ефимович, который ещё совсем недавно был живым, называл её *миленькая* и кормил свежайшими бисквитами…

— Зачем вы его убили? — вдруг спросила Лиля. Чтобы не сойти с ума, ей надо было о чём-то говорить.

Келл опередил Пуришкевича с ответом.

— Он мешал.

— Кому?

— Нам. Вам. Всем. Он мешал России. Мешал царю. И был германским шпионом. Этого достаточно.

— Но кто дал вам право убивать?

— Это не убийство, а миссия, возложенная историей! — велеречиво произнёс Пуришкевич, потрясая в воздухе сигарой. — Чистоплюи только и могут, что судачить по углам. Распутин — злая сила! Распутина необходимо убрать! Надо спасти Россию от Распутина… Но сделать это смогли только мы. Мы,

настоящие патриоты — люди действия! Мы не боимся испачкать рук в крови врага!

Лиля старалась держаться подальше от лежащего на полу покойника. Ей казалось, что кровь продолжает сочиться из растерзанного тела, пропитывает штору и марает всё, что прикасается к синему свёртку.

— Но зачем же… так? — спросила она, и Келл поинтересовался:

— А как иначе?

— Не знаю. Но без крови. Может, ядом…

— Браво! — кивнул британец. — Вы, должно быть, читаете много детективов. Арсен Люпен, Ник Картер, Шерлок Холмс, Нат Пинкертон, да?

— Отличная мысль! Пригласить Гришку на чай, а в пирожные напихать цианистого калия! — весело предложил Пуришкевич, пыхнув сигарой.

— Он не ел пирожных. Он вообще сладкого не ел, — сказала Лиля и прикусила язык.

Келл насторожился.

— Откуда вы знаете? Вы были с ним знакомы?

— Нет, — проклиная себя, ответила Лиля, — мне одна подруга рассказывала… и потом, пост ведь Рождественский… нельзя…

— Цианистый калий себя запахом выдаёт, — обернулся к ним Маяковский. Стекло между передними сиденьями и салоном было опущено. Володя вспомнил книжку про яды, которую читала Тоня, и вклинился в разговор, тоже будучи не в силах молчать. — Он миндалём пахнет. Но может не подействовать. Дозу надо правильную знать. И ещё от него противоядия бывают.

Келл отвлёкся от неосторожного заявления Лили.

— Владимир Митрофанович, а не взять ли вам этого молодого человека к себе в санитарный поезд? Что ему делать в автошколе? Готовый медик! И эта склянка с йодом в кармане… В поезде Александры Фёдоровны

служат поэты, почему бы и вам своего не завести? По-моему, надо подумать, как вы считаете?

Действительно, у конкурентов — а Пуришкевич считал санитарный поезд императрицы своим единственным конкурентом! — среди санитаров числились молодые поэты, Николай Клюев с Сергеем Есениным. Как и Маяковского, покровители всеми правдами и неправдами старались спасти их от отправки на фронт. Клюев с Есениным повезло: поездом императрицы ведал полковник Дмитрий Николаевич Ломан — добрый приятель Распутина. Вот у Григория Ефимовича и выхлопотали просители записку к Дмитрию Николаевичу.

Милой, дорогой, присылаю к тебе двух парешков. Будь отцом родным обогрей. Робяты славные, особливо этот белобрысый. Ей Богу, он далеко пойдет.

По этой протекции отмеченный старцем Есенин и приятель его Клюев попали не в окопы, а в царскосельские лазареты…

— Насчёт противоядия вы правы, — продолжил Келл. — Амилнитрит, тиосульфат натрия… Только применять его надо или непосредственно перед отравлением, или сразу после. Иначе — мёртвому припарка. Что же касается пирожных — тут, Владимир Митрофанович, тоже вышла бы неувязка, даже если бы Распутин оказался сладкоежкой. Цианиды взаимодействуют с сахаром. И при этом, увы, теряют свои токсические свойства. Если же подмешивать цианистый калий заранее, он успеет прореагировать ещё и с атмосферным углекислым газом. Был цианид — стал карбонат. А карбонатом калия отравить затруднительно.

— Очень любопытно, — бросил через плечо Дмитрий Павлович. — Чувствуется, что предмет вы знаете не понаслышке. А скажите-ка мне, на Малую Невку лучше

со стороны Крестовского острова заехать или с Петровского?

— Лучше с Петровского. Ближе и спокойнее, — сказал Келл.

Автомобиль как раз повернул с набережной у Марсова поля и переехал самый красивый мост — Троицкий. Одолев начало Каменноостровского проспекта, Дмитрий Павлович вывернул руль и повёл лимузин влево. По Кронверкскому проспекту затяжной дугой обогнули Арсенал и просторный Александровский парк с увеселительным «Народным домом».

Ещё на мосту Келл поймал себя на том, что высматривает во льду полынью, и заметил, что Пуришкевич занят тем же.

— Потерпите, Владимир Митрофанович, — негромко сказал он, — здесь это было бы чересчур.

С Кронверкского проспекта повернули на Александровский, который продолжился набережной реки Ждановки — и здесь Келл с Пуришкевичем, сами того не желая, снова обшаривали взглядами лёд, а Дмитрий Павлович уверенно повёл автомобиль через мостик на Петровский остров. Проспект между пивоварнями «Бавария» и канатной фабрикой выглядел тёмным и безлюдным. Лишь в палисаднике у тринадцатого номера, занятого убежищем Императорского театрального общества для престарелых артистов, померещился какой-то человек.

— Вы его видели? — спросил великий князь Маяковского. Тот пожал плечами. Вроде бы да, а вроде бы нет…

На площади против пожарной части лимузин последний раз повернул направо — и въехал на мост через Малую Невку. Фары выхватили из мглы в сотне шагов будку охраны.

— Здесь, — сказал Келл. — Прижмитесь влево и выключите свет, бога ради!

Погасив фары, Дмитрий Павлович заглушил и машину. Автомобиль окутался ватой тишины и беспросветной тьмой.

— Выходим, — негромко скомандовал Келл, когда глаза начали что-то различать во мраке.

По обе стороны моста на льду пятнами темнели несколько майн.

Дмитрий Павлович закурил. Интересное дело, он столько раз видел этот мост и ездил здесь! На противоположном берегу — рукой подать — помещался стенд, где стреляли по голубям и глиняным тарелочкам. Столько раз видел этот мост, но ему даже в голову не могло прийти, что однажды холодной зимней ночью он попадёт сюда в такой компании и с такой целью…

Маяковский с Пуришкевичем пытались вытянуть наружу свёрток с телом Распутина. Он цеплялся за дверной порог и не подавался. Володя поднял глаза на Лилю, которая продолжала сидеть в салоне, и попросил:

— Подтолкни…

— Я не могу, — прошептала она.

Выругавшись, Пуришкевич забрался внутрь и нарочно наступил Лиле на ногу. Он повозился, нащупал верёвки и скомандовал Маяковскому:

— Тяните! И — раз! И — раз!

Одна из верёвок лопнула, но свёрток всё же проскочил в двери и оказался на снегу возле перил, у ног Дмитрия Павловича — тлеющий огонёк папиросы озарял его красивое бесстрастное лицо.

— Присматривайте за будкой, — попросил Келл великого князя. — Только гостей нам сейчас не хватало.

Британец помог Пуришкевичу и Маяковскому перевалить завёрнутого в штору покойника через перила. Тело ухнуло на несколько сажен вниз и деревянно стукнулось о лёд.

— Что дальше? — спросил Дмитрий Павлович.

— Ваша очередь. — Келл повернулся к Маяковскому. — Ступайте туда и столкните его в полынью.

— А если я откажусь? — спросил вдруг Володя, нависая над британцем и коротышкой-депутатом.

— Не разочаровывайте меня, — посоветовал Келл и, как воспитатель пальцем, покачал перед носом у Маяковского «браунингом» Юсупова. — Дело надо довести до конца. Теперь совсем не до шуток.

Лиля выбралась из автомобиля, встала рядом с Володей и вцепилась в рукав его шинели.

— А что будет после того, как?.. Вы нас убьёте?

— Милостивая государыня, — с лёгким раздражением в голосе ответил британец, — если вы до сих пор живы, то лишь благодаря тому, что выполняли мои указания. Продолжайте в том же духе, и можете не бояться за свою жизнь!

Пуришкевич заметно нервничал.

— Мы слишком долго здесь стоим…

— Решайте, Маяковский! — потребовал Келл. — Геройствовать не советую. Тем более, вы не герой. У меня не идёт из головы эта ваша склянка с йодом… Будь вы посмелее, вы бы не пописывали о войне, а воевали! И были бы сейчас далеко отсюда. На фронте, или в могиле… или в госпитале, как Сухотин. Итак?

Помешкав ещё немного, Маяковский наклонился, неловко чмокнул Лилю в холодную щёку и зашагал прочь. Его солдатские ботинки заскрипели по снегу. На крутом берегу он, конечно, поскользнулся и больно ударился, съезжая на лёд. Поднявшись, отряхнулся и осторожно пошёл к лежащему возле моста свёртку.

— Посидите пока в моторе, — предложил Лиле британец. — По крайней мере, там можно спрятаться от ветра.

Он подал ей руку, помог забраться в салон и прикрыл дверцу. Пуришкевич подошёл вплотную к Келлу и

спросил:

— Я надеюсь, вы не собираетесь их отпускать?

Келл смерил его долгим взглядом и обратился к великому князю:

— Не угостите папиросой?

Дмитрий Павлович раскрыл золотой портсигар с монограммой на крышке.

— Бросьте, — не унимался Пуришкевич, — я прекрасно видел, что вы всю дорогу держали «браунинг» наготове. Зачем, если не секрет?

— Чтобы стрелять, если бы нас остановили.

Теперь Келл стоял к депутату вполоборота, затягивался папиросой и вглядывался в полумрак, следя за тем, как Маяковский тащит Распутина к полынье. Ослабшие верёвки цеплялись за торосы и сползали, из свёртка наружу показались голова и ноги убитого, и штора походила уже скорее на волокушу.

— Вы стали бы стрелять? — удивился великий князь. — В кого? В городовых?

— В кого угодно, — подтвердил Келл. — Видите ли, наша компания хороша всем, кроме одного: в неё затесался труп. Вы с трупом — полбеды. Вы с трупом и со мной — государственные преступники. А этого мне и, полагаю, вам вовсе не хотелось бы. Но и отправить сюда вас одних было невозможно. Поэтому я застрелил бы хоть полицейского, хоть патрульного.

Сквозь мглу на фоне льда темнел силуэт Маяковского. Он доволок тело Распутина до чёрного пятна майны и стал отламывать жердь от оградки, которой *кабанщики* обнесли опасное место.

Дмитрий Павлович перевёл недоумённый взгляд на Келла:

— Что он делает?

— Полынья замёрзла, — пояснил тот. — Холодно, лёд встаёт быстро. Обколоть надо, и — *rest in peace*…

— Если этого не сделаете вы, это сделаю я, — заявил Пуришкевич и вытащил пистолет.

— Вхóдите во вкус? — спросил Келл. — Не смею мешать. Только хорошенько посчитайте патроны.

— Зачем? — не понял депутат.

— Сначала вы убьёте Маяковского с девицей. Потом сторожа в будке — его никак нельзя оставлять в живых. Наш приезд он проспал, но от вашей пальбы непременно проснётся. Кстати, не обратили внимания, как здесь тихо? Верный знак, что вас услышат городовые на островах. Услышат и примчатся сюда. С Петровского, с Крестовского… Их вам тоже придётся перестрелять. Ещё есть пожарные на площади, охрана «Баварии»… Патронов хватит? Мы ведь не сможем вам помочь, поскольку будем уже далеко. Не так ли?

Он посмотрел на великого князя.

— Задерживаться не станем, это точно, — подтвердил Дмитрий Павлович, снова затянувшись папиросой и подсветив лицо.

— Имейте в виду, — добавил Келл, — что тела всех убитых спускать под лёд вам придётся в одиночку: Маяковского-то уже нет, вы его застрелили! И не забудьте после бойни собрать гильзы, иначе полицейские баллистики вычислят ваш «сэвидж». Если не будете спешить — к полудню управитесь. Хотя надо раньше: в десять мы с вами встречаем в поезде делегацию Государственной думы.

Насупленный Пуришкевич переводил взгляд с британца на великого князя и обратно.

— Шутите, сколько угодно. Я считаю, их отпускать нельзя, — упрямо повторил он. — Продадут.

— Следуя вашей логике, мы должны были застрелить вас ещё во дворце. Стоило появиться городовому, и вы тут же выболтали ему всё, — напомнил Дмитрий Павлович.

Маяковский разбил лёд, затянувший майну. Он отбросил жердь, встал на четвереньки и принялся подталкивать труп к воде. На расплющенную при падении распутинскую голову Володя старался не смотреть.

— Словом, если вы не захватили гантели Феликса, давайте закончим этот разговор, — подвёл итог британец и постучал в стекло дверцы автомобиля. — Лиля, могу я просить вас выйти?

С тихим всплеском тело Распутина ушло в воду. Следом сполз край шторы — и ещё секунду, намокая, виднелся на поверхности. Потом течение рывком втянуло его под лёд.

— Выходите, выходите, — повторил Келл, открывая дверцу авто.

Съёжившись и прижимая руки в муфточке к груди, Лиля шагнула наружу. По лицу можно было догадаться, что разговор она слышала. Девушка сделала ещё пару шагов, уцепилась за перила и крикнула вдруг:

— Володя!..

Крик сорвался и вышел совсем тихим, но Маяковский бросился к мосту. Через несколько шагов он запнулся о ледяной торос и рухнул ничком.

Келл покачал головой.

— Как трогательно! Я становлюсь сентиментальным. Должно быть, старею… Едемте, господа!

Лиля опустилась на корточки у перил и затравленным зверьком следила, как мужчины уезжают. Не включая фар, Дмитрий Павлович аккуратно развернул автомобиль — ширина моста это позволяла — и спросил британца:

— Вы уверены, что они будут молчать?

— Поэты — народ тонкий, — задумчиво ответил Келл. — Думаю, да. Может, теперь Маяковский напишет гениальные стихи. А может, повесится. Или застрелится…

В по-прежнему раскрытое окно лимузина британец швырнул «браунинг» на лёд, в сторону Маяковского.

— Что вы делаете? — поразился Пуришкевич. — Вы бросили ему пистолет?! Пистолет князя?!

— А что вас так напугало? — Келл закрыл окно. — Мы уже, считайте, уехали. На льду в пригороде остался подвыпивший солдат с чужим пистолетом и девица, которая не в себе.

— Но труп!..

— Господь с вами, какой труп? Владимир Митрофанович, нет никакого трупа! Ему всего милю плыть до Финского залива. У вас хорошо говорят: нет тела — нет дела.

Пуришкевич нахохлился, забившись в угол салона, и буркнул:

— Всё равно, помяните моё слово, эти станут болтать.

— И что они расскажут? Что кузен императора в гостях у князя застрелил крестьянина и потом оба надругались над телом, которого нет? Кто станет слушать эту чушь? Отправят в клинику на одиннадцатую версту, да и дело с концом. Но Маяковский с Лилей сами наверняка предпочтут молчать. Не забывайте, что они — убийцы. Каждое слово — шаг на эшафот.

— Распутина станут искать, — гнул свою линию Пуришкевич. — Пойдут пересуды, тут они и заговорят.

Келл пожал плечами:

— Мало ли куда подевался Распутин? Пускай ищут! Уверяю вас, слухов будет множество, да таких, что нормальному человеку никогда и в голову не придут. С подробностями! Народ постарается. А пока труп не найдут, вас и спросить не о чем. Вне зависимости от того, что наплетёт полиции Маяковский… даже если всё-таки решится.

Дмитрий Павлович повёл лимузин обратной дорогой через Петровский остров.

— Всё, что вы говорите, звучит разумно, — сказал он. — Хотя был момент, когда я основательно занервничал.

— Когда Маяковский отказался топить Распутина? — оживился Келл, озорно глянув на Пуришкевича. — Я тоже. Ума не приложу, что бы мы тогда делали с ними обоими! Уф-ф… Голова раскалывается. Джентльмены, где бы нам сейчас выпить хорошего кофе?

Глава XXXVIII. Последний звонок

— Колмекюммента копееккат…

…или что-то в этом духе — единственное, что запомнил Маяковский на обратном пути. Возница на *вейке* с бубенчиками хотел тридцать копеек за поездку со Ждановки на улицу Жуковского. Обычный финский тариф докуда угодно в Петрограде. *Kolmekymmentä*. Тридцать сребреников, подумал Володя, заплатил полтинник и не взял сдачи.

Квартира Бриков оказалась пуста.

Часов до четырёх утра Осип с Игорем играли в «гусарика». Шкловский уговаривал Эльзу отправиться к нему, но она ломалась и отнекивалась. Спать не хотелось, так что в начале пятого компания перекочевала в «Привал». Осип оставил на столе записку Лиле.

Она скомкала её, не читая, и бросила в угол. А сама, как слепая, прошла по комнате и застыла у окна.

— Давай я тебе помогу, — предложил Маяковский, осторожно прикоснувшись к Лилиному плечу и попытавшись снять с неё шубку.

— Не трогай меня, — изменившимся голосом сказала Лиля и вдруг развернулась, оттолкнула его и бросилась в ванную.

Маяковский никогда не видел, чтобы она плакала. Лиля могла быть весёлой, могла грустить, могла тараторить без удержу или задуматься и замолчать надолго; могла быть резкой и беспощадной, могла — нежной и заботливой, но ни разу не проронила при Володе ни одной слезинки.

Сейчас Лиля заперлась в ванной и рыдала. По-бабьи, в голос, с каждым протяжным стоном силясь выдохнуть пережитый ночной кошмар и боль унижения. На мгновение затихала и, со всхлипом набрав полные лёгкие воздуха, рыдала снова.

— Лиля! Лилик, открой! Пусти меня, Лиля!

Маяковский сначала дёргал дверь за ручку, потом терпеливо стучал костяшками пальцев; наконец, несколько раз ударил кулаком. Когда из ванной прогремел упавший таз, Володя не выдержал. На кухне он схватил топор, которым кололи лучину для самовара. Сунул лезвие в щель между косяком и дверью ванной и налёг на обух.

Треснул наличник, скрипнули петли, вырванная щеколда повисла на одном гвозде. Дверь распахнулась.

Вся Лилина одежда безобразным комом валялась на полу. Из душа хлестала вода. Сжавшись в комок и обхватив себя руками, Лиля голой сидела в ванне. Ударяясь о её голову, плечи, спину, струи разбрызгивались во все стороны, сыпались каплями на пол и сброшенную одежду, барабанили по перевёрнутому тазу с треснувшей эмалью. Лиля раскачивалась из стороны в сторону и тянула *а-а-а-а-а-а-а-а*…

У Маяковского сжалось сердце. Он бросил топор и шагнул к ванне.

— Лиличка, милая… ну что же ты…

Рыдание оборвалось. Лиля тихо заскулила. Обеими руками она отодвинула с лица прилипшие мокрые волосы и пошарила взглядом вокруг. Потянула с низкой

полочки щетинную щётку и судорожными движениями принялась что есть силы скрести руки, словно сдирая с них следы крови.

— Лилик, Лилик, не надо…

Не обращая внимания на то, что вода льёт ему на гимнастёрку, Маяковский подхватил Лилю, вытащил из ванны и поставил прямо на мокрую одежду. Укутал в банный халат, сдёрнутый с вешалки, и на руках понёс в спальню. Там уложил на кровать и накрыл одеялом.

Вернувшись в ванную, он шагнул через мокрый ворох одежды и закрыл краны. Поискал на кухне вино — бутылки оказались пусты. Маяковский налил в стакан тепловатой воды из чайника и отнёс Лиле.

Большими шумными глотками она выпила до дна и сипло попросила:

— Ещё…

Он принёс ещё. Лиля отпила немного, оттолкнула его руку со стаканом и села на кровати. Володя подоткнул ей под спину подушки. Лиля изредка всхлипывала, вздрагивая всем телом.

— Наверное, Ося скоро вернётся, — сказал Маяковский. — Я хочу рассказать ему всё… Нет, не про это. Про это — никогда, никому… Всё про нас. Я люблю тебя и хочу быть честным. С тобой, с Осей… Тебе не надо больше оставаться с ним. Сегодня же переедешь ко мне. После того, как… после всего, что было… после этого ужаса… Лилик, нас ничто на свете больше не сможет разделить. Мы теперь всегда будем вместе. И всё будет хорошо…

— Ничего не будет, — оборвала его Лиля.

— Всё будет, родная, всё будет! Главное, мы теперь вместе… только тебе все мои стихи… а жить можно и с этим… Всё будет, Лиличка…

Володя сел рядом с ней на кровать, попытался прижать к себе и стал целовать мокрые щёки,

распухшие от слёз глаза, волосы, руки, которыми она его отталкивала...

— Ничего не будет, ничего! — крикнула Лиля и неловко хлестнула его по щеке. Маяковский отпрянул.

Она отбросила одеяло, спрыгнула с кровати на пол и отбежала в угол.

— Ты не понимаешь! — заговорила она оттуда. — Не подходи ко мне! Ты не понимаешь. Я — тварь! Потаскуха... Я изменяла Осе, потому что он не любит меня. Не любит и никогда не любил! А я думала — может, если начнёт ревновать, то и полюбит... Я люблю его! Я любила, люблю и буду любить его больше, чем брата... больше, чем мужа... больше, чем сына. Это... знаешь, как? Я про такую любовь ни в каких стихах не читала. Ни в какой книжке! Я люблю Осю с детства. Отделить его от меня — невозможно. Он — как я сама. Как рука... или нога... или сердце...

Маяковский сник, раздавленный Лилиными откровениями, а она продолжала говорить, говорить, говорить — и нанесла последний удар. Стала взахлёб рассказывать о самой первой ночи с Осей. Об их волшебной первой брачной ночи. Родители подарили им эту квартиру, и после свадебного застолья молодые вернулись домой одни.

— Мы легли в постель, и всё вокруг исчезло — остались только мы двое, и ночной столик, словно ладонь, а там — ваза с грушами и виноградом, и шампанское в ледяном ведёрке... Мы оба тогда безумно любили шампанское... без конца могли его пить, и пить, и пить...

Сумрачным утром ожил город — и ожила улица Жуковского. Заработали лопатами дворники; по заснеженной мостовой побежали лошади, запряжённые в сани; проехал один мотор, другой... Из Эртелева переулка вывернула карета скорой помощи и покатила

к Литейному — в Мариинскую или Александровскую больницу.

Прохожие с удивлением смотрели на бредущего, словно пьяный, высокого, но сгорбленного солдата. Шапку и ремень он держал в руке, шинель была распахнута, а гимнастёрка под ней — в мокрых индевеющих пятнах. Толстые посиневшие губы шевелились, из глаз текли и замерзали на щеках слёзы.

Анафема. Анафема! Будь проклята эта любовь. Эта ночь. Эта жизнь. Будь проклято всё. Невидящим взглядом Маяковский смотрел прямо перед собой, и ноги сами несли его на Надеждинскую.

Нет. Это неправда. Нет! И ты?
Любимая, за что, за что же?!
Хорошо, я ходил, я дарил цветы,
я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!
Белый, сшатался с пятого этажа.
Ветер щёки ожёг.
Улица клубилась, визжа и ржа.
Похотливо влазил рожок на рожок.
Вознёс над суетой столичной дури строгое
— древних икон — чело.
На теле твоём, как на смертном одре
— сердце дни кончило.
В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты уронила только:
«В мягкой постели он, фрукты,
вино на ладони ночного столика».
Любовь! Только в моём воспалённом мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотрите — срываю игрушки-латы
я, величайший Дон-Кихот!

Дома он выложил в центр стола пистолет, подобранный на Малой Невке. Вскипятил чайник, заварил себе крепкого чаю. С дымящейся кружкой вернулся в комнату и сел за стол.

Маяковский старался не смотреть на «браунинг», но тот притягивал взгляд. Володя взял пистолет и погладил пальцем ссадину на воронёной стали, оставшуюся от удара об лёд. Пожалел о нарушенном совершенстве оружия: такие чистые линии, столько грозного изящества…

Он отложил «браунинг» в сторону и минуту-другую сидел, бездумно прихлёбывая несладкий чай. Сахар весь вышел; Тоня куда-то пропала и не показывалась уже несколько дней, а сахар обычно приносила она.

Рука сама снова потянулась к пистолету. Маяковский вынул магазин и передёрнул затвор. По полу покатился выброшенный патрон.

Подперев щёку левым кулаком, в правый Володя взял магазин и большим пальцем не спеша вытолкнул из него на пол патрон за патроном. Четыре латунных цилиндрика покатились вслед за первым, издавая противный дребезжащий звук.

Магазин опустел. Наклонившись, Маяковский поднял патрон, который лежал ближе всего, у ножки венского стула. Повертел в пальцах, разглядывая. Маленький, аккуратный, с круглоголовой пулей и тонкой опояской красного лака там, где пуля запрессована в гильзу.

Володя тщательно протёр патрон носовым платком, вставил его в магазин, а магазин — в пистолет.

Лиля разбирала мокрую одежду, принесённую из ванной и брошенную на кровать. Вздрогнула, когда раздался звонок телефона. Она решила не обращать на него внимания, и телефон, понадрывавшись, умолк…

…но тут же зазвонил снова. Лиля подняла трубку и услыхала нарочито спокойный и ровный голос:

— Я стреляюсь. Прощай, Лилик.

Маяковский вернулся за стол. Пистолет словно прирос к руке.

Страха не было. Но когда холодное кольцо дульного среза коснулось виска, дышать вдруг сделалось трудно. Как интересно, подумал Володя и постарался дышать глубоко. Вдох — носом, выдох — ртом. Вдох — выдох. Он услышал, как бьётся собственное сердце. Раньше не замечал. Африканский ритм — чёрные сомалийцы в «Луна-парке». Не обращал внимания. Оказывается, на многое он раньше не обращал внимания. А теперь… Теперь всё равно.

Нет, правда, интересно! Столько раз писал об этом, говорил, даже читал со сцены — рисовался перед публикой… А сколько раз об этом думал! Представлял себе, где это случится и как.

Последнее мгновение разложится на множество событий.

Спусковой крючок мягко уступит нажиму согнутого указательного пальца.

Щёлкнет спущенный курок.

Ударник зло вопьётся в пистонку.

С грохотом полыхнёт порох в гильзе.

Раскалённая пуля рванётся, вкручиваясь в нарезы ствола, и…

Чёрт! Как она рванётся, когда патрон остался в магазине?! Маяковский оттянул затворную раму — и медленно повёл обратно, собственной рукой досылая патрон. Так артиллерист закладывает в орудие скользкий от пушечного сала снаряд. Вот теперь хорошо.

Он ещё раз глубоко вдохнул, выдохнул… вдохнул… выдохнул…

…а потом ткнул ствол против сердца и спустил курок.

Часть третья. Міp

От автора

Взводя курок пистолета, затворную раму надо просто дёрнуть на себя и отпустить: на то и придумана возвратная пружина, чтобы поставить затвор на место и дослать патрон. А если пружине помогать — скорее всего, патрон перекосит, случится осечка и выстрела не будет.

Так и вышло с «браунингом» Феликса Юсупова. В ночь на семнадцатое декабря тысяча девятьсот шестнадцатого года князь смертельно ранил из него Григория Распутина. А утром Владимир Маяковский, по наитию придержав затвор, сохранил себе жизнь.

Труп Распутина обнаружили на третий день. Повезло городовому Кордюкову, бляха № 1876, пост которого располагался на Петровском острове около канатной фабрики. Бывший актёр Струйский из убежища для престарелых артистов, что напротив, рассказал: ночью ему не спалось. Он вышел прогуляться и видел большой лимузин, который будто бы проехал на Крестовский остров, а четвертью часа позже вернулся и укатил в сторону Ждановки.

Таких историй от охотников посудачить уже набралось три короба, поэтому старика слушали невнимательно. Но всё же слова Струйского зацепились где-то в памяти. Путь на Крестовский был один, и Кордюков с сослуживцами обшаривали окрестности до тех пор, пока на льду Малой Невки возле Большого Петровского моста не сыскалась-таки фетровая калоша, сделанная ботиком: мужской фасон № 10, изделие петроградской фабрики «Треугольник».

Большой Петровский неспроста называли *Мостом Самоубийц*. Многие из тех, кто решались свести счёты с жизнью, сигали отсюда в воду — только их и видели. Мощное течение утаскивало тела в Финский залив. То же должно было случиться и с Распутиным. Но уровень воды по холоду немного упал. Ворочавшийся в потоке утопленник цеплялся за изнанку льда распустившейся шторой, полами шубы, верёвками… Он прибился к новой полынье, в сотне шагов от первой, и там примёрз рукавом. Разглядели чудом: ботик, найденный Кордюковым, заставил удвоить внимание.

Заметив тело, городовые вызвали жандармского офицера с малоросской фамилией Перебейнос. Под его присмотром Распутина вытащили на лёд, ужаснулись тому, как он изувечен…

…и на этом, собственно, заканчивается сюжет. Но я всё же прошу ещё немного внимания. Книга в отличие от сюжета — бывает же такое! — продолжает продолжаться.

Одно сплошь удовольствие, когда персонажи щедро делятся не только своими именами и биографиями, но и пространными цитатами, и сюжетными ходами… Может, потому в тексте и набралось фамилий на телефонный справочник — далеко за сотню.

От страницы к странице мы проживали с ними часть их жизни — и часть собственной. Разве можно вот так, сразу, взять — и расстаться? Да и жаль расставаться, ведь о многих сказано незаслуженно мало и вскользь. Поэтому с расставанием хотелось бы повременить и пока лишь ненадолго отвлечься…

…чтобы подготовить настоящую концовку. Нельзя бросать героев на исходе шестнадцатого года, когда Россия шагнула за грань и покатилась, теряя себя, навстречу кровавым испытаниям последующих десятилетий. Надо ещё раз вспомнить, что было *до* — и заглянуть в то, что сталось *после*.

Страна опять называется Россией.

Вернулась из небытия Государственная дума, снова переполненная деятельными, принципиальными и незаменимыми народными избранниками.

Олимпиады утвердились разменной монетой международной политики. А спортсмены по-прежнему бьют рекорды, плюнув на закулисную возню корыстных чиновников.

Город, на сцене которого сыграны столько трагедий, снова именуется Санкт-Петербургом, хотя что-то мешает его так называть. Что — люди, лица? Почему-то улица Гоголя, получившая имя писателя ещё в девятьсот втором году, через девяносто лет сделалась Большой Морской. Чем не угодил новой власти автор «Мёртвых душ» — рассуждениями о дорогах и дураках? Так уже известно, что чиновничье воровство и волокита — беды пострашнее. С дорогами, да и с дураками иной раз удаётся что-то сделать, а эти — незыблемы.

История повторяется, как учил Маяковского рассудительный Гегель. И пусть говорят, что её уроки никого ничему не учат. А вдруг? Хоть кого-то, хоть чему-то.

Для Джорджа Оруэлла в книге места, понятно, не нашлось. А ведь это он сказал: *Кто управляет прошлым, тот управляет будущим, но кто управляет настоящим, тот управляет прошлым*. Такая вот логическая петля. Петелька.

Так плетётся кружево. На коклюшках — таких круглых деревянных палочках вроде карандаша — намотаны нитки. Если умеючи перебрасывать коклюшки друг через друга, нити переплетаются и постепенно складывают узор.

Бывают кружева па́рные, бывают сцепные.

Парные — попроще. Для них берут несколько пар коклюшек, на ширину узорной полосы. Сплели, померили — и отрезали, сколько надо. А для сцепных

надо много больше коклюшек. Ими плетут сначала части рисунка, а потом уже собирают, сцепляют кусочки в одно целое.

Сцепное кружево — работа штучная. Так делаются скатерти вроде той, что украсила чайный стол в Ливадии стараниями императрицы Александры Фёдоровны. Или накидки — как свадебная фата великой княжны Ирины Александровны. Или воздушные чепчики австрийских младенцев с тугощёкими няньками…

Хочется, чтобы книга походила на бескрайнее сцепное кружево, а не резаное па́рное. Оттого и не поднимается рука кромсать по живому. В слишком уж хитрую паутину сплелись судьбы множества персонажей! В большую и удивительную паутину, что под силу только величайшей кружевнице — истории.

Люди — словно коклюшки в её руках. Нить жизни — и смерти — любого из них создаёт один узор, становится частью другого, проходит через третий… Кто способен постичь виртуозную технику и разобраться в замысловатом рисунке? И надо ли разбираться? Зачем рассматривать каждую ниточку по отдельности, если можно окинуть взглядом весь ажурный узор и насладиться искусством мастерицы… *Большое видится на расстоянье*, уверял протеже Распутина, поэт Сергей Есенин.

А приятель Бурлюка и Маяковского, поэт Велимир Хлебников предлагал другую идею — как нарочно для тех, кому аналогия с кружевом покажется слишком уж лежащей на поверхности и чересчур примитивной.

Симбиоз — это когда два персонажа существуют одновременно, только в разных местах. Метабиоз — когда они существуют в одном и том же месте, но в разное время. Но ведь вполне возможна их встреча на пути от симбиоза к метабиозу…

Кому-то ближе Хлебников, кому-то Есенин. Те и другие могут закрыть эту книгу — или читать третью и последнюю часть, для любознательных. Ведь слишком многое о слишком многих ещё не сказано. Конечно, Сервантес предлагал *казнить лживых историков, как фальшивомонетчиков.* Но роман и не претендует на строгую историчность. Ведь претендовать можно лишь на немногое — вслед за Борисом Слуцким, которому Виктор Шкловский подкинул мысль, вычитанную в повести «Поединок» и попавшую туда из старинного британского пособия по судебной психологии. У Александра Куприна вся рота шагала *левой*, а подпоручик — *правой*. Казалось бы, ясно: он идёт не в ногу. Слуцкий же считал, что сперва надо выяснить во всех подробностях, почему подпоручик обогнал роту, и только потом делать выводы.

Плоха жизнь, в которой все маршируют, как на плацу. Скучны герои, никогда не сбивающие заданный кем-то строевой шаг. А у исторического сочинения, которое написано не в ногу с остальными, есть шанс оказаться интересным.

Глава I. Поручик

— Начальная цена — тысяча пятьсот фунтов! — сочным голосом провозгласил аукционист и в ожидании предложений воззрился в зал.

В апреле 2008 года лондонский аукционный дом *Bonhams* проводил очередные торги. Дошла очередь до двух скромных лотов. Первый — набор пороховниц времён Первой мировой. Таких тысячи. Второй лот — пряжка от ремня. Прямоугольная, с геометрическим узором и гравировкой на застёжке: *Работа Хаджи Закшу*. Тоже ничего особенного.

Откуда же тогда внушительная цена и любопытство участников аукциона к неприметным вещицам? Виной всему их прежний владелец Сергей Сухотин — один из убийц Григория Распутина.

Известно о самом скромном участнике громкого убийства немногое. По сей день в публикациях то и дело путают его имя и воинское звание: то он Иван или Александр в чине капитана, то Андрей и целый генерал. А фамилия Сухотин в России — не редкость. Григорий Распутин путешествовал иногда между селом Покровским и Тобольском на пароходе «Сухотин» — такое вот совпадение.

Но ведь не может быть, чтобы человек возник ниоткуда и пропал в никуда! Сухотин — одна из ниточек в хитросплетении исторического кружева. И если за ниточку потянуть, она непременно куда-нибудь приведёт.

В 1900 году в Ясной Поляне у Андрея Толстого, сына графа Льва Николаевича, родилась дочь. В честь бабушки её крестили Софьей. Когда маленькая Софья Андреевна Толстая подросла, великий дед специально для неё сочинил «Молитву внучке Сонечке».

Богом велено всем людям одно дело, то, чтобы они любили друг друга. Делу этому надо учиться. А чтобы учиться этому делу, надо первое: не позволять себе думать дурное о ком бы то ни было, второе: не говорить ни о ком дурного, и третье: не делать другому того, чего себе не хочешь. Кто научится этому, узнает самую большую радость на свете — радость Любви.

Любовь любовью, а человеком Лев Толстой был суровым. Чего стоят хотя бы памятные Шаляпину нападки на молодого Сергея Рахманинова и заодно на Бетховена с Пушкиным! Зато благодаря его ворчливому недовольству началась сверхъестественная популярность Игоря-Северянина, которого Лев Николаевич желал ославить на всю страну как легковеса и пошляка.

Досталось от буки-графа и его семье. По завещанию Толстого ни один из многочисленных родственников не получал дохода от публикации его книг: им велено было зарабатывать на жизнь самостоятельно. Но даже если бы состояние и осталось — большевики всё равно отняли бы его после октября семнадцатого.

Воспитанная в любви Сонечка Толстая окончила гимназию в 1918 году и поступила на службу в Московскую канцелярию правления Общества потребителей «Кооперация»: семья голодала. Но служба не задалась, а тут ещё туберкулёз… Пришлось уволиться и ехать на лечение в дедовскую деревню.

Там девица познакомилась с комиссаром Ясной Поляны, бывшим офицером Сергеем Сухотиным. На него косились, о нём распускали слухи: ещё бы, убийца Распутина! Руки по локоть в крови — и чудом улизнул от наказания…

Конечно, в тульской глуши юная Софья недолго оставалась равнодушной к чарам демоничного молодого комиссара. К тому же в детстве Сергея *тутушкал* на коленях сам Лев Толстой, а Сухотин-старший,

известный толстовец, был женат вторым браком на Софьиной тётке Татьяне Львовне. Родня всячески поощряла новый союз, и в 1921 году Сухотин и Толстая поженились. Вместе они прожили недолго: дали о себе знать фронтовые раны, которые Сергей лечил в петроградских госпиталях осенью шестнадцатого. Став инвалидом и мучаясь головой, он не пожелал обременять семью и ушёл от жены — даже рождение дочери Наташи не удержало.

В надежде вылечиться, правдами и неправдами Сухотин сумел вырваться за границу. Там он и остался: мясорубка большевистского террора уже начала методично перемалывать царских офицеров. А в 1925 году газеты сообщили, что его бывшая жена опять вышла замуж. Нового супруга тоже звали Сергеем, и был он — поэтом.

На Софье Андреевне Толстой-Сухотиной женился Сергей Есенин, о котором писал Григорий Распутин доверенному лицу императрицы Александры Фёдоровны, полковнику Дмитрию Ломану: *этот белобрысый далеко пойдет*.

На бывшей жене убийцы Распутина женился тот самый Есенин, которого Григорий Ефимович своим ходатайством спас от фронта, упросив Ломана определить поэта в тыловые санитары.

Мужем внучки Льва Толстого стал тот самый Есенин, который на потеху публики распевал под гармошку похабные частушки *про Гришку с императрицей*. Который скоро стал известен — и то дружился, то лаялся с Маяковским насчёт того, кто из них больше народный поэт. Который охотно сменил рубаху и шаровары рязанского крестьянина на костюм лощёного денди и спрятал напомаженные русые кудри под цилиндром. Который кроме стихов о прелестях деревни писал о *Стране негодяев* и такое — от имени комиссаров Чекистовых:

Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячу лет,
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.

Сергей Есенин, который запойно пил — и, не прожив с Софьей даже года, вскрыл себе вены и повесился в номере петроградской гостиницы «Англетер». Совсем рядом с бывшим рестораном «Кюба», столь любимым Феликсом Юсуповым и великим князем Дмитрием Павловичем. В двух минутах езды от Юсуповского дворца, где убивали Распутина.

Внучка Льва Толстого потеряла второго мужа накануне Нового года, декабрьским днём ровно через девять лет после убийства, в котором участвовал её первый муж Сергей Сухотин. А его, безнадёжно больного эмигранта, смерть настигла годом позже. Узнав об этом, Софья Толстая написала подруге:

Недавно получила известье, что умер отец Наташки. От нескольких ударов. Странно, дорогая, узнать, что ушел отсюда и так и где-то человек, который ведь был когда-то моим мужем, всем в жизни. И которому очень много отдала я, и для которого была на всем свете я одна.

Софья Андреевна, поправившая своё положение замужеством, отдыхала тогда в Крыму. Как раз в это время отнятый у императорской семьи Ливадийский дворец большевики превратили в санаторий. Правду сказать, чумазых рабочих и крестьян в царские палаты пускали не очень-то — по российскому обыкновению, лучшее везде и всегда достаётся чиновникам. Но вдове скандального крестьянского поэта место нашлось.

Появлялся в санатории «Ливадия» и Маяковский. Он облюбовал Крым ещё на памятных гастролях в

компании Бурлюка с Северяниным. И в двадцатые годы приезжал сюда каждое лето. Колесил по всей округе, а в «Ливадии» сотрясал басом стены курзала.

Луна, как дура, почти в исступлении,
глядят глаза блинорожия плоского
в афишу на стенах дворца: «Во вторник
выступление товарища Маяковского».
Сам самодержец,
здесь же, рядом,
гонял по залам
и по биллиардам.

Один из известнейших поэтов страны, обласканный властью и не знающий ни в чём отказа, проводил за зелёным сукном императорского бильярда нескончаемые часы. Впрочем, о деле тоже не забывал. Публичные выступления приносили хороший доход, и работалось Маяковскому в крымском раю много и хорошо. Ялтинская кинофабрика выпустила по его сценарию фильм «Дети», здесь же появился сценарий комедии «Слон и Спичка»…

Если Есенина от фронта спас Распутин, то Маяковский был обязан Максиму Горькому. Горький попал в «Ливадию» в двадцать восьмом году, по обыкновению своему расчувствовался и приговаривал, тряся раскидистыми седыми усами:

— За границей сочиняют по старой привычке новых царей для России, а прежней России в помине нет, а в бывших царских дворцах сидят бывшие мужики посконные, поглядывают в окошко. Хорошо! Очень хорошо!

Уинстон Черчилль добрался до Ялты лишь в феврале 1945 года. Ливадийский дворец подремонтировали после разрушений, причинённых новой мировой войной

— уже второй по счёту. На юге России, которая приняла на себя основную тяжесть войны, в бывших покоях императора появились политики и дипломаты главных союзников — Англии и Американских Соединённых Штатов.

Общим врагом снова стала Германия. В Ливадийском дворце обсуждали план окончательного её разгрома, условия безоговорочной капитуляции немцев и способы предотвращения новых войн. В тот момент всем действительно хотелось мира и международной безопасности. Так в Ливадии, где когда-то российский государь говорил о своём нежелании воевать, родилось соглашение о создании Организации Объединённых Наций.

Черчилль возглавлял британскую делегацию. Уж кого-кого, а тучного пожилого премьер-министра трудно было заподозрить в симпатиях к России. Столько лет он строил козни, а после убийства Николая Второго призывал другие страны к военному уничтожению большевистской диктатуры!

Логика Черчилля понятна. Большевики разрушили страну, не дав ей победить в войне и нарушив планы союзников; уничтожили удобного для Англии партнёра и противовес Германии. Так что ничего нет странного в том, что Черчилль не любил новой российской власти, которой стали служить и Сухотин, и Есенин, и Маяковский… Черчилль ненавидел новую диктатуру, новое государство. Но страна и государство — совершенно разные вещи. И о многострадальной стране Черчилль говорил совсем другие, полные уважения слова.

Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Её корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду. Она уже перетерпела бурю, когда всё обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача

была уже выполнена. Долгие отступления окончились, снарядный голод побеждён; вооружение притекало широким потоком; более сильная, более многочисленная, лучше снабжённая армия сторожила огромный фронт; тыловые сборные пункты были переполнены людьми. Алексеев руководил армией и Колчак — флотом.

Кроме этого, никаких трудных действий больше не требовалось: удерживать, не проявляя особой активности, слабеющие силы противника на своем фронте; иными словами — держаться; вот и всё, что стояло между Россией и плодами общей победы. Царь был на престоле; Российская империя и русская армия держались, фронт был обеспечен и победа бесспорна.

Даже вдали от родной Британии, в российском Крыму, Уинстон Черчилль не изменял себе и своим вечным аксессуарам — сигаре, бокалу с коньяком или виски. Впрочем, он от души попользовался случаем и воздал должное российским напиткам, в первую очередь — отменному здешнему хересу, «Южнобережному крымскому вину № 37». Но в остальном Черчилль оставался прежним, и если надевал на выход не военную форму, а штатское платье — на голове его непременно красовался архаичный котелок.

Летом 1998 года на аукционе *Sotheby’s* легендарная шляпа сэра Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля была продана за рекордную для головных уборов цену — 25 300 фунтов.

Вещи живут дольше людей. Иной раз получается, что старая шляпа — или набор пороховниц, или пряжка от ремня словно продлевают жизнь своему хозяину. Например, попав на торги *Bonhams*.

— Подумаешь, аукцион Бонэмс! — слышится пренебрежительный голос. — Другое дело — Сотби или Кристи…

Конечно, масштабы разные. Однако аукционный дом *Bonhams* ненамного младше *Sotheby's* или *Christie's* и третье столетие успешно торгует на трёх континентах.

А Уинстон Черчилль и Вернон Келл, выйдя летним вечером 1912 года из лондонского Адмиралтейства, могли двинуться не влево, по бульвару Мэлл к Букингемскому дворцу, а свернуть направо. Они проделали бы тот же путь, но — за неспешной беседой о Григории Распутине — через Хеймаркет и круг Пиккадилли проулками вышли бы на улицу Бонд.

Здесь почти дверь в дверь расположились аукционные дома *Christie's* и *Bonhams.* Здесь весной 2008 года за хорошие деньги были проданы последние пожитки одного из убийц Распутина — поручика лейб-гвардии его императорского величества Преображенского полка Сергея Михайловича Сухотина.

Глава II. Депутат

Владимир Митрофанович Пуришкевич, начинавший как чиновник для особых поручений при главе жандармов Плеве, относился к политическим долгожителям. Он депутатствовал и во второй, и в третьей, и в четвёртой Думах. Тут поневоле задумаешься об особенностях естественного отбора законодателей и о преемственности народных избранников. Свойственное некоторым из них *отсутствие сдерживающих умственных центров* вовсе не означает отсутствие ума. Никогда ничего не делать себе во вред — о какой глупости речь?

Таким был и помещик Пуришкевич, которого проверили на службе в Министерстве внутренних дел, а потом избрали депутатом — в Бессарабии, далёкой провинции Российской империи, лежащей на границе Молдавии с Украиной.

Владимир Митрофанович умел произвести впечатление. Брил череп и отпускал широкую бороду, которая придавала ему мужественности; говорил с пулемётной скоростью, бурно жестикулировал, мог закатить истерику… Перед его фокстерьерьим напором сдавались даже коллеги-депутаты, не то что малограмотные крестьяне и неучи-помещики с дальних имперских окраин.

— Наш-то каков! — со смешанным чувством говорили они, прознав об очередной выходке своего припадочного избранника. За то, что в Думе их представляет ярмарочный уродец, было стыдно: если он такой — выходит, они сами ещё хуже. Зато, что ни день, *умывает* других депутатов — знай наших!

Соратница Пуришкевича по черносотенному Союзу русского народа, алкоголичка и наркоманка Елизавета Шабельская заходила к Распутину перед убийством. Она

старалась не отставать от своего лидера и тоже умела произвести впечатление. Имея тайные дела с охранным отделением — по обычной для черносотенцев практике — и выдаивая из тайной полиции деньги, *Верноподданная Старуха* успевала ещё пописывать. Из-под её бойкого пера вышел нашумевший политический триллер «Сатанисты XX века» — нагромождение чудовищного бреда о том, как Россию губят заговорщики: испанские анархисты, армяне-дашнаки, индийский брамин и за компанию с ними китаец, принявший иудаизм. Будь у *Старухи* хоть капля юмора, всё это могло быть гомерически смешно, однако писала она — и читали её — всерьёз.

После начала войны с Германией публикацию пришлось срочно остановить: в финале романа спасителем России от китайских жидомасонов выступал как раз добродетельный германский кайзер Вильгельм.

Писанина была откровенной политической порнографией с погромным подтекстом. По убожеству она оставляла далеко позади семикопеечные детективные книжонки, против которых восставали обладатели здравого смысла и хоть какого-то литературного вкуса, хотя оплачивали опусы *Верноподданной Старухи* из государственного бюджета, через тайную полицию. Впору было диагностировать у авторши психическое расстройство и обстоятельно лечить, но как обычно и бывает в таких случаях — проморгали и Шабельскую, и её сообщников. Так что они не унимались: проедали бюджетные денежки, публиковали там-сям свои портреты в кокошниках и косоворотках, а ещё истерически вещали о борьбе за русское дело, самодержавие и православие. И потихоньку — продолжали любить доброго кайзера.

Неудивительно, что вся компания во главе со старой морфинисткой в конце концов оказалась в Германии. Там они близко сошлись с молодыми немецкими наци:

для обеих организаций общей эмблемой стал *индийский знак, означающий вечность*. Свастика. Нацисты двух стран даже поселились в одном и том же сытом баварском городе — Мюнхене.

Ярого противника Пуришкевича, бывшего депутата Александра Ивановича Гучкова — того, что первым принялся бичевать Распутина и опубликовал памфлет «Гришка» с крадеными письмами императрицы — черносотенцы подкараулили на улице Берлина и жестоко избили. Этим дело не кончилось. Больше, чем октябриста Гучкова, русские нацисты ненавидели лидера кадетов Петра Николаевича Милюкова. Это ему Пуришкевич метил с трибуны стаканом в голову. Это он держал в Думе речь об интригах придворной пронемецкой партии и злых козням Распутина с императрицей-немкой.

Когда в марте 1922 года Милюков приехал в Берлин читать лекции, из Мюнхена в германскую столицу срочно прикатили двое. О случившемся в Берлинской филармонии написали газеты всей Европы.

Из второго или третьего ряда стульев быстро поднялся какой-то невысокого роста человек в чёрном пиджаке, блондин, лысый, с неприятным лицом дегенерата. Подойдя к П.Н. Милюкову на расстояние 4–5 шагов и держа револьвер в вытянутой руке, стал в него стрелять... Окружавшие Милюкова увлекли его из зала, Набоков бросился к стрелявшему, схватил его за руку, тот сопротивлялся, и оба упали на пол. В этот момент подбежал другой, тоже выстрелил и, освободив своего товарища, бросился с ним к выходу.

Сразу никто и не понял, что бывший депутат и член партии конституционных демократов Владимир Дмитриевич Набоков убит наповал. Дегенератом-стрелком оказался приёмный сын Шабельской. А сын погибшего, Владимир Владимирович Набоков, стал

писателем и номинантом литературной Нобелевской премии.

Всё-таки есть связь между умственными способностями — и национализмом! Прав был создатель австрийской контрразведки Альфред Редль, прав был его последователь Максимилиан Ронге: в стане врага не найти лучшего союзника, чем наци — этими узколобыми легко управлять.

Но и убийством Набокова черносотенцы не ограничились. Получив по двенадцать лет заключения, уже через пять при активном содействии германских друзей-нацистов они были выпущены на свободу за примерное поведение. Освободились — и окунулись в политическую борьбу: Национал-социалистическая рабочая партия процветала.

Молодой австриец, примеченный Максом Ронге на венском проспекте Паркринг, автор посредственных акварелек Адольф Гитлер покинул Вену в тот самый день, когда застрелился разоблачённый полковник Редль. Все попытки Гитлера поступить в Академию художеств оказались неудачными.

С началом войны Гитлер ушёл на фронт, получил звание ефрейтора и тяжёлое отравление немецкими ядовитыми газами: во время атаки ветер сменился и принёс отраву обратно на свои же окопы.

По возвращении ефрейтор-инвалид уже не брался за кисти и краски, ему хотелось настоящего дела. Нищая после войны Австрия не давала возможности развернуться. Адольф примкнул к германским нацистам и за несколько лет выбился в лидеры партии. Организовывал погромы и поджоги — благо, единомышленники из России научили.

Когда в 1933 году мюнхенцы пришли к власти, учителя оказались не забыты. Любимая ими свастика перекочевала на знамя Германии. А убийцы Набокова и последователи Пуришкевича получили от Гитлера

высокие посты: один — в Управлении делами русской эмиграции, другой — в Национальной организации русской молодёжи, эмигрантском нацистском комсомоле. Узнав об успехах черносотенцев, Набоков-младший переехал во Францию.

Германия, которая наголову разгромила Россию в утешительном футбольном матче Пятых Олимпийских игр в Стокгольме, лишила историю спорта трёх Олимпиад. Кроме Шестых игр 1916 года, из-за развязанных ею мировых войн пропали Двенадцатые игры 1940 года в Хельсинки и Тринадцатые — в 1944-м в Лондоне…

…а шестнадцать безответных мячей, пропущенных от немцев на Олимпиаде, остаются самым грандиозным поражением сборной России по футболу. Есть надежда, что счёт 0:16 уже никогда не будет превзойдён.

Чешский футболист-любитель Эрвин Киш, из-за проигранного матча рассекретивший самоубийство Альфреда Редля и одной своей статьёй поломавший военные планы трёх императоров, стал европейской знаменитостью. В Первую мировую воевал против России; начав солдатом, до конца войны выслужил офицерский чин. В тридцатые годы и во время Второй мировой — непримиримо боролся с нацистами.

Созданный Эрвином жанр художественного репортажа в почёте по сей день. Антология «Классическая журналистика» добавила Кишу известности, а книга «Неистовый репортёр» не только снискала славу, но и навсегда дала прозвище.

Ярослав Гашек, как и его ближайший друг Эрвин Киш, начал свой путь в литературе под влиянием Максима Горького — стремясь *жить и писать, как русский*. Гашек прослыл самым известным юмористом Австро-Венгрии, создав подобие энциклопедии юмора. Нередко выступал со сцены, и одним из его горячих поклонников был последний австрийский император

Карл. Когда рядового Гашека отправили на русский фронт, он тут же сдался в плен. После Октябрьского переворота в Петрограде вступил в Красную Армию. В 1920 году Ярослав Гашек оказался в Иркутске, где чехи решили печальную участь Верховного правителя России, адмирала Александра Васильевича Колчака. Опыт военной службы Гашека и его представления о бесконечном идиотизме войны легли на страницы мирового бестселлера про бравого солдата Швейка.

К писательству обратился и бывший чиновник Министерства внутренних дел, депутат Государственной думы трёх созывов Владимир Митрофанович Пуришкевич. Его напыщенный «Дневник» содержит немного правды, хотя не в пример более осмыслен, чем паранойя Елизаветы Шабельской, и за отсутствием литературных достоинств представляет определённый исторический интерес.

В книге Пуришкевич подробно рассказал свою версию заговора против Распутина. Получалось, что основная — и сомнительная — честь подготовки и совершения убийства принадлежала лично ему. Достоверно в «Дневнике» то, что Распутин убит, и то, что Владимир Митрофанович возненавидел песенку *Yankee Doodle*, которую с памятной ночи не мог слышать. Прочие подробности — фальшивы насквозь и не выдерживают даже поверхностной критики, но удивительно не это.

Пуришкевича, как и Сухотина, никто и никак не привлекал к ответу за участие в убийстве. Хотя оба не отрицали этого участия, а Владимир Митрофанович даже бахвалился встречным и поперечным, выставляя себя убийцей номер один. Как так? Ведь за уголовное преступление полагается судить и наказывать — в любое время и в любой стране!

Причина в том, что императору слишком хорошо была известна истинная картина событий. А главное —

он знал о вине в государственной измене и смерти Распутина членов императорской фамилии: своего кузена великого князя Дмитрия Павловича и мужа своей племянницы князя Феликса Юсупова. Усадив на скамью подсудимых Сухотина с Пуришкевичем, государь вынужден был бы поступить так же и со своими родственниками. А на это он не мог пойти ни из человеческих соображений, ни из политических. Страшно представить, *что* тотчас началось бы в стране, которую Николай Второй ещё надеялся удержать от безумства!

В итоге утром 17 декабря 1916 года Пуришкевич, как и планировалось, принял в своём санитарном поезде делегацию депутатов Государственной думы, а вечером преспокойно отбыл к румынскому фронту. В пути он получил от доктора Лазоверта дополнительные инструкции о том, чего нельзя говорить ни в коем случае. Сочинять складную историю обо всех событиях памятной ночи и пытаться уложить её в голове, лишённой некоторых умственных центров, британский разведчик не видел смысла.

Вскоре грянула Февральская революция, свергнувшая императора, за ней — Октябрьский переворот, действительно перевернувший страну. Тогда же, в октябре, Пуришкевич создал тайную контрреволюционную организацию. Целью объявил — реставрацию монархии и войну с Германией до победного конца.

Владимир Митрофанович писал письма генералу Алексею Максимовичу Каледину — герою Брусиловского прорыва, атаману мятежного Донского казачьего войска. Призывал как можно скорее идти на Петроград. Обещал поднять в городе восстание силами офицеров и юнкеров. По своим полицейским связям вовлёк в заговор профессиональных террористов.

Предполагал отметить победу над Советами, устроив публичные казни.

Несколько раз бешеного депутата арестовывали — сначала полиция Временного правительства, потом чекисты. Но — странное дело! — каждый раз освобождали. Хотя других и гораздо меньшая вина приводила на эшафот.

Верно говорят: кому суждено быть повешену, тот не утонет! Пуришкевичу не нашлось ни петли, ни пули. Судьба распорядилась иначе. Оказавшись в Новороссийске, бывший депутат и начальник санитарного поезда стал жертвой фекалий тифозной вши. Болезнь, которую сам Пуришкевич из любви к латыни называл исключительно *Typhus exantematicus*, только в России поразила за годы Первой мировой и Гражданской войны больше двадцати пяти миллионов человек.

Среди трёх миллионов умерших от сыпного тифа оказался и Владимир Митрофанович Пуришкевич — сотрясаемый лихорадкой, поражённый мозговыми гранулёмами… Он умер пятидесяти лет, так и не дождавшись литературной славы — «Дневник» опубликовало в Париже издательство Поволоцкого в 1921-м, через год после его смерти. Не дождался он и признания главным заговорщиком, главным убийцей Распутина и главным спасителем отечества.

Глава III. Лиля

Мало кто не видел этой фотографии, сделанной знаменитым Александром Родченко. Молодая женщина в косынке задорно кричит, рупором приставив ладонь к белозубому рту. В 1925 году картинка попала на плакат и призывала всю Россию: *Покупайте книги ЛенГИза!* Стильный снимок, ставший знаком эпохи, до сих пор охотно используют в рекламе; он то и дело попадается в Интернете…

Фотохудожнику позировала Лиля Брик.

Чем же брала эта женщина с большой головой и тяжёлым лицом, которое подёргивал тик? Некрасивая, щуплая, сутулая, тонконогая… Весь арсенал обольщения — только роскошные, тёмной меди волосы и большие глаза. Какая же особинка так неодолимо тянула к ней мужчин? Список жертв страстного влечения к Лиле впечатляет: профессиональный революционер, бывший президент Дальневосточной республики Александр Краснощёков и герой Гражданской войны Виталий Примаков; кровавый чекист Яков Агранов и художник Фернан Леже; писатель Юрий Тынянов и кинорежиссёр Сергей Параджанов; наконец, Лилин последний муж — литературовед Василий Катанян, изучавший творчество Владимира Маяковского, самого известного из её любовников…

Разное говорили о Лиле.

Она умеет быть грустной, капризной, женственной, гордой, пустой, непостоянной, влюблённой, умной и какой угодно… Как не поверить Виктору Шкловскому?

Зрачки её переходят в ресницы и темнеют от волнения; у неё торжественные глаза; есть наглое и сладкое в её лице с накрашенными губами и тёмными

веками… Так считал Николай Пунин, третий муж Анны Ахматовой.

Эта самая обаятельная женщина много знает о человеческой любви и любви чувственной…

Пожалуй, единственным мужчиной, на которого Лилины чары не действовали, был её первый муж — Осип Брик. Может быть, она потому и пошла именно за него: чувственной любовью Брик не интересовался. Всю жизнь пару связывали совершенно особенные отношения. Множество Лилиных романов и даже её замужества не смогли разлучить их. Осип женился после развода с Лилей, но тоже продолжал оставаться с ней. Их удивительных и странных чувств так и не смог понять никто.

В 1945 году на лестнице их арбатской квартиры Брика сразил сердечный приступ, и Лиля долго повторяла: *Когда умер Ося, умерла я.*

После Бурлюка, печатавшего стихи Маяковского в своих сборниках, Брик первым выпустил отдельным изданием, тысячными тиражами, поэмы Маяковского «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник». Издавал за собственные деньги, на свой страх и риск, — и открыл поэта действительно широкой публике.

Осип приютил Володю в квартире на Жуковского. Позже, переехав в Москву, Брики с Маяковским продолжали жить одним домом, одной семьёй. На дверях с табличкой, где значились их фамилии, как-то появилась эпиграмма. Поговаривали, что резвится Есенин.

Вы думаете, здесь живёт Брик —
Исследователь стиха?
Ошибаетесь — здесь живёт шпик
И следователь ЧК!

Не был Осип ни шпиком, ни следователем, но несколько лет действительно прослужил в юридическом отделе мрачной ЧК-ОГПУ. Вместе с Маяковским он организовал литературное объединение ЛЕФ — Левый фронт искусств. Издавал несколько журналов. Писал новаторские повести. В 1929 году по сценарию Брика режиссёр Пудовкин снял фильм «Потомок Чингисхана», который произвёл настоящий фурор не только в России, но и за рубежом — в тамошнем прокате он назывался «Буря над Азией».

Кино и стало для Осипа самой большой любовью. Он строил новый российский кинематограф, разработал теорию социального заказа и стал одним из ведущих сценаристов — со своеобразными взглядами.

Сценарий надо писать не до съёмки, а после. Сценарий — не приказ снять, а метод организации уже заснятого. Поэтому надо спрашивать не каким должен быть сценарий, а что должно быть заснято. Сценарная обработка материала — уже последующая стадия работы.

Двадцать лет кряду Осип Максимович руководил литературно-сценарным отделом одной из крупнейших киностудий страны — «Межрабпом-Русь», превратившейся сперва в «Межрабпомфильм», потом в «Союздетфильм» и ставшей, наконец, Киностудией имени Горького.

В конце тридцатых он, как и многие, как и Михаил Булгаков, писал оперные либретто — ставили охотно, платили хорошо. Брик с лёгкостью писал в любом поэтическом размере и не встречал затруднений в рифмах. Спросили его как-то:

— Вы, видно, и раньше стихами баловались?

— Что вы, что вы! Разве я мог — при Володе?!

И ещё Осип Максимович успевал преподавать в киноинституте.

Кинематографическую страсть с Бриком разделил Виктор Шкловский — как до того разделил ОПОЯЗ и службу в автошколе. Они крепко дружили. Виктор долгие годы вспоминал седьмой дом по улице Жуковского:

— Отворилась дверь сорок второй квартиры. Не дверь, а обложка. Я вошёл и открыл книгу, которая называется *История жизни Осипа и Лили Брик*.

С Маяковским его тоже связывали не только воспоминания. Если Володя после смерти отца постоянно мыл руки, то Виктор терпеть не мог грязной посуды, и мыть её порывался даже в гостях.

После отречения императора Шкловский участвовал в работе Петроградского совета. Стал помощником комиссара Временного правительства и снова оказался на Юго-Западном фронте. Там геройски воевал и получил в живот пулю навылет. Генерал Лавр Георгиевич Корнилов лично вручил ему Георгиевский крест.

Едва оправившись от раны, Шкловский помчался в Северный Иран — организовывать вывод русских войск. В Петроград сумел вернуться только в 1918-м и тут же попал в Художественно-историческую комиссию Зимнего дворца.

За участие в антибольшевистском заговоре Виктора ловило ГПУ, и он, по примеру Велимира Хлебникова, скрывался в саратовском сумасшедшем доме — писал там книгу по теории прозы. Все его работы на редкость глубоки, а число их не поддаётся счёту. В 1920 году совсем ещё молодого Шкловского избрали профессором Российского института истории искусств. Только до этого будущий профессор успел ещё полгода повоевать в Красной Армии на Украине.

Когда ГПУ опять собралось припомнить Шкловскому старое, один из руководителей государства, Лев

Троцкий, — уж не без помощи связей Брика, точно! — выдал охранный документ.

Податель сего гражданин Шкловский арестован лично мною и никаким арестам более не подлежит.

И всё же пришлось Виктору бежать от слишком ретивых гепеушников, которым и Троцкий не указ. По льду в Финляндию, оттуда — в Берлин.

Помыкавшись за границей, Шкловский вернулся — позволили. Снова помогли связи друзей, дело о контрреволюции замяли. Он поселился в Москве и с утроенной энергией окунулся в творчество. Работал с Маяковским и Бриком в ЛЕФе. Труды по теории литературы перемежал киносценариями, сценарии — прозой...

Каждый слышал название одной из его книг 1928 года — «Гамбургский счёт». Речь там велась о подлинной значимости художника. Писатель — как борец. На цирковых чемпионатах атлетам приходится поступать так, как требует антрепренёр. На заказ выигрывать, проигрывать... Но чтобы, по выражению Маяковского, не *исхалтуриться* — раз в году самые именитые борцы собираются в одном из трактиров Гамбурга и за закрытыми дверьми выясняют отношения уже не в договорных схватках, а в настоящих. Определяют действительно сильнейшего — *по гамбургскому счёту*.

— Есть два пути, — говорил Шкловский. — Первый — спрятаться, окопаться, зарабатывать деньги не литературой и дома писать для себя. Второй — фиксировать жизнь и добросовестно искать правильное мировоззрение. Третьего пути нет. Вот по нему-то и надо идти!

Идучи по этому несуществующему третьему пути, Шкловский написал невероятно много. Чего стоит один только авантюрный роман «Иприт»! Книжка выдалась злой и хулиганской, а сделана была в традициях

красного Пинкертона — того самого, из пошлых детективчиков, которые обсуждал и осуждал Виктор с Бриком и Северяниным. Автор забавлялся полупародией, но шум из-за романа поднялся нешуточный: больно живо смотрелись описания химической войны и мировой революции в ближайшем будущем!

Полная приключений жизнь Шкловского, разящее остроумие и неуживчивый характер сделали его прототипом героев «Белой гвардии» Михаила Булгакова и «Котлована» Андрея Платонова, а ещё — книг Ольги Форш, Всеволода Иванова и Вениамина Каверина. Виктор чудом избежал репрессий и заслуженно получил Государственную премию по литературе; на своеобычном стиле его письма упражнялись пародисты…

Упражнялись долго — академик прожил девяносто один год. В последнем интервью на вопрос о том, что его сейчас волнует, он ответил:

— Некогда волноваться. Работать надо!

Виктора Борисовича Шкловского не стало в 1984 году. А в далёком 1923-м, изнывая от тоски в Берлине, он написал самую, может быть, известную и светлую свою книгу «Zoo. Письма не о любви, или Третья Элоиза».

По Шкловскому, любовь — это пьеса с короткими актами и длинными антрактами. Самое трудное — научиться вести себя в антракте. Такой вот антракт и случился в Берлине. А любовь, нежную и безответную любовь к белокурой Эльзе — сестре рыжей Лили Брик — Виктор Шкловский выплакал на страницах «Zoo». Так и не полюбила его Эльза, которая глядела совсем в другую сторону и спрашивала Маяковского:

Ты мне ещё напишешь? Очень бы это было хорошо! Я себя чувствую одинокой, и никто мне не мил, не забывай хоть ты, родной, я тебя всегда помню и люблю.

Одинокая Эльза хотела по примеру Лили стать музой поэта, а вместо того в 1918 году неожиданно для всех выскочила замуж за офицера Андрэ Триоле из представительства Франции в России. Француз стихов не писал и в других талантах замечен тоже не был. Просто элегантный, состоятельный и успешный молодой человек из-за границы.

С мужем Эльза укатила на Таити и сперва наслаждалась райским уголком, яхтами и праздной жизнью. Наслаждалась, пока не забылся стылый Петроград, большевистский террор, голод… Потом заскучала. Писала сестре:

Андрей, как полагается французскому мужу, меня шпыняет, что я ему носки не штопаю, бифштексы не жарю и что беспорядок. Пришлось превратиться в примерную хозяйку. Во всех прочих делах, абсолютно во всех — у меня свобода полная.

Полная свобода оказалась соблазнительной, так что с мужем Эльза Триоле скоро разошлась. И опять возник на горизонте пусть и далёкий, но по-прежнему верный Шкловский со своими признаниями: *Люблю тебя немыслимо, прямо ложись и помирай!*

В какой-то момент она устала — и навсегда запретила Виктору упоминать о своей любви. Тогда и появился на свет роман «Zoo». Шкловский включил в текст несколько писем Эльзы. Прочитав их, всеобщий учитель Максим Горький порекомендовал молодой женщине заняться литературой.

Первый роман Эльзы Триоле назывался «На Таити». Его она написала по-русски. Позже, прочно обосновавшись в Париже, перешла на французский. А в 1928 году в кафе «Купель» на Монпарнасе встретила умницу и красавца, писателя Луи Арагона. Видно, Эльзе тоже досталась некоторая толика удивительного таланта, которым обладала Лиля: она сумела влюбить в себя гомосексуала, отвлечь его от сюрреалистических

экспериментов и прожить во взаимном уважении и творчестве больше сорока лет под одной крышей.

Эльза Триоле проиграла старшей сестре Лиле любовь Маяковского, но в творчестве одержала сокрушительную победу. Знаменитая французская писательница из России стала первой женщиной-лауреатом престижной Гонкуровской премии. Для всех она была женой Луи Арагона, и никто уже не вспоминал ни её подросткового романа со скандальным кубо-футуристом, ни замужества за непоэтичным офицером.

Романтик Николай Гумилёв получил офицерские погоны с началом войны. Поэт и завсегдатай «Бродячей собаки», бредивший Египтом и Абиссинией, мечтавший о карьере этнографа, — он поступил добровольцем в уланский полк. Воевал славно и в боях заслужил два Георгиевских креста. Поражался прозе жизни.

Ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги. Под одним нашим уланом пуля пробила седло как раз в тот миг, когда он поднимался на рыси; секунда до или после, и его бы ранило.

Даже на войне Гумилёв успевал писать стихи и пояснял:

— Искусство для меня дороже и войны, и Африки.

Перейдя из улан в гусары, Николай отправился с русским экспедиционным корпусом в Грецию. В восемнадцатом году вернулся в Россию, переводил французских и английских поэтов, много и талантливо писал, хорошо издавался. Летом двадцать первого был арестован как участник офицерского заговора. Через три недели Николая Гумилёва расстреляли.

Он стоит над раскалённым горном,
Невысокий старый человек,
Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.
Все товарищи его заснули,
Только он один ещё не спит,
Всё он занят отливаньем пули,
Что меня с землёю разлучит…

С утончённой Анной Горенко, которой Гумилёв посвятил свои «Романтические стихи», их разлучила не пуля. Просто появились новые женщины, обуяли новые страсти…

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стёртые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
…А я была его женой.

Отец запрещал публиковаться под собственной фамилией, и она подписывалась — Ахматова. В честь прабабушки, происходившей из старинного княжеского рода. Женой Анна назвалась тоже самовольно: их обвенчали только через год после этих её стихов, в 1911-м.

Ещё спустя несколько лет — уже про их с Гумилёвым любимую «Собаку», про фрески Судейкина и Кульбина писала Ахматова.

Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.
Ты куришь чёрную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться ещё стройней…

Такой впервые и увидал Анну Ахматову Маяковский. Про «Бродячую собаку» писала она пушкинским слогом.

Да, я любила их — те сборища ночные,
На низком столике — стаканы ледяные,
Над чёрным кофием голубоватый пар,
Камина красного тяжёлый зимний жар…

Однажды на углу Литейного проспекта с Невским — он тогда был переименован в проспект Двадцать Пятого Октября — Анна увидала попрошайку, не старого ещё мужчину в отрепьях. Удивлённая, узнала лицо: то был Александр Тиняков, автор памятного *плевка-плевочка*. После переворота в семнадцатом году он известил окружающих:

Я вступил в половое общение
С похотливою, жирной старухой.
И — привязан к ней крепкой присухой,
Не питаю к себе отвращения!

Так Тиняков опоэтизировал своё устройство на работу в ЧК. Вступил — и не питал отвращения… Однако несмотря на усердие и достаточную

кровожадность, на службе не удержался: подвело беспробудное пьянство. Кончилось тем, что вышибли его отовсюду, и превратился неопрятный поэт-бородач и бывший чекист — в профессионального нищего. Даже место персональное имел как раз на том углу, где встретила его Ахматова.

Тиняков всегда ревновал к таланту и успеху Гумилёва — с тех пор, когда впервые услыхал его стихи. С тех пор, когда увидал, как поэта любят женщины и как публика раскупает его книги. Бесился в бессилии — долго, пока не стал чекистом. Тут он смог отомстить. Арест Гумилёва и обвинения в контрреволюции были на тиняковской совести. Сам постарался, и похотливая старуха-чрезвычайка помогла. А уж за казнью дело не стало. Только не знала этого Ахматова. И потому, стесняясь и не желая обидеть, спросила давнего знакомца:

— Скажите, Саша, вам можно подать?

Подала, хотя с деньгами дело обстояло туго. До начала двадцатых поэтическая слава Анны росла, но после — печататься стало всё сложнее. Выжить помогли сто пятьдесят поэтов со всего мира. Помогли тем, что писали стихи: Ахматова зарабатывала их переводом. А с Тиняковым уже больше никогда не встречалась.

Его где-то —
никто не узнает, где точно, —
зарыли,
но у пьяной от крови эпохи
на рыле
он остался
одним из заслуженных ею плевков.

Есть восточная мудрость: не воспевай драгоценные камни. Хочешь создать розу — стань землёй. Вот и

Ахматова сказала:

Но ложимся в неё и становимся ею.
Оттого и зовём эту землю своею.

А вот — снова Тиняков:

В сердце чистое нагажу,
Крылья мыслям остригу,
Совершу грабёж и кражу,
Пятки вылижу врагу!

Услышав такое признание, знакомец поручика Сухотина по госпиталю миндальноглазый штабс-капитан Михаил Зощенко был потрясён. Почудились ему нотки самого выдающегося из подонков Достоевского:

— Эти строчки написаны с необыкновенной силой! Это *смердяковское* вдохновенное стихотворение почти гениально!

Зощенко закончил войну героем, командиром батальона, с тремя ранениями и пятью орденами. После Февральской революции служил комендантом Главного почтамта и телеграфа в Петрограде. Когда власть взяли большевики — в поисках средств к существованию вступил в Красную Армию. Под Нарвой водил в бой против немцев Первый Образцовый полк деревенской бедноты. Как закончилась Гражданская — пытался устроиться в мирной жизни и обратился к писательству. Вступил в группу «Серапионовы братья».

Вдохновлял «братьев» Виктор Шкловский, который гордился тем, что не учил писать, а *рассказал им, что такое литература*. Отравленный немцами Зощенко в ответ поделился ужасами газовой атаки — для романа «Иприт». О хитростях солдат, придумавших заваливать

соломой брустверы окопов. Когда приближались клубы немецкого газа, солому поджигали. Воздух, разогретый жарким пламенем, устремлялся вверх — и смертоносный иприт уносил с собою.

Зощенко было легко со Шкловским, уж слишком во многом сходились их биографии, а руководил группой Николай Корнейчуков, участник скандала с Маяковским в «Бродячей собаке», узаконивший своё новое имя — Корней Чуковский. Живо интересовался молодёжными успехами вездесущий Максим Горький, который определил у бывшего штабс-капитана недюжинный дар: *Такого соотношения иронии и лирики я не знаю ни у кого!*

В популярности у Михаила Зощенко скоро не стало соперников, кроме разве что фельетониста Михаила Булгакова — не любившего ни Шкловского, ни Маяковского, и вообще мало кого любившего.

Сам не зная того, Зощенко реализовал мечту Маяковского: литература и улица заговорили на одном языке. Только если молодой поэт, которого штабс-капитан однажды выручил в «Привале комедиантов», намеревался сам создавать этот язык, то молодой писатель поступал наоборот.

Обычно думают, что я искажаю «прекрасный русский язык», что я ради смеха беру слова не в том значении, какое им отпущено жизнью, что я нарочито пишу ломаным языком для того, чтобы посмешить почтеннейшую публику. Это неверно. Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица. Я сделал это для того, чтобы заполнить хотя бы временно тот колоссальный разрыв, который произошел между литературой и улицей.

К концу тридцатых уже было издано шеститомное собрание сочинений Зощенко, он писал недурные пьесы…

Их с Ахматовой подкосили одновременно в 1946 году, когда своим известным постановлением Центральный комитет партии коммунистов объявил обоих врагами литературы, а Зощенко — ещё и *пошляком, пасквилянтом, литературным хулиганом и подонком, изображающим людей труда — бездельниками и уродами*. Страшно услыхать такое с самых вершин кровожадной власти!

Большинство коллег поспешили порвать с попавшими в опалу. Первым делом Ахматову и Зощенко исключили из Союза писателей, обрекая на голодную смерть: публиковаться в те поры могли только члены Союза. Но они выжили. Даже когда большевистские *смердяковы* снова обрушились на них в 1954-м.

Однажды — это было в конце тридцатых — Михаил Зощенко с Корнеем Чуковским беседовали, сидя на лавочке в Сестрорецке. К ним подошла миловидная женщина и заговорила о своих нежных читательских чувствах.

— Вы не первая принимаете меня за Зощенко, — сказал поклоннице Михаил Михайлович, — но вы ошибаетесь. Меня с ним часто путают. Приятно, конечно, только я — Бондаревич.

Под этой фамилией он даже ездил отдыхать в Крым, скрываясь от популярности. Самозванцы на курортах выдавали себя за знаменитого писателя и охмуряли провинциальных барышень…

…но теперь Зощенко, прогуливаясь по улицам Кирочной и Сергиевской — которые получили имена Салтыкова-Щедрина и Чайковского — печально улыбался, завидев знакомого. И переходил на другую сторону мостовой, чтобы *помочь не узнать себя и не поздороваться*.

Сбылись пророчества. Настала эра *Грядущего Хама*, которого предсказывал историк Дмитрий Мережковский, любивший погостить у друзей в

гостинице «Пале-Рояль» и едва не потерявший там жену. Свершилось крушение великой империи, выпавшее на 1917 год — в точности по расчётам Велимира Хлебникова.

Стыдливо надевая одежды после купания в ручье смерти, — дал клятву я, последнее, что я мог сделать с детским гробиком вместо сердца, когда-то умевшего биться.

Хлебников поставил себе задачу — и выполнил её, открыв законы времени, которые *одинаковы для государства и человека, славы, памяти, божества, храма и вещи*. Не властны над ними — ни солдат, ни генерал, ни крестьянин, ни президент, ни холоп, ни император. Лишь поэт, познавший тайны чисел и слов, может сообщить другим эти законы.

И звёзды это числа,
И судьбы это числа,
И смерти это числа,
И нравы это числа.
Счёт бога, измерение бога
Мы, богомеры, написали
На знамени…

Снова и снова повторял Велимир своим друзьям: *Не события делают времена, а времена делают события*. Он искал правила, которым подчинялись бы народные судьбы. И нашёл.

Я утверждаю, что года между началами государств кратны 413-ти.

Что 1383 года отделяют паденья государств, гибель свобод…

В 534 году было покорено царство Вандалов; не следует ли ждать в 1917 году падения государства?

Государство пало.

У новогоднего стола в квартире Бриков на Жуковского, где поэты отмечали наступление 1916 года, Осип шутки ради предложил тост *за Короля Времени*, за Велимира Хлебникова — не задумавшись, что тот уже вознёсся мыслью в такую высь, откуда и прошлое, и настоящее, и будущее видны одним неразрывным целым. Откуда видится единство времени с пространством. Откуда даже гибель империи выглядит не трагедией, а лишь закономерным окончанием жизненного цикла.

Как гусеница думает о поре, когда она станет крылатой бабочкой, и готовится к этому, так в глубине верований всех народов таилось учение о грядущем преображении человечества.

Днями и ночами Хлебников пропадал в Публичной библиотеке и работал над изысканием чисел. Друзья посмеивались, а он забывал пить и есть и приползал домой — едва живой и серый от голода.

В 1917 году появилась новая власть, советская. Велимир записал: это — очередной временной узел, начал биться новый исторический пульс. Он сел за расчёты и определил, что ударами расширения власти станут 1921, 1923, 1939 годы — и, после затухания, неожиданный рецидив случится в 2007-м. Велимир предсказал начало новой экономической политики и то, до чего не дожил — всплески остервенелой борьбы большевиков между собой, попытки поделить Европу с Германией и начало новой войны.

Предсказал Хлебников и удары ослабления советской власти: в 1941 — вступление во Вторую мировую и близость катастрофы, в 1953 — конец целой кровавой эпохи, в 1962 — Карибский кризис и едва не начавшуюся Третью мировую, в 1989 — начало конца, и точку — в 2025-м.

Велимир Хлебников первым заявил о Большом Взрыве. Физиков очень смущала мысль: если вселенная

нестабильна, значит, у неё будет конец — и было начало. Но ведь это подтверждает существование Творца... Физиков мысль смущала, Хлебникова — нет. Теорию пульсации *создали* и разрабатывали уже после его смерти. После его пророческих слов:

Я утверждаю свою убежденность в пульсации всех отдельностей мироздания и их сообществ. Пульсируют солнца, пульсируют сообщества звезд, пульсируют атомы, их ядра и электронная оболочка, а также каждый входящий в неё электрон. Но такт пульсации нашей галактики так велик, что нет возможности ее измерить. Никто не может обнаружить начало этого такта и быть свидетелем его конца. А такт пульсации электрона так мал, что никакими ныне существующими приборами не может быть измерен. Когда в итоге остроумного эксперимента этот такт будет обнаружен, кто-нибудь по ошибке припишет электрону волновую природу. Так возникнет теория лучей вещества.

Он — поэт, не физик! — во время Гражданской войны описал Теорию Струн, до которой лучшие умы добрались лишь через полвека. И самый разрекламированный научный проект всех времён, Большой адронный коллайдер, достроенный в двухтысячных годах, призван подтвердить то, что для Велимира Хлебникова стало очевидным давным-давно. Самое большое и самое дорогое устройство в мире — против маленького усталого человека с выцветшими виноватыми глазами, который носил раздёрганные листы своих записей в наволочке.

Вместо зауми формул Хлебников чудесным образом ухитрялся говорить о своих пророчествах — стихами.

Я умер и засмеялся:
просто большое стало малым,
малое большим,
просто во всех членах уравненія Міра
знак «да» заменён
знаком «нет».
Таинственная нить уводила меня
в мір бытия, и я узнавал
вселенную внутри моего кровяного шарика.

Мір — именно так, через *«і»*, не в значении *отсутствие войны*, а — по Брокгаузу и Ефрону — в значении *связная совокупность множественного бытия*.

Велимир Хлебников полагал вдохновение постоянным током от всего к себе как творцу, а творчество — обратным током от себя ко всему. И потому, как настоящий вдохновенный творец, не принимал того, что чуждо этого общения — союзы, государства…

Творчество человека не есть требование человека и право его, а есть требование Бога от человека и обязанность человека. Бог ждёт от человека творческого акта как ответа человека на творческий акт Бога.

Маяковский пытался ставить словотворческие эксперименты по опыту Хлебникова. Его неологизмы, его игры словами и звуками, пугающие школьников и студентов вопросами экзаменационных билетов — результат следования путём Велимира. Его жест — *Я дарю вам стихи, весёлые, как би-ба-бо* — чем не продолжение хлебниковских строк *Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры,* процитированных как-то Бурлюком?! Изображение Маяковским врагов России, которые в «Левом марше» *стальной изливаются леевой*

— неуклюжая попытка соревноваться с Велимиром, сочинившим шесть тысяч новых слов.

Любой, даже не слыхавший о Шкловском, свободно пользуется его *гамбургским счётом*. Каждый человек в мире, кто говорит по-русски, даже не знающий Хлебникова, знает минимум одно слово, которое придумал Велимир. Это слово — *лётчик.* И не столь распространённую, но такую точную *заумь* тоже придумал он.

— Люди моей задачи часто умирают тридцати семи лет, — философски заметил однажды Велимир Хлебников. — И мне уже тридцать семь.

Я умер и засмеялся:
просто большое стало малым.

Вот так просто. Умер, когда сам решил. Даже место смерти описал несколькими годами раньше. В низовьях Волги родился — упокоился у истоков. Символично для человека, жившего поперёк пространства и времени!

Он верил, что лучшая замена *вражде стран — ворожба струн*, однако вынужден был надеть военную форму. В 1916 году поэт метался вдоль великой реки — из Астрахани в Царицын, из Царицына в Саратов…

…как другой поэт, Александр Блок, призванный в ополчение, метался по берегам Невы. Если двадцатилетним мальчишкам Маяковскому и Есенину повезло отвертеться от фронта, то почти сорокалетнему Блоку — почти повезло. Натерпевшись страху, он оказался под белорусским Пинском, служил табельщиком в инженерно-строительной дружине. После Февральской революции — вернулся в Петроград и работал в Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию преступлений царского правительства.

Конечно, как и Брик в ЧК, он не был следователем: его пригласили редакторовать стенографические отчеты.

Александр Блок участвовал в допросах бывшей фрейлины Анны Вырубовой, бывшего главы полиции Степана Белецкого и многих из тех *бывших*, кто мог пролить свет на тайну жизни и смерти Григория Распутина. Перелопатил гору материалов и многое успел понять — и про Распутина, и про тех, кто были вокруг него.

Блок внезапно умер в двадцать первом, сказав на прощанье: *Россия съела меня, как глупая чушка своего поросёнка*… Уже после смерти поэта вышла его книга «Последние дни императорской власти».

Недюжинность распутного мужика, убитого в спину на юсуповской «вечеринке с граммофоном», сказалась, пожалуй, более всего в том, что пуля, его прикончившая, попала в самое сердце царствующей династии.

К слову о граммофоне и вечеринке — Блок старался не пропускать представлений, которые давал по петроградским кафешантанам его добрый приятель, куплетист Михаил Савояров. Когда Всеволод Мейерхольд ставил в театре блоковский «Балаганчик», поэт заставил маститого режиссёра смотреть Савоярова, уверяя, что *этот балаганчик куда лучше нашего*.

И жену свою, Любовь Менделееву, Блок не раз приводил поучиться манере короля музыкальных эксцентриков. Именно в этой манере написал он свою поэму «Двенадцать», которую желала исполнять с эстрады Любовь Дмитриевна.

Стихи, посвящённые Октябрьскому перевороту, публика отвергла. Много позже, став академиком, Шкловский нашёл этому объяснение: Блока привыкли принимать слишком всерьёз. Поэму «Двенадцать» осудили, не заметив в ней савояровской эксцентрики и

необычной для Блока иронии. Блатного стиля не углядели — или приняли за пафос новой формы. Поклонники не могли допустить мысли, что знаменитый поэт — в первый и последний раз! — написал босяцкие частушки. Какое кощунство… Хотя Савоярова знал и любил не только Петроград — вся Россия заслушивалась куплетами, которые крутил на пластинках Феликс Юсупов в ночь убийства Распутина.

А вот услышать в собственном театре, как стихи Блока, Ахматовой и Гумилёва напевно читает под гитару Александр Вертинский, князю так и не довелось. Не сбылось бы и желание Феликса — угостить автора «Кокаинетки» порошком из перламутровой коробочки: страстный кокаинист Вертинский бросил наркотики, когда от передозировки умерла его сестра Надя — *одинокая глупая деточка, кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы.*

Известность Александра Вертинского стремительно росла. Он объявил себя футуристом и поменял белый костюм Пьеро, заимствованный из комедии дель арте, на чёрный. Так посоветовал ему Маяковский, для которого уроки Бурлюка не прошли даром.

Потрясений Февральской революции семнадцатого года Вертинский почти не заметил, занятый гастролями и концертами: чёрный Пьеро был нарасхват и наслаждался успехом. Его дребезжащий голос и грассирование начал пародировать сам Савояров — знак действительной популярности! Наконец, произошло то, о чём мечтает любой артист. Вся Москва расцветилась афишами бенефиса Александра Вертинского. Сольное представление, знаменующее пик славы, назначили на двадцать пятое октября — и в этот день случился военный государственный переворот: в Петрограде свергли Временное правительство.

Россию охватила Гражданская война. Её волнами певца помотало по российскому югу — и вместе с

армией эмигрантов в 1919 году унесло в оккупированный англичанами Константинополь. Русских там оказалось несметное количество. Будто сбылись навязчивые идеи депутатов Думы, от которых сатанел император Николай, — и древняя Византия на самом деле отошла к России.

Вертинский продолжал петь свои *ариетки* про безноженьку и лилового негра, подающего манто; про маленькую балерину и пальцы, пахнущие ладаном; про распятую кокаином московскую девочку и расстрелянных юнкеров. Пел в Бессарабии, Румынии, Польше, Германии… Берлин двадцать третьего года подарил ему встречу с Виктором Шкловским, бежавшим от ГПУ. Приятели крепко выпили, вспоминая «Привал комедиантов» и разгульное футуристское житьё.

Остатки рафинированного российского общества уже прочно обосновались во Франции, и Вертинский перебрался в Париж. Ресторан «Казбек», что на холме Монмартр, охотно принял потускневшего эстрадного кумира, и впервые за пять лет Александр вздохнул с облегчением.

Былая слава постепенно возвращалась. Вертинский свёл, наконец, знакомство и с князем Юсуповым, и с великим князем Дмитрием Павловичем. Его публикой стали члены европейских королевских домов и магараджи из Индии; американские мультимиллионеры и знаменитые киноартисты — Дуглас Фербенкс, Чарли Чаплин и Марлен Дитрих. Он подружился с Фёдором Шаляпиным и Анной Павловой…

Почти четверть века между мировыми войнами Александр Вертинский провёл вдали от России. Концертировал в Палестине и Соединённых Американских Штатах, пел для русской колонии в Китае — и всё ждал разрешения вернуться.

Разрешение выдали в 1943 году, когда настал перелом во Второй мировой войне. Россия крушила

хребет Германии, внешняя политика большевиков менялась. Целое поколение выросло, не зная ни былого любимца целой страны, ни самой страны, канувшей в небытие: прежняя слава Александра в России длилась от силы года три, а потом на двадцать лет государство закрылось от всего мира и жило своей жизнью…

…и всё же память о Вертинском сохранилась. Этим он обязан всё тому же Михаилу Савоярову: не пожелав эмигрировать, эксцентрик надевал костюм Пьеро и выступал с едкими пародиями на *знаменитого артиста Валертинского* едва ли не до своей кончины.

На этих пародиях и песенках выросли ученики Михаила Михайловича. Самый известный из них — Аркадий Райкин, на долгие десятилетия ставший для России артистом эстрады номер один. Другой савояровский ученик, Александр Менакер, был известен меньше — зато невероятной популярностью пользовался его сын Андрей Миронов. В конце семидесятых годов Андрей исполнил в кино ту самую «Деревенскую сценку» Савоярова, что так раздражала Верочку Каралли на вечеринке у Феликса Юсупова.

По селу бегут мальчишки,
Бабы, девки, ребятишки,
Словно стая саранчи.
В трубы дуют трубачи…

Правда, мелодию подправил композитор Андрей Петров, а по тексту прошёлся вроде бы Александр Галич.

Сохранился и другой разухабистый шлягер Михаила Савоярова, популярный в годы Первой мировой у столичной публики.

Алёша, ша!
Бери на полутона ниже,
Брось арапа заправлять!

Блатная песенка долетела с берегов Балтики на Чёрное море — то ли с красными матросами, то ли с белыми эмигрантами, то ли просто сделали своё дело тысячи проданных пластинок. И хотя сочинил Савояров этот русский шансон про питерскую Лиговку, стал «Алёша» настоящим одесситом:

Как-то раз по Ланжерону я гулял,
Только порубав на полный ход.
Вдруг ко мне подходят мусора́:
«Заплатите, гражданин, за счёт!»

Великий эксцентрик Михаил Савояров умер в 1941 году в Москве: во время очередной бомбёжки не выдержало сердце. Но концерты и пластинки сохранили для публики Александра Вертинского. Блистательный пародист превратил картавого манерного певца *из бывших* — в легенду русского шансона. Новое явление чёрного Пьеро, да ещё в такой драматичный момент, во время Второй мировой войны, стало подлинным триумфом.

Увы, не настолько удачливым оказался Игорь-Северянин, которому подражал Вертинский в начале карьеры.

Старый Лев Толстой, совсем себе на уме, хвалил жалких стихоплётов — и отказывал остальным в праве на существование. Так что его критика иронического стихотворения Игоря «Хабанера II» — *Вонзите штопор в упругость пробки...* — вызвала огромный интерес и у публики, и у издателей. Слава пришла сразу.

Безграничная популярность Северянина собирала тысячи зрителей на его *поэзоконцертах* по всей России, от Минска до Кутаиси. И не один Вертинский пытался работать *под Северянина* — таких подражателей сыскалось великое множество.

Войны и революции словно обходили его стороной: Игорь постоянно, много и успешно выступал. В феврале 1918 года на поэтическом вечере в московском Политехническом музее Северянина торжественно избрали *Королём Поэтов*. Его приятелю Маяковскому досталось второе место.

С новым титулом Игорь-Северянин отправился на отдых в Эстонию, в приморский посёлок Тойла. Дышал свежим балтийским ветром, гулял среди вековых сосен и мохнатых ёлок, ловил рыбу, собирал грибы… Он даже не заметил, как Эстония отделилась от России.

Не по собственной воле став эмигрантом, Игорь по-прежнему считал себя дачником и ждал, когда всё образуется. На советскую власть — в отличие от многих и многих — не огрызался, а занимался своим делом. В первые пять лет заграничной жизни он выпускал по книге каждые полгода, переводил эстонских поэтов, гастролировал в Чехии и Финляндии, Латвии и Германии.

Приехав выступать в Берлин, увидал афиши Вертинского. Подумал о своём подражателе без былой неприязни, однако на концерт не пошёл. А вот Вертинский как раз отправился послушать Северянина и, сидя в последнем ряду, дивился тому, насколько силён мастер и насколько не поблекли его краски. Подходить к поэту после концерта Александр не стал.

В Чехии *поэзоконцерты* российской знаменитости попали в поле зрения *неистового репортёра* Эрвина Киша: да и как же мог певец ночной Праги, выросший на русской литературе, пропустить такое событие! Само

собой, компанию Эрвину составил закадычный приятель — Ярослав Гашек.

Следующие пару лет Игорь-Северянин экспериментировал в сложнейшем жанре: писал стихотворные автобиографические романы. Его «Колокола собора чувств» разбудили бы и спящего. Потом года на четыре замолчал снова — и снова начал концертировать по Европе. Принимали хорошо, но публиковать не торопились:

Издателей на настоящие стихи теперь нет. Нет на них и читателя. Я пишу стихи, не записывая их, и почти всегда забываю.

В 1935 году Игорь ушёл от единственной своей законной жены, прожив с нею шестнадцать лет, и стал жить с новой пассией.

Ты влилась в мою жизнь,
точно струйка Токая
в оскорбляемый водкой хрусталь…

Признание возлюбленной, достойное *Короля Поэтов*! Только на беду свою она пописывала стишки. И как провинциальная поэтесса — удостоилась бедняжка от Игоря совсем других слов, уничижительной эпиграммы:

Есть — по теории
Невероятности —
В этой инфузории
Признаки опрятности.

Рассказывали, что заядлый рыбак Северянин часто ходил на лодке по Россони — протоку между эстонской речкой Наровой и российской Лугой. Там у пограничной колючей проволоки пил водочку, плакал, читал стихи… Напоследок бросал в воду венок полевых цветов, чтобы

течение отнесло их на родину. Облегчив душу, грёб обратно. Бытовал такой анекдот: мол, в 1938 году Северянин за одно лето целую советскую пограничную заставу проплакал. Солдатики жалели седого поэта и от проволоки не гоняли, а политрук отдавал их под трибунал — за нарушение устава пограничной службы и связь с эмигрантом.

Игорь Васильевич Лотарёв-Северянин умер во время Второй мировой войны, вскоре после немецкой оккупации Эстонии. По нём осталась скромная могила на Александро-Невском кладбище Таллина со знаменитой эпитафией:

Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

Другие же стихи — его собственные, написанные на патриотическом подъёме в начале Первой мировой, — откликнулись ему двадцатью годами раньше.

Будучи на гастролях в Германии, Игорь заглянул однажды в берлинский ресторан «Медведь», самый популярный у русских эмигрантов. Навстречу ему бросился полупьяный Алексей Толстой. Огромный, со встрёпанной шевелюрой, толстый Толстой раскинул руки и вальяжным голосом протрубил на весь ресторанный зал северянинское:

Друзья! Но если в день убийственный
Падёт последний исполин,
Тогда ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин!

Закончив, облапил смешавшегося поэта.

— Какой же вы молодец! Не обманули! Сдержали слово: сказали — приведу в Берлин, и привели! Спасибо

вам, наш нежный, наш единственный!

Отступил на шаг, громко всхлипнул и под хохот публики отвесил Игорю земной поклон. Алексей Толстой, один из отцов-основателей «Бродячей собаки». Заведший *Свиную книгу* в подвале на Итальянской. Выдумавший на итальянский лад Буратино с Карабасом-Барабасом. Оказавшийся в эмиграции сознательно.

Он — в отличие от санитаров Есенина и Вертинского, чертёжника Маяковского и табельщика Блока — действительно был на войне. Корреспондентом «Русских ведомостей» Толстой колесил по фронтам, по армиям России и союзников.

После Февральской революции Толстой заинтересовался историей государства, ворошил архивы и начал писать роман «Пётр Первый», но после Октябрьского переворота через Одессу уехал в Париж. Понял: с большевиками ему не по пути.

Алексей заявлял, что происходит от графа Николая Александровича Толстого. Прочие родственники в один голос возражали, уверенные, что матушка прижила его от своего любовника, помещика Бострома. Но — Алексей Николаевич упрямо назывался графом и пожить любил широко: покушать всласть, попить вволю, как привык в России. Денег не хватало, Париж скоро пришлось поменять на Берлин.

В нищей Германии, где за тысячу американских долларов продавались огромные дома, а за сто — чемодан немецких марок, жизнь оказалась Толстому по карману. Несколько лет он писал, писал, писал… Научно-фантастический роман «Аэлита», комедия «Любовь — книга золотая», первая часть «Хождений по мукам», «Граф Калиостро», «Детство Никиты», «Рукопись, найденная под кроватью» — всё написано там, вдали от России.

«Пётр» тоже не давал покоя. Оказавшийся в Берлине Максим Горький оценил замысел и начало

грандиозного романа. *Эта книга — надолго!* Он подливал масла в огонь сомнений Толстого: стоит ли оставаться парией, никому не нужным человеком без родины; стоит ли жить так скудно — ведь дальше не будет лучше…

К моменту появления в Берлине Виктора Шкловского репатриация стала уже делом решённым. В 1923 году Алексей Толстой с очередной женой и детьми перекочевал из Германии в Россию.

С возвращением очень скоро вернулись и хорошие времена. Книги Толстого охотно публиковали издатели, подуставшие от писанины малограмотных пролетариев пера. Появилась приличная квартира в меблированных комнатах на набережной реки Ждановки; появились деньги, возможности… Снова потекла барская жизнь открытым домом, начались шумные загулы — почти всё почти как прежде. К Алексею Толстому приклеилась кличка *красный граф*, им же самим старательно культивированная.

Кино тоже не обошло его стороной. На экраны вышел невероятно длинный по тем временам, почти двухчасовой фильм «Аэлита» по сценарию Толстого — фантастический, изобилующий эффектами и рассчитанный в первую очередь на европейского зрителя. Фильм создавала кинокомпания «Межрабпом-Русь», литературно-сценарный отдел которой возглавил Осип Брик.

Золотым ключиком для Алексея Николаевича стало сотрудничество с чекистами в одном деликатном деле. Среди материалов комиссии Временного правительства большинство документов так или иначе касались Распутина. Используя их, теперь хотели доказать влияние *святого чёрта* на царскую семью, чтобы окончательно дискредитировать низложенную монархию.

Но вот загвоздка: протоколы, заботливо составленные Александром Блоком, не только не давали желаемых свидетельств, но как раз показывали обратное: ни о каком придворном влиянии Распутина и речи быть не могло! Из документа в документ встречались только досужие выдумки, расхожие слухи и подделки Белецкого, в которых тот сознался.

Тогда-то чекисты и соединили опыт Алексея Толстого, который сочно писал на исторические темы, с возможностями профессионального историка, именитого пушкиниста Павла Щёголева. Первый искал расположения власти, второй — этой власти уже верно служил.

Толстой и Щёголев принялись за работу. Вдохновенным трудом они породили фальшивый «Дневник Вырубовой», где последние годы царской семьи предстали разнузданным борделем вокруг одиозного Гришки. Откровенная похабщина, выдуманная сладострастным *красным графом*, в смеси с фактами, которые тщательно подобрал и обработал историк-большевик, дали нужный эффект. Полное разложение правящей династии, будто бы доверительно описанное фрейлиной в дневнике, получило *документальное* подтверждение.

Весть о публикации пришла за границу. Анна Вырубова, жившая в Финляндии, выступила с опровержением чудовищной лжи. Но кто бы стал слушать стареющую наложницу из распутинского гарема — мужицкую подстилку, которую перепробовало пол-Петербурга!

Фальсификаторов сгубило другое.

Во-первых, действительно многие из участников или свидетелей событий, описанных в «Дневнике», были ещё живы — некоторые даже в России, несмотря на красный террор; большинство за границей.

Во-вторых, и это главное, по заданию большевиков целый штат специалистов старательно переписывал *всю* историю России. Подделка дневников никак не была согласована с высшим руководством страны. А историки ведь пользовались теми же документами, что и Щёголев! Поэтому и его, и их подтасовки тут же вылезли наружу.

И в-третьих, *красный граф* становился чересчур разговорчив, когда выпьет. А подлог — дело тихое.

Если бы не заказ от чекистов, Алексею Николаевичу с Павлом Елисеевичем пришлось бы несладко. Но кара обрушилась на журнал «Минувшие дни», в котором публиковался фальшивый «Дневник». Издание закрыли, и не просто так, а с треском, по решению ЦК. Под репрессии, как водится, попали совсем не те.

Ещё во время работы над «Дневником Вырубовой» Толстой репортёрским нюхом почуял золотую жилу. Он предложил Щёголеву не останавливаться на достигнутом, и они состряпали ещё одну поделку. На сей раз, конечно, «Дневник Распутина». Теперь уже сам Гришка свидетельствовал против себя и семьи императора.

Крах предыдущего проекта не дал новой фальшивке появиться в печати. Авторы похоронили его в архивах. И трудно теперь сказать, о каких чудесах мог ещё узнать мир благодаря буйной фантазии *красного графа* Алексея Толстого!

Он продолжал писать. Появились новые тома «Хождений по мукам» и «Гиперболоид инженера Гарина». Толстого выпускали за границу с выступлениями о прелестях советской власти. Особенно удалось ему блеснуть в 1937 году на лондонском Конгрессе культуры. В британской столице яркий спич фальсификатора с двояким интересом послушали неразлучные Джон Скейл и Стивен Эллей.

До начала Второй мировой войны Алексей Николаевич Толстой стал депутатом Верховного Совета страны и академиком. С 1942 года работал в «Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков» и опять много писал о войне с Германией, *блицкриге и блицкрахе*, ненависти и жестокости.

Он так и не успел закончить свой главный роман — «Пётр Первый». *Красный граф* умер в 1945-м, когда до победы оставалось подать рукой. Двадцать третьего февраля. А днём раньше — двадцать второго — оборвалась жизнь Осипа Брика, и Лиля Брик осталась одна.

Когда умер Ося, умерла я…

На самом деле Лиля Уриевна прожила ещё долгую жизнь. В этой жизни нашлось место для других мужчин, ибо сердце её никогда не пустовало. Нашлось место для поездок в другие страны, когда Россию отделял от всего мира *железный занавес*. Нашлось место для благотворительности: Лиля Брик была весьма состоятельной дамой даже по европейским меркам.

Её отличало чутьё на таланты. Она умела находить одарённых людей и пестовала их, получая от этого ей одной ведомое наслаждение. Лиля Уриевна тянулась к молодым. Она очень помогала начинающему поэту Андрею Вознесенскому. Юную балетную танцовщицу Майю Плисецкую познакомила с подающим надежды композитором Родионом Щедриным. Стала посажённой матерью на их свадьбе и устраивала парочку пожить во Франции у Эльзы Триоле…

Когда-то Эльза разрывалась между любовью, завистью и ревностью к Лиле из-за Маяковского. Теперь всё это сторицей вернулось, и Лилю терзали любовь, зависть и ревность — к Эльзе. Та припеваючи жила в Париже, каждый год писала по хорошему роману и пребывала на вершине славы. А у Лили дальше любительских опытов в скульптуре и — по большому знакомству — в кино дело не пошло. Она так ничего и не создала, оставшись лишь моделью десятка фотографий и спорной героиней мемуаров. Просто — жила и жила себе.

Себе.

Современницам Лиля Брик запомнилась тем, что долгие годы была первой модницей в Москве и первой среди здешних женщин надела брюки. В конце семидесятых появились слухи о её таинственной и романтичной смерти в Риме или Париже.

Было время, Лиля почти что считала своим долгом завести интрижку с каждым знакомым — благо случайные люди в их кругу не встречались. И чутьё не подводило, особенно если мужчина — на автомобиле и в чинах.

Однажды Виталий Примаков — в пору Гражданской войны командир Червонного казачества, а после дипломат и крупный военачальник — ехал по центру Москвы и увидал женщину, бредущую под проливным дождём. Велел шофёру остановить авто и предложил подвезти. Она забралась в салон.

— Давайте знакомиться, — сказал он, — меня зовут Примаков Виталий.

— Я — Лиля Брик, — ответила она. — А знакомиться лучше всего в постели.

Романы Лиля крутила с лёгкостью. Но вот кинорежиссёр Всеволод Пудовкин, который снимал «Потомка Чингисхана» по сценарию Осипа Брика, запал ей в душу. Лиля безумно переживала разрыв и едва не отравилась.

В 1978 году ей исполнилось восемьдесят шесть лет. Последний любовник, тоже кинорежиссёр, Сергей Параджанов, Лилю бросил. А перелом шейки бедра в таком возрасте стал приговором. Лёжа на подмосковной даче, она проглотила целую упаковку снотворного — и смертельная доза нембутала подействовала быстро. Лиля Уриевна Брик даже не успела закончить последнюю записку последнему мужу:

В смерти моей прошу никого не винить. Васик, я боготворю тебя. Прости меня! И друзья простите…

Глава IV. Князь

Эту фигурку полировали молотыми косточками черешни. Вручную.

Она могла быть серебряной или золотой, бронзовой или хромированной стальной — красавица Элеанора Торнтон, любовница барона Монтегю. «Дух экстаза» над радиатором *Rolls-Royce*. Крылатая Ника, прозванная остроумцами «Нелли в ночнушке».

В 1911 году барон заказал фигурку скульптору Чарльзу Сайксу как талисман к своему автомобилю, изготовленному на заводе его друга, промышленника Чарльза Стюарта Роллса.

Меньше чем через сто лет, в 2003-м, самая известная и престижная автомобильная марка Великобритании стала собственностью германского концерна «Баварские машиностроительные заводы», *Bayern Motor Werke — BMW*.

Шикарный, сияющий *Rolls-Royce Silver Ghost Double Pullman* выпуска 1912-го многие годы оставался самым дорогим автомобилем на свете. Аукционисты выручили за него полтора миллиона английских фунтов, или три миллиона североамериканских долларов.

Этот рекорд удалось побить лишь двухместному *Rolls-Royce Silver Ghost*, некогда — лучшему автомобилю в мире. В декабре 2007-го, за несколько месяцев до продажи пожитков поручика Сухотина, лондонский аукционный дом *Bonhams* продал спортивную модель больше чем за три с половиной миллиона фунтов. Аноним торговался по телефону и заплатил почти семь с половиной миллионов долларов — с условием, что раритет останется в Англии.

Вот на чём катались в поисках развлечений Феликс Юсупов и его друзья-подружки из Оксфордского университета…

— Мойка стрит, Юсупофф!

Этот адрес в столице России хорошо знали и водители таксомоторов, и извозчики-«ваньки». Им часто доводилось возить иностранцев в Юсуповский дворец. Здесь хорошо принимали. Здесь звучала музыка, и в зале на двадцать пять пар устраивались танцы, а после — пикантный ужин из креветок и крабов под красное крымское вино и мадеру; шампанское и торты подавали только по праздникам. Здесь пели Собинов и Шаляпин, Вяльцева и цыгане. Здесь проходили литературные чтения и карточные турниры, здесь играли в интересные игры…

…но главный интерес для британских разведчиков составляла возможность встречаться у Юсуповых с нужными людьми, имея гарантию конфиденциальности. Прибывая на званые вечера по приглашениям, они легко ускользали от нескромных взглядов в просторах дворца: завсегдатаями сборищ на набережной Мойки были Джон Скейл и Стивен Эллей.

Накануне смерти Распутина, как и было предписано, они уехали из Петрограда, подчёркивая непричастность к преступлению британской миссии. Но слишком говорящей стала их секретная записка в Лондон.

Хотя дела шли не совсем по намеченному плану, наша цель определённо была достигнута. Реакция на кончину Тёмной Силы была положительно воспринята всеми, хотя и задавались кое-какие неудобные вопросы относительно участия дополнительных сил. Рейнер, который сейчас отдыхает, несомненно проинформирует вас обо всём.

Сумбур ночи убийства не оставлял шансов на сохранение полной тайны. Не зря ведь сказано в Библии: нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Российский император вызвал к себе британского посла Джорджа Бьюкенена и заявил о веских подозрениях об участии в убийстве Распутина

лейтенанта Освальда Рейнера, оксфордского соученика князя Юсупова. Бьюкенен это отрицал, однако слово было сказано.

После событий декабря 1916 года Рейнер прожил ещё сорок пять лет. В разведке служил до конца Второй мировой войны. Из России уехал в 1918-м и работал в подразделениях бюро в Японии и Швеции. В двадцатых оказался в Москве под прикрытием английской торговой миссии; с этой же легендой трудился потом в странах Европы. Во время Второй мировой Освальд Рейнер опять надел мундир. Служил в Канаде, был переведён в Испанию — офицером связи между британской разведкой и испанской.

Для тех, кто хоть немного знает историю, участие англичан в заговорах против российской власти — не секрет.

Это они сплели интригу с убийством императора Павла.

Свергнуть отца Павла, императора Петра Третьего, тоже помог посол Сент-Джеймского двора. Будущая Екатерина Великая при поддержке из Лондона подняла гвардию, избавилась от законного государя и захватила престол. Села на трон, прав на то не имея, а британцу в благодарность щедро пожаловала изумрудный гарнитур: поразительной красоты перстни, ожерелья, подвески и тиару.

Это богатство через 240 лет было выставлено в аукционном доме *Sotheby’s* всё на той же лондонской улице Бонд…

…но по сравнению с богатством рода Юсуповых меркло всё — даже состояние императорской семьи. Неспроста, когда женитьба Феликса на Ирине Александровне стала уже делом решённым, государь спросил князя о том, чего бы ему хотелось получить в подарок, и в ответ услышал озорные слова: *Хочу посидеть в царской ложе!* И верно, чего ещё мог желать

Феликс Юсупов? Всё остальное у него уже было. Или появлялось при первом желании.

Своей племяннице император с императрицей подарили тогда на свадьбу мешочек с двадцатью девятью бриллиантами — родные дочери получали от них на день рождения по одному бриллианту и одной жемчужине.

Прямые предки Юсуповых правили в Египте и Персии, Дамаске и Антиохии, создавали целые государства. Их хоронили на горе Хира в Мекке, где пророку Мохаммеду открылся текст Корана. Хоронили в священной Каабе и рядом с ней.

Однажды предок по имени Абдул-мурза угощал московского патриарха. Стоял христианский пост, а на стол подали гуся, приготовленного так, будто это рыба. По неведению патриарх вкусил скоромного. Узнав о том, юный царь Фёдор Алексеевич сильно разгневался. Хотел Абдул-мурза похвастаться искусством своего повара, а вместо того по жалобе патриарха лишился всех имений — и жизнь свою поставил под угрозу. Тут потомок пророка Мохаммеда и сын Сеюш-мурзы Абдул-мурза крепко поразмыслил — и крестился в православие под именем Дмитрия. Фамилию по русскому обычаю он взял в честь начальника рода, Юсуфа: так за три столетия до рождения Феликса при дворе московского государя появился Дмитрий Сеюшевич Юсупово-Княжево. Но в первую же ночь после крещения случилось ему знамение.

Отныне за измену вере не будет в твоём роду в каждом его колене более одного наследника мужского пола, а если их будет больше, то все, кроме одного, не проживут долее двадцати шести лет!

Нездешний голос напророчил угасание могучего рода до полного прекращения. И житьё пошло, как предсказано.

Единственный наследник бывшего Абдул-мурзы служил генерал-лейтенантом при Петре Первом, который изменил Григорию Дмитриевичу фамилию на Юсупов. Только один сын Григория Юсупова дожил до зрелых лет — Борис Григорьевич, который стал губернатором Москвы. Так же, как столетием позже губернаторствовал в первопрестольной отец Феликса — Феликс Юсупов-старший.

Если другие древние семейства разрастались, и наследники делили имение между собой, то Юсуповы передавали всё из поколения в поколение единственному выжившему наследнику. Фамильное состояние продолжало умножаться.

Николай Борисович Юсупов имел деревню или усадьбу не только в каждой российской губернии, но даже в каждом уезде. Он стал первым директором Эрмитажа, для которого подбирал картины; русским послом в Италии, где купил виллу с приглянувшейся лестницей; главноуправляющим Оружейной палатой — и руководил ещё всеми театрами России.

Поместье его в Архангельском заслуженно прозывалось *подмосковным Версалем*. Здесь у Николая Борисовича гостевал Александр Пушкин, сказавший в посвящении:

К тебе явлюся я; увижу сей дворец,
Где циркуль зодчего, палитра и резец
Ученой прихоти твоей повиновались
И вдохновенные в волшебстве состязались.

Ещё в детстве на Сашу произвёл сказочное впечатление восточный сад, виденный в московском дворце князя Юсупова, где жил с родителями. Этот сад описал он позже в прологе «Руслана и Людмилы».

Любимая пушкинская героиня Татьяна Ларина не просто появлялась в Юсуповском дворце на *ярмарке невест* — Александр Сергеевич сделал её племянницей Юсуповых. Стоит перечесть «Евгения Онегина»: девушку привозят к тётке, княжне Алине — так среди домашних звали Александру, сестру Николая Борисовича. Жила княжна в Большом Харитоньевском переулке, где и оказалась Татьяна.

Камергеру императорского двора Борису Николаевичу наследовал по-прежнему единственный сын — Николай Борисович. Он служил вице-директором Публичной библиотеки, слыл талантливым писателем и музыкантом — и стал последним мужчиной в роду Юсуповых.

Оставалась наследница — ослепительной красоты княжна Зинаида Николаевна, к тому ещё несметно богатая невеста. Мужем её стал праправнук полководца Михаила Илларионовича Кутузова, внук прусского короля и русский граф — Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон. Император Александр Третий, выполняя предсмертную просьбу отца княжны Зинаиды, именным указом разрешил графу Сумарокову-Эльстон именоваться ещё и князем Юсуповым, чтобы род продолжался. Княжеский титул должен был переходить старшему сыну из потомков Феликса Феликсовича и Зинаиды Николаевны.

Их старшего сына звали традиционно, в честь дедушки, Николаем. Чудный молодой человек, талант и умница. Одарённый музыкант и живописец, под говорящим псевдонимом *Роков*он писал рассказы и даже — редкий случай! — удостоился похвалы от Льва Толстого. Но старинное проклятие за религиозную измену продолжало действовать. На двадцать шестом году жизни князь Николай Юсупов стрелялся из-за неразделённой любви.

Петербургская красавица Машенька Гейден завоевала его сердце, уже будучи помолвленной с графом Арвидом Мантейфелем. Князь умолял её отказаться от обещания, но тщетно. Мария вышла замуж, а Николай стал преследовать её и скоро дождался от графа вызова на дуэль.

Дело было на загородной даче Белосельских-Белозерских, на Крестовском острове — рукой подать до Большого Петровского моста через Малую Невку. Пуля оскорблённого мужа нашла грудь Николая Юсупова — и сделала новым князем Юсуповым его брата, младшего графа Феликса Сумарокова-Эльстон.

Когда гроб с телом покойного стоял в доме, княгиню невозможно было от него оторвать. Когда же Зинаиду Николаевну всё же отвели в её покои, она велела позвать Феликса, приняла его за старшего сына и едва не сошла с ума.

К старшему брату Феликс ревновал всю жизнь, и не из-за княжеского титула, а из-за матери: Николай имел с ней удивительное духовное родство. Отчего-то Зинаида Николаевна была уверена, что после мальчика у неё родится девочка. Так что мужчиной в семье растили старшего брата, а младшего до пяти лет одевали в платьица и воспитывали помягче.

Первый сознательный *выход* в женском наряде Феликс совершил тринадцати лет, за компанию с троицей дальних родственников — такими же сорвиголовами, как и он сам. Нарядились, нарумянились, нацепили украшения… На следующий день старший Феликс Юсупов получил счёт из ресторана «Медведь» и горсть жемчуга — остатки ожерелья княгини, которое сорвал с груди их переодетого сына возбуждённый посетитель. Кокетничать с мужчинами Феликс тоже начал ещё тогда.

После убийства Распутина молодой князь хотел уехать в Крым, но приказом императрицы его вернули с вокзала, запретив покидать столицу. Феликс поспешил обосноваться у великого князя Дмитрия Павловича, которого тоже посадили под домашний арест.

Их заточение в Сергиевском дворце на углу Невского и Фонтанки разделил Освальд Рейнер. Истерика у Феликса не заканчивалась; Дмитрий Павлович, который до утра держался молодцом, к вечеру тоже сильно пал духом. Освальд потратил немало усилий, чтобы втолковать им сочинённое на скорую руку подобие версии ночных событий — надеялся, что следствие глубоко копать не станет.

Феликсу пришлось давать показания знакомому Пуришкевича, полицмейстеру Казанской части полковнику Григорьеву. Князь упрямо твердил о собаке, которую застрелили в пьяном кураже, и о безобидной вечеринке с граммофоном.

Императрица Александра Фёдоровна, не отпуская от себя ни на шаг Анну Танееву-Вырубову, повредилась в рассудке и пыталась заставить столичные или военные власти выполнить свой приказ — расстрелять молодого Юсупова.

Император вернулся из Ставки на третий день после убийства, приостановил расследование — оно было совсем не ко времени — и выслал Феликса из Петрограда. Князь отправился под гласный полицейский надзор в собственное имение Ракитное Курской губернии.

После октября 1917 года Феликс с двумя Иринами — женой и двухлетней дочерью — уехал в Крым, где царило спокойствие. Однако скоро большевики добрались и туда. Крымские татары из окрестных селений собирались вокруг особняков в Ливадии, Кореизе и Ай-Тудоре, вставали лагерем и охраняли императорскую семью. Крымские татары — потомки

тех, кем повелевали и чью орду создали предки князя Юсупова.

Поняв, что возвращение порядка затягивается, Феликс совершил рискованное путешествие в Петроград. Во дворце на Мойке он пробрался в тайник жены — *пещеру Аладдина*, которую с таким тщанием придумывал, — и забрал из сейфов-сундучков фамильные драгоценности.

Как и большинство современников, он верил, что смута не надолго, что затронет она только столицу и постепенно всё образуется. А потому вместе с верным старым камердинером Григорием Бужинским перевёз сокровища в Москву и частью спрятал под лестницей в одном из своих особняков, а частью увёз в Крым.

Бужинский прожил в особняке ещё несколько лет: стерёг княжеское добро — не только ценности, но и богатейшие коллекции картин, и великолепные скульптуры, и уникальную библиотеку. Он спасался охранной грамотой, которую подписал народный комиссар Анатолий Васильевич Луначарский, знавший толк в искусстве. Какое-то время старика не трогали. Но потом обезумевшая чернь всё же разграбила дворец, а верный слуга умер под пытками чекистов.

Когда в середине двадцатых новые власти решили подремонтировать особняк Юсуповых и приспособить под свои нужды, рабочие обнаружили спрятанные Феликсом драгоценности. В описи значились *255 бриллиантовых брошей, 18 диадем, 42 браслета и около двух килограммов золотых изделий, являющихся произведением искусства*. Так появилась кладоискательская идея одного из самых известных романов того времени — «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Ещё в Гражданскую *пьяная матросня* порезвилась от души, не останавливаясь и после войны. Безнаказанные экспроприаторы, банды уголовников у власти грабили

всех и вся. Они забирали *рыжьё и камешки* — золото и драгоценности, а остальное, ненужное — поганили и жгли. Так погибли библиотека и бесценный архив Александра Блока, так сгорела большая часть семейных архивов, бережно собираемых столетиями. Россия теряла свою историю от рук Иванов, не помнящих родства.

Ощущение ужаса нарастало. Красный террор докатился до Крыма. Против вооружённых толп крымские татары и окрестные жители были бессильны. Выдерживать этот апокалипсис становилось всё труднее.

Ужасное избиение морских офицеров произошло в Севастополе, грабежи и убийства множились по всему полуострову. Банды матросов врывались во все дома, насиловали женщин и детей перед их мужьями и родителями. Людей замучивали до смерти. Мне случилось встречать многих из этих матросов, на их волосатой груди висели колье из жемчуга и бриллиантов, руки были покрыты кольцами и браслетами. Среди них были мальчишки лет пятнадцати. Многие были напудрены и накрашены. Казалось, что видишь адский маскарад. В Ялте мятежные матросы привязывали большие камни к ногам расстрелянных и бросали в море. Водолаз, осматривавший позже дно бухты, обезумел, увидев все эти трупы, стоящие стоймя и покачивающиеся, как водоросли, при движении моря. Ложась вечером, мы никогда не были уверены, что утром будем живы.

Однажды утром в апреле 1919 года Феликс, записавший эти строки в своём дневнике, проснулся от того, что его тыкали стволом револьвера.

Князю с женой и дочкой повезло спастись. Их вместе со вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной принял на борт крейсер «Мальборо», который прислала британская королевская семья за своими

родственниками. На корабле сопровождения навсегда отбыл из России кузен князя, герой стокгольмской Олимпиады, выдающийся теннисист Михаил Сумароков-Эльстон.

Юсуповых принял Париж. От несметных богатств у князя остались драгоценности на миллион долларов и два полотна Рембрандта — этого вполне хватило на то, чтобы обеспечить семье достойное существование. До сих пор знаменитые ювелирные дома *Chaumet* и *Boucheron* гордятся своими аристократическими клиентами: Жозеф Шоме делал ещё свадебные украшения для свадьбы Ирины и Феликса.

Сказочное число русских эмигрантов активно осваивали Париж. Они жили по привычному юлианскому календарю, строили церкви, сиротские приюты и богадельни; открывали русские школы, клубы, театры и библиотеки. В моду входили русские рестораны…

Феликс наконец-то смог проявить себя. Многие и многие соотечественники оказались во Франции ограбленными новой российской властью дочиста. Без гроша в кармане начинать жизнь на новом месте, в чужой стране — ох как непросто! Спасение нашлось в конторе по трудоустройству, которую открыл князь Юсупов. Особенно он помог женщинам, которые лишились поддержки своих мужей — пропавших, замученных, расстрелянных, погибших на войне.

Эти женщины в большинстве своём не имели профессий. Кроме конторы, Юсупов основал салон красоты и при нём — школу, где бывшие светские львицы могли обучиться основам массажа и макияжа. Добрым словом вспоминали они князя, когда устраивались потом на работу — или даже открывали свои собственные салоны.

Крупнейший проект Феликса назывался Домом моды «ИрФе», по начальным буквам их с Ириной имён. На

парижской рю Дюто стали трудиться выпускницы княжеской Школы прикладных искусств имени Строганова — аналога Строгановского художественного училища в Москве, из которого когда-то вышибли Маяковского. Юсупов открыто объявил, что предпочитает сохранить в предприятии дух родины, и охотнее всего принимал на работу женщин из России.

Первый интерес ателье вызвало благодаря легендам, окутавшим имя самого убийцы Распутина. Состоятельные парижанки приходили выпить чаю из диковинного самовара и поглядеть на Феликса, у которого, по слухам, глаза фосфоресцировали, как у хищника. А единожды заглянув в «ИрФе» — становились постоянными клиентками.

Однако действительно прославилось княжеское предприятие благодаря Ирине Александровне. В отеле «Риц» проходило традиционное дефиле с участием ведущих Домов моды. Оказалось, племянница императора обладает и тончайшим вкусом, и феноменальным даром убеждения. Самые породистые, самые красивые эмигрантки согласились выступить в роли манекенщиц — это же так унизительно! Одной из них стала Ирина.

После того как именитые модные дома показали свои коллекции, на подиум отеля «Риц» вышли во главе с великой княжной русские красавицы в платьях от «ИрФе». Их появление вызвало настоящий фурор. Всё, что видели зрители до того, померкло, многое тут же оказалось забыто. Дебют безусловно удался, вызвав шквал восторженных откликов в газетах.

Оригинальность, рафинированность вкуса, тщательность работы и художественное видение цвета сразу поставили это скромное ателье в ранг больших Домов моды!

Вскоре филиалы «ИрФе» появились на известном нормандском курорте, в Берлине и, стараниями

британских друзей Феликса, в Лондоне. Фирменным знаком русского модного дома стали потрясающей тонкости кружева и расписанные вручную ткани, вызывавшие настоящую зависть восходящей звезды моды — Габриэль «Коко» Шанель. Европейские модницы пришли в восторг от очередного блистательного изобретения князя, духов «ИрФе», выпущенных сразу тремя линиями: для темноволосых, рыжих и блондинок.

О своём участии в убийстве Распутина князь написал книгу, которую издали в 1926 году. Его откровений действительно ждали: всё же основным виновником смерти старца и последовавших затем событий был именно он.

Если Александр Блок говорил о *пуле, выпущенной в сердце царствующей династии*, то Феликс Юсупов назвал свой выстрел — *первым выстрелом русской революции*. В отличие от Пуришкевича, который в привычной завиральной манере норовил присвоить лавры главного заговорщика, князь в первую очередь пытался выставить убийство результатом священного гнева и патриотического порыва высшей аристократии, желавшей спасения России.

Творение бесноватого депутата к тому моменту уже ходило по рукам, так что Феликс почёл за благо придерживаться основной версии своего подельника. Что-то за минувшие десять лет забылось, кое о чём по-прежнему — и никогда! — нельзя было говорить, как о выстреле великого князя… К тому же приходилось следовать собственным словам, подсказанным в трудные дни Освальдом Рейнером и занесённым в полицейские протоколы.

Нежная дружба бывших оксфордских студентов продолжалась. Именно Освальд перевёл для англичан записки Юсупова. И даже своего единственного сына разведчик назвал в честь князя — Джон *Феликс* Рейнер.

Вместе с Феликсом на родную землю Парижа вернулся его любимый пёс. Французского бульдога князь купил когда-то на рю де ля Пэ. Отменил помпезную кличку Наполеон и назвал Панчем. Панчу повезло не только изрядно поездить по разным странам, но и попасть на картину кисти Серова. Ушастая собака прожила у Юсупова восемнадцать лет.

Шло время, менялись эпохи, по Франции и всей Европе прокатилась Вторая мировая война. Князь и его жена продолжали жить в своём доме в Булонском лесу, который купили на деньги, вырученные от продажи фамильных драгоценностей.

Имя Феликса Юсупова всё обрастало легендами. Он ни разу не пропустил гастролей во Франции лучшего в мире балета — труппы Мариинского театра, переименованного в Кировский. Сотрудники КГБ, продолжатели дела чекистов, безотлучно сопровождали танцоров: старались держать князя подальше от балетных мальчиков — к ним Феликс остался неравнодушным до конца дней.

Он умер в 1967 году и упокоился в русской земле французского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, в одной могиле с матерью, княгиней Зинаидой Николаевной. Туда же через три года скромно подхоронили его жену, а потом и дочь.

Со смертью восьмидесятилетнего убийцы Распутина мужская линия рода князей Юсуповых оборвалась навсегда.

Глава V. Великий князь

Удивительным образом убийство Распутина спасло от гибели Дмитрия Павловича.

Приказом императрицы семнадцатого декабря великого князя заключили под домашний арест. Александра Фёдоровна на такие распоряжения не имела права, но возражать полубезумной жене государя никто не стал. Поэтому генерал-адъютант Максимович, выждав до часу дня, телефонировал великому князю, сообщил об аресте и просил из дворца никуда не отлучаться.

До вечера Дмитрия Павловича посетили все члены императорской фамилии, которые случились тогда в Петрограде. Лишать свободы особу царской крови по одному лишь подозрению в убийстве крестьянина, тело которого к тому же не найдено, — это немыслимо и противозаконно! Общая нелюбовь к Александре Фёдоровне резко усилилась.

Вечером великий князь радостно принял Феликса, которому тоже предписывалось состоять под арестом, и хитроумного британского лейтенанта Рейнера, который помогал обоим привести разбегающиеся мысли в порядок. Меньше всего хотелось великому князю в нынешней ситуации оставаться одному, а места во дворце хватало.

Этот дворец на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки когда-то достался князю Кочубею в приданое при женитьбе на вдове князя Белосельского-Белозерского. Позже князь крепко задолжал казне и в погашение кредитов отдал дворец.

В начале царствования Александра Третьего дворец достался его младшему брату как свадебный подарок: великий князь Сергей Александрович женился на Елизавете Гессен-Дармштадтской. На этой свадьбе

цесаревич Николай впервые увидал младшую сестру невесты, гессенскую принцессу Алису — свою будущую жену. Елизавета-Элла приняла православие и стала Елизаветой Фёдоровной, а дворец в честь её мужа получил имя Сергиевского.

Спустя двадцать лет великого князя Сергея Александровича разорвала на куски бомба террориста. Елизавета Фёдоровна приняла монашеский постриг и удалилась в созданную ею обитель. Сергиевский дворец она оставила своим воспитанникам, детям мужниного брата, великого князя Павла Александровича — Марии и Дмитрию.

Когда великая княжна Мария Павловна вышла замуж за наследника шведского престола, великий князь Дмитрий Павлович остался единственным владельцем дворца. В начале войны он отдал верхние покои под госпиталь для раненых, а в нижнем этаже жил сам. После убийства Распутина великий князь с Феликсом при поддержке Рейнера и обильных возлияний провели в дворце трое тягостных суток, ожидая решения своей судьбы. Готовились к худшему.

Император воротился из Ставки девятнадцатого декабря. Двадцать первого в Петроград примчался тесть Феликса Юсупова, великий князь Александр Михайлович. Он в Киеве начальствовал русской военной авиацией, которую сам же и создал, как до того создал российский торговый флот.

Первым делом Александр Михайлович навестил унылых и нетрезвых затворников Сергиевского дворца, а оттуда сразу направился к государю, в Царское Село, чтобы выяснить ситуацию. С императором его связывали давние и подчёркнуто дружеские отношения ещё с тех пор, когда оба были юны: самодержец Николай Второй был просто весёлым добрым Ники, а великий князь Александр Михайлович — остроумным и язвительным Сандро. Они фотографировались с

молоденькими жёнами, сидящими у них на коленях — вопиющая вольность! Они бросались апельсинами в гостях у своего родственника, греческого короля — кто дальше бросит. В перерывах между важными совещаниями Ники и Сандро могли сидеть на диване и толкаться ногами — кто кого столкнёт на пол…

Разговор друзей детства затянулся. Ники попал в сложное положение. Он оказался между теряющей рассудок женой, всколыхнувшимся расколотым обществом — и семьёй, симпатизирующей убийцам, среди которых были два его родственника. Сандро помог, напомнив о мудрости царя Алексея Михайловича Тишайшего: *я человек порядка по преимуществу*. Вот по порядку, по преимуществу важности они всё и разложили.

Выходило, что Ники должен сам утихомирить Александру Фёдоровну: тут никто ему не помощник, к тому и общаться с нею последнее время никто не мог. Родственников, не освобождая от наказания, надо сейчас вывести из-под удара и услать подальше, чтобы после спокойно и справедливо рассудить. Пускай страсти хотя бы немного поулягутся.

Бросать обществу такую кость — убийцы в императорской семье! — нельзя ни в коем случае. Будет взрыв. А так — народ пошумит и успокоится. Новые события скоро затмят собою смерть одиозного мужика. Идёт война, впереди тяжёлая зима, весной наступления по всем фронтам… Если слухи не подогревать, они угасают. Тем более — для этого самых заметных персонажей надо удалить со сцены. Поняв, что спектакль окончен, публика недовольно ворчит, но постепенно расходится.

Разумные доводы Александра Михайловича возобладали. Юсупов получил высочайший приказ отбыть в Курскую губернию. Для великого князя Ставка оказалась бы в эту пору совсем не лучшим местом.

Поэтому император и Верховный главнокомандующий немедленно направил своего флигель-адъютанта и кузена в распоряжение начальника Персидского отряда генерала Баратова.

Везучему Дмитрию Павловичу повезло и здесь. Собираясь в путь, он успел выгодно продать Сергиевский дворец одному из елабужских промышленников Стахеевых, которые торговали хлебом и варили водку, а на Каме и Волге держали буксирное пароходство и множество заводов.

Ни Февральской революции, ни октября 1917-го, ни последовавшего за ним кошмара Дмитрий Павлович не увидал, пребывая в далёком Тегеране. Турки на Восточном фронте огрызались вяло, войны в Персии почти не было. Великому князю это напоминало лето четырнадцатого года, когда все ещё надеялись на мир. Он собирался ехать в Ригу, открывать Вторую Русскую олимпиаду. Убийство австрийского эрцгерцога разрушило грандиозные спортивные планы. А теперь убийство Распутина привело в богом забытую даль.

С крахом империи, приходом к власти большевиков и разгулом Гражданской войны Дмитрий Павлович — молодой профессиональный военный — поступил на службу в Британский экспедиционный корпус. Связи с родственниками не было. Вести приходили редко, с большим опозданием, и часто противоречили друг другу. Из Месопотамии великий князь отправился в Лондон, оттуда — в Париж.

Да, смерть Распутина спасла его от гибели. Великие князья, попавшие в руки большевиков, окончили свои дни в мучениях.

Летом восемнадцатого года в уральском Алапаевске, недалеко от Перми, жертвами коммунистов-убийц пали трое сыновей великого князя Константина Константиновича, поэта К.Р. — великие князья Константин, Иоанн и Игорь. С ними погибли великий

князь Сергей Михайлович и князь Владимир Палей — шестнадцатилетний сын великого князя Павла Александровича и Ольги Пистолькорс. Их живыми сбросили в шахту и обрушили сверху гору камней. В той же шахте оказалась и сестра императрицы — монахиня и великая княгиня Елизавета Фёдоровна, годом раньше отбившая приветственную телеграмму Временному правительству. Изувеченные и раздавленные, все они долго и страшно умирали под землёй.

В январе девятнадцатого в Петропавловской крепости большевики расстреляли ещё четырёх великих князей. Так Дмитрий Павлович потерял отца. Из камеры, где их держали перед смертью, тяжело больного Павла Александровича вынесли на носилках. Вместе с ним от пуль расстрельной команды погиб и великий князь Николай Михайлович, академик и светило европейской науки, прозванный во Французской республике *господином Égalité — Равенство*, а в семье — *Бимбо.* Тот, кого считали лучшим кандидатом на пост президента России.

Сестра Дмитрия Павловича, великая княжна Мария Павловна, почти не заметила Февральской революции. Её поглотил счастливый роман с молодым князем Сергеем Путятиным — сыном доброго знакомого Распутина, начальника Царскосельского дворцового управления генерал-майора Михаила Сергеевича Путятина. В сентябре семнадцатого Мария и Сергей обвенчались. Сняли дачу на окраине Павловска и думали отсидеться в этом столичном пригороде до лучших времён. Приятным сюрпризом оказалась посылка с продуктами от шведского короля — бывшего свёкра Марии Павловны: в Петрограде начинался инспирированный большевиками голод, и молодые супруги понемногу меняли на еду драгоценности великой княжны.

Летом восемнадцатого у Марии родился сын Роман. Эйфория оборвалась расстрелом отца и смертью младенца от дизентерии. Потрясённая двойным горем великая княжна перенесла и это, и невероятно трудный путь до Парижа. Светом в оконце её встретил любимый брат.

Среди тех, с кем мы виделись, не было ни одного, кто бы не потерял нескольких родных в смутные годы и сам едва избежал смерти.

Нас прогнали со сцены как были, в сказочном платье. Теперь его надо было менять, заводить другую, повседневную одежду и, главное, учиться носить её.

Париж… Как здесь жить, на что? Бриллианты, вывезенные из России, сильно упали в цене: слишком многие беженцы торговали фамильными украшениями. Французские газеты упражнялись в эпитетах, вторя мыслям великой княжны:

Высокая парижская мода распахнула свои роскошные двери перед русскими бесприданницами, которые прибыли во Францию в траурных платьях.

Мария Павловна умела не только стрелять, скакать верхом и фехтовать. Как и всех великих княжон, в детстве её учили рукоделию, которое теперь очень пригодилось. Она перешивала для соотечественниц старые платья, вышивала и однажды даже связала на продажу свитер.

Тут очень кстати у Дмитрия Павловича вспыхнул бурный роман с Габриэль Шанель, хозяйкой одного из процветавших парижских Домов моды. Высокий красавец, которого сравнивали с фарфоровой статуэткой; известный автогонщик и кавалерист, член императорского дома — лакомый кусок для умной и цепкой простолюдинки по прозвищу Коко!

Шанель стала называть его *мой русский принц*. В её автомобиле любовники умчались из Парижа на Лазурный Берег. Начавшаяся жизнь альфонса пришлась

Дмитрию Павловичу по душе. Благодаря этой интрижке на свет появились самые известные в мире духи: великий князь привёз Коко в столицу французских парфюмеров — город Грасс, и там представил ей своего российского знакомца. До переворота химик Эрнест Бо служил в Москве на фабрике поставщика императорского двора. Подружке Дмитрия Павловича были предложены несколько ароматов, из которых она выбрала тот, что во флаконе под пятым номером. Легендарный «Шанель № 5».

Русский принц сумел заинтересовать Коко особенностями русского костюма. Высокие шапки, сапожки «казачок», расшитые рубахи со стоячим воротником, буйные краски — всё это появилось в коллекциях Дома Шанель благодаря Дмитрию Павловичу. Француженка обратила внимание на шитьё, которое делала Мария Павловна: та оказалась удивительной мастерицей и под чужим именем закончила курсы машинной вышивки.

Пожалуй, неугомонная великая княжна оказалась единственной во всём императорском доме, у кого нашлась коммерческая жилка. Шанель дала несколько серьёзных заказов. С первого же гонорара Мария Павловна купила собственную машинку. Дело пошло быстрее. Денег стало больше, княжна работала уже в нанятой мансарде. Она взяла в помощницы двух русских девушек хороших фамилий и оплатила им те же курсы, что закончила сама. Работала сутки напролёт, валясь от усталости и не в силах добраться до дому, но смогла, наконец, открыть собственное ателье «Китмир».

Коко внимательно следила за успехами сестры своего любовника, которая постепенно обходила других вышивальщиц. Наконец, женщины сговорились сделать целую коллекцию из туалетов Шанель, вышитых «Китмиром» по эскизам великой княжны.

Триумфальное дефиле заняло три часа. Сравнить его можно было разве с успехом модного дома «ИрФе», вырвавшегося на французский рынок. Журналы запестрели моделями ателье «Китмир», а гардероб светской дамы уже не считался полным без вечерних платьев новой марки, расшитых бисером.

Шанель ревновала к растущей славе компаньонки, однако об эксклюзивных отношениях речи не было: серия *русских блузок* с вышивкой из ателье Марии Павловны успешно штурмовала уже заокеанский рынок. Фасон, крой — на сей раз великая княжна придумала всё сама, и Коко Шанель тут была совершенно ни при чём. Американские модницы завалили «Китмир» заказами.

В 1925 году в Париже прошла грандиозная выставка современного декоративного и промышленного искусства — «Ар Деко», которая дала имя новому стилю и определила новую эпоху в искусстве. На выставке Мария Павловна одержала окончательную победу. Она и её девушки — изгнанницы, белоручки голубых кровей! — своим тончайшим шитьём утёрли носы соперницам *от сохи*, из советской России. Наградой для ателье «Китмир» стала золотая медаль, которую великая княжна хранила, как самое дорогое сокровище, вместе с фронтовой Георгиевской медалью. Путь от первого связанного на продажу свитера до признания миром высокой моды великая княжна Мария Павловна прошла за шесть лет.

Дмитрий Павлович расстался с Шанель и пережил ещё несколько романов. Теперь он был волен делать всё, что заблагорассудится. После того как в октябре семнадцатого в России попрали все законы, закона о престолонаследии больше не существовало. Не стало ни самого престола, ни государя, который мог разрешить или запретить женитьбу.

Правда, свои права на трон заявил великий князь Кирилл Владимирович. Сын Владимира Александровича, устроившего в январе девятьсот пятого Кровавое воскресенье. Кузен императора, которого Николай Второй однажды лишил титула за соблазнение свояченицы — жены своего шурина.

После Февральской революции Кирилл Владимирович отметился ещё и тем, что привёл Гвардейский флотский экипаж — всех военных моряков, оказавшихся на берегу, — из казарм в Новой Голландии к Таврическому дворцу, чтобы приветствовать революцию. Не зря называли его в семье *опереточным моряком*. Редкая склонность к позе и жесту…

В Русско-японскую войну император отправил своего кузена на Дальний Восток с инспекцией. Там броненосец «Петропавловск», имея на борту легендарного адмирала Макарова, прославленного художника-баталиста Верещагина и Кирилла Владимировича, подорвался на мине — прямо в бухте, на глазах у всех — и затонул в три минуты. Семьсот человек погибли. Из воды удалось поднять тридцать матросов и пять офицеров с великим князем, о котором скоро сложили злую частушку:

Погиб «Петропавловск»,
Макаров не всплыл,
Но спасся зачем-то
Царевич Кирилл!

В феврале 1917 года вооружённые моряки с Кириллом во главе прошли через полгорода вдоль Невы. Маршировали чёрным строем, по примеру великого князя — с кошачьими красными бантами на груди, и наслаждались ужасом встречных. А потом троекратным

громовым *ура!* сдули ворон с голых деревьев Таврического сада под окнами Государственной думы.

— Красный цвет не к лицу вашему высочеству, — сказал тогда Кириллу Владимировичу саркастичный Родзянко.

В императорской фамилии горячо обсуждалось то, что Кирилл Владимирович объявил себя теперь главою царского дома. Дмитрий Павлович в обсуждениях не участвовал и никаких претензий не предъявлял. Любимый кузен императора Николая принял для себя решение в тот давний довоенный вечер, когда они с Феликсом сидели в ресторане «Кюба». Менять своё вольное житьё на заботу о судьбах России великий князь не желал.

Предоставленный самому себе Дмитрий Павлович пробовал торговать шампанским, но, в отличие от сестры, коммерческих высот не достиг. Зато успех не оставлял его как мужчину. В двадцать шестом году на французском Лазурном Берегу, в Биаррице, великий князь женился на богатой американке Одри Эмери и оказался с нею за океаном.

Их сын Павел, родившийся в 1928 году, получил от главы Российского императорского дома в изгнании, великого князя Кирилла Владимировича, титул светлейшего князя Романовского-Ильинского.

Соединённые Штаты привлекли и Марию Павловну. В годы Великой депрессии она работала менеджером в нью-йоркском магазине элитной женской одежды *Bergdorf & Goodman*. Писала книги, а 1937-м как американский фоторепортёр побывала в нацистской Германии.

Дмитрий Павлович ушёл от жены через десять лет. Напомнила о себе наследственная напасть — больные лёгкие, и он отправился в Швейцарию. Кто бы мог подумать в конце тридцатых годов, что маленький курортный городок Давос когда-нибудь превратится в

европейскую экономическую столицу! Жители гордились тихим уютом своих домов и целебным горным воздухом, а слабогрудые со всего мира съезжались туда в надежде справиться с туберкулёзом. Дмитрий Павлович не справился — в Давосе он отметил пятидесятилетие среди альпийских снегов и вскоре умер.

На благословенном полуострове Флорида, между Майами и Орландо, есть небольшой город Палм-Бич. Кому-то нравится расположенное рядом живописное озеро Уэрт. Кому-то больше по сердцу бесконечный океанский пляж с бирюзовой водой и зима с вечно тёплым Гольфстримом; зима, украшенная густыми пальмами; зима, обласканная солнцем и дарящая золотистый загар; зима — лучший сезон в этом раю.

Потрясает архитектура здешних особняков, выстроившихся вдоль Атлантического побережья. В них живут самые богатые люди Америки. Палм-Бич — центр американской благотворительности: многомиллионная помощь непрерывным потоком течёт отсюда по всему свету.

Много лет подряд мэром Палм-Бич избирали Пола Ильинского, сына одного из убийц Григория Распутина — великого князя российского императорского дома Дмитрия Павловича.

Глава VI. Император

Датская принцесса Дагмар прибыла в Санкт-Петербург редкостно погожим сентябрьским днём 1866 года. Навстречу своему нежданному суженому — цесаревичу Александру, навстречу огромной и непонятной России, навстречу судьбе.

Небо бледно-голубое
Дышит светом и теплом
И приветствует Петрополь
Небывалым сентябрём...
Словно строгий чин природы
Уступил права свои
Духу жизни и свободы,
Вдохновению любви.

Оду написал государев чиновник, дипломат и поэт Фёдор Тютчев — под впечатлением от встречи. Виделись ему сплошь добрые знаки.

И святое умиленье
С благодатью чистых слёз
К нам сошло, как откровенье,
И во всём отозвалось...
Небывалое доселе
Понял вещий наш народ,
И Дагмарина неделя
Перейдёт из рода в род.

Тут романтичный Тютчев ошибся. Думал, чудесную седьмицу на излёте бабьего лета впредь называть станут *Дагмариной неделей*. Не стали. Получила принцесса православное имя — Мария Фёдоровна, и на

том про Дагмар позабыли. Отдохнуло на ней меткое русское словцо. А вот сыну её досталось, как никому: первенца Марии Фёдоровны, нерешительного Ники, ставшего российским императором Николаем Вторым и старавшегося миром решать неурядицы, заклеймили *Кровавым*.

За что же такая честь?

Мучительная и ранняя смерть отца привела на престол Николая Александровича. Умирая, император Александр Третий сказал ему:

— Передаю тебе царство, богом мне вручённое. Я принял его тринадцать лет назад от истекающего кровью отца. В награду за труды на благо народа он получил бомбу и смерть. В тот трагический день встал передо мной вопрос: какой дорогой идти? По той ли, на которую меня толкало так называемое передовое общество, зараженное либеральными идеями Запада? Или по той, которую подсказывало мне моё собственное убеждение, мой высший священный долг государя и моя совесть? Я избрал мой путь. Либералы окрестили его реакционным. Меня интересовало только благо моего народа и величие России. Я стремился дать внутренний и внешний мир, чтобы государство могло свободно и спокойно развиваться, нормально крепнуть, богатеть и благоденствовать... Историческая индивидуальность России — самодержавие. Если оно, не дай бог, рухнет — тогда с ним рухнет и Россия. Падение исконной власти откроет бесконечную эру смут и кровавых междоусобиц. Я завещаю тебе любить всё, что служит ко благу, чести и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятуя притом, что ты несёшь ответственность за судьбу твоих подданных пред всевышним. Будь твёрд и мужествен, не проявляй никогда слабости. Выслушивай всех, в этом нет ничего позорного, но слушайся только самого себя и своей совести. В политике внешней — держись независимой позиции. Помни: у России нет друзей.

Нашей огромности боятся. Избегай войн. Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства…

Бог Ветхого Завета задавал вопросы Иову Многострадальному: *Где путь к жилищу света, и где место тьмы? Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?*

Искал Николай Александрович ответы на эти вопросы. Всю жизнь искал — и порой находил. Бывало совсем худо. Трагедия на Ходынке, война с японцами, революция девятьсот пятого года, Ленский бунт… Но в сгустившейся тьме, когда не оставалось уже надежды — как по волшебству, обязательно открывался путь к жилищу света. И не уставом ли неба он и предки его самодержавно правили Россией?

Когда праздновали три столетия правящей династии, возвеселился царь Николай. Помолодел, просветлел лицом в те юбилейные дни. Воскресла вера в безграничную, данную свыше народную любовь к богопомазаннику, в нерушимую связь государя с народом. Об этом напоминал Николаю Второму сибирский крестьянин Григорий Распутин…

…из-за которого терял император двух самых родных, самых близких ему женщин. Матушка, жизнерадостная и энергичная Мария Фёдоровна, всё труднее общалась с его женой. В дневнике и письмах перестала называть невестку по имени: сначала вместо привычной *Аликс* появилась уничижительная *она*, и потом вообще — *эта фурия*.

Во время войны вдовствующая императрица уехала в Киев. Говорила, что желает быть ближе к фронту, организовывать госпитали, помогать раненым и беженцам. Но Николай Александрович знал прекрасно, что для матушки невыносимо — жить рядом с Александрой Фёдоровной, создавать для окружающих видимость мира и лада в семье.

Аликс и вправду сходила с ума. Замкнулась в четырёх стенах со всего несколькими близкими, кроме которых не желала и не могла никого видеть. Держалась поблизости фрейлина Танеева. Распутин появлялся иной раз, вёл беседы задушевные, сына врачевал. А все остальные — от случая к случаю.

И Николай Александрович это понимал. Проговорился как-то матушке:

— Что я мог сделать, когда передо мной были два сумасшедших — он и она, Григорий и Аликс?

Однажды фрейлина Софья Тютчева подняла голос против крестьянского старца. Знаменитому поэту Софья Ивановна доводилась внучкой. Вот и напомнили ей тютчевские слова: *Мысль изречённая есть ложь*. Так за напраслину лишилась фрейлина места при дворе.

Родную сестру Эллу императрица тоже отвадила из-за Распутина. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна после мученической смерти мужа удалилась от мира и жила в основанном ею монастыре. Но в декабре 1916 года приехала в Царское Село, желая одного: спасти любимую сестру, вернуть рассудок милой Аликс. Виновником всех бед полагала княгиня хитрого мужика, одурманившего её сестру. Ни о болезни цесаревича, в которой уж точно крестьянин не был повинен, ни о том, что только стараниями Григория жив до сих пор Алёшенька — слышать не желала.

— Ты погрязла в этих экзальтированных вещах! Опомнись!

Не удалось ей поколебать веру сестры в избранность Григория. Аликс оборвала разговор, заткнула уши. Сёстры расстались и уже никогда не встретились больше. А Распутина через две недели убили.

Николая Александровича потрясло не само убийство, но то, что убийцы — его родственники. Потрясло и то, с каким небывалым единством на защиту убийц встала вся фамилия.

Преступником человека может назвать только суд. Коли есть за что — обвиняйте, судите! Оказался бы Распутин виноватым — по вине и ответил бы. Но мужика убили без суда. И знал император: тех, кто обагрил руки его кровью, превозносят героями! Из Москвы приветствует Элла, из Киева ей вторит Мария Фёдоровна, и пуще всех старается безликая людская молва…

По прибытии Николая Александровича в Петроград ему на стол легло обращение, под которым он с горечью увидал подписи многих родных. Особы царского рода просили своего брата, своего государя, избавить убийц Распутина от суда и наказания. Сердце болело: речь шла в первую очередь про всеобщего любимца — великого князя Дмитрия Павловича, выросшего у него на руках; кузена Митю, который до сих пор иной раз называл его по давней детской привычке *дядей Ники*; гвардейца и флигель-адъютанта императора, который за компанию с приятелями убил человека. Хладнокровно и сознательно, словно стреляя по фальшивым голубям на Крестовском острове.

Царский ответ на письмо семьи стоил чудовищного усилия и был краток: *Никому не дано право убивать и оставаться безнаказанным.*

Однако соображениям Александра Михайловича император внял. Великий князь, среди военных дел присматривающий в Киеве за матушкой и наверняка ею наставленный, примчался в Царское Село. В том числе и потому, что вместе с Дмитрием Павловичем старца убивал его зять — муж императорской племянницы Феликс Юсупов.

С каким бы наслаждением Николай Александрович вспомнил с другом детства и юности их тогдашние забавы! Или просто тряхнул бы стариной: несмотря на свои почти пятьдесят, заставил бы Сандро усесться на диван — и толкаться ногами, пока один из них не упадёт

на пол… Но говорить пришлось о том, что суда не избежать, его возможно только отсрочить, а пока убрать главных виновников с глаз долой — про остальных-то никто и не вспомнит.

Иов Многострадальный слушал вопрос за вопросом: *Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре место её?*

Кажется, для российского императора нет ничего невозможного. Почему же так жарко молился Николай Второй? *Научи меня, господи, спокойно воспринимать события, ход которых невозможно изменить. Дай, господи, умение и силу изменять события, мне подвластные. И научи мудрости — отличать первые от вторых…*

Ещё в 1912 году записала в своём дневнике вдовствующая императрица Мария Фёдоровна: *Чувствую, что мы движемся к катастрофе*. Записала не в начале войны, не в дни Февральской революции, нет — в мирном двенадцатом году! Она и вправду чувствовала. Ведь и в году шестнадцатом, когда из Петрограда пришло известие о смерти Распутина, в дневнике Марии Фёдоровны появились провидческие слова: *Думают, что это конец, но это начало, и начало ужасных событий.*

Тотчас великий князь Николай Михайлович написал ей в Киев:

После того как убрали гипнотизёра, нужно попробовать обезвредить загипнотизированную. Как ни трудно, нужно отослать её как можно дальше, в санаторий или в монастырь. Речь идёт о спасении престола, государя. Иначе будет слишком поздно! Вся Россия знает, что покойный Распутин и императрица — одно и то же. Первый убит, теперь должна исчезнуть и другая.

Упаси господь, не об убийстве Аликс шла речь. В семье считали, что скорбной умом императрице одна

дорога — в *санаторий*, в сумасшедший дом. На кону оказалось будущее всей династии. Даже Мария Фёдоровна за спиной сына вела разговоры о его отречении — спасение *престола* и спасение *государя* перестало быть одним и тем же.

К переменам готовился и Грозный Дядя — великий князь Николай Николаевич, к которому на Кавказ приезжал представитель Союза городов с предложением: взять власть и железной рукой навести в стране порядок. Генералиссимус не только не расстрелял визитёра за измену, но даже не посчитал нужным сообщить о предложении своему государю.

Действительно — Россия катилась в пропасть. Но вместо того чтобы стать плечом к плечу с императором, семья отвернулась от него. Великие князья разбрелись, кто куда. Россия катилась в пропасть… Да полно, так ли уж плохо было всё?

Двадцать лет кряду российская экономика росла на девять процентов ежегодно. Быстрее, чем даже в Американских Штатах — первое место в мире! Подданные Николая Второго выращивали половину мирового урожая ржи, треть картофеля, четверть пшеницы, овса и ячменя… *Житница Европы* — так называли тогда Россию, которая давала две пятых мирового экспорта крестьянского продукта. Кто ещё мог с нею тягаться?

Дед императора, Александр Второй, отменил крепостное право — Николай Второй продолжил его дело столыпинской земельной реформой. Общины были упразднены, помещичьи угодья сокращались; три четверти пахотных земель перешли в руки крестьян, а в Азии дехканам отдали вообще почти всю пашню. Вдобавок — положение дел на фронтах, наконец, выправилось. Российские армии под Верховным главнокомандованием самого императора уже потеснили врага, готовясь раздавить его весной или

летом следующего года… Жить бы да радоваться! Но не зря ведь сказал предок фрейлины, которая воевала с Распутиным, поэт и дипломат Тютчев:

Умом Россию не понять,
аршином общим не измерить,
у ней особенная стать…

Непонятная уму особенность страны проявлялась тоже необычно. Освободителя крестьян Александра Второго в благодарность взорвали бомбой. Реформатора Столыпина застрелили на торжествах по случаю пятидесятилетия отмены крепостного права. А про Николая Второго печально и точно высказался литературный нобелиат, британский премьер-министр Уинстон Черчилль: *Судьба сделала его русским императором, и в результате он погиб.*

После убийства Распутина императорская семья прожила *девятнадцать* месяцев. Из них *шестнадцать* — государя с женой и пятерыми детьми содержали под стражей и везли из Петрограда в Сибирь, из Сибири на Урал — навстречу смерти.

Девятнадцать — шестнадцать: вот и ещё одно значение цифр в названии романа…

Свой дневник, начатый в четырнадцатилетнем возрасте, император вёл всю жизнь, не пропуская ни единого дня, и аккуратно описывал примечательные события. Все тетради сохранились, но к некоторым до сих пор нет доступа. Издавали их только выборочно… Кто боится? Чего?

В последних числах февраля 1917 года к петроградским беспорядкам присоединились десятки тысяч взбаламученных солдат, которых не успели отправить на фронт. Но императрица не желала ничего замечать — или вправду не замечала? Из Царского

Села, где было тихо, она писала мужу о простых уличных хулиганах.

Очереди и забастовки в городе более чем провокационные. Юноши и девушки только для подстрекательства бегают с криками, что у них нет хлеба, а рабочие не дают другим работать. Было бы очень холодно, они, вероятно, остались бы дома.

Днём позже — совсем в ином тоне телеграфировал председатель Думы Родзянко.

Всеподданнейше доношу Вашему Величеству, что народные волнения, начавшиеся в Петрограде, принимают стихийный характер и угрожающие размеры. Основы их — недостаток печёного хлеба и слабый подвоз муки, внушающий панику.

Ещё через день последние иллюзии рухнули.

Гражданская война началась и разгорается. На войска гарнизона надежды нет. Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом. Если движение перебросится в армию — крушение России, а с ней и династии — неминуемо.

— А что, действительно Алексей так тяжело болен? — спросил лейб-медика император перед тем, как подписать отречение.

Потрясённый врач ответил:

— Неужели вы не понимаете? Он болен смертельно, и не просто смертельно, он может умереть в любую минуту!

Распутина больше нет. На руках — безнадёжно больной сын, четыре дочери на выданье и безумная жена.

Вопросы рвали мозг Иова: *Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: вот мы?*

Страшной ошибкой обернулся отъезд императора из Ставки в Могилёве. Там его окружала многомиллионная армия, крушащая врагов от Румынии до Пруссии. Здесь, под Псковом, куда загнали голубой императорский

поезд по дороге в Петроград, окружали одни враги. И неоткуда взять молний, чтобы испепелить их…

Николай Второй был добрым семьянином и не был великим государем.

Он отрёкся.

Отрёкся второго марта 1917 года — за себя и за умирающего сына, передав трон младшему брату Михаилу. В штабном вагоне карандашом подмахнул юридически ничтожную формулу, прекращающую его царствование. Документ — всего один машинописный лист французского стандарта 35 × 22 сантиметра — принял депутат Государственной думы Гучков. Приснопамятный распространитель памфлета «Гришка» и краденых писем.

С Мишей, братом своим, Николай Александрович хотел объясниться телеграммой, которую отбил прямо из поезда.

Петроград, Его Императорскому Величеству Михаилу Второму. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Остаюсь навсегда верным и преданным братом. Горячо молю Бога помочь тебе и твоей Родине. Ники.

Телеграмма до адресата не дошла.

Формально российским императором Михаил Александрович оставался около полусуток. Эти бесконечно растянувшиеся часы он в раздумьях и сомненьях провёл в особняке князя Михаила Сергеевича Путятина. В двенадцатом доме по безлюдной Миллионной улице. Напротив Английского клуба, где Вернон Келл встречался с разведчиками Скейлом и Эллеем.

Утром третьего марта столичные газеты опубликовали имена министров Временного правительства, только что назначенных

Государственной думой. Премьер — князь Львов, министр иностранных дел — Милюков, военный и морской министр — Гучков: он как раз к этому времени привёз в столицу подписанное отречение. Министром юстиции стал молодой юрист Керенский — думский депутат от Саратова, который вёл расследование на Ленских приисках.

Днём в особняк на Миллионной съехалась компания новоявленных министров. Все ждали, что скажет новый император.

Михаил Александрович вышел к ним бледный, со следами бессонной ночи на лице. Он заявил, что тоже отрекается от престола и вверяет своё будущее Учредительному собранию. Рассуждал так: уж если Собрание будет решать судьбу всей России, то и ему как части России надлежит принять это решение. Постановят быть абсолютной монархии — станет самодержавно царствовать. Постановят быть монархии конституционной — взойдёт на трон и разделит власть с Государственной думой, или парламентом, или как ещё назовут себя законодатели. А если Учредительное собрание объявит Россию республикой — станет жить-поживать со своей пепельноволосой Натальей просто как очень обеспеченный гражданин Романов.

Краткое пребывание Михаила Александровича последним, некоронованным российским императором окончилось. Гости князя Путятина вздохнули с облегчением — и охотно воздали должное шикарному обеду, который устроил хозяин-хлебосол по поводу исторического события.

Россия слиняла за три дня — это сказал Василий Розанов, любивший посиделки у непьющих друзей-критиков в меблированных комнатах «Пале-Рояль». Знаменитый философ, тайком читавший отнятые у детей детективы про Ната Пинкертона и Ника Картера, семь копеек книжка.

Через полгода Николая Александровича и его семью увезли в Сибирь. До тех пор они жили под арестом в привычном Александровском дворце Царского Села. В тиши здешних парков и библиотек болезненно отзывалась мудрость древнего китайца Лао Цзы.

Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители, которые требуют от народа их любить и возвышать. Еще хуже те правители, которых народ боится, и хуже всех те, которых народ презирает.

Николай Второй пытался стать лучшим правителем, а стал, выходит — хуже всех. Вопреки ожиданиям, Россия никак не успокаивалась. Полный подстрекателями Петроград бурлил, и в опасении за жизнь арестантов Временное правительство надумало отправить их от греха подальше.

Михаил Александрович приехал попрощаться с братом — его привёз Керенский, ставший уже министром-председателем. Незадачливого великого князя то сажали под арест, то предлагали ему уехать из страны, да он отказывался… На свидание братьям отвели десять минут. По-человечески поговорить при посторонних они не смогли.

Николая Александровича с семьёй после долгих обсуждений правительство постановило выслать в Тобольск. О том, что по пути с борта парохода они видели Покровское — родное село Распутина — кто только не упоминал! А о том, что прямая линия российской императорской династии началась в Ипатьевском монастыре Костромской губернии и закончилась в Ипатьевском доме Екатеринбурга, писать уже просто неловко…

…но разве можно рвать траурное кружево истории Иова Многострадального? *Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?*

В апреле 1918 года семью царственных арестантов доставили в Екатеринбург и поселили на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка. В газетах писали о предстоящем суде над бывшим императором.

О фатальной роли числа *семнадцать* в своей жизни Николай Александрович говорил жене ещё в Ливадии, листая книжку Хлебникова. Семнадцатого октября, в бытность его цесаревичем, сошёл с рельсов царский поезд в Борках. Семнадцатого января он, уже российский государь, держал свою первую, такую постыдную и неуклюжую речь к собранию земского дворянства. После коронации, в ночь с семнадцатого мая, случилась смертельная давка на Ходынском поле. Семнадцатого октября Манифестом о гражданских свободах он отказался от самодержавия. В ночь на семнадцатое декабря убили Распутина. В семнадцатом году рухнула власть трёхсотлетней династии…

Утром семнадцатого июля в Москву руководителям большевистского правительства России полетела из Уралсовета телеграмма-молния. Безграмотный отчёт о выполнении партийного задания. Улика.

Сообщаем вам о расстреле бывшего царя Николая Романова, виновного в бесчисленных кровавых насилиях над русским народом, а семья эвакуирована в надёжное место.

Вечером того же семнадцатого вдогонку первой телеграмме пришла вторая, зашифрованная.

Всю семью постигла та же участь, что и её главу. Официально семья погибнет при эвакуации.

Имена тех, кто приготовлял ворону кровавый корм, не тайна. У каждой телеграммы есть авторы и отправители, есть адресаты и получатели; есть те, кто стояли за убийством. Авторы екатеринбургской трагедии известны поимённо. Что с того?

Ночью пленников Ипатьевского дома подняли с постелей, велели одеться и спуститься в подвал. Там пятерых детей и бывших с ними взрослых — родителей, врача и двух слуг — изрешетили из револьверов. Чтобы хоть как-то заглушить стрельбу, убийцы завели пластинку — и можно догадаться, что за мелодийка гремела из граммофонной трубы:

Yankee Doodle went to town,
a-riding on a pony…

Тяжёлые тупоконечные мельхиоровые пули из «наганов» разорвали на жертвах одежду, впились в мясо, перебили кости, забрызгали кровью стены… Цесаревич Алексей и Николай Александрович первыми же выстрелами были убиты наповал. Императрица и царевны погибли не сразу. Перетрусившие палачи стреляли куда и как придётся.

Вернон Келл не зря говорил Дмитрию Павловичу о преимуществах быстрой перезарядки пистолета: поменял магазин, передёрнул затвор — и стреляй дальше. Не каждый сможет, стоя над истекающими кровью женщинами, высыпать из барабана револьвера стреляные гильзы и, уняв дрожь в липких пальцах, снова вкладывать патрон в каждое гнездо, чтобы добить кричащих от боли раненых. К тому же маленькую комнату заволокло кислым пороховым дымом, и стрельба наверняка донеслась через подвальные окна до соседских ушей. А огласка в планы чекистов не входила.

Тела расстрелянных выволокли во двор. Груди великих княжон — красавиц, о которых тщетно грезили самые завидные женихи во всей Европе, — с хрустом пронзила тусклая сталь. В первых лучах зари, которой

они уже не увидели, девушек добили длинными гранёными штыками: *чтоб по-тихому.*

Когда трупы складывали в грузовик, из муфточки младшей царевны Анастасии вывалился лохматый комок. Один из чекистов пошевелил его носком ботинка. Находка оказалась мёртвым маленьким пёсиком со слипшимися чёрными ушами и набрякшей от крови длинной светлой шёрсткой. Этого кинг-чарльза подарили великой княжне благодарные раненые в госпитале, где она работала сестрой милосердия. С потешным крохой Анастасия не расставалась, и он разделил её участь.

Императорской семье принадлежали с десяток собак; убиты были все — из животной ненависти и для отговорки на случай расспросов. Хозяев, мол, перевезли в новое место, а собак пришлось, значится, в расход. От этого, мол, ночной шум и следы крови... Та же легенда, что и с убийством Распутина.

Погибли французский бульдог Ортино, обошедшийся Николаю Александровичу дороже автомобиля, и терьер Эйра, которого Александра Фёдоровна частенько сажала за стол. Спасся один только любимец цесаревича, спаниель Джой — умница и охотник. Обычно он целыми днями крутился по дому и двору, а к ночи расстрела вдруг пропал. Притих, забился куда-то — и остался жив. Приютили добрые люди. Может, и теперь, когда Екатеринбург снова стал Екатеринбургом, по городским улицам бегают потомки царского пса.

Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? — многострадальный Иов уже не мог ответить.

На рассвете чекисты вывезли тела убитых за город. Верстах в полутора от деревни Коптяки наткнулись на неглубокую подтопленную шахту. Раздели трупы, с похабными шуточками содрали с женщин окровавленное бельё. Нашли в корсетах царевен

аккуратно зашитые драгоценности и лишний раз порадовались добыче.

— Чё за херня? — спросил один, пнув тело царя в плечо с татуировкой.

Другой присмотрелся к японской лилии:

— Слышь, у Николашки-то *порта́чка* набита!

— *Чалился*, чё ли? — подхватил третий, и все дружно загоготали над блатной шуткой, обсуждая со знанием дела, как царь *пыхтел на киче*.

Они притащили валежника, разложили костёр и сожгли ошмётки одежды, а трупы столкнули в шахту. Оставили охрану и уехали в город за инструкциями: что делать дальше.

На следующий день те же чекисты появились опять. Самый трезвый по верёвке спустился в шахту. Всех убитых одного за другим подняли на поверхность.

Палачи вернулись не с пустыми руками. Привезённый керосин вылили на дрова нового огромного костра. Трупы, прежде чем сжечь, изуродовали серной кислотой. В склизкую дымящую кашу обратились мокрые локоны царевен, поползла разъеденная кожа с их посиневших точёных личиков. Распространяя тошнотворный запах, в чёрных пузырях исчезла лилия, выколотая когда-то на плече цесаревича Ники мастером Хоре Кио — подарок от кузена Джорджи, нынешнего английского короля Георга. Чекисты чуть не перестреляли друг друга, пока спорили и рядили — кому до вечера ворошить в костре чадящие гарью мяса человеческие тела…

Раньше пророчества Распутина — пророчил ещё Иоанн Кронштадтский. Было ему видение — псы во дворце. Государь молится, сидя на троне, а псы крушат, рвут, топчут, гложут всё вокруг. И говорит император, мешая на лице слёзы с кровью из-под тернового венца:

— Могилы моей не ищите!

Михаила Александровича большевики расстреляли месяцем раньше, в Перми, куда спешным порядком вывезли из Петрограда, дав полчаса на сборы. Жена его, несостоявшаяся императрица Наталья Вульферт, после признания брака получившая титул графини Брасовой, оказалась в тюрьме: убийцы обвинили её в исчезновении мужа.

Почти через год графиня сумела бежать из тюремной больницы. Дальше, как и многие тогда, выучилась прятать бриллианты в обмылках и торговаться, меняя меха на хлеб. Юного графа Брасова — их с Михаилом сына Георгия — она сумела отправить в Лондон под видом ребёнка английской гувернантки.

Следом Наталья Сергеевна вырвалась и сама — через Одессу и Константинополь. В Англии продала купленный до войны замок, где они с Михаилом были так счастливы в изгнании. Собрала остатки денег и ценностей. В гибель мужа она не верила — считала, что он или в тюрьме, или бежал и скрывается. Обо всей императорской фамилии ходили тогда самые невероятные слухи. Графиня устроила сына учиться в *The King’s College of Our Lady of Eton beside Windsor* — заоблачно престижный Итонский колледж, который за шестьсот лет своего существования дал Британии множество государственных деятелей и нескольких премьер-министров. Сама же поселилась во Франции. Продолжала ждать любимого — и вспоминать, вспоминать, вспоминать его ясные глаза, его нежные руки, его письма…

Моя дорогая, красивая Наташа, у меня нет слов, которыми я бы мог выразить свою благодарность за всё, что ты дала мне в моей жизни. Не печалься, с Божьей помощью мы скоро опять встретимся. Пожалуйста, верь всегда моим словам и моей нежной любви к тебе, к моей самой дорогой и блестящей звезде, которую я никогда,

никогда не оставлю и не покину. Я обнимаю и целую всю тебя. Пожалуйста, верь, что я весь твой. Миша.

Учёба сына и жизнь, достойная супруги великого князя и некоронованного императора, постепенно съедали деньги. Наталья просила вдовствующую императрицу Марию Фёдоровну помочь внуку. Та оставила Георгию солидное наследство. А Наталья Сергеевна на совершеннолетие купила сыну подарок — спортивный автомобиль *Chrysler*. Едучи на нём к матушке, граф Герогий Брасов насмерть разбился под Парижем.

Наталья Сергеевна прожила все свои капиталы — всё, что было. Концы с концами ей помогала сводить дочь Наташа, присылавшая из Лондона по сто фунтов в месяц. В трудную минуту выручал Феликс Юсупов — он платил за лекарства.

О том, что её муж, великий князь Михаил Александрович, расстрелян большевиками прежде своего брата, Наталья Сергеевна узнала из рассекреченных документов только в 1951 году. А через год графиня Брасова умерла в мансарде на окраине Парижа от рака груди. Из квартиры её выселили: хозяйка по безграмотности боялась заразиться. Несколько мучительных месяцев перед смертью Наталья Сергеевна кричала от невыносимой боли.

Здоровью и выдержке вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны можно было позавидовать.

В семьдесят лет она пережила затворничество в казачьей станице, погромы в крымских имениях и страхи в осаждённой Ялте, где одни матросы охраняли её от других. Её сестра Александра — мать английского короля Георга Пятого — настояла на срочной эвакуации остатков российской императорской фамилии. Уинстон Черчилль, потомок герцогов Мальборо, направил к берегам Крыма военную эскадру во главе с крейсером «Мальборо».

Мария Фёдоровна и её младшая дочь Ольга оказались в Англии. Погостили у Александры и, восстановив силы, отбыли в Данию. Больше полувека назад принцесса Дагмар покинула родину невестой русского цесаревича и отправилась на корабле в Санкт-Петербург — теперь вдовствующая российская императрица Мария Фёдоровна вернулась тем же морем в родной Копенгаген.

Однажды в Крыму ей сообщили: завтра в газетах напишут про то, что вся царская семья расстреляна в Екатеринбурге. Верить этому не надо, поскольку до Екатеринбурга никто не доехал, и ещё в Тобольске верные люди организовали побег. Телохранитель вспоминал, как Мария Фёдоровна читала страшные статьи и смеялась.

Телохранителя звали Тимофей Ящик. Когда-то император сам выбрал его, обходя строй конвоя. Двухметровый лейб-казак многие годы повсюду сопровождал государя — дома в Александровском дворце, в Крыму, Финляндии и Спале на отдыхе, в поездках по фронтам… Александра Фёдоровна была уверена: огромный бородатый детина в черкеске с газырями напоминает императору отца. В 1916 году Николай Александрович приставил своего верного казака к матушке, которая обосновалась в Киеве.

Когда в Ялте началась полная неразбериха, Тимофей увёз Марию Фёдоровну и Ольгу Александровну в свою станицу Новоминскую. В его доме младшая сестра императора родила своего второго ребёнка.

Лейб-казак последовал за госпожой в Англию и Данию. Иностранных языков Тимофей не учил — верил, что скоро вернётся в Россию. Был всегда рядом с Марией Фёдоровной. Ночью расстилал на паркете под дверью её спальни лохматую бурку и ложился, держа наготове револьвер и шашку. Однажды казак смущённо пожаловался, что с трудом управляется игрушечными

столовыми приборами во дворце. Тогда специально для его могучих ручищ изготовили клеймёные вензелями серебряные ложку и вилку, напоминающие садовый инструмент.

Домой Ящик так и не вернулся. В начале двадцатых красноармейцы *за контрреволюцию* вырезали всю его семью — жену Марфу и девятерых детей, а верный присяге лейб-казак служил вдовствующей императрице до конца. В 1928 году он отстоял последний трёхсуточный караул — у её гроба. Мария Фёдоровна завещала Тимофею немного денег. Он открыл в Копенгагене бакалейную лавку, женился на местной хохотушке и прожил ещё почти двадцать лет. Тимофей Ящик так и не научился говорить по-датски, но жена его занялась русским и записывала воспоминания лейб-казака: *Когда я клал Марию Фёдоровну в гроб, она так высохла, что казалась почти невесомой…*

Бывшая принцесса Дагмар пережила императорскую семью на десять лет. Она никогда не увидела страшной могилы сына, внука, четверых внучек и нелюбимой невестки с одной и той же датой смерти: 17 июля 1918 года. Она не хотела верить в мученическую гибель своего первенца и даже в письмах к сестре Александре до конца своих дней говорила о нём только как о живом.

Завтра день рождения моего Ники, и как жутко и печально, что у меня больше нет от него вестей… Где он теперь… Но я знаю, что, где бы он ни был, Господь споспешествует ему. Но как же мне тяжело, как тяжко! Есть вещи, которые нельзя трогать, о которых нельзя говорить, и я скрываю это в самой глубине души.

Прах Марии Фёдоровны упокоился в саркофаге Королевской усыпальницы кафедрального собора в городе Роскилле, рядом с прахом её родителей и других членов датского королевского дома, но завещала похоронить себя с возлюбленным мужем…

…и когда сменилась эпоха — ровно 140 лет спустя после первого прибытия в Россию, в 2006 году Мария Фёдоровна снова прибыла в Санкт-Петербург. Как по заказу, на берегах Невы её встретила та же погода, о которой писал Фёдор Тютчев:

Небо бледно-голубое
Дышит светом и теплом
И приветствует Петрополь
Небывалым сентябрём.

Воспетая поэтом *Дагмарина неделя* вернулась вместе с гробом Марии Фёдоровны. В Копенгагене от дворца Кристианборг до гавани траурную процессию провожал почётный эскорт гусарского полка. В российских водах датчан встретил флагманский корабль Балтийского флота с командующим на борту, а в Кронштадте военные корабли приветствовали прибывших тридцатью одним орудийным залпом — как и 140 лет назад. После панихиды в Петергофе гроб с останками российской императрицы Марии Фёдоровны захоронили в соборе Петропавловской крепости — как и было завещано, рядом с могилой её венценосного супруга Александра Третьего.

Останки Николая Второго и членов его семьи обнаружили в конце девяностых годов. Для генетического анализа использовали кровь с ткани, которой цесаревичу Ники перевязали голову в Японии, когда Сандзо Цуда ранил его самурайским мечом. Японцы бережно сохраняли реликвию больше ста лет, и понадобилась она для совсем неожиданных целей.

Много раньше, в 1928 году, император и его семья были причислены к лику святых Катакомбной церкви — в пору самых суровых антирелигиозных гонений. Русская зарубежная церковь осторожно прославила их в

1981-м. Архиерейский Собор Русской православной церкви выжидал ещё дольше, предпочитая строить отношения с коммунистами. Лишь в 2000 году Собор принял решение — царя Николая Второго, царицу Александру Фёдоровну, цесаревича Алексея, царевен Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию причислить к лику святых новомучеников и исповедников российских, явленных и неявленных.

Канонизированная Александра Фёдоровна стала царицей Александрой Новой, поскольку царица Александра среди святых уже была. Интересно: незадолго до смерти Григорий Распутин просил государя об изменении фамилии. Получив разрешение, он именовался Григорием Распутиным-Новым — не только в личных документах, но и в полицейских сводках, и в газетных репортажах.

Останки семьи последнего императора при огромном стечении народа захоронили в соборе Петропавловской крепости. В траурной церемонии участвовали первый президент России и патриарх всея Руси.

На требование главы императорского дома за рубежом — о реабилитации покойных как жертв политических репрессий — Генеральная прокуратура России в 2006 году ответила отказом. Не нашлось *формальных обвинений властей в адрес императора*. Не удалось обнаружить и *официальных решений судебных или несудебных органов о применении к погибшим репрессии по политическим мотивам.*

Зверское убийство императорской семьи прокуроры назвали уголовным преступлением, жертвы которого не подпадают под действие Федерального закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий». И снова меткое замечание от Фёдора Тютчева: *вся российская история до Петра Первого — сплошная панихида, а после — одно уголовное дело…*

Пётр Первый, кстати, и был последним московским царём, четырнадцатым по счёту. Последним царём — и первым российским императором. А Николай Второй был последним императором России — тоже четырнадцатым…

История и людская память хранит предсмертные слова знаменитостей.

— Какая мука, что не можешь найти слово, чтобы передать мысль! — сказал, умирая, всё тот же Фёдор Иванович Тютчев.

— Пользуйтесь, ребята! Всё-таки царские, — произнёс у расстрельной стены *господин Égalité*, великий князь Николай Михайлович, и швырнул чекистам свои сапоги.

— Не понимаю, — в полузабытьи пробормотал напоследок Лев Николаевич Толстой.

Когда пленники спустились в подвал дома в Екатеринбурге, глава убийц по бумажке зачитал им постановление Уралсовета о расстреле. Император громко переспросил:

— Как? Я не понял!

Палач прочёл ещё раз — и тут же всадил ему в грудь первую пулю.

Такими были последние слова последнего российского императора.

Я не понял.

Глава VII. Петербург — Петроград — Ленинград

Жаль, город не может быть самостоятельным героем романа.

Люди могут, город — нет. Героями романа становятся его жители. А город — в силу своего неповторимого колорита — задаёт действие. Задаёт поступки, которые герои совершают на его фоне. Уникальный, потрясающий город. По-прежнему такой, каким увидел его француз Астольф де Кюстин в середине девятнадцатого века.

Калмыцкая орда, расположившаяся в кибитках у подножия античных храмов, греческий город, импровизированный для татар в качестве театральной декорации, великолепной, но безвкусной, за которой скрывается подлинная и страшная драма, — вот что бросается в глаза при первом взгляде на Петербург.

То, что происходило здесь, не могло произойти нигде больше. Не могло произойти *так*, как произошло.

Последний русский царь Пётр Алексеевич создал Российскую империю, основал на топких островах столицу и стал первым императором. Последний император Николай Второй — покончил с Российской империей, и вместе с нею столица канула в небытие.

Санкт-Петербург уникален. Нет перевода названия *Париж* на французский; *Лондон* не переводится на английский, *Мадрид* — на испанский. Имя столицы России — трёхъязычный космополит. В нём уживаются латинское *Санкт* — святой, греческое *Петер* — камень и германское *Бург* — твердыня. А звучит это трио на четвёртом языке — русском.

Святого апостола Петра называли первым камнем в основании храма новой веры. Первый камень в

основание нового Российского государства и новой столицы положил Пётр Первый. Двумя веками раньше монах назвал Москву Третьим Римом: *два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти*... Или всё же — быти?

История покажет.

Есть уже история появления и расцвета имперской столицы в восемнадцатом веке. Есть история блистательного Петербурга в девятнадцатом. На двадцатый век пришлась история его гибели и превращения в Ленинград, а потом — начавшаяся история мучительного возрождения. Хотя новый Петербург — к сожалению или к счастью — уже совсем другой город.

Жил здесь подражатель Бодлера — автора «Бродячих псов» — по имени Константин Вагинов. Свидетель тех фантасмагорий, что смели позолоту с фасадов Северной Венеции и уничтожили имперскую славу. Автор «Козлиной песни».

Не люблю я Петербурга, кончилась мечта моя... Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается — автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер.

Здешняя колыбель дала три революции. Все три пришлись на правление последнего императора: одна в девятьсот пятом году и две — в семнадцатом. Козлиная песнь в обратном переводе на греческий — трагедия...

Прежнего Петербурга больше нет, и мечта в самом деле кончилась. Но не хочется причитать над покойными. Не хочется примыкать к тем, что раками ползают по дну истории, кормясь в придонном культурном слое. Роются в гумусе, выковыривая старые конфетные фантики, забытые сны, обрезки ногтей былых кумиров и непристойные литографии эпохи рококо в рамах чёрного дерева. Эдак недолго и самому

стать экспонатом, каким-нибудь вытертым чучелом — перспектива малопочтенная.

Маяковский взахлёб читал интересные книжки, которые подбрасывал ему Бурлюк. *Крикогубого Заратустру* нашёл у Ницше, который целый трактат сочинил «О пользе и вреде истории для жизни». Было там интересное замечание: *избыток исторического чувства — опасен, ибо вызывает ненормально трепетное и потому некритическое отношение к былому.*

Те, кто слишком поддаются историческому чувству, рискуют выродиться в плесневелых антикваров. Уткнуться в прошлое — и подорвать не только своё настоящее, но и возможности будущего. Как принято говорить у нынешних филологов: *оно нам надо*?

Только совсем без чувства истории — тоже нехорошо. Музеи нужны, да музей музею рознь. Есть воспетые Мандельштамом музеи-склепы. Саркофаги, где милый Египет вещей ощутимо припахивает сладким тленом, а полоумные старухи-смотрительницы в стоптанных туфлях шикают на благоговеющих посетителей.

Мой Петербург — другой музей. Я приглашаю зайти и порадоваться: те экспонаты, что ещё сохранились, здесь можно трогать руками. Можно поселиться там, где жил такой-то; с удовольствием выпить там, где выпивали такие-то. И даже... нет, всего-навсего прогуляться там, где окончили свои дни этот, этот или та. Можно затрепетать при звуках имени, слетевшего с бронзовых губ. А можно — пролистать Хармсову *комедию города Петербурга.*

Ольга Форш подошла к Алексею Толстому и что-то сделала. Алексей Толстой тоже что-то сделал. Тут их приятели выскочили на двор и принялись разыскивать подходящий камень. Камня они не нашли, но нашли лопату. Этой лопатой съездили Ольге Форш по морде. Тогда Алексей Толстой разделся голым и, выйдя на Фонтанку, стал ржать по-лошадиному. Все говорили:

«Вот ржёт крупный современный писатель». И никто Алексея Толстого не тронул.

Ещё бы! Кому придёт в голову — тронуть *красного графа*, жуира и гедониста, эмигранта и маститого большевистского писателя, ходившего по мукам со своими героями — и тоже горевавшего по рухнувшей империи в её утраченной столице?

Страшен был Петербург в конце семнадцатого года. Страшно, непонятно, непостижимо. Всё кончилось. Чины, отличия, пенсия, офицерские погоны, буква ять, бог, собственность и само право жить как хочется — отменялось... Заря восемнадцатого года разгоралась на чёрном небе красными отсветами. Начиналась новая, трагическая для страны эпоха. Замелькали тревожные, хмельные дни и ночи города, где совершалась история.

Всё кончилось, но агония длилась ещё долго.

Порхали *ночные бабочки* в Александровском саду у театра «Народный дом» — и в саду Таврическом. Так повелось ещё со времён Александра Второго, когда ядрёными селянками из распечатанных помещичьих гаремов наслаждался вместе с другими петербуржцами писатель Скабичевский.

Я не запомню, чтобы в Петербурге было такое обилие проституток, как в первые годы по освобождении крестьян. Стоило пойти вечером по Невскому, зайти в любой танцкласс или биргалле — пивную, — чтобы встретить доходившую порой до давки толпу погибших, но милых созданий.

Не испытывали недостатка в клиентах две сотни борделей с полутора тысячами *девочек*, имевших *жёлтый билет* и поставленных на учёт Врачебно-полицейским комитетом. Вроде той Муськи, что под видом великой княжны Ольги Николаевны блудила с двойником Распутина.

Благоденствовали две с лишним тысячи *бланковых* проституток — рангом пониже *билетных*, которые

трудились на улицах. И никакие облавы не укрощали тех, что промышляли панелью без регистрации, на свой страх и риск. Завидев приближающегося полицейского, а в новые времена — милиционера, такая барышня бросалась в поисках мужчины, который взял бы под руку. Успела — спасена.

Маяковский городовых позлить любил, и весёлые девицы охотно повисали на рукаве высоченного парня с мясистыми губами, искривлёнными усмешкой в лицо очередной *бляхе с номером*. Хорош! С таким под настроение и бесплатно можно.

Продажные заводили интересный разговор просьбой *угостить даму папиросской* в «Луна-парке» на Офицерской. Самые дорогие, или те, что *за любовь и новую шубку*, или которые *чтобы отомстить*, или которые *чтобы развеяться* — не давали пустовать кабинетам на «Вилле Родэ».

Немного раньше того места, где по соседству с местом последней дуэли Пушкина ленинградцы построили станцию метро «Чёрная речка», ночи напролёт петербуржцы-петроградцы прожигали жизнь в знаменитом кафешантане с рестораном и кабаре.

Князь Феликс Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович, Игорь-Северянин и Александр Куприн, Корней Чуковский и Алексей Толстой, Всеволод Мейерхольд и Максим Горький, купцы и банкиры, министры и генералы, думские депутаты и гвардейские офицеры — «Виллу Родэ» любили и посещали все.

Даже великую переводчицу Татьяну Щепкину-Куперник по молодости занесло сюда однажды с компанией знакомых: даме появляться на «Вилле» в одиночку — верх неприличия. Расположились в кабинете.

— Ой, а что там? — спросила она, глядя на занавешенный альков.

— Ничего особенного, — с деланым равнодушием ответил оказавшийся в компании Куприн. — Табуретка и умывальник.

Любопытная Татьяна Львовна потянула за шнур с кистями — и залилась краской стыда, увидав огромную кровать с призывно откинутым уголком одеяла.

Александр Блок жил в Коломне — на другом краю города, но «Виллу Родэ» посещал регулярно. Зато жена его сюда ни ногой, памятуя о возмутительно смачной оценке Чуковского: *первоклассный притон*! Так и ездили порознь. Любовь Дмитриевна — в «Бродячую собаку» или «Привал комедиантов», где Александр Александрович бывать зарёкся, а он — в кафешантан поклонника своего, Адолия Сергеевича Родэ.

Здесь каждый вечер в час назначенный плыли между столиков манящие незнакомки. И хотя Блок разглядел свою Незнакомку сквозь паровозный дым в привокзальном ресторане на станции в Озерках — о других он упоённо писал прямо на «Вилле», приказав подать перо и бумагу.

Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе чёрную розу в бокале
Золотого, как небо, «Аи».

Так изящно и просто, с цветком и шампанским, случались в заведении Родэ мимолётные знакомства с продолжением в алькове кабинета…

Неслась навстречу гибели огромная империя, а в лучших ресторанах ещё кутили столичные жители, по примеру Юсупова норовя перегнать Москву. И кто остались живы — плакали потом в Константинополе и Лондоне, Берлине и Париже, вспоминая невозвратное вместе с Николаем Агнивцевым.

«Кюба», «Контан», «Медведь», «Донон»!
Чьи имена в шампанской пене
Взлетали в невский небосклон
В своём сверкающем сплетенье!..
Ужель им больше не звенеть?
Ужель не вспенят, как бывало,
«Кюба», «Контан», «Донон», «Медведь»
Свои разбитые бокалы?

Долго цеплялся за жизнь «Спортинг-палас» на Петроградской стороне — у пересечения Каменноостровского проспекта с Малым. Его бетонную махину проезжал Перебейнос по пути к месту гибели Распутина. Здесь — как и в клубе *American Roller Rink*, что возле Марсова поля, в десятых годах жители столицы предавались недавно появившейся забаве — катанию на роликах. Коньками-то петербуржцев удивить сложно, и ледовые катки — что закрытые, что открытые — полнились публикой. А вот новомодные ролики были до́роги, так что случайно, между делом, сюда никто не попадал.

Молодцы приходили не просто покататься. Где ещё, как не на *Roller Rink*, можно было так бесстыдно разглядеть в движении и подцепить хорошенькую подружку?! Барышни в охоте на кавалеров тоже времени даром не теряли. А меж ними сновали официанты, которых сметливый хозяин тоже поставил на ролики.

Вот было время! Хоть и военное, а танцевали все — к недоумению даже далёких от политики газет вроде «Обозрения театров».

Если бы к нам с Луны свалился человек, он, разумеется, подумал бы, что Петроград — самый весёлый город на свете и петроградцы живут в глубоком мире и сытости, когда ни о чём, кроме танцев, и не

помышляется. И если бы такому лунному человеку сообщили, что в Петрограде холод и непрерывные грабежи и убийства, лунный человек спросил бы, наверное: «Так с какой стати вы танцуете?»

В двадцатых годах беспризорники торговали у «Спортинг-паласа» кошачьими шкурками. В тридцатых — новые власти пристроили к нему фасад, украшенный барельефом с символами труда, театра и музыки. Бывшее любимое место развлечений столичной молодёжи превратилось в Дом культуры промкооперации — попросту *Промку*. Зал с двумя тысячами зрителей принимал самых популярных артистов.

Даже в сороковых, во время войны, *Промка* не закрылась: часть отдали под госпиталь, а кинозал и библиотека продолжали работать. Позже — старый «Спортинг-палас» назывался уже Дворцом культуры имени Ленсовета. Его облюбовали для гастрольных спектаклей и концертов. В восьмидесятых отсюда на всю страну загрохотали рокеры, понемногу выходя из подполья…

Название Сергиевского дворца не прижилось. Не стал он и Дмитриевским. Великий князь Дмитрий Павлович, сосланный в Персию за участие в убийстве Распутина, поспешил его продать, а новый хозяин — промышленник из татарской Елабуги — даже не успел воспользоваться покупкой. Так что здание на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки утвердилось под названием, которого никогда толком не носило: дворец Белосельских-Белозерских. Кто знает, почему? То ли князь Белосельский-Белозерский лучше запомнился как первый представитель России в Международном олимпийском комитете. То ли петербуржцы не пожелали привыкать к имени великого князя Сергея Александровича — генерал-губернатора Москвы.

Это же вечное соперничество! Бывшая столица Московского царства, ставшая столицей империи большевиков, — против Санкт-Петербурга, единственной столицы Российской империи. Ведь имперской столицей Москве побывать не довелось. Разве что раз-другой, ненадолго, на подхвате.

Во дворце Белосельских-Белозерских десятилетиями гнездились коммунистические руководители, любители роскошных чужих особняков. Но иначе сложилась судьба дворца, принадлежавшего великому князю Владимиру Александровичу. Флорентийское палаццо эпохи Ренессанса — украшение Дворцовой набережной и Миллионной улицы, куда выходит гофмейстерский корпус. Жилище Владимира Александровича три десятка лет было центром столичной светской жизни, именуясь Малым императорским двором.

Сам великий князь, виновник Кровавого воскресенья, до потрясений февраля и октября семнадцатого года не дожил. Владимир Алексадрович счастливо избегнул нескольких покушений и обрёл покой в великокняжеской усыпальнице собора Петропавловской крепости. Дворец в 1920 году по просьбе Горького отвели под петроградский Дом учёных. А заведующим поставили старого знакомого, бывшего управляющего Крестовским садом и знаменитого ресторатора, непотопляемого Адолия Родэ.

«Виллу» его к тому времени *товарищи* разорили. Разграбили хрусталь и серебро. Выгребли из сейфа деньги и драгоценности жены. Люстры побили, залы загадили. В бетонных погребах то, что не смогли выпить, забросали гранатами — хотя первое время при большевиках дела у Родэ шли на загляденье. Новая публика хлынула туда, откуда раньше её гнали в шею. В восемнадцатом году репортёры «Новых ведомостей» заговорили про *нового петроградского кутилу*.

Кутилы ещё не перевелись в северной столице. Они переменили только обличье. Прежний, дореволюционный состав жуиров и бонвиванов занимается сейчас продажей газет; на амплуа же «веселящегося Петрограда» пришёл новый человек, в большинстве своём до сих пор не переступавший и порога шантанов, кабаре и других злачных мест.

Дорвавшись наконец до недоступных ему ранее радостей жизни, этот новый жуир не знает преград и предаётся кутежам со всей силой давно накапливаемой неизжитой жажды к пряным дразнящим развлечениям. «Вилла Родэ», ещё недавно видавшая в своих стенах Григория Распутина, стала излюбленным местом и нового петроградского кутилы. Как и раньше, каждый вечер, едва затихал на ночь большой шумный город, вереница автомобилей, перегоняя друг друга, мчалась по Каменноостровскому проспекту и, пролетая стрелой через Строгановский мост, останавливалась у дощатого забора видавшей виды «Виллы»…

Непринуждённое веселье царило до глубокой ночи. С шумом и гиканьем разъезжалась ватага пьяных жуиров с визжащими дамами почти под утро, когда на обледеневших тротуарах устанавливались уже бесконечные голодные хвосты. Неслись в туманную ночную темень пьяные моторы. Их седоки не страшились обычной опасности петроградской ночи, грабители и налётчики были им нипочём, ибо были они зачастую с ними одного поля ягоды…

История никого не учит потому, что никто не учит историю. А ведь точно так же в девяностые журналисты увлечённо лепили образ *нового русского*. Прав был Маяковский и все, кто говорили вслед за Гегелем: история повторяется…

Вскоре после Октябрьского переворота Родэ уже председательствовал в правлении Союза владельцев ресторанов и гостиниц. От клиентов на «Вилле» не было

отбою: всплывшие со дна хозяева жизни тоже желали развлечений. *Новые жуиры*, вскормленные ржавой бочковой селёдкой, теперь небрежно размешивали серебряными вилками ананасы в шампанском. Так что и ресторан с кафешантаном, и кабаре «Ночная бабочка» процветали.

После красногвардейского налёта всё рухнуло. Ограбленного Адолия Сергеевича сунули в кутузку, откуда его не без труда вызволил Горький. Потребовалось даже ходатайство Всероссийского союза оркестрантов и Российского общества артистов цирка и варьете.

Новое предложение Горького пришлось кстати: Родэ энергично взялся за Дом учёных. Победившая партия интересовалась деньгами и оружием, а не мозгами. Интеллектуалы голодали — работы не стало, всё кругом порушено, жить не на что... Таланты Адолия Сереевича оказались незаменимы. Он подкармливал, выбивал вещевые и хлебные пайки, надоумливал Горького — к кому обратиться, что сказать, как поступить. Стараниями Родэ не все светлые умы утекли тогда за рубеж. Благодарные новые обитатели дворца дали Дому учёных своё название — *Родэвспомогательный* дом.

Не остался без внимания ещё один великокняжеский особняк, глядящий и на Неву, и на Миллионную улицу с Марсовым полем. Его построили при Екатерине Великой. Она подарила его своему любовнику, графу Орлову. Но тогдашние строители, подобно нынешним, работали не спеша. Граф терпеливо дождался окончания строительства — и умер, пока дворец отделывали тремя десятками сортов мрамора.

Мраморный дворец побывал собственностью казны. Принадлежал сыну императора Павла, великому князю Константину. Когда Константин Павлович, женившись на польской княгине Лович, отказался от престола в пользу Николая Первого — роскошный дворец снова

перешёл в казну. Его называли не только Мраморным, но и Константиновским: после Константина Павловича дворцом владел ещё сын императора Константин Николаевич, а следом — внук, Константин Константинович.

Этот великий князь оказался не только последним владельцем, но и последним из императорской семьи, кто по всем правилам был похоронен в соборе Петра и Павла. Президент Российской академии наук, главный начальник военно-учебных заведений и прославленный поэт К.Р. умер от горя, потеряв на войне сына и зятя. До гибели остальных трёх сыновей, сброшенных в алапаевскую шахту, он не дожил.

По себе К.Р. оставил светлые лирические стихи и изящные романсы. Его пьесу «Царь Иудейский» запретил Синод, несмотря на то, что автор — дядя императора, а Михаил Булгаков положил «Царя…» в основу романа «Мастер и Маргарита».

С конца девяностых годов у главного входа в Мраморный дворец установили памятник Александру Третьему. *Новая игрушка для российского холопа* — та, что развлекала Бурлюка с Маяковским на Знаменской площади. Ночами в памятник упирался луч сверхмощного военно-морского прожектора, установленного на здании Адмиралтейства в начале Первой мировой: он лупил вдоль всего Невского проспекта.

После переворота большевики переименовали Николаевский вокзал, перед которым стоял памятник, в Московский; Знаменскую площадь — в площадь Восстания и Невский проспект — в проспект Двадцать Пятого Октября. Сам *комод, на комоде бегемот* сковырнули с пьедестала и чудом не уничтожили. Он устоял и во время блокады Ленинграда, когда в него, единственный из памятников города, попал немецкий снаряд. Несколько десятилетий бронзового Александра

можно было увидеть только через окошко во внутреннем дворике Русского музея — к слову, бывшего музея Александра Третьего, куда император передал коллекцию русской живописи из Эрмитажа и собственного собрания.

Выяснилось, почему скульптор изобразил государя в такой странной одежде — высокой шапке и кургузом тулупе. Всё же конная статуя, парадный портрет… Александр Третий основал Транссибирскую магистраль и назначил наследника-цесаревича председателем Комитета по строительству. Поэтому император Николай Второй, увековечивая память родителя, выбрал местом для памятника площадь перед вокзалом. А Мария Фёдоровна, утверждая облачение супруга, остановилась на униформе железнодорожного кондуктора. Жена и сын хорошо знали, что Александр Третий почитал Транссиб одним из главных успехов своего правления. И гордился, что при нём, единственном из государей, Россия не воевала.

Все великие князья в годы Первой мировой открывали в своих дворцах госпитали. Мраморный дворец — не исключение: здесь выхаживали раненых офицеров. После семнадцатого года дворец отдали Министерству труда, потом — Российской академии истории материальной культуры… Наконец, в памятном для страны тридцать седьмом году в Мраморном дворце открылся музей Владимира Ильича Ленина.

Рассказывая о северной российской столице, не упомянуть об этом персонаже соблазнительно, но невозможно. Без него не обошёлся и роман. Тем более — без малого семьдесят лет город носил его имя, сделавшись Ленинградом.

Владимир Ильич Ульянов, эмигрант из фракции Социал-демократической партии, узнал о событиях февраля 1917 года в Цюрихе, где застал его Ронге: прочёл на уличных щитах с бесплатными газетами.

Вместе с другими *товарищами* жадно читал о России, где не был десять лет. Как же так? Пока они здесь нищенствуют, грызутся, лысеют над книгами Маркса и рвут перьями бумагу, строча *письма издалека,* — в России делят государственную власть! Императора при сочувствии армейских генералов низложили депутаты Государственной думы — члены партий кадетов, трудовиков, октябристов... Большевики остались не у дел. Надо было скорее *ввязаться в драчку*, как любил повторять Владимир Ульянов. Его поездки к посланнику Германии в Берн участились.

Члены маленькой партии, упорно именовавшие себя *большевиками*, пожелали вернуться на родину. Немцев это устраивало: большевики выступали за поражение России в войне и вполне годились для подрывной деятельности. Однако лететь аэропланом они боялись и ехать через воюющую Европу с фальшивыми паспортами под видом немых шведов — тоже.

— Приснится какая-нибудь меньшевистская сволочь, начнёшь ругаться — и прощай, конспирация! — говорил Владимир Ильич. Если это была шутка, то несмешная: Австрия и Германия с подозрительными не церемонились. Одну женщину мурыжили на пограничном пункте шесть недель. Обыск результатов не дал, но она могла держать важную информацию в памяти: ждали, пока забудет.

Максимилиан Ронге, знакомый Ульянова, выстроил целую систему для охоты на шпионов и с гордостью писал про её успехи.

В целях пресечения шпионажа было введено обязательное предъявление паспорта при пересечении границы. Вскоре было введено дальнейшее ограничение передвижения внутри страны. Гражданские пассажиры, ехавшие по железным дорогам северного театра военных действий, должны были иметь удостоверение личности. На железнодорожной линии Бухе-Вена,

идущей с запада, и на её продолжении через Будапешт-Предел в Румынию, был организован до конца года железнодорожный контроль, проконтролировавший более 2300 поездов, перевезших около 400 тыс. пассажиров.

Проскользнуть через такой фильтр гражданам вражеского государства — нереально. Время уходило впустую, и тут крепко помог Фриц Платтен, некогда спроворивший Ронге швейцарские документы. Фриц взял на себя переговоры в Берне с германским послом Гисбертом фон Ромбергом и нашёл блестящее решение всех проблем: экстерриториальность!

Двери железнодорожного вагона с большевиками опечатали, превращая в территорию другого государства, и ни один немецкий полицейский, солдат или пограничник войти туда уже не мог. Правда, пассажиры вагона тоже не могли выйти наружу до прибытия в Россию. Так что партийным путешественникам пришлось несколько дней терпеть ограничения в еде и проблемы с уборной.

Цюрих остался в прошлом. Любовь с соседями по пансиону была без радости, так что и разлука вышла без печали. Судьбе навстречу лучше двигаться налегке — Владимир Ильич бросил всё своё убогое добро в опостылевшей комнатёнке. Фрау Каммерер получила в наследство заношенную одежду, ненавидимый Надеждой Константиновной примус и кухонную утварь.

От этих щедрот со временем остались надколотая тарелка и ленинский нож с деревянной ручкой. После Второй мировой муниципалитет Цюриха подарил тарелку и нож Германской Демократической Республике в знак признательности: немцы вернули швейцарцам выставку произведений искусств, застрявшую в Восточной Германии, когда началась война. Достойный обмен!

Дадаисты, которые многому научили вождя большевиков, с интересом следили по газетам за его приключениями в России. Впечатлённые успехами своего былого приятеля, весной девятнадцатого года они устроили беспорядки. Но Цюрих — не Петроград, швейцарцы с порядком не шутят. Поэтическим кумирам Владимира Ильича крепко прижали хвост, и разношёрстная братия из кабачка на Шпигельгассе потянулась во Францию.

О том, как в апреле 1917 года первые большевики добрались до Финляндского вокзала в Петрограде, написано немало книг. О последствиях написано ещё больше, но этот роман — про другое. Сразу по прибытии Владимир Ильич держал речь перед взбудораженной толпой. Говорил он, стоя на башне бронеавтомобиля. В конце тридцатых годов такой же броневик установили против главного входа в Мраморный дворец. Там он красовался больше полувека, пока не сменился памятником Александру Третьему.

Есть вопрос, который вписывается в кружево рассказанной истории: почему осветительные лампы в России стали называть *лампочками Ильича*? Почему им присвоили даже не имя, а отчество человека, который их не изобрёл, не изготовил и не ввернул? Почему название прижилось не только в Петербурге, но даже за тысячу вёрст — например, в Елабуге, входившей в десятку самых электрифицированных городов царской России? Ведь ещё двадцатью годами раньше появления *лампочек Ильича* всю Елабугу залил электрическим светом Иван Иванович Стахеев. Хозяин города, коммерсант, с которым норовил подраться на «Вилле Родэ» двойник Распутина — и который купил Сергиевский дворец у великого князя Дмитрия Павловича…

Большевистские боевики заняли здание Смольного института благородных девиц. В дортуарах пепиньерок

разместились вооружённые бородатые дядьки. Но присваивали большевики не только дворцы, изобретения, столовое серебро и государственную власть. Накануне Октябрьского переворота в их руки попали сорок шесть моторов из императорского гаража на Конюшенной площади.

Двадцать седьмого октября в десять утра Владимиру Ильичу Ульянову-Ленину — первый раз в жизни! — подали к подъезду Смольного персональный автомобиль, прежде возивший столичного градоначальника. Мощный двухтонный *Turcat-Mery* вызвал у вчерашнего нищего эмигранта восторг, но прослужил недолго. Через пару недель автомобиль угнали служившие в Смольном пожарные: перекрасили и продали в Финляндию.

Сперва шофёром Ленина был Степан Казимирович Гиль, который достался ему в наследство от градоначальника вместе с лимузином. Однако скоро Владимир Ильич полюбил много ездить и что ни день менять моторы, поэтому с Гилем трудилась уже целая бригада шофёров — Тарас Гороховик, Пётр Космачёв, Лев Горохов, Владимир Рябов…

В конце 1917 года улицы Петрограда завалило снегом. Обычное дело — зима. Но впервые никто не убирал столицу: хозяев отменили, а новая власть слишком увлеклась революцией, напропалую экспроприировала экспроприаторов и не желала отвлекаться на мелочи. Выручал *Delaunay-Belleville-45*. Тот самый, над которым трудились Кегресс и Шкловский. Автомобиль, который обкатывал великий князь Дмитрий Павлович, а после угнал Маяковский. Императорский лимузин, в котором везли к проруби убитого Распутина.

На этом *Delaunay-Belleville* в первый день 1918 года Ленин возвращался в Смольный с митинга в Михайловском манеже. За компанию с ним ехал

швейцарский знакомец Фриц Платтен — организатор транзита большевиков через Германию и приятель австрийского разведчика Ронге.

У Симеоновского моста через Фонтанку автомобиль обстреляли. Может, на колокольне Симеоновской церкви засел пулемётчик. Может, поблизости притаились какие-то молодцы с винтовками. Под огнём разве разглядишь!

Пули в нескольких местах прошили кузов. Взъерошилась щепой фанера, брызгами разлетелось ветровое стекло, посыпались боковые… Тарасу Гороховику, сидевшему за рулём, осколками посекло лицо. Но он выжал полный газ, и петляющий *Delaunay-Belleville* умчал с моста в переулки.

При первых звуках выстрелов Платтен стремительным движением схватил Владимира Ильича за шиворот и пригнул ему голову. Председатель Совета народных комиссаров остался в живых, а швейцарцу одна из пуль раздробила пальцы на руке. Благодарный Владимир Ильич подарил раненому спасителю свой «браунинг».

Фриц Платтен, который привёз Ленина в Петроград и сохранил ему жизнь, так и остался в России. Его посадили в 1937 году — за шпионаж и хранение памятного пистолета, полученного от *коммуниста номер один*, а в 1942-м Платтен сгинул в сталинских лагерях.

Владимир Ульянов не любил стихи Владимира Маяковского и ссорился с Максимом Горьким — единственным из всех, кто оставил о нём интересные воспоминания. Любил Владимир Ильич стихи Фёдора Тютчева — и автомобили из гаража императора Николая Второго.

Вечером 10 марта 1918 года шофёр Владимир Рябов на подстреленном *Delaunay-Belleville* тайно привёз главу нового правительства ко второстепенным путям

платформы «Цветочная площадка». Там, за Обводным каналом, под охраной латышских стрелков с пулемётами, ждал роскошный спецпоезд № 4001. Совет народных комиссаров бежал из Петрограда в Москву: немцы, которых ещё недавно били далеко в Европе, теперь оказались в опасной близости — под Псковом.

В мае Ленин принимал московский военный парад на Ходынском поле — в открытом *Renault-40* с кузовом «дубль-фаэтон», за руль которого Шкловский впервые усадил Маяковского. И на завод Михельсона в августе он приехал на *Renault*. Возле автомобиля кто-то несколько раз выстрелил из «браунинга», ранив Ленина и женщину, с которой он разговаривал. За покушение казнили полуслепую и полубезумную Фанни Каплан, хотя сам Ленин твердил, что стрелял мужчина.

После ранения Владимир Ильич стал часто отдыхать. Ездил в Клин, в Завидово, облюбовал Рублёвское шоссе… Особенно приглянулись ему Горки — бывшее имение московского градоначальника Рейнбота. Имение, понятное дело, тоже у хозяев отняли и превратили в дачу главного коммуниста.

Прокатившись раз-другой до Горок на *Rolls-Royce Silver Ghost*, Ленин смог оценить достоинства марки. С тех пор для него наготове держали два *Rolls-Royce* с открытыми кузовами и один лимузин. Но чистить зимой дороги по-прежнему никто не желал, и в сугробах застревали даже такие моторы. Тут и вспомнили о разработках Адольфа Кегресса, которые начинал вычерчивать Маяковский. Документацию нашли, разобрались — и стали передние шасси менять на лыжи, а вместо задних устанавливали резиновые или войлочные гусеницы с цепной передачей. Получившиеся автосани так и называли — *кегрессами*. Вождь с удовольствием ездил в них на охоту. Когда он слёг, те же *кегрессы* доставляли в Горки врачей.

Свой последний груз императорский *Rolls-Royce Silver Ghost* принял в январе 1924 года. Автосани Кегресса, сделанные по чертежам Маяковского, привезли гроб для Владимира Ильича.

Летом 2006 года бывший *кегресс* Ленина выставили для обозрения в Петропавловской крепости. Отсюда, с Нарышкина бастиона, по-прежнему стреляет пушка. В первой трети XVIII века идею отмечать таким образом полдень, начало и окончание рабочего дня предложил светлейший князь Александр Данилович Меншиков. С 1873 года выстрел в двенадцать часов стал ежедневным, оттого и стали говорить в столице Российской империи: *точно, как из пушки*. С 1934-го по 1957-й орудие молчало, но потом полуденную стрельбу снова узаконили.

Если выстрел из «браунинга» князя Юсупова стал первым выстрелом Февральской революции, то выстрел из гаубицы Нарышкина бастиона — первым выстрелом Октябрьского переворота.

Мятежники уговорились занять Зимний дворец и свергнуть Временное правительство; захватить банки, взять под контроль отделения телеграфа, телефонные станции… Успех зависел от синхронности действий в разных концах города. Сигнал для всех заговорщиков должен был подать крейсер первого ранга «Аврора»: звук выстрела из огромного орудия разносится на много миль вокруг. Но кто через разведённые мосты с Петроградской стороны подаст сигнал само́й «Авроре», ошвартованной у другого берега, около Английской набережной? Решили, что выстрелит пушка из Петропавловки. А в случае чего она и по Зимнему пальнуть сможет — дворец через Неву напротив, не промахнёшься.

Пушкарь стрелять отказался: перед выстрелом ствол полагается смазать изнутри, иначе изношенное орудие разорвёт. Смазки не было.

Среди революционных матросов, грабивших аптеки, входил в моду *кронштадтский коктейль*. В стопку наливали спирт. Открывали коробку из-под монпансье, полную экспроприированного кокаина. Подцепляли порошок остриём кортика, снятого с тела убитого офицера, и высыпали в спирт. Тем же клинком полагалось размешать адскую смесь — и лихо опрокинуть в глотку.

Матросы, явившиеся на Нарышкин бастион с приказом о сигнальном выстреле, знали толк в популярном коктейле. Старший уставился на строптивого пушкаря чёрными дырами расширенных зрачков.

— Ствол разорвёт, говоришь? — задумчиво спросил матрос.

К двум чёрным дырам, маячившим перед лицом артиллериста, прибавилась третья — чёрное дуло огромного «маузера», и решение нашлось мгновенно.

— Сейчас! Одну минуточку, господа… товарищи!

Пушкарь помчался к дощатой хибарке солдатского гальюна. Ведром зачерпнул из выгребной ямы зловонную жижу и, вернувшись к пушке, влил в ствол. Сигналом «Авроре» о том, что пора начинать переворот, стало выброшенное холостым зарядом ведро дерьма.

Глава VIII. Распутин

Мёртвый сибирский мужик ещё колыхался в сизой от холода воде, примёрзнув подо льдом рукавом шубы, а слухи уже ползли, ползли, ползли по городу. Вечерние выпуски газет разносили эти слухи — как и тот выпуск «Биржевых ведомостей», что лёг на стол императрицы.

Сегодня в шестом часу в одном из аристократических особняков центра столицы после раута внезапно окончил жизнь Григорий Распутин-Новый.

Прокурор Петроградской судебной палаты принялся донимать начальника Охранного отделения полковника Глобачева, требуя разыскать пропавшего. Кумушки судачили про стрельбу в Юсуповском дворце и про Большой Петровский мост, испещрённый следами ног и автомобильных шин. Полиция и жандармы обшаривали закоулки. Глобачев лично допрашивал сторожей убежища для престарелых артистов, постовых городовых, ночного сторожа пивной на Петровском острове… Столица переполошилась.

Случился в те дни конфуз в Ставке Верховного главнокомандующего. Государь принимал с докладом генерала Брусилова и спросил:

— Далеко ли немцы?

— Сзади вас, ваше императорское величество, — был ответ; Брусилов не удержался, указав на стоявших здесь же Бенкендорфа, Ренненкампфа, Фредерикса… Мира не было даже в Ставке, между своими. Император разрывался между желанием немедленно вернуться в Петроград — и необходимостью держать в узде военачальников.

Александре Фёдоровне телефонировал великий князь Дмитрий Павлович, просил позволения приехать к вечернему чаю — она отказала. Следом раздались истерические вызовы от Феликса Юсупова. Он просил к

аппарату то государыню, то Вырубову. Умолял принять его, выслушать объяснения… Александра Фёдоровна не позволила Анне поговорить с князем и сама не стала — велела передать, чтобы свои объяснения Феликс прислал письмом.

Это письмо сочиняли общими усилиями у Дмитрия Павловича. В кабинете Сергиевского дворца было не продохнуть от табачного дыма. Чашка за чашкой заговорщики поглощали чёрный кофе, основательно сдабривая его коньяком. Великий князь отправил Сухотина за Пуришкевичем: депутаты уже разъехались из санитарного поезда, и Владимир Митрофанович готовился часам к восьми отбыть в сторону фронта.

Авторы объяснительного письма вспоминали потом, что избегали смотреть друг на друга, терзаясь отвращением. Каждое написанное слово было умело продуманной ложью: ночные события в Юсуповском дворце исчерпывались попойкой в честь новоселья и убитой собакой.

К Дмитрию Павловичу приехал отец, великий князь Павел Александрович. Поражённый слухами о преступлении, привёз икону и портрет матери — греческой принцессы Александры. Потребовал, чтобы сын поклялся на реликвиях, что не убивал Распутина.

— Я клянусь, — торжественно произнёс Дмитрий Павлович.

В Петрограде, охваченном слухами, убийству *скота* радовались. Имена заговорщиков произносились с уважением, как имена героев. В кощунственном порыве горожане ставили свечи пред иконой святого Димитрия в Казанском соборе.

Иначе вели себя крестьяне. Для них Распутин стал мучеником: человек из народа заставлял царя слушать голос народа и защищал народ от дворян — за это дворяне его и убили.

Тело, выуженное из полыньи на Малой Невке, доставили в морг Чесменской больницы. Распутина опознали обе дочери, племянница и несколько свидетелей. Женщины лишились чувств, глядя на изувеченное родное лицо. Посреди лба вокруг пулевого отверстия чернела *штанц-марка* — пороховой налёт от выстрела в упор. Вечером двадцатого декабря в присутствии следователя Середы профессор Косоротов произвёл исследование и вскрытие трупа. Всё как полагается.

Григория Ефимовича похоронили в Царском Селе, на краю парка. Хоронили тихо, присутствовали только самые близкие. На грудь покойному легла икона, подписанная всей императорской фамилией. Государыня принесла белые цветы и письмо.

Мой дорогой мученик, дай мне твоё благословение, чтобы оно следовало со мной всегда на печальном и мрачном пути, по которому мне ещё предстоит последовать. И помни нас с высоты своих святых молитв. Александра.

Рядом с могилой дворцовые плотники на скорую руку соорудили часовню. В первую же ночь несколько весёлых офицеров залили могилу нечистотами из ассенизационной бочки. Через два месяца — уже начиналась Февральская революция — следствие по делу об убийстве было спешно прекращено.

Труп Распутина, единожды пересекший столицу в автомобиле, прокатился и ещё раз. Его похитили, разграбив могилу в Царском Селе, зачем-то отвезли из южного столичного пригорода обратно в Петроград, а там — снова через весь город на северную окраину.

Примерно в тех краях, где сейчас Пискарёвское мемориальное кладбище, несколько революционных студентов и репортёр «Биржевых ведомостей» разложили посреди рощи костёр и попытались сжечь труп: мол, как бы тёмные массы не объявили останки

Распутина мощами и не создали контрреволюционного культа. Аутодафе — *акт веры*, только наоборот.

Сырые дрова горели плохо, труп тоже, процедура затягивалась. Дело было ночью — осквернители могилы поняли, что до утра не управятся. Посовещавшись, решили отвезти обгоревшее тело неподалёку, в Политехнический институт. Там его и сожгли в топке котельной, а на берёзе возле кострища оставили надпись по-немецки: *Hier ist der Hund begraben*. Здесь зарыта собака — остроумная такая студенческая шутка…

Впечатливший когда-то Григория Ефимовича пилот Нестеров дослужился до звания штабс-капитана и погиб в воздушном бою при попытке таранить германский аэроплан. Тот, кто придумал высший пилотаж, летал всего-то два года. Ему отдавали должное даже враги — кайзер Вильгельм Второй отметил Нестерова в приказе по войскам.

Я желаю, чтобы мои авиаторы стояли на такой же высоте проявления искусства, как это делают русские.

Не привелось Распутину подняться в небо, чтобы ангелом глянуть на землю. И земля его не приняла. И вода, выбранная убийцами стихия, тоже приютила не надолго. Упокоил старца лишь всепожирающий огонь.

Сифилитичку Хионию Гусеву, что пырнула Григория кинжалом в Покровском, по личному приказу министра-председателя Керенского выпустили из тюремной лечебницы. Вроде уже и не сумасшедшая она, и не преступница… Логика в этом есть: если настоящие убийцы безнаказанны, как можно держать в тюрьме ту, что лишь попыталась убить? А когда народ сошёл с ума и пошёл резать друг друга — безносая Хиония просто оказалась такой же, как все…

Вдохновитель Гусевой, лютый враг Распутина иеромонах Илиодор, хорошо нажился на продаже книги о *святом чёрте*. Первым за *Гришку* заплатил Гучков.

Императрица платить отказалась, так что Илиодор продал свой пасквиль американцам. После революции он поспешил вернуть себе мирское имя — Сергей Труфанов. Стал сотрудником уважаемого ведомства — ЧК. Беседовал и переписывался с Лениным, делился навыками управления чернью. Вдоволь напившись кровушки и оказавшись под следствием, рванул на Запад. Бежал, пока не добрался до Штатов. Деньги, полученные от продажи прав на книгу, пришлись очень кстати. Под конец жизни заела Труфанова совесть — признался, что Распутина оболгал. Да только никому это уже не было интересно.

Князь Андронников, паразит при Распутине, тоже нашёл себя. Скользкий Михаил Михайлович после Октябрьского переворота выставил себя пострадавшим от прежнего режима и стал не простым чекистом, а начальником ЧК Кронштадта. Он тоже всласть грабил и лил кровь, но уйти в нужный момент не успел: чутьё подвело. В 1919 году князя Андроникова расстреляли по личному приказу главного чекиста страны.

Отец Гермоген — хулитель и гонитель Распутина, едва ли не самый ярый его противник среди церковников, — тоже не миновал ЧК, но как жертва. После Февральской революции священника назначили епископом Тобольским. Когда в город привезли государеву семью, он поплатился за попытки помочь арестантам. Большевики привязали Гермогена к колесу парохода и запустили машину. Огромные гребные лопасти измочалили тело старика о воду.

Продолжали трепать и Распутина. Даже мёртвого — утопленного, похороненного, сожжённого…

Фальшивый «Дневник Вырубовой», состряпанный советским барином Алексеем Толстым, встретили *на ура*. Хотя Блок записал в протоколе следствия: для прекращения спекуляций фрейлина потребовала, чтобы её освидетельствовали медики. Консилиум признал

Анну Александровну Танееву-Вырубову девицей — казалось, пришёл конец разговорам о борделе, в который они с Гришкой превратили императорский двор. Но кому и когда была интересна правда?

Сергей Есенин радовал публику частушками про своего спасителя. Второй протеже, Николай Клюев, сделал Распутина персонажем стихов.

Сказалось невероятное чутьё американцев на сюжеты: первую игровую фильму о Распутине в Штатах сняли уже в семнадцатом году. С тех пор американцам нет равных по числу экранизаций жизни, смерти и совсем уже выдуманных историй про сибирского мужика. Европейское кино тоже не дремлет. Распутин стал героем детективов и триллеров, трагедий и комедий. За право сыграть его роль спорили самые знаменитые артисты — чего стоит один Борис Карлофф, славное чудовище Франкенштейна… Не пять и не десять фильмов рассказывают о Распутине — намного больше сотни! А есть ведь ещё фильмы документальные, есть мультипликационные; есть те, где загадочный старец — не главный герой… Вряд ли найдётся хотя бы ещё один политик, преступник, военный, правитель или деятель культуры, который так обласкан кинематографом.

Время от времени церковь возвращается к предложению канонизировать раба божьего Григория Распутина-Нового.

Последователи Шабельской не устают повторять: Распутин — ритуальная жертва жидомасонов. Наци забывают имена убийц — особ императорского дома заодно с первейшим российским антисемитом, черносотенцем Пуришкевичем. Эта компания мало похожа на иудейский кагал, пьющий кровь христианского святого Григория под сенью звезды Давида. Впрочем, Шабельская была полоумной; чего ждать от идущих следом?

Популярную торговую марку *Распутин* продолжают использовать в самых разных жанрах; индустрия по имени *Распутин* только набирает обороты.

Для российских снобов — по-нынешнему *гламурной публики* — побывать в парижском кабаре *Raspoutine* так же обязательно, как в ресторане *Maxim.*

В семидесятые годы, кажется, весь мир напевал вслед за чернокожей группой *Boney-M* цепкий припевчик. Мода на музыку диско ушла, но песенка *Ra-Ra-Rasputin* про *любовника русской королевы* и *величайшую русскую машину любви* даже несколько десятилетий спустя не утратила популярности.

Водка *Rasputin* с двумя рисованными портретами старца — один вверху, другой внизу — пик своей популярности в России прошла в девяностых, но в Европе пьётся по-прежнему хорошо. Не искушённым в русском языке немцам и бельгийцам другие названия ничего не говорят. Зато *Rasputin* — точно русская водка!

Панки, рокеры и металлисты разных стран не обошли Распутина вниманием в своём гремучем творчестве. Сам Оззи Осборн прикоснулся к теме, да ещё заявил: русский мужик вёл рок-н-ролльный образ жизни до того, как на Западе придумали рок-н-ролл!

Мюзиклы — бродвейские и поскромнее размахом — на все лады перепевали историю сибирского экстрасенса.

Мировая знаменитость, танцовщик Фарух Рузиматов поставил балет «Распутин» на сцене Санкт-Петербургской консерватории, что напротив Мариинского театра и в минуте езды от Юсуповского дворца.

Первую оперу «Святой чёрт» написал Николай Набоков — кузен номинанта Нобелевской премии и племянник бывшего депутата, убитого сыном Шабельской. Наделала шуму и необычная финская

опера о Распутине, представленная на Мариинской сцене в 2005 году.

В этом жанре тоже не обошлось без американцев. Опера на популярный сюжет появилась по заказу *New-York City Opera*, мировая премьера прошла в 1988 году, а двадцать лет спустя сочинение триумфально исполнили в Москве.

Пуля, прикончившая Распутина, не только попала в сердце царствующей династии. Рикошетом она зацепила множество людей во многих странах. Нескоро ещё утихнут пересуды: кем всё-таки был Григорий Ефимович Распутин? как удалось ему занять уникальное положение при дворе последнего российского императора? что в самом деле творил он, пользуясь положением? как пал с высот, увлекая за собой самоё империю?

Очищение необходимо. Без него не может строиться новая жизнь, не может утвердиться никакой государственный порядок. Всякая форма власти, если она не будет тесно связана с лучшими основами нравственной жизни народа, окажется бессильной и непрочной и может вызвать повторение страшной катастрофы 1917 года, когда обрушилась многовековая твердыня престола, утратившего, благодаря распутинству, свой моральный авторитет. Документы, обличающие большевизм и советскую власть, печатаются на всех языках. О большевизме выросла целая литература, далеко, впрочем, не исчерпывающая до конца всю его страшную правду.

Весь мир читает книги, написанные кровью, и весь мир продолжает оставаться равнодушным не только к положению России, но и к своей собственной дальнейшей судьбе.

Это слова Феликса Юсупова, записанные в Париже через десять лет после убийства. До конца своих дней

мучился князь, всадивший первую пулю в Григория Распутина.

Глава IX. Город

Никак не закончится поход по Санкт-Петербургу, который начали Маяковский и Бурлюк на набережной Невы летом тысяча девятьсот двенадцатого года.

Три дела, однажды начавши, трудно кончить: (а) вкушать хорошую пищу; (б) беседовать с возвратившимся из похода другом и (в) чесать, где чешется.

Когда будущие футуристы спасались от жары пивом, сидя возле Адмиралтейства, — рабочие разбирали деревянный Дворцовый мост. Новая переправа из камня и стали должна была стать главной в Российской империи. Современный разводной мост навели между властью и деньгами: связали официальную резиденцию императора — Зимний дворец с цитаделью финансовых воротил — Биржей.

Первая мировая война умерила размах проекта, и без особых торжеств новую переправу открыли через неделю после того, как мимо провезли труп Распутина. Так и оставили на Дворцовом мосту деревянные перила — сперва до Февральской революции, потом до событий октября… Доски ограждений собрались заменить на скромное чугунное литьё только в 1939 году, накануне Второй мировой.

В 1977-м, наконец, исчезли с моста дощатые хибарки для смотрителей — во время праздничных салютов их опасными гроздьями облепляли зрители. Трамваи бегали по здешним рельсам с Невского проспекта на Васильевский остров до конца девяностых, а в начале двухтысячных две остроумные девушки придумали интересный проект. Теперь каждое лето по ночам, когда петербургские мосты разводятся, на вздыбленный пролёт Дворцового проецируют мультфильмы. Этот

экран под открытым небом — один из самых больших в мире.

Вниз по течению Невы, в полумиле от Дворцового моста, в ночь Октябрьского переворота стояла ошвартованная «Аврора». Крейсер первого ранга участвовал в Цусимском сражении. Балтийская эскадра погибла, как и предрёк Распутин, но «Авроре» удалось ускользнуть от японцев. Крейсер вернулся на Балтику и стал учебным судном. С гардемаринской командой он обошёл полмира и три океана: Атлантический, Индийский и Тихий. В двенадцатом году волей императора «Аврору» включили в состав международной эскадры держав-покровительниц Крита, и целый год крейсер сторожил покой в Средиземноморье.

«Аврора» прибыла в Петроград под конец 1916 года для ремонта. К весне на крейсере поставили новые паровые котлы Бельвилля — родственники лимузинов *Delaunay-Belleville*, которые так нравились последнему императору и первому председателю Совнаркома.

Весной 1917 года озверелые матросы убили капитана и захватили корабль. Двадцать пятого октября, без четверти десять вечера, плюнулась дерьмом пушка с Нарышкина бастиона. По команде комиссара носовое орудие «Авроры» выстрелило холостым зарядом — от которого, впрочем, повылетали стёкла соседних дворцов на Английской набережной. Этот сигнал и считается началом Октябрьского переворота: тогдашние петроградские события стали называть Великой Октябрьской социалистической революцией только в конце тридцатых годов, а до тех пор слово *переворот* всех устраивало. Мол, всё в стране решительно перевернулось, и возврата к прошлому не будет. Первые лица Советской России пользовались термином *Октябрьский переворот* даже в пятидесятых.

Во время Великой Отечественной войны демонтированные башенные орудия крейсера «Аврора» использовали на суше. Сам корабль с осени 1941 года лежал на дне Финского залива, подбитый и затопленный в порту Ораниенбаум.

В 1948-м поднятый со дна крейсер ошвартовали на вечной стоянке в разливе Невы у Большой Невки. В середине восьмидесятых его увели на капитальную реставрацию, и после возвращения не утихают споры: действительно ли петербуржцы и туристы видят крейсер «Аврора», или на излёте советской власти один из главных её фетишей подменили другим кораблём этой же серии — например, «Палладой». А может, крейсеру досталось днище «Дианы», а палубные надстройки были сохранены? Неясности остаются не только в деталях гибели Распутина…

…хотя некоторые из этих деталей неожиданно стали известны следователям ленинградского Полномочного представительства ОГПУ. Весной 1931 года чекисты расследовали очередной контрреволюционный заговор бывших офицеров. Свидетелем по делу проходил крестьянин Орловской губернии Фёдор Семёнович Житков, служивший буфетчиком Александринского театра и позже — официантом лавки № 99 Ленсельпрома.

Шестидесятилетний свидетель оказался словоохотливым. Вместо того чтобы давать показания на офицеров, поведал о событиях ночи убийства Григория Распутина. Рассказал, как по рекомендации княгини Белосельской попал к великому князю Дмитрию Павловичу. Как трудился буфетчиком лейб-гвардии Павловского полка. Как носил любовные записочки великого князя — и как служил обед в Юсуповском дворце вечером шестнадцатого декабря. Больше всего ему запомнилось то, что вместо обычных

десяти рублей взволнованный Дмитрий Павлович заплатил за работу целую сотню.

С показаний Житкова гриф секретности сняли через семьдесят лет, когда реабилитировали тысячи замученных чекистами людей. Фёдора Семёновича среди них не было: ему посчастливилось вырваться из застенков, но он всё равно погиб — умер от голода в лютом январе 1942 года в блокадном Ленинграде.

А в 1931-м, когда бывшего буфетчика Житкова допрашивали следователи ОГПУ, в Ленинграде для чекистов начали строить «Большой дом». Место выбрали на Литейном проспекте — там, где раньше стоял столичный Окружной суд. Здание суда в феврале 1917-го сгорело дотла: его подожгла разгулявшаяся толпа. С горсткой солдат и жандармов погромщикам пытался помешать офицер Перебейнос. Его растерзали в клочья, так что родственникам даже хоронить было нечего.

Тогда горели не только суды: пожары бушевали в доме Министерства внутренних дел, доме военного губернатора и министра двора Фредерикса. Из разгромленных тюрем разбежались уголовники. Первым делом они стали грабить и заодно уничтожали следы своих прежних подвигов. Заполыхало здание Охранного отделения и два десятка полицейских участков.

Пожары спасли от расправы немало революционеров, которые числились агентами в картотеках охранки: как и черносотенцы, они не брезговали сотрудничеством с тайной полицией. Сгоревшие архивы сохранили жизни шпикам и филёрам, которые ещё несколько месяцев назад *топтали* за Распутиным — Свистунову, Терехову и десятку других. Вскоре многие уже служили советской власти: ей такие специалисты были ещё нужнее, чем прежней. Даже во время блокады на Ленинград приходились всего тысяча двести кадровых офицеров-

чекистов — и больше тридцати тысяч агентов-осведомителей.

В мае 2008 года на Марсовом поле установили большой памятный крест. С полуденным выстрелом пушки началась панихида. Поминали петроградских городовых, принявших мученическую смерть в дни Февральской революции. Жертвой озверевшей толпы оказался Власюк, который слышал, как стреляли в Распутина во дворе на Мойке. Насмерть забили его напарника Ефимова. В те дни расстался с жизнью городовой Кордюков, бляха № 1876, нашедший труп государева мужика в полынье на Малой Невке. Вслед за выстрелом князя Юсупова — первой пулей революции — выстрелы загремели по всей столице, а там и по всей стране. Вот ещё дела, единожды начав которые, трудно кончить: грабёж и безнаказанные убийства под прикрытием коммунистических лозунгов.

Джордж Бьюкенен служил чрезвычайным и полномочным послом британского Соединенного Королевства в Санкт-Петербурге при дворе императора Николая Второго. В мемуарах он сокрушался о причинах, которые сделали гибель Российской империи неотвратимой.

Убийство Распутина, хотя и вызванное патриотическими мотивами, было фатальной ошибкой. Оно заставило императрицу решиться быть более твёрдой, чем когда-либо, и оно было опасным примером, так как побудило народ приняться за осуществление своих мыслей на деле. Оно сделало, кроме того, более затруднительным для императора вступить на путь уступок, даже если бы он был к этому расположен, так как в этом случае он дал бы возможность подозревать, что он уступил, опасаясь убийства. По словам Родзянко и других, его величество был на самом деле очень расположен избавиться от Распутина.

Понятно, зачем дипломат говорит о патриотизме. А слова о фатальной ошибке — камень в огород главы Имперской службы разведки и безопасности Вернона Келла. Ведь это он, не сделав ни одного выстрела, чужими руками убрал неудобную фигуру — и вызвал вслед за юсуповской пулей нескончаемый свинцовый дождь, истребивший миллионы людей.

Позже Вернон Келл благополучно добрался до родной Британии, но в российские дела вмешивался ещё не раз.

В 1924 году он провёл виртуозную провокацию, опубликовав фальшивое письмо одного из руководителей Советской России с подробными инструкциями: как свергнуть британскую монархию. Правительство Соединённого Королевства тут же расторгло межгосударственные договоры с Россией.

Длинные руки Вернона Келла дотянулись даже до Китая. В 1927 году его интриги привели к обыску в пекинском офисе англо-советского торгового акционерного общества «Аркос». Китайцы изъяли множество секретных документов, а в руки британской разведки попала российская дипломатическая почта, шифры сотрудников посольства и шпионские материалы.

Келл дослужился до генерал-майора и был возведён в рыцарское достоинство. Он стал сэром Верноном Джорджем Вальдгрейвом Келлом — и полубогом для сотрудников. В 1939 году к нему на службу поступил симпатичный молодец, который раньше учился в Итонском колледже, как и сын великого князя Михаила Александровича от Натальи Вульферт. Кузница политической элиты отличалась пуританскими нравами, и молодого британца исключили из колледжа за интрижку с барышней. Отец его погиб в Первую мировую — некролог для газеты *Times* написал сам Черчилль. Он же рекомендовал теперь сына своего

погибшего друга ещё одному другу, главе разведки Вернону Келлу.

Нового сотрудника звали Йэн Флеминг. Он благоговел перед начальником и жадно впитывал истории о легендарном разведчике, для которого не существовало ни государственных границ, ни закрытых дверей, ни невыполнимых заданий…

…а после того, как Йэн Флеминг оставил службу в разведке, из-под его пера появился подтянутый супергерой в форме офицера британского королевского флота; неотразимый любимец женщин, вхожий в высший свет и легко расправляющийся с врагами. Звали этого героя — Бонд, Джеймс Бонд. Флеминг *списал* агента 007 со своего кумира Келла, Вернона Келла.

Неутомимый Вернон создал разведывательную службу МИ-5 и бессменно руководил ею три десятка лет, до конца весны 1940 года. О его истинной роли мало кто знал. Лишь в 2005 году служба немного приоткрыла тайну, обозначенную литерой *«К»* в секретных документах. Вернона Келла узнали в лицо: его портрет появился на официальном интернет-сайте разведки. После увольнения сэр Вернон снял погоны, уехал в Париж и свой век доживал по соседству с семьёй князя Феликса Юсупова.

Во время Первой мировой войны Келл насмехался над американской разведкой с несколькими сотрудниками и грошовым бюджетом. К началу Второй мировой Америка поняла свой просчёт и наверстала упущенное. Не остановились американцы и дальше. Сегодня аббревиатура ЦРУ известна в мире не хуже самых знаменитых торговых марок.

Австрийский разведчик Максимилиан Ронге, планы которого Вернон Келл разрушил в Петербурге зимой 1916 года, тоже сумел возвратиться из России на родину. Через пятнадцать лет он написал книгу «Война и индустрия шпионажа» о расследовании дела

полковника Редля и опыте своей работы. В конце тридцатых книгу издали даже в России — здесь она называлась «Разведка и контрразведка». Не было, пожалуй, ни одной секретной службы во всей Европе, где не изучали бы творение Ронге со всем возможным вниманием. Тем большей сенсацией стало известие о том, что Альфред Редль — никакой не шпион.

Ещё в 1903 году русскому военному атташе в Вене удалось завербовать офицера австрийского Генерального штаба. Десять лет агент за очень щедрую плату поставлял бесценную информацию в штаб Киевского округа и в Петербург — в Главное управление Главного штаба. Он становился безымянным героем секретных донесений.

За последний год от упоминаемого выше венского агента были приобретены следующие документы и сведения: новые данные о мобилизации австрийских укреплённых пунктов, некоторые подробные сведения об устройстве вооружённых сил Австро-Венгрии, сведения о прикомандированном к штабу Варшавского военного округа П. Григорьеве, предложившем в Вену и Берлин свои услуги в качестве шпиона, полное расписание австрийской армии на случай войны с Россией.

Со смертью Редля работа агента не прекратилась. Даже после начала войны он встречался с эмиссарами русской разведки в нейтральной Швейцарии и продолжал передавать сведения. Вербовщик тоже опроверг то, что агентом был Редль…

…но работа Ронге в любом случае считалась успешной. Он стал начальником разведывательного бюро императорского и королевского Генерального штаба Австро-Венгрии, когда был уволен полковник Урбански.

Максимилиан энергично продолжал дело, которому обучил его Альфред Редль. Создавал эффективную

службу радиоперехвата. Разрабатывал систему пограничного контроля. Занимался пропагандой для разложения войск противника: например, издал брошюру о зверствах русских войск и воззвание к солдатам, приуроченное к годовщине Кровавого воскресенья. Подрывная литература доставлялась на российскую территорию не только агентами. Ронге придумал переправлять брошюры через линию фронта на детских воздушных шарах. В Ставке Верховного главнокомандования этим трюком возмутились и расценили его как *низкий манёвр*.

После Первой мировой Австро-Венгрия рассыпалась на несколько самостоятельных государств. Книгу свою Ронге написал уже как частное лицо, отойдя от дел. Он вызвал недовольство бывших коллег тем, что, по их мнению, раскрыл многие секреты спецслужб. В середине тридцатых Максимилиана снова пригласили возглавить разведку и контрразведку австрийской армии — близилась Вторая мировая война.

К этому времени у России вдоль Финского залива осталась только *Чухландия*: финская Финляндия превратилась в самостоятельное государство. Новую страну возглавил бывший кавалергард и генерал-лейтенант русской армии, Георгиевский кавалер барон Карл Густав Эмиль Маннергейм.

Густав Карлович Маннергейм, самый русский немец из финнов. Знаток лошадей и любимец женщин, не знавший ничего вкуснее чарки водки с редкой для Европы закуской — ломтиком чёрного ржаного хлеба, на котором лежит кусок селёдки. Традиционную русскую рюмку в Финляндии до сих пор называют — *глоток маршала*.

Когда-то он воевал против немцев: Двенадцатая Кавалерийская дивизия под командованием генерала Маннергейма украшала Второй Кавалерийский корпус Хан-Гуссейна. Бок о бок с Маннергеймом сражалась

Кавказская конная туземная дивизия во главе с младшим братом российского императора — великим князем Михаилом Александровичем.

Командир Дикой дивизии отказался наследовать императорский трон и погиб, убитый двумя выстрелами в голову в лесу под Пермью. А командир Двенадцатой — стал вождём финской нации, президентом и председателем Совета государственной обороны Финляндии. Приютил свою давнюю знакомую — фрейлину Анну Танееву-Вырубову.

Маршал Маннергейм, воспитанный в петербургском Николаевском кавалерийском училище, воевал против Советской России в 1939-м и 1940-м, а через год вместе с гитлеровской группой армий «Север» блокировал Ленинград.

Тогда погибло больше миллиона горожан и, может быть, впервые с октября 1917-го ценность человеческой жизни для чекистов ненадолго возросла. В уголовных делах жителей блокадного города иной раз появлялась запись: *Дело закрывается ввиду сильной истощённости обвиняемого*. Но слишком наблюдательных не щадили.

В столовую зашёл мужчина лет сорока и, простояв в очереди около двух часов, получил по карточкам по две порции супа и каши. Суп ему удалось съесть. А каша осталась. Он умер, сидя за столом. Публика не расходилась: всех интересовало, кому достанется каша.

Автор этих дневниковых строк, ленинградский учитель, в начале 1942 года расстрелян за контрреволюционную пропаганду и упаднические настроения. Тогда же в блокадном городе на запасах бумаги фабрики Гознака отпечатали двухсоттысячный тираж стихов Маяковского.

Трудно закончить рассказ о любимом городе. Вот и Осип Мандельштам не любил свёрнутых рукописей: *иные из них тяжелы и промаслены временем, как труба архангела.*

Хочется ещё немного подержать свою рукопись — открытой.

Хочется ещё раз войти под своды собора Петропавловский крепости — усыпальницы российских императоров — и вздохнуть о былом Петербурге, который вслед за своей цитаделью превратился в некрополь российской имперской культуры.

Хочется заглянуть во дворец на Миллионной, где жил почитатель Григория Распутина — князь Путятин-старший. Где сестра одного из убийц Распутина, великая княжна Мария Павловна, встретила будущего мужа — князя Путятина-младшего. Где в марте 1917 года окончилась императорская власть в России.

Хочется пройтись по Кирочной улице, где служил Перебейнос и где жил Распутин. Где ездили в Таврический дворец первые российские депутаты. Где кирху Анны Лютеранской, давшую улице название, превратили в кинотеатр «Спартак», а позже — в ночной клуб с незамысловатым названием *Magic*. Где на месте разрушенной церкви Косьмы и Дамиана построили школу, в которой детей по сей день учат Родину любить — уничтожив памятник воинам, которые отдали жизни за Отечество.

Хочется выйти на улицу Жуковского, которой Маяковский предрекал переименование в свою честь, потому что здесь он *застрелился у двери любимой*. Пророчество не сбылось: улица сохранила имя. А вот Надеждинскую, где Володя снял квартиру, чтобы быть ближе к Брикам, в 1936 году действительно назвали улицей Маяковского. Там он пытался стреляться из «браунинга» Феликса Юсупова, выпустившего первую пулю русской революции в печень Григория Распутина.

Хочется свернуть с Жуковского в Эртелев переулок, ставший улицей Чехова…

Про многие, очень многие известные и неизвестные места в Петербурге хочется рассказать. Но это,

наверное, придётся сделать в других книгах. И подобрать для рассказа достойные истории и достойных персонажей. Потому что героем романа город всё же быть не может.

Жители, гости его — могут, а сам город — нет. Он может быть только фоном для истории, роскошной декорацией. Может нравиться — и может не нравиться. Может быть добрым и злым, красивым и ужасным, принимать нас — и отталкивать. А мы можем быть с ним знакомым или видеть в первый раз. Любить его — и ненавидеть…

Миллионы людей живут в Петербурге. Миллионы и миллионы каждый год приезжают сюда. Книги уже не издаются такими тиражами, сколько есть видевших и знающих эти дома и дворцы, эти набережные и проспекты. Поэтому, вскользь упоминая какое-нибудь название или сообщая о том, что один герой двинулся вправо, а другой выкрутил руль и повернул влево, можно быть уверенным: читатель не заблудится…

…и на этом самое время закончить главу, воздав должное мудрости выдуманного петербуржца Козьмы Пруткова: *Нельзя объять необъятное.*

Глава X. Маяковский

…и ещё раз: взводя пистолет, затворную раму надо до упора потянуть на себя и отпустить. На то и придумана возвратная пружина, чтобы поставить затвор на место и дослать патрон. А если пружине помогать рукой — скорее всего, патрон перекосит и случится осечка.

— Я стреляюсь. Прощай, Лилик…

В ужасе от услышанного Лиля примчалась на Надеждинскую. Маяковский остался в живых, но упрекнуть его не повернулся язык. Лиля поняла: сказано — и сделано — было всерьёз. А Маяковский кружил по комнате, без умолку говорил, хохотал… Вытащил карты и усадил Лилю играть в «гусарика» за стол, на котором страшно чернел осекшийся пистолет.

Те, кто знали Маяковского близко, знали и эту особенность: даже проигрывая, он выигрывал. Но проигрывал редко — игроком был истовым и везунком изрядным.

Первую русскую награду Первой мировой войны получил сослуживец генерала Маннергейма и великого князя Михаила Александровича, будущий лидер Белой гвардии ротмистр Пётр Врангель. Со своим эскадроном он атаковал немецкую артиллерийскую батарею. Потеряв коней, гвардейцы в пешем строю изрубили врага и сорвали немецкое наступление. Государь наградил барона Врангеля Георгиевским крестом.

Маяковский не попал на фронт стараниями Максима Горького, но тоже удостоился награды. Накануне Февральской революции одним из последних указов о награждении император подписал ратнику Маяковскому серебряную медаль «За усердие» на Станиславской ленте. А в революционные дни усердному кавалеру повезло даже принять командование своей автошколой.

Он был уверен, что выиграл спор у Бурлюка — о безъязыкой улице.

Гражданская война забросила Давида Давидовича в Башкирию, оттуда в Сибирь, потом на Дальний Восток… В двадцатом году он эмигрировал в Японию, позже перебрался в Американские Штаты. Там деятельный Бурлюк организовал издательство и печатал книги — свои и чужие. Дошло до выпуска журнала *Color and Rhyme*, «Цвет и рифма», на любимую тему кубо-футуристов о единстве стихов и живописи. Вершиной деятельности Давида Бурлюка стала собственная картинная галерея. Он прожил долгую жизнь и умер на Лонг-Айленде в 1967 году…

…а в начале двухтысячных вдруг оказалось, что Бурлюк — самый известный и дорогой *украинский* художник. После того как его картина «В церкви» была продана на аукционе *Sotheby's* за 650 000 фунтов, в Киеве вспомнили, что автор родом с Украины — и записали рекорд продаж в местные достижения.

Маяковский встречался с Давидом, когда ездил в Штаты. Продолжал уверять, что ему удалось подарить улице язык — тот, которым она теперь может разговаривать. Мудрый Бурлюк пытался объяснить, что язык толпы — гул. Невнятный гул, окрашенный в разные тона в зависимости от настроения. Убеждал, что улица никогда не станет говорить на языке Маяковского.

В шатрах, истёртых ликов цвель где,
из ран лотков сочилась клюква,
а сквозь меня на лунном сельде
скакала крашеная буква.

Этого не то что не сможет повторить человек из толпы, он этого даже не поймёт… куда там — даже не

услышит! Для публики, *для масс*, как стало принято говорить, ближе какая-нибудь «Гайда, тройка» из репертуара Вяльцевой:

Так с тревожными мечтами
Вдаль всё мчалася она,
И не помнит, как с устами
Вдруг слились её уста…

…или ёрнические вирши самого Давида, которые Маяковский торжественно именовал *дикими песнями нашей Родины*, а футуристы исполняли хором:

Он любил ужасно мух,
У которых жирный зад,
И об этом часто вслух
Пел с друзьями наугад!

Вот это — массовое, говорил Бурлюк. Но Маяковский упорствовал.

Установку дал Хлебников: *Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью.* Кубист Маяковский строил речь из кубиков-кирпичей. Искал созвучия между ритмом стиха и ритмом жизни. Пришёл к лозунгу и плакату. Вместе с Родченко, который фотографировал Лилю Брик, делал рекламу и дизайн упаковок для Моссельпрома, ГУМа…

Прежде чем идти к невесте,
Побывай в «Резинотресте»!

В двадцать пятом году Маяковский получил серебряную медаль и диплом на парижской выставке

«Ар Деко» — там же, где великая княжна Мария Павловна со своими вышивками удостоилась золота.

Он продолжал раздваиваться.

Плохо стыковались между собой поэма «Про это» — и к штыку приравненные строки, вонзённые в брюхи буржуям. Не сочетались попытки писать стихи о сущности любви — и чеканные славословия советской власти. Настоящего, тёплого человеческого — становилось всё меньше. Оставались — сталь труб и бетон строек коммунизма. Автор «Трёх толстяков» и «Зависти» писатель Юрий Олеша грустно отметил в дневнике: *Сегодня на последней странице «Известий» появились рекламы, подписанные величайшим лириком нашей эпохи.*

Простецкая публика с восторгом принимала Маяковского. Нравился — большой, басовитый, громкий, наглый. Даже если слов не понять, по духу чувствуется — свой! Читает — как железо куёт. И отбрить может, как надо, по-рабоче-крестьянски, без всяких там интеллигентских штучек.

Спрашивает его здоровенный детина из зала:

— Маяковский, зачем вы всё время подтягиваете штаны?

Была такая привычка, верно. Только поэт не теряется, отвечает с ехидной ухмылкой:

— А вы, девушка, хотите, чтобы упали?

Детина в краску, толпа в хохот. *Умыл!*

Спрашивают у Маяковского на поэтическом вечере мнения об Ахматовой и Цветаевой. Он мгновенно реагирует:

— Обе дамочки — не нашего поля ягодицы!

И снова до упаду хохочет ощерившийся зал…

Кажется, совсем недавно был Маяковский другим. Не просто так собирались его короновать вслед за Северянином. Не просто так один петербургский юноша называл себя Владимиром Владимировичем Вторым,

потому что мечтал добраться до высот Владимира Владимировича Первого — до высот Маяковского! Юноша писал стихи, пробовал силы в прозе… Он носил известную фамилию Набоков и, повзрослев, номинировался на литературную Нобелевскую премию.

Советская власть позволяла ездить *агитатору и горлану-главарю* за границу: проверен, лоялен. Маяковский ездил — как корреспондент журналов и газет, как рекламист… В 1922 году виделся в Берлине с Игорем-Северянином. Приволок икры, шампанского, стихов своих несколько книжек. Старые приятели посидели в душевном застолье. Маяковский предлагал старшему товарищу и учителю протекцию, чтобы в России его снова стали печатать… Нежная вышла встреча.

Спустя всего четыре года Северянин, составляя стихотворные портреты, описал уже другого Маяковского.

В господском смысле он, конечно, хам.
Поёт он гимны всем семи грехам,
Непревзойдённый в митинговой глотке.
Историков о нём тоскуют плётки
Пройтись по всем стихозопотрохам.

Верным прежней симпатии оставался крымский меценат и поэт Вадим Баян, устроивший когда-то за свой счёт Олимпиаду русских футуристов. Потерял имущество, уцелел в Гражданскую и тем был счастлив. Предавался творчеству. Выпускал альманахи и отправлял в Москву своему, как он полагал, собрату с дарственными надписями: *Маяку мира Маяковскому — Баянище*, или ещё короче: *Великому — великий*.

Серебряный век русской поэзии закончился.

— Кто бы мог подумать, что посмертно Гумилёв так прославится? — невесело шутили оставшиеся в живых. Вспоминали, что Блок целиком отвергал Гумилёва, а Гумилёв целиком отвергал Бунина. Гумилёва большевики расстреляли, Блока свели в могилу, Бунина изгнали за границу…

С Мандельштамом встретился Маяковский как-то в магазине. На ходу толком и не поговорили — так, поприветствовали друг друга и разошлись. Иначе мог бы Ося припомнить Володе свои стихи да и пожурить.

Сегодня дурной день:
Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень —
Мрачней гробовых плит.

В двенадцатом году Маяковский говорил Бурлюку о завораживающем ритме этих строк. И заворожён, видно, был настолько, что несколько лет спустя написал «Наш марш».

Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан…
Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша — медь литавр.

Бой и медь литавр — это, конечно, Маяковский. Но ритм откровенно дёрнут у Мандельштама, а *бог* и *бег* — у Хлебникова, из книжки «Учитель и ученик», из экспериментов с падежами, как *лес* и *лысина.* Так что Виктор-Велимир при случае тоже мог бы оконфузить

Володю несколькими вопросами, но — тихо угас в деревне.

Мандельштам честно пытался творить в стране, где бог судил ему родиться. Не получалось. Пять лет — до 1930 года — вообще не писал стихов, перешёл на прозу, а возвращение к поэзии стало началом конца. В 1933-м его — не вора, не убийцу, не насильника! — отправили на поселение.

Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, —
Там помянут кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

Таких откровений и тем более таких карикатур большевики не прощали.

В ссылке последователь Тютчева пробовал говорить на языке улицы, четыре года блудил мутными пустыми рифмами и подхалимскими очерками про совхоз. Друзьям признавался в письмах: *Я гадок себе*.

Мандельштаму хватило мужества снова взяться за стихи — всего на год. Второй арест стал последним. Коронки мечтательному *золотозубу* выдрали урки. Путь его лежал в бескрайние владения ГУЛАГа на Дальнем Востоке, но всё кончилось раньше. В последние дни декабря 1938 года Осип Эмильевич Мандельштам умер от сердечного приступа и общего истощения в пересыльном лагере с чудовищным — не только для поэтического уха — названием *Владперпункт*.

Постановление об аресте Мандельштама подписал Яков Агранов, заместитель председателя ОГПУ. Тот, на

ком кровь Николая Гумилёва. Тот, кто повинен в гибели Николая Клюева, — которого вместе с Есениным устраивал в санитары Распутин. Яков Агранов, милый Яня — приятель и сосед Бриков и Маяковского, любовник Лили Брик.

Один из секретов своей власти над мужчинами Лиля однажды открыла сама.

Надо внушить мужчине, что он гениальный. И разрешить ему то, что не разрешают дома. Остальное сделают хорошая обувь и шёлковое бельё.

В своей гениальности Маяковский был уверен. Первым о ней заявил Давид Бурлюк, и потом уверенность крепла с каждым выступлением, с каждой публикацией. Гениальностью Маяковский жил — духовно и материально. Редкая гармония! Только гармонии не было…

…потому что раздвоение продолжалось. Потому что он пропустил момент, когда его дороги с толпой разошлись. Маяковский продолжал писать для выдуманных строителей светлого будущего. Для белозубых крепышей, сошедших с им же нарисованных плакатов. Только реальные строители — это серая толпа, голос которой — гул, и песня которой — знаменитые «Кирпичики»:

На окраине где-то города
Я в рабочей семье родилась.
Горе мыкая, лет пятнадцати
На кирпичный завод нанялась…
На заводе том Сеньку встретила.
Лишь, бывало, заслышу гудок —
Руки вымою и бегу к нему
В мастерскую, накинув платок.

Пролетарию понятна корявая запростецкая лирика. «На окраине где-то города…» Зачем ему Маяковский?

Любить — это значит в глубь двора
вбежать и до ночи грачьей,
блестя топором, рубить дрова,
силой своею играючи…

Толпе не нужен человек, который в дорогом костюме разгуливает по Парижу. Человек, который перекладывает в стихи слова Ницше: *Гнев, любовь, страсть, половую энергию нужно употреблять на то, чтобы колоть дрова.* Толпе подавай чего попроще:

Кажду ноченьку мы встречалися,
Где кирпич образует проход.
Вот за Сеньку-то, за кирпичики
Полюбила я этот завод!

Всё повторялось. В Бутырской тюрьме молоденький Маяковский понял, что не напишет так же весело, как символисты: *В небеса запустил ананасом…* Но ведь и так, как автор «Кирпичиков», не напишет тоже! Он — гений, но ему никогда в жизни не придумать строчку *Где кирпич образует проход*. Никогда не придут ему в голову памятные по «Бродячей собаке» *ветры вменявдунут…*

Теперь Маяковский сам был своей тюрьмой. Тупиком, в который себя загнал. Он мучительно искал слова.

Я хочу быть
понят моей страной,
а не буду понят —
что ж?!
По родной стране
пройду стороной,
Как проходит
косой
дождь.

За эти строки Валентин Катаев предлагал поставить ему памятник. А за эти впору было поставить к стенке:

Убирайте комнату, чтоб она блестела.
В чистой комнате — чистое тело.
То, что брали чужие рты,
в свой рот не бери ты.
Культурная привычка, приобрети её —
Ходи еженедельно в баню и меняй бельё.

Бурлюк сказал бы: не хромые стихи у вас, им просто ноги оторвало. В последних записях Маяковского есть строка: *Любовная лодка разбилась о быт*. Не только лодка. О быт разбились стихи Маяковского — и разбился он сам. Говорил:

— Раньше фабриканты делали автомобили, чтобы купить картины. А сейчас художники пишут картины, чтобы купить автомобиль.

Живопись он забросил, писал стихи. Продавал — и отправлялся за границу, увозя напутственные записки от Лили.

Очень хочется автомобильчик. Привези, пожалуйста! Мы много думали о том — какой. И решили — лучше всех Фордик.

Личных моторов тогда в Москве было наперечёт, но Маяковский мог себе позволить такую роскошь — вернее, первому пролетарскому поэту такую роскошь позволяли власти. Брикам оставалось лишь *много думать*, какой автомобильчик лучше. Он привёз *Renault*. Может, потому, что вспомнил, как впервые сел за руль именно французского авто. Может, по деньгам пришёлся француз, а не американец.

Лиля тут же влюбилась в *серого Реношку* и даже пыталась устроить автопробег из Москвы в Ленинград. Отъехала от города десяток-другой километров, вовремя одумалась и повернула назад.

Маяковский, привыкший лепить спектакль из собственной жизни, делать себя главным героем своих стихов и рифмовать всё, что с ним происходило, об автомобиле отчитался письменно.

Довольно я шлёпал, дохл да тих,
на разных кобылах-выдрах.
Теперь забензинено шесть лошадих
в моих четырёх цилиндрах.

Работа в автошколе приучила к точности. Новое бездушное стихотворчество, ставшее рифмоплётством, приучило к бухгалтерской сухости. Действительно, у *Renault NN* модели 1925 года был четырёхцилиндровый двигатель мощностью шесть лошадиных сил. Лиля кружила по Москве на *забензиненных лошадихах*, а Маяковский отправлялся в очередной вояж с новыми наказами.

Рейтузы розовые 3 пары, рейтузы чёрные 3 пары, чулки дорогие, иначе быстро порвутся... Духи Rue de la Paix, пудра Houbigant и вообще много разных... Бусы, если ещё в моде, зелёные. Платье пёстрое, красивое, из

крепжоржета, и ещё одно, можно с большим вырезом, для встречи Нового года.

Маяковский иностранных языков не знал и рассказывал, что с французами свободно болтает на *триоле*: за тем, чтобы он не забыл что-то купить в парижских магазинах, следила Лилина сестра. Эльза Триоле присматривала и за тем, чтобы в разлуках с Лилей ни одна женщина не заняла её места, *взгромоздившись на бабочку поэтиного сердца*. Прецедент был: в Штатах к Маяковскому приставили переводчицу, которая прижила от поэта ребёночка. Даже приезжала потом в Европу — хотела показать дочку отцу. Сёстры её с трудом отвадили.

Остальные романы и романчики происходили под контролем Эльзы, которая регулярно писала: *Пустое, Лиличка, можно не волноваться*. И верно, отношения с женщинами у Маяковского вспыхивали вдруг — и так же стремительно гасли.

Занозой осталась только Тоня Гумилина. До конца дней он мучился виной за её самоубийство. Девичьи акварели со сценами свадьбы стояли перед глазами. *Любовь — игра смертельная*... Маяковский написал про Тоню дважды — в пьесе «Клоп» и в киносценарии «Как поживаете?». Жаль, фильма так и не была снята.

Странная, мистическая связь между Маяковским и Лилей будоражила их современников и смущает по сию пору. Так никто и не смог ответить на вопрос: что же держало их вместе? какая страшная тайна? Не было ли этой тайной — соучастие в жестоком убийстве, сознаться в котором немыслимо? Что не давало расстаться людям, которые даже пожениться никогда не пытались? Не кровь ли невинного, павшая на них декабрьской ночью 1916 года и связавшая крепче любых уз?

С кем бы ни жила Лиля — всё, что сочинил Маяковский, выходило с посвящением ей одной. Исключение он сделал только раз. Поэму «Владимир Ильич Ленин» надписал: *Российской Коммунистической партии посвящаю.*

После смерти Маяковского правительство назначило Лиле Брик, чужой жене, академическую пенсию: сработали нужные связи. Ей же досталась половина авторских прав на произведения Маяковского. Ещё четвертушка наследства перепала пожилой матери и по осьмушке — двум родным Володиным сёстрам. Больше к пирогу Лиля никого не допустила, несмотря на последнюю волю поэта.

Маяковский был игроком и везунчиком. Даже проигрывая, выигрывал. По крайней мере, так могло показаться — если судить по успеху. Он обыграл поэтов-современников: ещё при жизни высоченным памятником встал над остальными. Его — потомственного дворянина и белоручку, чуравшегося чёрной работы, — коммунисты провозгласили главным пролетарским поэтом. Известностью и тиражами публикаций Маяковский обошёл всех современников-поэтов, вместе взятых. Обрёл право сказать в поэме: *Сто пятьдесят миллионов говорят словами моими…*

Выигрыш был, а радость не наступала. Сто пятьдесят миллионов говорят, но те ли слова произносят они? Те ли слова хотел бы он вложить им в уста? Вопрос…

Писалось всё хуже. Стихи получались вымученные. Молнии образов, по-прежнему яркие, разбивались о невнятные кирпичи-кирпичики окружающих слов. Всё чаще из-под пера выходило что-то сродни подписям для санитарных плакатов:

Долой безобразников по женской линии.
Парней-жеребцов зажмём в дисциплине!

Зажав в дисциплине самого Маяковского, Лиля заставляла его снова и снова приниматься за работу. Рычагов находила предостаточно. Истязала и приговаривала: *Страдать Володе полезно; он помучается и напишет хорошие стихи*.

Он писал, продавал написанное — и опять ехал за границу. Сообщал: *Первый же день по приезде посвятили твоим покупкам, заказали тебе чемоданчик и купили шляпы. Осилив вышеизложенное, займусь пижамками.*

Она отвечала: *Милый щенёнок, я не забыла тебя, ужасно люблю тебя…*

С давних пор Лиля называла Маяковского — Щен. Так он и подписывал свои письма, иногда рисуя на полях печального пса. А её в ответ называл Кисой.

Первой собакой в жизни Щена стала «Бродячая», куда привёл Бурлюк. Последней — купленная по настоянию Лили французская бульдожиха Булька. Бульдожиха напоминала юсуповского Панча, который сновал по гарсоньерке в ночь убийства Распутина.

Наконец, Маяковский написал то, что хотел: пьесы «Клоп» и «Баня». Высказался. Не приняли — посчитали клеветой на действительность и оплеухой обществу. Пощёчиной новому общественному вкусу. Написал поэму «Во весь голос» и снова решил — получилось! Но теперь надо было докричаться до тех, кому…

Отношения с Лилей угасли — осталась общая квартира, странная жизнь втроём с Осей, памятки о заграничных покупках, и в них — механическое сюсюканье, в котором уже нет души, а есть лишь давняя привычка: *Спасибо за духи и карандашики. Если будешь слать ещё, то Parfum Inconnu Houbigant'a. Целую всю твою щенячью морду…*

Любовная лодка билась о быт всё сильнее, трещала по швам. И сердце разрывалось. Маяковский

говорил: *Только большая хорошая любовь спасёт*. В Париже влюбился в ослепительную манекенщицу Татьяну Яковлеву. Предложил руку и сердце. Это полбеды — он посвятил ей стихи. Впервые посвятил стихи — не Лиле!

Эльза не на шутку встревожилась. Лиля — тем более: *Ты впервые предал меня...* Сёстры обсудили проблему и пришли к выводу: влюбиться ему сейчас действительно необходимо, иначе он может погибнуть. Но Маяковский уходил из рук, а это была слишком высокая цена за его спасение.

Помогла дружба Лили с чекистами. Поэта, который собирался отправиться к Татьяне и, как грозился в стихах, силой *взять её одну или с Парижем*, за границу не выпустили. Красавица переживала недолго и вскоре вышла замуж за виконта. Маяковский продолжал сходить с ума в одиночку — он был один. Космически один.

У коровы есть гнездо,
У верблюда дети,
У меня нет никого,
Никого на свете.

Пытался заполнить пустоту. Осыпая безнадежными телеграммами ускользающую парижскую красотку, закрутил роман с двадцатилетней московской актрисой. Она была замужем. Маяковский знал её мужа, тоже актёра. Играл с ним на бильярде, воевал в карты, зазывал в цирк, таскал по ресторанам...

...а жене меж тем писал игривые стишки, называл *невесточкой* и всё норовил умыкнуть в свой кабинет: кроме комнаты в общей с Бриками квартире, он обзавёлся ещё одной, в коммуналке.

Вы ВВ и я ВВ…
Сядем рядом на траве.
На траве, на травке
с рифмой для затравки.

ВВ — Вероника Витольдовна. Дочь короля немого кино Витольда Полонского, который пятнадцать лет назад блистал на экране в «Счастье вечной ночи» с Верочкой Каралли.

Молоденькой ВВ было безумно интересно с маститым ВВ. Он купался в её обожании и изощрялся в ухаживаниях. Она ехала на юг — он мчался следом. Она отправлялась с театром на гастроли — он ускользал из-под Лилиной опеки и оказывался поблизости.

Говорили часами. Он читал ей свои стихи. Предпочитал ранние, настоящие, дышащие. Бушевал:

— Дураки! Маяковский исписался, Маяковский только агитатор, только рекламник!.. Я же могу писать о луне, о женщине. Я хочу писать так. Мне трудно не писать об этом. Но не время же теперь ещё. Теперь ещё важны гвозди, займы. А скоро нужно будет писать о любви. Есенин талантлив в своем роде, но нам не нужна теперь есенинщина, и я не хочу ему уподобляться!

Снова читал то, что посвящал уже не Лиле Брик, а Веронике Полонской.

Любит? не любит? Я руки ломаю
и пальцы
разбрасываю, разломавши…

— Лошади никогда не кончают самоубийством, — глубокомысленно заявлял Маяковский. — Потому что лишены дара речи и не выясняют отношений.

Выяснение отношений и разговоры о самоубийстве давно были для него в порядке вещей. Первые стихи об

этом написаны давным-давно, в 1915 году:

Всё чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своём конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт.

Теперь на дворе стоял год 1930-й. Чекист, приятель и сосед Яков Агранов подарил Маяковскому «браунинг». Знакомый пистолет, копию того, юсуповского… Можно было продолжать шутить, и поэт шутил. «Браунинг» — игрушка. Что за калибр — семь шестьдесят пять?! То ли дело — девять миллиметров или даже десять! Большие люди стреляются из больших пистолетов. Из «маузера», например…

Маяковский влюблялся в Веронику всё крепче. При прощании стал обязательно брать залог: кольцо, перчатку… Однажды подарил ей платок — и тут же разрезал пополам.

— Половину вы будете носить, а половину я в кабинете на лампу накину. Так мне будет казаться, что часть вас — со мной, и мы скорее встретимся.

В начале 1930 года Маяковский просил Веронику расстаться с мужем и выйти за него. Она сказала, что пока не готова.

— Но всё же это будет? — спросил он с надеждой. — Я могу верить? Могу думать и делать всё, что для этого нужно?

— Да, думать и делать! — согласилась она.

Думать и делать — стало у них тайным паролем. На людях, когда чувства свои приходилось держать в руках, Маяковский спрашивал Веронику снова и снова:

— Думать и делать?

Получал утвердительный ответ, счастливо улыбался — и действительно начал *делать*. Чуть не в первый раз использовал свою известность для себя лично: записался на получение квартиры в писательском доме. Договорился с Вероникой, что как только квартиру дадут — она уходит от мужа, он съезжает от Бриков, и вместе они поселяются в собственном гнёздышке напротив Художественного театра, где Вероника служила. Правда, Брики тоже переедут — в квартиру на той же лестничной площадке, но это уже неважно.

Апрель 1930-го выдался снежным — это в Москве-то! Брики надумали ехать в Берлин, проведать Лилину матушку. Маяковский маялся очередным из вечных своих гриппов, но отправился на вокзал — провожать. А проводив, стал преследовать Веронику. Кроме прозвища *невесточка*, он придумал ей смешное имя — Норкочка. Иногда даже Норкища.

В театре у неё не получалась роль, а спектакль уже вот-вот надо было показывать отцу-основателю МХАТ, великому Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко. Репетировали круглыми сутками, на износ. Дома по-прежнему приходилось обманывать мужа, все кругом всё знали — это было отвратительно, низко и по́шло.

Вероника чувствовала себя опустошённой и старалась избегать Маяковского. Он ярился, обижался, приходил мириться, часами ждал её в кафе напротив театра. И при каждом удобном случае старался развлечь, утащить в кино или в гости. Бился с её депрессией — и своей бездонной тоской.

Норкочка заходила к нему домой. Он хвастался бульдожихой, которая недавно ощенилась. Булька скакала по дивану, прыгала выше головы, пыталась лизнуть девушку в нос — и тут же валилась на спину, с хрюканьем предлагая почесать ей пузо.

— Видите, Норкочка, как мы с Буличкой вам рады, — говорил Маяковский.

Он всё настойчивее требовал, чтобы Вероника бросила мужа и вышла за него замуж. Немедленно, пока не вернулась Лиля. Вероника в ответ просила его уехать хотя бы на несколько дней в санаторий. Привести нервы в порядок, дать ей собраться с мыслями — он ведь всё равно собирался в свою любимую Ялту, в Ливадию!

Двенадцатого апреля они не виделись. Тринадцатого вечером — оказались в гостях у Катаева и крепко поругались. Первый и последний раз Вероника видела Маяковского пьяным. Он то плакал, то отвратительно грубил и унижал её. Порывался при всей большой компании рассказать мужу Вероники об их отношениях, а через минуту грозил ей выхваченным из кармана «браунингом» и снова говорил о самоубийстве…

К ночи, протрезвев и придя в себя, Маяковский просил прощения. Мужу Вероники он всё же сказал, что завтра намерен с ним серьёзно говорить. А с неё взял слово, что их разговор состоится утром.

Четырнадцатого апреля затянувшаяся зима вдруг закончилась, пришла настоящая весна. Яркое солнце припекало, снег таял на глазах, и птицы гомонили оглушительно.

В начале девятого утра Маяковский заехал на таксомоторе к Веронике домой, забрал и отвёз к себе в рабочий кабинет. Там он снова сорвался. То запирал дверь на ключ, то отпирал снова. Требовал — немедленно, с этой же минуты без всяких разговоров расстаться с мужем и жить с ним.

— Это нелепо, когда счастье двух взрослых людей зависит от того, когда им дадут квартиру! — кричал Маяковский. — У нас есть эта комната!

Он умолял оставить театр, бросить его и никогда больше там не появляться. Винился за вчерашнее и умолял простить. Говорил, что пятнадцатилетняя разница в возрасте — ерунда: он может быть молодым,

весёлым и беззаботным. Клялся, что отныне даже складка на её чулке будет значить для него больше, чем что бы то ни было на свете. Собирался немедленно идти в магазин, чтобы купить всё необходимое, а её запереть — потому что к мужу она больше не вернётся и бросит театр…

Снова и снова, круг за кругом — мысли и сбивчивая речь Маяковского возвращались к одному и тому же. В любой другой день Вероника слушала бы его иначе. Но сегодня…

Через час ей предстояло показываться Немировичу-Данченко. Она думала только об этом, потому что от показа зависела её карьера и зависели партнёры, с которыми вместе столько репетировали. Она молилась, чтобы только не забыть текст, и этот поворот на каблуках сразу после выхода, и взгляд, который она должна бросить под реплику. Она боялась, что после ночной гулянки глаза у неё припухли, а это сразу заметно, и кто-нибудь — хорошо, если не сам Немирович! — обязательно заметит: если в двадцать лет у неё такие проблемы с лицом по утрам, то что же будет в тридцать и в сорок, и видит ли она себя дальше в профессии…

…и конечно, из театра она не уйдёт — это надо быть сумасшедшей, чтобы уйти со сцены МХАТ, даже если уходить для того, чтобы стать женой великого человека, и даже если этот великий человек — сам Владимир Маяковский; а разговор с мужем, теперь уже сомнений нет, всё равно сегодня состоится; и говорить с ним будет она, а не Маяковский, потому что Маяковский сорвётся, и это будет ещё более унизительно, чем вчера, а она сумеет всё объяснить и не делать больно, потому что Володю она любит, но и мужа по-человечески тоже любит и уважает, и хочет расстаться по-человечески…

Тут Маяковский выдохся и просто сказал: либо она откажется от мужа и театра прямо сейчас и останется,

либо — ничего не надо. А Вероника ответила, что её ждут на репетиции, и туда она обязательно поедет, а после — поговорит с мужем и вернётся к Маяковскому навсегда.

Он улыбнулся и не стал её провожать, только поцеловал на прощанье. В руку сунул двадцать рублей — добраться до театра и расплатиться с таксомотором, который всё ещё ждал внизу. Автомобиль был марки *Renault* — как тот, самый первый, и тот, что он купил для Лили.

Вероника не успела дойти до конца коридора, когда в кабинете Маяковского хлопнул выстрел.

Пистолет он выдернул из ящика стола перед тем, как попрощаться, пока бегал по комнате, махал руками и пытался уговорить *невесточку* остаться. Стоило незаметно переложить «браунинг» в карман пиджака — сразу пришёл покой. Прощальная ласковая улыбка была искренней.

Старой ошибки Маяковский не повторил. Лишь только за девушкой закрылась дверь, он до упора оттянул затворную раму — и отпустил. Услышал, как она дослала патрон и с клацаньем села на место. Продолжая улыбаться, Маяковский не тыкал дулом пистолета в грудь — в этот раз он уверенно приложил его к рубашке против сердца и глубоко вдохнул.

Последнее мгновение распалось на множество событий.

Спусковой крючок поддался маягкому нажиму согнутого указательного пальца.

Щёлкнул спущенный курок.

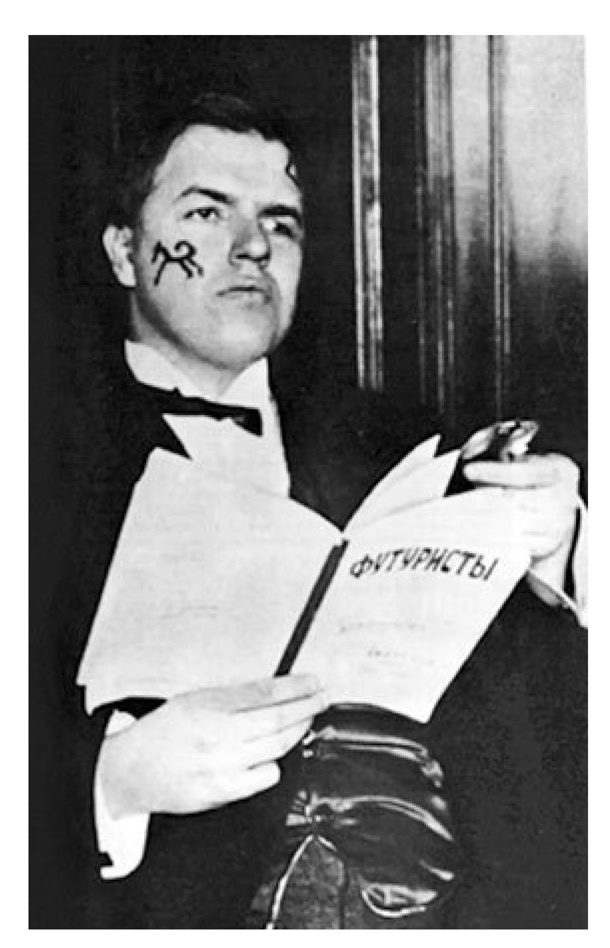
Остриё ударника ужалило капсюль.

Ослепительно полыхнул порох в гильзе.

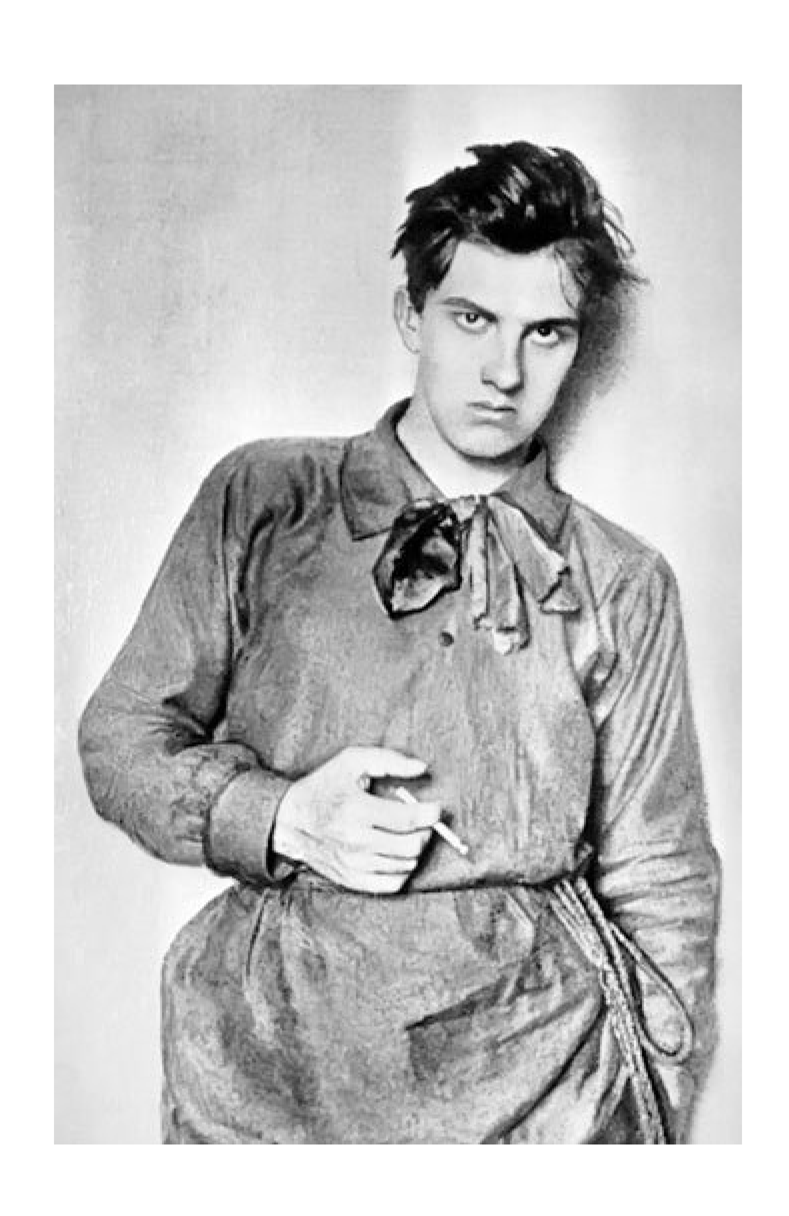
Маленькая раскалённая пятиграммовая пуля рванулась, вкручиваясь в нарезы ствола, и…

КОНЕЦ

Вкладка



Давид Бурлюк





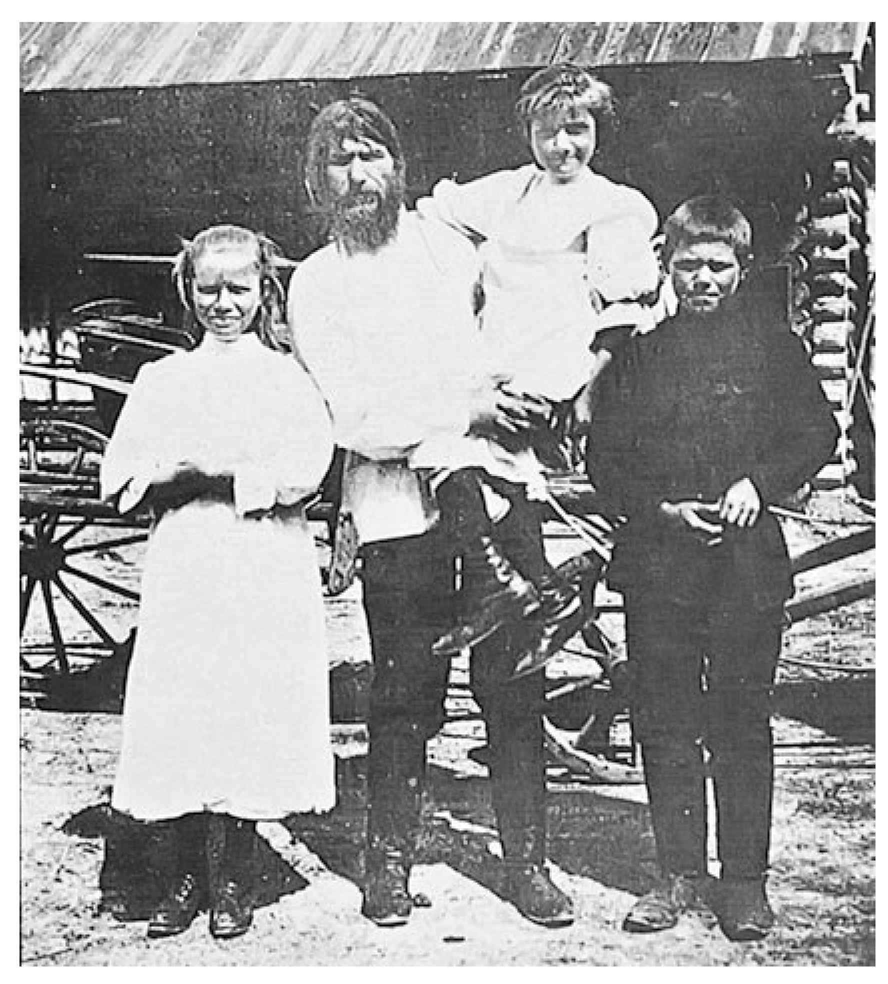
Владимир Маяковский — студент Школы живописи, ваяния и зодчества. Так он выглядел ко времени знакомства с Бурлюком



Рекламный плакат знаменитых московских папирос «Дукат», которым отдавал предпочтение Давид Бурлюк



Григорий Распутин в парке Царского Села



Григорий Ефимович Распутин в Покровском с детьми Дмитрием, Матрёной и Варварой (на руках)

92. Faksimile eines Briefes von Rasputin:
„An den Minister Chwostoff. Mein Lieber, Teurer, ich sende Dir ein schönes Dämchen. Sie ist arm, rette sie — sie ist in Not, sprich mit ihr! Grigori.“

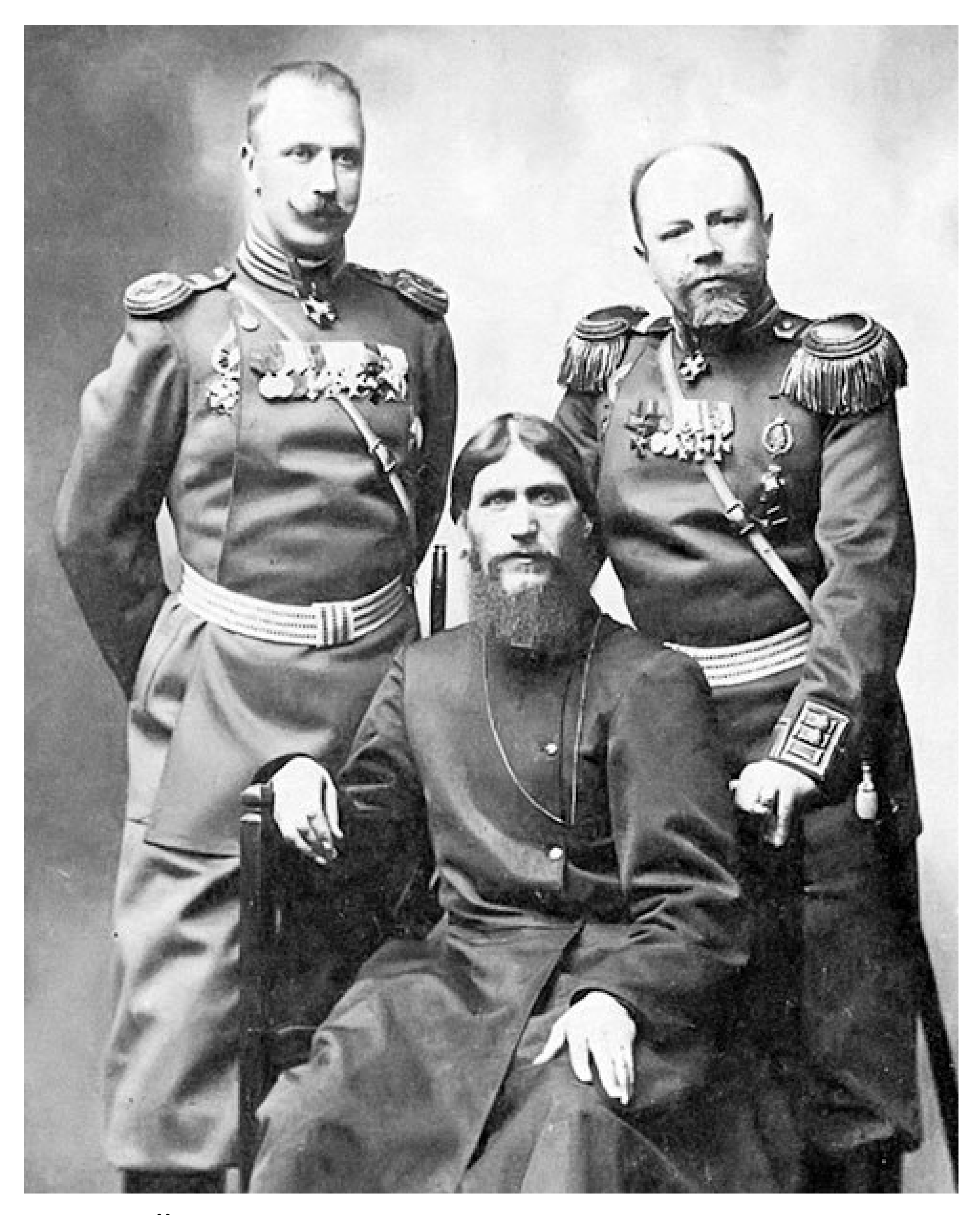
Записка Распутина министру внутренних дел Алексею Николаевичу Хвостову: «Милой дорогой красивую посылаю дамочку бедная спасите её нуждаетца поговори с ней Григорий»



Григорий Распутин и его почитатели, ставшие впоследствии ярыми противниками: епископ Гермоген и иеромонах Илиодор (Труфанов)

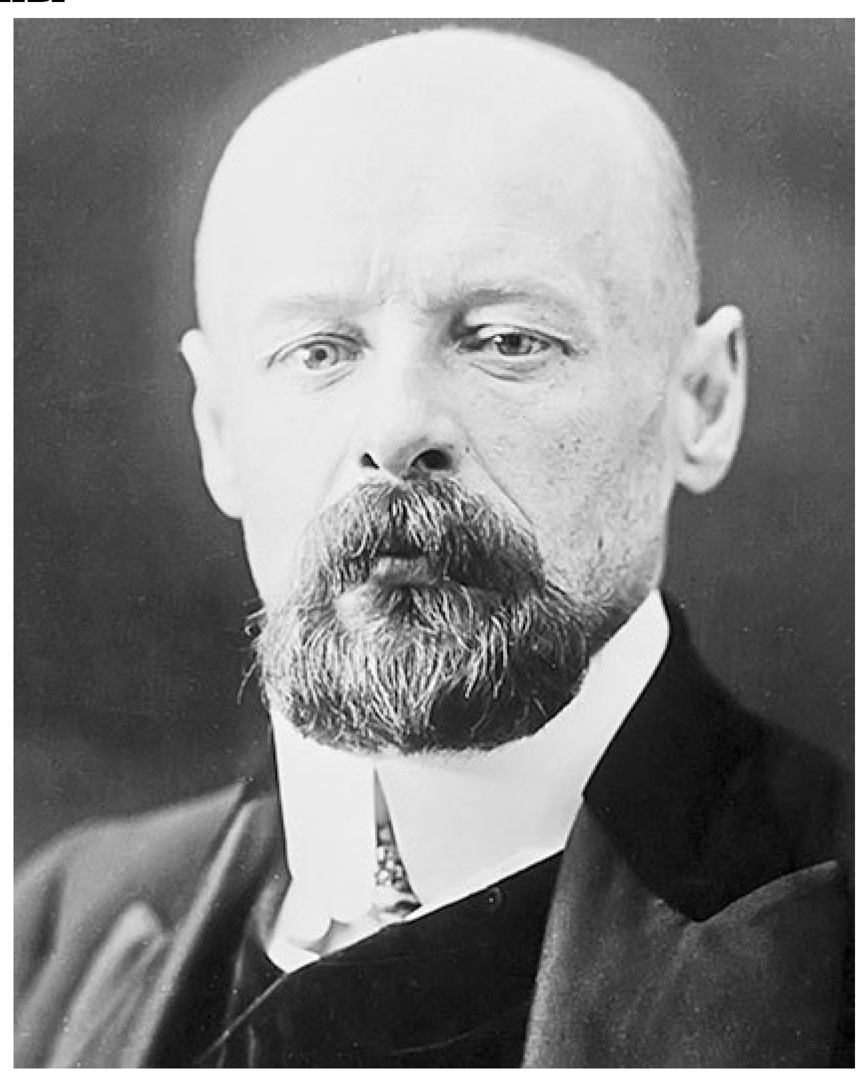


Популярная карикатура на императора и государева мужика «Мы, Николай II»



Григорий Ефимович Распутин с почитателями (незадолго до гибели). Слева — полковник Дмитрий Николаевич Ломан, флигель-адъютант и доверенный императрицы, спасший Сергея Есенина от отправки на фронт; справа — генерал-майор князь Сергей Михайлович Путятин, начальник Царскосельского дворцового управления, хозяин особняка на Миллионной, 12, где великий князь Михаил Александрович отрёкся вслед за своим братом Николаем Вторым,

будущий свёкор великой княжны Марии Павловны



Депутат Государственной думы Владимир Митрофанович Пуришкевич



Великий князь Дмитрий Павлович, императорский флигель-адъютант



Князь Феликс Юсупов-младший в мундире Пажеского корпуса…



…и в театральном костюме



Юсуповский дворец — дом № 94 по набережной Мойки в Санкт-Петербурге



Юсуповский дворец. Современная реконструкция столовой-бонбоньерки в ночь убийства Григория Распутина









Оружие ночи убийства (слева направо сверху вниз): пистолет Браунинга образца 1910 года, из которого Юсупов стрелял в Распутина и после стрелялся Маяковский. Пистолет «Savage» образца 1915 года, из которого Пуришкевич стрелял в Распутина. Револьвер Нагана образца 1910 года, из которого великий князь Дмитрий Павлович добил Распутина, — штатное оружие российских офицеров. Револьвер Уэбли — штатное оружие британских офицеров, которое для убийства Распутина использовать не пришлось.



Оружие ночи убийства (слева направо сверху вниз): пистолет Браунинга образца 1910 года, из которого Юсупов стрелял в Распутина и после стрелялся Маяковский. Пистолет «Savage» образца 1915 года, из которого Пуришкевич стрелял в Распутина. Револьвер Нагана образца 1910 года, из которого великий князь Дмитрий Павлович добил Распутина, — штатное оружие российских офицеров. Револьвер Уэбли — штатное оружие британских офицеров, которое для убийства Распутина использовать не пришлось.



Цесаревич Николай Александрович накануне восшествия на престол в 1894 году



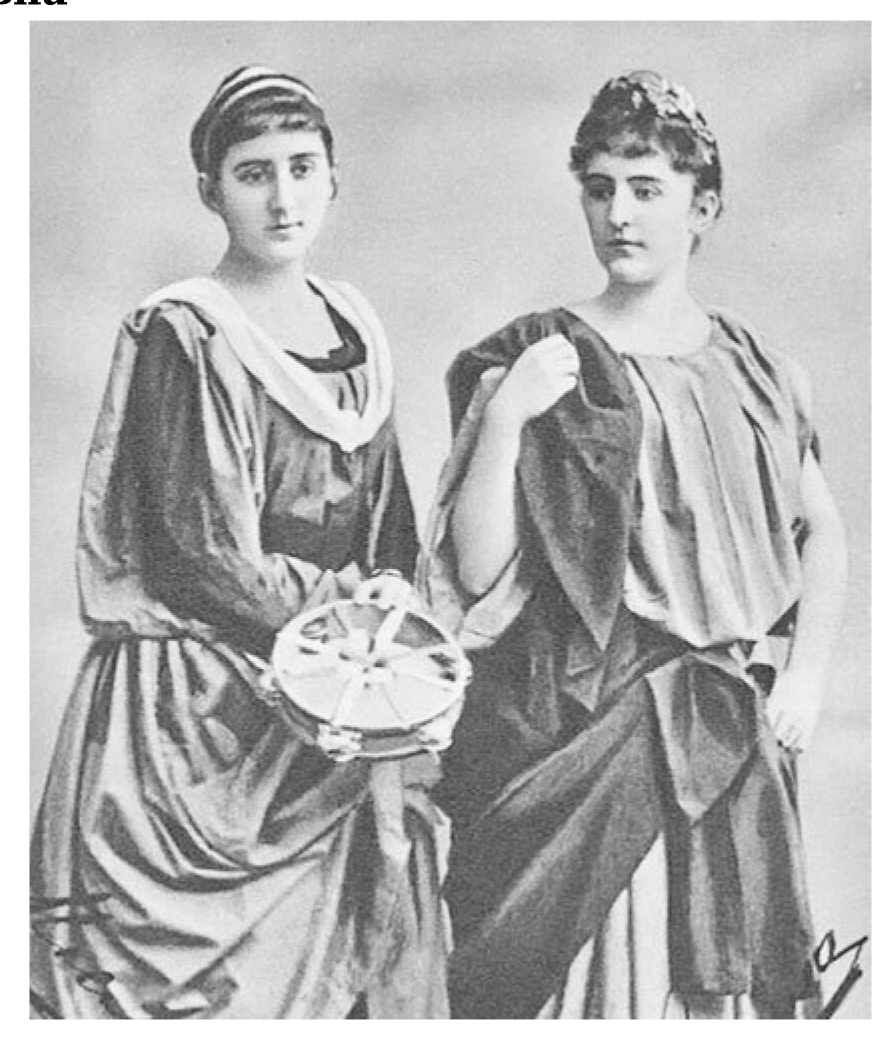
Российская императрица Александра Фёдоровна



Фрейлина Анна Танеева-Вырубова, ближайшая подруга императрицы



Неразлучные брат с сестрой: великий князь Дмитрий Павлович и великая княжна Мария Павловна



Дочери князя Николы Негоша, сёстры-черногорки Милица (слева) и Анастасия, — «открывшие» Григория Распутина императорской семье



Цесаревич Александр Александрович со своей невестой, датской принцессой Дагмар…



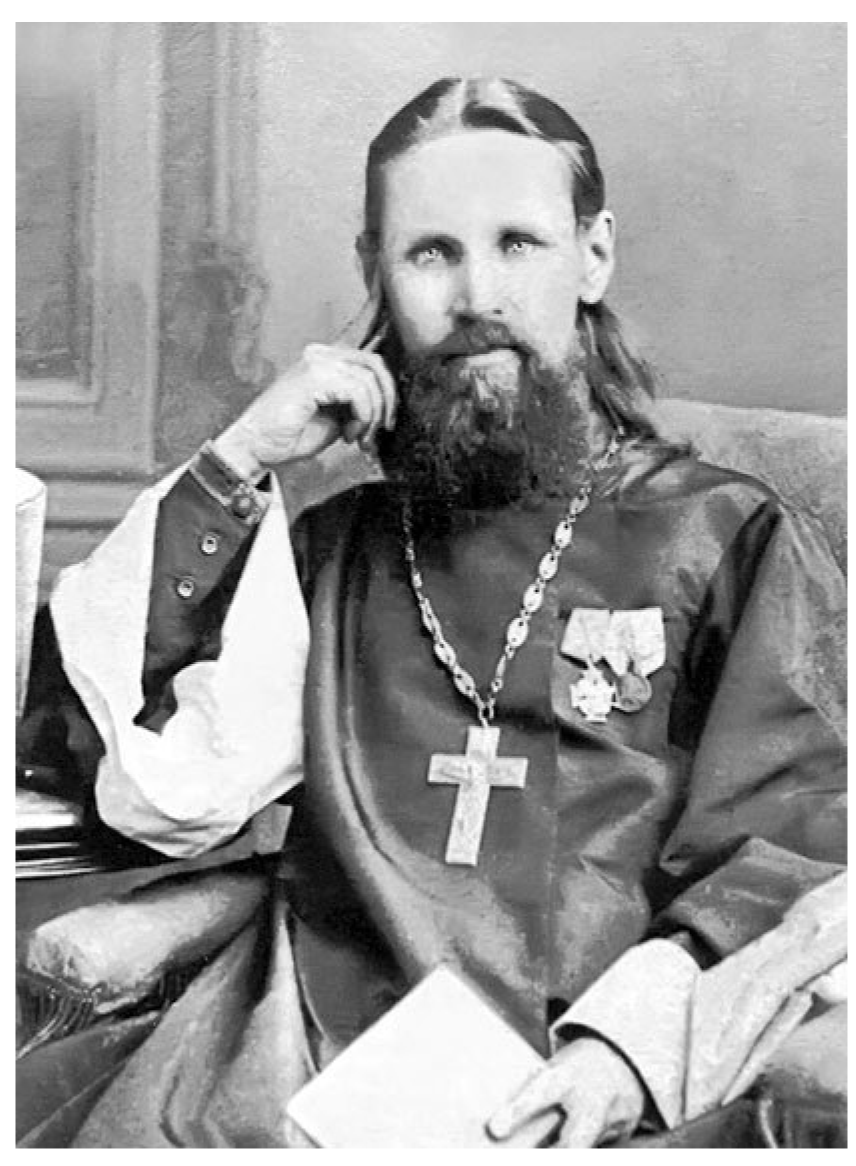
…и они же через несколько лет: российский император Александр Третий и императрица Мария Фёдоровна



Начальник австро-венгерского Главного императорского и королевского штаба Франц Конрад фон Хётцендорф



«Кузен Джорджи», король Англии Георг Пятый



Иван Ильич Сергиев, протоиерей Иоанн Кронштадтский



Борис Пронин, основатель поэтического и театрального кабачка-подвала «Бродячая собака»



Велимир Хлебников, поэт и математик, будетлянин

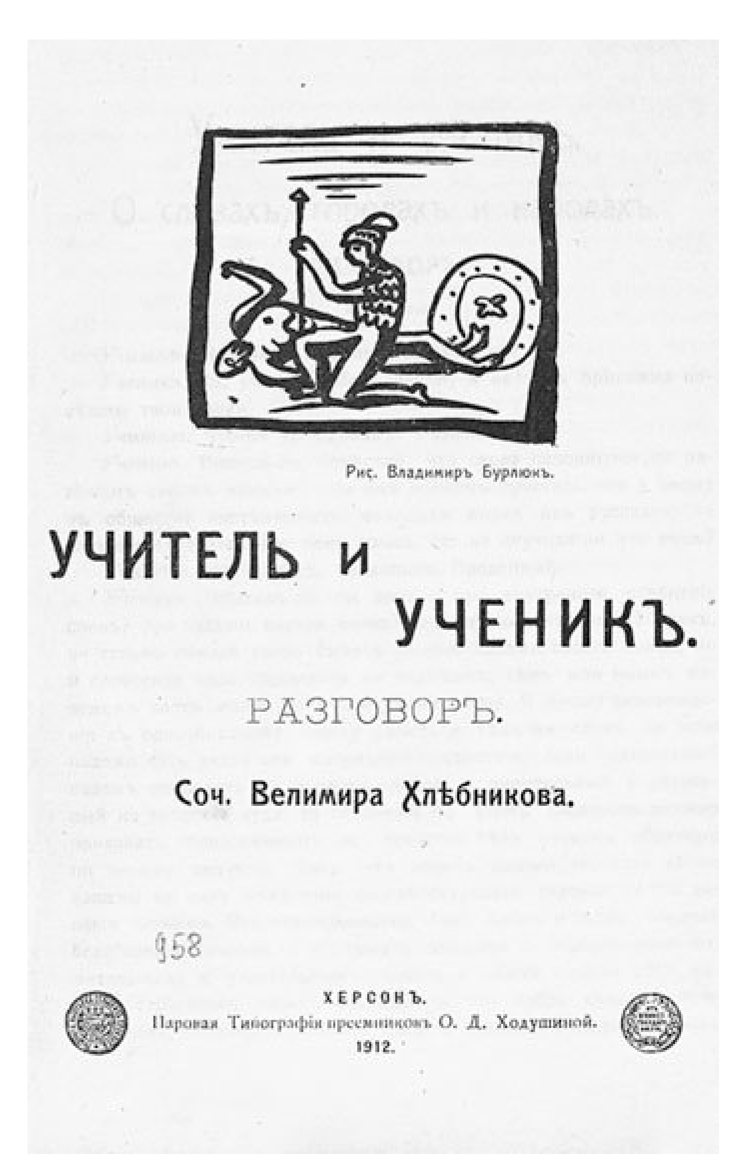


Рис. Владимиръ Бурлюкъ.

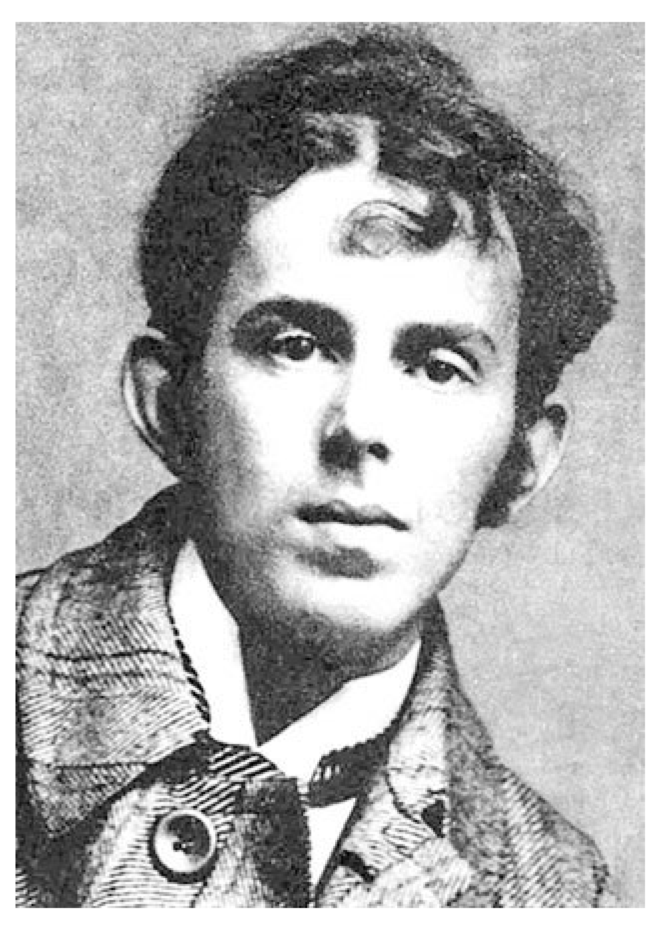
УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИКЪ.

РАЗГОВОРЪ.

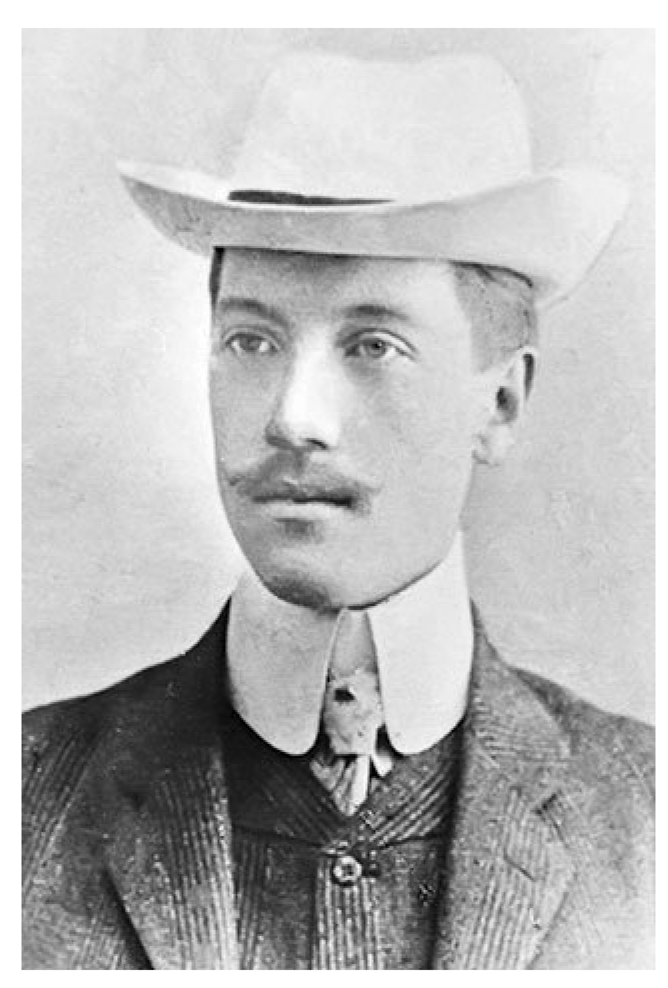
Соч. Велимира Хлѣбникова.

ХЕРСОНЪ.
Паровая Типографія преемниковъ О. Д. Ходушиной.
1912.

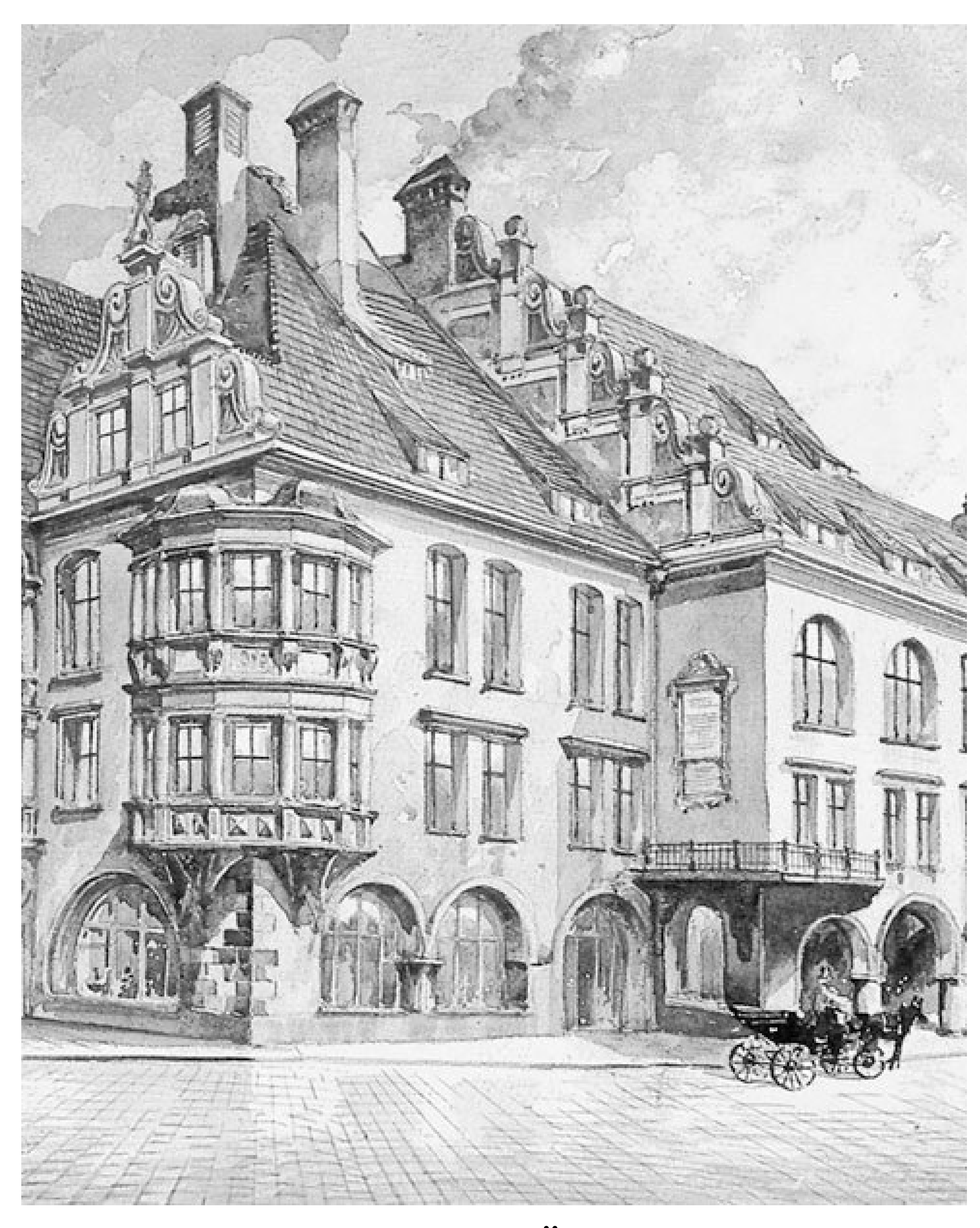
Первая книга Велимира Хлебникова с предсказаниями



Осип Мандельштам, поэт-акмеист, «золотозуб»



Николай Гумилёв, поэт-акмеист



Адольф Гитлер. «Старый Мюнхен». Акварель. 1912 год





Виды Ливадийского дворца: фасад, внутренний дворик с фонтаном



Балерина Анна Павлова со своим любимцем, французским бульдогом

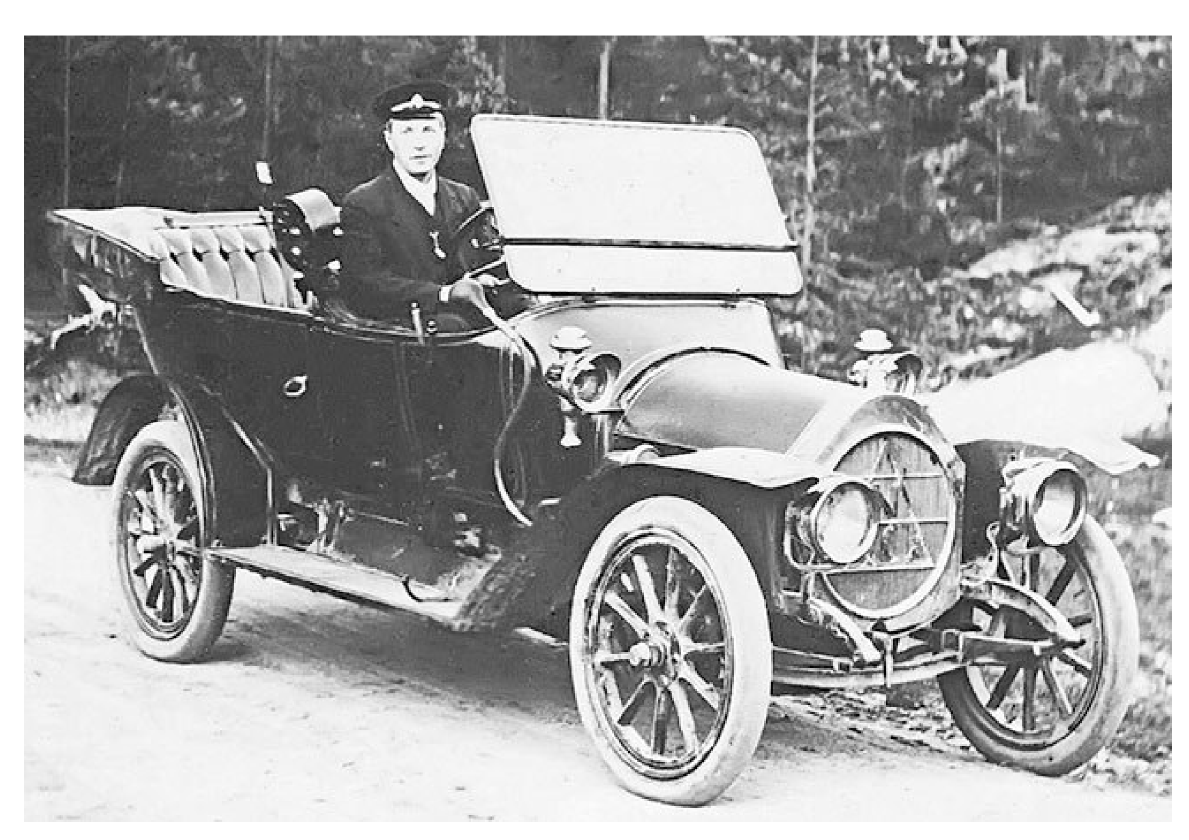


Балерина, киноактриса Вера Каралли, пассия великого князя Дмитрия Павловича, участница «вечеринки с граммофоном»



Интерьер в русском стиле жакоб, милом сердцу императора Николая Второго





Таксомоторы 1910-х годов



Зал заседаний Государственной думы в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге



Председатель Государственной думы Михаил Владимирович Родзянко — дядя Феликса Юсупова



Одна из карикатур на Пуришкевича, который в истерике по обыкновению плюётся с трибуны Государственной думы



Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов, завербованный разведками Австрии и Германии



Директор департамента полиции Степан Петрович Белецкий

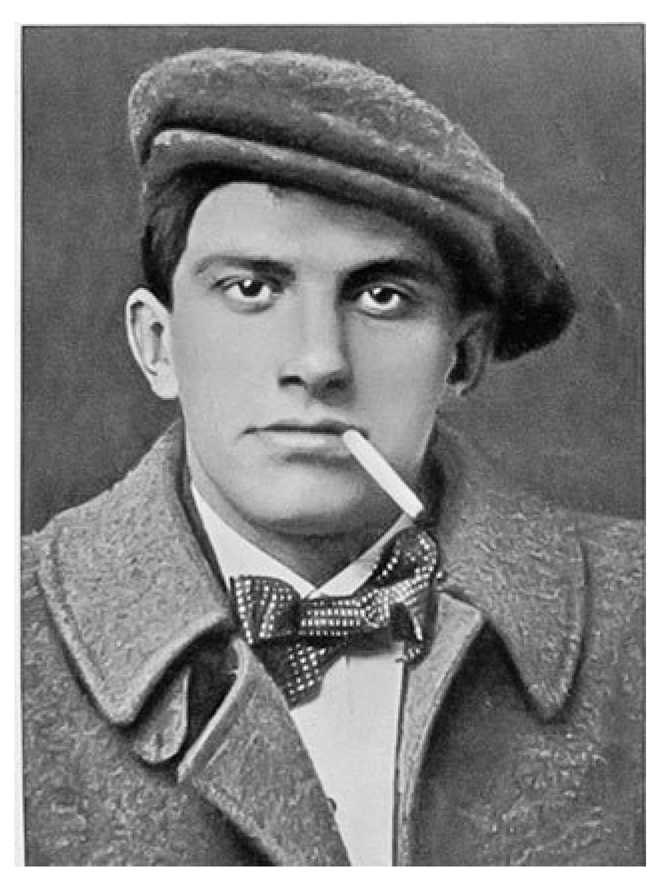


Контрразведчик и шпион полковник Альфред Редль



Столичный городовой





Владимир Маяковский в 1916 году. Возможно, фото в военной форме — монтаж, сделанный его сослуживцем по автошколе Михаилом Оцупом



Кубофутурист Владимир Маяковский на гастролях «золотого периода» 1913–1916 годов



Король Поэтов, эгофутурист Игорь Северянин, кумир намагниченных принцесс



Неразлучная троица (слева направо): Осип Брик, Лиля Брик, Владимир Маяковский



Сестра Лили Брик, писательница Эльза Триоле



Лиля Брик



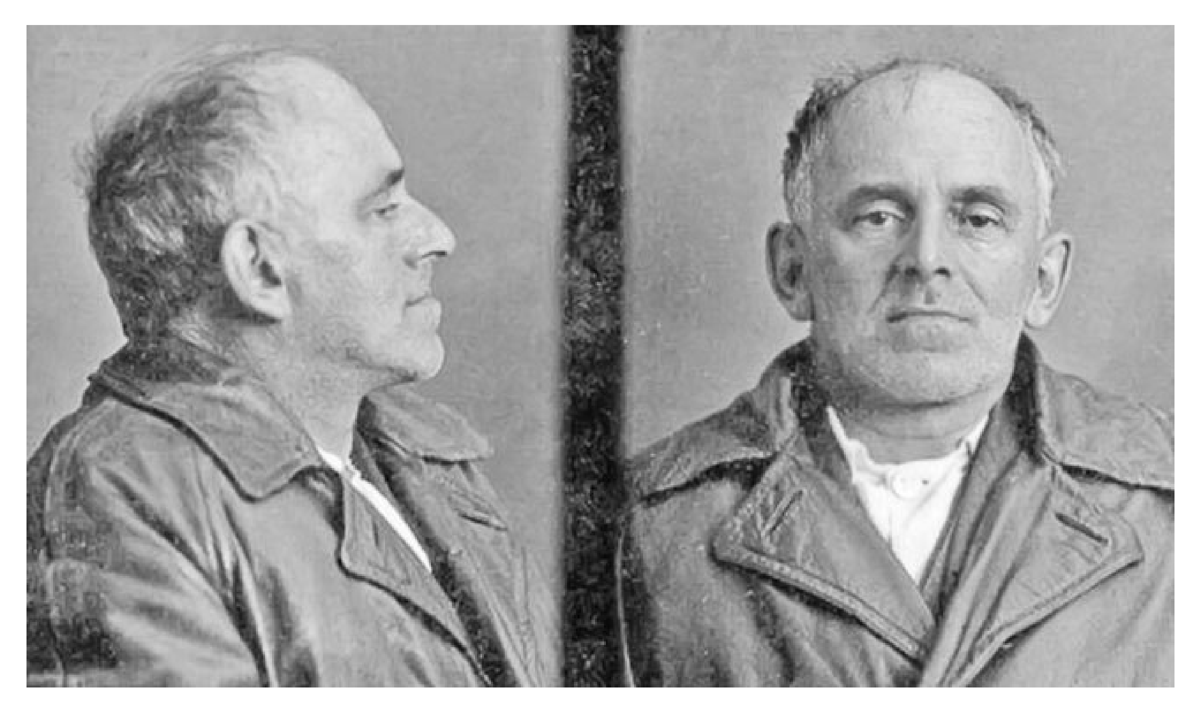
Великий князь Михаил Александрович, в пользу которого отрёкся от престола Николай Второй; некоронованный последний российский император



Несостоявшаяся последняя российская императрица Наталья Сергеевна Вульферт, графиня Брасова, жена великого князя Михаила Александровича



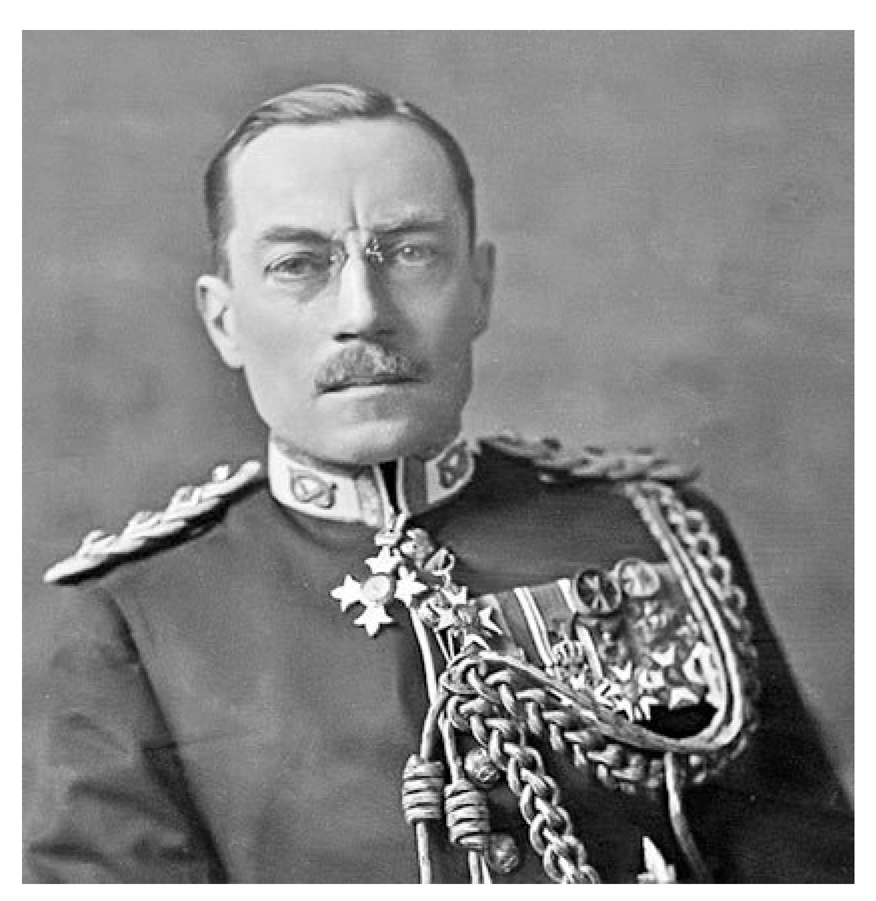
Великий князь Николай Николаевич, генералиссимус — Грозный Дядя, дважды не ставший диктатором России



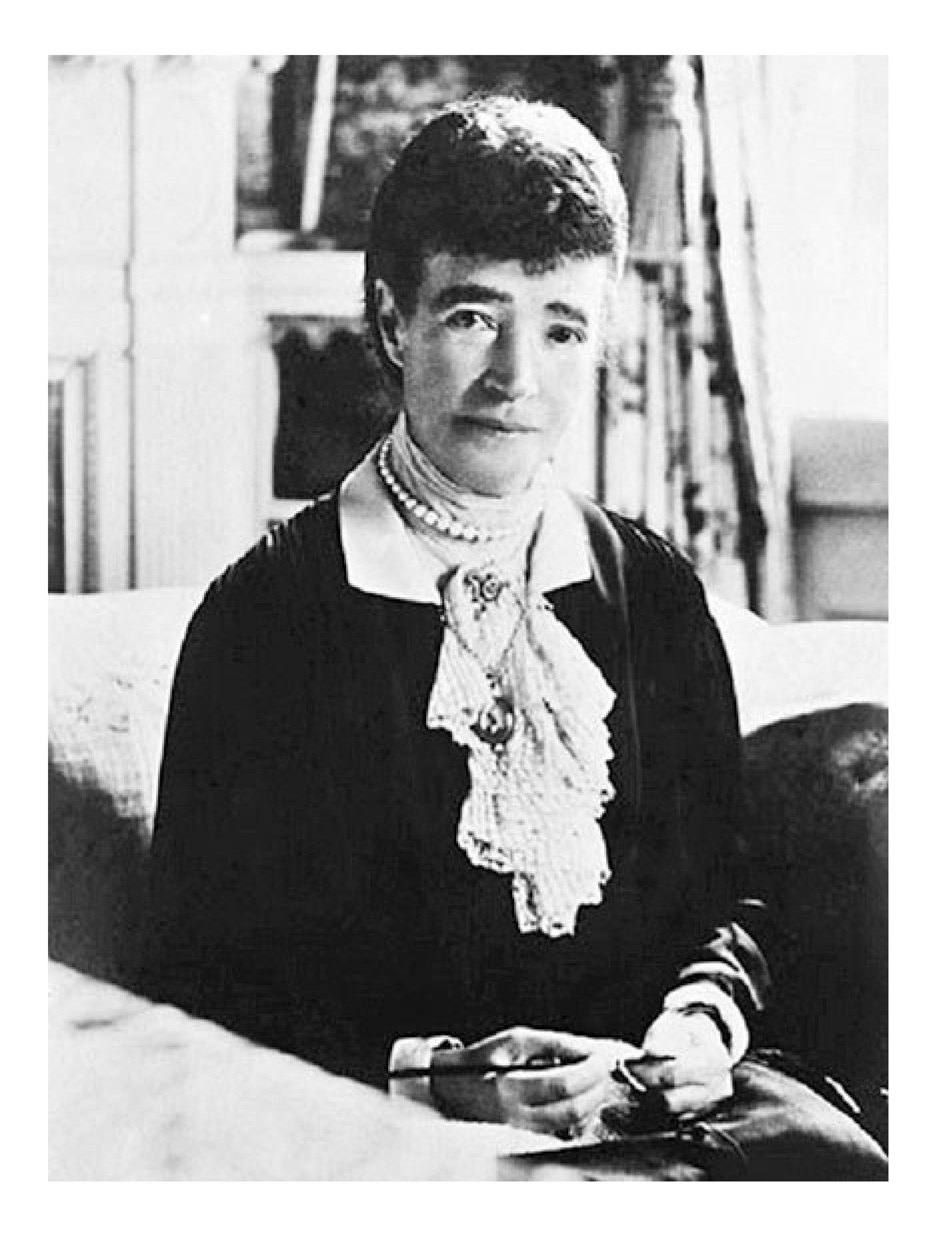
Осип Мандельштам в советской тюрьме



Владимир Ульянов (Н. Ленин) в Цюрихе



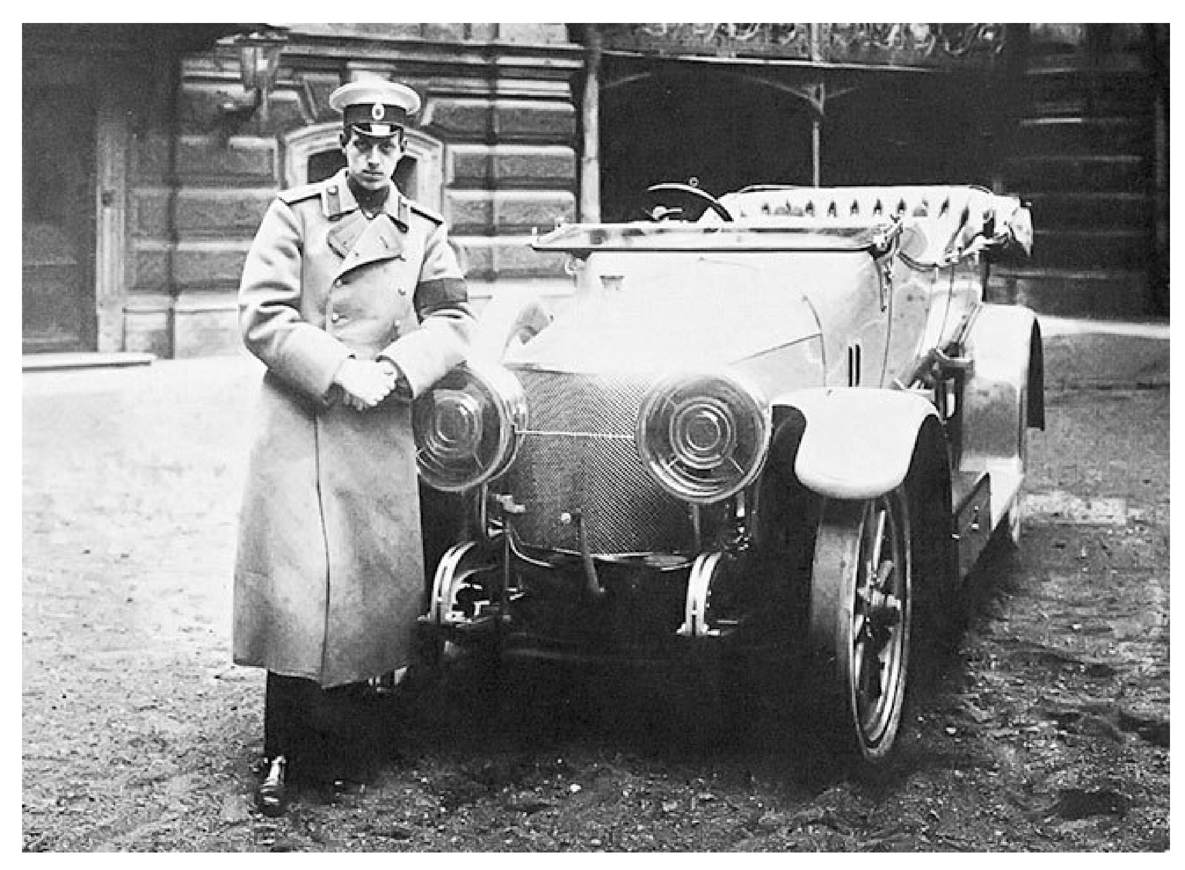
Создатель и глава секретной британской службы МИ-5 сэр Вернон Джордж Вальдгрейв Келл, прообраз агента 007



Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна по возвращении в Данию



Императрица Александра Фёдоровна с цесаревичем Алексеем



Великий князь Дмитрий Павлович — первый российский автогонщик

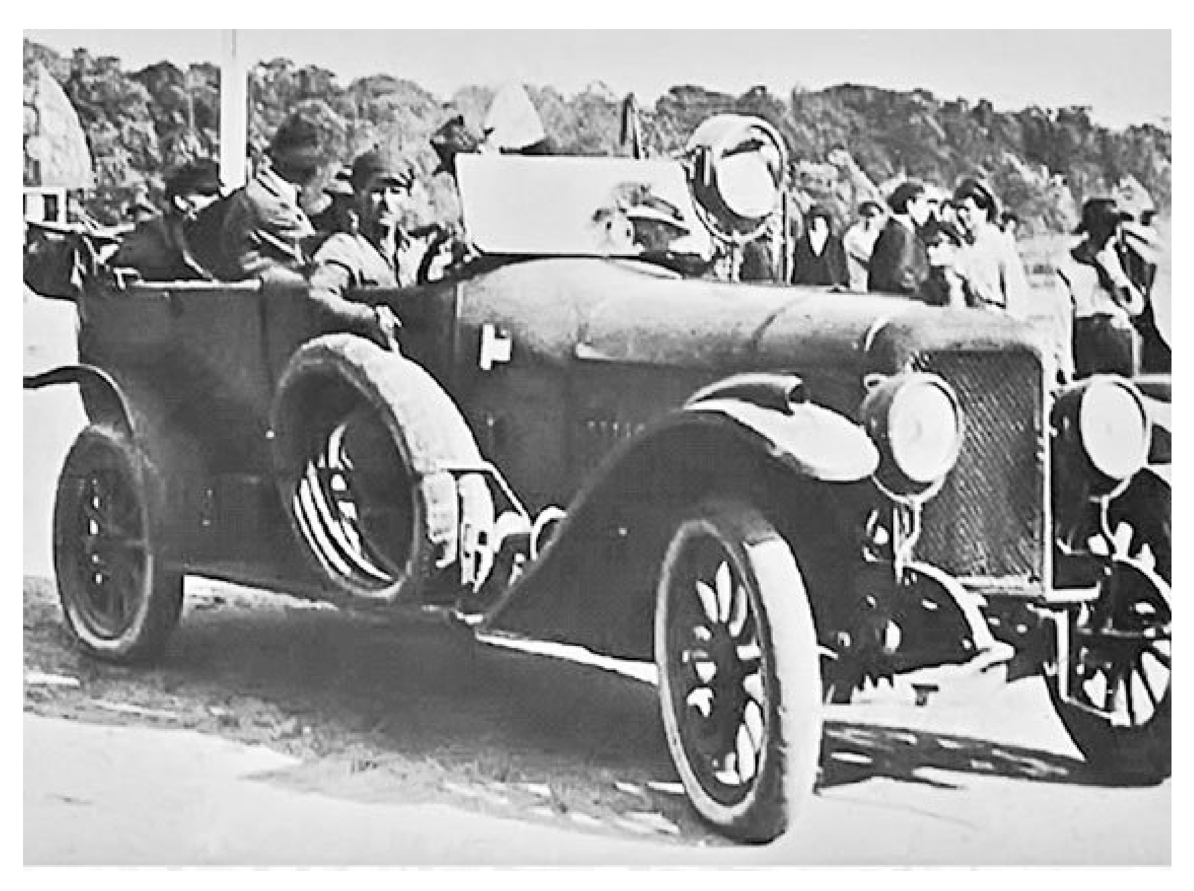


Император Николай II со своей семьёй


Курите папиросы
фабрики
торгов. дома
Бр. Кальфа
въ Харьковѣ.
„Тарасъ Бульба"
20 шт. 5 коп.
„Ярмарочныя"
20 шт. 5 коп.
папиросы
„Украинскія"
20 шт. 5 коп.
Гадалка
20 шт. 5 коп.



1910-е годы: реклама дорогих папиросных гильз Викторсона, которые по собственному усмотрению можно набивать хорошим табаком, и самых дешёвых папирос



Автомобиль Stoewer 19/58 на Марсовом поле



Виктор Шкловский, литературовед, герой войны



Валентин Серов. «Девочка с персиками». (Портрет Веруши, дочери промышленника Саввы Мамонтова)



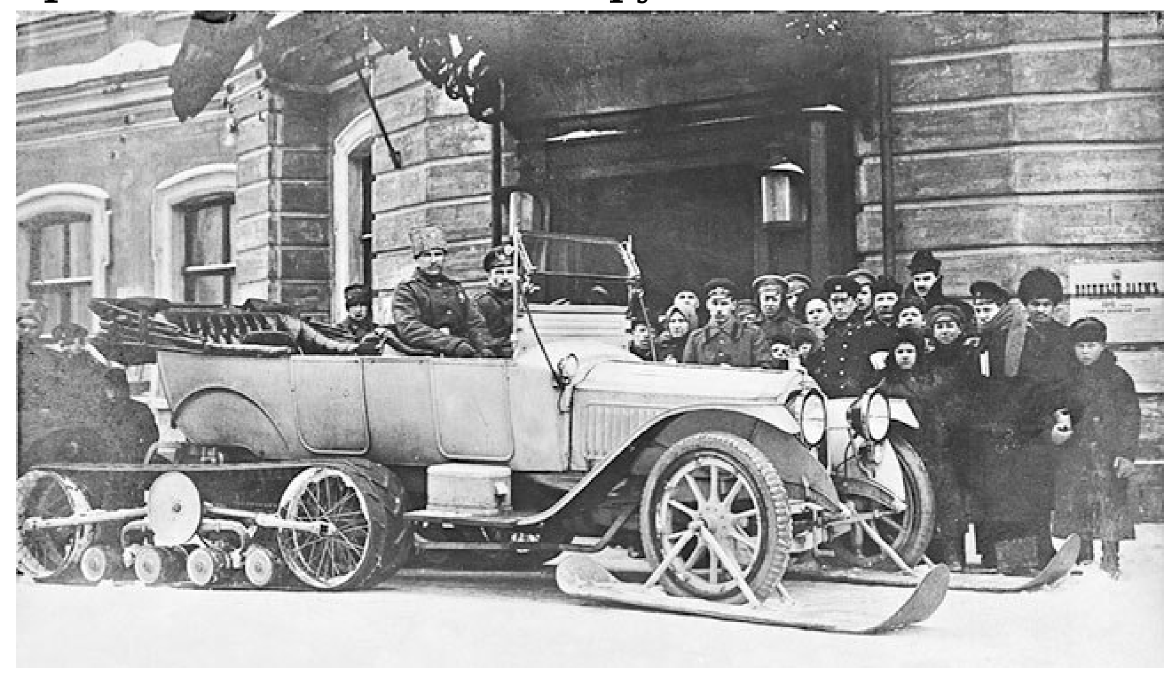
Мемориал королевы Виктории перед Букингемским дворцом в Лондоне



Уинстон Черчилль



Лимузин Rolls-Royce Silver Ghost Double Pullman, на котором ездил князь Феликс Юсупов-младший. Один из самых дорогих автомобилей в мире стоимостью 1.5 млн фунтов



Вездеход Кегресса на базе Rolls-Royce. Автомобиль-сани Николая II, конфискованный Временным правительством. Петроград, 1917 год



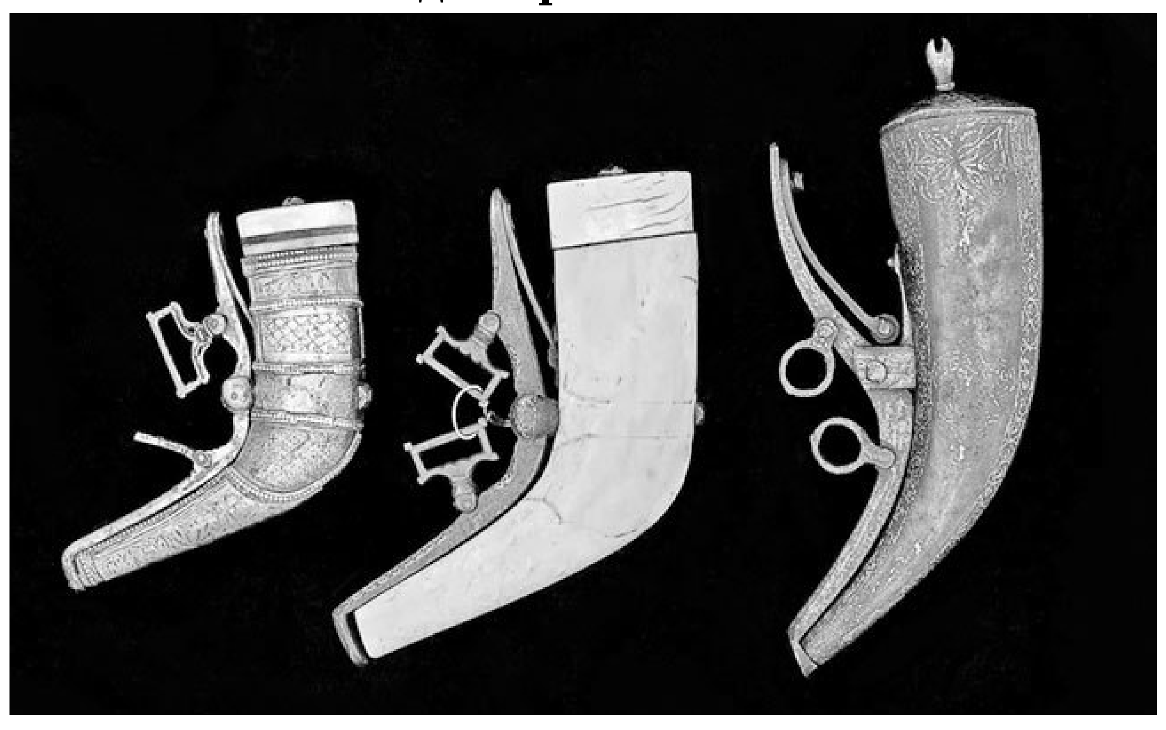
Владимир Маяковский. Плакат времён Гражданской войны: «Каждый прогул — радость врагу. А герой труда — для буржуев удар»



С. А. Есенин и С. А. Толстая-Есенина. 1925 год



Вероника Полонская, актриса, последняя возлюбленная Владимира Маяковского



Набор пороховниц, принадлежавший Сергею Сухотину и проданный на аукционе Bonhams в 2008 году



Александр Блок, поэт, член комиссии Временного правительства, которая расследовала «дело Распутина»



Михаил Зощенко, писатель, герой войны, друг Виктора Шкловского и Анны Ахматовой



Анна Андреевна Ахматова



Алексей Толстой, писатель, красный граф, завсегдатай «Бродячей собаки», автор сфальсифицированного дневника фрейлины Вырубовой



Лиля Уриевна Брик, её последний муж Василий Абгарович Катанян (справа) и Сергей Иосифович Параджанов



Михаил Николаевич Савояров, петроградский король музыкальной эксцентрики



Памятник на месте гибели царской семьи в Екатеринбурге